ISSN 0130—6545

10.1978

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Африканская ритуальная маска

Иностранная литература

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

10 ОКТЯБРЬ
1978

XX ЛЕТ ТАШКЕНТСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ

Содержание

НГУЕН ХОНГ — Дочь бродячего циркача из рода Хоа *(Рассказ. Перевод с вьетнамского М. Ткачева)* 4

МАКСИМ НДЕБЕКА — Девятьсот восемьдесят тысяч *(Поэма. Перевод с французского Александра Карлова)* 17

АЛЬБЕРТ ВЕНДТ — Рассказы о Самоа *(Перевод с английского и вступление Л. Володарской)* 20

Р. К. НАРАЙАН — Мои дни *(Перевод с английского Н. Демуровой)* 40

ДЮЛА ЧАК — Рассказы *(Перевод с венгерского С. Фадеева и Л. Васильевой. Вступление С. Сартакова)* 92

САЛЬВАДОР ЭСПРИУ — Стихи *(Перевод с каталонского Сергея Гончаренко. Вступление Н. Матяш)* 111

О. Л. ДОКТОРОУ — Рэгтайм *(Роман. Окончание. Перевод с английского В. Аксенова. Послесловие Я. Засурского)* 119

Критика

Пора возмужания *(Вступление Алекса Ла Гумы)* 186

К. ЧУГУНОВ — В поисках пути (Заметки о современной африканской прозе) 187

Ш. ДАНГЕ, М. САЛГАНИК — После тысячелетий безмолвия 191

АЙИ КВЕЙ АРМА — Эпос о легендарном герое зулусов *(Перевод с английского В. Рамзеса. Послесловие Аполлона Давидсона)* 195

Наши публикации

Эптон Синклер — «социалист чувства». К 100-летию со дня рождения *(Вступительная статья, публикация и перевод с английского Б. Гиленсона)* 201

Культура и современность

Заметки на полях

Е. Мова — За ширмой «свободного потока информации»
А. Тугнин — «Писатель в боях нашего времени» 211

Публицистика

НОРМАН МЕЙЛЕР — Бой *(Фрагменты из книги. Перевод с английского и предисловие А. Зверева)* 219

Содержание

Антирубрика

ДЖОН О'ХАРА — Разговор во время обеда *(Рассказ. Перевод с английского Михаила Загота)* 245

СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ — Сказка *(Перевод с болгарского Н. Глен)* 246

КУРТ МОРАВИЦ — Биография благонамеренного бюргера *(Перевод с немецкого Н. Н.)* 250

ДЖЕЙМС ТЭРБЕР, Э. Б. УАЙТ — Можно ли об этом говорить родителям? *(Перевод с английского Аркадия Гаврилова)* 251

Наши гости

В. Тарасов — Субхас Мукерджи (Индия) ✦ Киорапетсе Коситсиле (ЮАР) 253

А. К.— Жан Бриер 254

Среди книг

Издано в СССР

Вл. Гусев — Жестокое бесстрашие Маркеса ✦ Д. Воскресенский — Мир китайского средневековья 257

Издано за рубежом

Панос Пеонидис — Книги, которые будут жить всегда ✦ А. Ермонский — Люди проигравшей стороны ✦ Л. Зонина — В зеркале памяти ✦ Овидий Горчаков — Потрошитель из Мичигана 260

Из месяца в месяц 268

Авторы этого номера 285

На обложке: МАНИШИ ДЕЙ. Индия. «Рабиндранат — поэт».

На стр. 185, 200, 210 — графические работы зарубежных художников.

© «Иностранная литература», 1978.

НГУЕН ХОНГ

Дочь бродячего циркача из рода Хоа

РАССКАЗ

Перевод с вьетнамского М. ТКАЧЕВА

Представления эти давались обычно по вечерам на берегу реки Тамбак между пристанью Глухого Француза и причалом, где швартовались китайские барки из Гуандуна, или на мосту Маршала Жоффра, у самого сквера, что рядом с базаром. А зрителями были пассажиры, отплывавшие в Хонгай или в Маунгкай, в Намдинь и Тхайбинь, грузчики, лодочники, рабочие-металлисты и каменщики, водоносы да уличные оборванцы. Случалось, забредали сюда по пьяному делу матросы с английских, филиппинских и мексиканских судов; они глазели на представление из коляски рикши, раскачиваясь, словно маятники, или стояли в толпе, крепко держась за руки и время от времени валясь прямо на кишевших вокруг зевак.

Но больше всего, конечно, набегало ребятни — озорной, языкастой и отчаянной,— атаманы со своими огольцами, порожденье портового города Хайфона.

Я частенько заглядывал сюда — дать отдых гудевшим ногам: сколько, бывало, концов сделаешь за день в поисках работы от маслобойни до Цементной речки. Мне нравилось сидеть здесь, глядя на причалы и фабричные корпуса, на снующих взад-вперед прохожих; привычное оживление это завораживало и словно сулило нечто неясное, небывалое.

Вся «труппа» состояла из двух человек и медведя. Медведь был не очень крупный, с черной лоснящейся шерстью и белым пятном на груди, напоминавшим ресторанную салфетку. На лбу у него тоже виднелись белые отметины. С шеи свисали медные колокольцы, самый большой — величиной с грушу, а чуть повыше шею охватывал склепанный с железной цепью ошейник, перевитый желтой шерстяной лентой с красными кисточками. Перед началом представления медведь сидел всегда у воткнутого в землю копья — к длинному древку привязан был свободный конец цепи.

Циркачи — мужчина и девочка — оказались отцом с дочерью. Отец был еще молод, высок и статен; голова у него начисто облысела, зато на щеках пушились огромные бакенбарды; по всему телу под смуглой лоснящейся кожей играли мускулы. Даже в самые холодные дни он ходил голый по пояс или в крайнем случае надевал просторную зеленую рубаху, зауженную книзу. Девочка, лет семи или восьми, ростом сравнялась с черным медведем. У нее была гладкая белая кожа, блестящие глаза, чуть раскосые, как у зайчонка, и

щеки румяные, словно яблоки. Волосы ее, туго схваченные лентами, падали на плечи двумя густыми прядями, шелковые ленты отливали голубизной.

Люди, едва завидев издали циркачей, заслышав звон медных колокольцев, отовсюду — с причалов, с моста, из сквера и даже с базара — сбегались к реке. Отец тащил на коромысле две высокие корзины с лаковыми ларцами; в руке он держал копье, к древку которого был привязан медведь, а вверху, у наконечника, широкого и длинного, как меч, развевался красный флажок, обшитый золотой каемкой, с золотым иероглифом посередине. Девочка несла за спиной корзину поменьше; она то догоняла отца, то семенила рядом с медведем, который важно вышагивал сзади, бренча колокольцами. В руках она держала две палочки, к ним привязаны были пятицветные ленты с белыми кисточками на конце.

Первый раз я смотрел их представление с середины, но все равно увлекся необычайно.

Как сейчас помню, спускаясь с моста, я угодил в толпу, сбегавшуюся на звуки гонга; правда, порой их заглушало громкое рычание и какой-то диковинный перезвон. Протолкавшись вперед и став на цыпочки, я наконец увидел их.

Отец — по обнаженному лоснящемуся торсу его перекатывались мышцы, живот стягивала шкура леопарда, узкие черные штаны плотно облегали ноги — колотил в гонг; дочь в такт ему махала палочками с развевавшимися лентами, а вслед за витками белых кисточек кидался черный медведь. Зверь нападал на девочку, огражденную лишь легкими спиралями лент. Одета она была в широкую голубую блузу и штаны из переливчатого шелка цвета спелой сливы. У запястья позвякивал браслет с бубенцами; матери обычно надевают их на руку единственному чаду как амулет — на счастье. Предзакатное осеннее солнце заливало площадь теплыми яркими лучами. Палочки кружились, ленты вычерчивали в воздухе лепестки цветов, гребни волн и небесную радугу, трепетных рыб, птиц, быстроногих боевых скакунов, а потом вдруг вытягивались долгой извилистой линией. Медведь, завороженный лентами, то делал шаг вперед, то — назад, пытаясь отбить их лапами вправо или влево...

Блестящие глаза девочки почти не отрывались от маленьких острых глазок медведя. Улыбка, сиявшая в ее взгляде, на ее губах и румяных щеках, покоряла всех. Даже медведь под взглядом ее как бы яснее понимал, что надлежит ему делать. Он настораживался, вставал в рост, бросался вперед, махал лапами, подпрыгивал, хватал ленты все ловчее и быстрее, отскакивал в сторону. Лапы его так и мелькали, из пасти, где за белыми клыками влажно алел язык, вырывалось глухое рычание. Казалось, зверь вот-вот ударит девочку по лицу. Но мне-то сразу стало ясно: ленты, вроде бы преграждающие ему путь, тут ни при чем, и это вовсе не поединок, а просто-напросто пляска. Гонг звучал все громче, все резче. На руке отца, сжимавшей древко, вздулись под темной лоснящейся кожей тугие бугры мышц. Длинный, отливающий голубизной наконечник копья и красный флаг с золотым шитьем взмывали ввысь и снова склонялись к земле. Но глаза отца лучились спокойствием и добротой, меж бакенбардами, сходившимися под подбородком, скользила улыбка.

А движения палочек вдруг замедлились, девочка прыгала как-то вяло, наверно, притомилась. И медведь повел себя иначе, чем прежде, он уставился прямо в раскрасневшееся лицо девочки, кривые лапы его уже не гонялись за лентами, а тянулись все ближе и ближе к «врагу». Но тут палочки вмиг сникли. Девочка отскочила подальше, ведь ей нужен был простор, чтобы снова взмахнуть лентами,— их и

так чуть не вырвал у нее медведь. Люди ахнули: мохнатая туша с острыми когтями и длинными клыками едва не обрушилась на хрупкую фигурку девочки, а защиты у нее, кроме амулета да пятицветных лент с кисточками, никакой. Лапы зверя вот-вот коснутся ее плеча, оскаленная морда приблизилась вплотную к ее лицу.

Кто-то вскрикнул от страха. Кольцо зрителей распалось, многие пустились было наутек.

Динь!.. Дон!.. Дон!..

Раскаты гонга, настигая друг друга, всколыхнули небо. Потом раздался торжествующий смех отца. Молниями взвились к небу ленты, затрепетали голубые рукава. Зазвенела цепь. Черная туша с поднятыми лапами, словно пронзенная насквозь стремительным выпадом палочек, закачалась и рухнула наземь. Медведь уткнулся мордой в толстенные лапы, словно устыдившись своего поражения.

Зрители зашумели; многие подались вперед, желая поближе разглядеть зверя.

Динь!.. Дон!.. Дон!..

Опять прокатились удары гонга. Девочка, взметнув вверх ленты, прочертила невиданный прежде узор и вскочила отцу на плечи. А он уже положил плашмя лезвие наконечника на темя, развернув копье вдоль плеч. Она прыгнула прямо на лезвие и как ни в чем не бывало заплясала на отточенном стальном клинке, размахивая в воздухе пятицветными лентами. Могучие руки отца держали на весу копье. Ноги его с налившимися мускулами твердо уперлись в землю, словно горы, которые никому не под силу сдвинуть с места. Стянутая узлом шкура леопарда сползла под вздувшийся живот. Мышцы на груди, на боках, на спине вздымались чудовищными желваками. Ритм танца ускорился, ленты мелькали все быстрее, но копье ни разу не дрогнуло под ее ногой, отсвечивая в лучах заката, пробивавшихся сквозь листья старого банга.

Подняв голову, я взглянул на плывшие по небу белые облака, и мне показалось, будто и там, в вышине, вьется пятицветная лента и мелькают ступни маленькой циркачки.

А медведь, едва девочка вскочила на плечи отцу, тотчас встал и начал кружиться у его ног, выгибаясь, потом распрямляясь и вновь выгибаясь. Черная шерсть его переливалась на солнце, словно в ней торчали раскаленные добела иглы. Я понял — он снова выступает партнером девочки.

Я не умел читать по-китайски, но от знатоков узнал: иероглиф, вышитый золотом на треугольном красном флажке, читается — «хоа». А услышав, как отец и завсегдатаи называют девочку Сяо Хоа, утвердился в своей догадке: Хоа — это фамилия циркачей. А дочку по-нашему, выходит, зовут не Сяо, а Тиеу — маленькая. Узнать бы заодно и имя отца... Что он за человек, откуда родом? Ведь Поднебесная, о которой я столько читал в детстве, необъятна и многолика.

Однажды я встретил их на дороге. Они уходили куда-то, должно быть далеко отсюда. Я остановился и проводил их взглядом. Отец — рослый и кряжистый, с бакенбардами, сходившимися под подбородком, как обычно голый до пояса и все в той же леопардовой шкуре, обернутой вокруг бедер,— держал в руке копье, в корзинах на коромысле он нес лаковые ларцы, умещавшие их нехитрый скарб. Девочка, круглоглазая и румяная, в широкой голубой блузе, с корзиной за спиной, старалась приноровиться к широкому шагу отца. Медведь, черный и лоснящийся, с белым пятном на груди и звонкими колокольцами на ошейнике, ковылял вприпрыжку то впереди, то позади девочки. Над дорогой висела густая пыль. Багровел закат. Цирковая труппа шла и шла по дороге, пока не пропала из виду.

Потом, проходя здесь вечерами, я вспоминал их представления: и мне все чудилось, будто я вижу воочию рослого отца с его ношей, девочку, похожую на цветок, и черного медведя, словно повязавшего вокруг шеи белую салфетку. Они появлялись и исчезали в сумерках; а на сердце почему-то ложилась тяжесть.

В одном старинном романе, полном необычайных подвигов и приключений,— я еще ребенком читал его вслух отцу с бабушкой — тоже был циркач по фамилии Хоа. И у него, как сейчас помню, была дочь, только лет шестнадцати или семнадцати. А сам он был уже старый, совершенно седой. Старый Хоа кроме цирковых представлений промышлял перевозкой товаров из города в город. Так и разъезжал он по дорогам — пускался в извоз с осени, когда еще дули ветры с дождем, а в пути застигала его зима с холодами и снежными бурями, и товар доставлялся по назначению только весной, когда стаивал снег. И по всем бесконечным дорогам, перевалам и переправам старый Хоа скакал на любимом своем вороном коне, а дочь его — на огненно-рыжем. Следом за ним тянулась вереница повозок. Над передней повозкой развевался большой красный флаг с вышитым золотом огромным иероглифом «хоа». Над какими только дорогами и землями не реял этот флаг с той поры, когда старый Хоа был еще молод и не родилась еще его единственная дочь. Однажды всего за каких-то полмесяца их караван пересек бескрайний лес из диких слив и яблонь. Белые лепестки, подхваченные вихрем, уносились к небосводу и смешивались с холодными снежинками. У дочери старого Хоа, восседавшей на огненно-рыжем скакуне, было два драгоценных меча. На теле она носила широкую блузу (правда, цвета спелой сливы), а поверх нее — одеянье из кожи морского чудовища. Ну, а сам Хоа, выезжавший, как вы помните, на вороном коне, не выпускал из рук короткого меча, и шапка его была обшита тою же кожей. Оба всадника и их кони осыпаны были белыми лепестками и снежинками...

Хозяева самых богатых лавок и постоялых дворов вдоль всех проезжих дорог, а также знаменитые герои и полководцы — эти располагались обычно на неприступных горных вершинах,— чуть завидя повозку под красным флагом с золотым иероглифом «хоа», тотчас слали навстречу гонцов, приглашая старого Хоа с дочерью в гости. И, не взяв ни гроша за постой и прокорм, почтительно провожали их в дорогу, поднося на прощанье бесценные дары да отменные яства. Если старый Хоа с дочерью делали привал в людных местах, они непременно давали там представление. Девушка плясала, жонглируя двумя дорогими мечами, а старый Хоа творил чудеса со своим коротким мечом. И все как один восхищались ими.

Ходила молва, будто жена старого Хоа до рождения дочери умела плясать с мечами по земле, где неприметно для глаз вкопаны были — остриями кверху — длинные отточенные ножи. Долгая пляска ее была сложна и замысловата, она то и дело касалась земли, иногда даже ложилась на нее плашмя; но ни на теле ее, ни на ногах не оставалось и малой царапины, и красота ее не увядала.

В ту зиму лютая стужа держалась по целым неделям. Солнце ярко сияло, но ветер пронизывал до костей, руки-ноги коченели — вот-вот, казалось, отвалятся. Мне удалось увидеть еще несколько представлений семейства Хоа. Но в январе, когда стали возвращаться первые ласточки, циркачи снова исчезли куда-то. Прошел год — и еще один. Страшное пламя захватнической войны расползалось все шире. Япония заглатывала Юго-Восточную Азию. Французские колониальные власти распахнули двери перед японской армией.

Выйдя из тюрьмы, я вернулся в Хайфон. Я брел один по безлюд-

ным улицам, и зимняя стужа казалась еще холоднее. Особенно пустынно было вокруг Шести складов, у причалов — ни одного крупного судна. Не видно было и кораблей, ходивших в Гонконг и Сайгон. Лишь у причалов, где швартовались суда из Хонгая и Намдиня, покачивалась пара старых посудин. Да и пассажиров почти не было. Все предприятия поблизости стояли заброшенные. Закрылись судо- и авторемонтные мастерские. И цеха поменьше, где всего-то набиралось сотни три рабочих, тоже бездействовали. И везде, на всех перекрестках — японские солдаты, японские военные чиновники, японские автомобили, японские лошади... К вечеру пустели даже самые оживленные торговые улицы. И тусклые синие лампочки — была введена светомаскировка — над дверями магазинов, где не видно было ни товаров, ни покупателей, лишь усиливали ощущение заброшенности и запустения. Но особая безысходность чувствовалась по вечерам в скверах и на обсаженных деревьями улицах.

День за днем дела приводили меня в кварталы, лежавшие вдоль речек Цементной и Тамбак; но на обратном пути, несмотря на усталость, я не решался присесть отдохнуть в знакомых местах. Даже деревянная скамейка в тени старого банга у поворота дороги к причалу Глухого Француза — а ведь там выступали когда-то циркачи с медведем — казалась мне чем-то нереальным, чужим и далеким. Воспоминания словно утонули в пучине забвения; их вытеснили тревоги и страхи нынешней жизни — жестокой, мрачной, опустошенной.

Потом грянула буря Августовской революции. По всей стране вспыхнула война Сопротивления. Колонизаторы превратили город и порт в сущий ад, где царили насилие, нищета и горе. Они без счета арестовывали, пытали и убивали людей, стараясь задушить хайфонское подполье. Пожалуй, нигде не припомнят люди такого свирепого террора. Но Хайфон был освобожден. Он стал последним городом Северного Вьетнама, освобожденным от захватчиков. Вместе с войсками и правительственной комиссией я вошел в Хайфон погожим летним днем. Повсюду с невиданной пышностью расцветали лиловые мелии, и на каждой улице, в каждом, даже самом крохотном, переулке развевались красные флаги со звездой.

Помню, я сразу включился в корреспондентскую группу газеты «Хайфон сегодня». Нашей темой была жизнь и борьба рабочих в годы оккупации, а также восстановление городских предприятий.

Я вдруг осознал, что нынче пятьдесят пятый год и, стало быть, я живу здесь, в Хайфоне, уже в течение двадцати двух лет! Чего только не навидался я за все эти годы тут, на моей второй родине.

Время клонилось к осени, и почти не стало на улицах лиловых мелий. Рисовые поля в пригородах подернулись красноватой желтизной. На исходе дня море в устье Кэм и у Дошона сливалось с затянутым тучами небом в бескрайнюю синеву. Висевшие поблизости белесые облака, раскаляясь в горниле заката, принимали тысячи диковинных обличий. Среди умиротворенной природы чудовищно выглядели руины заводских корпусов, разрушенных врагом. Во многих зданиях оккупанты устроили казармы, тюрьмы с подвальными камерами, окруженные колючей проволокой. Из большинства цехов они вывезли оборудование, почти везде разобрали водопровод и канализацию, сняли всю проводку. Долго еще в засыпанных наспех ямах и болотах находили трупы людей, умерших от пыток; руки и ноги их были связаны электрическим проводом, глаза, рты, ноздри залеплены черной смолистой изоляцией...

В тот день я заглянул в один знакомый дом — хозяйка его, долгие годы проработавшая на фабрике, всегда рассказывала много интересного. Простившись с нею, я свернул за угол, поставил ногу на педаль и уселся было на велосипед. Но тут меня осенило, что спешить сегод-

ня некуда: материал для очерка собран, статья в завтрашний номер сдана и скоро уйдет в набор. И я пошел не спеша по улице, ведя за руль свой видавший виды велосипед. За спиной у меня остался «перекресток», где встречались речки Кэм и Цементная с рекой Тамбак. Ветер доносил оттуда плеск волн и рокот прилива. Над головой в бескрайней синеве белые тучи плыли к цементному заводу.

Вдруг меня остановил звон медных колокольцев, и я увидел мохнатого черного щенка. Он прыгал и крутился у ног девочки в синей блузе и цветастых штанах; волосы ее, схваченные розовыми бантами в две густые пряди, метались по плечам; щеки были румяные, как яблоки. Она все время обгоняла щенка, подпрыгивая словно в танце и взмахивая руками, сжимавшими палочки с лентами, лиловыми, как цветы родомирта, с пунцовыми кисточками на концах. Ленты и эти кисточки то стлались над самой землей, то взмывали ввысь, дразня щенка, пытавшегося их поймать.

Я не знал, что и думать. Неподалеку — почему-то вспомнил я,— вон в том переулке, по правую руку, стоит обветшалая хижина, окруженная густыми зарослями кустов Будды [1], а в углу меж ними высится ствол душистой кананги. Не в этот ли переулок сворачивали всякий раз после представления циркачи из рода Хоа со своим черным медведем? Я безотчетно пошел следом за девочкой. Попавшаяся навстречу давняя моя знакомая из здешнего Народного комитета — она с корзиной снеди возвращалась с базара — окликнула меня:

— Собрались, небось, навестить вдову Хоа? Она сейчас дома. Уж убедите ее, пусть возьмет талоны на рис в горсовете. У нее был недавно товарищ оттуда, расспросил обо всем, предлагал помочь, а она ни в какую: «Отдайте, мол, лучше талоны тем, кто в них больше нуждается. Скоро наладят фабрику, и я снова буду работать».

Подойдя поближе, она, понизив голос, спросила:

— Вы не слышали, она, говорят, человек заслуженный? Тайная полиция дважды ее забирала, и в тюрьме, говорят, ее пытали. А когда французы угоняли людей на Юг, родичи тайком забрали Сяо Хоа к себе. Но потом вдова с дочкой все равно вернулись сюда...

«Вдова Хоа... Хоа... Сяо Хоа...» Меня вдруг бросило в жар. Неужто подобные встречи, которые и в мыслях трудно представить, случаются в жизни?!

Да, Хоа и впрямь жила здесь, на старом месте. Правда, по обе стороны переулка появились кирпичные дома, крытые железом. Но рядом по-прежнему стоял покосившийся домик — харчевня с дощатой пристройкой для постояльцев, навесом для повозок и земляным двориком, где высилась еще кананга — когда-то к ее стволу привязывали медведя. Собственно, харчевни здесь теперь не было. Лишь на уцелевшем деревянном прилавке высились кучки бананов и стеклянные банки с разноцветными пастилками; за прилавком сидел седой старичок, сухонький и сгорбленный, в долгополой коричневой одежде. А тут же, под боком, где некогда сам Хоа, глава бродячей труппы, ставил в тени кананги свой брезентовый шатер, над тщательно сложенными стенами пестрели изразцы черепичной кровли: дом вдовы Хоа! И я свернул туда, не придумав даже, приличия ради, какого-нибудь вопроса,— пришел, как приходят уже не впервые.

Та, кого называли «вдовой Хоа», сидела под канангой у самого порога и латала башмак. Услыхав щенячий визг, голос девочки и мое «здравствуйте, хозяйка», она, обрадовавшись сперва, стала тотчас серьезной и строгой. Вдова отодвинула бамбуковый табурет поближе к двери и поклонилась, оглядев меня блестящими, чуть раскосыми

[1] Куст Будды — голосемянное растение, корни которого дают надземные отростки, напоминающие маленькие фигурки Будды. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

глазами. Сердце мое замерло: я узнал эти глаза! Узнал губы — точно сложенные дольки миндаля... Круглое лицо, румяные щеки... Волосы, стянутые в две густые пряди пышными бантами, похожими на голубых бабочек... Это была та самая девочка, что плясала в городе лет двадцать назад! Сяо Хоа — Тиеу Хоа, дочь циркача Хоа! Вся их труппа состояла из двух человек и медведя...

Это она! Она — пусть по лицу разбежались морщинки; пусть глаза, окаймленные темными кругами, потускнели, и сама она, прежде округлая и невесомая, как цветок, как солнечный зайчик, стала медлительной и угловатой; волосы стянуты на затылке одним большим узлом, а лоб, когда-то гладкий и ясный, рассечен глубокими складками. Мне ли не знать ее черты, движенья, повадку! Я вдруг увидел воочию и самого Хоа, высокого и кряжистого, его обнаженный торс, шкуру леопарда, обернутую вокруг бедер. Вон он колотит в гонг, задавая ритм пляшущей с лентами девочке и черному медведю с белой грудью, громыхающему медными колокольцами.

Виденье растаяло, и я разглядел у дальней стены алтарь предков. На алом бумажном листе был начертан — не золотом, правда, а черной тушью — знакомый иероглиф «хоа», штрихи его восхищали четкостью и изяществом. Вдруг у самого алтаря увидал я копье с длинным древком, под наконечником, похожим на меч, алел, как встарь, расшитый золотом флаг; с древка свисала шкура леопарда, две палочки на длинных лентах и связка колокольцев.

Хозяйка подняла большой медный чайник, наполнила взятую из плетенки высокую чашку, поставила ее на подчос и пригласила меня отведать чая, заваренного из почек чайного листа. Я сел рядом с алтарем на стул, застланный циновкой, обшитой красным сукном, и стал разглядывать свисавшую с потолка картину: на развернутом свитке жесткой бумаги черной тушью написаны были поросшие лесом горы, река и деревушка вдали, у пристани. Хозяйка уселась на табурет, тоже застланный циновкой с красной каймой. У ног ее прикорнул и громко сопел щенок. Девочка подошла и прижалась к матери, поглядывая на нас блестящими любопытными глазами.

Осеннее солнце клонилось к закату. Ветер наполнил дом ароматом цветущей кананги. Тишина завладела домом, время будто потекло вспять. Сяо... Тиеу Хоа рассказывала о своей жизни. Ни много ни мало — двадцать лет...

Здесь, в этой комнате, отец ее закрыл глаза. И всего-то осталось после него — это копье, леопардовая шкура, палочки с лентами да медвежий ошейник с колокольцами. Умер он, когда ей исполнилось четырнадцать лет...

Началось все еще в сорок первом. Японцы тогда нагрянули к нам. Они перекрыли дорогу на Лангшон. Вот и пришлось семейству Хоа сиднем сидеть в Хайфоне. Французы тоже вконец озверели, волокли за решетку правого и виноватого, драли с народа три шкуры. Рис не купить было и за деньги. Люди пухли от голода, а из зерна гнали горючее для японских автомобилей и самолетов. С полей сводили кукурузу, выпалывали рис и сеяли вместо них джут. Чего ни хватишься — не достать, не промыслить. Повсюду скудость, лишенья, горе. «Цирк» Хоа сперва перебрался в Ханой, а после стал кочевать по городам и уездам, про которые шла молва, будто там всего вдоволь и ни тебе бомбежек, ни стрельбы. Но скоро ли, долго ли, а к Лунному новому году — да, так и есть, в сорок третьем — пришлось воротиться назад, в Хайфон. Медведь после долгих дорог на чужбине вконец отощал и ослаб. Иной раз даже отказывался от кормежки. Так что владельцы аптек и китайских зельниц стали подсылать к отцу ходатаев: мол, не продадите ли медведя на сало?

...А случилось это в воскресенье, теплым и ясным весенним днем. Утреннее представление они, по давнему своему обычаю, давали на мосту, неподалеку от сквера, где толпятся одни толстенные деревья и кругом ни травинки, ни цветочка. К тому времени закончилась служба в соборе и близился час отплытия кораблей на Хонгай и Намдинь, так что народу собралось много. В самый разгар действа, едва гонг зазвенел во всю мочь, а Тиеу Хоа быстрее прежнего стала плясать с лентами вокруг медведя, вдруг послышалось конское ржание и собачий лай. Здоровенный коняга — шерсть его так и лоснилась,— громыхая подковами, приблизился к самому тротуару. В седле восседал японский офицер в фуражке с блестящим козырьком, на боку у него висела украшенная золотой кистью длиннющая сабля, а острое лицо было холодное и злое. Он слегка натянул поводья и через головы зрителей заглянул в середину круга. Тут следом за ним подоспел пузатый солдат в рубашке с короткими рукавами и в коротких штанах — он крепко держал рвавшихся с поводка трех собак. Все псы здоровущие — толстяку по грудь, пятнистая серая шерсть их тоже лоснилась на солнце. Острые уши стояли торчком, промеж клыков свисали красные языки, глаза злобно бегали по сторонам.

Вдруг конь, задрав голову, громко заржал. Офицер натянул поводья. Тогда солдат засвистел в свисток, собирая собак вместе. Всадник сощурил глаза; лицо его стало совсем ледяным, он вроде не замечал никого вокруг. Люди молча расступились. Тротуар возле офицера с собаками опустел. Отец как ни в чем не бывало бил в гонг, и Тиеу Хоа плясала с лентами перед медведем. Но что-то мешало ей сосредоточиться. Мучило предчувствие близкой беды. Да и само представление, хоть неприметно для сторонних глаз, как-то разладилось. Когда пришло время Тиеу Хоа, изображая усталость, замедлить мелькание лент, медведь, словно захмелев, знай себе напирал на нее по-прежнему. Он едва не бросился на нее. Но ленты и рукава ее блузы снова взлетели вверх, и медведь, повинуясь их взмахам, доиграл все как положено. Тиеу Хоа, сложив палочки вместе, вышла вперед и стала кланяться людям, громко хлопавшим в ладоши. Медведь, поверженный было наземь, вскочил, подбежал к ней, как бы желая принять свою долю похвал. И они разыграли новый веселый танец.

Тут она услыхала нечто, похожее на смех. Но это оказались отрывистые слова команды. На последнем слове офицер чуть слышно хихикнул. Глаза его, узкие и острые, словно листья ползучей травы жаужам, стали совсем как щелки. Толпа тотчас растаяла. Послышались вроде чьи-то крики; потом Тиеу Хоа поняла: это ревели собаки, рвавшиеся к медведю.

Она закричала отчаянно. И не успев отскочить в сторону, услыхала, как злое рычанье в мгновение ока сменил жалобный вой и визг. Самый огромный пес, первым бросившийся на медведя, с разодранной, залитой кровью мордой тщетно пытался подняться с земли. Зверь выдрал ему когтями глаза и размозжил череп.

Попятясь, Тиеу Хоа спряталась позади медведя.

Он снова встал на дыбы.

Второй пес, кинувшийся на него, рухнул наземь, из развороченного собачьего черепа хлестала кровь.

Вдруг слух ее резанул пронзительный крик отца. Сорвав с древка конец медвежьей цепи, он угрожающе поднял копье...

Из стоявших рядом артиллерийских казарм набежали солдаты. Они окружили Хоа с дочерью и медведем и, наставив на них винтовки с примкнутыми штыками, загнали в подвал. Там помещался кар-

цер. На третий день, когда солнце поднялось на высоту бамбукового шеста[1], солдаты вывели всех троих, чтоб привести в исполнение вынесенный им приговор. Она увидела два врытых в землю железных столба, окруженных железной оградой, перевитой колючей проволокой. К одному столбу солдаты корабельными цепями привязали медведя, защелкнули кандалы на лапах и стянули проволокой пасть. Отцу тоже надели кандалы и привязали к другому столбу — лицом к лицу с медведем. Тиеу Хоа заставили стать на колени и привязали к столбу у ног отца.

Офицеры — по старшинству — расселись на стульях перед столбами. Вокруг выстроились солдаты с винтовками, примкнули штыки и щелкнули затворами. Тогда на медведя спустили десять огромных собак и еще одну — израненную, что уцелела после схватки. Псы рвали и грызли медведя до самого вечера. Потом японцы сварили медвежье мясо и заставили Хоа с дочерью есть это варево. Каким только издевательствам и пыткам не подвергали их! Раз в день получали они горстку прогорклых рисовых поскребков да чашку жидкой похлебки; случалось, им не давали и этого, и они жевали траву, подобранную у коновязи. Так кончилась весна, прошли лето и осень. Когда их отпустили, Тиеу Хоа — от нее остались кожа да кости — едва дотащила отца до постоялого двора. И той же ночью он скончался.

А добро их — копье, палочки с лентами, медные колокольцы и леопардовая шкура — уцелело благодаря стараниям зрителей, они подобрали все и вместе с коромыслом, корзинами, ларцами доставили сюда, на постоялый двор. Эти же люди да кое-кто из земляков собрали еще немного денег и рису и оставили хозяевам харчевни — на пропитанье Тиеу Хоа и на лекарства...

Видя, что я не прочь выпить еще чая, она снова наполнила мою чашку. Черты лица ее и вся фигура оставались спокойны и неподвижны. И голос, когда она начала рассказывать дальше, звучал негромко и ровно. Я слушал ее внимательно, но мысли мои блуждали где-то далеко; мне виделся, как живой, черный медведь, схватившийся с двумя свирепыми псами, я слышал пронзительный гневный крик Хоа, сжимающего копье, и рычанье собак, терзающих скованного зверя. Я не задавал ей вопросов, хотя и заметил, что в доме не было ни единой вещи, говорящей о присутствии мужчины, да и сама она не обмолвилась ни словом о муже, о своей семье.

«А может,— подумал я,— девочка эта — приемыш? Не потому ль ее тоже зовут Тиеу Хоа? Разве, будь хозяйка вдовой, дочь ее не носила б фамилию отца? А у них у обеих фамилия Хоа! Или хозяйка и впрямь вдовствует, только с мужем ее связано нечто такое, о чем никому не скажешь?..»

Она растрогалась, услыхав, что перед ней непременный зритель их «цирка». И когда я, ударившись в воспоминания, стал обстоятельно перечислять их представления, она удивленно взглянула на меня и вдруг, заморгав, опустила голову. Но я заметил: ей было приятно подсказывать мне кое-какие позабытые мною подробности, и вообще разговор наш пришелся ей явно по сердцу. Тем временем на дворе стало смеркаться. Я попрощался с хозяйкой, но она проводила меня до конца переулка и пригласила заходить к ней еще, ей ведь есть о чем порассказать.

Месяца полтора спустя я узнал, что трикотажная фабрика, наконец, восстановлена и тетушка Хоа снова работает там — руководит модельерами, придумывает новые фасоны, расцветки.

[1] Бамбуковый шест, используемый в хозяйстве, всегда примерно одинаковой величины (около двух метров), часто служил и мерой длины.

Однажды, под вечер, собрав материал для статьи, я катил на велосипеде обратно в редакцию и увидал среди прохожих обеих Тиеу Хоа — старшую и младшую. Они шли, держась за руки, по бульвару, что у реки Тамбак, наверно, возвращались домой. И тут меня осенила мудрая мысль: столичный цирк ставится сейчас, можно сказать, на широкую ногу; представлю-ка я циркачам новых моих знакомых, небось и для них дело найдется. Если тетушка Хоа сама выступать и не захочет, почему бы ей не разучить прежние номера с дочерью, к тому же, попав в цирк, девочка овладеет новыми современными трюками. А педагогам и тренерам пригодится опыт старинного жанра.

Я не мог без волнения смотреть на девочку, шедшую рядом с матерью: точно такие же щеки, румяные, как спелые яблоки; те же блестящие чуть раскосые глаза, ноги, приплясывающие на ходу, и руки, трепещущие, словно крылья. Такою я и увидел впервые Тиеу Хоа ровно двадцать лет назад, когда она бежала за отцом, шагавшим с коромыслом на плече и копьем в руках; и черный медведь ковылял рядом с ними, бренча медными колокольцами. А прилив поднимал воды реки Тамбак, и белые облака вперемешку с клубами дыма, валившего из фабричных труб, плыли в предзакатном небе — как всегда на исходе осени...

Апрель — май шестьдесят седьмого.

Янки, обезумев от ярости, наносили по Хайфону удар за ударом. Но каждая операция их кончалась позорным провалом. Именно над Хайфоном был сбит тысяча восьмисотый американский самолет. Восемьдесят, потом девяносто, наконец сто реактивных машин нашли свою могилу на хайфонской земле.

Я давно не бывал здесь и потому, переехав по мосту через Большую реку и выбравшись на южное шоссе, с каким-то особым волнением глядел на раскинувшееся до горизонта море. Волнение это не проходило и после, когда, доехав до места, я слушал беседу о боевых делах жителей города-порта и потом отправился на позиции ополченцев, оборонявших такие знакомые и казавшиеся теперь непривычными заводы и фабрики. Волнение, пожалуй, даже не то слово, это был какой-то тревожный, но радостный и бодрящий душевный подъем. Как будто я после долгой разлуки вернулся домой, повстречал своих близких, возмужавших и прославившихся, и жаждал теперь поскорей окунуться в их трудную кипучую жизнь, увидеть собственными глазами все как есть.

Как раз в эту пору, в середине мая пятьдесят пятого, а точнее — тринадцатого числа, я возвратился в Хайфон и рыскал по городу, собирая материал для первых своих очерков.

Небо алело, словно огромный костер.

Утро, собственно, еще не начиналось, и повозки — вереницею — громыхали, поднимая тучи пыли [1]. А в скверах, на бульварах и обсаженных деревьями улицах Земляного моста, Долгих песков и Арековых пальм люди на тротуарах как ни в чем не бывало приседали, прыгали, махали руками в такт передававшейся из Ханоя радиозарядке. И впервые обычная эта передача показалась мне не только полезной, но — как бы сказать поточнее? — эстетически зрелищной.

Едва в лучах рассвета зарозовели края белых туч на глянцево-сером, как жесть, небе, повсюду — в жилых кварталах, в складских помещениях и заводских корпусах, на стройплощадках и причалах —

[1] Во время бомбежек движение по дорогам Северного Вьетнама разрешено было только в ночное время.

начался немолчный размеренный гул. И тотчас, спеша завершить утренний свой «пробег», заторопились в разные, в разные стороны запряженные быками двухколесные повозки, груженные огромными бревнами, чугунными трубами, железными станинами весом чуть ли не в тонну, похожими на ракетные установки, а навстречу им катили грузовики и автокраны. Иногда в этом шумном потоке появлялась неторопливая тачка: ее тянул за поручни глава семейства, а сзади толкала жена с отпрысками. Даже в жилых кварталах, где ничего вроде и не было, кроме домишек, крытых бамбуком или железом, вдруг вспыхнуло пламя кузнечных горнов и тяжело задышали переселившиеся туда машины; так что временами казалось, будто вот-вот запылают или рухнут от сотрясения все дома окрест. Словом, весь город огласился тяжким звоном кувалд, ревом моторов, свистом приводных ремней, скрипом лебедок и блоков, гулом пламени в печах и форсунках, громом листового железа, перекличкой людских голосов. Каждый старался работать быстрее, еще быстрее и лучше. Во имя победы! Во имя полной победы!..

Динамики разнесли сообщение Городского штаба противовоздушной обороны: вражеские самолеты действовали в пятидесяти километрах к юго- и северо-востоку от города... Потом появились в сорока километрах, затем — в тридцати... Ясно было: они вот-вот обрушатся на город. Силы ПВО изготовились к бою.

Времени оставалось в обрез, я не успевал ни повидаться с друзьями и знакомыми, ни даже заглянуть на старую свою работу. Вместе с писательской группой я сразу отправился на завод. Утро выдалось ясное и солнечное, дул переменчивый западный ветер. Позиции заводского ополчения располагались у реки Неу. По берегу, насколько хватало глаз, разбегались дороги — к городским кварталам и пригородным деревушкам. Но большую часть обзора занимала река, в которой отражались редкие облака. На воде, как и на суше, царило оживление: множество лодок, шаланд, баркасов сновало по мутноватой илистой реке. Почти все они шли под парусами; белые полотнища, надутые ветром, придавали им сходство с вздыбившимися скакунами, летящими вперегонки по полю сражения.

Первой осматривали мы позицию на самом берегу. На тропинках вокруг орудийных гнезд под ногами скрипела галька и пересохший песок, в нем то и дело попадались выброшенные морем ветки, стебли растущей на отмелях травы, водоросли и ракушки. Брустверы сложены были из цементных плит, поросших кое-где аспарагусом, его у нас называют волосами феи. Неподалеку цвели розы, жасмин, гранаты. Рядом с глыбами кирпича и цемента, из-за которых настороженно поднялись к небу стволы зениток, цветы эти выглядели бесценными творениями природы.

Политрук, водивший нас по позициям, рассказывал об ополченцах своего завода, и чувствовалось: он гордится делами каждого.

Когда начали строить завод на этой заброшенной пустоши — ее прежде то и дело заливало соленой морской водой,— заводские парни и девушки по выходным дням таскали сюда камни для дамбы, чтоб оградить площадку от высоких приливов; носили землю, высаживали цветы и деревья и разбили рядом с заводом большой парк. «Завод наш,— говорили рабочие,— расширяется, коллектив растет. Людям будет приятно прийти сюда после смены, отдохнуть, искупаться в реке, заняться в кружках самодеятельности или послушать музыку. Всем найдется развлеченье по вкусу — и старым и малым...»

Я присел на цементную скамью рядом с зеленым газоном и двумя цветущими кустами жасмина у самой дамбы, о камни ее с шумом разбивались волны. Глядя вдаль, я провожал глазами корабли и парус-

ные суденышки, уходившие в море: оттуда, где испещренная белыми барашками морская синь сливалась с голубизной неба, рвались к городу реактивные истребители-бомбардировщики, сеявшие разрушение и смерть. А здесь, неподалеку от меня, их уже ждали у своих орудий заводские девушки и парни, готовые вместе с соседними подразделениями ополченцев встретить врага. Огненная сеть, взлетавшая в небо на пути самолетов, была настолько плотной, что они чаще всего сбрасывали бомбы куда попало и поворачивали назад.

Следующая позиция находилась подальше от берега: тут, собственно, кончалась заводская территория. Повсюду виднелись котлованы и ямы, заполненные водой, груды битого кирпича — печальные памятники девятилетней оккупации Хайфона французскими войсками; именно здесь понастроено было тогда множество тюрем — целый район могильных казематов, подвалов и камер. Отсюда было рукой подать до пригородной улочки, где жила «вдова Хоа», Тиеу Хоа давней моей молодости. Я заприметил даже канангу, высившуюся у ее дома. Но поблизости от кананги появились прямоугольники бетонных фундаментов, ощетинившихся стальными сваями, а рядом с подведенных уже под крышу заводских корпусов снимали леса, в новых цехах гудели станки. Вокруг вились асфальтированные дороги, светлели покрытые гравием площадки, зеленели газоны.

Шагая следом за политруком — он рассказывал о недавних боях и отличившихся в них ополченцах,— я невольно поглядывал в сторону пригорода. Ведь там, где строился нынче завод, в сорок третьем, сорок четвертом и сорок пятом как раз и был японский военный городок; там, на пустыре, бродячий циркач Хоа с дочкой и черным медведем преданы были мученьям и казни. Мне вдруг почудилось, будто я вижу в руках разъярившегося Хоа копье на длинном древке, направленное прямо в багровую рожу застывшего в седле офицера. Широкий, как меч, наконечник, сверкая на солнце, возносится к небу, вспененному белизной облаков, куда глядят из-за брустверов стволы орудий, замаскированных листвой; солнечные зайчики играют на гранях массивных стальных замков, в снарядных ящиках лоснятся округлые бока медных гильз.

Я пересек тропинку, уходившую отсюда прямо к улочке, где жили обе Тиеу Хоа — большая и маленькая, и вступил на огневые позиции. Стенки орудийных гнезд, землянок — там ополченцы находились во время затишья,— ходов сообщения и съездов для пушек были обшиты бамбуком и тесом. Пузатые лягушки эньюнги составили громогласный хор у самых брустверов. Плети люффы, унизанные желтыми цветами, вились по бамбучинам и доскам. В лужах меж кустиками сыти лиловели лепестки болотной чечевицы. Мы подошли к орудию в тот самый момент, когда ополченки — ими командовала Чан Тхи Мо — сменяли дежуривший прежде мужской расчет.

Утром на дирекции был весь заводской штаб ополчения; и там Чан Тхи Мо рассказала подробно о своем расчете и о себе. Больше всего, пожалуй, говорила она о последних, самых ожесточенных налетах, которые обернулись для янки особенно тяжелыми потерями. Теперь Мо, издалека еще махавшая нам рукой, чтоб мы сперва заглянули к ней, шла нам навстречу. Судя по улыбке ее и сияющим глазам, она была нам очень рада.

Мо едва минуло девятнадцать. Отец ее работал столяром, потом вместе с ним стал трудиться и брат. А она нянчила племянника, чтобы брат с невесткой, оба, могли работать; и притом еще ходила в школу, доучилась до четвертого класса. Потом пошла на завод: сперва была на подсобе — очищала металл от ржавчины, а там стали ей доверять дела поважнее, теперь вот — фрезеровщица, окончила ве-

чернюю семилетку. Как только американцы начали бомбить город, Мо записалась в ополчение и с тех пор участвует в военных действиях. Во время самых тяжелых бомбежек Мо со своим расчетом ни разу не уходила в укрытие. Однажды янки обрушили бомбовой удар на территорию завода. Вокруг полыхали разрывы, столбами взлетали к небу земля и камни, пропитанный гарью воздух, свистя, раздирали осколки. Связь с наблюдательным пунктом была повреждена. Чан Тхи Мо сама обнаруживала цели, давала координаты. Она выжидала до последней секунды, и лишь когда самолеты заходили в пике на цель, командовала «Огонь!» двум расчетам — своему и соседнему...

Косые лучи солнца стлались по брустверу, дул свежий ветер. Чан Тхи Мо поздоровалась с нами; лицо ее — блестящие глаза, румяные щеки, яркие губы, белозубая улыбка,— все ее существо дышало свежестью и задором юности. Неподалеку от нее, по другую сторону орудия, стояла девушка в синих матерчатых брюках, рубашке и шляпе. Мы не успели еще пожать руку Мо, а она уже, обернувшись, представила нам подругу.

— Это — Хоа Бао Ван! — Голос ее звенел, как колокольчик.— Первый номер нашего расчета. Недавно ее на общегородском смотре называли среди лучших бойцов.

— Здравствуйте, Хоа Бао Ван!

— Привет вам, сестрица Ван!

— Здравия желаю, номер первый!

— Доброго здоровья, сестрица Хоа Бао Ван!

Девушка, улыбаясь, кланялась нам. Политрук почему-то вдруг засмеялся и южным своим говорком произнес:

— Прошу любить и жаловать — Тиеу Хоа, младшее наше чадо. С Чан Тхи Мо неразлучна, как тень. В свои восемнадцать лет первый номер расчета, лучший боец. Только вот в претензии она на матушку свою да и на наш штаб тоже. Дома мать с завтраком запаздывает, усядется Ван за еду — тревога; она со всех ног на завод, а ворота на запоре — приказ штаба. И ей к своей пушке никак не добраться... Они с Чан Тхи Мо и в самодеятельности заводской первые люди. Правда, Мо — она только в тео [1] горазда играть, а Хоа — та и петь и плясать мастерица. С лентами, с мечами танцует — слов нет!..

Сердце вдруг замерло у меня в груди и тут же заколотилось с неистовой силой.

Кто б мог подумать?! Девушка, о которой так много сказано, была утром на беседе — да она и сама выступала там,— я даже имя ее записал в блокнот: хотелось встретиться и расспросить ее поподробней... Хоа Бао Ван!.. Тиеу Хоа!.. Сяо Хоа...

Пятицветные ленты с белыми кистями взметнулись, рассекая солнечные лучи... Сверкнуло снова копье, вознесенное мускулистыми руками Хоа... Из орудийного ствола, торчавшего в сторону моря, навстречу ревущим реактивным машинам рванулись одна за другой вспышки огня. Жизнь, всесильная и неодолимая жизнь, отгоняла смерть прочь...

---

[1] Жанр национального театра, ведущий, по-видимому, свое начало от средневековых ярмарочных представлений и сельских праздников; разговорный диалог сочетается в нем с песнями и танцами. Тео пишут и современные авторы, в том числе и на злободневные сюжеты.

■

МАКСИМ НДЕБЕКА

Девятьсот восемьдесят тысяч

ПОЭМА

Перевод с французского АЛЕКСАНДРА КАРЛОВА

Еще один год
Жарил на солнце яйца пустые
Год урод
Год на котором век
Никаких не оставил вех
Спросите кого угодно — не было этого года
Год безродный
Вчера ноги еле волок
Сегодня сморщился вовсе в комок
Еще один год
Крохотный словно атом
Пáсти дýхов вокруг алчные
Сморщились дни
Мрак ночной луну заслонил.

Солнце спросить вы посмеете
Почему оно сократило путь
Луну спросить вы посмеете
Бродит ли кто в закоулках ночи
Себя спросить вы посмеете
Почему у женщин груди усохли
Почему реки иссякли
Почему кладовые земли как решето худы
Почему в небесных прудах ни капли воды
Почему угасает жизнь
Почему она угасает у нас и
Почему у них она ярко горит

Сытый голодного не разумеет
Кто посмеет — Кто посмеет — Кто посмеет
Мы посмеем

Девятьсот восемьдесят тысяч нас
Девятьсот восемьдесят тысяч —
изголодавшихся
исстрадавшихся
одичавших

© Editions Pierre Jean Oswald, 1975.

Идем мы с заводов
Идем из лесов
деревень
трущоб
В глотках горит огонь
Ямы на месте глаз
В животах голодная боль
Вены — жгуты
А руки тверды
А ладони — мозоль
А подошвы крепче скалы.

Девятьсот восемьдесят тысяч нас
Девятьсот восемьдесят тысяч —
рабочих
безработных
и немножко студентов
Право у нас осталось лишь на малую толику жизни

Заводы не спят
Плодородна земля
Два плюс два будет четыре как ни крути

Ночью и днем
Из труб Кинсунди валит дым
Ночью и днем
Хлопочет крестьянин над каждым ростком
Ночью и днем
Студент у стола
В мыслях диплом
Год за годом
Канут как в воду

А жизни нет — угасла вконец
Глотки суше безводных пустынь
Глаза — камеры осужденных на смерть
Животы голодные — смерч
Плоть — высосанный апельсин

Идем мы с заводов
Идем из лесов
деревень
трущоб
Устали глаза небо сверлить
Надежды на бога нет
Сожгли мы молитвы
Пусть будет свет
В глухих закоулках земли.

Мы идем — девятьсот восемьдесят тысяч нас
Стучаться не будем — настежь ворота
Вот они — двадцать тысяч
Двадцать тысяч пророков
Двадцать тысяч — мастера творить чудеса
У ног «мерседесы»
Пьяные сытые

До колен свисают
Животы набитые
Славные славные ох и славные чудеса

А мы сотворим сами
свои чудеса
Сотворим сами
самим себе
свои чудеса

Сморщенные дни — прочь
Головы нам хватит морочить
хватит каст
хватит пророков
хватит черных дýхов
хватит потайных сборищ
хватит чиновных чинуш прожорливых

Мы разнесем
все стены
Мы разнесем
дома
Где двадцать тысяч скрываются
Где они в кладовых набитых скрывают
Наш рис
нашу картошку
наш сахар
наш табак
нашу одежду
нашу жизнь

Идите идите все
Крестьяне и рабочие
Студенты и безработные
Земля для всех
Двадцать тысяч ее заграбастали
Но наши головы бритые
забитые
на солнце каленные
Все-таки подсчитали
Задачка простая
Миллион минут двадцать тысяч
Девятьсот восемьдесят тысяч нас
Мы сильней
Мы свое отберем

■

АЛЬБЕРТ ВЕНДТ

Рассказы о Самоа

■

Перевод с английского и вступление Л. ВОЛОДАРСКОЙ

Океания. Один из самых экзотических регионов земного шара, о котором немало и всегда с увлечением писали европейцы. Он был для них «райским уголком», куда еще не добралась цивилизация и где их встречали богатая природа и гостеприимные аборигены, живущие по законам, которые завещаны были предками. Конечно, на самом деле все было несколько иначе и сложнее. И законы исторического развития, и колониальная зависимость с неизбежностью сказывались на психологии и жизни людей с островов и атоллов Тихого океана.

Меланезийцы, микронезийцы и полинезийцы — потомки древнего народа, населявшего когда-то некую страну Гаваики, местонахождение которой, несмотря на исследования ученых и отважных путешественников (знаменитое плавание Тура Хейердала на плоту «Кон-Тики» в 1948 году), остается неизвестным. По каким-то причинам им пришлось покинуть родину и искать себе новое пристанище. Они плыли по Тихому океану от острова к острову, оставляя почти на каждом своих сородичей и соплеменников. Было это примерно в XIV—XV веках. Затем было освоение островов. Потом в XIX веке — быстрая колонизация Океании европейцами. Во второй половине XX века — еще более быстрая деколонизация, когда народы, уровень жизни которых соответствовал, как правило, каменному веку, оказались вдруг лицом к лицу с достижениями самой современной цивилизации.

Социальные изменения, которые потрясли район Тихого океана и привели к образованию независимых государств, повлекли за собой рост национального самосознания, необычайно быструю активизацию всех творческих сил и, несомненно, стали главным стимулятором становления современной литературы Океании. Она родилась примерно в середине 1960-х годов и с самых первых шагов заявила о себе как литература многообразная и истинно национальная, корнями своими уходящая в многовековую историю устного народного творчества. Безусловно, ей сразу же пришлось столкнуться с трудностями. Например, языковыми. В Океании около 1200 языков и диалектов, на которых разговаривают и не только разговаривают, но сохраняют жизнь песням и легендам далеких предков и сочиняют новые песни и легенды, отражающие приметы сегодняшнего дня. В наши дни основным литературным языком этого региона является английский, язык большинства местных учебных заведений. Однако в него вливаются многие местные термины, не имеющие аналогов в Европе. К тому же писатели Океании часто вводят в свои произведения речь на родных диалектах. И, самое главное, учась литературному ремеслу у мастеров англоязычных, они не отрекаются от национальной литературной традиции, заложенной в фольклоре.

Один из наиболее интересных писателей Океании — Альберт Вендт, уроженец Западного Самоа — страны, шестнадцать лет назад получившей статус независимого государства.

Лейтмотивом творчества А. Вендта стало возрождение национального, точнее — человеческого достоинства коренного самоанца. В его прозе — всегдашний конфликт: противоборство мироощущения исконного океанийца и папалаги [1], вестника «белого рая». Часто он предстает как конфликт внутренний, психологический, обоснованный, однако, конкретными социальными условиями сегодняшней Океании. От разрешения его в реальной жизни в немалой степени зависит будущее Океании. «Все мы, каждый на свой лад,— пишет Вендт,— ощупью, словно слепцы, ищем ту благословенную оби-

[1] Самоанское слово, означающее «пришелец», неокеанец». Обычно так называют белых. *(Здесь и далее прим. перев.)*

© Albert Wendt, 1974.

тель Гаваики... где мы сумели бы обрести самих себя. Большинство из нас, увы, так никогда и не найдет этой обители, а, может быть, найдя ее, не узнает. Но я в данный момент моей жизни нашел свою Гаваики — нашел в Океании: это возвращение туда, откуда я пришел в мир, или, пожалуй, поиск пути туда, где мне была дарована жизнь...»

Духовная деколонизация народов Океании — это та великая цель-мечта Альберта Вендта, маорийского поэта Хоне Туфаре, маорийского писателя Вити Ихимаэра, папуасского поэта Кумалау Тавали, папуасского писателя Джима Бэйтала, фиджийской писательницы Маргарет Гриффен и многих, к счастью, теперь многих других, которые, «каждый по-своему познавая мир, творчеством своим... создают новую Океанию».

Не приемля лжи, лицемерия, ханжества капиталистической цивилизации, Альберт Вендт, однако, не идеализирует и патриархальную старину. Он хорошо помнит и об ее жестокости, и ее нищенстве, и ее невежестве, что жило наравне со справедливостью, добротой, искренностью. Он понимает, что социальные и духовные перемены неизбежны, что возвращение к прошлому невозможно, да и не нужно. Но сохранить лучшее из своего прошлого, сохранить национальный характер, по мысли автора, не только возможно, но и необходимо.

Декларация независимости

Мистер Ёшуа Паовале — верноподданнейший служащий отдела общественных работ, более тридцати лет проработавший сначала младшим, потом старшим клерком, строгий отец семи образованных детей (четырех мальчиков и трех девочек), почтенный, хотя временами слишком усердный и высокопарный, церковный староста, неофициальный лидер здешних мужчин, непременный член Ассоциации бывших учеников Авеле и постоянный, ненасытный читатель фундаментальных трудов по вопросам религии, распространяемых Свидетелями Иеговы,— мистер Ёшуа Паовале неторопливо брился в душевой каморке (в свои шестьдесят лет он чувствовал в себе силы жить вечно), когда Нофоа — его жена, прожившая с ним более сорока лет, мать всех его детей — вышла из-за живой изгороди, что стеной окружала душ, и, поинтересовавшись, доволен ли он бритьем, вышибла ему мозги из ружья, накануне любезно одолженного ей соседкой, миссис Таньелу. (За два дня до этого миссис Таньелу сообщила Нофоа, что ее муж подарил некоей «китайской крошке», которая работает у него в конторе, лосьон для волос и, пожалуй, слишком длинный отрез шелка. Такие подарки, сказала в заключение миссис Таньелу, на которой Паовале сорок лет назад отказался жениться, явное доказательство незаконной связи. «Такой лосьон можно подарить только любовнице!» — воскликнула миссис Таньелу.)

Нофоа, которую Паовале пламенно любил с той самой минуты, когда убедился (под изгородью недалеко от больницы, где она училась на медицинскую сестру) в ее девственности, и до того мгновения, когда она застрелила его, обладала спокойным, сдержанным характером. Это подтверждали и все выступавшие на суде свидетели. Все — и соседи, и прихожане местной церкви, и члены женского комитета — знали ее как милую, любящую женщину, абсолютно преданную мужу, детям, семье и богу. Ее духовный пастырь, который не отрицал блага смертной казни, заявил на суде: «Нофоа — очень, очень честная женщина, очень добрая, очень работящая. Очень, очень достойная дочь церкви. Она просто неспособна причинить зло». Но судью Макарти, престарелого шотландца с огненно-рыжими волосами и ветхозаветным голосом, из-за которого его прозвали Дьяволом, прошлое не интересовало. «Я согласен поверить... я даже верю, что миссис Паовале хорошая мать, добрая христианка и достой-

ная гражданка, но это не имеет никакого отношения к убийству! — провозгласил из-под белого парика судья Макарти.— Согласно обвинительному заключению миссис Паовале застрелила своего мужа Ёшуа Паовале умышленно».

На следующий день суд в лице судьи Макарти признал миссис Паовале виновной в убийстве из ревности. Миссис Паовале убила мужа двумя выстрелами из ружья двенадцатого калибра, после чего добровольно сдалась полиции и в письменном заявлении признала себя виновной в убийстве Ёшуа Паовале. Миссис Паовале, пятидесяти восьми лет от роду, проживающая в Ваипе, была признана виновной в преднамеренном убийстве.

Большинство присутствовавших на суде, узнав, что миссис Паовале убила своего мужа за измену, оправдывало ее. Жены или мужья, поступающие иначе,— не женщины и не мужчины, а бесчувственные амебы. Продырявить из ружья череп мужа и вышибить его неверные мозги было поистине необходимо, отдать себя в руки полиции и сознаться во всем — великолепно, героично и истинно по-христиански. А посему миссис Нофоа Паовале, пятидесяти восьми лет от роду, проживающая в Ваипе, не виновна в преднамеренном убийстве: она лишь достойно отомстила за вопиющую обиду, нанесенную ей Ёшуа Паовале, шестидесяти лет от роду, проживавшему там же, в Ваипе.

Пятнадцатого февраля 1952 года в четыре часа дня суд в лице судьи Макарти, известного еще под кличкой Засиженный Мухами-Дьявол из-за множества веснушек на его лице, признал миссис Паовале виновной в убийстве и приговорил ее к повешению.

Опять будет знойный день; еще не проснувшись, Паовале уже это чувствовал. Температура за восемьдесят [1], ветра нет и солнце — одно лишь пульсирующее солнце. Тайна заключалась в сверхчувствительности его кожи, могущей поспорить с самым точным градусником. Сколько он себя помнил, каждое утро, не открывая глаз, он чувствовал, каким будет день. Сейчас половина седьмого или без пятнадцати семь, он знал и это, хотя часы лежали под подушкой и он еще на них не глядел. Он всегда просыпался минута в минуту без будильника, часы были у него в голове, подсоединенные к мозгу тридцатилетней привычкой просыпаться в одно и то же время. Он открыл глаза. Вздохнул. Первое июня 1951 года. Шестьдесят лет, пять месяцев и двадцать дней. Он сел под москитной сеткой. Все так же не глядя, он в точности знал, где в данный момент находился каждый член его семьи: Нофоа и дочери, ученицы старших классов, готовят на кухне завтрак — чай и хлеб с маслом, старшие мальчики сейчас в душе или около него, собираются на работу, их жены помогают на кухне, Малелуа — самый младший и любимый сын (который, он верил, закончит школу, поедет на казенный счет в новозеландский университет и вернется домой с ученой степенью) — еще спит на единственной в доме кровати, пятеро внуков спят под кроватью, четыре внучки либо собирают листья хлебного дерева, либо еще спят. Громко зевнув, Паовале приподнял москитную сетку, на коленях выполз из-под нее, завернулся в простыню, которой укрывался ночью, и, скрестив ноги, сел лицом к пробудившейся уже от сна дороге. Река Ваипе протекала всего в нескольких ярдах от дома, за полем цветущего таро, огороженным кустарником, она-то и дала имя всей округе. Утренний воздух был пропитан ее вонью, но Паовале не обращал внимания, приняв ее еще в детстве как неотъемлемую

[1] Температура указана по шкале Фаренгейта.

часть его единственного акра земли, его дома, семьи, всего, что его окружало. Похоже на запах смерти, часто думал он, когда поздно вечером ему не хотелось ложиться спать и он слушал, как река огромной илистой змеей ползет мимо полицейского участка, мимо церкви, к морю.

Он затянул гимн. С плачем и шмыганием начали просыпаться внуки и Малелуа и присоединяться к пению. Без пятнадцати семь. Он произнес короткую молитву, встал, натянул на себя лавалава [1], аккуратно свернул простыню, положил ее на сундук позади сетки и пошел в душ.

Все его женатые сыновья были уже на кухне, пили чай из дымящихся кружек и ели толстые куски хлеба, в то время как Нофоа и невестки намазывали маслом другие куски и складывали их на оловянные тарелки для младших детей. Старшие сыновья горько его разочаровали. Ни один не пошел дальше начальной школы, и не его в том вина. Он все сделал, чтобы заинтересовать их учебой и государственной службой, которую не получить без образования, но они предпочитали шатание по улицам, биллиардные салоны, кино — легкое, беззаботное времяпрепровождение почти всех молодых людей в Ваипе,— пока вдруг не оказались женатыми, и тогда Паовале, которому надоело всех содержать, пристроил их на дорожные работы. Однако он продолжал помогать им, таков был его отцовский долг, божье благословение, от которого он не избавится до пенсии,— впрочем, до нее осталось всего два года,— а там уж им придется содержать отца. Малелуа, самый умный из сыновей, получит степень и порадует его старость, добьется, чтобы их положение в Ваипе и в целой стране стало еще выше.

Мимо него из душа прошли дочери и на ходу поздоровались, коротко кивнув головой. Старшая дочь Сина, удивительно красивая и послушная девушка, хотела стать медицинской сестрой, уродливая Фаатази мечтала быть учительницей, одна Луафата, младшая, еще толком не знала, чего ей хочется. Все три сестры хорошо учились. И он надеялся, что они удачно выйдут замуж. Может быть, за священников. Или за папалаги. Или учителей. Или самоанских врачей. Пусть даже за государственных служащих. Женитьба придаст им самоуважения и повысит их общественный статус. А сколько девушек в Ваипе скатились или скатываются до «грешной жизни». Никакого самоуважения. Потаскушки! Он заставил себя не думать об этом. И пошел в душ.

Прежде чем повернуть кран, он посмотрел на небо, сверкающее ярким, быстро растекающимся светом. Какая досада, что я не могу бросить работу и, как все старики, посиживать себе в тенечке, дожидаясь смерти и ни о чем не думая, кроме умиротворения души, дабы она была готова ко встрече с всевышним. Он чувствовал силу неба, нежно обнимающего, поглощающего его. Не раздумывая больше, он включил душ, и его обдало холодом и отбросило обратно в реальную жизнь, запах мочи поднимался от выложенного камнями пола, земляные черви корчились в иле около изгороди, летали мухи, смертный холод замораживал кости. Я не должен давать волю воображению, подумал он. Он был привязан к земле, прикован к ней токами, неотвратимо испускаемыми теплом, из которого он вышел, земля звала его обратно к себе, а небо стремилось вознести его как частицу света, как легкую звезду. Он взял с маленькой металлической полочки, прикрепленной к душу, бритву и начал небрежно брить щеки. Ты, Ёшуа Паовале, сказал бы его отец, ты шестидесятилетний слуга правительства, который не имеет права мечтать, ты кор-

[1] Самоанская одежда из куска ткани, обернутого вокруг бедер.

мишь большую, голодную, прожорливую семью, ты должен ее одевать, учить и, может статься, хоронить, ты продаешь свою кровь ради порождений твоей плоти, чтобы они брыкались, смеялись, спали, и размножались, и высасывали из твоих костей мозг, пока ты не станешь пустым, высохшим стручком, ты, мой сын, ничтожный человечишка, накрахмаленный наемник правительства, продавший себя за шестьдесят долларов в месяц, грошовую пенсию и дешевый гроб, твои неблагодарные и недостойные сыновья кое-как заколотят его, когда ты перестанешь дышать, и смрад от тебя будет такой же, как от ила Ваипе. Паовале швырнул бритвой в изгородь. А ты вспомни, чем был ты сам, кощунственно поддел он память отца. Семейное бремя было тебе не по силам. Ты умер в объятиях беззубой, гнилой потаскушки. Ты получил в наследство восемь акров земли и спустил их за долги, расплачивался ими за выпивку и женщин. Ты предал нашу семью. Ты не верил ни в честь, ни в совесть, ни в силу воли, ни в бога. Может быть, я ничтожество, но у меня есть честь и достоинство. Я выполнил свой долг перед семьей. Я плачу долги. Я верю в бога. Ты можешь верить в бога, и все равно ты ничтожество, сын мой. Ничтожный человек бежит даже с того поля битвы, на котором настоящий мужчина должен стоять до конца. Когда последний раз точил ты свое оружие? Год назад? Два? Десять? Бедный мой сын, жалкий засохший банан!

Паовале, не жалея сил, быстро тер себя под душем, проклиная в душе и своего отца, и себя, свою теперешнюю жизнь, семью и судьбу, а вода множеством струй, свистя, падала на его тело и под яркими лучами солнца вспыхивала, как ртуть или бездымное пламя, и казалось, будто он весь горит.

Нофоа ждала его на кухне. Завернувшись в сухое полотенце, он вошел в дом, стянул с себя мокрую лавалава, швырнул ее на каменный пол и, скрывшись за занавеской, принялся одеваться на работу.

— Что случилось? — окликнула его Нофоа. Ответа не последовало. Она налила себе чай и стала завтракать. Старшие дети ушли в школу, и в доме оставались только самые маленькие. Сейчас они ели на кухне под присмотром своих мамаш.

— Где моя лавалава? — спросил он.

— В сундуке,— ответила она.

— А рубашка?

— Там же.

— Достань!

Она пошла за занавеску, открыла сундук и подала ему лавалава и рубашку. Тем временем он перед зеркальным комодом расчесывал волосы, не обращая на нее никакого внимания. Она положила вещи на сундук и, повернувшись, пошла было прочь.

— Платок.

Она достала из сундука белый носовой платок и положила его рядом с другими вещами.

— Галстук.

Она достала галстук. Наконец он повернулся и, все еще не глядя на нее, немалым усилием воли сохранявшую спокойствие, сделал резкое движение рукой, приказывая ей уйти. Сердито всплеснув руками, она вышла.

— Мои сандалии,— услышала она, стоило ей начать есть.

— Что с ними?

— Где они?

Стараясь отвечать как обычно, она сказала:

— На полу за сундуком.

Заглушая ругань, громыхнул сундук, потом об него несколько раз ударили сандалиями. Она продолжала есть. Еще несколько ругательств на смеси английского и самоанского, несколько ударов, промыханий, тяжких вздохов, и он вышел из-за занавески. Остановился, разглядывая жену, завтрак, весь мир.

На нем был темно-синий галстук, кремовая рубашка с жестким воротничком, сшитая на заказ лавалава с карманами и черные сандалии на толстой подошве, лоснящиеся от возраста и заботы.

— Не ребячься! — сказала она.

Он мигнул.

— Не ребячься, ах, не ребячься,— пробормотал он несколько раз.

— Да, не ребячься,— повторила она.— Иди ешь. Ты опоздаешь на работу.

— В моем доме мне платят одной неблагодарностью. Никому нет дела до моих вещей. Для вас всех я ничто, дурак... Вы все убиваете меня!

— Садись ешь,— опять сказала она. Он сел, однако не замолчал. Она подвинула ему завтрак.

— Я работаю день и ночь. Ради чего? Ради неблагодарности. Так что толку! — говорил он громко, стараясь внушить невесткам почтение и страх.— Всю свою жизнь я работаю, работаю, работаю! Ради чего? Мне много лет, я устал...

Нофоа слышала это не первый раз. Она знала, что таким образом он хочет привлечь к себе внимание, чтобы его пожалели, и не сердилась. Он побушует, потом покорно встанет и пойдет на работу. Он не сделает ничего безрассудного, необдуманного. Паовале есть Паовале: тихий, безобидный, честный кормилец и добропорядочный муж. За это она его и любила. В Ваипе мужья, как правило, не работали: одни потому, что не было работы, другие просто не хотели работать, они безжалостно избивали своих жен, напивались, спали с другими женщинами, воровали, скандалили, нарушали все заповеди Библии, им было наплевать и на семью, и на бога. Они жили во мраке греха и страха, как невежественные язычники, как дикари дохристианской эпохи. Паовале был другим, он был нежным, добрым, ц и в и л и з о в а н н ы м.

— Джем есть? — спросил он.

— Нет.

— Нет джема?

— Нет. Дети доели...

— А я что говорил? Ничего для меня нет, ничего, ничего! — он схватил кружку и выплеснул чай на улицу. Потом вскочил на ноги и смахнул со стола тарелку с хлебом: бутерброды рассыпались, а тарелка пронеслась над головой Нофоа и упала на кровать.— Надоело, надоело, надоело! Мне надоело... о, черт!

Он с грохотом скатился по ступенькам и направил стопы через застывший уже под солнцем газон к дороге.

— Ты забыл портфель! — крикнула она ему.

Он остановился и, не оборачиваясь, приказал:

— Принеси!

Она принесла.

Остался позади полицейский участок, неуклюжее двухэтажное здание с просторными верандами и запыленными стенами (и несколькими полицейскими, которые, как он знал, грелись на солнце на передней веранде). Сандалии хрустели по гравию тротуара и поднимали

облачка пыли, оседавшей на его лавалава. Вот и казначейство позади, и еще одно побеленное двухэтажное здание прямо около порта. Наконец, он повернул налево и очутился на набережной, главной магистрали города, которая держится сначала поближе к реке, а потом исчезает в глубине города и похожа на покинутое рекою русло. Он видел порт, воду, еще свободную от кораблей и лодок и мягко перекатывающуюся к горизонту, к облаку, похожему на кусок белой ваты под голубой сеткой неба. Теперь он шел мимо маленькой, закопченной каланчи, однажды вечером он забрел сюда поиграть в карты с изнывавшими от безделья пожарными, и сейчас широко улыбнулся, услышав приветственные крики двух молодых пожарных, сидевших на перилах веранды. Мимо рынка — серых стальных столбов под поржавевшим железным куполом; суетливые торговцы фруктами, овощами, дарами моря уже раскладывали здесь свой товар, смеялись и спорили, будто они были хозяевами города, над которым поднимался сейчас запах нездоровых испарений, гнилья, грязных, давно немытых тел и солнца. Еще несколько деревянных строений осталось позади, дома стояли тесно прижавшись друг к другу, выставив напоказ зияющие пасти окон. Вот и северная часть города, сердце Ваипе, узенький проход между двумя рядами домов, охраняемый огромным роем кружащихся и жужжащих мух. Здесь он, как-то не задумываясь, остановился и заглянул в ворота. Он увидел полуразвалившиеся лачуги вокруг маленькой площади собраний, покрытой черной галькой и камешками, забытый мир, отрезанный от моря и солнца, нищенский мир, который достался ему в наследство от предков, за гроши продавших такую дорогую теперь землю их города. За топоры, табак, мушкеты и ситец проданную купцам-папалаги (или просто так отданную церкви). Паовале постарался избавиться от горечи, после того как много лет назад принял — потому что ему не оставалось ничего другого — эту нищету, которую история невежества, алчности, обмана, лицемерия оставила ему в наследство. Бог в конце концов восстановит справедливость, думал Паовале, продолжая свой путь. Его злость на семью постепенно угасала, он шагал легко и свободно, опять становясь тем мистером Ёшуа Паовале, о котором он (и большинство из тех, кто его знал) привык думать как о важном государственном чиновнике — в доспехах из жесткого воротничка и черного кожаного портфеля с его именем, выгравированным золотыми буквами, в правой руке,— свободно владеющим обоими языками, гордом и верном слуге колониальной власти, дети которого успешно учатся в лучшей государственной школе, добром и справедливом муже и отце и ревностном христианине. Человеке энергичном, со всем согласным и готовым до конца стоять за дело колониального правительства.

Он прошел между двумя рядами конторских столов. Машинистки и клерки, болтавшие в дальнем углу комнаты, увидев его, умолкли и рассыпались по своим столам. Он достал из кармана связку ключей, отпер маленькое помещение, отгороженное стеклянной стенкой, его кабинет, и вошел внутрь. Там он поставил портфель на стол, уселся на вращающийся стул и внимательно осмотрел помещение конторы, оставшееся за стеклом. Он видел спины машинисток и клерков, с преувеличенным энтузиазмом погрузившихся в работу. Столы, полки, жалюзи блестели в солнечных лучах. Все хромированные, полированные, ладно пригнанные детали были на своем месте. С удовлетворением убедившись, что все в порядке, он открыл портфель. Достал два карандаша, три шариковые ручки и один «паркер-51», аккуратно положил с правой стороны на покрытый бумагой стол. Потом он поставил портфель на полку позади себя, выдвинул верхний

ящик стола, скользнул рукой по сложенным там делам, отыскал нужные бумаги и тоже разложил их наверху. Вытер руки о лавалава, с громким хрустом подергал пальцы, взял «паркер-51», снял колпачок, внимательно осмотрел перо, кивнул, открыл верхнюю папку, вздохнул и приступил к работе. Ни одного ненужного движения, каждое было частью ритуала, выверенного и усовершенствованного за многие годы, пока он не стал частью его самого и того высшего ритуала, коим была его жизнь.

Минул час. Денежные счета проверены, записаны и сбалансированы. Записаны и сбалансированы. Аккуратные маленькие цифры защищали его, охраняли от беспокойного мира за стенами его конторы. Прошел еще час. Раздался мягкий стук в дверь. Он, не оглядываясь, знал — это миссис Тина Мейер, старшая машинистка, ходячая хроника конторы, бездетная, чересчур болтливая женщина, с небольшой примесью немецкой крови; время от времени она с кем-нибудь ссорилась, но, в сущности, была совершенно безвредной. Такой же благоговейный страх, который она испытывала перед ним, ее подчиненные испытывали перед ней, и так далее, сверху донизу, по методично разработанной иерархической лестнице, которую он (и колониальное правительство) создали здесь (и во всех прочих правительственных учреждениях). Он сделал ей знак войти.

— Доброе утро,— сказала она по-английски. (На работе он не разрешал говорить по-самоански.)

Из нижнего левого ящика он достал пачку писем и подал ей.

— Проверьте, чтобы они не наделали ошибок,— грамматику, спеллинг и все такое,— сказал он. (Каждое утро он повторял это.) Она кивнула и крепко прижала к себе письма, как будто хотела показать, что намерена защищать их даже ценою жизни.

— Будут еще распоряжения? — спросила она.

Он поднял голову.

— Будут еще распоряжения, сэр? — поправилась она. Он благосклонно улыбнулся.

— Нет,— и она, пятясь, вышла из комнаты.

Он взглянул на часы. Десять тридцать. Тогда он встал, сложил бумаги и сунул их в одно из отделений металлического шкафа рядом со столом, прикоснулся к оставшимся на столе бумагам и ручкам, пригладил руками волосы, поправил галстук и, заложив руки за спину, отправился в контору.

Тотчас же все затихли. Не говоря ни слова, он шел от стола к столу, заглядывал через плечи машинисток и клерков и то тут, то там с укоризной отмечал неправильно употребленное слово, грамматическую ошибку или грязное пятно; виновный мямлил «простите, сэр» и обещал немедленно все исправить.

Когда мистер Паовале дошел до двери-вертушки, за которой виднелся центральный коридор, он повернулся и, как король, обозревающий свое королевство, благосклонным взглядом окинул клерков, машинисток, конторскую мебель, золотящиеся в солнечных лучах окна. Он был убежден, что такие добродетели, как строгая дисциплина, расторопность, опрятность и трудолюбие, уступают одной лишь набожности.

Прямо против двери, по другую сторону коридора, была лестница, выложенная красным кафелем. Она вела к просторным кабинетам директора и его заместителя, однако ни один служащий рангом ниже мистера Паовале не имел права по ней подняться. Услыхав шаги, эхом отозвавшиеся здесь, внизу, он выпрямился и, лучезарно улыбаясь, повернулся лицом к лестнице.

Заместитель директора, мистер Дэвид Траст, сойдя с последней

ступеньки, по-военному четким шагом направился к Паовале. Огромные, начищенные до блеска коричневые кожаные туфли глухо стучали по бетонному полу, а сам он был воплощением идеи самоуверенного собственничества, милостивого господства и отеческой власти надо всем, что было вокруг него, включая мистера Паовале. Что ж, Западное Самоа принадлежит Новой Зеландии, родине мистера Траста, и сюда он приехал как высокопоставленный новозеландский чиновник помочь местному населению приобщиться к цивилизации, чтобы стать достойным независимого статуса.

— Доброе утро,— обращаясь к Паовале, мистер Траст смотрел не на него, а на ряды конторских столов.

— Доброе утро, сэр,— ответил Паовале. Он стоял вытянувшись, как солдат перед офицером.

— У вас все в порядке? Есть какие-нибудь вопросы?

Мистер Траст был поразительно долговязым, жилистым мужчиной с острыми чертами лица и почти незаметным из-за крючковатого носа узким ртом. На носу и щеках его сильно шелушилась кожа. Прямые черные волосы, с помощью жидкого вазелинового масла припечатанные к маленькому черепу, справа разделял пробор. Весь последний уик-энд он загорал и теперь распространял вокруг себя запах солнца. Все, что имело отношение к мистеру Трасту, было для Паовале замечательным, потому что он был настоящим папалаги.

— Нет, сэр,— ответил Паовале.

— Хорошо. Очень хорошо.

Мистер Траст всегда говорил кратко и решительно, чтобы не так был заметен его гнусавый новозеландский прононс, от которого он старался избавиться еще во время второй мировой войны, когда его, армейского писаря, судьба забросила в Италию. Но, разговаривая с Паовале, он мог не беспокоиться: тот восхищался его выговором и мечтал, что Малелуа будет когда-нибудь произносить английские слова точь-в-точь как мистер Траст.

Паовале крутанул вертушку, освобождая для мистера Траста вход. Мистер Траст вошел и, прочесывая взглядом контору, остановился рядом с Паовале, который был ниже его на целую голову.

— Да, кстати. Сегодня в одиннадцать тридцать к вам придет девушка. Она наша новая машинистка. Мисс Анна Че?.. Впрочем, она сама назовет вам свое имя и фамилию. Она китаянка, молоденькая и, судя по школьному аттестату, прилежная.

— Спасибо, сэр.

— Вот и договорились,— сказал мистер Траст и, по-военному чеканя шаг, обошел всю контору. Паовале следовал за ним на почтительном расстоянии.

Мистер Паовале (как только ушел мистер Дэвид Траст, он вновь стал именоваться мистером) вернулся в свой кабинет к завтраку, он съел два рассыпчатых бисквита с имбирем и выпил чашку чая без молока — именно так завтракал сам директор. (Все это миссис Мейер подала ему на рабочий стол.) Паовале, как мистер Траст и директор, завтракал один у себя в кабинете, остальные сотрудники отдела завтракали все вместе за столом курьера. На утренний чай отводилось пятнадцать минут, по истечении которых курьер, смуглый мужчина средних лет, одетый в накрахмаленную белую рубашку, шорты и гольфы, входил в его кабинет и собирал грязную посуду.

Одиннадцать тридцать. Паовале отложил бумаги и в ожидании новой машинистки что-то небрежно писал или чертил на промокашке.

Постучав, вошла миссис Мейер. Паовале, делая вид, что работает, продолжал сидеть в той же позе.

— Да? — спросил он, хотя знал, зачем она пришла.

— К вам девушка, сэр,— сказала миссис Мейер.

— Китаянка?

— Да, сэр. Китаянка.

— Позовите.

Он разорвал промокашку, скатал из нее шарик, выбросил его в корзину и принялся писать нечто якобы очень важное на чистой странице.

Когда девушка вошла, он, не отрываясь от своего занятия, сказал:

— Садитесь.

Стул против него скрипнул, и он уловил нежный запах духов. Все еще продолжая писать, он спросил:

— Чем могу быть полезен?

Наступила испуганная пауза, потом она неуверенно пролепетала:

— Меня прислал мистер Траст.

— Вы наша новая машинистка?

— Да.

— В нашем правительственном учреждении, обращаясь к вышестоящему, мы говорим «сэр»,— поправил он ее и в первый раз поднял голову.

— Извините, сэр,— проговорила она, уставившись на свои судорожно сжатые на коленях руки. Очень миленькая для китаянки. Наверное, наполовину самоанка.

— Ваше имя? — спросил он, суровая интонация исчезла из его голоса.

— Анна Чан, сэр,— ответила она.

Он записал. Про себя он отметил, что у нее лицо настоящей папалаги. Немного выступающие скулы, тонкий небольшой нос, чуть раскосые глаза, черные ресницы, блестящие от лосьона волосы и рот, как у настоящей папалаги, прелестно подкрашенный. Почти такой же прелестный, как у миссис Этель Траст.

— Сколько вам лет?

— Девятнадцать, сэр.

— Так, так,— проговорил он, записывая. Дорогая белая блузка с кружевными оборками вокруг шеи и на рукавах, дорогая синяя юбка плотно сидела на бедрах и свободно вилась вокруг колен, дорогие серебряные часы, браслеты. Она так же прелестна, как миссис Этель Траст.

— Где вы учились?

— В Мормонском колледже.

— У мормонов?

— Простите, сэр.

Она опять испугалась, и он проклял себя за глупость.

— Ничего. Я не против мормонов. У меня много, даже очень много друзей-мормонов. Люди как люди. Пока человек ходит в церковь, я ничего против него не имею. Я и сам...

Она улыбнулась, и он почувствовал, как внутри у него потеплело оттого, что он загладил ненужную резкость, причинившую ей боль. Конечно, она китаянка и к тому же из мормонов, но она очень похожа на миссис Траст, а миссис Траст была его идеалом женщины, жены и матери.

— А чем занимается ваш отец? — вдруг спросил он и, заметив, что она опять насупилась, пожалел о своем вопросе.

— У него бизнес.

По ее ответу он понял, что ей стыдно за отца, и совсем проникся симпатией к ней. Какая девочка хочет, чтобы ее отцом был наемный рабочий-китаец!

— Ничего. Мы за родителей не в ответе.

Она опять улыбнулась:

— У него несколько такси и ресторан.

— Как? Ваш отец т о т с а м ы й мистер Чан?

— Да, сэр.

— Очень рад. Я хорошо знаю вашего отца.

Мистер Чан был одним из самых богатых людей в стране. Когда-то он приехал на Самоа по найму, работать на плантации за десять самоанских центов в день. А теперь, хотя он до сих пор не умеет ни читать, ни писать, ни сносно говорить по-английски или самоански, у него целая армада такси, процветающий ресторан, две плантации какао и современный двухэтажный магазин.

— Мы счастливы, что у нас будет работать дочь такого уважаемого человека. Вы можете приступить прямо сейчас, если угодно, мисс Чан.

— Спасибо, сэр,— ответила она.

Он подал знак, и в кабинет тотчас вошла миссис Мейер.

— Проводите мисс Чан и подберите ей стол получше, машинку и все прочее. Она приступает сегодня,— инструктировал он миссис Мейер. Мисс Чан встала.— Да, еще — с сегодняшнего дня мою переписку отдавайте мисс Чан. Она самая опытная из наших молодых машинисток.

Лицо миссис Мейер исказила гримаса боли и обиды, но он ничего не заметил.

— Спасибо, сэр,— сказала мисс Чан и последовала за миссис Мейер.

Теперь уже его стеклянная контора никогда не будет такой, как прежде. Отныне в ней работает мисс Чан. Жажда жизни, красота и неискушенность юности, думал он. Заря или золотое кружево из теплого солнечного света на утренней глади моря. Мисс Чан, м и с с А н н а Ч а н, в ее имени почти столько же музыки, как в звонком и энергичном — миссис Этель Траст. В этих звуках открывался ему мир папалаги — мечта всей его несчастливой жизни, они были сама юность, которую он никогда не знал, потому что Нофоа даже в первый раз взволновала, опьянила его силой своей страсти. До обеда он, не вставая, просидел за столом, что-то рисовал на промокашке и, рисуя, перебирал в памяти каждое слово из беседы с мисс Чан, то и дело поглядывая на нее и вздыхая.

Прежде чем уйти домой, где его ждали вареные плоды хлебного дерева и баночная селедка, он убедил себя в том, что для него, верного и преданного мужа, нет ничего греховного в идеализации мисс Чан и миссис Траст. Ничего плотского, ничего грязного.

Мистера Траста назвали Дэвидом Джоном по воле его деспотической мамаши, которая после тридцати лет супружеской жизни развелась с его отцом, «фермером-неудачником», оказавшимся неспособным обеспечить ее домом с пятью спальнями, автомобилем, стиральной машиной, коврами — короче, всем тем, что вправе требовать разумная жена от разумного мужа. На Западном Самоа мистер Траст доживал четвертый год. Когда закончилась война, он вернулся на свое старое место в Новозеландскую корпорацию социального прогресса и проработал там два года, прежде чем дал согласие переехать сюда, на что до него не соглашался ни один новозеландский служащий. Он был женат (уже почти пятнадцать лет) на женщине пятью годами его старше. До замужества Этель работала учительницей в захолустном городишке. Они познакомились в крошечном баре, когда

он с приятелями по службе поехал в те места на оленью охоту, и после бурного веселья, которое началось сразу, стоило ему угостить ее рюмкой виски, он переспал с ней на диване у нее дома. (И навсегда сохранил досадное ощущение, что его обманули, потому что она не была девушкой.) Через месяц, обменявшись множеством, как им казалось, «любовных» писем, они сочетались браком в большой методистской церкви на окраине Окленда, «его города». Он женился на ней, потому что, как потом признавался самому себе, ни одна женщина за всю его жизнь не взглянула на него дважды, не говоря уж о том, чтобы спать с ним чаще раза-двух в неделю. В обществе (которое составляли новозеландцы из самоанской администрации) он говорил о ней не иначе как «эта удивительная женщина», однако в узком кругу и, конечно же, в ее отсутствие, потому что она внушала ему ужас, он называл ее «сварливой холодной сукой». И каждый раз в канун Нового года, после почти трехсотшестидесятипятидневного совместного существования, он неизменно собирался просить у нее развода. У них было трое детей: два мальчика и девочка, с которыми он не был близок. Этель хотела, чтобы первого ребенка они завели через три года после свадьбы, второго — еще через четыре года и третьего — через пять лет после второго. Он подчинился.

Мистер и миссис Траст были прихожанами англиканской церкви, которую посещали в основном папалаги, состояли членами Ассоциации бывших военнослужащих (белых), Яхт-клуба, Гольф-клуба, Клуба любителей скачек, Общества Красного Креста и безупречно викторианского Шахматного клуба. Миссис Траст к тому же пользовалась влиянием в местном Дамском клубе и Союзе женщин. Они занимали просторный, хорошо обставленный казенный дом, держали прислугу: садовника лет шестидесяти и двух горничных (замужних), и — животных: пса и кота (оба были кастрированы), и еще двух существ с овчиной вместо перьев, потому что самоанские птицы не похожи на настоящих птиц.

— Ты опять от нее? Только не ври.

Он продолжал есть, делая вид, что не видит ее и не слышит. Дети спали. Она ждала его почти до полуночи.

— Только не ври,— повторила она. Он кивнул.— Но почему она?

Он бросил вилку в тарелку.

— Потому что она не против.

— Но она... она...

— Китаянка? Цветная? — досказал он за нее.

— Да.

— Ты их ненавидишь? Правда, дорогая?

— Да. И ты тоже!

Он медленно поднялся со стула, отнес тарелку в белоснежную раковину, потом повернулся к жене — она по-прежнему сидела у стола, стиснув голову руками,— и сказал:

— Она может быть какой угодно китаянкой и цветной, и я сколько угодно могу их ненавидеть, но только с ней я чувствую себя мужчиной. По крайней мере в постели.

Эта была его первая измена.

— Я уеду, Дэвид,— сказала она.

— Скатертью дорога.

Он стал совсем чужим, а был всегда таким преданным и послушным. Это она сделала его чужим, отчаянным безумцем.

— А дети? — спросила она.

— Что с ними?

— Это твои дети!

— Можешь оставить их при себе.

Он пошел в ванную, и она испуганно бросилась за ним следом.

— Ты не должен больше с ней встречаться,— заявила она ему, стоя на пороге.— Я запрещаю тебе! — Он продолжал шумно чистить зубы.— Если ты посмеешь... я...— она остановилась, не решаясь договорить, потому что он мог принять ее условия.

— Разведись со мной, Этель,— только и сказал он, все еще стоя к ней спиной.

— Тебя бы это устроило. Еще бы. Очень удобно. Ты будешь спать со своей китайской сукой, а я возиться с твоими ублюдками!

— Что ж, не разводись.

Он вытер полотенцем руки и рот и, протиснувшись мимо нее, направился в их общую спальню.

Она вошла в комнату, когда он раздевался перед вделанным в шкаф зеркалом. Присела на постель, закрыла лицо руками и стала тихо всхлипывать.

— За что ты со мной так?

— Как? — ответил он вопросом на вопрос и зашвырнул трусы в противоположный угол комнаты.

— Унижаешь меня.

Она открыла глаза и увидела, что он стоит перед зеркалом и, почесываясь, разглядывает себя.

— Ты унижала меня пятнадцать лет.

Он натянул голубую пижаму и сел позади нее на кровати.

— Чем же?

— Сама знаешь чем.

Он отогнул край одеяла и забрался в постель.

— Ты имеешь в виду сексуальную сторону нашего брака?

— Прекрасно сформулировано, Этель.

Она смотрела на него через плечо. Он закрыл глаза.

— Она... она очень хороша? — спросила она, запинаясь, и сама удивилась своему любопытству.

— Да, о ч е н ь.

— Я говорю о постели.

— Да, и я об этом.

Он повернулся на левый бок, спиной к ней.

— Давно это началось?

— Около четырех месяцев. Да. Четыре великолепных месяца. С тех пор, как она пришла к нам работать.

Он сказал это с такой гордостью и таким удовольствием, что она вскочила на ноги и выбежала из комнаты на открытую веранду.

Только под утро вернулась она в спальню. Она стояла над ним в темноте и говорила:

— Я ненавижу тебя. Я ненавижу ее. Я ненавижу... я ненавижу эту проклятую страну! — Потом, тронув его за плечо, сказала: — Дэвид, я хочу домой. Увези меня домой, Дэвид.

Но он не проснулся.

В то солнечное утро, во вторник, за три дня до новогодних праздников мистер Паовале продиктовал мисс Анне Чан письма и вручил роковой подарок — три ярда дорогого гонконгского шелка и лосьон для волос. Через неделю он был убит. Ни директор, ни мистер Дэвид Траст, ни мисс Анна Чан на похороны не явились. Рассыльный возложил на могилу венок, купленный миссис Тиной Мейер. Через месяц мистер Траст перевел ее за стол Паовале, и теперь она сидела

на вращающемся стуле в маленьком стеклянном кабинете. Еще через три мучительных месяца Траст с семьей спешно выехал в Новую Зеландию. (Дэвид не развелся с Этель до самой своей, шестнадцать лет спустя, смерти от сердечного приступа. И вплоть до этого дня он никогда больше ей не изменял.) Еще через несколько месяцев мисс Чан родила светловолосого зеленоглазого мальчика восьми фунтов. (Она больше никогда не верила обещаниям папалаги, особенно если речь заходила о разводе с фригидной женой.)

Что до миссис Паовале, то смертный приговор был заменен пожизненным заключением. Однако она вышла на волю в первый день Нового 1962 года, когда глава независимого государства Западное Самоа подписал всеобщую амнистию в честь первого Дня Независимости Западного Самоа. Она и теперь живет в Ваипе. И каждую субботу приходит на могилу мужа.

Приезд бледнолицего

Частенько сыновья и дочери Ваипе уезжали искать работу в Новой Зеландии. Многие из них до сих пор там живут. Один или два раза они возвращаются сюда похоронить родителей, а потом опять исчезают. Насовсем первым вернулся Пеилуа, сын Алапати, одного из самых почтенных граждан Ваипе. Алапати был фармацевтом, и его должность вызывала сильную зависть, вдобавок он принадлежал к так называемой «ученой элите» Ваипе (а эта элита насчитывала всего четыре-пять человек за всю долгую жизнь Алапати), и, хотя его никогда и не видели в церкви, все же он любил своих ближних и помогал всем, кто нуждался в его помощи. Несколько лет назад Алапати умер, и его похороны стали в ряд самых памятных событий в истории Ваипе, почти все жители которого на них присутствовали: и мистер Ф. А. Джонс — главный фармацевт аптеки, в которой служил Алапати, и мистер Т. Б. Муэль — помощник главного чиновника по вопросам здравоохранения, и многие другие уважаемые граждане. В Ваипе похороны могут поддержать или, наоборот, погубить репутацию, которая остается в наследство потомкам. «На славу проводили, и ко встрече с богом он готов, и оплакали его честь по чести»,— обмениваются впечатлениями старики после особенно пышных похорон. Или, если похороны уж слишком неприглядные, они говорят: «Стыдно так скупиться». И неважно, бедны вы или богаты, умереть и уйти к богу вы должны прилично, чтобы было много еды, и красивых циновок, и печальных молитв, и речей, чтобы была забетонированная могила и плита из черного мрамора. Алапати похоронили прилично, соответственно его положению в Ваипе. Теперь смерть и похороны близких в общем-то ничего не меняют в судьбе здоровой, резвой, неунывающей молодежи, которой еще жить и жить долгие годы. А тогда смерть Алапати изменила судьбу Пеилуа, его самого младшего, самого умного и любимого сына, которого Алапати отправил в Новую Зеландию, чтобы он там днем работал, а вечером учился в школе фармацевтов и вернулся домой искусным мастером, не хуже самого Алапати. В первый год своей жизни в Веллингтоне Пеилуа днем работал на пристани, а вечером с половины седьмого до половины одиннадцатого усердно занимался в вечерней школе. В воскресенье он обязательно дважды ходил в церковь на службы и каждую неделю писал домой длинные письма. Так было в 1953 году. А в 1954-м он написал всего четыре письма: под Новый год, на пасху, потом еще одно. И последнее — 1 декабря 1954

года, за четыре недели до того, как он собственной персоной с огромным дорогим чемоданом объявился в Ваипе. (Этот день навсегда останется в истории Ваипе как День Приезда Бледнолицего.)

Через свою вторую жену Мизу, которая не была матерью Пеилуа, Алапати распространил слух, будто Пеилуа вынужден был вернуться по причине плохого здоровья: все знали, что Пеилуа родился слабеньким. Но уже через два дня весь Ваипе знал, что любимый сын Алапати был выдворен из Новой Зеландии. Тот сам разболтал правду. На второй вечер после своего приезда он сидел с приятелями в пивной Фофога и, напившись, признался в том, что, по его словам, было «одной правдой и ничем, кроме правды». Это даже не было признанием, Пеилуа бахвалился своим геройством. И в тот же вечер, когда приятели притащили его домой, Алапати чуть не забил его до смерти. На следующее утро Пеилуа, с раздутым, саднившим лицом, перебрался из просторного, добротного дома отца к дяде Томази, в его плохонький домишко, стоявший по соседству. С собой он взял только свой «волшебный чемодан», прозванный так жителями Ваипе.

С тех пор Алапати говорил с Пеилуа только один раз, в день смерти. Он призвал Пеилуа к себе. И Пеилуа, который, несмотря ни на что, всегда оставался оптимистом — таким воспитал его отец,— пришел, ожидая, что Алапати будет просить у н е г о прощения, а вместо этого Алапати проклял его.

— Я проклинаю тебя, я проклинаю женщину, с которой ты живешь, и незаконных детей, которых она родит! — крикнул ему Алапати.

С этой минуты Пеилуа перестал быть оптимистом. Теперь везде, где бы он ни был, его преследовали эти слова, везде с ним была его смерть — последнее проклятие отца. Так говорят старики. Потому что тот, кто проклят матерью или отцом (бабкой или дедом), обречен, как обречен был дьявол, проклятый богом. И то, что случилось с Пеилуа, было с неизбежностью предопределено проклятием его умиравшего отца.

Пеилуа не очень-то переживал свой уход из дома. Ему даже не пришло в голову поискать себе работу или попросить прощения у отца (хотя отец ждал именно этого). Дядя Томази с женой и восемью детьми ютился теперь на правой половине дома, потому что левая половина вместе с единственной кроватью, лучшими циновками и самой новой москитной сеткой перешла во владение к Пеилуа.

В доме Томази к Пеилуа отнеслись так, словно он был каким-нибудь важным папалаги. За едой ему отдавали лучшие куски да еще прислуживали. Они гордились, что в их доме живет такой образованный человек, «совсем как белый». В разговорах с соседями они величали Пеилуа «наш родственник папалаги» и делали это со всей серьезностью. Томази не уставал повторять, что его племянник заслуживает большего, а Алапати просто неблагодарный старик, недостойный называться отцом такого человека.

Члены семьи Томази были первыми смертными, которым выпало счастье заглянуть в чемодан Пеилуа.

Каждый день без исключения, когда Пеилуа вылезал из постели, жена Томази и дети сбегались в дом и смотрели, как он готовил себя к выходу на улицу. Весело насвистывая, Пеилуа открывал чемодан, доставал из него серебряную бритву, красную зубную щетку, ручное зеркало и уходил за дом, в душ. Никогда раньше они не видели такой бритвы и такого зеркала. На бритье и умывание обычно уходил час, и весь этот час миссис Томази наблюдала за Пеилуа из дома.

Потом кто-нибудь из ребятишек подавал ему одно из его красивых полотенец, и он с нежностью осушал свою кожу, совсем как кинозвезды, которых дети видели в американских фильмах.

Затем он возвращался в дом, открывал два флакона духов (они просто не могли назвать это иначе), выливал немного жидкости себе на руки и, похлопывая, втирал ее в лицо. Миссис Томази, которая иногда совершала незаконные осмотры чемодана Пеилуа, подавала ему черную блестящую расческу, и, намазав каким-то маслом — в Ваипе его видели в первый раз — свои черные вьющиеся волосы, Пеилуа расчесывал их длинными осторожными движениями, тогда как один из детей миссис Томази, выбранный Пеилуа по принципу гигиены и чистоты, держал перед ним ручное зеркало. Вслед за этим диковинным ритуалом начинался следующий. И они, боясь что-либо пропустить, смотрели, как он снова открывал чемодан, перебирал бесчетное количество рубашек и, выбрав, наконец, одну, разворачивал ее и осторожно натягивал на себя. (Даже яркая радуга потускнела бы, окажись она рядом с его рубашками.) Привилегией стирать их и гладить владела одна миссис Томази. Затем из немыслимых глубин чемодана извлекались брюки, также выбранные после долгих размышлений о погоде, цели выхода и состоянии дорог в Ваипе. Пеилуа исчезал за занавеской, которая отделяла его кровать от будничной жизни остального дома, и, просвистев что-то особенно веселое, появлялся обратно с улыбкой на устах. Тут вся семья с облегчением вздыхала, готовая рукоплескать его ногам, и бедрам, обтянутым дорогостоящими, идеально сшитыми и неизменно наглаженными брюками, и ступням в шелковых носках. (У Пеилуа, как однажды ночью миссис Томази шепотом сообщила своему мужу, никак не меньше пятнадцати пар таких же чудесных брюк. Он и Томази подарил поношенные, выцветшие джинсы через неделю после того, как поселился в его доме. Томази берег их как драгоценность и надевал только раз в месяц, когда шел за деньгами в контору, где работал ночным сторожем.) Миссис Томази предупредительно ныряла под кровать и вытаскивала оттуда восемь пар туфель, которые она выстраивала в ряд, как начищенных солдат. Он критически осматривал их и тыкал пальцем сперва в какую-нибудь пару, потом в одного из мальчишек. Тот с тряпкой в руках выскакивал вперед, наводил на туфли глянец и подавал их Пеилуа. Продолжая улыбаться, Пеилуа надевал их. Другой мальчишка, которого Пеилуа целую неделю учил шнуровать туфли, протискивался вперед и, стоя на коленях, завязывал шнурки. Пеилуа доставал из чемодана два шелковых носовых платка: один — в карман рубашки, другой — в брюки. И, наконец, наступала очередь позолоченных часов, они обвивались вокруг кисти его левой руки и ловили солнечные лучи. Дети верили в то, что часы были волшебными. Все семейство смотрело вслед Пеилуа — такому чистенькому и неправдоподобно красивому и так похожему на белого человека,— пока он спускался по ступенькам и шел в город. Ангел или папалаги, пришедший дать им новую надежду в несчастливой их жизни, показать им прекрасный цивилизованный мир, вызывающий зависть мир бледнолицых.

Пеилуа возвращался точно в шесть часов вечера, раздевался, снова шел в душ и, если ему нравилась приготовленная для него еда, ел, а Томази со всем семейством ему прислуживал. Потом он надевал чистую рубашку, чистые брюки, носки и заново начищенные туфли и опять уходил, чтобы вернуться уже под утро и сразу лечь в кровать, застеленную чистыми простынями (их он тоже привез из Новой Зеландии). Он никогда не забывал запереть чемодан, уходя вечером к Фофога или в биллиардную ослеплять приятелей бесчисленными

рассказами о чудесах спрятавшегося за рифами мира с его сверкающим великолепием и цивилизованным устройством жизни. Повергнутые в трепет мужчины платили за выпивку и по первому же намеку ссужали его деньгами.

Это случилось через шесть месяцев после возвращения Пеилуа. В то дождливое утро Томази открыл глаза и увидел, что Пеилуа привел к нему в дом жену. (В Ваипе большинство браков заключается именно так: он и она решают жить вместе, стать семьей, и на это им не требуются санкции закона или церкви. Только те, кто принадлежит к «элите» или мечтает об этом, венчаются в церкви, платят деньги и задают свадебные пиры, которые им, как правило, не по карману, но которые в большом почете у так называемого «простого люда».) Мистера и миссис Томази выбор племянника привел в восторг. Луафата была дочерью Паовале, члена местной элиты, трагически погибшего от руки жены. Таким образом она отомстила ему за измену. Луафата была очень красива и, подобно Пеилуа, очень образованна, ей всего ничего оставалось до окончания школы. После смерти отца и заключения в тюрьму матери Луафата слыла образцом добродетели, примером того, какой должна быть «хорошая девушка».

Ухаживание, однако, не было продолжительным. Пеилуа, при появлении которого обмирали почти все женщины Ваипе, встретил ее в тот самый вечер на танцах. Он протанцевал с ней один (кажется) вальс, оказав ей честь, о которой она не смела даже мечтать, потому что Пеилуа казался ей необыкновенно красивым и образованным. После чего Луафата ушла вместе с ним и, не сказавшись братьям, отправилась к нему домой. Когда слух о женитьбе Пеилуа распространился в округе, он и Луафата стали предметом зависти всех соседей. Они оба так красивы, говорили все. Даже ее семья, ополчившаяся было на Пеилуа за похищение девицы, осталась довольна этим браком. Все, кроме Алапати, который лелеял надежду, что Пеилуа женится на дочери пастора, согласились, что брак этот на редкость удачный. Он и был удачный примерно с год.

Члены семьи Томази ни в коей мере не чувствовали себя эксплуатируемыми Пеилуа и Луафатой. Томази нашел себе еще одну, дневную, работу на пристани, ибо считал себя обязанным поддерживать богатый образ жизни племянника. Луафата не искала работу, ее обязанностью стало заботиться о вещах Пеилуа: о чемодане и его содержимом. Она стирала и гладила его одежду, начищала его туфли и часы. Иногда он брал ее в кино, и это было ее единственным развлечением. Она прощала ему измены, слухи о которых доходили до нее. Пеилуа имеет право быть неверным, он выше условностей, потому что он не такой, как все, уговаривала она себя. Да и потом, лишь ее одну он любит по-настоящему: ей доверяет он свой чемодан, даже дал второй ключ, и она могла часами разглядывать вещи, не рискуя навлечь на себя гнев Пеилуа. Она не рассердилась, даже когда он впервые явился домой пьяным, раздела его и уложила в постель. Она молча сносила его пощечины за то, что недостаточно хорошо постирала или погладила его вещи, что ж, провинилась — терпи. Однажды он ударил Луафату ногой в живот за то, что она во время стирки порвала рубашку. Она заплакала. А когда он вечером вернулся домой, попросила у него прощения, и он простил ее. Она осталась спокойной и после того, как он совсем перестал с ней спать. Он сказал ей, будто она «слишком хороша» для этого, и она поверила.

В субботу утром, 23 декабря 1955 года, ровно через год после возвращения из Новой Зеландии, Пеилуа проснулся и не нашел под кроватью чемодана. Он бросился к Томази, всех перебудил, кричал и не-

потребно ругался, обвиняя всех и каждого в краже его чемодана, «его жизни».

Миссис Томази и дети с плачем ползали на коленях по всему дому в поисках чемодана. Мистер Томази попытался было успокоить Пеилуа, но заработал зверский удар в лицо и вылетел за дверь. Досталось даже Луафате, он осыпал ее оскорблениями, побоями и обвинениями в том, что она «отдала его жизнь своей нищей семейке».

Чемодан не нашелся ни в комнатах, ни около дома, и Пеилуа побежал в полицейский участок. Он был в одних ярко-красных трусах. Впервые он не удивлял народ великолепием рубашек и брюк. Вернулся он в сопровождении двух запыхавшихся полицейских, усадил их и, совсем обезумев от горя, начал носиться вокруг дома, снова и снова объясняя (по-английски), что «какой-то ублюдок из местных украл его жизнь!» Собрались соседи. Наконец, один из полицейских, коренастый капрал — тайный сторонник освободительного движения,— вежливо, на аристократическом самоанском языке сообщил, что ни он, ни его коллега не понимают по-английски, и Пеилуа то же самое повторил по-самоански, потом опять по-английски. Капрал по-самоански записал его слова в толстый блокнот и, по-самоански же заверив, что они сделают все возможное, дабы поймать «сего местного патриота», изъявшего чемодан, удалился (как оказалось, навсегда).

Не успели полицейские уйти, как Пеилуа обвинил в краже чемодана любопытную и в общем-то симпатизировавшую ему толпу. На самом мерзком, непристойном английском языке, который для многих остался непонятным, он заявил, что «все самоанцы сволочи и воры», что «ни один белый не позволил бы себе ничего подобного». Толпа рассеялась. А понимавшие по-английски пригрозили убить «чертова папалаги», то есть Пеилуа.

Оставшись в обществе миссис Томази, ее детей, рыдавших в дальнем углу дома, и Луафаты, которая подошла к нему, взяла его голую руку в свои и сказала, что любит его и без чемодана, Пеилуа рухнул на пол и горько заплакал, без конца повторяя: «Что мне теперь делать? Я в с е потерял!» «У тебя есть я»,— сказала ему Луафата. Он отпихнул ее и хотел было ударить, но она успела отползти на безопасное расстояние. Тогда он снова уселся на пол и больше не отводил глаз от циновок, разостланных на полу. Время от времени он тяжело вздыхал и бил себя кулаком по лбу.

Наступил вечер. Подошла Луафата и встала над ним, упершись руками в бока.

— Теперь ты стал ничем, пустым местом. Я сыта тобой по горло,— заявила она.

— Ты не уйдешь,— сказал он.

— Как бы не так! Я тебя ненавижу.

Он хотел было дотронуться до ее руки, но она оттолкнула его.

— Сыта по горло. Прощай, бледнолицый! — сказала она по-английски.

Она ушла к своей семье и, как и полицейские, больше не вернулась.

Явился домой где-то хорошо поднабравшийся Томази и заявил Пеилуа, что если он, Пеилуа, до конца недели не найдет работу, то пусть убирается обратно к отцу, они, мол, с сыночком достойная пара.

— А н а ш а кровать? — спросила у него жена.

— Да,— сказал Томази,— с сегодняшнего дня будешь спать на полу. Мы забираем свою кровать, и циновки, и москитную сетку, и занавеску. Отныне ты такой же, как мы, и изволь платить за себя

сам. В моей семье москиты не водятся! (В Ваипе москитами называют бездельников.)

Итак, с этого дня — который в истории Ваипе остался Днем, Когда Бледнолицый Потерял Свою Жизнь,— Пеилуа спал на старой, вытертой циновке, брошенной прямо на пол, без москитной сетки, укрываясь лишь тоненькой простыней. И все же он оставался оптимистом. Каждый день ходил в полицейский участок справляться о своем чемодане. Он даже сделал попытку найти работу. Работа была, но Пеилуа не брался за нее, потому что не хотел пачкать руки. Он искал службу в конторе, которая соответствовала бы его принадлежности к элите. Пеилуа даже попытался вернуть Луафату, но каждый раз, когда он с ней заговаривал, она советовала ему поискать «его жизнь» в другом месте.

После кражи чемодана Пеилуа несколько месяцев сидел по вечерам дома, он не хотел встречаться со старыми приятелями (а их было очень много), которые одалживали ему деньги. Где бы он ни проходил, юнцы кричали ему вслед: «Голый бледнолицый». Он похудел, потому что Томази больше не кормил его лучшими кусками и даже начал оскорблять (словесно), называя его «ни к чему не пригодным бездельником». Единственная оставшаяся у него рубашка скоро выцвела, прохудилась да так и осталась рваной, потому что Пеилуа не умел шить. То же случилось и с брюками, и носками, и туфлями. Он всеми силами старался сохранить их в целости и чистоте и надевал, лишь отправляясь на поиски работы. Дома он носил старую лавалава и майку, с явной неохотой отданные ему Томази. Но он не обижался: он с нетерпением ждал, что отец позовет его и он будет жить так, как ему было предназначено воспитанием.

Утром перед смертью Алапати послал за Пеилуа и проклял его.

Вечером того же дня Пеилуа надел рубашку, брюки, носки, туфли и пошел к Фофога.

Он открыл дверь. И переполненная комната затихла.

— Входи, бледнолицый! — крикнул ему из-за стойки тучный Фофога.

Пеилуа вошел. Все смотрели, как он идет к стойке.

— Ты неважно выглядишь, приятель,— сказал Фофога и налил ему пива.

Пеилуа взял стакан и выпил его до дна. Он почувствовал, как кто-то подошел к нему совсем близко. Потом толкнул его локтем в бок. Он сделал вид, что ничего не произошло.

— Еще? — спросил Фофога.

Пеилуа кивнул. Маленький бумажный шарик попал ему в затылок и, подскочив, пролетел над головой Фофога. Фофога наполнил стакан.

— Плати,— сказал он.

Пеилуа взял из рук Фофога стакан и осушил его одним глотком. Потом поставил его на стойку и подтолкнул к Фофога, чтобы тот налил еще. Фофога глянул на мужчин, на Лафога, старшего брата Лауфаты, известного всему Ваипе своей жестокостью. Лафога кивнул. Фофога опять наполнил стакан. И опять Пеилуа выпил его до дна.

Когда он ставил стакан обратно, еще один локоть толкнул его в правый бок. На этот раз ему труднее было промолчать, потому что все видели, как его ударили, но Пеилуа все же промолчал. Он медленно повернул голову и оглядел мужчин, сидевших за грязными столами и на полу. Он как будто видел их в ночном кошмаре, молчаливых и страшных, готовых к ничем не объяснимой жестокости; он не понимал их и от этого вдруг смертельно испугался. Он знал — с отчаянием погружаясь в воспоминания о Ваипе, частью которого он

был до отъезда в Новую Зеландию,— чего они от него хотели. Предав себя, он предал и их. Он предал их надежды и мечты, воплощенные в нем.

— Простите меня,— сказал он. Никто не ответил.— Простите меня. Я не хотел...

— Чего? — спросил стоявший рядом с ним Лафога.

Вот он: последний выбор. Пеилуа колебался, и смелость умирала в нем.

— Ничего,— ответил он. И опять повернулся к бару, спиной к ним. Лафога вызывающе захохотал прямо ему в ухо.

— Пожалуйста,— пробормотал Пеилуа.

Он бросился к двери.

Двое мужчин преградили ему дорогу. Кинулся влево — еще двое.

— Ну, пожалуйста,— умолял Пеилуа, ползая на коленях.— Пожалуйста. Я не хотел. Я любил ее. Она мне изменила!

То, что он целый год старался похоронить в памяти, сейчас вырвалось и встало перед ним. Мэри Дунстан. Так ее звали, ту женщину-папалаги, которую он любил в Новой Зеландии, которая воплотила в себе все его надежды, а она предала его, как теперь он предал Ваипе. Тот Ваипе, который он знал и любил с детства. Он на все был готов ради нее. На все. Когда он впервые увидел ее, ему показалось, будто в ней было все, все то, что он искал в ее мире: красота, доброта, нежность, знания, свободная любовь. Как он ошибся! Как ужасно ошибся!

Он застал ее в постели с другим. Он чуть не убил ее и ее любовника, он бил их в припадке безрассудной смелости, той смелости, которой она лишила его, едва он влюбился.

Судья постановил выслать его из страны.

И теперь, когда он умолял этих людей, умолял Ваипе простить его за то, чего они не понимали или не хотели понять, он знал, что все еще любит ее Знал, что боится окончательного приговора Ваипе.

Он рыдал от страха.

Он визжал, когда сильные жестокие руки поднимали его на ноги. И взвыл, едва первый кулак расквасил его лицо и отшвырнул куда-то и из носа хлынула кровь.

Они били его, пока он не потерял сознание, потом стащили с него рубашку, брюки, туфли и вышвырнули в ночь.

Двенадцать недель пробыл он в больнице после тяжелейшей мозговой операции. Потом приехал старший брат и забрал его домой.

Пеилуа и сейчас живет в Ваипе. Его часто можно увидеть сидящим в грязном кресле около родительского дома. Ему тридцать пять лет, однако выглядит он высохшим стариком, у него артрические суставы, седые волосы и неподвластный времени доверчивый взгляд глубоко запавших глаз. Подойдите к нему и спросите, кто он такой.

Он ответит вам по-английски: «Я белый. Бледнолицый».

И улыбнется как довольный ребенок.

Настоящий сын Ваипе умер в Новой Зеландии, убитый женщиной, которая его не любила. В Ваипе приехал бледнолицый. Мы его распяли.

■

Р. К. НАРАЙАН

Мои дни

Перевод с английского Н. ДЕМУРОВОЙ

Глава первая

Целыми днями я сидел, зарывшись в песок, насыпанный кучей в углу нашего сада, и возводил замки и горные хребты, не чувствуя палящего мадрасского солнца над головой. Моими товарищами были павлин и обезьянка. Обезьянка была привязана цепочкой к столбу, на вершине которого был укреплен ее домик, однако она предпочитала сидеть на его крыше, свесив хвост. Звали обезьянку Рама — стоило ее кликнуть, как она начинала скалить зубы; она опасливо косилась на павлина, который вечно скреб землю в поисках съедобных насекомых. Не могу точно сказать, когда они появились в моей жизни,— казалось, они были со мной всегда.

На старой фотографии, снятой, когда мне было четыре года, я сижу в бамбуковом креслице, а слева и справа от меня стоят павлин и обезьянка. Воспитавший меня дядюшка (брат моей матери) был, верно, одним из первых фотолюбителей в Индии. Солнечные дни он по большей части проводил, сунув голову под черную ткань, покрывавшую огромный фотоаппарат на треножнике. Он то и дело снимал меня в саду среди цветов в обществе моих животных. Пока он нас фотографировал, я застывал перед камерой, не шевелясь и не моргая; труднее было удерживать неподвижными обезьянку и павлина. Мне вся эта процедура очень нравилась, хоть бабушка нет-нет да и заявляла, что, фотографируясь, укорачиваешь себе жизнь. Я гордился нашей троицей на фотографии и надеялся, что между мной и Рамой будет замечено сходство. Когда я обратился за подтверждением к бабушке, она пришла в ужас и сказала:

— Хочешь походить на обезьяну? Какая глупость — обезьяна тебе не компания! Ты должен ее отправить куда-нибудь. Походить на обезьяну, когда бог наделил тебя такими большими глазами, а волосы так и вьются!

Волосы мои ей настолько нравились, что она не подпускала ко мне парикмахера,— в результате, когда я хотел взглянуть на кого-нибудь, мне приходилось раздвигать их руками.

Павлин был еще юн, но величаво распускал свой трехфутовый хвост, беспрестанно склевывая муравьев, имевших несчастье попасться ему на глаза. Днем, когда мне надоедала куча песка в саду, я обычно устраивался на пороге двери, выходящей на улицу Пурасавалкам,

© R. K. Narayan, 1974.

и следил за велосипедистами и повозками, запряженными быками или лошадьми. Мимо проходила вереница тяжело груженных телег с городским мусором; сильный ветер, дувший в этот час с моря, подхватывал верхний слой. Последними шли крытые фургоны с нечистотами, промазанные дегтем и запечатанные; колонна направлялась к западу и вскоре терялась в пыльном вечернем мареве, оставив после себя тяжелый запах; я вскакивал и бежал в дом с криком:

— Помойка проехала!

Сообщение это предназначалось бабушке, которая таким образом узнавала, что пора ей заняться вечерними делами — поливкой клумб и горшков с цветами, которых у нее было не менее полусотни. У нее был гончар, делавший ей особые горшки гигантских размеров — я таких больше нигде не видел,— в каждый из них можно было спокойно посадить целое дерево. У себя в саду она вырастила свыше двадцати кустов гибискуса с синими, голубоватыми и лиловыми махровыми цветами, несколько сортов жасмина, каждый из которых источал по вечерам свой особый аромат, и множество экзотических цветов всевозможных размеров и форм. Уголок сада был отведен для ухода за особо нежными растениями, жизнь которых была в опасности. Она приобретала геронию, герань, лаванду и фиалки — они цвели лишь на высоте трех тысяч футов в Бангалуре — и упрямо старалась выращивать их в соленом воздухе Мадраса. Когда цветы вяли, она плакала и проклинала мадрасский климат. Даже когда цветы засыхали в своих ящиках, она еще несколько дней продолжала с надеждой ухаживать за ними, прежде чем выбросить за забор, где их в конце концов подбирали телеги, идущие на запад.

Наполняя водой из крана за домом то медный кувшин, то ведро и лейку, бабушка равно оделяла влагой все свои растения, а под конец с помощью медного насоса направляла в небо великолепный столб воды, которая потом, словно небесный дар, ниспадала на сад, увлажняя глинистую землю, начинавшую так благоухать, что хотелось ее тут же попробовать, и заставляя листья сверкать на солнце, пока вода стекала с их краев, словно хорошо ограненные алмазы. Пока мы носили воду, павлин торопливо ходил за нами, не отставая ни на шаг. Когда с неба ниспадала влага, он распускал свой хвост во всю его красу. В этот миг слышно было, как Рама гремит цепочкой: она всегда нервничала, когда павлин начинал красоваться, и выражала свой протест тем, что дергала цепочку и прыгала по крыше домика. Смеркалось, и я загонял павлина под бамбуковый навес в углу комнаты. Раму кормили рисом и тоже загоняли в домик. В сумерках ее одолевала куриная слепота, она нетвердо держалась на ногах и шла, куда ее подталкивали.

Порой, когда я сидел на пороге двери, выходящей на улицу, павлин стоял рядом. Прохожие останавливались полюбоваться им; иногда какой-нибудь мальчишка просил меня выдернуть у него из хвоста перо. Когда с этой просьбой ко мне обратились впервые, я, поразмыслив, решил, что отказать нет никаких причин: ведь у меня просят всего одно перо, тогда как в моем распоряжении остается весь павлин. И я позволил просителю вырвать перо по собственному усмотрению — но только одно! Мальчишка протянул руку, но тут павлин с силой клюнул его, и тот с плачем обратился в бегство. До этого случая я и не замечал, до чего воинственна наша птица. Теперь я увидел, что у нее характер сторожевого пса. В течение дня в доме бывало множество народу: нищие странники, продавцы овощей, портной, ювелир,— у всех было к бабушке какое-нибудь дело, и если кто-либо входил без предупреждения, павлин тут же с яростью на него нападал. Обычно он сидел на стене над дверью, обрушиваясь на посетителей, стоило

им переступить порог, и клевал их, пока его не хватали за хвост и не оттаскивали прочь.

Дядюшки, третьего члена нашего семейства, в это время дня дома не бывало. У него наверху была комната, которая служила ему одновременно кабинетом и лабораторией,— там он сидел, если не промывал негативы, над своими тетрадями. По утрам он выходил из дому, садился на трамвай и ехал в колледж, откуда возвращался лишь поздно вечером. В свободные дни, взгромоздив свой аппарат на треножник, он ставил меня перед ним. Иногда он усаживался на пол в кухне и рассказывал, что произошло в колледже за день; он был членом драматического кружка и объяснял нам «Бурю» Шекспира и как они ее ставят; передразнивал кого-нибудь из друзей, игравших в ней, и мы смеялись; он был хорошим рассказчиком, и «Бурю» я изучил задолго до всего остального. Дядюшка играл Просперо; он описывал, как его друг, которому досталась роль Калибана, входил на репетициях в раж настолько, что становился опасен для окружающих. Дядюшка с восхищением рассказывал о своем учителе по имени доктор Скиннер, и мы восхищались им тоже, хоть никогда его не видели.

Наконец, все стихало. Улицы замирали, только из лавки через дорогу лился непрерывный поток брани — это хозяин ругал должников-завсегдатаев, добивающихся его дальнейших милостей. Он награждал своих несостоятельных клиентов и их матерей всевозможными бранными именами, и если я сейчас владею изысканными вульгаризмами, то этим я обязан тому богатейшему арсеналу, который в детстве располагался так близко от меня.

Сквозь эти звуки слышался скрежет трамвая, тормозящего на конечной остановке у торговой улицы неподалеку. Лавки и трамвайная остановка находились от нашего дома к востоку — оттуда открывался доступ в широкий мир и к морю, лежащему за ним, тогда как в западной стороне, куда уходили телеги с городским мусором, крылось что-то зловещее. Там слышалась перебранка, а из невидимого бара неслись проклятья и шум драки. Похоронные шествия несли своих покойников в том же направлении. Я даже смотреть в ту сторону не решался; лавки же и трамвайную остановку в другой стороне я мечтал когда-нибудь увидеть.

Как я обрадовался однажды, когда дядюшка предложил мне пойти вместе с ним на улицу, где были расположены лавки. Я схватил его за руку, и мы отправились. Был снова вечер. Я увидел человека с бамбуковой лестницей через плечо, он шел по улице от фонаря к фонарю и зажигал их. Фонарей было немного, и они стояли далеко друг от друга — шестиугольные стеклянные колпаки на чугунных рифленых столбах. На старике фонарщике был пиджак цвета хаки и синий тюрбан; он нес лестницу, коробок спичек, ветошь и жестянку с маслом.

Я не мог оторвать от него глаз. Мне никогда и в голову не приходило, что освещение темных ночей требует столько труда. Крепко держась за дядюшкину руку, я уставился на фонарщика, повернувшись к нему всем телом,— нелегкое дело, ибо дядюшка тащил меня вперед, не сбавляя шагу. Фонарщик влез на лесенку, открыл в фонаре маленькую дверцу, вынул лампу, почистил и протер ее тряпкой, налил в нее масла, зажег фитиль и закрыл дверцу, а потом спустился вниз, надел лестницу на плечо и зашагал к следующему фонарю. В голове у меня теснилось множество вопросов; мне хотелось узнать, как его зовут, откуда он, что он ест, спит ли он с лестницей на плече и прочее: но не успел я придумать, как к нему обратиться, а меня уже утащили я так и не успел задать ни одного из своих вопросов.

Вскоре мое внимание привлекло другое зрелище — это была лавка сластей, называемая Панкаджа Лодж; сласти лежали горой на подносах, а над ними восседал человек в очках и с блестящей золотой цепью на шее. Бывало, днем, когда я сидел на пороге нашего дома с павлином за спиной, запах масла, в котором жарились эти яства, долетал до меня и пробуждал голод. Проходя мимо, дядюшка остановился и купил мне пакетик сластей, завернутых в хрустящий коричневый лист. Я принялся жевать и тут же забыл о фонарщике. Дядюшка вел меня по самому краю дороги, чтобы не подвергать опасностям, грозящим в те дни пешеходам; до нас то и дело доходили слухи о людях, сбитых с ног велосипедистами. Продавцы молока с бидонами в руках гнали по улицам коров. Увидев коров, я отпрянул в сторону, хоть дядюшка и пытался меня убедить, что они не опасны. Проходя мимо оранжевого здания школы с зелеными воротами, дядюшка пообещал, что со временем я попаду туда. Меня эта перспектива не обрадовала. Это было мрачное здание с крестом на крыше; я возненавидел его с первого взгляда.

С годами мое отношение к школе не изменилось Первое впечатление оказалось окончательным. Я поступил в школу в надлежащее время. В первый день я плакал от страха. Меня потряс вид моих соучеников. В младшем классе царил старик с серебряной щетиной на подбородке, в полосатом сюртуке без пуговиц, в тюрбане и белом *дхоти*, с неизменной короткой тростью под мышкой. Мы сидели на полу и под его бдительным оком месили комки мокрой глины, лепя из нее овощи, фрукты и всякую всячину; из цветной бумаги мы вырезали все те же овощи и фрукты, а также кораблики и четвероногих. Перед тем, как распорядиться, что нам делать дальше, учитель, чтобы привлечь наше внимание, с силой бил тростью по столу. Не помню, чтобы он ударил кого-либо тростью, но он размахивал ею, словно дирижер палочкой; она была для него средством самовыражения. Я мечтал только о том, чтобы оставаться незамеченным. Как я ни старался, глина в моих руках никак не желала принимать должного вида. Мне не давались ни форма, ни симметрия; другие мальчики превосходно воспроизводили всевозможные объекты мироздания, в то время как мои детища определению не поддавались (возможно, в качестве скульптора я намного опередил свое время). Меня вечно мучал страх — а что скажет учитель? К счастью, меня записали в школу поздно, и я получил последнее место в конце класса; когда он, наконец, доходил до меня, урок кончался и надо было бежать к крану под деревом во дворе мыть руки.

Возвращаясь мыслями к прошлому, я не могу объяснить, каким образом, учась в школе, я научился грамоте. Когда мы не месили глину, мы резали бумагу и складывали из нее фигурки. Каждый из нас вооружался ножницами; это, конечно, было прекрасно, но от вырезывания угловатых фигурок пальцы в суставах болели — манипулировать концами ножниц было не так-то легко. На следующей стадии обучения я не расставался с грифельной доской — на ней виднелась одинокая буква или цифра, которую я обводил снова и снова, так что контуры ее разбухали и расплывались. Тут тоже я не блистал — доска, на которой я непрерывно стирал написанное ладонью, была белой, словно на нее долго сыпали тальк, и разобрать, что на ней — белым по белому — писалось, было нелегко. И в этом искусстве мои товарищи преуспевали: буквы у них были четче и симметричнее; к тому же они как-то умудрялись держать свои доски черными до блеска, и буквы на этом фоне были отчетливо видны. Учитель, казалось, не обращал внимания на то, что я там пишу и как, только бы сидел в классе и не мешал. Он возражал, лишь если кто-либо из нас, выводя

буквы, высовывал язык, как это часто делают дети. За этим он неукоснительно следил; яростно бил по столу тростью и кричал:

— А ну-ка, ублюдки, спрячьте языки!

Мы тотчас повиновались, разом щелкнув языками,— странно было бы пропустить такой случай нарушить мрачную тишину.

Домой нас отпускали в половине пятого. Вырвавшись за школьные ворота, мы бежали вслед за караваном телег с мусором; избежать этой встречи было невозможно, ибо маршрут и время прохождения телег были так же неизменны, как движение планет по их орбитам. Мальчики, идущие в одном направлении, сбивались вместе; всю дорогу мы болтали, смеялись и играли.

Когда я возвращался домой, бабушка смотрела на мою грифельную доску и говорила:

— Тебя в твоей школе, видно, ничему не учат.

Эти слова она повторяла каждый день, а потом приказывала:

— Вымой руки и ноги под краном и иди на кухню.

К тому времени, когда я справлялся с этими сложными операциями, в кухне меня уже ждала еда и кофе. Бабушка покидала свои цветы, чтобы заняться мною, но потом возвращалась к ним снова и возилась в саду до позднего вечера.

Покончив с садом, она надевала сухое сари и, сунув за щеку лист бетеля с орешками, бралась за меня. Поставив под деревом кресло для себя и скамеечку для меня, она зажигала лампу и принималась восполнять пробелы в образовании, которое мне давали в школе. Она учила меня умножать; каждый день я должен был повторять таблицу умножения до двенадцати на каждое число, а затем все тридцать букв тамильского алфавита и, кроме того, изречения. Еще она заставляла меня запоминать санскритские шлоки [1] в честь богини учености Сарасвати. И тихонько затягивала классические мелодии, раги [2] которых мне надлежало опознавать. Если я ошибался, она долго ругала меня, если же нет — вознаграждала монеткой.

Она была методична — в маленьком дневничке записывала, что следовало пройти за день. Она не допускала никаких нарушений занятий и вставала, чтобы дать мне пообедать, лишь после того, как было пройдено все, что она наметила. Только мы усаживались заниматься, как я начинал клевать носом; на этот случай у нее была припасена миска с водой. Чтобы не дать заснуть, она брызгала мне в лицо холодной водой, словно заплечных дел мастер, который приводит свою жертву в чувство, дабы продолжить пытку.

Ей бы не бабушкой быть, а школьной надзирательницей. Ею владела одна страсть — обучать и воспитывать юные души. Позже, когда дядюшка женился и обзавелся собственными детьми, она брала их в руки одного за другим, как только они достигали должного возраста. К тому времени она стала еще агрессивней — держала возле себя длинную метлу из высохших листьев кокосовой пальмы и шлепала ею своих учеников. Сидеть же их она заставляла поближе, чтобы легче было достать. Лучшей ее ученицей была моя двоюродная сестра Джанаки, теперь уже тоже бабушка, которую на всех семейных сборищах очень хвалили за чтение стихов, пение и молитвы. Все это ей далось нелегко; она была добросовестной ученицей и, отправляясь на урок, прихватывала с собой, кроме учебников, пучок прутьев (тут она превзошла сторонников непротивления, ибо не только возлюбила врага своего, но и активно ему способствовала, снабжая его — или ее — доброй хворостиной).

---

[1] Шлока — стих. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Рага — одна из традиционных мелодических схем древнеиндийской музыки.

Школа наша принадлежала лютеранской миссии — в основном там обучались и жили дети новообращенных семей. Преподавателями были крещеные индийцы; к тем немногим ученикам, которые, как я, не крестились, они проявляли ничем не сдерживаемую ненависть. Большинство учеников-христиан также относились к нам с отвращением. Уроки Закона божьего посвящались в основном высмеиванию и поруганию индуистских богов; прежде чем восславить Христа, яростно топтали идолопоклонников. Среди нехристиан в нашем классе я был единственным брамином и тем привлекал особое внимание; весь класс поворачивался и смотрел на меня, когда учитель говорил, что брамины, настаивая вслух на вегетарианской диете, втайне, скрываясь ото всех, едят мясо и рыбу и виноваты в том, что цены на эти продукты на рынке растут не по дням, а по часам.

Мне было не по себе во время этих уроков, и все же библейские истории меня завораживали. В Ветхом завете особенно я находил столько чарующих персонажей — все эти Ревекки и Руфи мне ужасно нравились. Когда одна из них наполняла свой кувшин из колодца и поила какого-нибудь жаждущего Лазаря, я тоже испытывал жажду и мечтал о глотке кристально чистой, ледяной воды. Я вставал и просил разрешения выйти на задний двор, чтобы напиться из-под крана. Когда Иисус говорил: «Я сделаю вас ловцами человеков» [1], я смущался, боясь, как бы они опять не вспомнили о браминах и рыбе. В такие минуты я опасливо склонял голову.

Однако то, что я терпел в классе, будучи нехристианином, не шло ни в какое сравнение с тем, что пришлось вытерпеть христианскому миссионеру. Он вышел с проповедью на угол нашей улицы. Если спасение христианина достигается путем страдания, он его, конечно, достиг. Это был миссионер-европеец с длинной бородой; он скромно встал на углу улицы Веллала и Пурасавалкам, с ним было несколько обращенных в христианство индийцев со скрипками и гармониками в руках. Музыканты тихо играли что-то спокойное. Кое-кто из прохожих останавливался, священник дружелюбно кивал, благодушно оглядывая собравшихся. Музыканты во весь голос затянули молитву, покрывая своими голосами шум улицы, крики бродячих торговцев и кучеров, погоняющих тощих лошадей, запряженных в *джутки* [2].

Уличные мальчишки уселись рядком на земле, за ними встали какие-то мужчины и женщины. Решив, что народу собралось достаточно, священник подал музыкантам знак, чтобы они перестали играть. Внезапно наступила тишина, и он начал свою речь: он произносил ее на безукоризненном литературном тамили, строгом и правильном, извлеченном из словаря и бесконечно далеком от обычной речи. Очевидно, он потратил немало трудов на изучение местного языка, собираясь наставлять язычников в своем учении. Но тамили — язык трудный, он нелегко дается даже индийцам из других провинций: сложность его заключается в расхождении между написанием и произношением; его невозможно выучить по книге, его надо воспринимать на слух. Я говорю все это для того, чтобы объяснить, почему проповедника поначалу слушали спокойно и с явным вниманием. Это его вдохновило — он говорил со все возрастающим жаром, размахивал руками, возвышал голос до головокружительных высот, лишь изредка прерываемый возгласами «Аминь!» со стороны своей свиты.

Внезапно до слушателей дошло, что проповедник называет их «грешниками» и всячески поносит их богов. Он предлагал им сбросить

[1] Слова, обращенные к Андрею и Петру, которые были рыболовами (Евангелие от Матфея, 4, 19).

[2] Джутка — небольшая повозка для пассажиров.

своих каменных идолов в храмовые пруды, заросшие зеленой ряской, раскаяться в грехах и креститься. Ибо бог простит грешникам их грехи, а сын божий их искупит. Когда слушатели наконец поняли, что он говорит, началось светопреставление. Люди закричали, требуя, чтобы он замолчал, бросились к его приверженцам, а те поспешили унести подобру-поздорову ноги и свои инструменты. Слушатели швыряли в проповедника камнями, землей и пригоршнями мокрой зеленой травы.

Дело в том, что каждый вечер на этом перекрестке располагались торговки травы, которую покупали у них кучера *джуток:* весь вечер здесь велись жаркие споры о цене на каждую охапку; пока шел торг, женщины кричали на покупателей, стараясь не уступить им в непристойностях. Проповедник совершил стратегическую ошибку, выбрав это место; впрочем, у него были на то, очевидно, свои причины. Слушатели хватали пригоршнями траву и швыряли в него; светильники, зажженные его помощниками, были разбиты; однако, несмотря на все испытания, голос проповедника не умолкал. Грязный и мокрый, весь в траве, он все же произнес, не смущаясь, свою речь до конца. Потом он вдруг исчез в темноте. Трудно было себе представить, что он сюда возвратится. Однако ровно через неделю, день в день, он появился на следующем перекрестке.

Надо было обладать безрассудной смелостью фанатика, чтобы выбрать для проповедей эту часть города; вторую заповедь здесь никто и не думал соблюдать. Если принять этот перекресток за центр и описать вокруг него большую окружность, в нее попало бы несколько храмов, где каждый вечер собирались на службу толпы народа. На самой улице Веллала, хоть она и была небольшой, находилось три храма: один — слоноликому богу Ганеше, рядом — Кришне, а немного дальше — богине Понни Амман, которая охраняла наши границы, еще когда эта часть Мадраса была деревушкой. Там, где кончалась улица Веллала, начиналась улица Понни Амман с тесными рядами домов и лавок. Пройдя по улице Понни Амман, вы попадали к Воротам Лоудора (кем он был, этот Лоудор? И где же ворота? Сейчас там ничего не осталось), а оттуда на улицу Гангадесварар, которая тоже была так названа по храму Исвары (Шивы, который несет в своих спутанных волосах реку Ганг), огромному древнему храму с тридцатифутовым порталом, просторными переходами, в которых было где потолкаться, и искусственным прудом для ритуальных омовений, публичной стирки и регулярных несчастных случаев. (Пруд и сейчас требует своих утопленников — по одному в год). Храм Исвары служит центром — свадеб, погребальных обрядов (в пруду) и стихийных сборищ, не говоря уж об общении с богом. Первая демонстрация националистов в Мадрасе была организована здесь. Из храма с пением патриотических песен и скандированием лозунгов вышло в город шествие. Завороженный, я присоединился к нему, а когда мы вернулись, кто-то из энтузиастов — возможно, продавец сластей — предложил уставшей толпе угощение.

Когда я явился домой после этого патриотического акта, дядюшка устроил мне нагоняй — он был против политики и не хотел, чтобы меня вводили в заблуждение. Правителей, государство и административный аппарат он считал дьявольскими порождениями и не видел в смене власти никакого смысла.

Недавно я побывал на Пурасавалкам и провел там часа два, бродя по знакомым местам; многоэтажные здания, новые магазины и современные виллы изменили ее общий вид, но храмы, которые я здесь назвал, остались все теми же — они так же прочно стоят на месте, в них все те же светильники, и люди здесь все те же, как пол-

века назад,— они пережили уличного иконоборца и тех, кто хотел его извести, осыпая землей и травой.

Глава вторая

Я нарушаю строгую последовательность событий, ибо случай, о котором я сейчас расскажу, очевидно, произошел до того, как меня послали учиться в школу. Я уже говорил о храме Понни Амман. Раз в год, в определенный день, изображение богини выносили из святилища, находящегося в конце улицы Веллала, и несли в наш конец, где устанавливали на разукрашенном возвышении у керосиновой лавки против нашего дома. Я так никогда и не понял, какова связь керосиновой лавки с этим праздником,— благодаря давней традиции создавалось впечатление, что свои ежегодные каникулы богиня проводит у лавки, где на эти десять дней торговля керосином и прочим топливом прекращалась.

Хозяин лавки по имени Кодандам был человек решительный и, вздумай кто предложить какую-либо перемену или подвергнуть сомнению его право оказывать гостеприимство богине, встал бы на защиту своих привилегий. Он так ловко орудовал бамбуковой палкой, что казалось, будто он окружает себя со всех сторон непроницаемой броней и может отбить любое нападение. В этом искусстве он не знал себе равных и не терпел соперничества. Если кто-нибудь решался показать свои достижения в его присутствии, он рассматривал это как личное оскорбление и избивал обидчика.

Его лавка стояла на пересечении двух улиц, по которым направлялись на запад погребальные шествия; порой, когда хоронили человека видного, среди провожавших, в знак особого уважения к почившему, шли плакальщики с жезлами в руках. Существовало неписаное правило, по которому им надлежало, подойдя к керосиновой лавке, опустить жезлы и воздержаться от дальнейшей демонстрации своего искусства. В противном случае им грозили крупные неприятности. В иные злосчастные дни Кодандам останавливал похоронное шествие и вступал с обидчиками в драку, в то время как носильщики убегали, оставив покойника на убранных цветами носилках посредине улицы.

Этот-то человек и оказывал гостеприимство богине. С бамбуковой палкой в руках он становился на все время празднеств на стражу перед ее алтарем и время от времени демонстрировал свое искусство. В эти дни наш перекресток преображался. Продавцы цветов, торговцы сластями, мастера, делающие игрушки из картона и клейковины, раскладывали на земле свой товар, зажигая вокруг маленькие светильники. Я усаживался на подоконник бокового окна и смотрел на праздник; барабаны, флейты и трубы не смолкали ни днем, ни ночью. Поздно вечером у глиняного алтаря перед изображением богини приносили в жертву кур и козлов. Стоило бабушке заметить козла, привязанного к фонарному столбу поблизости, как она тотчас закрывала все деревянные ставни в доме, хоть мне, при всем отвращении и ужасе, страстно хотелось увидеть настоящее жертвоприношение. Если бы не это напоминание о кровопролитии, праздник был бы приятным и веселым, а изображение богини, украшенное бесчисленными цветами, выглядело очень красиво.

Однажды вечером, отвернувшись от окна, я увидел, что хозяин керосиновой лавки ходит по дорожкам нашего сада. Я затрепетал: мне было известно, что на нашей улице к его услугам прибегали, когда нужно было обуздать мальчиков-буянов. Спрос на него никогда не пропадал; он приходил и порол непослушного в его же собственном доме и выпускал его из рук лишь тогда, когда преступник начи-

нал в голос просить о милосердии. Увидев, как он рыщет по нашему саду, я ни на минуту не усомнился в том, что он пришел за мной. Хоть я не совершил ничего такого, за что мог бы ожидать наказания, я чувствовал, что он может наброситься на меня ради чистого удовольствия. В руках у него была корзина: как я узнал лишь позже, он получил от бабушки разрешение нарезать цветов для гостящей у него богини. Обычно бабушка никому не позволяла и близко подойти к своим цветам, но Кодандам был исключением.

При первом же взгляде на него я перепугался и бесшумно убежал наверх. Время от времени я выглядывал из-за перил в надежде, что он уже ушел, но он все рыскал по саду — видно, искал меня. Я тихонько проскользнул к дядюшке в кабинет и спрятался за вешалкой, на которой висела собранная для прачечной одежда. Я был уверен, что, даже если он поднимется наверх, ему меня не найти, и не выходил из-за вешалки, хоть и задыхался от запаха грязного белья. Правильность моего решения подтвердилась час или два спустя, когда меня хватились. Стемнело, но я решил не выходить из своего укрытия — конечно, мне было страшно, но я вынужден был сделать выбор между боязнью темноты и страхом попасть в руки Кодандама. Я не сомневался, что Кодандам будет ждать меня бесконечно. Прошло несколько часов с той минуты, когда я в последний раз видел бабушку. Я полагал, что она в кухне Но внизу был Кодандам, и я не решался позвать ее или отправиться на поиски

Единственным спасением было отсидеться наверху. Там я и сидел, не двигаясь и не произнося ни звука, даже когда бабушка поднялась наверх и остановилась рядом, так близко, что ее можно было потрогать пальцем. Она громко звала меня, а за ней меня звали и дядюшка, и три жильца, что занимали задние комнаты в доме, и их сыновья. Все они кричали, стоя возле вешалки, но не заглядывая за нее. Я неслышно ответил на их зов:

— Я здесь. Пусть этот человек уйдет.

Я следил, как они совещались, что дальше предпринять.

— Я туда сходил, но в керосинной его никто не видел.

— Плохие сейчас настали времена. Все может случиться, особенно во время праздника. Похитители детей не дремлют.

— Иногда их воруют, чтобы принести в жертву.

При этих словах бабушка громко зарыдала. Слушая эти разговоры, я застыл от ужаса, но все же не решался покинуть свое укрытие. Еще накажут за то, что раньше не вышел. Теперь я боялся их так же, как Кодандама. Они спустились вниз, но немного погодя опять вернулись, снова окликая меня. Каждый раз, когда они проходили мимо, мне хотелось крикнуть:

— Да вот я! Что вы тут суетитесь? Я спущусь, когда уйдет Кодандам.

Но я сдерживал рвавшиеся из груди слова.

Я слышал шум внизу, разные голоса, зовущие меня по имени, треск барабанов и вой флейт в стане богини. Наконец, все стихло в нашем доме. Мне стало страшно. Было совсем темно. Я встал, тихонько спустился по лестнице и молча остановился перед бабушкой, печально сидящей в углу. В комнате горел лишь один тусклый светильник; она меня не видела. Она подняла глаза, только когда я объявил:

— Я голоден.

На ее расспросы я не отвечал и лишь упорно твердил:

— Я был наверху.

Дядюшка и жильцы с сыновьями вернулись поздно ночью.

— Мы заявили в полицию. Они разослали телеграммы на все же-

лезнодорожные станции: разыскивается мальчик с кудрявыми волосами и одной жемчужной сережкой в ухе.

— Одной? — спросил кто-то, не в силах сдержать любопытство.

— Всю жизнь была одна,— отвечал я весело.

— Чепуха! — вскричала бабушка.— Я сама там присутствовала, когда тебе прокололи оба уха и вдели две прекрасные жемчужины, оправленные в золото. Они у меня от отца, еще с тех пор, как он был *деваном*[1] в Аркоте. А этот мальчишка даже этого не помнит!

И она посмотрела на меня с упреком. Все повернулись и уставились на меня, преступника, который не только умудрился потеряться сам, но еще и потерял дедовскую жемчужину.

— Надо и вторую снять,— сказали все в один голос.— А не то любой вор оторвет ее прямо с ухом.

— А наш голубчик и не заметит!

Сейчас я точно не помню, но в школу меня отдали, вероятно, после этого случая с Кодандамом, заметив вдруг, что я становлюсь мечтателем, погруженным в свои мысли и не имеющим никакого представления об окружающем мире. Мое поведение было им непонятно, ибо я избегал всяких разговоров о керосинщике Кодандаме. Конечно, я мог бы во всем сознаться, но меня мучили всевозможные опасения. Еще поплачусь за свои признания. Пойди они к Кодандаму и расскажи ему обо всем, он еще вздумает обратить на меня внимание. Впрочем, возможно, он воровал цветы в нашем саду и, если я его выдам, бабушка на него набросится, а это тоже грозит всякими последствиями. Всевозможные опасения, страхи и тайные поступки составляют в детстве естественное жизненное состояние, инстинктивно принимаемое для того, чтобы выжить в мире, управляемом взрослыми. В результате ребенок, как мне кажется, способен на большее лукавство, чем взрослый. Когда все попытки заставить меня признаться окончились неудачей, меня предупредили:

— Берегись! Теперь твое имя знают во всех полицейских участках!

Я и берегся — прятался в дом, стоило мне завидеть красный тюрбан полицейского на углу Веллала и Пурасавалкам.

Я лишился покоя. Вскоре я лишился также и общества своей обезьянки. Рама стала дерзкой проказницей. После долгих и настойчивых попыток она сумела развязать цепочку и пояс, которые держали ее у домика.

В первый же день свободы она вспрыгнула на крышу нашего дома и, злобно поглядывая на меня, принялась кривляться. Я умолял ее спуститься, но она не вняла моим просьбам. Перепрыгивая с крыши на крышу, она радостно удалилась; на крышу нашего дома она возвратилась лишь поздно вечером. К своему домику она и не подошла и не дала никому к ней приблизиться. Стоило нам пошевелиться, как она отпрыгивала, сохраняя между нами дистанцию. Мы предлагали ей орехи и еду, но она лишь печально смотрела на них и хранила бдительность.

Дядюшка долго пытался ее поймать, но потом сдался.

— Оставьте ее в покое,— сказал он.— Может, ей на крыше веселее. Ничего с ней не будет.

Однако дело было не в ее безопасности, а в безопасности окружающих. Ей было мало наслаждаться свободой в пределах нашего двора, она принялась исследовать город. Перелетая с крыши на крышу на головокружительной высоте, она появлялась то тут, то там на нашей улице и через открытые окна проникала в дома. В комнатах

[1] Деван — премьер-министр в одном из княжеств Индии.

она подбирала разные вещи, которые попадались ей на глаза, а когда ее пытались поймать, убегала. Где бы она ни проводила день, вечером она всегда возвращалась к нам, порой давая нам возможность узнать о ее дневных проделках. Однажды она принесла домой черную авторучку — перо у нее было откушено, а рот Рамы выпачкан чернилами. В другой раз она притащила кисточку для бритья.

Она совершила набег на кухню, где было приготовлено свадебное угощение, наелась там до отвала и набила себе за щеки столько лакомств, что в последующие дни даже не смотрела на еду. Она методично обирала деревья по соседству; вскоре у нашей двери начали толпиться недовольные. Наши отношения с соседями испортились. Бабушка объявила:

— Мы ничего не можем поделать. Она больше не наша.

Однако публика не вняла ее словам, полагая, что каким-то таинственным образом нам были выгодны проделки нашей обезьяны.

Бабушка теряла терпение и говорила:

— Что вы нас беспокоите? Можете делать с ней что хотите. Нам все равно.

Впрочем, они ничего не могли предпринять. Обезьянка была легка и проворна и в руки не давалась. По субботам, когда у дядюшки не было занятий, он целыми днями уговаривал Раму вернуться. Испробовав все средства, он поставил в блюдечке на открытой веранде еду, а сам укрылся с головой под большим одеялом и просидел там несколько часов. Когда Рама тихонько приблизилась к блюдечку, дядюшка попытался ее схватить, но Рама отпрыгнула и убежала. Она не появлялась у нас целую неделю, проведя ее поблизости от женской школы, где выхватывала из рук у девочек все, что ей нравилось.

Рама прославилась. За ней гонялся весь город. Втайне я молился всем известным мне богам, чтоб они защитили Раму. По совету какого-то знакомого дядюшка купил в соседнем трактире полбутылки пунша, намочил в нем орехи и поставил в глиняной миске на парапете. К нашему удивлению, трюк удался. Явившись к нам в следующий раз, Рама посмотрела на миску с любопытством. Приблизившись, похватала орехи, намоченные в пунше, и набила их в рот, а потом нагнулась и вылизала миску, в которой оставалось немного пунша. Однако, когда она попыталась снова взобраться на крышу, ноги ей отказали; она зашаталась и рухнула. Дядюшка, который весь день ее поджидал, подобрал обезьянку и посадил опять на цепочку.

Прошло несколько дней, и, сидя на куче песку, я возобновил наши беседы. Но Рама на крышах хлебнула свободы и явно рвалась обратно. Подобно волшебнику Гудини, она научилась разрывать путы. Однажды ей удалось выскользнуть из пояса и исчезнуть. Больше я ее никогда не видел. Я так и не узнал, покинула ли она нас в поисках новых пастбищ, попалась ли в руки врагам или вошла в стаю обезьян, по слухам, расположившихся в манговой роще неподалеку.

Пришлось мне довольствоваться обществом одного павлина, которому (так мне тогда казалось) не хватало спокойствия обезьянки: он вечно суетился, ища насекомых, и все куда-то шел, высоко подымая ноги и распустив свой хвост (который день ото дня становился все роскошнее и длиннее). Когда я устраивался, глядя на улицу, на пороге, он подходил и верным стражем становился рядом со мной, пытаясь отпугнуть посетителей. Вскоре он начал исследовать мир, лежащий за пределами дома № 1 по улице Веллала. Оглушительно хлопая крыльями, он поднимался с нашей стены на ветку дерева перед входом, а оттуда тяжело слетал куда ему заблагорассудится. Он полюбил эти выходы в свет; вечерами он возвращался — по своей ли воле или откликаясь на зов. Бывало, позовешь: «Милла!» — а он тут

же откликнется откуда-то, пронзительно и протяжно. Мы его не загоняли во двор: соседи к нему привыкли. Школьники кормили его орешками. Он со всеми ладил, только бы не посягали на его хвост.

Когда я начал ходить в школу, я обычно искал его после уроков, и мы возвращались домой вместе. Понемногу он расширял театр своих действий; однажды он уселся на стене, которой была обнесена наша школа. Увидев его там в окружении ватаги шумных школьников, я не стал его звать и не признался, что он принадлежит мне, не зная, как отнесутся к нему учителя. Порой он шел в другую сторону от дома, к трактиру, где благодушные пьянчуги кормили его орешками с пряностями, которые они обычно жевали, поглощая спиртное. Кто-нибудь из знакомых всегда приводил его домой. Но однажды к дому подошли два рикши и бросили к нам в сад его бездыханный труп.

— Видно, кто-то свернул ему шею,— сказали они.

Он лежал неподвижно в пыли, и хвост его походил на метлу.

Увидев его, бабушка зарыдала.

— Ах, нет, унесите его! — вскричала она.

Они сказали:

— Мы думали, вам его хвост будет нужен — из них ведь делают веера и дают хорошую цену.

Она схватила меня за руку и ушла в дом, ни слова не говоря. Успокоившись, она проговорила:

— Я всегда знала, что так и случится. Теперь они его съедят. Не надо было его выпускать.

— Если б мне не нужно было ходить в школу, я бы его стерег,— отвечал я.

Потом у меня жила птичка мина. Перья у нее были коричневые, а клюв желтый; дядюшка купил ее задешево у уличного торговца птицами. По вечерам, вернувшись из школы, я кормил ее крошками хлеба, смоченными кофе. У нее был покладистый характер, улетать она и не думала — порхала себе на свободе по дому, мелькая под потолком между балками, а когда я возвращался из школы, спускалась и садилась мне на плечо. Считалось, что, если очень постараться, этих птиц можно научить говорить, и вот я часами приставал к ней со всякими фразами по-тамильски. Внизу в доме она была в полной безопасности, но однажды вечером я совершил ошибку: я вынес ее покормить на крышу. Я посадил ее на пол и радостно следил, как она склевывает крошки у меня с ладони. И не заметил, что в нескольких шагах от нас сидит кот. Выбрав момент, кот прыгнул и, схватив мину, ретировался на край крыши. Я плакал, кричал, вопил и ругал кота.

Дядюшке — возможно, из-за меня — хотелось, чтоб в доме жило какое-нибудь животное, однако и он вскоре понял, что здесь нам не везет. Он купил котенка с пушистым хвостом (совсем не похожего на лютого представителя семейства кошачьих, уволокшего мою мину), который отзывался мяуканьем, стоило позвать его: «Нагу!» За обедом он сидел с нами и с удовольствием лакомился катышком из риса с маслом. Казалось, я мог забыть все предыдущие потери. С кошками забот меньше, чем с любыми другими домашними животными. Но через несколько недель, когда котенок решился выйти на улицу, за ним погнался сосед. Котенок упал в сточную канаву, которая была полна, и утонул.

Потом у нас жил мохнатый щенок, купленный за рупию у дворецкого, служившего в доме европейца за баром. Купив щенка, мы преисполнились радости и надежды, ибо дворецкий заверил нас, что это настоящий спаниель. Он был очень лохматый, и мы поверили дворецкому, однако вскоре лишились и щенка. Щенок целыми днями слонялся по дому; мне казалось, что он вечно голоден, он хватал

и пожирал все, что попадалось ему на глаза: бумагу, тряпки, фитили у светильников, которые бабушка ставила перед изображениями богов, а также высохший палый лист в саду, удобрение и песок. Однажды вечером, вернувшись из школы, я застал его лежащим на спине — живот у него вздулся, он тяжело дышал. Это был конец. Дядюшка решил больше не держать никаких животных в доме.

Глава третья

Настало лето, солнце так жестоко палило Мадрас, что все, кто только мог, торопились покинуть город. Люди богатые уезжали в горы, в Кодайканал и Утакаманд. Мне предстояло поехать на лето к родителям. Отец мой состоял на государственной службе и был директором школы в Ченнапатне в штате Майсур. Туда надо было ехать ночь поездом до Бангалура, а затем пересесть на другой, который медленно, тяжело пыхтя тащился по каменистому ландшафту. Бабушка обычно сопровождала меня во время летних каникул в Ченнапатну, но на приготовления к поездке у нее уходило недели три каникулярного времени. В это время она сушила впрок всевозможные лакомства из риса и бобов; их потом жарили и подавали в торжественных случаях круглый год. Еще она засаливала всякие виды зеленых стручков, а потом сушила их на солнце на весь год вперед. Это была сложная операция, подготовка к которой начиналась за несколько недель, еще в феврале, когда воздух был влажноват.

— Дней через десять после праздника Шива Ратри туман сойдет. Надо мне все подготовить,— говорила она, составляя список предстоящих операций.

Прежде всего надо было купить бобы и приправы. К счастью, в одном из крыльев нашего дома находилась лавка потребительской кооперации, туда можно было попасть из душа, через боковую дверь. По сути, дом наш был большим зданием, которое бабушка разделила перегородками и сдавала различным торговцам, конторам и семьям, оставив нам лишь кухню и жилую комнату внизу, да кабинет дядюшки наверху. В то время я не понимал, насколько жизнь наша зависела от вносимой ими платы.

Для похода со своим списком в лавку бабушка выбирала какой-нибудь тихий денек. К моему возвращению из школы на полу в кухне уже громоздились кули и бумажные пакеты. Вид их почему-то наполнял меня восторгом. Но дядюшка, вернувшись из колледжа, хмурился при виде всей этой суеты и говорил колкости, чем приводил бабушку в расстройство. Она горячо возражала ему, а дядюшка что-то с упреком ей говорил. Я так никогда и не понял, о чем они спорили, хоть и внимательно следил за их лицами, переводя взгляд с одного на другого и пытаясь уяснить себе смысл происходящего. Когда бабушка произносила «Гнана», это мне было понятно — так звали мою мать. Бабушка говорила:

— Не могу же я уехать с пустыми руками. Я должна хоть что-то повезти Гнане. Она ведь такая слабая и больная, ничего сама приготовить не может.

Дядюшка был предан сестре и более не возражал; бормоча что-то себе под нос, он поднимался по лестнице наверх.

Вскоре в доме появлялась толпа помощников, с утра до ночи они толкли, просеивали, крутили, мололи и месили — это были бабушкины друзья, поклонники, жильцы и слуги, которым платили деньги. В доме раздавалась разнообразнейшая музыка: стук металлической ступки, шелест веялок, безумолчный рокот жернова, а надо всем этим говор людских голосов. Бабушка вытаскивала свернутые циновки из

пальмовых листьев и расстилала их на крыше. Из небольших медных форм на свет выходили фигурные яства — их раскладывали на циновках и оставляли под палящим солнцем сушиться. Младшим членам своего ополчения бабушка вверяла охрану; с палками в руках они по очереди поднимались на крышу и там отгоняли ворон.

Когда наставал мой черед, я устраивался в узкой полоске тени и сидел там весь день, криком спугивая ворон, за что к вечеру получал ану. Помимо денег я вознаграждал себя тем, что отколупывал с циновок на полу недосохшие яства и поглощал их в сыром виде, пока меня не начинало мутить. Дядюшка делал вид, что не замечает сутолоки в доме; он не смотрел на крышу и упорно молчал, но к концу дня бабушка жарила ему что-нибудь из того, что готовилось, я относил тарелку ему в комнату, и он с удовольствием все поедал.

Наконец все банки и прочие сосуды были наполнены и спрятаны до той поры, когда понадобится наделять ими близких и дальних членов семейства. На долю моей матери предназначалось особенно много.

— Бедняжка столько рожает, такая слабая, ничего сама сделать не может,— повторяла бабушка своим друзьям.— Ей помощь больше нужна, чем кому другому. Если я ей не помогу, что она будет делать?

Дел у бабушки всегда было множество, она вечно пеклась о разных людях.

— Это лист *сандживини*, поминаемый в Рамаяне. Он тебя спасет от яда самой черной кобры. Нечего морщиться. Давай-ка глотай скорее.

Временами она изучала тетрадку, куда записывала какие-то особые средства от коклюша или паралича. Если вдруг прибегал сосед и с ужасом сообщал, что его ребенок бьется в судорогах, она все бросала и устремлялась на помощь.

— Ничего страшного,— повторяла она.— Холод на голову, а к ногам — грелку. Все будет в порядке — только не перепутайте, что куда.

Ей столько надо было переделать дел, что бросить все и уехать со мной на каникулы в Ченнапатну ей было нелегко. Потому-то поездка все время откладывалась: бабушка надеялась найти мне попутчика. Но в Ченнапатну обычно никто не ездил. Никто о ней даже не слыхал, хоть для бабушки это было самое важное место во всем свете, ибо там жила ее дочь и внуки.

Когда нас распускали на каникулы, делать мне было практически нечего. Целыми днями я слонялся по улицам с ватагой таких же неприкаянных друзей. У меня был железный обруч, который я вместе с друзьями гонял по улицам: сначала по Веллала, потом налево по улице Аудиаппа Мудали, а затем вдоль Гангадесварар и по Главной улице — огромный круг, бог знает сколько в нем было всего миль, который мы пробегали снова и снова, босые, в рубашках навыпуск, с подоткнутыми до колен *дхоти*, в то время как солнце нещадно жгло нам головы. Еще у одного мальчика из нашей компании был обод от велосипедного колеса, а у второго — от бочки, а у двух других ничего не было, они просто бежали рядом с нами, катя перед собой воображаемые обручи.

Нам ничто не грозило, если только мы следили за тем, чтобы не налетать на велосипедистов, коров или *джутки;* мы двигались быстрее их всех, и никто не обращал на нас внимания. Чаще всего мы воображали себя поездом (идея автомобиля еще не овладела тогда умами, а самолетов просто не знали) и мчались не глядя по сторонам, видя только дорогу перед собой и обруч, стучавший по гравию. Когда на город спускалась тьма и в лавках и на улицах зажигались огни, мы расходились по домам — усталые, голодные, мы просто падали с ног.

На следующий день все начиналось сначала. В эти дни я практически жил на улице, и никто, казалось, не обращал на это никакого внимания, пока не приходила открытка от матери, в которой она писала, что меня следует немедленно отправить в Ченнапатну, ибо кто-то из Мадраса ей сообщил, что я подвергаю свое здоровье опасности, проводя целые дни на солнце — на солнце, которое «высушит и змею, если ее оставить на земле». Бабушка читала мне послание вслух и говорила:

— Не выходи на солнце, играй по вечерам.

Она, конечно, не могла принудить меня выполнять это правило; стоило ей отвернуться, как я тотчас же убегал на улицу, недоумевая, откуда это мать взяла, что на нашей улице водятся змеи.

В конце концов мы усаживались в ночной поезд на Бангалур — мы ехали третьим классом, в набитом битком вагоне, окруженные множеством корзинок и банок, в которых бабушка везла своей дочери подарки. В Ченнапатну мы приезжали на следующий день в полдень, и меня тут же охватывало желание вернуться как можно скорее в Мадрас. Весь мир менялся — чужие лица, чужой говор, чужие голоса. Дом у моих родителей был большой, с холлом и двором, у отца было множество слуг в тюрбанах и сюртуках. Сам город казался захудалым и крошечным. Мне не хватало моих друзей — оборванных мадрасских мальчишек с обнаженным торсом. Мне не хватало моего обруча. Попытка взять его в последнюю минуту с собой потерпела неудачу. Я не отходил от бабушки: в этой чужой стране она была единственным знакомым ориентиром.

В ченнапатнинском доме жили мои родители, две мои сестры, два брата (старшего звали Паттабхи, младшего — Сину) и малютка; они встречали меня радостно, но жить с ними для меня было мучением. Я робел и смущался, когда мать заговаривала со мной, а при виде отца совершенно терялся — он казался суровым, меня пугал его тон и очки, сквозь которые он строго взирал на мир. Когда родилась моя младшая сестра, бабушка, чтобы помочь матери, взяла меня, двухлетнего, в Мадрас,— теперь я чувствовал себя дома только там.

Братья и сестры окружали меня, усиленно потчуя сластями и всякими лакомствами. Когда наступал вечер, грусть и тоска по дому становились невыносимы (даже форма бронзовых ламп в Ченнапатне казалась мне отвратительной); я бесстыдно рыдал и требовал, чтоб меня отослали в Мадрас.

Я не скоро привыкал к новому окружению, но понемногу всеобщее баловство и особые кушанья, которые готовила для меня мать, начинали мне нравиться. По вечерам слуга вел нас играть на школьный двор, на руках он нес моего младшего брата. Старший брат это время проводил со своими друзьями — он с малышами не знался. В доме у него была своя комната, где жили всевозможные животные; уходя, он всегда запирал дверь на ключ. Иногда он брал меня с собой, показывал разные достопримечательности, знакомил с товарищами и пользовавшимися его расположением лавочниками, с готовностью дарившими ему все, что он просил: горсть конфет, жареные орешки, рисовые хлопья и бананы, которые он величественно передавал мне, говоря продавцу что-то на языке каннада, которого я тогда еще не знал. Возможно, он объяснял, что я приехал из Мадраса, где у меня была собственная обезьянка, или обещал заплатить позже. Потом мы останавливались около велосипедной лавки, где у стены возле сточной канавы стояли четыре велосипеда. Глядя на меня, брат провозглашал:

— Я могу спокойно взять отсюда любой.

— А ты кататься умеешь? — спрашивал я.

В ответ он брал велосипед и звонил; хозяин мастерской говорил что-то, чего я опять не понимал, а брат выводил велосипед на мостовую и, прокатив несколько шагов, ставил на место. Потом мы шли на школьную площадку, где он присоединялся к игре в футбол и гонял мяч, приказав мне встать за воротами и восхищаться его игрой издали.

Спустя несколько дней ему сильно попало от отца: виной тому был его приятель из велосипедной лавки. Брат пришел домой, поднялся прямо к себе и запер дверь. Вскоре явился с мрачным видом хозяин лавки, который совсем недавно встречал нас, весь расплываясь в улыбке; он с трудом вел перед собой машину, у которой был покалечен руль, а колеса свернуты на сторону. Он махал руками и вопил во весь голос; на шум сбежалась вся семья, сверху спустился отец.

Оказывается, брат взял напрокат велосипед, упал, покалечил машину, не говоря ни слова, поставил ее к стене возле канавы и ушел, даже не заплатив за прокат. Отец успокоил хозяина и отослал его, а потом постучал к брату в дверь. Брат вышел — нос у него был окровавлен и расцарапан, локти разбиты, а на одежде видны были пятна крови и грязи. Отец гневно взглянул на него и потребовал объяснения. Он закатил ему пощечину, но тут женщины завопили и бросились на защиту брата, пока ему не был нанесен дальнейший ущерб. Особенно громогласно вопила бабушка; отец отступил и скрылся в свое святилище наверху, не желая ссориться с тещей.

Это происшествие, которое я наблюдал из-за столба, до смерти меня напугало. Я боялся отца и решил избегать его. Вид у него всегда был решительный («Он больше похож на главнокомандующего, чем на директора школы»,— говорили про него), голос зычный, нос орлиный и осанка величественная; он никогда не сюсюкал с детьми и не сидел, как все остальные члены семьи, обмениваясь новостями и сплетнями. Дома жизнь его была расписана по минутам. Он передвигался по дому размеренно, переходя из своего кабинета в столовую или в ванную в точно определенное время. Если не попадаться ему на пути, думал я, можно провести день в безопасности. В половине десятого утра он садился на велосипед и уезжал в школу в своем безукоризненном костюме из твида и белоснежном тюрбане, а возвращался домой часов в девять вечера; из школы он направлялся в клуб, где играл в теннис и встречался с друзьями, по большей части местными чиновниками, состоящими на государственной службе. По вечерам навстречу ему выходил с фонарем в руках слуга, он освещал отцу путь и нес его ракетку, в то время как отец шагал и размахивал тростью, отпугивая грозных уличных псов, лежащих в пыли.

Когда отец приходил домой, мы прекращали шумные игры и смолкали. Во время обеда мать всегда сидела с ним. Он описывал ей, как прошел день в школе, критиковал еду или с жаром что-то доказывал. В конце концов, убедившись, что он поднялся к себе, мы начинали бесноваться и швыряли друг в друга подушками и одеялами. Мать, убаюкав наверху малышку и удостоверившись, что отец устроился в кресле с лампой и книгами (он читал далеко за полночь), спускалась вниз, чтобы дать нам по стакану молока, а потом устраивалась в коридоре поболтать с бабушкой (которая уже размышляла о том, как она оставит меня у родителей, а сама вернется в Мадрас). Время от времени мать повторяла:

— Вам нужно спать. Отец читает — вы ему мешаете своими разговорами.

Когда второй месяц каникул подходил к концу и наступала пора возвращаться в Мадрас, я приходил в уныние. Я привыкал к обществу

братьев и сестер, к заботе матери и к слугам, и мне казалось невозможным вернуться к оборванным уличным товарищам, к ругателям-учителям, к соседству чесоточных учеников-пансионеров и пуще всего к одиночеству мадрасского дома. Но выбора не было. Открытка из Мадраса, написанная дядюшкиным четким каллиграфическим почерком, извещала о дне начала занятий, а также и о том, что я переведен в следующий класс. (Я не сомневаюсь, что дело тут не обходилось без окольных путей, ибо старик секретарь, отмечавший в школьном журнале переведенных и оставленных на второй год, был в нашем доме частым гостем и дядюшка вечно оказывал ему всевозможные мелкие услуги; позже в течение многих лет он был моим домашним репетитором; словно опытный лоцман, он провел меня по опасным морям арифметики и особенно географии. Иногда он размахивал тростью, чтобы лучше запечатлеть свой урок, а иногда сулил мне одиночное заключение на хлебе и воде в камере, которая, как мы полагали, находилась под самым крестом, венчающим школу лютеранской миссии; впрочем, во время переводов в следующий класс он всегда приходил мне на помощь.)

Наготовив всяких сластей, которых мне хватало на многие недели вперед, мать отправляла меня с попутчиком в Мадрас. Отец меня провожал и давал на прощанье наказы.

— Смотри не стань мадрасским бродягой,— говорил он шутя и дарил мне деньги на карманные расходы.

Помню, как меня неожиданно снова отправили в Ченнапатну — это было во время первой мировой войны, когда броненосец «Эмден» вдруг обстрелял Мадрас с моря. Мадрасцы, отвыкшие со времен Роберта Клайва от военных действий, не поняли, что город подвергся обстрелу с моря. С крыш своих домов они следили за лучами прожекторов, шарящих по небу, прислушивались к взрывам и удивлялись грому и молниям при ясном звездном небе. Один снаряд угодил в здание суда и разнес стену, окружавшую двор; на террасе юридического колледжа на следующий день нашли шрапнель; другой снаряд попал в стоящий у пристани танкер с нефтью, который тут же вспыхнул,— я наблюдал пожар с крыши нашего дома, милях в трех от него.

Немецкий кронпринц, командовавший «Эмденом», носился по морям и топил корабли союзников; проходя мимо индийских берегов, он решил позабавиться и обстрелял Мадрас — без всякой вражды, а возможно, даже из чувства искреннего расположения. Такова сложная природа воинов — они предаются разрушениям (или стремятся к ним) удовольствия ради. Кажется невероятным, что командир броненосца проделал столь долгий путь и приложил столько усилий для того лишь, чтобы разворотить стену во дворе суда и поджечь одинокий танкер. Жители, населявшие восточную часть города (так называемый Джорджтаун, расположенный ближе к морю), напугались; те же, кто жил в нескольких милях дальше от него, остались равнодушными. Многие из тех, кто жил в Джорджтауне, заложили повозки и двинулись на запад, в направлении Килпаука. Они поступали так и раньше, когда на море свирепствовал циклон и конца света ждали в тот же день; тогда многие тоже закладывали повозки и, собрав все свои ценности, готовились бежать за сорок миль в Кондживарам, как только море выйдет из берегов и двинется к городу.

Глава четвертая

Когда третьему из моих братьев было три месяца, отца перевели из Ченнапатны в городок, называемый Хасан. Друзья советовали отцу

доложить в департамент, что его сыну всего три месяца и его нельзя взять с собой в дорогу. Но отец был сторонником неукоснительного выполнения долга и думать не желал ни о каких привилегиях.

Вот почему в следующие каникулы мне пришлось совершить путешествие посложнее: ночь в поезде до Бангалура, пересадка и еще полночи в другом поезде, несколько часов сна на столе в зале ожидания на полустанке под названием Арисикере, чтобы на рассвете ехать дальше с караваном буйволиных упряжек.

В нужное время меня разбудили и посадили в огромный крытый циновками фургон, в который была впряжена пара буйволов. Я сидел на соломе, прикрытой ковром. Рядом с возницей сидел могучий батрак из хасанской средней школы. Звали его Манджа. Отсюда он был моим единственным провожатым (в Арисикере из Мадраса меня доставил другой попутчик).

Манджа не переставая говорил на языке каннада, которому мне еще предстояло научиться. У него были длинные усы, а в ушах — серьги; он так и сыпал новостями о хасанском доме. Многое из того, что он мне сообщал, было выше моего разумения, но он постарался, чтобы я понял то, что он говорил на ломаном тамили:

— Прежде всего ты вот что мне обещай: как увидишь своих родителей, пади им в ноги. Не то вовек с тобой говорить не буду.

Я не понимал, отчего меня должно занимать, будет ли он со мной говорить или нет, но был почему-то испуган и дал клятву упасть в ноги родителям, хоть мысль о том, что кто-то должен падать кому-то в ноги, казалась мне (да и теперь кажется) отвратительной.

Мы продвигались вперед; часть пути Манджа шел во главе каравана, угрожающе размахивая палкой. Некоторые места в этих горных джунглях были известны тем, что там прятались грабители; от них искали защиты, едучи близко, повозка за повозкой, поставив во главе Манджу, который размахивал палкой и бормотал холодящие кровь проклятия. В те дни этого было достаточно, чтобы разбойники не показывались.

Мы ехали и ехали по дороге, обсаженной деревьями; бесконечно тянулись гигантские манго в радужном цветении, кусты ежевики и лантаны. Раза два быки останавливались отдохнуть возле пруда или колодца. Дорога вилась по крутым склонам; таких мест я никогда раньше не видел, ибо Хасан — это высокогорная станция (его до сих пор называют «Утой бедняков»; Ута[1] — это курорт, расположенный на высоте 8 тысяч футов над уровнем моря, куда выезжают на лето правительственные чиновники и состоятельные люди).

От густого запаха соломы в фургоне, медлительного хода буйволов и позвякивания колокольчиков меня клонило в сон, хоть наставления Манджи и продолжали втайне меня тревожить. После долгих часов тряски на соломе мы, наконец, подъехали к бунгало, стоявшему на участке в десять акров. Уже заворачивая в ворота, Манджа наказывал мне не забыть обещания. Но, попав в объятия родных, встречавших меня у обвитого цветами крыльца, я и думать забыл о Манджe и даже не глянул в его сторону, пока он вносил в дом мой багаж. Во все три месяца моего пребывания в Хасане он никогда больше не заводил на эту тему речи; я уверен, что родители мои испугались бы, если бы вдруг я, как на сцене, упал им в ноги.

Младшей сестре к этому времени исполнилось семь лет, младшему брату — пять; их уже можно было брать в расчет. Мы без конца играли на огромном дворе нашего дома. Воздух был чист, и дерев-

[1] Ута — сокращенное название горного курорта Утакаманд.

це золотого могура перед домом стояло в вечном цвету. Дом был построен в колониальном стиле, со сводчатыми дверьми, высокими потолками и подъемными жалюзи. Решетчатое крыльцо было увито какими-то лиловыми цветами, которые то и дело летели на землю. Золотой могур был усыпан цветами. Из каждого цветка мы вынимали тычинки, поддевали их головки крючками и тянули в разные стороны; тот, кто терял головку, проигрывал. Усевшись под деревом, мы часами играли в эту игру. Мой старший брат играл со мной, когда мог, но он был необычайно занят: он принимал участие во всевозможных спортивных и атлетических состязаниях, его вечно звали куда-то друзья. Большую часть времени он проводил вне дома и возвращался поздно — влезал через дыру, сделанную в изгороди из лантаны, и тихонько проскальзывал через боковую дверь к себе в комнату. К этому способу его вынуждали прибегнуть вечные требования, чтобы он возвращался домой до наступления темноты (что было для него невыполнимо). Поля и дороги в Хасане кишели кобрами; особенно опасны были заросли кустарников, но ему все было нипочем. Однажды из джунглей вышел тигр, его видели в разных местах — весь город был в панике; по вечерам люди запирали двери и с наступлением темноты сидели по домам. Но брат по-прежнему возвращался домой когда вздумается, да еще рассказывал о последних подвигах тигра: там он кого-то покалечил, тут задрал корову и прочее.

Отец также не отказался от клуба и тенниса после занятий и раньше девяти часов вечера домой не возвращался. Правда, он находился под защитой Манджи, который выходил его встречать, вооружившись фонарем «молнией» и бамбуковой палкой. Если ходили слухи о дополнительно объявившихся тиграх и кобрах, Манджа лишь подкручивал фитиль в фонаре повыше и брал палку потяжелее. К тому времени, когда отец возвращался домой, мы, дети, уже лежали в постелях, натянув одеяла по самые уши, ибо в Хасане было так холодно, что даже летом у меня вечно зуб на зуб не попадал.

В иные дни старший брат брал меня с собой. Мы шли на красноватый илистый пруд, куда можно было попасть через наш задний двор, заходили по щиколотки в воду и бросали камни так, чтобы по пруду шли круги. Поднимавшейся зыбью к берегу прибивало полые камышинки. Должно быть, нам нередко грозила опасность утонуть, когда мы тайком удирали на пруд; в качестве единственной предосторожности брат требовал, чтобы я никому ничего не рассказывал дома. Тайну нужно было соблюдать потому, что он приносил с собой на пруд сигареты и мы курили. Еще он всегда запасался мятными лепешками, чтобы по возвращении домой от нас не пахло табаком. Мы боялись, что нас отведут в полицию, если кто-нибудь увидит, как мы курим; но пруд был безлюден, никто, кроме случайного пастушонка, там не появлялся.

Мы курили и дома, в обитом жестью сарае за колодцем на краю нашего огромного участка.

Брат обычно прятал спички и сигареты под карнизом сарая. Однажды сестра застигла нас на месте преступления — мы взяли с нее клятву, что она никому ничего не скажет, и угостили ее мятными лепешками. Но стоило ей войти в дом, как она тут же нажаловалась матери. Та отвела меня вечером в сторону и спросила:

— Правда, что ты куришь? Вот чему тебя научили в Мадрасе? Я скажу об этом отцу, он с тебя шкуру спустит.

Так сурово она со мной никогда не говорила. Я перепугался и не знал, что ответить, только глупо моргал. Наконец, она сказала:

— Иди обедай, негодяй! А где второй?

Брат почуял неладное и куда-то исчез; его звали, но он не отвечал. Я же проглотил обед, улегся в постель, накрылся с головой одеялом и замер; вскоре я услышал, как Манджа стучит по гравию палкой. Задыхаясь под одеялом, я прислушивался и ждал, когда мать расскажет обо всем отцу и он набросится на нас. Все улеглись, в доме стихло, лишь один ночник горел внизу, а я все ждал, что отец призовет меня к себе. Но ничего не произошло; мать нас не выдала, хоть сестра и оказалась предательницей.

Снова Мадрас. Наконец я закончил последний класс школы лютеранской миссии. После прощального вечера мы сфотографировались все вместе: в центре сидел директор, по бокам — четыре педагога, которые считались сливками нашего преподавательского состава, а за ними в два ряда стояло десятка полтора моих одноклассников. Я храню эту старую фотографию — единственный групповой снимок, который с годами не пожелтел, не потускнел, не выцвел, оставшись на удивление ясным. Меня смущают его блеск и новизна. Губительная рука времени не коснулась его, он не поддался никаким разрушениям. Сепия на нем совсем не поблекла. Его свежесть спасает от того уныния, в которое обычно приходишь, когда глядишь на старые фотографии.

Порой я развлекаюсь, пытаясь припомнить имена всех, кто снят на этой фотографии. Я начинаю с директора, в его безупречном тюрбане с тонкой каймой и глухом чесучовом пиджаке, с элегантными усами, кончики которых закручены вверх с безукоризненным артистизмом,— впрочем, я никогда не знал его имени, мне даже и в голову не приходило, что у директора может быть имя. Он был ходячим образом директора. Он был человеком добрым, никогда не кричал, хоть и склонен был при малейшей возможности пускать в ход свою трость; он вечно рыскал по школе с ней в руках, хоть и догадался отложить ее в сторону, когда уселся сниматься.

Обычно по понедельникам я регулярно получал свою порцию ударов тростью по ладони за то, что в пятницу прогулял физкультуру. Я пропускал эти занятия с равнодушным удальством; день расплаты, понедельник, был далек и казался нереальным. Шесть ударов тростью по ладони (ты имел право выбора: шесть по одной ладони или по три — на каждую) перенести было легче, чем физкультуру в пятницу.

Справа от директора сидел Гурусвами, обучавший нас английскому языку, тамили и математике; он засовывал длинную прядь волос под шерстяную шапочку, которая вечно поднималась над головой из-за этой непокорной пряди. Я считал его другом, ибо он часто посылал меня из класса с поручениями — купить ему пакетик сластей в лавке через улицу, и я чувствовал себя польщенным его доверием. Лицо его изрыла оспа; своего дома у него не было, и жил он на школьном чердаке, куда вела дверь с верхней веранды.

Возле него сидел учитель с мягким расплывшимся лицом, прядь волос торчала из-под его невысокой фетровой шапочки, известной под названием «кристи» (из Лондона). Безвольный и неуверенный в себе, он учил нас истории и географии, он был покладист и боялся нас больше, чем мы его. Имя у него было немыслимое — Мритиунджайам; мы не могли его ни произнести, ни написать. Я долго и пристально гляжу на оба ряда своих одноклассников, но не могу вспомнить их имен, за исключением лишь того, у которого прядь волос прикрыта вышитой шапочкой (у всех тогда волосы были выбриты так, чтобы оставить одну прядь).

Это Капали, староста нашего класса. Мне он казался высшим существом, я преклонялся перед изысканностью его манер и авторитетом. Я ловил каждое его слово и радовался, когда он обращался ко мне. Где они теперь и как-то им живется? Словно в океан канули... Только себя я нахожу безошибочно — вон я стою в черном пиджачке (который наш портной Аппу Майстри все никак не мог кончить и принести).

Он приходил каждый месяц на третий день после новолуния, долго смотрел на тонкий серп месяца с нашей веранды наверху и тут же переводил «на счастье» взгляд на дядюшку.

— Если после того, как посмотришь на новый месяц, взгляд твой упадет на лицо, исполненное добродетели, весь месяц тебя не оставит удача,— провозглашал Аппу,— так сказано в «Шастрах».

Вечно в долгах, он каждый месяц приходил посмотреть на лицо моего дядюшки, ибо это был единственно добрый человек, которого он знал. Он мог бы раньше отдать мне мой черный пиджачок, который он взялся переделать из старого, если бы больше сидел за машинкой и меньше искал лиц, исполненных добродетели. И все же он принес его, и все пуговицы были пришиты правильно, так что я успел надеть его как раз перед тем, как сфотографироваться, и тем увековечить.

Я не могу припомнить больше ни одного имени — а ведь восемь долгих лет мы провели вместе, сообща читая, играя и гордо перенося причуды наших учителей.

Перейдя в последний класс, мы стали держаться высокомерно, особняком, как и подобало старшим, которые занимали помещение наверху. Мы с грохотом подымались и спускались по лестнице, важно поглядывая по сторонам, как подобало «джентльменам», и, стоя наверху у парапета, взирали на младшеклассников, копошащихся под нами на школьном дворе, словно небожители-олимпийцы—на неуклюжих пигмеев внизу.

Впрочем, спрошу я, где сейчас мои друзья-олимпийцы? Может, приглядывают за внучатами или ждут, когда, наигравшись, они вернутся вечером домой или приедут на каникулы. Если суждено будет нам когда-нибудь встретиться, не сомневаюсь, что мы начнем сравнивать, кого больше мучит радикулит, приковывающий нас к дому, или повышенная кислотность, что разъедает нас изнутри, превращая пищу в яд, или кровяное давление, что стучит в барабанные перепонки и, словно Макбету, повелевает более не спать. Все это — в том случае, если они живы и узнаваемы. Увидь я их сейчас сидящими рядком на скамеечке в парке, я прошел бы мимо, не признав их, а они бы в свою очередь подумали: «Кто этот лысый человек, что идет с резвостью, непристойной в его годы?» Я вспоминаю управляющего американского отеля, где я остановился, который как-то сказал мне:

— Вам, черт возьми, лет небось не меньше, чем мне, хоть этого и не скажешь! Не очень-то бегайте, берегите себя.

Он только что оправился после сердечного приступа и знал, что говорит.

В четвертом классе я перешел в другую школу — в некое заведение, называемое школой К.Р.К.; она была основана на деньги некоего благотворителя, имя которого было столь длинно, что пришлось для удобства сократить его до инициалов. Школа эта была не плохая и не хорошая; главное в этом переходе для меня было то, что по дороге я должен был пройти через торговый район за трамвайной остановкой, это давало мне ощущение расширившихся горизонтов. Уроки в школе в это время отошли на второй план — меня захватили другие интересы.

Я стал бойскаутом и с гордостью маршировал в трусах цвета хаки, рубашке с двумя карманами, в зеленом тюрбане, погонах, пестром шарфе и с бамбуковой палочкой в руках. Это был исключительный мир: мы салютовали друг другу левой рукой, ибо делать это надо от всего сердца, а сердце находится слева. Мы поклонялись лорду Баден-Пауэллу, которого никогда не видели, но о котором знали, что он создал организацию бойскаутов, коей надлежало сделать юных подданных Британской империи здоровыми (телом и духом) и верными Богу, Короне, Отчизне. Три пальца, которые мы поднимали в салюте, должны были знаменовать тройную верность: Богу, Короне, Отчизне.

Но, увы, какая оплошность! Нас присоединили к ББИ (Безант-Бойскауты Индии: нашим президентом была Анни Безант, выступавшая за самоопределение Индии), так что три пальца, поднятые в салюте, теперь уже означали клятву служить не Богу, Короне, Отчизне, но Богу, Свободе, Индии. В гимне, который мы пели каждый раз после учений на мотив «Боже, храни короля», слова были такие: «Боже, храни нашу Родину, Боже, храни нашу славную страну, Боже, храни наш Инд».

Воодушевляемые высокими целями, мы собирались во дворе здания, которое называлось Малабарским домом, для упражнений и тренировки под руководством начальника нашего отряда. Непременным долгом каждого бойскаута было совершить, по меньшей мере, одно доброе дело в день. Нам раздали записные книжечки, в которые надлежало записывать добрые дела. Повод для их свершения найти было нелегко. Помню, как я печально смотрел на улицу в надежде, что кто-нибудь споткнется и упадет или угодит под машину, так что я смогу кинуться к пострадавшему и оказать ему первую помощь (нас учили накладывать жгут и бинтовать голову так, чтобы уши оставались свободны). Но увы, несчастные случаи были очень редки. Помню, сколько раз мне приходилось записывать: «Подал нищему» или: «Перед сном развернул бабушке циновку».

Бойскаут начинал «босоножкой», а потом его переводили во второй и в первый класс и давали соответствующий значок. Первого класса я так и не достиг, хоть и мечтал о нем. Я так и не научился разжигать костер с одной спички; а мои познания в узлах ограничивались одним лишь морским узлом, хоть нам надлежало овладеть еще четырьмя; не умел я и находить по приметам спрятанное сокровище; я всегда шел не туда. При всем том, когда Мадрас посетил лорд В-р, я был среди тех (всего нас было десять тысяч), кто прошел перед ним парадом, взяв на караул бамбуковые тросточки.

Потом мы заболели футболом. Мы дали нашей команде имя «Скачущие звезды» и гоняли мяч по полю, неизвестно почему названному «Озером». (Поблизости на мили вокруг воды не было ни капли; по сей день это место называется «Озером» или «Водохранилищем», хоть оно сухо, как пустыня.) Нас было с каждой стороны человек десять — вратарь, защитники, полузащитники и центр нападения,— и мы ревниво оберегали свою команду от новых пополнений; нашего капитана звали Джамбу. Время от времени он собирал с нас по четыре аны, а остальное докладывал из собственного кармана. Дхоти и рубашка у него были самые белые, а лицо и волосы — самые черные. Подоткнув дхоти, он всегда становился за нападающего; он обладал врожденными качествами капитана. Мы все слепо повиновались ему и полагались на него, когда надо было изгнать представителей команд-соперников, которые являлись раньше и пытались захватить нашу площадку на «Озере».

Каждый день мы встречали его на углу улицы Субрамания Пиллай. Где он живет, я не знал, где учится — тоже. В моей школе он не

учился; он называл какую-то неизвестную нам школу в Сайдапете — для нас это был иной мир. Бог знает где он брал время ходить в школу и возвращаться домой: когда бы мы ни являлись на угол, он уже стоял там в своей белоснежной рубахе, прижимая к груди отлично надутый мяч, который так и просился в игру.

Команду нашу набирал Джамбу — мы учились в разных школах. Как только уроки кончались, мы собирались на углу и шагали по направлению к «Озеру», потихоньку перебрасываясь мячом, передавая его над головами прохожих на тротуаре или меж колес повозок с одной стороны улицы на другую. Люди шли мимо, не обращая на нас никакого внимания. Пройдя по улице Веллала, мы пересекали Понни Амман и выходили к «Озеру». Здесь нам принадлежала площадка возле железнодорожного полотна. Мы подкатывали камни, чтобы отметить ворота, делились на две команды и били, пасовали, гонялись до наступления темноты. Потные и голодные, мы возвращались, тяжело дыша, тем же путем обратно, домой; на углу мы снова останавливались, чтобы обсудить сегодняшнюю игру и договориться о планах на завтра.

Порой перед нами вставали трудности: нас вызывала команда посильнее или мы боялись, что вечерняя игра не состоится, ибо швы на покрышке нашего мяча разлезались в самый неподходящий момент. Но Джамбу спокойно все улаживал.

В конце года «Скачущие звезды» показали себя достойной командой: из десяти игр, проведенных в свободные дни (счет мы вели сами, и он, возможно, был не совсем точным), мы выиграли десять; в качестве приза за победу мы получали для утоления жажды по пол-лимона на брата; но даже и их приносил Джамбу — как он их доставал и откуда, мы так и не узнали.

Глава пятая

После школы К.Р.К. дядюшка, пользуясь своим влиянием старого выпускника, устроил меня в школу Христианского колледжа. Я гордился своей новой школой. Рано утром я выходил из дому, взяв с собой завернутый в бумагу завтрак, и ехал трамваем сквозь улицы, запруженные людьми и повозками, мили четыре в самое сердце города, в Джорджтауне. Внезапно я оказался в мире, где все было масштабнее и крупнее. Пурасавалкам, куда я возвращался по вечерам, казалась мне теперь тихим захолустьем.

Христианский колледж был первым на эспланаде, за ним проходила дорога, опоясывающая пляж. С террасы колледжа открывался вид на синее море и пароходы на горизонте; весь день не переставая дул соленый ветерок. Учителя были хорошо одеты, доброжелательны и разумны, а ученики сильно отличались от тех, с кем я познакомился в школе лютеранской миссии и К.Р.К. Просторные коридоры, готическая башня с колоколом, часовня, хорошо освещенные классы и залы, доступная библиотека.

Во время перерыва на завтрак я брал свой пакетик с едой, шел в ближайший книжный магазин и ел, устроившись за высокими полками. Это был один из старейших книжных магазинов в Мадрасе, импортировавший книги со всех стран света. Не могу объяснить, почему я должен был там завтракать,— разве что хозяин его приходился дальним родственником дядюшке и мог заверить его, что я ем в спокойной и тихой обстановке. Позавтракав, я изучал названия книг, стоящих на полках, пока не раздавался гулкий звон колокола на башне колледжа. Иногда, если перерыв был подольше, я переходил через улицу, перепрыгивал через низенькую ограду и бродил по просторным коридорам городского суда (обстрелянного «Эмденом» за не-

сколько лет до того), стараясь остаться незамеченным и избежать гнева сержанта, который рыскал вокруг, восклицая: «Тихо, тишина!»

В конце дня я мчался со своими одноклассниками к остановке «Пляж», влезал в электричку и спрыгивал у «Эгмора», ближайшей к дому остановки, сэкономив, таким образом, стоимость трамвайного билета в один конец. Я никогда не покупал билета на электричку, но, пользуясь советом бывалых приятелей, соскакивал в Эгморе и бежал через угольный склад. Так все и шло до тех пор, пока я не похвастался своими подвигами дома,— дядюшка строго меня отчитал, предупредив, что так я и в тюрьме могу оказаться.

В Христианском колледже, однако, я пробыл недолго. В конце первого семестра, когда в михайлов день нас распустили на каникулы, меня отправили в Майсур, куда отец получил направление на пост директора Университетской школы Махараджи («Университетская» означала, что в ней был класс, готовивший к поступлению в университет). Отец, придерживавшийся невысокого мнения о моих прежних школах, к мадрасским школам вообще относился с предубеждением и решил оставить меня в Майсуре. Доктор Андерсон, директор Христианского колледжа, написал ему письмо с просьбой вернуть меня в школу; дядюшка также уговаривал его разрешить мне продолжить занятия в школе, быть принятым в которую почиталось за честь. Но отец ответил:

— Чем моя школа хуже? Ездить каждый день на трамвае опасно, всякое может случиться...

Так кончилась пора моей жизни, связанная с Мадрасом; с того дня я стал майсурцем. Поначалу, естественно, я тосковал по Мадрасу — по своим товарищам, улицам и уличному гаму, а пуще всего по не лишенному снобизма удовольствию быть учеником Христианского колледжа. Но вскоре я оценил Майсур. Он расположен на высоте свыше двух тысяч футов над уровнем моря, в результате чего здешний климат гораздо прохладнее. В Мадрасе чувствуешь даже тяжесть рубашки на спине; в Майсуре же можно одеваться нормально — пиджак, шапка, обувь; отец всегда настаивал на этом как директор школы и глава семьи.

Меня завораживали городские улицы, которые, казалось, то взбегали в гору, а то спускались вниз; огни на горе Чамунди, которую освещали по ночам, таинственно мерцали. Небо здесь казалось ярче и ближе, а множество деревьев, затенявших улицы, превращало утреннее путешествие в школу в приятную прогулку.

К тому же дома я был не один. Теперь наша семья пополнилась еще двумя братьями. Старшая сестра вышла замуж и уехала с мужем в Коимбатор. Отец с годами, казалось, стал мягче и все больше склонялся к принципу: «Живи и жить давай другим». Распорядок дня в Майсуре у него был такой же, как и прежде: школа, клуб, дом; под его началом теперь находилось гораздо больше учеников и преподавателей.

Вскоре я осознал преимущества обучения в школе, директор которой — твой отец. Множество людей начинают домогаться твоей дружбы. Учителя в целом подобрели — за исключением одного придиры-ботаника, который был недоволен директором, а заодно и его сыном и вечно твердил:

— Мне все равно, директорский он сын или нет. Я его выкину из класса, если он явится без цветных карандашей.

Сегодня его раздражали цветные карандаши, завтра — легкий скос рисунка в моем альбоме или затупленность карандаша, а не

то щелканье доски. Кто бы из сидевших в классе пятидесяти человек ни был виновен, учитель смотрел на меня и начинал длинную тираду на тему о том, как он обойдется с директорскими сынками. Тут весь класс оборачивался с ухмылкой ко мне. Но я уже не так болезненно реагировал на подобные ситуации и только улыбался в ответ, чем приводил учителя в еще большую ярость. Он откладывал поникшее растение, которое держал в руке, и провозглашал:

— Я без колебаний выгоню его из класса, пусть он и директорский сынок. Это дело серьезное, так что пусть побережется!

И гневно вращал глазами. Не знаю, как обращался с ним отец, ибо он никогда не обсуждал дома школьные дела. Но я подозреваю, что ботаник не был его любимцем.

С учителями отец вел себя так же сурово, как и с учениками; и с теми и с другими он обращался одинаково. Когда он проходил мимо учительской, голоса стихали. Все же кое-кто из учителей старался подавить в себе неприязнь: им не хотелось, чтобы сын директора позорил себя плохими ответами. Вот почему я так часто слышал то от одного, а то от другого из них:

— Если ты в чем-то сомневаешься, без всяких колебаний подходи ко мне.

Откуда было взяться сомнениям? Чтобы они возникли, надо было хоть что-то понимать. Имей я хоть отдаленное представление о степени своего невежества, я, возможно, мог бы подумать и о том, что надо предпринять. Но я лишь смущался, когда мне предлагали помощь, и неуверенно повторял:

— Не стоит, сэр.

Или:

— Это неважно, сэр.

Особенно упорствовал в попытках меня просветить наш зоолог. Он неизменно мне отвечал:

— Как это «неважно»? Напротив, очень важно. Разве ты не хочешь хорошо подготовиться и поступить в университет?

— Я не хочу вас беспокоить.

Он был очень невысокого роста, фута четыре с половиною, не больше. Если б не его костюм и тюрбан, его можно было бы принять издалека за толстого мальчика. Внутренности насекомых он рисовал разноцветными мелками, так что пальцы у него были вечно в мелу. Иногда даже на носу у него красовались зеленые или синие полосы; глядя на него, трудно было удержаться от улыбки — в простоте душевной он улыбался в ответ. Инициалы у него были М. М., и мы прозвали его Миллиметр. В отличие от ботаника, он был осторожен и никогда не ругал меня директорским сынком; вместо этого, застав меня врасплох, он настойчиво предлагал мне поделиться с ним моими сомнениями.

В субботу утром у нас проводилась практика по зоологии — нам выдавали скальпели и разрешали кромсать труп какого-нибудь животного, разложенный на столе. Преисполненный гордости и чувства собственного достоинства, я видел себя настоящим хирургом, запах карболки казался нам удивительно приятным. Я орудовал скальпелем без всякого смысла, но с чрезвычайным самодовольством. Я просто повторял то, что делал сосед, а когда раздавался звонок, уходил из класса. Что толку было спрашивать меня о моих «сомнениях»? Разве я мог сказать учителю, посвятившему все утро объяснениям, что меня окутывало облако невежества? Беда моя заключалась в полном отключении от того, что меня окружало. Мысли мои бродили неизвестно где, в то время как сквозь большие окна я смотрел на коров, пасшихся на лугу.

В семье, подобной нашей, учение было самым важным делом после религии. Мое отношение к нему не соответствовало домашним канонам. Я инстинктивно отвергал и учение, и экзамены с их ничем не обоснованной серьезностью и таинственностью. Так как о бунте не могло быть и речи, я подчинился, выполняя положенное без убежденности, без увлечения и без блеска. Ежедневное хождение в школу было мучением, мириться с которым меня вынуждал возраст. В Мадрасе, во дни лютеранской миссии, дядюшка был строг и, как я ни старался, не разрешал мне остаться дома. Когда, лежа в постели, я стонал от головной боли, настоящей или притворной, он лишь говорил:

— Вставай, вставай. Я сам отведу тебя в школу и попрошу учителя, чтобы он сегодня тебя не очень мучил.

В отцовской школе в Майсуре жизнь моя стала еще труднее — директорскому сыну приходится иметь дело с директором и в школе и дома.

Хотя отец обычно не отличался назойливостью, у него была привычка следить за журналом посещений (самая неприглядная книга на свете). Даже во время занятий (считалось, что раз в неделю он ведет у нас в течение часа английскую прозу), он то и дело прерывал объяснения, чтобы схватить журнал и призвать к ответу прогульщиков за прошлую и текущую неделю. Это настолько вошло у него в привычку, что он так никогда и не шел дальше первых строк какого-нибудь очерка Лэма: «Старшие, под надзором коих я воспитывался, по самой природе своей не могли пропустить церковной службы и новогоднего перезвона колоколов...» Тут он переводил взгляд на кого-нибудь в классе и вопрошал:

— Церковной службы... Ты можешь объяснить, что такое церковная служба? Да, ты! Где ты пропадал на прошлой неделе? Срочные дела, конечно! А ну-ка проверим, как часто тебя отвлекают срочные дела. Дай-ка сюда журнал!

Имея такого отца и директора, я не мог прогулять и дня. Он не колеблясь вызывал и меня в классе, а затем назначал наказание; дома же требовал к себе в комнату, чтобы объяснить, как я его позорю. В результате, пока я учился в школе, посещаемость у меня была стопроцентная, хоть мне и приходилось постоянно преодолевать соблазн побродить поблизости — в саду, где выращивались саженцы на продажу, или вокруг крошечного пруда, осененного огромными деревьями, по берегам которого тут и там виднелись небольшие кирпичные надгробья, посвященные незабвенной памяти усопших столетие назад. Скрепя сердце я отказывался от этих радостей, чтобы с первым же звонком быть в классе, а не то ворота запирались и опоздавшие оставались на улице ждать появления директора, который разрешал им войти лишь после должного выговора и предупреждения.

Перед поступлением в университет, где я прошел курс на степень бакалавра искусств, я получил целый год передышки: я провалился на вступительных экзаменах в университет, которые проводились в школе. От экзаменов по физике и химии я и не ждал ничего хорошего — эти предметы были выше моего разумения. Я не мог взять в толк, что нужно делать с «условиями» так называемых задач, при чем тут «атмосферное давление» или «удельный вес»; я не умел оперировать таблицей логарифмов и находить ответы на самые обычные вопросы. Как я ни старался, как ни бились со мной преподаватели, я так ничего и не понял. Я не сомневался, что провалюсь по этим

предметам, однако, словно каким-то чудом, сдал их, хоть и без особого блеска. Провалился же я, напротив, там, где чувствовал себя увереннее всего,— на английском языке. Я провалился так глупо и так безоговорочно, что все вообще усомнились в моей грамотности.

Отец, несмотря на всю его строгость в делах, касающихся школы, отличался одним приятным свойством — результаты экзаменов его не трогали. Провалившемуся он всегда выражал сочувствие; экзаменационная система не внушала ему никакого уважения. Но даже он, узнав о моем провале, вскричал в изумлении:

— Вот глупый! Провалился по английскому? Но почему?

Свободное владение английским языком было признаком общественного положения, и потому в ответ на вопрос отца я промолчал, хоть и прекрасно знал почему. Одним из учебников по английскому была смертельно скучная книжка в сером переплете, которая называлась «Путешествия и открытия» и содержала бесконечные тексты об экспедициях и прочее в том же роде. За всю свою жизнь я не встретил другой книги, которая была бы столь же неудобочитаема. Признав ее невозможной, я выкинул ее из своего сознания, решив готовить другие вопросы из «Оливера Твиста» и «Избранных стихотворений». Однако во время экзамена я обнаружил, что из шести полученных мною вопросов четыре были по «Путешествиям» — чудовище, составившее экзаменационные вопросы, было, очевидно, само заядлым путешественником. Через полчаса я сдался, покинул зал, где проходил экзамен, и, усевшись на одно из кирпичных надгробий возле заросшего лилиями пруда, предался размышлениям.

С годами мое отношение к образованию не изменилось. Несколько лет спустя, когда моя дочь, швырнув с отчаянием книги, вскричала: «Зачем мне арифметика?», я, не говоря ни слова, позволил ей оставить школу. Так у нее оказалось больше времени для чтения и музыки. Теперь, когда мой внук проявляет нежелание идти в школу, я всегда встаю на его сторону, хоть, разумеется, его родители со мной не соглашаются. Его учителя, которых я никогда в глаза не видел, кажутся мне существами загадочными и зловещими, на которых нельзя положиться. Я напряженно слежу, не случилось ли чего в школе.

Я возражал против системы, при которой некие бездушные анонимы, в обязанность которых входит отбор учебников, устанавливают обязательные пособия для обучения, против такой системы, при которой человек получает клеймо «хорошего» или «плохого» в результате занятий по этим учебникам. Мое естественное отвращение к академической системе обучения только усилилось, когда я прочитал очерк Рабиндраната Тагора об образовании. Он подтвердил выводы, сделанные мною в ранней юности. Мне нравилось быть свободным, чтобы иметь возможность читать, что я хочу, и не сдавать никаких экзаменов.

Глава шестая

Провалившись на вступительных экзаменах в университет, я обнаружил в своем распоряжении массу свободного времени, так как я мог экзаменоваться через год, не посещая занятий в школе. Целый год я был волен читать, что мне вздумается, и бродить, где мне вздумается. Каждое утро, положив в карман книгу, я отправлялся на прогулку вокруг пруда Куканахалли. Иногда это была «Золотая сокровищница» Пэлгрейва, иногда «Гитанджали» Тагора или томик Китса из серии «Мировая классика». Обойдя пруд, я усаживался под одиноким деревом на склоне, открывал книгу и принимался за чтение, то и дело отрываясь, чтобы посмотреть на птиц, ныряющих в воду. Вокруг, конечно, паслись вездесущие майсурские коровы и козы.

Они чудесно вписывались в общую картину. До полудня я читал, а потом возвращался домой.

Не знаю, разумно ли было проваливать меня на экзамене, предоставив мне целый год неограниченной свободы и тем самым испортив меня. Порой я вновь приходил к Куканахалли вечером, когда заходящее солнце, коснувшись водной ряби, освещало все вокруг таинственным светом и облака на закатном небе горели великолепными красками. Даже сейчас, побывав во многих частях света, я со спокойной совестью утверждаю, что нигде не увидишь закатов, выполненных с таким мастерством, как в Майсуре. Я садился на скамейку возле воды и следил за представлением, которое давало солнце: постепенно краски на небе гасли и в сумерках возникала одинокая первая звезда.

Когда начинался период дождей, я смотрел, как в небе громоздились огромные темные тучи; окаймленные молниями, они потрясали зрителя пиротехническими ухищрениями. В июне легкие дожди перемежались солнцем и вдоль дорог расцветали *золотой могур*, лесные огоньки и *джакаранда*. В июле и августе нескончаемые ливни, серое свинцовое небо и сырой ветер — меня завораживали перемены погоды. В те дни я был потрясен поэзией Тагора (хоть сейчас, возможно, я отнесся бы к ней несколько более критично). Когда я читал:

В тени дождей июня
Ты, крадучись, идешь...

мне казалось, что я приобщаюсь к Таинствам Природы. Многие поэты, собранные Пэлгрейвом, производили то же впечатление: Китс, Шелли, Байрон, Броунинг. Они говорили о том, что непосредственно и реально окружало и глубоко волновало меня. Возможно, я был еще совсем молокососом. Провал на экзаменах и сознание того, что одноклассники оставляют меня далеко позади, превратили меня в пессимиста, я чувствовал себя невинной жертвой и страдальцем, и все это каким-то странным образом обострило мою восприимчивость.

Жизнь в Майсуре мне очень нравилась. Порой я бродил по паркам и ярко освещенным улицам, прилегающим ко дворцу махараджи. В иные дни я подымался по тысяче ступеней на гору, молился у алтаря Чамунди и возлагал на него приношения из кокосовых орехов, а потом с аппетитом съедал их на обратном пути. В иные дни я замечал, что собирается гроза, и бежал от нее вниз по тысяче ступеней и еще пару миль от подножья горы до дому, куда я врывался весь мокрый и задыхаясь, но чувствуя, что вышел победителем из схватки со слепящей молнией и грозой. В некоторые из этих экспедиций меня сопровождали мой младший брат Сину и кое-кто из друзей.

Гора Чамунди предоставила в наше распоряжение не только свой храм, но и свои неизведанные склоны, камни, ущелья и неожиданные убежища. Однажды наши блуждания привели нас в пещерный храм с колоннадой и алтарями, с потаенными залами и подземельями, крышей которому служила огромная скала у южного основания Чамунди, ныне безлюдного и заросшего диким колючим кустарником. Я стал посещать этот храм регулярно, не заботясь о том, что, по слухам, его подземелья служили убежищем гепардам и змеям. Искушая провидение, мы спускались вниз, на самое дно и кусками угля, который валялся вокруг, писали наши имена с адресами на каменных стенах. Мы чувствовали себя храбрецами и гордились тем, что идем в лапы смерти для того лишь, чтобы оставить на стенах свои подписи.

Мое имя также красуется на самой высокой точке Майсура — на последней площадке башни храма Чамунди, куда я однажды поднялся по длинному ряду шатких лестниц, обнаружив, что стою на ги-

гантском языке гаргульи, венчающей башню. У меня захватило дыхание от вида на Майсур с этой высоты, и я поспешил спуститься — но лишь после того, как начертал свое имя и адрес на стене, прибавив: «ПРОШЛОЕ КАНУЛО, НАСТОЯЩЕЕ МИМОЛЕТНО, БУДУЩЕЕ ТУМАННО». Должно быть эта надпись вкупе с моим именем и адресом все еще сохранилась там, если только реставраторы не добрались до этой башни, а также и до пещерных подземелий на горе Чамунди. В последнем я не очень уверен.

Несколько лет назад я попытался вновь попасть в пещеры, но обнаружил, что они приведены в порядок и обитаемы. Участок вокруг зацементировали и обнесли колючей проволокой, поставили рядами пальмы в горшках, в сад провели электричество и установили водяные насосы; вся система пещер была вычищена, выбелена и приспособлена для царской жизни. И вправду, некий член некоей княжеской семьи облюбовал, к несчастью, себе это место, вычистил его и, чтобы отвадить публику, поставил у входа вооруженного стража, не сознавая, что священный долг каждого образованного гражданина состоит в том, чтобы оставить в неприкосновенности совершенные руины. Руины в один день не создашь; это результат длительного процесса: буйство зарослей, шипы, колючки, дикие звери, змеи, фауна, флора, погода, грязь и все стихии сообща создают совершенные руины. Всякую попытку вмешаться в этот процесс я предлагаю считать вандализмом. «Владыки, руки прочь от руин!» — сказал бы я.

Как сын директора, я пользовался исключительными привилегиями в школьной библиотеке. В летние каникулы в любые дни, в любое время библиотекарь открывал мне доступ к полкам, хотя остальным школьникам взять книгу домой было практически невозможно — столько надо было заполнить бланков и соблюсти разных правил. Вероятно, он надеялся заслужить благосклонность директора, предоставляя его сыну эти привилегии, хоть я и сомневаюсь, чтобы мой отец одобрил исключения, которые делались для нас (мой старший брат также использовал эти возможности).

В праздники я проводил дневные часы в библиотеке: прочитывал все журналы, лежащие на столе, и просил открыть шкафы с книгами. Я вынимал четыре книги разом и проглатывал их в один присест. Отрывок из «Ламмермурской невесты» Скотта в одном из наших учебников возбудил во мне тягу к туманной Шотландии, к драмам и романтическим историям, которые разыгрывались в этой дымке. Я прочитал «Ламмермурскую невесту» и шесть других романов сэра Вальтера, упиваясь любовью и ненавистью, сильные дозы которых волновали шотландские кланы. Я так восхищался Скоттом, что стал разыскивать его портрет и, наконец, нашел его в букинистическом магазине — гравюра на меди, предваряющая напечатанный микроскопическим шрифтом в две колонки том, содержащий три романа с многочисленными иллюстрациями, на которых оживали все эти несгибаемые мужчины и несчастные женщины, томящиеся в своих родовых замках. Я приобрел целую полку Диккенса и полюбил его Лондон и его чудаковатых героев. Райдер Хаггард, Мари Корелли, Мольер, Поуп и Марло, Толстой, Томас Харди... невероятная смесь; всем я зачитывался с величайшим наслаждением.

Мы со старшим братом жили в одной комнате во флигеле, где и состязались друг с другом в чтении. Он читал быстро, отмечая в дневнике впечатление от книги и переписывая отрывки, произведшие на него наибольшее впечатление. Иногда он читал вслух какую-нибудь пьесу — Шекспира или Мольера, принуждая меня отложить мою

книгу и слушать его. Целыми днями мы сидели дома, погрузившись в чтение и не замечая, как бегут дни и одно время года сменяет другое. Когда наступал час обеда, мы бежали в дом, где жили родители с братьями, а потом через боковую дверь возвращались в нашу комнату, чтобы вновь приняться за чтение. Мы жили в особом мире.

Помимо беллетристики, я с готовностью посвящал часть своего времени истории английской литературы. Как-то мне в руки попала «Английская литература» Лонга, второстепенная работа, но меня она заинтересовала — фронтиспис воспроизводил факсимиле Великой хартии вольностей. Я мечтал о том, чтобы прочитать по меньшей мере по две книги из каждого литературного периода, начав с англо-норманнской литературы. Но ничего из этого не вышло. Хотя в пересказе Лонга ранние произведения звучали необычайно увлекательно, в действительности читать их было практически невозможно. «Беовульф» ставил меня в тупик. Спенсер был выше моего разумения. Я сумел приняться за чтение, начиная лишь с Бена Джонсона, выделив по часу в день на систематическое изучение английской литературы. Подчинив себя железной дисциплине, я героически держался принятого решения. Но когда истекала шестидесятая минута, я с облегчением возвращался к беллетристике.

В романах мне нравились трагические концовки. Я выискивал книги, которые оставляли бы меня совершенно разбитым к концу. Так, прочитав «Ист Линн» миссис Генри Вуд, я проливал горькие слезы и снова и снова возвращался к ней. Героиня, дама из обеспеченной семьи, вступала в преступную связь и убегала из дому; оставленная своим соблазнителем, она погибала, по слухам, в железнодорожной катастрофе, но, выжив, нанималась в родной дом няней, чтобы следить за детьми. Конечно, она была неузнаваема — главным средством маскировки ей служила пара синих очков, так что собственный супруг и дети обращались с ней все время как с простой служанкой; умирая от чахотки, в последние дни своей столь неразумно искалеченной жизни, она с сокрушением признавалась в том, кто она такая. Читая и перечитывая эти страницы, я всегда чувствовал комок в горле; я получал огромное удовольствие от этой печальной сцены.

Я настойчиво выискивал истории, в которых героиня таяла от чахотки или, на худой конец, погибала так, как погибают прелестные женщины, поддавшиеся искушению и слишком поздно узнавшие, что на мужчин положиться нельзя. Немало подобных эпизодов я нашел у Диккенса, но более всего меня порадовали в этом отношении «Страстные друзья» Г. Дж. Уэллса (хоть я и не припомню, чахотка или стрихнин оборвали жизнь героини). Радостными воплями приветствовал я книгу, принадлежащую перу Виктории Кросс (кто это? Мне не попадалось больше ни одной книги этой писательницы), в которой милая дама умирает то ли от чумы, то ли от холеры, оставив своего безутешного возлюбленного терзаться до конца дней горем.

Больше всего мне нравилась английская писательница Мари Корелли. Недавно я попытался перечесть кое-что из ее книг, однако ничего из этого не вышло, хоть та особая искусственная атмосфера Норвегии, Египта или английской деревни, которую она создает, все еще производит впечатление. В пору юношеской неискушенности воображение через все наносное добирается до сути. В тот период моих литературных изысканий я прочитал с десяток ее романов, горько сожалея к концу каждого, что в нем всего лишь пятьсот страниц! Ее экзальтированная романтичность, саркастические замечания об английском обществе и литературных критиках меня восхищали. Я вырезал ее портрет из «Букмена» и поставил на свой книжный шкаф.

Те суммы, которые в школьном бюджете выделялись на книги, отец всегда использовал до конца, прибавляя к ним все, что оставалось неиспользованным по другим статьям, например по спорту; в результате в читальном зале нашей школы на столе лежали журналы со всех концов света. Суббота, когда приходила иностранная почта, была радостным днем. Прямо с почты слуга приносил в огромной сумке к нам домой бандероли с журналами. Их вскрывали, складывая журналы кипой на столе отца — там было все, что только публиковалось в Лондоне, от «Малышей» до «Девятнадцатого века» и «Корнхилла» включительно.

Отец не мешал нам брать со стола все, что мы хотели прочитать,— только бы положили обратно не измяв, ибо в понедельник утром журналы должны были лежать в школьной библиотеке на столе. Суббота и воскресенье проходили в бурном и разнообразнейшем чтении. Мы могли помечтать над рекламными страницами в «Журнале для мальчиков» или в «Стрэнде». Благодаря «Стрэнду» мы познакомились со всеми английскими писателями: Конан-Дойлем, Вудхаусом, У. У. Джейкобсом, Арнольдом Беннетом и многими другими, достойными носить это имя. «Букмен» знакомил нас с литературной жизнью того времени, главную роль в которой играли Шоу, Уэллс и Харди. Я совершенно точно знал, что они говорят и думают друг о друге, сколько получают за свои книги и над чем работают в данный миг. Статьи, заметки об авторах и их мире, союз Честертона и Беллока против Шоу или еще кого-нибудь, блеск литературной жизни Лондона — мы напряженно следили за всем этим. Сидя облокотясь на подушки в своей комнате на никому не известной улице Боджанна Лайнз в Майсуре, мы следили за каждым шагом лондонских литераторов. Благодаря журналам «Харперс», «Атлантик» и «Американ меркьюри» мы узнавали кое-что и о Новом Свете и его писателях.

Мы с особым нетерпением ждали «Лондон меркьюри» с его яркой оранжевой обложкой и неразрезанными страницами. К Дж. К. Сквайру я относился так, словно он был моим соседом. Джон О'Лондон и Т. П. в своих «Новостях недели» сообщали нам литературные сплетни об издателях и авторах. «Спектейтор», «Таймс литерари саплмент», «Манчестер гардиан» в тонкой желтой обложке... Двадцати четырех часов не хватало, чтобы прочитать все, что попадало к нам в руки. Постепенно я познакомился с наиболее значительными критиками и их суждениями. Теперь я не просто читал подряд романы в нашей библиотеке; благодаря книжным обозрениям я приобрел некое критическое чутье, так что мой прежний энтузиазм по отношению к таким писателям, как, скажем, Мари Корелли, поблек.

Писать я начал во многом под влиянием тех событий, которые происходили вокруг меня, придерживаясь стиля того писателя, который пленял мое воображение в данный миг. Мой отец потерял близкого друга; утрата глубоко его потрясла. Взволнованный его горем, я написал десять страниц излияний под названием «Дружба», весьма близко повторяя, только в цветистой ритмизованной прозе, горестные строки «Адонаиса» [1]. Я прочитал их своему младшему брату Сину, на восхищения которого всегда мог положиться, но скрыл их от старшего брата, критиканства которого опасался; кроме того, я познакомил со своим сочинением избранных друзей, готовых пойти со мной к Куканахалли (свой опус я всегда носил в кармане). Как только у меня заводилось немного денег, я угощал своих слушателей кофе и,

[1] Поэма П. Б. Шелли, написанная на смерть Дж. Китса (1821).

притупив их критическое чутье, заставлял провозглашать свой труд шедевром. Когда я читал его вслух, сидя в тени одинокого дерева на лужайке у Куканахалли, и слушал, как звучат написанные мною слова, всякий раз меня охватывало новое волнение. Последняя строчка, наступает многозначительное молчание — я жду похвал от своих избранных слушателей.

— Прочитать еще раз? — спрашиваю я.

Кто-нибудь говорит:

— Нет, нет, не надо. Я каждое слово помню.

— Ну, и как твое мнение?

— У меня слезы навертывались на глаза, только я сдержался.

Превосходно! Как раз то, чего я ожидал от каждого литературного произведения.

Подождав, я вопрошал:

— А что-нибудь подобное ты где-либо читал?

— Это редкая, удивительная вещь. Местами напоминает «Адонаиса» или кое-какие сонеты Шекспира.

Совершенно верно! Уместнейшее сравнение, которое я рад был услышать.

Затем я сочинил «Божественную музыку». Я писал ее в состоянии полной отрешенности, сидя на скамье возле пруда Куканахалли, куда я отправился однажды днем под палящим солнцем с блокнотом и карандашом в кармане. Солнце село, я с трудом различал буквы, но все писал страницу за страницей. Я сижу у самого края воды, прислушиваясь к плеску волн, ласкающих берег. (Позже я обнаружил, что бессознательно повторял стихотворение из романа Мари Корелли, которое начиналось так: «Тихий плеск волны... Глас морехода, поющего в море».) Волна за волной тихо набегает на глинистый берег, в их пене отражается полная луна; вид их, немолчный шепот и песнь ночного ветра погружают меня в состояние полузабытья; неизъяснимое томление охватывает дух, и одинокая слеза катится по моей щеке, но падает не на землю, а трепещет на стеблях травы, сверкая, словно алмаз или звезда. Как только слеза падает, раскаянье грешника (какой грех был им совершен? Этого я не мог бы сказать) принимается, душа его получает освобождение: она заполняет межзвездное пространство, и ему явственно слышится музыка небесных сфер. Что все это значило? Не знаю. Но я был страшно взволнован и тронут и не сомневался, что внес бесценный вклад в мировую литературу. Мой младший брат и кофейные поклонники держались того же мнения. Постепенно круг моих читателей расширялся; заодно росли и расходы на кофе в ресторане «Дорога в сто футов». Пришлось обратиться за помощью к матери; она великодушно увеличила сумму, выдаваемую мне на карманные расходы, с трех рупий до пяти — этого было достаточно для того, чтобы предупредить критические выпады в мой адрес и заручиться моральной поддержкой. Не теряя времени даром, я создал третий опус. В нем снова говорилось о звездах в небесах и о парении по ту сторону звезд. Не помню, как я назвал это сочинение. Когда я испробовал его на своих слушателях, оно имело меньший успех, чем два предыдущих, ибо было несколько таинственнее и темнее по смыслу. Мои опусы не поддавались классификации — не проза, не поэзия и не связный рассказ. Проза по форме, но с поэтическими отзвуками и ритмами, с необузданными взлетами фантазии. Странное сочетание приемов и настроений.

Я отдал свои творения напечатать — на полулистах отличной бумаги с водяными знаками, через два интервала, с одной стороны листа и с большими полями (обо всем этом я узнал из книжки под названием «Как продать вашу рукопись»).

Печатал их местный скрипач; ему принадлежал Институт машинописи «Венера». Он был любезен, печатал быстро и брал с меня (система отсроченных платежей) по две аны за страницу. Когда я хотел что-то напечатать, я шел к нему на дом — жил он возле Джаган Мохан Пэлес — и ждал у двери, пока он завтракал, равномерно размазывая масло пальцем по лепешке. Расхаживая между мной и кухней, он не торопился покончить с едой. Моя же цель заключалась в том, чтобы проследить, что он не пойдет куда-нибудь играть на скрипке, а прямо из дому направится к пишущей машинке. Наконец, он надевал поверх дхоти пальто, нахлобучивал меховую шапку, вешал на руку зонт и выходил.

Я рассыпался в комплиментах его скрипичному мастерству (он часто играл соло на наших школьных вечерах), а затем рассказывал ему о своих рукописях и о том, что надеюсь опубликовать их в Лондоне. Я ронял несколько имен — Дж. К. Сквайр из «Лондон меркьюри», Эллис Робертс из «Лайф энд леттерс», Р. Скотт Джеймс еще откуда-то. Я говорил о них так, словно они были моими приятелями. Мимо храма Паракала мы выходили аллеей к его крошечному заведению на Лэндсдаун Базар. У него было две машинки и шесть учеников. Я ждал, пока освободится одна из машинок; потом он вставлял бумагу.

Через неделю мой заказ был готов. Глядя на отпечатанные страницы, я не сомневался, что Скотт Джеймс или Дж. К. Сквайр без колебаний примут мои сочинения. Я отсылал их одно за другим, испросив у матери дополнительную сумму на конверты и марки.

Теперь, завидев в отдалении почтальона, я преисполнялся надежды, которая при встрече сменялась отчаянием. И сейчас я слежу за ним с интересом. В какую бы я ни приехал страну, я всегда высматриваю почтальона. Это, верно, условный рефлекс, подобный выделению слюны у павловских собак. Почтальоны объединяют все народы, хоть форма у них в разных странах разная. Даже в Нью-Йорке, где все механизировано и письма сортируются автоматически, почту доставляет почтальон. В сложной механической цивилизации он один сохраняет нечто человеческое.

В дни, когда приходила иностранная почта, я становился часа в три пополудни у калитки нашего дома. Я бежал навстречу почтальону, выхватывал письма у него из рук. Помню, звали его Энтони — это был худой добродушный человек в форме цвета хаки и тюрбане, на плече у него висели бесчисленные сумки, откуда торчали бэндероли. Он махал мне издалека и кричал:

— Тебе писем нет...

Иногда он спрашивал:

— Ты ждешь работы или письма от девушки?

Я задерживался, чтобы проверить, не ошибся ли он. Когда, перебрав содержимое сумок, он подтверждал, что мне ничего нет, я возвращался домой, погруженный в мрачные раздумья. Неужто Дж. К. Сквайр просто швырнул мои рукописи в окно? Или, может, это фокусы почты? Только какой, здешней или тамошней? Литературное воровство? В конце концов я приходил к заключению, что, скорее всего, редактор читает и перечитывает «Божественную музыку» и так увлечен ею, что набрасывает план для переработки ее в полновесное произведение эпических размеров.

Когда же, наконец, ответ действительно пришел, я задрожал, получая конверт из рук Энтони. Солнце безжалостно светило, ослепляя меня своими лучами, но я не мог ждать, пока окажусь у себя. К тому же мне не хотелось, чтобы брат, живший в той же комнате, уви-

дел письмо. Как-то я прочитал ему «Божественную музыку», а он только поинтересовался:

— Что все это значит?

Я криво усмехнулся и сказал:

— Это надо прочувствовать, поверь...

Он прикрыл рукой рот, скривившись в циничной улыбке. Я не говорил ему о своих попытках связаться с лондонскими издателями.

Получив от Энтони письмо, я укрылся в тени за кооперативным магазином и разорвал конверт, все еще надеясь, что из него выпадет чек или сердечная записка; однако внутри лежала казавшаяся нетронутой рукопись с пришпиленным к ней отказом, аккуратно напечатанным на типографском бланке. При виде этого холодного и бездушного бланка отказа, такого безличного и издевательского, я пришел в ярость. Верно, где-то произошла ошибка... Вероятно, редактор куда-то уехал, а какой-то злобный чинуша... Может, послать рукопись обратно и объяснить редактору, какой он болван, раз не сумел оценить «Божественную музыку»? Как он может руководить журналом, если не читает превосходных произведений, посланных ему по его же просьбе? Напечатанных через два интервала, на одной стороне, с соблюдением всех условий. Я швырнул конверт с отказом в мусорную яму и, положив рукопись в карман, вернулся, подавленный, к себе, скрыв ото всех свой позор.

Я принял свою неудачу как личное оскорбление. Дня два я ходил мрачный, однако вновь исполнившись надежды, опять отослал, лишь поменяв скрепку, свою рукопись — на этот раз, возможно, Эллису Робертсу в «Лайф энд леттерс»,— припомнив, как «Векфилдский священник» или какой-то другой шедевр был отвергнут десятью редакторами кряду. Даже мастеров в начале жизни встречали леденящим душу холодом.

Воспрянув от этих мыслей, я уже снова взвешивал свой пакет на почте в Чамараджапурам; на этот раз, кроме тех копий рукописи, я вложил в конверт письмо лично к редактору, в котором умолял его не лишать себя удовольствия прочитать мое сочинение. Я не сомневался, что стоит ему это сделать, как он тут же станет моим страстным поклонником.

В 1926 году я сдал вступительный экзамен в университет и занял свое место в лекционном зале Колледжа махараджи. Здание колледжа построено в старофранцузском стиле с восьмиугольными башенками и сводчатыми окнами с одной стороны и афинскими колоннами — с другой. Далеко вокруг простирались пленительные виды. Куда ни глянь — спасенья от них не было. Аудитория с окнами, из которых открывается вид на живописный пейзаж, противопоказана для занятий наукой. Хотите, чтобы студент внимательно слушал лекции,— заприте его в аудиторию без окон в самом центре города. В Мадрасе из окон школы не увидишь ничего более волнующего, чем стена соседнего здания, иногда пустая, иногда, что хуже, залепленная плакатами. Но здесь, в Майсуре, из окон аудитории были видны деревья и птицы, луга и коровы, мерно жующие траву, а иногда и пастух, сидящий в тени. Голос лектора при этом казался бессмысленным жужжанием, которое приходилось терпеть лишь поневоле.

Из восточного коридора колледжа сквозь арки, идущие над парапетом, виднелась гора Чамунди; Колледж махараджи стоял на возвышении с одной стороны города, а гора и дворец Лалит Махал находились на другой; между ними в ложбине лежал город, осенен-

ный позолоченным куполом дворца. Во время занятий политической экономией и историей я следил, как тени от облаков, перемежаясь пятнами солнечного света, скользят по горному склону, а вдали мерцает мираж. Ничто не казалось мне тогда столь неуместным, как Вопрос о Суверенитете в Современном Государстве или Чековый Баланс при Демократии.

Во время занятий английской литературой и историей нам приходилось перемещаться в греческую, западную часть здания. С галереи, через дверной проем виднелось меж стройных колонн футбольное поле с павильоном, за которым проходила железная дорога, где свистя сновал крошечный поезд; а также Библиотека стран Востока с идущими вдоль стен фризами, на которых были изображены сцены из жизни бога Кришны, и колонны с надписями на окружающих ее лужайках, где сосредоточенно и невозмутимо паслись все те же коровы (в Майсуре коров больше, чем в любом другом городе, но не молока).

Я пропускал мимо ушей многое из того, что нам преподавали, делая исключение лишь для двух лекторов. Профессор Ролло читал нам Шекспира, его лекции увлекали и волновали нас. Высокий и стройный, Ролло походил на актера, он читал текст выразительно, с модуляциями. Его монологи были несравненны. Когда он шагал по сцене, волоча за собой мантию (профессорскую, конечно), вы слышали голос Короля; когда он стягивал ее потуже, вы слышали реплики Шута и вам открывался замысел Шекспира. Профессор Ролло был идеальным преподавателем. Даже сейчас он пишет иногда своим старым ученикам откуда-то из Чешира. Помимо Ролло, лишь лекции профессора Венкатесвары, читавшего нам историю Индии, представляли интерес. Дом его находился по ту сторону футбольного поля, и, только заслышав звонок на лекцию, он выходил из своего кабинета. Столпившись у греческих колонн, мы смотрели на поле: вот он появлялся вдали в *дхоти*, профессорской мантии и тюрбане. Величественный и статный, он шел не торопясь, неизменно опаздывая на полчаса; он входил в аудиторию, бормоча извинения. Поднявшись на кафедру, он извлекал откуда-то клочок бумаги с переписанными на него несколькими строками древнего текста.

— Мне встретились следующие строки...

Это могли быть законы Ашоки, вырезанные на скалах или колоннах в 250 г. до н. э., или заметка из хроники эпохи Моголов, но в них всегда было что-нибудь увлекательное, казавшееся невероятным,— с этого он и начинал свою лекцию. Он никогда не держался хронологии; но прослеживал одновременно несколько линий исторических событий и параллельных концепций. Он не замечал, как шло время, как звенел звонок, и продолжал читать, захватывая время от следующего занятия, а профессор Макинтош топтался в коридоре, делая робкие попытки войти в аудиторию и преподать нам Греческую драму или Поэзию XVIII века.

Профессор Макинтош, застенчивый и робкий, как две капли воды походил на Лорела из «Лорела и Харди»; он постоянно, словно в растерянности, потирал подбородок. Мы не жалели, когда его лекции задерживались; пока он читал, наши мысли блуждали далеко, хоть сами мы и не могли выскользнуть из аудитории и посидеть спокойно у подножья Столпа Ашоки возле Библиотеки стран Востока. Слова он выговаривал как-то странно, и мы не понимали из его лекций ничего. Он же никогда не поднимал головы, никогда ни на кого не смотрел и не делал переклички, так как не мог произнести ни одного индийского имени.

Ходили слухи, будто долгие годы он полагал, что преподает в женском колледже, принимая мужские дхоти за юбки, а наши длинные пряди волос за косы. Впрочем, он был человек добрый; немало студентов побойчее отправлялись к нему домой и, поплакавшись на бедность, брали у него взаймы. Так как он никогда не смотрел нам в лицо и не знал ни одного имени, он был лишен возможности узнать своих должников и регулярно терял деньги. Более четверти века он провел в изоляции, а потом подал в отставку и бесследно исчез с нашего горизонта. Свою последнюю лекцию он закончил прощальным напутствием:

— Надеюсь, ваш интерес к литературе не исчезнет и после экзаменов.

Проговорив эти слова (или что-то в этом роде), он соскочил с кафедры и ретировался.

После отставки мы потеряли его из виду. Однако несколько лет назад, приехав в Лидс, я отправился в Бромптон в графстве Йоркшир, чтобы посетить дом сестер Бронте. Там в шляпном магазине я увидел профессора Макинтоша — он примерял котелок. Как всегда, взгляд его, словно у йога, был устремлен вниз, и он в растерянности потирал подбородок. Я было собрался окликнуть его через прилавок, но он повернулся и быстро вышел — больше я его не видел.

Моим неразлучным другом в колледже был Рамачандра Рао. Худощавый, ростом всего в пять футов, в очках с толстыми стеклами, он обладал кипучей натурой. Мы с ним сидели на одной скамье в аудитории, вместе совершали четырехмильные прогулки на гору, делясь сигаретами, шутками и наблюдениями,— он вечно острил и смеялся. Приближались выпускные экзамены — и мы решили заниматься совместно. После обеда я шел к нему в Сантепет (прогулка мили в две); огромный дом был битком набит бесчисленными тетушками, двоюродными братьями и сестрами, однако он умудрился сохранить за собой отдельную комнату. В девять часов мы методично усаживались за книги, полные решимости одолеть до наступления утра «Историю Европы» Хейзена или «Политические теории» Гилкриста; борьба предстояла не на жизнь, а на смерть — из каждого предмета следовало выжать самую Суть Дела, чтобы возместить все то, что было пропущено во время занятий.

Один из нас читал, а второй слушал, потом мы менялись ролями, надеясь таким образом облегчить скуку занятий. На деле же не успевал один прочитать страниц десять, как другой прерывал его:

— К чему тратить время на этот раздел? В этом году вопросов по единству Италии не будет. Их два года подряд давали. Пропусти «единство». Бисмарк — вот это скорее...

Следовали доводы «за» и «против»... Наконец мы решали пробежать единство Италии, пропуская подробности — не Суть Дела, а легкий контур Сути.

После этой интерлюдии мы снова начинали читать, но вскоре останавливались, когда в голову нам приходило еще что-нибудь: это могли быть амуры Марии Терезии или воспоминание о чем-то сказанном в аудитории, прощальные слова после окончания нашего «вечера» и групповой фотографии. Среди этих лирических воспоминаний один из нас замечал вдруг раскрытого Хейзена и заявлял:

— Послушай, осталось всего пятнадцать дней! Даже если заниматься по двадцать часов в день, мы никогда не прочитаем все, что надо!

Нас охватывала паника.

— Просидим хоть до шести утра, но кончим «Историю Европы»,— решали мы.— А тогда перейдем к другим предметам.

— Совершенно правильно. Подумаешь, не поспим! После апреля отоспимся вволю!

— А как же история Индии? Нам повезло — в этом году хоть истории Греции нет. А то читали бы еще шестьсот страниц Бэри!

— Зачем сейчас об этом говорить?

— Надо попросить кого-нибудь приготовить нам по каждому предмету конспект страниц на десять. Попросим Сину. В конце концов у него нет в этом году публичных экзаменов.

Сину, младше нас курсом, всегда готовый услужить, охотно брал на себя литературные труды такого рода (как берет их и до сих пор — по поручению того махараджи или губернатора, у которого он в данный момент служит). Придя к столь неожиданному и приятному решению, мы чувствовали такое облегчение, что закрывали книги и отправлялись на поиски чайной. Неторопливая прогулка по улицам; нас поражала тишина, царившая в ночном городе; выкурив одну или две сигареты, после полуночи мы возвращались к занятиям. Снова Хейзен, но вскоре природа брала свое и мы начинали клевать носами; мы понимали, что «совместные занятия» — пустая трата времени и что если уж заниматься, то порознь, встречаясь лишь временами, чтобы обсудить вопросы и снять их, да еще следить, не просочатся ли кружными и тайными путями сведения об экзаменационных вопросах в Бангалур, город бесконечных и самых неожиданных возможностей. Итак, спокойной ночи — один драгоценный день из пятнадцати, оставшихся до экзамена, невозвратимо потерян.

1930 год, когда я, наконец, закончил университет, стал для меня годом сомнений. Что теперь делать? С разных сторон слышались разные мнения. Можно стать юристом, чиновником или еще кем-нибудь... Поначалу я подумывал о том, не продолжить ли мне занятия, чтобы получить степень магистра литературы и стать преподавателем в колледже. Но, поднимаясь по ступеням Колледжа махараджи с заявлением в кармане, я встретил приятеля, который заверил меня, что это самый верный путь потерять всякий интерес к литературе. Послушавшись его совета, я повернул назад, раз и навсегда покончив с университетскими занятиями.

Глава седьмая

Окончив университет, следовало устраиваться на работу в какое-нибудь учреждение — ни о чем другом нечего было и думать. Надо было подавать заявления, встречаться с влиятельными людьми, стучаться во все двери, где только можно было получить место. В Мадрасе у отца был старый друг, который дослужился до поста Главного смотрителя железных дорог,— в студенческие годы он был стеснен в средствах, и отец помогал ему деньгами и одеждой. Отец возлагал на своего друга огромные надежды. Лето того года мы провели в Мадрасе. Отец настаивал, чтобы я встретился с его другом и просил его помощи для получения места на Железной дороге.

Однажды утром, тщательно причесанный и одетый, я отправился на встречу с этим человеком, постаравшись принять предельно послушный и располагающий вид: я уже воображал, как станционные смотрители дрожат и заискивают передо мной, а я разъезжаю по всей Индии в салон-вагоне бесплатно. Старый друг встретил меня обнаженным по пояс, тело его блестело от масла — он собирался делать массаж; он несколько раз сморгнул, стараясь получше разглядеть меня; масло капало ему в глаза и мешало как следует видеть. Он вышел мне навстречу на самую середину веранды, расположенной по фасаду,— ни один здравомыслящий человек не позволил бы

себе появиться в таком виде перед гостем — и без всяких околичностей закричал:

— Что-что? (Хоть бы спросил: «Кто?»)

Все мои старания, потраченные на прическу и одежду, пошли прахом — в его глазах я, верно, походил на фотографию, снятую дрожащей рукой. Я объяснил цель своего визита, сославшись на отцовскую дружбу с ним.

— Ах! — вскричал он, бросив на меня гневный взгляд из-под полуопущенных век.— Что за мысль! Невозможно. Твой отец всегда был мечтателем. Какая у тебя специализация?

— История, экономика, политика.

Он с отвращением взглянул на меня.

— Толку от них никакого,— провозгласил он.— Диплом какой категории? Какого разряда?

Я внутренне содрогнулся, уклонившись от прямого ответа на этот вопрос.

— Нам еще не объявили.

Он махнул рукой, мол, что аудиенция закончена, и вновь нетерпеливо зашагал по веранде, словно сальный медведь в клетке.

Затем отец отправил меня с той же целью к другому приятелю, который служил до отставки в банке. К этому предложению я отнесся без восторга. Одно дело — путешествовать по Индии в салон-вагоне в качестве представителя железной дороги, тут я ничего не опасался. Но мысль о том, что я могу оказаться банковским служащим, меня не на шутку встревожила. С цифрами я никогда не ладил. И все же как-то утром я отправился, как того желал отец, к этому другу, тщательно причесанный и прилично одетый.

Этот человек, хоть он и не был вымазан маслом, тоже встретил меня обнаженным до пояса (можно было подумать, что в Мадрасе никто вообще не носит рубашек). Сидя на качелях, он обмахивался пальмовым веером, в то время как я оставался на ногах. Беседовать с ним, пока он так раскачивался на качелях, то приближаясь, а то удаляясь от меня, было нелегко. Приходилось говорить то громче, то тише, подаваясь назад всякий раз, как качели норовили врезаться в меня. Подобно первому господину, этот человек также фигурировал на групповой фотографии избранных друзей, которая висела в кабинете отца в Бангалуре. История и экономика, видно, тоже внушали ему отвращение.

— Тебе надо сдать экзамен по бухгалтерии и счетоводству, если хочешь работать в банке. Как твой отец проводит сейчас время? Он был такой обманщик! Он мне написал, что вышел в отставку. Теперь вам, молодежи, надо взять на себя ответственность за семью...

Неплохо сказано, подумал я. Именно это нас теперь и беспокоит, сэр. Может, наденете рубашку и сделаете что-нибудь, вместо того чтобы раскачиваться на своих дурацких качелях и давать советы?

Года два назад отец вышел в отставку, в результате дома многое переменилось. Нам пришлось переехать в Лаксмипурам, покинув Боджанна Лайнз, где я провел самые мечтательные годы своей жизни. Дом в Лаксмипураме был меньше и не такой просторный: две шестиугольные комнатки по фасаду, разделенные небольшой верандой; одну занимал отец, а вторую, как всегда,— мы с братом; мы обладали тем преимуществом, что из своего окна могли следить за прехорошенькой соседкой, сидевшей над книгами в своей комнате наверху; она была нам прекрасно видна, и мы ее, судя по всему, не очень отвлекали своим вниманием от занятий, что и было доказано,

когда в конце концов она получила степень бакалавра с отличием по нескольким предметам. В тот же год на заседании совета ей были вручены медали, в то время как я затерялся в последнем ряду выпускников.

В нашей комнате была широкая деревянная лестница, которая никуда не вела. На верхней ее ступеньке я держал огромную пишущую машинку, привезенную из Мадраса в корзинке из-под белья, ибо мне подарили ее без футляра. Она походила на компьютер. У нее были разные клавиши для строчных и заглавных букв, каретка передвигалась с оглушительным грохотом. Целыми днями я просиживал на ступеньке, печатая пьесу под названием «Царевич Яшид», в которой излагалась история независимого принца, претерпевшего муки и пытки от своего отца. Недавно, спустя несколько десятилетий, она вернулась ко мне из конторы моего литературного агента Дейвида Хайема, где ее обнаружили среди бумаг, подлежащих уничтожению; этот простой факт сам по себе достаточно красноречив.

Когда я печатал на машинке, вся лестница раскачивалась и стонала; порой отец заявлял, что не может вынести этого шума, и я волок свою машину на крышу дома и печатал там. Мой брат Сину помогал мне печатать мою пьесу и часто с восторгом цитировал ее. Если не ошибаюсь, он был единственным читателем «Царевича Яшида». Я яростно сочинял, надеясь заработать деньги и тем помочь родным. Три моих младших брата еще учились в школе, а сам Сину готовился к экзаменам на степень магистра.

Сину до сих пор вспоминает первый день занятий, когда лектор, читавший курс индийской культуры, начал:

— К у л ь т у р а бывает разных родов: есть физическая культура, есть сельскохозяйственные культуры и всякие иные. Но мы должны провести между ними четкую грань, отмечая их общие черты и их различия. Культура же в целом едина...

Сину не оставлял занятий, ибо, имея степень магистра, шансов устроиться было больше, чем просто со степенью бакалавра. Мой старший брат поступил на работу к радиоинженеру; позже он стал управляющим службы автобусного транспорта; целые дни он проводил на работе и возвращался домой не раньше полуночи. Время от времени отец спрашивал меня:

— Что это ты делаешь на своем катке?

(Так он называл мою машинку).

И давал понять, что я не должен тратить время попусту.

Делать в Майсуре мне было нечего, и я переехал в Бангалур к бабушке, которая находилась там для поправки здоровья; после многолетнего перерыва я вновь попал под ее наблюдение. Я бродил по улицам Бангалура, погруженный в мечты, раздумья, планы. В сентябрьский день, выбранный бабушкой, ибо он был благоприятен для начинаний, я купил школьную тетрадку и написал в ней первую строку своего романа; я сидел в комнате, кусал перо и размышлял о том, что писать, как вдруг у меня перед глазами возник Мальгуди, совершенно законченный и готовый, с крошечной железнодорожной станцией и платформой, по которой бежал некий персонаж по имени Сваминатан. Он бежал и вглядывался в лица приезжих, морщась при виде бород. Очевидно, я напал на правильный путь, ибо день за днем под моим пером возникала одна страница за другой. (Окончательный вариант отличался от первого только тем, что сцена на железнодорожной станции в Мальгуди происходила в конце.) Это было неплохое начало — теперь я регулярно писал несколько страниц в день.

Примерно в это же время одна из попыток отца пристроить меня на работу увенчалась успехом. Я получил официальное назна-

чение на должность учителя государственной школы в добрую старую Ченнапатну, где я когда-то мальчиком проводил каникулы. И вот в одно прекрасное утро поезд из Майсура вернул меня в страну, где я когда-то охотился на кузнечиков. Провожали меня в Майсур с великим восторгом всей семьей; родные радовались, что я буду работать в Ченнапатне, хорошо знакомой всем нам и к тому же расположенной как раз посередине между Майсуром и Бангалуром—можно прямо-таки сказать, что я в один и тот же миг буду находиться и в Майсуре и в Бангалуре. Получить место в Ченнапатне, а не где-нибудь еще было просто счастьем; конечно, энтузиазм родных передался отчасти и мне: в воображении я рисовал себе Ченнапатну как некую гавань, где сбываются самые приятные ожидания. Однако воспоминания детства обманчивы. В Ченнапатну поезд прибыл в половине одиннадцатого утра, мне пришлось подхватить свой чемодан и постельные принадлежности, влезть в *джутку* и ехать прямо в школу, чтобы до одиннадцати успеть подать рапорт о выходе на работу.

В моем направлении значилось: «Вы должны выйти на работу утром 1 декабря». Это и было утро 1 декабря. Я заплатил вознице и, оставив багаж на школьной веранде, прошел в кабинет директора, где представился и расписался в списке служащих. Директор встретил меня приветливо и, дав мне кое-какие советы, отправил в шестой класс разбирать «Смерть Артура» Теннисона. Как это делать, я понятия не имел.

Старый школьный слуга, которого, помнится, звали Венката, шел за мной, мрачно бормоча какие-то наставления. Он служил здесь, еще когда мой отец был директором в этой школе. С угрозой в голосе он произнес:

— Смотри не посрами славы своего великого отца.

В детстве он, бывало, водил нас вечером на прогулку, и теперь, видно, все не мог взять в толк, что я уже взрослый и получил сюда назначение на должность учителя.

— А посрамишь моего старого господина,— пригрозил он мне,— я тебе этого не спущу, запомни!

Пока я усаживался в учительское кресло, он стоял в дверях и взирал на меня с великим удовлетворением; когда я ударил ладонями по столу и крикнул: «Молчать!», он одобрительно закивал. Почему-то это произвело впечатление. Класс затих, с интересом разглядывая нового учителя.

— Страница семьдесят... Надеюсь, у всех учебники наготове? Никогда не приходите на занятия без учебника,— произнес я, открыв для самого себя новое правило.— Я насчет этого строг.

— Слушаемся, сэр,— ответило несколько голосов разом.

Мне это не понравилось. Может, они надо мной насмехаются? В последнем ряду сидел высокий мальчик-мусульманин. Я глянул на него и сказал:

— Читай страницу семидесятую.

Он встал. Слишком великовозрастен для этого класса. Он медленно достал книжку и стал переворачивать страницы. Ученики с улыбками на него оглядывались. Я не понимал, в чем дело. Высокий ученик тоже улыбался и не торопился начинать. Я чувствовал, что совершил ошибку, но разве учитель может отменить свое распоряжение?

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Анваруддин.

— Анваруддин,— сказал я,— надеюсь, учебник поэзии с тобой?

— Нет, сэр,— ответил он.

— А это что за книга у тебя в руках?

Он показал ее мне. На расстоянии я не мог разобрать, что это за книга.

— Дай мне ее сюда,— сказал я.

Он вышел из-за парты и прошагал ко мне. Класс следил за происходящим с восторгом. Я взял книгу и произнес:

— Почему ты пришел не с тем учебником? Я не люблю, когда в класс приходят без учебников.

Я сформулировал правило и теперь должен был его держаться. К тому же наказ старика Венката не посрамить славы моего отца все еще звучал в моих ушах. Я им покажу, кто здесь хозяин. Он заколебался, а я довольно твердо произнес:

— А теперь иди и принеси учебник поэзии, если ты его где-то оставил.

— Слушаю, сэр,— сказал он, круто повернулся и пошел на свое место.

Послышались смешки и шепот, по классу прокатилась волна веселья. Я чувствовал себя победителем. Нужно в первый же день себя поставить. А не сделаешь этого, так и будут считать тебя тряпкой. Несмотря на смешки, я почувствовал облегчение при виде того, как быстро Анварудцин мне повиновался. Он вернулся от своей парты, держа в руках нужный учебник. Я не стал требовать объяснения — в этом не было необходимости. Я ответил на его вызов — бодро взял книгу, открыл ее на семидесятой странице и сказал:

— А теперь повернись лицом к классу и читай, да погромче.

Все еще ухмыляясь, он взял книгу, но вместо того, чтобы читать, произнес:

— Можно мне выйти?

И поднял указательный палец, что с незапамятных времен означало, что человеку надо в уборную. В бытность свою в лютеранской миссии я поступал так же всякий раз, когда мне хотелось уйти из класса; в этой просьбе не может отказать самый суровый учитель.

Я отпустил его; Анварудцин величественно вышел, но не успел класс снова развеселиться, как я начал читать:

Итак, весь день шум битвы продолжался,
Пока король Артур не приказал... —

и прочее, и прочее, и прочее.

Кое-кто меня слушал, остальные беседовали. Я повысил голос:

— Эта поэма Теннисона...

Еще два ученика встали с места, подняв указательные пальцы.

— Идите,— сказал я.

И провозгласил:

— Если еще кто-нибудь хочет выйти, выходите, только не шумите в коридоре.

Добрая половина моих учеников поднялась и удалилась (они так и не вернулись на занятие), а я прочитал еще строк двадцать, недоумевая, как объяснять их тем, кто почему-то остался в классе. Правда, Теннисон их, видно, не очень занимал; они просто сидели и болтали. На мое счастье, прозвенел звонок. Так завершился мой первый, а возможно, и последний опыт преподавания.

Директор меня не жалел. На следующий урок он отправил меня в пятый класс на физику. Я жалобно произнес, что всегда был историком, но он отмахнулся, заявив, что физик болен и что я должен заменить его. Мне это показалось глупым, но я повиновался. Пятиклассники, как выяснилось, буйствовали посерьезнее шестиклассников, которых я учил перед ними. Они наскакивали друг на друга, срывали шапки и швыряли их в воздух, выкрикивали угрозы и обвинения; они

походили не на класс, а на праздничную толпу, пришедшую в неистовство. Уж не потому ли и физик заболел, подумалось мне, чтобы только не иметь дела с этими дьяволятами? Меня бесило коварство директора, пославшего меня в этот бедлам в первый же день моего учительства.

Я заколотил кулаком по столу и закричал:

— Молчать! Молчать!

На мгновенье наступила тишина — класс удивленно и презрительно взглянул на учителя. Затем снова воцарился разноголосый шум, он нарастал, словно океанский вал — пятьдесят мальчиков тараторили во весь голос. Я понаблюдал за ними, а потом сказал:

— Вы все должны сейчас написать сочинение — десять строк о том, как вы провели последний праздник. Вынимайте карандаши и тетради и принимайтесь за работу.

Кое-кто послушался, вынул тетрадь, раскрыл ее и принялся кусать кончик карандаша, но большинство глядело на проявивших послушание с интересом и не думало ничего писать. Я повторил тему сочинения, а затем прибавил:

— Те, кто кончил, могут показать мне свои сочинения и идти.

Это их подкупило: один за другим они стали подходить к моему столу и класть на него тетради.

Я почувствовал себя погребенным под этой кипой и быстро произнес:

— Забирайте свои тетради и идите. Покажете их мне потом.

— А когда? — спросил кто-то.

Не успел я сообразить, что ответить, как они оставили тетради у меня на столе и исчезли, словно стая выпущенных на волю птиц. Я аккуратно сложил тетради и отдал их на хранение секретарю школьной канцелярии.

Остаток дня я провел у коллеги, который попытался наставить меня на путь истинный. Вечером мы пошли к базару погулять, а потом пообедали в ресторане, грязнее которого я в своей жизни не видывал: еду подавали на высохшем банановом листе, расстеленном на полу пыльной веранды, выходящей во двор. Я терпеливо все снес, а мой приятель сказал:

— Через неделю можешь попросить комнату в школьном общежитии. Сейчас там нет ни одной свободной.

На следующее утро я снова пытался обучать шестиклассников английскому языку, как вдруг слуга принес мне на подпись школьный журнал. Я было подумал, что это какое-нибудь уведомление из канцелярии, однако, вглядевшись, прочитал: «Ставлю вам на вид, что пятый «А» был вами отпущен противозаконно, что может пагубно отразиться на дисциплине всей школы. Если подобное повторится, об этом будет доложено в вышестоящие инстанции. Настоящее является первым предупреждением». Внизу стояла подпись директора. Слуга настаивал, чтобы я расписался. Я оттолкнул журнал со словами:

— Нет, я расписываться не стану.

Когда урок кончился, я ворвался в кабинет директора. Он сказал:

— Вы вернули журнал без подписи. А это официальный документ.

Я размашисто расписался.

— Еще что-нибудь?— спросил я в сердцах.— Давайте я сразу подпишу! Я только день как служу, а вы, вижу, решили испортить мне репутацию с самого начала, а?

— Ну, что вы, не расстраивайтесь, молодой человек. Это простая формальность, не более. Она ничего не значит.

— Мне совершенно все равно. Мне нужен отпуск на пятнадцать дней.

— Вам пока отпуска не полагается.

— Без сохранения содержания.

— Никакого отпуска вы сейчас не получите.

Это меня рассердило, и я высокомерно произнес:

— Я уезжаю. Можете делать что хотите.

Директор смягчился.

— Не горячитесь, молодой человек. Наберетесь опыта со временем и поймете, что все это ничего не значит. Вы должны неукоснительно и прилежно выполнять свой долг. Конечно, мы для того и существуем, чтобы помочь вам, если у вас возникнут трудности. Мы заинтересованы в ваших успехах. Не делайте ничего сгоряча. Сейчас браминам нелегко получить государственные назначения.

— Я знаком с мистером Вадьей — я у него учился, они с моим отцом приятели. Я попрошу у него, чтобы меня перевели в другую школу.

Услышав это имя, директор побледнел. Он был потрясен. Вадья возглавлял Общественное просвещение, он находился на самом верху этого внушительного здания.

— Только ничего не делайте сгоряча. Если вы захотите уехать в пятницу днем, я в виде исключения пойду вам навстречу. Проведите два дня дома, но в понедельник днем возвращайтесь. Я прослежу, чтобы утром у вас занятий не было.

Он до смерти перепугался, как бы я не пожаловался и не навлек на него неприятности.

Я не стал дожидаться пятницы. Через час, прихватив свой чемодан и постель, я стоял на автобусной остановке, поджидая автобус на Майсур. Я немного нервничал: вдруг мои коллеги увидят меня под деревом у обочины, где должен был появиться автобус. Мимо шли какие-то люди и не обращали на меня никакого внимания; прошли несколько учеников из нашей школы и с любопытством поглядели на меня. Вдруг откуда-то появился рослый Анваруддин с парой приятелей — они остановились передо мной, удивленно раскрыв глаза. Я не стал делать вид, что не вижу его. Он учтиво приветствовал меня и улыбнулся. Я спросил:

— Ты почему здесь, а не в классе?

— А у нас нет урока, сэр. Учитель не пришел. Этот урок был ваш.

Видно, он был мне благодарен за то, что я дал ему возможность побродить на свободе.

— А вы, сэр, куда вы едете?

— В Майсур. Я не вернусь. Пойди скажи директору, что видел, как я уехал.

Казалось, Анваруддину не хотелось со мной расставаться — он что-то пробормотал. Он поднял мои вещи, внес их в подошедший автобус и мрачно подождал, пока автобус тронется.

— Прощайте, сэр,— сказал он с грустью и склонился в глубоком саламе.

Вернувшись домой в Майсур, я стал предметом глубоких раздумий всей семьи. Мои домашние, казалось, недоумевали, в своем ли я уме. Большую часть дня я проводил в шезлонге у себя в комнате — я боялся, как бы меня не попросили объяснить свое поведение. Мне не хотелось говорить на эту тему, и я сторонился людей. Мать, на сочувствие которой всегда можно было положиться, сказала:

— Отец очень о тебе беспокоится. В Ченнапатне можно было очень недорого прожить; если б ты не уехал, я уверена, ты бы полу-

чил повышение, так что и тебе было бы достаточно, и остальным смог бы помочь. Твой отец поговорит с Вадьей, может, удастся перевести тебя в ближайшее время в Майсур. Это для всех было бы хорошо. Но ты должен набраться терпения.

Она умела убеждать, и я почувствовал, что моя уверенность в себе поколебалась. Я вернулся в свою келью и предался размышлениям.

Чтобы не встречаться с отцом, я проводил все дни в своей комнате. Он был не из тех, кто врывается в чужие владения. Но как-то днем он вдруг закричал:

— Кунджаппа! (Так меня звали в домашнем кругу.) Иди-ка сюда!

Я вышел в холл. Он взглянул на меня с легкой улыбкой и сказал:

— Так что ты собираешься делать? Попробуй-ка еще раз Ченнапатну. Неплохое место. Я кое с кем поговорил, к тебе там отнесутся внимательно. Я говорил еще с Мукундом Рао, у него в Ченнапатне брат служит в банке, можешь пожить у него в доме, пока не привыкнешь, потом подыщешь себе что-нибудь другое. Хорошие люди. Ты там будешь как дома.

Казалось, он переменился. Никогда еще он не был так добр со мной.

Итак, я решил попытать Ченнапатну еще раз. Мистер Мукунд Рао, мелкий чиновник в Департаменте государственных сборов, со студенческих дней, вот уже тридцать лет, преданный раб моего отца, посадил меня в поезд, засыпав советами. В Ченнапатне меня встречал его брат, как две капли воды похожий на него, только в узком пиджаке и тюрбане с каймой; не говоря ни слова, он принял меня под свое крыло и, отдав мой багаж кули, взгромоздившему его себе на голову, повел меня к себе в дом, находившийся минутах в пятнадцати ходьбы от станции (какое приятное открытие! Совсем недалеко, если мне вдруг захочется сесть на поезд, чтобы вернуться в Майсур!).

Он и его молодая жена занимали в одном из переулков старой части города крошечный дом — выбеленные глинобитные стены, низкая черепичная крыша,— продымленный, древний. В крошечное оконце виднелось здание школы. В доме была небольшая комната по фасаду и комната во двор, которая служила кухней.

Более тихой пары я в своей жизни не видел. Жена была старого воспитания и появлялась перед гостем, только когда надо было подать еду, но и тогда не смотрела в его сторону и не говорила ни слова. Это я понимал, ибо так надлежало вести себя женщине; но почему ее муж был так же смирен и тих, я понять не мог. Он отдал мне свою единственную комнату и теперь проводил свое время в основном на ступеньках, ведущих на улицу. Возможно, я был первым гостем в их жизни, и потому они так волновались, смущались и нервничали, рушил мерное течение их жизни и смутил их покой. После обеда мой хозяин ушел — он не произнес ни слова ни до, ни после, ни во время еды.

Только мы поели, он взял пиджак и тюрбан, вышел в кухню и вернулся одетым, чтобы идти в свой банк. Я сидел на полу, облокотясь все о ту же скрученную трубкой постель, которую возил с собой. Он робко шепнул:

— До свиданья!

И ушел. Жена скрылась в кухне. Меня мучила мысль, что я навязал свое присутствие этим робким, как птицы, людям. До уроков оставался час. Я оделся и вышел, громко хлопнув дверью, чтобы дать знать о своем уходе; хозяйка тихонько прокралась с кухни и задвинула за мной щеколду. А теперь, подумал я, она, возможно, поет и танцует, празднуя исчезновение (пусть временное) своего гостя.

В школе все было так же. Старик Венката потребовал объяснений, где это я пропадал, и я сказал, что болел лихорадкой. Вдобавок ко всему мне поручили провести занятия по физкультуре в конце дня. Я отказался. Директор сказал:

— Все преподаватели обязаны раз в неделю вести физкультуру.

— Я этого не умею, даже в школе я ни разу на ней не был.

— Займите их как-нибудь в течение часа. Не отпускайте никуда. Мы хотим научить их...

— Я ничего не знаю.

— Мы вам поможем научиться понемногу. Сегодня просто займите их как-нибудь. Сделайте перекличку и отметьте отсутствующих.

Так я оказался на физкультурной площадке; в свете вечернего солнца я взирал на полсотни школьников, выстроившихся в две шеренги. Солнце, клонившееся к западу, слепило нам глаза. Вокруг стояла толпа любопытных, среди которых были и преподаватели. Я окинул взглядом ряды, словно командир своих солдат, и закричал:

— Напра-во! Нале-во! Напра-во! Нале-во!

Они у меня прыгали в длину, в высоту, махали руками, брыкали ногами. Я занимал их покуда мог, а звонок все не звонил, и час все не кончался. Наконец я скомандовал:

— Вольно!

И потом:

— Разойдись!

И вся толпа исчезла в мгновение ока.

На ночь меня устроили в холле; тишайший хозяин примостился в уголке, а жена, скорее всего, спала на кухонном полу возле очага. Я чувствовал себя виноватым, что разлучил их. Утренний туалет и мытье меня особенно смущали, ибо удобства у них были минимальные. Уборная находилась во дворе — четыре низеньких глинобитных стенки, открытые небу и без двери; полностью укрыться за ними можно было, лишь присев на корточки. Я боялся, как бы меня не увидела там хозяйка дома. Для мытья мне пришлось укрываться за жестяной перегородкой. Пока я совершал омовения, хозяева не показывались,и все же я нервничал и чувствовал себя так, словно меня выставили на публичное обозрение.

Я был готов идти в школу. Хозяин ушел в банк. Внезапно я понял, что не могу больше оставаться ни в этой школе, ни в этом доме. Я знал, что через полчаса на остановку под дерево прибудет автобус. Я кликнул кули, вручил ему свой чемодан и постель, хлопнул дверью, подождал, пока хозяйка не подошла к ней, чтобы сказать, что еду в Майсур, и снова сел в майсурский автобус.

Глава восьмая

Это решило дело. Заняв столь твердую и не подлежащую пересмотру позицию, я испытал облегчение и радость. Я ни с кем не советовался и не вступал ни в какие разговоры на эту тему. Я чувствовал, что это вызывает уважение. Во всяком случае мои домашние приняли то, что я знаю, чего хочу. День у меня был строго расписан, график выполнялся деловито и строго. Напившись кофе и совершив утренние омовения, я брал зонт и отправлялся на прогулку. Зонт мне был нужен, чтобы защитить голову от солнца.

Порой я захватывал с собой блокнот и ручку, усаживался в тени дерева у подножия Чамунди и начинал писать. В иные дни я садился на велосипед и ехал миль за десять по дороге в Карапурский лес, устраивался у придорожной канавы и писал, а не то размышлял о жиз-

ни и литературе, глядя, как крестьянин пашет ниву и как блестит на солнце вода в канале.

Потребностей у меня не было никаких, я не строил особых планов и радовался тому, что живу и свободен от никчемных занятий. Это была настоящая роскошь. В полдень я возвращался домой, как раз к обеду, а потом час-другой читал что-нибудь постороннее. Я старался не читать ничего, что могло бы повлиять на мою работу. Я писал тогда свои первые романы. В три часа, выпив чашку кофе, я брался за перо.

День за днем Свами рос. Ни с чем не сравнить восторг, который испытываешь, видя, как у тебя на глазах рождается роман. Я писал каждый день — несколько сотен слов, а иногда и тысячу. Свами, мой первый герой, взрослел, он жил и действовал. Роман состоял из отдельных эпизодов, живописующих проделки и приключения Свами и его друзей; он принял эту форму естественно, сам собой.

Садясь ежедневно за работу, я понятия не имел о том, что буду писать. Единственное, в чем я мог быть уверен,— это в главном герое. Вечером я перечитывал написанное за день, чтобы понять, в каком направлении развивается действие, и до глубокой ночи правил, редактировал, сокращал. Я начал замечать, что по мере правки фразы приобретают ясность, законченность и силу и что истинный и окончательный вариант возникает лишь из того, что пишется поверх первоначального, из путаницы исправлений над и под ним. В целом это было приятное ощущение — в каком-то смысле оно теряется позже, когда приобретешь имя и свой стиль и не можешь не думать о договорах, рекламе, критиках, и, самое главное, о читателях.

Чтобы проверить написанное, я, как обычно, показал рукопись Сину, который предложил не только прочитать, но и отпечатать ее на моей гигантской машинке. Мои герои его увлекли, и он наговорил мне о них немало хорошего. Это меня вдохновило. Но мне нужны были и другие мнения. Я призвал на помощь нашего соседа по имени Пурна, доброго и преданного друга (сейчас его уже нет в живых) — он приходил ежедневно и слушал главу за главой, неизменно восклицая:

— Блестяще! Блестяще!

Менее восторженных выражений он не употреблял, и это меня очень ободряло. Его мнение поддерживало меня при встрече с отцовскими друзьями, которые, стоило им увидеть меня на улице, тут же переходили в нападение.

— Неосмотрительно! Неблагоразумно!— восклицал один из них. И прибавлял:

— Ты не должен так волновать отца. Пора уж тебе помочь ему. Почему ты не идешь в газету, если хочешь быть писателем?

По большей части они не понимали разницы между газетой и романом, но я все же объяснял:

— *Я хочу закончить свой роман, когда он выйдет, все наладится.* А пока — надо ждать.

Я все еще не представлял себя в качестве самостоятельной экономической единицы.

— Неосмотрительно! Неблагоразумно! — восклицал этот господин.— Писал бы в свободное время. Разве писатель может заработать на жизнь?

В этом ключе все со мной и разговаривали, но я стоял на своем. В кармане у меня не было ни рупии. Единственная роскошь, которую я себе позволял, были две сигареты, которые я выкуривал во время вечерней прогулки.

Время от времени к нам приезжал дядюшка, младший брат моей матери (известный в семье под именем «Младший», в то время, как

дядя, у которого я жил в Мадрасе, был «Старшим»); он гостил у нас целыми месяцами. Мы всегда радовались его приезду. Он был коммивояжером по продаже автомобилей, и карманы у него просто лопались от денег. Он водил нас в рестораны, часами катал на машине и покупал нам все, о чем бы мы ни попросили — одежду, обувь, всякие мелочи. Он любил поесть и приносил с базара полные корзины овощей, фруктов и всякой всячины. Он был очень предан моей матери. Он всегда носил с собой жестяную коробку сигарет и предоставлял ее в наше полное распоряжение. Конечно, о том, чтобы племянники курили в присутствии дяди, не могло быть и речи, но брать у него сигареты разрешалось, и дядюшка только подшучивал над нами.

По вечерам он пил, а напившись, начинал буянить. Он требовал, чтобы мы ездили с ним, но засиживался в баре часов до десяти, и по дороге домой грозил передавить всех пешеходов, чтобы духу их на улице не было, спорил на каждом перекрестке с полицейскими, пытался въехать на машине по ступеням, ведущим к памятнику махараджи у входа во дворец, и попадал домой очень поздно. Отец предусмотрительно не выходил в это время из комнаты — он знал, что дядюшка относится к нему с глубоким уважением. Отец вел пуританский образ жизни и, хотя его враги утверждали, что он приходит на работу пьяным (голос у отца был хриплый, а из-за того, что он ездил в школу на велосипеде, его светлая кожа побагровела), он в рот не брал спиртного и терпел в доме пьяницу шурина только из-за матери.

Отобедав, подвыпивший дядюшка настраивался на уютную беседу в кругу семьи и требовал, чтобы при этом присутствовали все. Он с наслаждением дразнил меня и Сину, но не задевал моего старшего брата, который в таких случаях окатывал его презрением.

— Купил ты бетеля на базаре? — спрашивал дядюшка Сину.

— Да, дядя.

— Сколько листьев в связке?

— Сто, как ты просил.

— Ты их считал?

— Женщина, что их продает, считала...

— А ей ты и поверил? Ха-ха, неплохо. Ну-ка, пересчитай при мне. Давай, давай.

И Сину считал, лист за листом, вслух, а дядюшка следил за ним. Если в связке не хватало одного листа, дядюшка гневно распоряжался:

— Иди на базар и потребуй недостающий лист.

А если хоть один лист был лишний, дядюшка приказывал:

— Возьми и отнеси его этой женщине. Мы не должны ее обманывать.

— Хорошо. Когда?

— Сейчас, сию минуту! Будешь знать, что все, что покупаешь на базаре, надо проверить.

Распоряжение это не имело смысла — до базара было две мили, а время близилось к полуночи, но брат спокойно соглашался и тихо исчезал; запершись в своей комнате, он погружался в занятия.

Меня во время этих вечеров дядюшка дразнил по-другому. Он вдруг спрашивал:

— Правду говорят, что ты хочешь быть писателем?

На этот вопрос нельзя было ответить ни «да», ни «нет». И то, и другое было опасно. Мне хотелось покинуть театр действий, как это сделал брат, но дядюшка пришел бы в ярость, если бы его оставили одного — он устроил бы сцену и огорчил мать.

Стоило мне подтвердить, что я намереваюсь стать писателем, как он требовал, чтоб я показал ему, что я пишу. Побуждаемый матерью, которая почему-то думала, что это принесет мне пользу, я подавал ему

отпечатанные на машинке страницы. Он подносил одну из них к свету и читал: «Утром в понедельник...» Ах, в понедельник! А почему не во вторник? Или не в пятницу?

Проглядев остальные, он говорил:

— Что это такое, черт побери? Ты пишешь, что он встал, взял зубной порошок, почистил зубы, облил голову водой — каталог какой-то! Гм... Я тоже мог бы написать роман, если для этого требуется только сообщить, что я встал, взял полотенце, намылился, вытерся, стряхнул воду, причесался... Я тоже мог бы стать писателем, если для этого ничего другого не требуется, только у меня времени нет для таких каталогов! А что это за город такой — Мальгуди? Где он находится? Зачем ты пишешь о каком-то городе, которого и в природе нет, когда вокруг существует миллион других реальных городов, о которых можно рассказать? Не пиши о несуществующих городах! Почитай-ка романы Диккенса. Все вы умниками себя считаете! Я у Диккенса каждую строчку прочитал. Вот тебе образец — пиши, как он!

Я терпеливо выслушивал все это. В награду за мое терпение он предлагал познакомить меня с кем-нибудь из людей пишущих, чтобы я по крайней мере мог немного заработать — даже если и не стану хорошим писателем. В следующий свой приезд в Бангалур он вез меня куда-нибудь на своей машине, полный решимости помочь мне, невзирая на мои странные идеи.

Помимо романа, у меня собралось штук двадцать рассказов, написанных в основном для того, чтобы проверить, можно ли писать о чем-нибудь другом, кроме любви (она, казалось, была единственной темой во всех романах, рассказах, стихах и драмах, которые только существовали на свете). Я ополчался против тирании Любви — мне хотелось проверить, нет ли для писателя в жизни иных ценностей, помимо неизбежных отношений между Мужчиной и Женщиной. В разделе рассказов на страницах «Еженедельника Джона О'Лондона» я нашел вещи, которые меня привлекали: в центре их был момент кризиса или настроение, приведшее к нему. В окружающей жизни я находил множество подобных примеров. Все решалось атмосферой и настроением. Жизнь предлагала мне достаточно материала для того, чтобы писать неустанно. Я мог бы писать по рассказу в день. Я заносил в дневник возможные темы для рассказов и развивал их не спеша, как только чувствовал необходимость отдохнуть от своего романа.

Помимо этого я писал небольшие эссе — слов двести в день; это были портреты или впечатления, зачастую легковесные, аффектированные и неловкие, в которых слышались отзвуки прочитанного; впрочем, они были полезны как упражнения и самодисциплина. Прояви какой-нибудь издатель интерес, мне было бы что показать — роман в работе, рассказы, фельетоны и эссе.

Приезжая в Бангалур, дядюшка всюду брал меня с собой.

— От Майсура толку никакого, там все погружено в спячку. Хочешь выйти в люди, ищи себе применение в Бангалуре или в Мадрасе.

Каждое утро он сажал меня в свою машину. На этой машине, которую фирма предоставляла ему в качестве образчика, он делал около сотни миль в день: он встречался со множеством людей, произносил свои рекламные речи и заполучал по меньшей мере один заказ в день, а затем, чтобы отметить свой успех, выпивал перед обедом четыре порции джина. Все это время он держал меня при себе — так я получил интереснейший материал и познакомился с различными типами людей, их манерой говорить: и взглядом на вещи.

Конечно, сам дядюшка был для меня ценнейшим образцом — его подход к людям, неизменная, где бы он ни оказался, агрессивность, его напор и безрассудная отвага (он, например, поставил уникальный

рекорд: вывез махараджу Майсура, известного своей нелюдимостью и совершенной недоступностью,— со всех сторон его окружали телохранители и блюстители этикета,— на прогулку в своей машине), а в особенности его увлечение алкоголем во всех его формах. Я изобразил его под именем Кайлас в «Бакалавре искусств»; он же служил мне прототипом всякий раз, когда мне нужно было изобразить подвыпившего человека. Однажды, опустошив во время поездки на гору Нилгири полную бутылку виски «Георг IV», он швырнул бутылку вниз в долину со словами:

— Откуда здесь пустая бутылка, черт возьми?

Позже он решил, что превратился в тигра,— весь вечер он рычал и подстерегал постояльцев в коридоре отеля, пока его не сморил сон.

Приехав на этот раз в Бангалур, он вспомнил своего дружка, который, по его словам, интересовался «всякими художествами».

— Это писатель и журналист, он опубликовал множество книг и статей. Тебе надо связаться с писателями — а то как же ты нащупаешь путь?

Позже я узнал, что основным источником существования этого литератора было посредничество. За каждого «клиента», с которым он знакомил дядюшку, он получал пятьдесят рупий и бесплатную выпивку, если случался поблизости, когда дядюшка пил. Его величали «князем», ибо он утверждал, что принадлежит к королевскому роду Кочина. В машине он садился рядом с дядюшкой, а я слушал с заднего сиденья их беседу — так я многое узнал о жизни.

Однажды в гостях дядюшка подрался с князем. Во время потасовки князь рванул дядюшкину рубашку и порвал ее; дядюшка тут же отправился на поиски железной палки, клянясь проломить князю голову. Князь, почуяв опасность, сбежал по черной лестнице и, промчавшись с быстротой ветра по улице, заперся в собственном доме. Увидав, что жертва ускользнула, дядюшка, зажав в руке железную палку, бросился к машине, завел ее, подъехал к дому князя и снес машиной ворота и часть ограды.

— А ну, отопри дверь, княжеский ублюдок! — потребовал дядюшка.

Тот упрямо не выходил. Тогда дядюшка развернулся, приехал домой и заснул. Проснувшись, он обнаружил, что рубаха у него изодрана в клочья. На следующее утро князь снова появился у нас в доме и уселся как ни в чем не бывало завтракать с дядюшкой. Он только сказал мне:

— А знаешь, твой дядя чуть меня вчера не убил. Ну и напугал он меня!

— А кто порвал мне рубаху? — спросил дядюшка, и оба захохотали.

— Он снес у меня ограду!

— И проломил бы тебе голову, если б ты посмел хоть нос высунуть! Вы все думали, что я напился? А вот и не обязательно!

Князь был тщедушен, передние зубы у него отсутствовали. Дядюшка называл его «князь» либо «поэт» и «издатель» и прочил мне в литературные наставники, советуя посещать его и слушать его наставления. Однако все его наставления ограничились следующим:

— Газеты любят, когда им предлагают материал из светской жизни. Следи за светской хроникой, вырезай заметки и старайся писать в том же духе. И еще — доставай приглашения на все свадьбы и приемы.

Через месяц дядюшка уехал из Бангалура в Мадрас; он уговорил меня ехать с ним и попытать свое счастье в Мадрасе. И вот я снова оказался на Пурсавалкам. Наш старый дом стоял там же, но все в нем

переменилось: дядюшка (старший из братьев) женился, у него много детей. Бабушка больна раком; ее сад разделен на участки и продан, чтобы было на что содержать дом. Дядюшка отказался от всех доходных дел и посвятил себя еженедельнику, который должен возродить тамильскую литературу,— все его силы отданы этому.

В Мадрасе меня познакомили с другим персонажем, который собирался издавать «Брачную газету». Его редакция помещалась в Джорджтауне, в каком-то мрачном доме. Сидя за столом, заваленным пыльными связками газет, он перешел сразу к делу:

— Я знаю от твоего дяди, что ты хочешь стать писателем. Хорошо. Но только не жди, что за день станешь миллионером. Помни, что мир не ждет твоих материалов, как бы хороши они ни были. Людям и без тебя есть чем заняться. Но ты должен работать вовсю и своим упорством привлечь к себе внимание — а это значит, что ты должен писать, писать, писать.

После этого совета, который ничего ему не стоил, он сделал мне предложение:

— Я, конечно, не знаю, что ты пишешь и как, но твой дядя — мой добрый друг, и я ему верю на слово.

Он помолчал, расчистил на столе место и крикнул в окно:

— Эй, две красненькие — и побыстрее!

И сейчас же уличный мальчишка поставил на стол две бутылки подкрашенной газированной воды, шипевшей, словно кобра.

— Ты, верно, пить хочешь. Выпей-ка красненькой, не пожалеешь.

И подал пример, запрокинув голову и сунув горлышко бутылки прямо в рот; он буквально высосал из бутылки всю воду. Поставив пустую бутылку на стол, он громко рыгнул, зажал ноздри пальцами и произнес:

— Я хочу издавать журнал, который был бы посвящен исключительно брачным делам. Женитьба — самое серьезное дело, о котором всем нам рано или поздно приходится думать. Мало кто достаточно размышляет о ней. Бесчисленны проблемы, возникающие перед женитьбой, во время и после нее. Двое людей соединяются и должны жить вместе до конца своих дней. Наш журнал будет посвящен исключительно этой теме. Нам нужны анекдоты, рассказы, философские размышления,— и все на эту тему: о страдающих женщинах, о бессердечных мужчинах и так далее и тому подобное. Можешь писать, что хочешь, в этом стиле.

Я возвращался в тот вечер домой витая в облаках.

Следующие три дня, сидя у бабушкиной постели, я писал; скоро у меня было готово несколько страниц забавных анекдотов и разнообразные вымышленные истории о семейной жизни; там были мужья, бьющие своих жен, жены, изводящие своих мужей, добродушная супружеская пара, которую постигло несчастье, юные влюбленные, бежавшие из дому, от родных и от знакомых, всевозможные перестановки и комбинации из мужчин и женщин. Общий тон почему-то был мрачен, а порой так даже трагичен. Возможно, я чувствовал, что в благополучном, гармоничном браке есть некая монотонность и писать там не о чем. Лишь брак распавшийся или тот, что вот-вот распадется, представлял литературный интерес.

Пишущей машинки у меня здесь не было, так что я переписал все как можно красивее, аккуратно сколол страницы, завернул их и отнес редактору, не сомневаясь, что он с радостью их примет. Младший из моих дядюшек, который дома почти не бывал, а лишь забегал в определенные часы помыться и переодеться на ходу, непрестанно поучал

меня: надо писать как полагается, постараться угодить редактору и забыть всю эту ерунду о Мальгуди и прочих глупостях.

Итак, в один прекрасный день я отвез свои произведения в Джорджтаун и положил их перед редактором. Он предложил мне сесть и, изучив их, сказал:

— Писать ты, безусловно, можешь, но ты должен понять наши цели и постараться руководствоваться ими. Сначала мы возьмем тебя учеником в редакцию.

(Внезапно он переключился на монархическое «мы», хоть я и не заметил в его заведении кого-нибудь, кроме него).

— В период ученичества ты будешь работать бесплатно. Вообще-то мы берем плату за обучение. Но тебя я от платы освобожу — ведь ты племянник моего друга. Я тебя познакомлю со всеми разделами в журнале, а через три месяца мы рассмотрим вопрос о гонораре, соответствующем твоим способностям.

— А как насчет этого материала?

— Конечно, мы его пустим, когда возникнет возможность, но предварительно отредактируем.

— Вы за него заплатите?

— Конечно, когда-нибудь заплатим, только не сейчас.

Я не знал, что все это значит. Я только понял, что он ищет бесплатного помощника или, возможно, напарника по шантажу, ибо я обнаружил, что он намеревался снабдить свой журнал подзаголовком «Подлинные истории» (из брачной жизни, конечно) и нуждается в человеке, который поставлял бы ему материал.

Пришлось мне отказаться от его предложения и снова заняться поисками. Образчики своего творчества я показал всем редакторам и издателям в городе Мадрасе. Все сходились на том, что моим рассказам не хватает «фабулы». Моих литературных устремлений не одобряли, мне же больше нечего было предложить. Я не мог избежать Мальгуди, как не мог убежать из-под неба над моей головой.

— Языком вы владеете, но...

Это мне говорили почти все.

В тот год я провел в Мадрасе три месяца и неустанно преследовал редакторов газет и журналов. Мой младший дядюшка вначале разъярился, узнав, что я отказался от его приятеля из «Брачной газеты». Все же он продолжал устраивать мне встречи со всеми, кто, с его точки зрения, мог мне помочь, хоть зачастую ничего общего, кроме английского алфавита, у нас не было. Все они по большей части были дядиными собутыльниками.

Мой старший дядюшка почти все время посвящал своему литературному еженедельнику. Ночи напролет он сидел у себя в мезонине (где я когда-то прятался от Кодандама) и работал: три четверти статей в его еженедельнике из восьми страниц были написаны (в разном стиле и под разными именами) им самим; он же редактировал и заново переписывал другие материалы, держал корректуру и изучал тома древней тамильской поэзии.

По вечерам он давал уроки детям бедняков, живущих в трущобах,— каждый вечер он покидал с этой целью часа на два свой письменный стол. Это был Интеллигент, трудившийся не покладая рук; он не заботился о том, как бы заработать денег, и едва-едва сводил концы с концами. Фотографию, которой он когда-то увлекался, он, конечно, оставил: громоздкая камера пылилась на шкафу вместе со множеством других, не нужных теперь вещей.

Я показал ему кое-что из написанного. Он прочитал и сказал:

— Для начала неплохо, но тебе многое надо еще изучить. Шекспира, например, а главное — «Рамаяну» Камбана. Попробуй почитай его вариант и постарайся в нем разобраться с помощью комментария, который ты найдешь в моем журнале. Это тебе будет полезно. Твои вещи станут серьезнее и убедительнее. Не торопись пока с публикациями. Продолжай писать — но продолжай и читать...

Я не мог полностью принять его совета. Я собирался стать современным писателем, а он хотел, чтобы я ломал голову над старой классикой. Вежливо выслушав его предложение, я внутренне отверг его.

Он надорвал здоровье, стремясь завоевать прочное положение для своего журнала, и в 1938 году, после восьми лет усилий в одиночку, сердце его не выдержало нагрузки. Когда он умирал, я был в Майсуре; в Мадрас меня вызвали телеграммой. Он лежал в Городской больнице и прожил еще часа два после моего приезда; его речь и сознание оставались ясными. Умирая, он мне советовал:

— Изучай «Рамаяну» Камбана.

Я обещал из любви к нему, хоть и не думал, что смогу когда-либо заинтересоваться Камбаном. Я писал по-английски реалистическую прозу, тамильский язык и литература меня не занимали. Мой третий роман — «Темная комната» — только что вышел тогда в Лондоне, а когда я уезжал из Майсура, почтальон вручил мне конверт с газетными вырезками, которые посылало мне мое агентство; это были первые рецензии на мой роман, и все они были восторженными. Я не видел смысла в изучении тамильского памятника, это казалось мне литературным атавизмом.

Как ни удивительно, три десятилетия спустя я вспомнил о его словах, сохранившихся в течение всех этих лет в недрах памяти. Я полностью забыл о данном мной скрепя сердце обещании, но в 1968 году я заинтересовался Камбаном, посвятил три года чтению его 10 500 строф и был настолько увлечен, что ощутил настоятельную необходимость написать прозаический пересказ «Рамаяны» — по Камбану. Это была моя вторая книга по индийской мифологии. Как ни странно, я совершенно не помнил о том, что говорил дядюшка, пока Маршалл Бест, редактор нью-йоркского издательства «Вайкинг-Пресс», не спросил меня в день моего отъезда в Индию, не хочу ли я посвятить эту книгу кому-либо. Рукопись была готова к печати. Внезапно я вспомнил дядюшкин наказ. Я написал посвящение и передал его Маршаллу в аэропорту Кеннеди, куда он приехал меня проводить.

Моя литературная деятельность в Мадрасе принесла неожиданные плоды: мне дали на рецензию книгу. Она называлась «Развитие морского законодательства в Англии XVII века». Весьма безотрадное сочинение, но я его одолел и написал короткую заметку, благодаря чему, хоть мне за нее не заплатили, имел возможность испытать волнение при виде своей первой публикации. Тот же журнал принял мой рассказ и заплатил за него десять рупий (минус почтовые расходы). Таким образом мой литературный гонорар составил в первый год девять рупий и двенадцать ан.

Во второй год дела пошли несколько лучше, ибо «Хинду» опубликовал мой рассказ и прислал мне восемнадцать рупий (минус почтовые расходы), а на следующий год я получил тридцать рупий за детский рассказ. Я вручил этот чек отцу; он пришел в восторг.

— Твой первый и последний гонорар, должно быть,— заметил отец.

Мне не понравилось слово «последний». Он тут же извинился:

— Не знаю, почему я так сказал. Не обращай внимания.

(Окончание следует)

■

ДЮЛА ЧАК

Рассказы

■

С венгерского

Дюла Чак вступил на литературный путь ровно тридцать лет назад, совсем еще безусым деревенским пареньком, а ныне он — известный романист, драматург, публицист. Член Будапештского горкома партии, секретарь Союза венгерских писателей. И обаятельный человек.

Это его качество — человеческая обаятельность — является, на мой взгляд, как бы производным от всего, что я о нем сказал. Сочетание яркого писательского таланта с твердой убежденностью коммуниста, сформировавшегося в самой гуще венгерского народа, строителя нового, социалистического общества, попросту не могло не отразиться и на свойствах характера Чака. Открытость взгляда, прямота и свобода суждений при очень точной ориентации в любых сложных вопросах, оказавшихся предметом его внимания, и тот ненавязчивый, мягкий юморок, с каким Дюла Чак и говорит и пишет, покоряют с первой минуты. Даже тогда, когда возникает потребность ему возразить, с ним в чем-то не согласиться.

Он, кстати, и сам любит споры. Каждая его новая книга поднимает волны несовпадающих между собою читательских откликов. Истины ради добавим при этом, что спорящие стороны восстают против чего угодно в произведениях Чака, но полностью единодушны в том, что его книги отображают подлинную жизнь, что они всегда обращены к горячему сердцу читательскому, доверительно входят в духовный мир человека. Особенной популярностью пользуются его острые публицистические выступления по радио, выступления писателя, коммуниста, отлично разбирающегося в обстановке текущих дней и потому умеющего рассказывать о ней вдохновенно и убедительно.

Однако, так оценивая радиопублицистику Дюлы Чака, мне не хотелось бы, что называется, нанести урон его заслуженной известности романиста и драматурга. Романы Чака читаются с увлечением, их у него шесть, но роман «От рождества до рождества» стал как бы флагманом его романной флотилии. Признание читателей получила и недавняя книга Д. Чака «Тяжкий вздох солончаков» — социографическое исследование, посвященное родному краю писателя. С таким же исключительным успехом идет на сцене Национального театра в Будапеште его последняя пьеса «Вместе и порознь», а новые замыслы уже обретают вещественную форму черновых набросков. Впрочем, пока я пишу эти строки, может быть, и вполне готовых рукописей.

Советскому читателю здесь, в этом номере журнала, Дюла Чак предстает в качестве новеллиста.

Своеобразна его манера в этом трудном жанре.

Он всегда сразу берет быка за рога. Вводит читателя в действие с первых же строк. А дальше — многозначительный, порою с хитрой лукавинкой, с иносказаниями подтекст. И концовки, хотя, может быть, и ожиданные, но отнюдь не лобовые. Они вытекают, скорее, не из собственно действия, а из того самого подтекста, который очень важно читателю побыстрей уловить и затем уже довериться ему.

Подросток Лаци в рассказе «Главный камергер» не будет понятен нам, если мы не выйдем за рамки текста и мысленно не нарисуем себе более широкую картину предшествующей долгой игры мальчика в сказку, где он — могущественный и строгий король. Но эта сказка оборвалась, ее идеалы рассыпались в прах в реальной действительности, с которой столкнулся Лаци, приехав в деревню. А жить вне сказки он не

© Csák Gyula, 1974.

может. И он отрекается от своего королевского трона, чтобы стать странствующим рыцарем. Отказывается от власти и богатства во имя защиты справедливости.

А что же его родители? Они не поняли ничего. Мать плачет, раздосадованная грубыми — по чисто внешним проявлениям — выходками сына. Отец же занят иным: думами о моторе своей автомашины, с которым «к счастью, ничего страшного не произошло». С мотором, это точно, ничего не произошло. А с внутренним миром Лаци? И кто ему, новому странствующему рыцарю, станет надежной опорой?

Не собираюсь предлагать свой ключ к чтению и других рассказов Дюлы Чака. Да каждый из них, собственно, закрыт на отдельный замок, универсальный, единый ключ вообще к ним не годится.

Не хочу предлагать свой ключ еще и потому, что в открытую дверь художественного тайника любого произведения искусства читателю входить уже не интересно. Пусть он распахивает эти двери сам.

А Дюле Чаку, молодому, веселому, смелому, пожелаю радостно войти в читательские сердца советских людей. Они ведь, советские читатели, всегда так отзывчивы.

С. САРТАКОВ

Главный камергер

Когда они въехали в деревню, мальчик вдруг заплакал. Отец, сидевший за рулем, повернулся к нему и сердито спросил:

— Что с тобой?

— Ничего,— ответил тот.

— Что случилось? — спросила мать, наклонившись к нему с заднего сиденья.

— Твой сынок опять нюни распустил,— сказал отец и подумал о том, что механики все-таки обманули его. Пыль по-прежнему попадает в карбюратор, хотя машина целую неделю была в профилактическом ремонте.— Подними стекло,— приказал он мальчику. А мать вытащила из сумочки носовой платок и вытерла ребенку глаза и нос.

— Что случилось, Лацика? — зашептала она на ухо сыну с той уже привычной грустной покорностью, которая впервые появилась у нее, когда Лаци заявил, что будет мыться в ванне один.— Вот мы почти и приехали,— продолжала она, с тревогой глядя в затылок сыну. «Почему ребенок стал сторониться родителей?»— в который уже раз за последнее время спрашивала она себя.

А мужчина думал о том, что пыль наверняка набьется и в коробку переключения скоростей.

— Вы знаете, где мы едем? — обернулся он к жене.

— Сколько раз можно говорить, что знаем!

— Ну, не хватает, чтобы и ты закатила истерику. Уж и спросить нельзя?

— Я сегодня раз пятьдесят уже отвечала на этот вопрос.

— По-моему, только сорок девять,— миролюбиво заметил муж, ему не хотелось ссориться. «Да, мальчик пошел в мать, это точно».

— Ты потому заплакал, что любишь ездить сюда? —прошептала мать на ухо сыну. Мальчик пожал плечами и ничего не ответил. Он приник лбом к боковому стеклу, словно что-то разглядывая. Мать попробовала проследить за его взглядом и вдруг подумала, что жить здесь она бы не хотела. Бедность, неудобства — и вспоминать тошно. Вместе с тем она ощущала и некоторую неловкость: ведь уже шесть лет они не были в родной деревне. Она сама не очень-то рвалась, да и мужа можно было затащить сюда разве что силой, и ехали они сейчас в деревню только ради ребенка. До этого два лета провели за границей, потом одно — в горах, еще одно — на Балатоне, казалось,

что может быть лучше? Но если мальчик хочет... Ради ребенка они готовы на все.

Наконец, они остановились перед деревянным островерхим забором, мужчина сильно нажал на клаксон. Створки ворот тут же распахнулись, словно тетушка-толстушка уже давно поджидала их.

Мальчик теперь не плакал, а смеялся, потому что отец чуть не наехал на тетушку Шари,— он так резко затормозил, будто у него вдруг заглох мотор. Мать выскочила из машины и кинулась как сумасшедшая обнимать тетушку; отец тут же поднял капот и стал копаться в моторе.

— Ты что, спать здесь собрался? — раздраженно спросил он у мальчика. Отца злило, что двигатель барахлит.

— Да вы только посмотрите на него,— воскликнула тетушка Шари, повернувшись к Лаци, она даже слегка присела, как будто собиралась посадить малыша на колени, хотя Лаци был уже на полголовы выше ее.— Неужели это мой маленький крестник?

Она прижала мальчика к своему могучему телу, а он, смущаясь, пытался высвободиться из ее объятий. Ребенок покраснел еще больше, увидев, как отец сгреб в охапку тетушку Шари и хлопнул ее пониже спины.

— Куда шлепнул, туда и поцелуй,— взвизгнула тетушка.

«Сжечь ее на костре»,— приказал своим слугам Лаци Это у него была такая игра, последнее время он всех своих врагов отправлял на костер.

— А где же конюшня? — изумленно спросил он.

— Где конюшня, малыш? — повторила его вопрос тетушка Шари и вновь прижала к себе мальчика, звонко чмокнув в макушку.— Мы ее сломали.— И, обращаясь ко взрослым, добавила: — Она столько лет пустовала, вот мы ее и сломали. И посмотрите, что построили вместо нее.

Она подвела всех к небольшому, еще не оштукатуренному строению и распахнула дверь.

— И мы теперь в деревне решили господами стать,— произнесла она не без наигранного самоуничижения.— Теперь и крестьянину подавай ванную комнату!

Она показала на бак, укрепленный на крыше сарая, на шланг. Все это ее супруг своими руками сделал. Отец Лаци что-то бормотал о технических сложностях, которые он потом с Гезой обсудит и даже поможет ему, а тетушка Шари снова повернулась к Лаци.

— И ты сможешь купаться, если тепло будет,— радостно объявила она мальчику и опять прижала его к груди, но на этот раз он не сопротивлялся, ему не хотелось, чтобы все увидели, что ему стало грустно. Однако мать заметила, как у него подрагивают губы, и позвала всех в дом. Пропустив вперед мужа и сестру, она осторожно взяла мальчика под руку.

— Тебе жалко конюшню? — тихо спросила она. Мальчик зло взглянул на нее:

— Нет.

И тут же, пожалев мать, повторил уже мягче:

— Нет, нисколько!

«Вы должны разузнать, кому понадобилось снести конюшню! — строго приказал он главному камергеру.— И не верьте россказням, будто это случилось, потому что конюшня пустовала, она пустовала и шесть лет назад, однако ее никто не трогал. Это были мои любимые апартаменты,— объяснял он главному камергеру, который стоял перед ним, почтительно склонив голову.— Я всегда укрывался там, когда мне хотелось побыть одному». Главный камергер понимающе кив-

нул. И Лаци сразу успокоился — он может целиком положиться на этого преданнейшего ему человека.

Но едва они вошли в дом, поднялась страшная суматоха. На гостей сбежались посмотреть и многочисленная родня, поджидавшая их, и соседи, услышавшие автомобильные гудки, и все они удивленно восклицали, поражаясь тому, как хорошо гости выглядят, особенно Лацика, ведь он прямо жених, вот только где он оставил невесту, интересовались его отметками и спрашивали, помнит ли он тетю Ирму, которая однажды отшлепала его за то, что он нарвал персиков в ее саду, и помнит ли покойного дядю Габора, и еще ту худущую длинноногую девчонку, которая никогда не чистила зубы и в которую он якобы влюбился шесть лет назад.

«Наберитесь терпения, ваше величество,— шепнул ему на ухо главный камергер, теребя связку ключей.— Вы должны придерживаться дипломатического этикета. Улыбнитесь, пожалуйста!»

Тетя Шари говорила громче всех, давая понять, что она тут хозяйка, а остальные на этом празднестве случайные гости.

— Вы не устали? Правда, обед еще не готов, мы вас ждали чуть позже, но пока можете что-нибудь перекусить. Лацика, хочешь простоквашку? Помнишь, как ты любил ее? Боже, да не приставайте вы к ним, будет еще время, наговоритесь! Ведь вы останетесь у нас на две недели?

— Только на четыре дня,— ответил отец Лацики. И все присутствующие чуть ли не в один голос закричали: «Как же так, ай-яй-яй! Только четыре дня?!»

— Мы еще собираемся в Чехословакию,— пояснила мать Лаци, которая, надо заметить, была здесь самой красивой,— а к двадцатому Енё надо вернуться в Пешт, потому что будут утверждать его проект,— на премию мы хотели бы купить новую мебель.

— Вы собираетесь поменять свою чудесную мебель? — изумилась тетушка Ирма, широкобедрая соседка, которая четыре года назад приезжала в Будапешт и навестила их.— Ведь у вас просто замечательная мебель!

— О, ту мы уже сменили,— мать Лаци небрежно махнула рукой.— Мне вообще не нравится барокко.

И все понимающе закивали, хотя ни один из них не знал, что такое барокко, но все вдруг почувствовали, что барокко им не нравится. У Лаци зародилось подозрение, что мать тоже не знает, что такое барокко, поэтому он кивнул главному камергеру и указал на мать: «Надо выяснить, знает ли она? Скорее всего не знает, но доказательств не имею». А про себя подумал: «Барокко — это что-то такое с завитушками. Надо заглянуть в энциклопедию».

— О, как хорошо, что вспомнила,— вдруг закричала тетя Ирма,— специалист все же, грех упустить такой случай!

С какой-то заискивающей настойчивостью, напоминавшей чем-то поведение тети Шари, она стала подробно объяснять, что их телевизор все время как-то странно хрипит: псс, трр... и надо бы его исправить. Лаци удивленно смотрел, как отец, который дома не мог телевизор на резкость настроить, теперь с важным видом кивает головой. Ему сразу стало не по себе.

— А где бабушка? — спросил он, опустив глаза в пол.

— Нет, вы только подумайте,— всплеснула руками тетушка Шари и снова кинулась к Лаци.— Бабушка ждет, и очень давно. Ну что за ребенок,— обратилась она ко всем,— он только интересуется стариной. Где конюшня, где бабушка? Ты еще помнишь бабушку?

— Да,— нетерпеливо бросил Лаци.

— Значит, я могу рассчитывать на вашу помощь, сосед, вы к

нам заглянете? — спросила тетя Ирма. Компания распадалась, к старушке никому идти не хотелось.

«Надо залить воды в радиатор»,— подумал отец Лаци и попросил тетушку Шари:

— Принеси, пожалуйста, воронку и ведро воды.

Бабушка жила на заднем дворе, в ветхом дровяном сарае.

— Мы ее сюда переселили,— объяснила тетушка Шари, словно оправдываясь,— здесь ей, бедняжке, гораздо удобнее.

Старуха сидела на маленьком стуле и смотрела прямо перед собой неподвижным взглядом. Ее вытянутая правая рука опиралась на палку. Казалось, старуха не заметила вошедших. «Из-за нее у Шари неспокойно на сердце,— мать Лаци взглянула на бабушку, свою старую тетку, и внутренне содрогнулась.— Хорошо, что нам не надо ухаживать за ней,— подумала она.— Ведь Шари получила от нее полдома...»

Тетя Шари подошла к старухе и потрясла ее за плечо.

— Здесь Лацика, бабушка Юлча,— во все горло закричала она. Старуха перевела на нее взгляд, кивнула, но, видно, ничего не поняла.

— Уйдем отсюда,— прошептал Лаци матери.

К обеду вернулся дядя Геза, в доме суетились соседская девочка-заморыш и ее мать, сами они ничего не ели, а все хлопотали по хозяйству, девчонка, подавая Лаци суп, случайно окунула в тарелку палец. «Отрубить ей палец!» — приказал Лаци главному камергеру и, как его ни уговаривали, съел лишь две ложки.

Дядя Геза ел громко чавкая, ел много. Хотя жена и стыдила его, обедал он в трусах, потому что было очень жарко. Дядя с интересом прослушал лекцию отца Лаци об устройстве самодельного душа, а потом они долго обсуждали дела кооператива, в котором дядя Геза работал кладовщиком: ведь есть еще и такие, что норовят стащить мешок-другой.

— Кстати, сынок,— повернулся дядя Геза к Лаци,— кем ты собираешься стать, когда вырастешь? — У него не было своих детей, а чужим он всегда задавал один и тот же вопрос. Или спрашивал: «Ну, как наши дела-делишки?»

— Ты будешь инженером, как и папа, правда, Лацика? — тут же вмешалась тетя Шари.

— Ты ведь хочешь стать доктором, правда, сынок? — мать Лаци нежно погладила сына по голове. Резко тряхнув головой, мальчик сбросил ее руку и стал постукивать вилкой по краю тарелки.

— Никем я не хочу стать,— пробурчал он.

— Вот так-так! — воскликнула тетя Ирма, которая сидела у порога и наблюдала за гостями. «С этим избалованным мальчишкой они еще хлебнут горя»,— подумала она со злорадством.

— Нет, сынок! Ты будешь тем, кем тебе прикажут стать мама с папой.

Мать Лаци очень огорчило то, что она не может продемонстрировать, какие доверительные у них отношения с сыном. И чтобы создать хотя бы видимость их союза, она, коротко вздохнув, произнесла:

— Он станет тем, кем захочет. Мы не вмешиваемся в его планы.

— Ну уж нет,— перебил ее муж.— Надо будет, вмешаемся...

— Кладите себе еще, я столько всего наготовила. Зарезала двух куриц к вашему приезду, кушайте на здоровье,— радушно угощала всех тетя Шари.

— Нет, нет, так не положено,— прочавкал с полным ртом дядя Геза,— не положено, чтобы ребенок не слушался собственных родителей.

— Надо будет, вмешаемся,— повторил отец мальчика.

На дядю Гезу вдруг нашло вдохновение.

— Тот, кто вроде тебя в рубашке родился,— повернулся он к Лаци,— должен чтить своих родителей. Они с утра до ночи работают...

— Кладите, кладите себе еще, чтобы ничего не осталось. Ты почему не ешь, Лацика?

— Потому что воняет. Все воняет!

Мать залепила сыну звонкую пощечину. На секунду воцарилась тишина. В кухне на каменный пол упала вилка. Лаци побледнел и сидел неподвижно, закрыв глаза.

— Ну что, добился своего? — тихо спросил отец.

— Зачем вы так? — миролюбиво произнесла тетя Шари. Она прижала голову мальчика к своей груди, но он грубо вырвался из ее объятий и убежал.

— Уж очень ты нервничаешь,— проворчал отец мальчика, повернувшись к жене.— Это вредно для твоего сердца.

— Видишь, какой он? — сказала она.

Мать Лаци расплакалась и сквозь слезы все повторяла, что не понимает, почему ребенок стал таким, ведь они все для него делают. Они стали спорить и обвинять друг друга, а потом мать Лаци сказала, что они уезжают. Муж не возражал и даже обрадовался. Семейство тетушки Шари долго и бурно протестовало, но мать Лаци была непреклонна.

Мальчик вошел в сарай. Старуха сидела в той же позе, только теперь на палке покоилась ее левая рука. Она повернулась к Лаци, и ему показалось, что ее глаза засветились радостью.

— Бабушка,— сказал мальчик, опускаясь на колени перед старухой.— Дорогая бабуля, расскажи мне, пожалуйста, о странствующем рыцаре.

Он взял ее руку в свою и почувствовал, что старушка ответила на его рукопожатие.

— Ты знаешь, бабушка, кем я хочу стать? — спросил он со слезами на глазах.— Я хочу стать странствующим рыцарем, который никогда не получит никакого царства, а всегда останется бедным, чтобы поступать по справедливости. Хорошо я придумал, бабуля?

Когда они выехали за околицу, уже стемнело. Лаци — в наказание — сидел на заднем сиденье. Он забился в самый угол и мрачно глядел прямо перед собой. Главный камергер стоял перед ним навытяжку, внимательно выслушивая последние указания, вид у него был совершенно убитый. «Я отпускаю тебя, мой верный слуга, на все четыре стороны,— проговорил Лаци срывающимся от волнения голосом.— Ты служил мне верой и правдой, но теперь я отпускаю и тебя, и других преданных мне людей, потому что я отправляюсь странствовать».

Мать Лаци сидела впереди и тихо всхлипывала.

— Теперь ты будешь реветь всю дорогу? — раздраженно спросил муж.— Ну и семейка...

Вообще-то он не очень злился: с мотором, к счастью, ничего страшного не произошло. Он неплохо работает. Хотя карбюратор все-таки надо будет проверить.

Перевод С. ФАДЕЕВА

Упрямцы

Зеленак-старший, почтовый служащий, читал, откинувшись в кресле. Лица его не было видно за раскрытой газетой. Рядом на маленьком круглом столике дымилась чашка чаю и благоухала голландская сигара, полученная в подарок.

Это был традиционный — после ужина — чай, отменнейшее удовольствие. Привычку к нему Бела Зеленак унаследовал от отца, а от матери — кое-какие движения, жесты, которые сейчас стали вдруг отчетливо проявляться. Только это и унаследовал он от родителей. У них было неплохое имение — триста хольдов в комитате Бихар — и небольшой участок на Балатоне, но они всего лишились еще в 1944 году. Осталось несколько привычек да место почтмейстера — отец Белы Зеленака дослужил там до пенсии.

Жена вязала кружева — целыми днями только этим и занималась и хоть бы филлер когда за них выручила! — а сын сидел рядом с ней на маленькой скамеечке и смотрел, но смотрел не на вязанье. Он внимательно следил за выражением лица матери. И если она вдруг моргала, вглядывался в ее лицо еще тревожнее, вопрошающе. Мать часто вздыхала, время от времени поглядывала на мужа, но тот был целиком погружен в чтение.

— Мама, ну скажите же! — зашептал сын и, как молящийся мусульманин, поднял вверх сложенные ладони.

Мать снова вздохнула, крючок ее заработал еще быстрее.

— Бела! Мальчику нужно пятьдесят форинтов. Надо внести деньги на выпускной вечер... ты слышишь меня? О господи, ведь я с тобой разговариваю!

Мужчина опустил газету и посмотрел поверх очков на жену.

— Ты что-то сказала?

— Дай Золи пятьдесят форинтов. Надо внести деньги на вечер.

— И из-за этого нужно поднимать такой крик, а мне бежать сломя голову за деньгами? Принеси сюда мой пиджак.

Высокий бледный юноша достал из шкафа пиджак и приниженно, покорно протянул его отцу.

— Господа дают большой банкет,— проворчал Зеленак-старший, вытаскивая из бумажника пятидесятифоринтовую купюру.

— Такое ведь раз в жизни бывает, папа,— пролепетал сын.

— Ну конечно, конечно.— И отец опять уткнулся в газету.

Юноша сунул деньги в карман, но все еще продолжал стоять с пиджаком в руках, немного согнувшись, в услужливой позе, как портной на примерке. Потом взглянул на мать и, заливаясь краской, произнес:

— Вообще-то... мне надо еще двадцать форинтов... Нас... нас... будут фотографировать.

Отец досадливо поморщился, но, ни слова не говоря, раскрыл кожаный бумажник и вытащил из него двадцать форинтов.

— И еще выходной костюм,— выдохнул юноша.

Он так тихо это сказал, что отец его не расслышал. Или сделал вид, что не расслышал.

— Да, помоги-ка мне переобуться.

Бела Зеленак снова погрузился в чтение и, потянувшись за сигарой, чуть было не опрокинул чашку с чаем.

Юноша кинулся к шкафу, повесил пиджак на вешалку, потом опустился на колени перед отцом и стал развязывать шнурки. Это был их ежевечерний ритуал, одно из проявлений рабовладельческих замашек Зеленака-старшего, атавизм своего рода. Зеленак-младший

дрожащими пальцами развязывал шнурки, к горлу его подступили слезы. Они с матерью здорово промахнулись. Лучше бы и не заикаться насчет фотографий и вечера, надо было прямо начинать с костюма. А теперь ничего с этим не выйдет. Вот если бы они начали с костюма...

— Как ты думаешь, Бела? — не очень уверенно заговорила мать, руки ее неподвижно лежали на коленях.— Надо бы купить Золи выходной костюм! Бела! Да оторвись ты, наконец, от своей газеты!

Отец выглянул из-за газетного листа, сдвинул на лоб очки в золотой оправе и с шумом отхлебнул чаю.

— Я слушаю тебя, дорогая.

— Вижу, как ты слушаешь! Я говорю: надо купить Золи выходной костюм. Без костюма все равно не обойтись. Мальчик уже из всего вырос.

Отец зло ухмыльнулся.

— Выходно-о-й костюм? Ты сказала: выходной костюм?

Юноша так старательно разувал отца, как никогда прежде, и он так бережно и осторожно сунул его ноги в домашние туфли, будто от этого зависела вся его дальнейшая жизнь.

— Да, папа. Все... так придут...

— Ну, а ты не придешь.

— Но почему, папа, ведь...

— Я сказал: ты не придешь!

— Я правда не понимаю почему...— неестественно высокий голос сына срывался.— Ведь вы тоже были на выпускном вечере в смокинге.

— Так это когда было! А венчался я уже в визитке, которую брал напрокат.— Это соответствовало истине: во всех автобиографиях Зеленак-старший писал, что венчался в костюме, взятом напрокат.— И моему отцу, между прочим, не приходилось содержать семью на жалованье скромного почтового служащего.

— Но разве я виноват, что вам не удалось продвинуться по службе?

Губы у юноши предательски задрожали. Зеленак-старший, вытаращив от изумления глаза, уставился на сына — казалось, он напряженно во что-то вслушивался, потом вдруг вскочил с кресла, лицо его посинело.

— Вон отсюда! Сейчас же убирайся вон! — закричал он и, хромая — с ноги соскочила домашняя туфля,— кинулся к сыну. Жена тоже поднялась с места и испуганно смотрела на них.— Я сказал: убирайся вон! — затопал ногами мужчина.— Проваливай ко всем чертям, иначе...

— Бела! Как ты разговариваешь с мальчиком?

— Нечего меня учить! Его учи! Его ты должна была научить, чтобы он хоть какое-то минимальное уважение, хоть самую малость, на какую можно рассчитывать по нынешним временам, выказывал отцу, отцу, который вырастил его на... на побигель себе и нации!

Зеленак-старший весь кипел от негодования, слова с такой скоростью слетали с его губ, что вместо «на потибель» он произнес «на побигель». Из-за этой оговорки юноша чуть не прыснул со смеху. Но все же сдержался и, отступив на шаг, смотрел на разъяренного отца с возрастающей решимостью. Выходного костюма ему не видать как своих ушей — но по крайней мере он выскажет отцу все, что о нем думает.

— Вы требуете от меня не минимального уважения, а максимального раболепства. Скажи я где-нибудь, что я, восемнадцатилетний парень, снимаю с вас ботинки, все бы животы надорвали от хохота. Вы так тираните семью, что...

— Молчать!

— Вот именно, тираните! И мама столько терпит унижений из-за денег на продукты, да и вообще... Вы просто старый реакционер!

Слова сами срывались у него с губ, и он вдруг подумал: отец, наверное, не умеет драться.

Но он ошибся: отец влепил ему такую затрещину, что юноша отлетел к стене. Он выскочил из комнаты, рванул входную дверь и бросился вниз по лестнице. Дверь квартиры хлопнула так,. что в подъезде стены загудели.

Внизу он на минуту остановился и оглянулся: не бежит ли за ним отец, но услышал только свое шумное дыхание.

На улице было пасмурно, знобко и вскоре начал накрапывать дождь. Юноша выскочил из дому в одной рубашке и сейчас дрожал от холода под майским ливнем. Не без тайной радости думал он о том, что вот заболеет теперь воспалением легких и умрет, а отец, стоя потом над его гробом, будет во всем себя винить.

Юноша нарочно шел посередине тротуара, чтобы сильнее вымокнуть. Он представил себе последний день экзаменов, нарядно одетых учеников и учителей и то, как они перешептываются за его спиной: видите, вон тот, что пришел в старом, поношенном костюме,— гений, но отец наотрез отказался купить ему выходной костюм.

Золи долго бродил по улицам, но потом так замерз, что вынужден был повернуть к дому. В их окнах все еще горел свет. «Будь что будет»,— подумал он и стал подыматься по лестнице.

Дверь открыла мать. Всхлипывая, она обняла сына и потащила в ванну. Докрасна растерла его полотенцем, заставила надеть купальный халат.

— Ну и упрямцы вы, что один, что другой! — причитала она.— Ну что мне с вами делать? Поди попроси прощения. Ну, пожалуйста, ради меня...

Юноша сначала возражал, бормотал что-то невнятное, а потом подумал: после выпускных экзаменов я все равно уйду из дома, ну а до тех пор... ладно, черт с ним...

Зеленак-старший стоял у окна, спиной к двери. Когда Золи вошел в комнату, отец слегка вздрогнул, но не повернулся к сыну.

— Папа... простите меня...

— Ты получишь деньги... на костюм. Летом пойдешь работать и выплатишь долг. И не надо больше снимать с меня ботинки.

Он так и не повернулся к сыну. Так и стоял у окна, словно Наполеон на острове Святой Елены.

Перевод Л. ВАСИЛЬЕВОЙ

Замечательно!

Он был врачом, занимался научной работой, иногда писал и популярные статьи, к которым его жена делала иллюстрации. Под ними всегда можно было прочесть: «Рисунки Аннушки Боер». Оригиналы рисунков хранились в альбоме с матерчатым переплетом, и он постоянно переходил от одних родственников к другим.

— Как ты думаешь, дорогуша,— спросила женщина, вставая с дивана,— узнают себя бациллочки?

На ней были клетчатые эластичные брюки в обтяжку и очень широкий, серый свитер из грубой шерсти. В этом наряде Аннушка чувствовала себя настоящей художницей. Чтобы создать настроение,

даже распускала свои черные волосы, обычно собранные в пучок на затылке.

— Дорогуша,— позвала она громче и настойчивее. Ее злило, что муж не сразу отозвался. Аннушке нравился рисунок и нравилась мысль об «очной ставке» микробов с их портретами.— Ты слышишь, дорогуша? Похожи холеры-палочки на самих себя?

Муж не любил, когда она называла его «дорогуша», но уже смирился с этим. Он сидел за круглым обеденным столом, склонившись над разложенными бумагами, работал над кандидатской диссертацией: готовил обстоятельное исследование о роли катализаторов, которое, по замечанию его научного руководителя, ироничному и подбадривающему одновременно, должно вызвать переполох в Европе. Муж был в рубашке, хотя каждый день жена предлагала надеть ему бежевую стеганную домашнюю куртку. На мгновение подняв голову от бумаг, он слабо улыбнулся и кивнул.

— Ну, конечно, милая, ты все сделала замечательно,— сказал он и вновь уткнулся в свои бумаги.

— Ты так говоришь, чтобы только от меня отвязаться.— Аннушка с обиженным видом откинулась на диванные подушки.

— С чего ты взяла? — пробормотал муж, но голову от стола так и не поднял.

— Ты даже не взглянул на них...

— Девочка моя, ты всегда находила великолепные решения, у тебя и сегодня должно получиться замечательно!

Аннушка что-то поправила на своем рисунке и, словно между прочим, обронила:

— Не слишком ли часто ты употребляешь слово «замечательно»?

Муж снова улыбнулся.

— Видно... привычка, а это что, плохо? — как бы извиняясь, сказал он.

На секунду взгляды их встретились, и оба смутились. Аннушка, сложив губы бантиком и склонив набок голову, продолжала разглядывать свое произведение.

— Вообще-то это не плохо,— ответила она.— С чего ты решил, что это плохо?

— Да так... просто спросил.

— Пустяки все это, не стоит обращать внимания... Ты на что-то сердишься?

Муж, наконец, оторвался от своих бумаг. Состроив удивленную мину, он спросил с кротким упреком:

— Почему ты решила, милая, что я сержусь?

— Да так... мне показалось...

«Ну и интуиция у нее»,— подумал он про себя, а вслух произнес:

— Мне очень жаль, но ты ошиблась, я нисколько не сержусь.

— Что ж, прекрасно,— сказала Аннушка, снова откинулась на подушки и взяла в руки чистый лист бумаги, потому что рисунки, которые она только что сделала, вдруг показались ей отвратительными. На некоторое время воцарилась тишина, потом Аннушка снова спросила:

— Скажи, дорогуша, ты меня любишь?

Муж закрыл глаза. Искушение было велико. Ему страшно захотелось опрокинуть стол и заорать во все горло — надо было освободиться от того, что накопилось в нем за восемь лет совместной жизни. Но вместо этого он продолжал неподвижно сидеть за столом и, изобразив на лице стереотипную улыбку, ответил:

— Ты иногда задаешь странные вопросы, милая.

У него слегка сорвался голос, и он откашлялся.

«Притормози»,— предупредила сама себя Аннушка, вспомнив советы матери. «Умная женщина никогда не станет будить спящего льва,— говорила та.— Для мужчины естественно стремление к свободе, и поэтому мы должны не запирать его в грубой деревянной клетке, а окружать изгородью из роз».

Аннушка соскользнула с дивана и, подкравшись к мужу сзади, сунула ему прямо под нос свои новые рисунки. Муж пытался совладать с собой, в голове у него что-то громко щелкало, и он тупо уставился на листки бумаги. Аннушка обняла его за шею и зашептала в самое ухо:

— Нравится? — и, не дожидаясь ответа, нежно замурлыкала: — Видишь, вот этот ужасный микробик — это ты, а хорошенькая бациллочка — это я...

— Замечательно! — с притворным восхищением воскликнул мужчина.

Только это слово и пришло ему сейчас в голову, хотя он был в ярости.

— Замечательно,— сказал он еще раз, покоряясь своей судьбе.

Аннушка сладко потянулась и зевнула. Потом взглянула на себя в зеркало и отметила, что опять немного потолстела. Это ее встревожило, уж в бедрах-то ей никак нельзя раздаваться.

— Я рада, что тебе нравится,— произнесла она слегка насмешливо и стала вынимать из шкафа блузки и юбки. Потом быстро стянула с себя свитер, выскользнула из брюк и в чем мать родила стала расхаживать среди разбросанных юбок и блузок.— Ах, ты ведь не любишь... наготы. Прости...

Последнее слово она произнесла с подчеркнутой иронией и, собрав в охапку одежду, убежала в ванную комнату.

В голове у него щелчки участились. Это устройство, сигнализирующее о нервном возбуждении, он окрестил счетчиком Гейгера. Он снова закрыл глаза и, дублируя «прибор», тоже стал вести счет, пытаясь хоть сколько-нибудь ослабить мучительную головную боль. А жена тем временем кричала ему из ванной:

— Дорогуша! Я уже говорила тебе, что дядюшка Шаньо вернулся из Мюнхена домой? Он привез себе «форд-таунус». Завтра мы с тобой ужинаем у мамы, и дядюшка Шаньо тоже там будет. Только прошу тебя, не сиди за столом таким букой! Слышишь меня, дорогуша? И, пожалуйста, не надо без конца твердить о том, что ты приехал в Пешт из деревни. Дядюшка Шаньо уверен, что твой отец тоже был врачом.

Она вернулась в комнату, потому что только здесь было большое зеркало.

— Смотри-ка, молния на спине еле сходится. Я с ума сойду, если и это платье придется выбросить.

Она вновь — в который уже раз! — решила, что будет ходить в бассейн, договорится с Норой, и они будут плавать вместе, чтобы мужчины не приставали. Нора здорово умеет их отшивать. Аннушка с тревогой подумала о том, что, наверное, уже и в купальник не влезет. Она легонько взъерошила волосы мужу, который по-прежнему сидел склонившись над своими бумагами, но глаза его были закрыты.

— Между прочим, тебе не мешало бы помыть голову,— сказала она, удаляясь в ванную.— Я попрошу у Норы английский шампунь для тебя.

— Хорошо,— кивнул он.

— Ты сегодня долго еще будешь заниматься? — снова закричала Аннушка из ванной.

— Нет,— ответил мужчина.

— Я обещала Габи, что мы заглянем к ним, послушаем новые записи. Она говорит, что у нее есть потрясающий Пэт Бун. Здорово, правда?

— Да,— отозвался он.

Аннушка вернулась в комнату и, взглянув на себя в зеркало, успокоилась: в платье из кримплена она выглядит совсем неплохо.

— Смотри-ка, какое у меня брюшко.— Она легонько похлопала себя по животу и хихикнула, вспомнив, что муж не любит это слово. Аннушка состроила гримаску сгорбленному над бумагами мужу и выпорхнула из комнаты примерить еще одно платье.— Слушай, дорогуша,— закричала она, как будто это внезапное открытие ее обрадовало,— может быть, ты сердишься из-за вечера у того скульптора?

Мужчина ничего не ответил.

— Он твой старый приятель, да? Вы вместе с ним были в... Как назывался тот студенческий кружок? «Некос», ты, кажется, так сказал, да?

— Да,— пробурчал он.

— Странный тип — этот твой друг. Разве художнику обязательно ходить в грязной рубашке? У моего папы тоже был знакомый скульптор, но он был классный мужик. А на чем вчера играл твой приятель? На бандуре?

— Да,— сказал мужчина.

— А знаешь, ты был ужасно странный вчера. Я тебя еще не видела таким... таким...— она не сразу нашла подходящее слово, а потом радостно воскликнула: — Дорогуша, ты был какой-то взбудораженный, понимаешь? Между прочим, тебе это вовсе не идет! Слышишь меня, дорогуша?! Ты когда-нибудь объяснишь мне, чего вы хотели с твоими друзьями. Этот скульптор ужасно скучный. У него было все — стоило ему только чего-нибудь захотеть, он был и врачом, и инженером, и скульптором, а вот чувства юмора у него никогда не было. Ужасный зануда. Чего вы вообще-то хотели?

Мужчина грохнул кулаками по столу и закричал:

— Перестань!!!

На какое-то время в доме воцарилась тишина. А когда Аннушка снова появилась в комнате, на ней было летнее платье, волосы она стянула на затылке лентой.

Мужчина сидел опершись локтями о стол. Ладони он прижал к ушам и судорожно массировал затылок пальцами. Аннушка встревожилась не на шутку. Оцепенело глядя на мужа, она тихо спросила:

— Что с тобой, дорогуша? У тебя болит голова? Сварить тебе кофе?

Муж отрицательно покачал головой.

— Все-таки я сварю тебе кофе,— сказала Аннушка и выпорхнула на кухню. Поставив кофейник на плиту, вернулась в комнату. Муж уже стоял у окна. Прижавшись лбом к стеклу, он глядел вниз на блестевшую под лучами солнца лысину дворника, восседавшего у ворот.— Ты не хочешь принять успокоительное? — спросила Аннушка.

— Я хотел кое-что сказать тебе,— произнес мужчина, повернувшись к жене и взяв ее за руки.— Вчера вечером... это настроение... во мне что-то всколыхнулось... Вспомнились старые времена, когда... Годы, когда еще...

Он не мог продолжать. Оттолкнувшись от подоконника, он закружил по комнате. Аннушка прилагала усилия к тому, чтобы лицо ее выглядело сосредоточенным и внимательным, хотя думала в это время о том, что с Норой в бассейн она все-таки ходить не станет, не

сможет вынести ее нескончаемых разговоров о собаке. Муж опять подошел к окну, потирая себе то горло, то переносицу, и увидел, как дворник льет себе на лысину воду из кувшина.

— Мне кажется, вся беда в том, что у нас нет ребенка,— выпалила Аннушка.

— Возможно,— кивнул мужчина, окончательно решив не говорить того, что хотел. Странно: мысленно он столько раз излагал жене свои доводы, излагал их четко и логично, но вслух ей этого никогда не мог сказать. Он понимал: для Аннушки ничего не значат те его старые переживания, от которых даже сейчас ком подступает к горлу. Когда-то он и его товарищи мечтали строить новую жизнь. Аннушка не могла понять всего и, конечно, не знала о той боли, которую он испытывал от сознания своего поражения, об отвращении к самому себе из-за того, что влачит теперь жалкое существование в этом мещанском мирке, хотя когда-то поклялся разрушить его.

Аннушку раздражало молчание мужа.

— Ты что-то собирался сказать? — спросила она нетерпеливо.

— Да,— ответил мужчина, повернувшись к ней,— я хотел...

— Подожди, я принесу кофе,— перебила его Аннушка и выбежала из комнаты. Она не любила, когда муж начинал философствовать, обычно это кончалось ссорой. А сегодня ей очень не хотелось портить себе настроение.

Она принесла ему чашку кофе и остановилась рядом в нерешительности.

— Ты не будешь пить? — спросил муж.

— Нет.

— Я просто хотел сказать,— продолжал он,— если ты не обидишься, я бы не пошел к Габи... У меня так много дел, я вам только настроение испорчу.

Аннушку это обрадовало: он и в самом деле мог испортить им вечер.

— Да,— сказала Аннушка,— ты сегодня что-то не в духе... Ну так я...

Она побежала в ванную комнату и опять начала переодеваться.

— Кофе хороший, дорогуша? — по привычке громко крикнула она.

— Замечательный! — ответил мужчина.

Аннушка влетела в комнату и кинулась целовать мужа так пылко, как, пожалуй, никогда в жизни его не целовала.

— Чао, золотой мой,— прошептала она и ласково пощекотала его по подбородку.

— Привет, милая, повеселись хорошенько,— сказал он.

Оставшись один, мужчина с облегчением потянулся и начал собирать со стола бумаги. Потом пошел в прихожую, снял со шкафа два чемодана и начал укладывать свои вещи. Укладывал он их спокойно, умело и деловито: мысленно он столько раз уже проделывал эту операцию.

«Написать прощальное письмо или позвонить ей?» — раздумывал он. Потом закрыл чемодан, закурил и сел к телефону, решив, что так ему не нужно будет глядеть в голубые глаза Аннушки, так ему легче будет все объяснить. Он протянул было к аппарату руку, но в эту минуту раздался звонок.

— Это ты, дорогуша? — услышал он голос Аннушки.— Не сердись, что беспокою тебя, но мне хочется кое о чем тебя попросить. Будь добр, сложи в маленький черный чемодан мою голубую ночную сорочку, бежевые туфли и... Знаешь, наверно, будет лучше, если я все

напишу. Ты слышишь, дорогу-у-уша! Ты что, оглох? Слышишь, что я говорю?

Мужчина ответил не сразу.

— Зачем тебе все это барахло?

— Потому что я ухожу от тебя, дружок. Я давно это решила, и, поверь, так будет лучше для тебя, не сердись. В общем, младший брат Габи...

— Не сходи с ума, Аннушка! Что ты говоришь?

— Послушай, золотко мое, не злись на меня. Это, как говорится, уже подробности, но Габи тоже расходится с Мики, и я выхожу за него. Мы втроем обо всем уже договорились. Габи расписывается с одним австрийцем-инженером и переезжает к нему, в Вену. У него потрясающая машина, он набит деньгами. Ты слышишь меня, дорогуша? Словом, мы все уже обсудили, я перебираюсь сюда. И для тебя так лучше, не сердись.

— Да ты совсем спятила, я совершенно ничего не понимаю...

— Ты многого не понимаешь, дорогуша, а главное, меня никогда не понимал, но оставим это. Мы еще отгрохаем шикарную отвальную, но сейчас я больше не могу говорить, пришли гости. Ты, слышишь, дружок? Сделай то, о чем я тебя прошу. Мне срочно нужны эти вещи, потому что мы завтра едем на Балатон. Вальтер нас повезет. Знаешь, это парень Габи... Так я посылаю братишку Габи, ладно? И еще прошу тебя, не вздумай идти к моим, вообще, не делай глупостей, а то и твоим не поздоровится. Ну, теперь все ясно, да? Чао, дорогуша, будь умницей. Целую тебя миллион раз. Когда вернусь с Балатона, мы все обсудим подробно.

— Аннушка! — в отчаянье закричал он, но на другом конце провода уже повесили трубку.

Перевод С. ФАДЕЕВА

Находка в парке

Ключник доложил, что дядюшка Бени, глухонемой погонщик буйволов, нашел в парке человеческую руку.

— Чего-чего? — уставился на него управляющий.

— Руку,— сказал ключник, все еще стоя навытяжку.— Человеческую руку.

— Говори яснее!

Ключник медленно перевел взгляд на щуплого управляющего. До этого момента он не сводил глаз с рябого майора, который сидел примостившись в оконной нише. Собственно говоря, докладывал-то ключник ему: один вид офицерского мундира заставил его забыть о больной ноге и вытянуться в струнку. Но майор не слушал его. Он лишь на мгновенье оторвал взгляд от книги по рыболовству на французском языке и снова углубился в чтение.

— Прошу прощения, но я и так ясно сказал.— В голосе ключника звучала обида. Он уже не стоял навытяжку, давая понять, что разница в положении между ним и управляющим не так уж велика. Щуплый, чахоточный управляющий был здесь человеком случайным. Он приехал в имение всего четыре месяца назад, проходил тут практику, и это назначение получил тогда, когда прежнему управляющему прислали срочную призывную повестку.— Погонщик нашел в парке руку,— продолжал ключник.— Вот так, до запястья,— показал он.— Вся в кольцах. Золото и бриллианты...

В большой гостиной, оклеенной зелеными обоями, кроме управляющего и майора находилось еще двое мужчин. Они сидели у овального мраморного столика и лениво перекидывались в картишки. Последние слова ключника их явно заинтересовали. Один из них, провинциальный журналист, коренастый, краснощекий и толстогубый, вскочил с места и, подойдя к ключнику, сверкнул на него очками в роговой оправе.

— Как это понимать — нашел руку? — Он поднял свою пухлую руку с розовыми ногтями и неопределенно помахал ею.— Руку и больше ничего?

— Больше ничего... Старик говорит, она валялась под деревом, у самого ствола, он подумал, что перчатка. Сначала не хотел поднимать ее, но потом, когда отгреб ногой листья, заблестели кольца.

— Гм... оригинально,— пробормотал журналист, обследуя свои черные лаковые штиблеты с белым рантом.— А рядом ничего не было? — Он испытывал некоторое замешательство, но все же собрался с силами и закончил свою мысль: — Словом, того, кому принадлежала рука, то есть... трупа рядом не было?

— Так точно, ничего не было.

— Почему вы думаете, дорогой господин редактор,— заговорил хриплым голосом майор,— что при этой руке непременно должен быть труп? Вот и видно, что пороха вы не нюхали.— Он положил книгу на широкий подоконник, спрыгнул с него, протиснулся между сдвинутыми креслами и легким, пружинистым шагом подошел к остальным.— Знаете, дорогой господин редактор, на сколько частей может расчленяться человек?

Журналист вздрогнул и резко повернулся к майору.

— Прошу прощения, господин майор, уж не хотите ли вы сказать, что кто-то просто обронил руку и беззаботно пошел себе гулять дальше?

— Я не сказал, что беззаботно, и не сказал, что гулять. Я сказал только то, что сказал.

Но журналист все больше горячился.

— Невозможно представить, чтобы рука, подчеркиваю, одна рука и только, взяла да и залетела в парк.

— А могла залететь,— в голосе рябого майора, который внимательно разглядывал ключника, стоявшего навытяжку, послышались металлические нотки,— могла залететь с самолета или из танка.

— Вы говорите абсурдные вещи, господин майор! Если в самолете или в танке произошел такой взрыв, что была оторвана человеческая рука, то и остальное должно было развалиться: самолет должен был упасть, а танк разлететься на части.

— Это не обязательно,— возразил майор.

— Как так не обязательно? Вот вы,— напустился журналист на ключника,— вы что-нибудь слышали про упавший поблизости самолет? Или про подбитый танк? Была тут в последнее время пальба, бомбежка?

Ключник, которому не терпелось вырваться из цепкого взгляда майора, с готовностью ответил:

— Там подальше, возле усадьбы Сиксаи, русские обстреляли акведук. Там и бомба упала. Думаю, ее американцы сбросили.

— Как далеко отсюда? — продолжал атаковать его журналист.

— Да... добрых километра три будет...

— Ну вот, видите,— торжествующе повернулся к майору коренастый мужчина.— Нет такой воздушной волны, которая могла бы на три километра отбросить... вещь... Да вдобавок всего один предмет,

как будто специально выбранный для этой цели. Таких умных, разборчивых взрывных волн не бывает!

Майор окинул его презрительным взглядом и молча направился к сдвинутым креслам. Пробрался между ними к окну, взял в руки книгу по рыболовству и только после этого сказал:

— Я не намерен спорить о характере взрывных волн с профанами. Мне известны все виды взрывных волн. Кроме той, что задела вас.

Журналист покраснел как рак, но не успел ничего ответить — его опередил четвертый мужчина, до сих пор молча и явно неодобрительно наблюдавший за ссорой.

— Господа, господа...

Он был старше их всех. Движения у него были вялые, небрежные, говорил он медленно, с трудом и дышал как астматик.

— К чему эта праздная дискуссия? Разве мало тех бед, которые судьба и без того обрушила на нас?

Он встал и тяжело вздохнул. Измученное, изборожденное мелкими морщинами лицо он обратил к одному из спорящих, потом к другому и наконец уставился на ключника.

— А вообще, что вам нужно от нас? Почему мы должны возиться с этой... рукой?

— Вот именно! — закричал управляющий.— Какого черта вы сюда с этим заявились?

Охотнее всего он вытолкал бы ключника взашей. Вообще-то он считал себя здесь главным, ответственным за все имение, но так считал только он. Майор вел себя нагло, чувствуя себя как дома — на том лишь основании, что он военный, знает положение на фронте, хотя и отстал от своей части. Высокого пожилого мужчину, аптекаря из ближайшего села, который и сам был владельцем усадьбы, связывала давняя дружба с бежавшим хозяином поместья. Но особенно стеснял управляющего не известный никому журналист, назвавший себя нилашистом, он бестолково суетился по любому поводу и болтал всякий вздор. Отношения со всеми этими бежавшими, случайными людьми у молодого управляющего были неясные, неопределенные, а со старым слугой, наоборот, ясные и вполне определенные. Правда, ключник явно не хотел с этим считаться и смотрел на него как на пустое место...

У старого ключника дрогнули и сдвинулись мохнатые брови, но голос его оставался спокойным.

— Я думал, как-никак кусок человека и негоже его таскать... И потом — кольца! Верно, много денег стоят. А с ними как?

— Вы сняли кольца? — журналист окинул его негодующим взглядом.— Это же мародерство!

— Какое там мародерство? Разве рука — труп? — прохрипел майор.— Вы бывали в полевых госпиталях, где целыми днями только и делают, что ампутируют конечности? Любая часть тела считается человеческой лишь до тех пор, пока она принадлежит человеку.

— С вами я не спорю! — журналист сердито отмахнулся от него и снова повернулся к ключнику: — Вы сняли кольца?

— Да не очень-то их и сымешь, прошу прощения. Рука малость распухла...

— Ох, не надо...— простонал аптекарь и передернулся. Журналист жалостливо скривил губы, а потом резко приказал старику:

— Принесите сюда руку!

— Разве в этом есть необходимость? — в отчаянии воскликнул аптекарь. Журналист надул щеки, и голос его зазвучал патетически:

— Пока мы живы, культура и цивилизация не умрут на этой зем-

ле! И все наши поступки должны быть продиктованы сознанием этого.

— Я бы принес,— ключник в нерешительности переминался с ноги на ногу.— Да старик никому ее не дает. Сунул в карман и даже не показывает.

Майор громко захохотал. Книга выскользнула у него из рук. Он хохотал, откинув назад голову и так широко раскрыв рот, что стали видны его золотые коренные зубы.

— Сунул в карман... ха-ха-ха... все три руки. Трехрукий погонщик буйволов! Еще одно чудо природы! Ха-ха-ха...

Журналист на сей раз не удостоил его вниманием. Он снова приказал ключнику:

— Приведите и погонщика!

В заброшенном парке среди старых деревьев с перекрученными стволами буйствовал холодный ветер. Грязные, рваные облака неслись над тополями; иногда они цеплялись за редкую листву и быстро таяли. Неподалеку колыхалось маленькое озерцо с черной водой; на краю его зябли голые камышинки.

Майор выглянул из окна и, казалось, весь ушел в созерцание пейзажа, на самом же деле он вслушивался в глухое жужжание, которое то усиливалось, то ослабевало, но не прекращалось ни на минуту и действовало ему на нервы. Он знал, что это воздушная разведка, за которой вскоре последует атака. Но кто атакует? Где сейчас линия фронта?

Он кисло улыбнулся и снова взял в руки книгу о рыболовстве, но читать не стал. Он закрыл глаза и чуть слышно забормотал: «Если вы мечтаете о хорошем улове, отправляйтесь рыбачить в бурю, когда рыба мечется в водоемах, обезумев от страха».

Хотя он никогда не рыбачил, но два дня старательно заучивал текст и знал наизусть уже целых пять страниц. Два дня он оберегал таким способом свою нервную систему от истощения.

А тем временем в дальнем углу гостиной у овального мраморного столика шла оживленная беседа. Посередине столика на рваном носовом платке землистого цвета, расстеленном погонщиком буйволов, лежала серая рука. Она производила впечатление чего-то завершенного и нетронутого, и если бы не знать, как она сюда попала, то можно было бы принять ее за гипсовый слепок, инкрустированный по причудливой фантазии скульптора настоящими драгоценностями. Все уставились на нее как на редкий экспонат.

— Это ужасно,— пробормотал аптекарь.— Символ искалеченного человечества, чудовищной войны.

— Она скорее красива,— изумленно прошептала жена аптекаря, хорошенькая блондинка, много моложе мужа. Вся эта суета выманила ее из соседней комнаты, которую по просьбе аптекаря открыл для нее управляющий: отдельно от мужчин она могла провести там эти неопределенные дни, надо надеяться, всего только несколько дней.

Аптекарь недовольно взглянул на жену, потом смущенно и как бы извиняясь обвел взглядом всех присутствующих.

— Все же будет лучше, моя дорогая,— уже начиная сердиться, сказал он,— если вы удалитесь. Это зрелище не для вас.

И он попытался ласково подтолкнуть ее к двери, но женщина не вышла из комнаты, а, наоборот, с большим вниманием принялась слушать журналиста, которого вдруг охватило необычайное волнение. Он говорил увлеченно и в то же время немного важничая, будто профессор перед собравшимися на консилиум молодыми коллегами:

— Благородство этих линий не вызывает сомнений! Вероятно, это рука художника. Господа, представьте, что эта рука еще недавно, возможно, играла на рояле, рисовала, писала стихи, а может, делала операции или давала благословение. Да, возможно, это рука слуги господа...

— Но ведь это левая рука,— прошептала аптекарша.

Журналист недоуменно посмотрел на нее, потом улыбнулся со снисходительностью взрослого к лепету ребенка.

— Это не исключает моих предположений, сударыня.

Затем он перешел ко все еще нераскрытой истории появления руки. Он с увлечением выдвигал предположение за предположением — блестящие гипотезы в стиле Шерлока Холмса. Особенно подробно он остановился на версии, согласно которой эта рука упала сюда со взорвавшегося на большой высоте самолета.

— Верней всего,— осторожно и почтительно перебил его ключник,— ее принесли сюда собаки.

Аптекарь прикрыл рукой глаза, точно у него началась мигрень, и отступил на несколько шагов. Но журналиста это разозлило. Предположение ключника настолько не сочеталось с его гипотезами и само по себе было так отвратительно, что он с негодованием отверг его.

— Ерунда! — грубо оборвал он ключника.— Тогда на ней были бы видны следы собачьих зубов.

Ключник все же решился возразить:

— У нас есть такие собаки, которые по десять километров носят в зубах птичьи яйца.

— Сколько могут стоить эти кольца? — опять подала голос аптекарша.

Журналист снова смерил презрительным взглядом ключника, затем сдвинул на лоб очки и низко склонился над рукой, чтобы получше рассмотреть кольца. Но в этот момент погонщик буйволов, который до сих пор стоял в стороне, но беспокойно следил за всем происходящим, протиснулся к столу. Это был грязный, уродливый человек, из его беззубого рта текла слюна. Погонщик принялся энергично жестикулировать, издавая какие-то гортанные звуки, но никто не мог понять, чего он хочет.

— Он говорит,— перевел ключник,— что не отдаст кольца. Он их нашел, и они его...

— Варварская точка зрения! — взвизгнул журналист.— Объясните ему, что это варварская точка зрения!

Теперь и майор пробрался между кресел и присоединился к собравшейся вокруг стола группе. Он подошел очень близко к аптекарше, так близко, что от его дыхания зашевелились золотистые кудряшки у нее на затылке, и тут же с отчаянной лихостью обнял своей горячей потной рукой ее широкие крепкие бедра.

Аптекарша вздрогнула, но руку не отвела. Желание, охватившее их обоих, достаточно ясно читалось во взглядах, которыми они обменивались в течение дня.

Журналист решил уже больше не приводить бесплодных аргументов и вынул желтый кожаный бумажник. Вытащил из него купюру в сто пенгё и сунул ее бормочущему что-то погоншику буйволов.

— Объясните ему,— приказал он ключнику,— это вознаграждение за находку. Сумма достаточная! Все равно он не знал бы, что делать с драгоценностями, потому что присвоить их никто не может. К ним никто не имеет права прикоснуться! Они навеки собственность умершего и вместе с ним сойдут в могилу!

— Вот черт,— прохрипел майор, он все теснее прижимался к женщине, дыхание его стало прерывистым.— Вы хотите организовать похороны руки, господин редактор?

— Да, ее нужно похоронить!

Майор уже не обнимал женщину. Он чувствовал, что растущее возбуждение уже невозможно унять. Оно должно было найти какой-то выход. Медленно, будто в сомнамбулическом сне, он приблизился к погонщику и встал перед ним — как прежде перед ключником,— широко расставив ноги. И, впившись взглядом в беспомощно суетящегося глухонемого, принялся ритмично раскачиваться.

— Только эти снова вырoют... Они ведь такие — вырoют. Один раз уже ее вырыли... Знаете, что я думаю относительно всех ваших умозаключений, господин редактор? Бредни это! Хотите знать правду? Они вырыли труп и отрубили у него руку. Или наоборот, что тоже вполне вероятно. Убили, а потом закопали того, кому принадлежали кольца. Только это от него и осталось, потому что они не сумели снять кольца... Они такие... У них теперь убивать господ — это вроде игры... Они думают, что теперь все дозволено. Не так ли, дядюшка?

Двумя пальцами он схватил погонщика за подбородок и с силой повернул к себе. Несчастный испуганно задергался, пытаясь вырваться, но майор держал его крепко.

В гостиной стояла напряженная тишина. Холодный спокойный голос офицера и чудовищное обвинение, которое он высказал, взорвали атмосферу.

Майор ударил. Один раз, второй, третий. Он бил размеренно и методично беспомощного, убогого человека, пока тот не рухнул. Потом майор брезгливо стряхнул с руки кровь и слюну и направился к своим креслам.

И тут вздрогнула земля и громкий выстрел разорвал тишину.

За первым выстрелом последовали другие, и конца им уже не было. Полчаса без передышки рвались снаряды. Русские, немцы ли стреляли, или геенна огненная наползала сразу с обеих сторон — понять было невозможно. Здесь была ничейная земля, за которую предстояло сражаться.

Имение полыхало в огне, едкий дым окутал все вокруг, люди и животные, ища спасения, в безумном страхе метались и топтали друг друга.

Перевод Л. ВАСИЛЬЕВОЙ

■

САЛЬВАДОР ЭСПРИУ

Перевод с каталонского СЕРГЕЯ ГОНЧАРЕНКО

«Я всегда служил и буду служить каталонскому народу, его культуре и языку... Обстоятельства могут меняться, я — нет... Хочу, чтобы всем стало ясно: я был, есть и всегда буду республиканцем». Эти слова сказаны одним из крупнейших современных каталонских поэтов Сальвадором Эсприу в 1977 году, когда долгий пройденный путь — отнюдь не легкий — давал ему право оглянуться назад и подвести некоторые итоги.

Первые произведения Эсприу — прозаические. В 1932 году вышли в свет романы «Доктор Рип» и «Лаиа», затем один за другим несколько сборников рассказов. Пробует себя писатель и в драматургии. Одна из пьес, «Антигона», написанная в 1939 году явно в защиту Республики, стала известна зрителю и вызвала горячий отклик лишь девятнадцать лет спустя.

Никто из друзей Эсприу или критиков в 30-е годы не мог предположить, что природа щедро наделила этого человека и поэтическим даром. Это стало очевидно лишь в 1946 году, когда была издана его первая книга стихов «Кладбище Синеры». В последующих сборниках — «Песни Ариадны» (1949), «Часы» (1954), «Конец лабиринта» (1955), «Бычья шкура» (1960) и других — талант Эсприу раскрылся во всей его полноте. В 70-е годы широкую популярность приобрели песни на слова Эсприу, с которыми выступали Раймон — известный каталонский исполнитель песен протеста и молодежный ансамбль «Нова кансон».

Сальвадор Эсприу родился в 1913 году, в семье адвоката. Годы учебы в барселонском университете, куда он поступил в 1930 году — год падения диктатуры Примо де Риверы,— совпали с периодом бурных демократических перемен в общественной жизни Каталонии. В университете устаревшая педагогическая система заменяется новой, более современной и прогрессивной. Создаются новые литературные журналы, объединения, издаются книги молодых каталонских писателей. Однако поражение демократических сил в национально-революционной войне 1936—1939 годов и установление франкистской диктатуры надолго обрывают этот период в истории Каталонии, а с ним — и надежды целого поколения.

В течение многих лет проводилась искусственная «испанизация» каталонской культуры, что являлось одной из составных частей идеологической программы фаланги. Был закрыт ряд издательств, публиковавших книги на родном языке, упразднено большинство выходивших в Каталонии газет и журналов, в школах введено обучение на испанском языке — «языке империи». Это были годы, когда само обращение к каталонскому языку расценивалось властями чуть ли не как подрывное действие.

Сальвадор Эсприу в этих условиях не шел ни на какие компромиссы, ни в чем не поступился своими убеждениями. В одном из интервью он вспоминает: «Вы не знаете, что такое были эти годы — 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50-й и значительная часть последующего десятилетия. Если говоришь: от 39-го до 50-го, это слишком коротко, всего два слова. А когда перечисляешь годы один за другим, протяженность этих лет становится более ощутима. Представьте себе, чем был весь этот период, день за днем. Для меня это были ужасные дни. И тогда я выбрал поэзию как единственно возможный способ самовыражения. Стихи можно было сочинять по ночам, когда не

удавалось заснуть. А утром я записывал результаты». Стремление воссоздать разрушенное прошлое, которое приказано забыть, стремление протянуть связующую нить между поколениями определяет лицо поэзии Эсприу 40—50-х годов. Это и форма протеста против официальной идеологии, и защита каталонской культуры и языка, и утверждение поэтом своей духовной независимости.

Поэтический мир Эсприу этих лет неразрывно связан с Синерой (сборники «Кладбище Синеры», «Книга о Синере»). На географической карте Испании нельзя найти места с таким названием, и все же оно существует не только в воображении Эсприу. Синера — это прочитанное справа налево название деревушки Аренис в 40 километрах от Барселоны, где в детстве подолгу жил поэт. Пятиствольный сад, о котором он неоднократно вспоминает в стихах,— маленький задний дворик одного из домов в Аренисе.

В 1960 году Сальвадор Эсприу публикует сборник «Бычья шкура». Книга эта надолго приковала к себе читательский интерес и стала в последующее десятилетие одним из наиболее значительных явлений не только каталонской, но и всей испанской поэзии. Географические очертания страны на карте напоминают контуры распростертой бычьей шкуры — отсюда название сборника; бык, вол — это символический образ испанского народа; общая тема книги — размышления о судьбах Испании. Поэзия Эсприу приобретает новые краски и интонации, тонкий лирик прибегает порой к стилю суровому, даже патетическому, а воспоминания о прошлом освещаются трагическими метафорами «обугленного солнца» или «ран от ржавых гвоздей». Возникает ощущение, что мысль поэта вырвалась на свободу, что он впервые в полный голос заговорил о том, что раньше звучало в его стихах приглушенно.

Сальвадор Эсприу — поэт каталонский, весь образный строй его поэзии, ее темы связаны с Каталонией. В «Бычьей шкуре» гражданская война увидена и осмыслена человеком, родившимся на земле, для которой поражение Республики в 1939 году обернулось двойным гнетом. Поэтому с такой остротой ставит поэт вопрос о необходимости взаимопонимания между всеми национальностями, населяющими Испанию:

Наведи мосты пониманья,
постарайся постичь, полюбить
разноплеменную речь
детей твоих.

(Перевод С. Гончаренко)

Снова и снова возвращается Эсприу к мысли о необходимости извлечь уроки из прошлого, которое нельзя забывать: неужели такая «быль» «быльем» порастет; неужели река, вливаясь в море, «забудет про исток»? «Живи, город наш, вечно в мире, труде и свободе»,— обращается поэт к своим согражданам.

В поэзии Эсприу 70-х годов ведущей темой становится сегодняшний день страны. Перемены в жизни Испании после смерти Франко разительны, однако продолжают активно действовать правые силы, и нередко еще в новом обличье выступают старые догмы. Поэтому так важно для поэта умение видеть правду, умение отбрасывать словесную шелуху официальной пропаганды, которой человека «почти задарма потчует пресса». Необходимо учиться мыслить самостоятельно и непредвзято (см. стихотворение «Да кто же вам сказал...»), чтобы правильно разобраться в сложных процессах, происходящих в Каталонии и во всей Испании, и не верить бездумно «подлогу новых снов». В поэзии Эсприу конца 60-х — начала 70-х годов появляется сатирический гротеск, какого раньше не было в его творчестве. Так звучит его слово и тогда, когда он говорит о тех, кто дорожит лишь куском хлеба и крышей над головой, кому «в грядущем хоть трава не расти».

«Я не знаю, что такое поэзия. Может быть, это способ помочь людям жить достойно»,— сказал однажды Сальвадор Эсприу. Слова эти применимы и к творчеству самого Сальвадора Эсприу.

Н. МАТЯШ

Пирога

Отчалила у истока
и в устье зари вплыла.
Струя и стрела родятся
в корнях одного ствола.

Ее провожала взглядом
светающая земля
и ветер, из черной чащи
летящий на дым жилья.

И вол, в забытьи несущий
ярмо своего тавра,
глядел на нее глазами
серебряней серебра.

Мгновенье запечатлело,
сколь песня ее легка.
Но певчее слово рвется
под тяжестью лепестка.

А день проплывает мимо,
и тают в наплыве туч
крылатая птичья воля
и невозмутимый луч.

Вслепую и по живому
прорезана боль дорог,
и все же струя забудет,
что помнила про исток.

Вдали, под мостами ночи,
теряется зыбкий след,
проложенный к сердцу моря,
откуда возврата нет.

За снежным кортежем...

За снежным
кортежем
печали
трубят.
Закутана
радуга
в траурный
плат.
Луна
розовата
в развалинах
туч.
Отпели
метели
полуденных
круч.
И голос
как полу-
задушенный
зов
тоскует
о песне
из пепельных
слов.
Пусть высушит
слезы
и кровь
суховей.
Затянутся
раны

от ржавых
гвоздей.
Затянется
память,
забудется
сон
про черные
космы
обугленных
солнц.

Или тебе невдомек...

Или тебе невдомек,
что краны придуманы, дабы
из них не сочилась вода,
что квартира — это укромное место,
где можно спокойно
постучать зубами от холода,
что автострады и железные дороги —
это всего лишь подпорка
уровню всеобщего благоденствия?
Раз не гремят грозы,
значит, не будет и солнца,
значит, на свои гроши
тебе не купить ничего,
что тебе, неблагодарному, нужно.
Ничего, кроме билета
на субботний матч
и воскресную корриду.
(Ах, бой быков —
священная реликвия нации!)
Тем временем ты,
униженный и обделенный,
тешишь себя, глотая
одно за другим
жирные словеса —
наизвучнейшие, наилестнейшие,
наидостойнейшие из словес,
которыми тебя почти задарма
потчует пресса.
Да здравствует питательный бульон,
жарко́е печатного слова,
на которое не тратят
ни огня, ни масла!
И вот, насытившись до отвала,
прочистив горло и сплюнув
в идеальную плевательницу,
которой являются нарядные улицы
нашего города,
ты, вознеся благодарения господу,
наконец засыпаешь, философ-самоучка,
с трудом переварив мысль,
что, слава богу, осталось
днем меньше до смерти.

Песенка о тихом утре

Солнце осеребрило
сон рассветного штиля.
Эти тихие очи
или умерли, или
просто все повидали,
да уже позабыли.

В море челн мой уносит,
в синий свет непочатый.
А с обрыва вдогонку
льется песенка чья-то:
«Милый, с этой тропинки
не бывает возврата...»

Я к теням незабвенным
пододвинусь вплотную,
прошепчу, что покуда
я еще существую.
Но усну, не горюя.
До свидания, мама.
Завтра луч поцелует
остывающий мрамор.

Там, в саду пятиствольном,
там, в саду пятикронном
отцвело мое время
несказанным бутоном.
Вы позвали? Я слышу.
Возмещая потери,
исчезаю в проеме
незахлопнутой двери.

■ ■ ■

Деликатность
сначала
мешает
вам
решиться
и встать
поперек,

чтоб не смог
проторить
голодранец
к солнцу
светлые штольни
дорог,

Но ведь речь
не о чем-то —
о власти!
Значит, надо
платить
за оплот.

Вы
решаете
объединиться
и купить
побежденный
народ.

В стылом зале
топор
полыхает.
Ничего
непродажного
нет.

Дорога́ же ты,
смерть
человека:
серебром —
целых тридцать
монет.

■ ■ ■

А вы как думали! Тридцать монет
в нашем городе — приличная сумма.
Да за такую цену
я продам тебе не то что голодранца,
а и собственную совесть.
А хочешь — бери мое небо и ниву,
бери всю страну от моря до моря,
бери мое будущее и прошлое,
язык, обычай и закон.
Соглашайся — не прогадаешь!
Мне-то многого не надо:
мне бы дожевать спокойно свою корку,
поглодать в безопасности кость
да маленько погреться на солнце.
А ты не обращай на меня внимания:
будто меня вовсе и нет.
Я довольствуюсь сущей крохой сущего,
а в грядущем по мне хоть трава не расти.
Главное — разопни как следует смутьяна
и тогда смело бери наше стадо.

Не бойся моего народа:
он только с виду свиреп как бык —
на самом деле затяжная стужа
сделала из него ягненка.

Да кто же вам сказал...

Да кто же вам
сказал, друзья,
что раз была
долга стезя
и столько
видели глаза,
то не поверить
им нельзя?
Древней родник —
светлей струя?
Ах, быль должна быть
без былья.
А я
от стольких бед и лет
давно старик
и петь отвык.
Стою у бездны
на краю
и ничего
не узнаю.
Но твердо знаю
я одно:
должно быть
каждому дано
задаром, словно
снег и свет,
без страха
за авторитет,
не глядя на
зарубки лет,
на то, достиг ты
или нет,
дорос ты
или не дорос,—
простое право
на вопрос.

Порой бывает необходимо...

Порой бывает необходимо,
чтобы во имя народа умер один человек,
но целый народ никогда
не должен умирать во имя одного человека —
запомни это, наш общий город.

Наведи мосты пониманья,
постарайся постичь, полюбить
разноплеменную речь
детей твоих.
Да прольется медленный дождь
на пашню, и ветер
пусть ласково треплет
широкую ниву.

Живи, город наш, вечно
в мире, труде и свободе,
которая трудна,
но справедлива.

■ ■ ■

Что видел ты в пути:
Огонь в ночи огниво
пыталось развести.

Что видел ты вокруг?
Вода в ручьях бежала
и кровь смывала с рук.

Не брезжил ли рассвет
в чужом краю? — Пожалуй...
А может быть, и нет.

Ослабил хватку ужас,
и ты уже готов
поверить, поднатужась,
подлогу новых снов.

Ты размыкаешь звенья:
мол, прошлое — вдали,
и на́ воду забвенья
спускаешь корабли.

Не поправляй былого,
былую боль кляня:
не выкинуть ни слова
из песни у меня.

■

Э. Л. ДОКТОРОУ

Рэгтайм

РОМАН

Перевод с английского В. АКСЕНОВА

21

Разумеется, в тот момент нашей истории образы Древнего Египта захватили все умы. Это происходило благодаря открытиям британских и американских археологов, о которых постоянно сообщалось из пустыни. После футболистов в их подбитых войлоком парусиновых трусах по колено и кожаных шлемах археологи стали звездами второй величины в университетах. Мумификация подробно описывалась в воскресных приложениях, а похоронные процедуры египтян стали предметом обсуждения в среде шакалов-репортеров. Египетские мотивы избраны были для украшения интерьеров. Отошел Людовик Четырнадцатый, а на его место пришли тронные кресла с резными ручками в виде змеи. У Родительницы в Нью-Рошелл тоже не было иммунитета к моде, она нашла, что флора на стенах столовой стала угнетающе унылой, и заменила ее элегантными изображениями египтян и египтянок с глазами, как ягодки терна, в головных уборах и коротких юбках. Раскрашенные красной охрой, синим и рыжим египтяне в своей особенной египетской манере шли парадом вдоль стен с хищниками на ладонях, со снопами пшеницы, водяными лилиями и лютнями. Их сопровождали львы, скарабеи, совы, быки и какие-то неопределенной принадлежности отчлененные конечности. Родитель, весьма чувствительный к любым изменениям, находил, что аппетит от этого падает. Ему казалось не очень-то уместным подвергаться захоронению, если хочешь просто пообедать.

Малыш, однако, полюбил новые украшения и даже был вдохновлен ими на изучение иероглифов. Он забросил «Еженедельник Дикого Запада» ради журналов, в которых публиковались истории о разграбленных могилах и о том, как осуществлялись проклятья потревоженных мумий. Черная женщина на чердаке чрезвычайно интриговала его, она, разумеется, стала уже в его тайных играх нубийской принцессой, захваченной в рабство. В полном неведении об этом девица сидела, как обычно, у своего окна, пока он пробирался мимо ее комнаты в клювастой маске ибиса, которую сделал сам из папье-маше.

Окончание. Начало см. в № 9 за 1978 г.

Однажды в воскресенье после обеда новенький «фордик-Т» медленно взобрался на холм и прошел мимо дома. Малыш, увидевший это с крыльца, ринулся вниз по ступеням и замер на тротуаре. Автомобилист озирался по сторонам, как бы ища определенный адрес; он завернул за угол, но вскоре вернулся. Подъехав поближе, он поставил мотор на холостой ход и поманил Малыша к себе рукой в шоферской перчатке. Это был негр! Его машина сияла. Начищенные части резали глаза. Стеклянный ветровик и брезентовый верх. «Я ищу молодую женщину из цветных, ее имя Сара,— сказал он.— По сведениям, она обосновалась в одном из этих домов». Малыш понял, что речь идет о женщине на чердаке. «Она здесь». Человек заглушил мотор, поставил машину на тормоз и спрыгнул вниз. Он поднялся по каменным ступеням, прошел под норвежскими кленами и, обойдя дом, приблизился к задней двери.

Когда вышла Мать, цветной человек оказался весьма почтительным, но в то же время было что-то беспокоящее в его решительности и в том ощущении собственного значения, с каким он осведомился, нельзя ли видеть Сару. Мать не могла определить его возраст. Это был коренастый мужчина с полнокровным коричневым глянцевым лицом. Высокие скулы и большие темные глаза такой интенсивности, что, казалось, он смотрит насквозь. Аккуратные усики. Одет он был с претензией на достаток, что характерно для некоторой части цветного люда. Хорошо подогнанное черное пальто, полосатый костюм, черные ботинки с дырчатым узором. В руках он держал кепи цвета жженого угля и шоферские очки. Мать попросила его подождать и закрыла дверь. Поднялась на третий этаж. Сара не сидела, как обычно, у окна, но стояла в неуклюжей позе посреди комнаты, сжав перед собой руки и глядя на дверь. «Сара,— сказала Мать,— там тебя просят.— Девушка молчала.— Ты спустишься на кухню?» — «Нет, мэм,— мягко сказала она, глядя в пол.— Прогоните его, пожалуйста». Так много слов она еще ни разу не произнесла за все месяцы жизни в доме. Мать спустилась и нашла этого приятеля не за дверью, но внутри, на кухне, где в теплом углу возле плиты почивал в своей колясочке Сарин бэби. Это была плетеная коляска на колесах с выцветшей обивкой из голубого атласа и с плюшевым валиком. Ее собственный сын когда-то спал в ней, а до него — Братец. Чернокожий стоял сейчас на коленях возле коляски и взирал на дитя. Мать вдруг почему-то страшно разъярилась, как это он осмелился войти в дом без приглашения. «Сара не может вас видеть»,— сказала она и распахнула дверь. Цветной бросил последний взгляд на ребенка, поднялся, поблагодарил и отбыл. Она стукнула дверью сильнее, чем следовало. Бэби проснулся и заплакал. Она вытащила его и стала успокаивать, удивляясь своей столь резкой реакции на визитера.

Таким было первое появление на авеню Кругозора цветного человека в автомобиле. Его звали Колхаус Уокер Младший. Начиная с этого воскресенья он появлялся каждую неделю, всегда стучался в заднюю дверь и удалялся без всяких возражений, когда Сара снова и снова отказывалась видеть его. Отец считал все это какой-то досадной чепухой и предлагал отбить у негра охоту приезжать. «Возьму и позвоню в полицию»,— сказал он. Мать положила ладонь на его руку. В одно из воскресений цветной господин оставил — надо же — букет желтых хризантем, которые в этом сезоне стоили немалых денежек. Перед тем как отнести цветы Саре, Мать остановилась у окна гостиной. На улице чернокожий сметал пыль со своей машины, протирал спицы, ветровое стекло и фары. Он глянул на окошко третьего этажа и поехал. Взгляд этот напомнил Матери семинаристов в Огайо, которые с тем же выражением на лице поджидали ее, когда ей было сем-

надцать. Она сказала отцу: «Ты знаешь, то, что мы видим, не что иное, как ухаживание, да причем в самом консервативном христианском духе». Отец ответил: «Да, конечно, если можно назвать ухаживанием то, что уже произвело на свет ребеночка».— «Я нахожу это замечание бестактным,— сказала Мать.— Было страдание, теперь раскаяние. Это просто грандиозно, и мне очень жаль, что ты этого не видишь».

Черная девушка ничего не говорила о своем визитере. Они понятия не имели, где она его встретила и как это случилось. Насколько они знали, у нее не было ни семьи, ни друзей в черной общине их города. Впрочем, кроме плотно осевших негров в городе был, конечно, и текучий элемент. Очевидно, она как раз была текучим элементом и приехала сюда из Нью-Йорка, ища место служанки. Нынешняя ситуация чрезвычайно оживила Родительницу. Впервые с того ужасного дня, когда она нашла в клумбе негритенка, она увидела надежду на лучшее будущее для Сары. Она подумала о том, как Колхаус Уокер Мл. едет сюда из Гарлема, где он живет, и как тут же возвращается обратно, и решила, что в следующий раз пригласит его в гостиную на чашку чая. Родитель поинтересовался, уместно ли это. «Почему же нет,— сказала Мать,— он говорит и ведет себя как джентльмен. Я не вижу тут ничего зазорного. Когда мистер Рузвельт был в Белом доме, он обедал с Букером Ти Вашингтоном. Естественно, и мы можем пригласить к чаю Колхауса Уокера Младшего».

Вот так случилось, что в следующее воскресенье негр пил с ними чай. Отец заметил, что он отнюдь не страдал застенчивостью, сидя в гостиной с чашкой и блюдцем в руках. Напротив, он вел себя так, словно это была самая естественная вещь в мире. Никакого благоговения или сверхпочтительности. Любезность и корректность. Он рассказал им о себе. Он был профессиональным пианистом и сейчас осел более-менее постоянно в Нью-Йорке, получив гарантированную работу в хорошо известном ансамбле, который давал регулярные концерты в Манхэттенском Казино на углу 155-й и 8-й, «Джим-Европа-Клеф-Клаб-оркестр». «Для музыканта очень важно найти постоянное место,— сказал он,— не требующее разъездов. Я покончил с путешествиями,— сказал он,— покончил с бродячей жизнью». Он сказал это весьма пылко, и Отец понял, что это предназначено для третьего этажа. Он пришел в раздражение. «Ну и что же вы играете? — спросил он резко.— Почему бы вам не сыграть для нас?»

Чернокожий поставил чашку на поднос, встал, промокнул губы салфеткой, положил салфетку рядом с чашкой и пошел к пианино. Он сел на табуретку и тут же встал, чтобы подвинтить ее для своих ног. Потом он взял аккорд и повернулся к хозяевам. «Сильно расстроенное»,— сказал он. Родитель чуть-чуть покраснел. «Вы правы,— сказала Мать,— мы ужасно небрежны». Музыкант вернулся к клавиатуре. «Уолл-стрит-рэг»,— сказал он.— Сочинение составлено великим Скоттом Джаплином». Начал играть. Расстроенное или настроенное, «Эолин» никогда не издавало таких звуков. Маленькие чистые аккорды повисали в воздухе, как цветы. Мелодии складывались в букеты. Казалось, что жизнь просто немыслима за пределами, очерченными этой музыкой. Когда пьеса была окончена, Колхаус Уокер повернулся и увидел, что вся семья собралась — Мать, Отец, Малыш, Дед и Младший Брат Мамы, который в подтяжках прибежал сверху узнать, кто здесь играет. Из всех присутствующих он единственный знал рэгтайм. Он слышал это в период своей ночной жизни в Нью-Йорке, но вот уж никогда не ожидал встретить снова в доме сестрицы.

Колхаус Уокер Мл. повернулся обратно к пианино и объявил:

«Кленовый лист», сочинение великого Скотта Джаплина». Самый знаменитый из всех рэгов зазвенел в воздухе. Пианист прочно сидел за клавишами, его длинные темные пальцы с розовыми ногтями, казалось, без всякого усилия извлекают гроздья синкопированных аккордов и твердых октав. Полная жизни композиция, мощная музыка, поднимающая чувства и не увядающая ни на миг. Малыш воспринимал это как свет, притрагивающийся к разным местам в пространстве, собирающийся в сложные переплетения, пока вся комната не засверкала вдруг своею собственною сутью. Музыка заполняла лестницу и уходила на третий этаж, где сидела, сложив руки, немая и непреклонная Сара. Дверь у нее, правда, была открыта.

Пьеса завершилась. Все аплодировали. Мать представила мистера Уокера Деду и МБМ, последний пожал пианисту руку и сказал: «Я очень рад познакомиться с вами». Колхаус Уокер был весьма торжествен. Все стояли. Возникла пауза. Отец прочистил горло. Он не был особенно сведущ в музыке. Вкус его замирал на Кэрри Джейкобсе Бонде. Он думал, что негритянская музыка должна быть улыбчивой и подпрыгивающей. «А вы знаете «черномазые песенки»?» — спросил он. Он не собирался быть грубым — эти вещи так и назывались: «черномазые песенки». Пианист, однако, отрекся от них энергичным движением головы: «Черномазые песенки» сочиняются для уличных шоу. Их поют белые, выкрасившись в черный цвет». Возникла еще одна пауза. Пианист посмотрел на потолок. «Ну что ж,— сказал он,— очевидно, мисс Сара не в состоянии меня сейчас принять». Он резко повернулся и прошел через холл на кухню. Семейство последовало за ним. Он надел пальто и, не обращая ни на кого внимания, присел на корточки, чтобы посмотреть на спящего в коляске бэби. Через несколько мгновений он встал, сказал «всего хорошего» и вышел.

Визит этот впечатлил всех, кроме Сары, которая не выказала ни единого намека на смягчение. Колхаус вернулся на следующей неделе, потом еще на следующей. Теперь он как бы навещал семью и всякий раз приносил им новости о своих деяниях в предшествующие шесть дней и, естественно, не предполагал с их стороны ничего, кроме глубочайшего интереса. Отцу было довольно противно важничание этого человека. «Она к нему не выйдет,— говорил он Матери,— и что же, я должен теперь развлекать Колхауса Уокера по воскресеньям всю оставшуюся жизнь?» Мать, однако, увидела уже обнадеживающие симптомы: Сара взяла на себя обязанности уехавшей прислуги и теперь прибирала комнаты с таким рвением, что у Матери иногда возникала смешная иллюзия, будто это не ее дом, а Сарин. Она стала также и ребеночком своим заниматься не только в часы кормления — купала его и даже брала к себе в комнату на ночь. И все-таки она еще не принимала своего визитера. Преданный Колхаус ездил всю зиму. Когда дороги были непроходимы из-за снега, он являлся поездом. В дополнение к своему черному пальто он стал носить каракулевую шапку в русском стиле. Он привозил детские вещи. Щетку для волос с серебряной ручкой для Сары. Отцу оставалось только восхищаться его настойчивостью. Он интересовался, каков же заработок у этих музыкантов, чтобы покупать все эти отличные вещи.

Однажды Отцу пришло в голову, что Колхаус Уокер Мл. не знает, что он негр. Чем больше он думал об этом, тем больше убеждался, что это именно так. Цветные люди так себя не ведут, в такой манере не разговаривают. Привычную для своей расы почтительность Колхаус Уокер оборачивал каким-то образом в пользу своего достоинства. Он величаво толкал кухонную дверь, а когда его принимали,

торжественно приветствовал каждого, и всем каким-то образом передавалось ощущение, будто они — Сарина семья, а потому он и относится к ним с такой любезностью и почтением. Отец ощущал какую-то опасность, исходившую от этого человека. «Может быть, нам не следует поощрять его сватовство? — сказал он Матери.— Есть что-то безрассудное в нем. Даже Мэтью Хенсон знал свое место».

Однако к этому времени ход событий нельзя уже было изменить. В конце зимы Сара согласилась встретиться с Колхаусом Уокером в гостиной. Несколько дней шли суматошные приготовления. Мать дала ей одно из своих собственных платьев и помогла подогнать его. Сара спустилась, красивая и застенчивая. Ее волосы были тщательно уложены, и она сидела на софе, потупив глаза, пока Колхаус Уокер вел светский разговор и играл для нее на пианино. Сейчас, когда они оказались рядом, можно было без труда заметить, что он основательно старше ее. Мать настояла, чтобы все члены семьи нашли предлог удалиться, дабы оставить их вдвоем. Ничего, однако, не сдвинулось после этой встречи. Сара выглядела раздраженной и даже злой. Она не торопилась с прощением, и надо сказать, что ее упорство каким-то образом казалось единственным подходящим ответом на его настойчивость. Сара пыталась убить своего новорожденного. Эти люди не могли беззаботно относиться к жизни. Бесконечное жестокое подчинение своих надежд и чувств. Младший Брат Матери понимал это яснее, чем кто-либо другой в семье. Он разговаривал с Колхаусом Уокером только однажды, но почувствовал к нему огромное уважение. Он видел, что негр каждым своим жестом как бы претендует на признание за ним полных человеческих прав. МБМ тяжко размышлял о сложившейся ситуации. Он воспринимал любовь, угнездившуюся в иных сердцах, как физическую мягкость, как некую трещинку в физиологии, сродни рахиту в иных костях и расширению альвеол. У него и у самого было огорченное сердце, и потому он понимал Сару, даром что цветная. Иногда она казалась ему какой-то изгнанной африканской принцессой, ее неуклюжесть в другой среде и в другой стране могла бы, возможно, прослыть грацией. Чем неохотнее она принимала предложение Колхауса Уокера, тем больше МБМ понимал, как ужасно огорчено ее сердце.

Но однажды в марте, когда подул уже мягкий ветер, а на ветвях кленов появились маленькие коричневые почки, Колхаус прибыл в своем сияющем «форде» и оставил мотор работающим. Соседи смотрели со своих участков на престраннейшего негруса, такого, понимаете ли, здоровяка, такого, видите ли, корректного, и на красивую в ее неуклюжести Сару, одетую в розовый жакетик и черную юбку, в широкополую Мамину шляпу. Они прошли под норвежскими кленами и по бетонным ступенькам спустились на улицу. Она несла ребенка. Он помог ей усесться, а сам взялся за руль. Помахав семейству, они проехали по улице и направились к северной окраине города. Там они остановились у обочины. Они смотрели, как птица-кардинал скользит над коричневой землей, а потом резко взмывает к верхушкам деревьев. В этот день он попросил ее руки, и она ответила согласием. Следует сказать, что появление пары этих великолепных любовников в нашем семействе было пугающим, конфликт их характеров имел почти гипнотический эффект.

22

МБМ снова начал свои путешествия в Нью-Йорк. Днем он работал за чертежным столом, а вечером спешил на поезд. Подружился, между прочим, с офицерами из арсенала на Лексингтон авеню. Они

обсуждали недостатки винтовок «спрингфилд», шрапнельных гранат и прочих мелочей. Он видел, что без труда может усовершенствовать все это хозяйство. Много пили. Вскоре он стал известен у служебных входов нескольких бродвейских театров. Он постоянно околачивался там, странно выделяясь среди холеных пожилых ценителей прекрасного и беззаботных стиляг-школяров из Принстона и Йейла. В глазах у него, однако, была такая напряженность, такое ожидание, что он привлекал немало женщин. Он был так серьезен, так несчастлив, они были убеждены, что он их любит. Его принимали за поэта.

Жалованье его, однако, не выдерживало этих наклонностей. Сверкающий Бродвей старался вытянуть из этих «театралов» все до последнего гроша. МБМ узнал, где можно найти женщин за более-менее скромную цену. Фонтан «Бетезда» в Сентрал-парке. Они там прогуливались парочками в любое время, если погода позволяла. Дни становились длиннее. В холодных роскошных закатах они гуляли возле фонтана, тени ложились на большие ступени, вода становилась черной, плиты мостовой — розовыми и коричневыми. Он забавлял женщин своим серьезным к ним отношением. Он был очень обходителен с ними, и потому они не сердились на него за некоторые странности. Иной раз, взяв женщину в отель, он застывал с одной туфлей в руках и полностью забывал о своей гостье. В другой раз, вместо того чтобы заниматься любовью, он лишь вежливо инспектировал ее интимные местечки. Бывало, что и напивался до бесчувствия. Обедал он в «бифштексных», где стружки на полу. Посещал также и подвальные клубы в «Адской кухне», где угощают хулиганы. Вышагивал ночами по Манхэттену, пожирая глазами прохожих. Вглядывался в окна ресторанов, сидел в вестибюлях гостиниц, чутко оборачивался к любому движению, любому промельку.

В конце концов он нашел редакцию журнала «Матушка-Земля», издаваемого Эммой Голдмен. Красный кирпичный дом на 13-й улице. Несколько вечеров подряд он стоял под фонарем напротив и смотрел на окна. Наконец какой-то человек вышел из дома, пересек улицу и подошел к нему. Высоченный такой труп, длинноволосый, и галстук шнурком. «Холодно по вечерам,— сказал он,— пошли в дом, у нас нет секретов». Младший Брат последовал за ним.

Оказалось, что его приняли за топтуна. С утонченной иронией ему предложили чаю. Усмехающиеся люди в пальто и шляпах стояли вокруг. Тут появилась сама Эмма Голдмен и обратила на него внимание. «Боже ж ты мой,— сказала она,— это не полицейский». Расхохоталась. Он был потрясен, что она вспомнила его. Она надела шляпу и закрепила ее булавками. «Пошли с нами»,— позвала она его.

Через некоторое время МБМ оказался в Союзе медников неподалеку от Бауэри. Зал был раскален и переполнен. Масса иностранцев. Даже внутри мужчины не снимали свои «дерби». Весь этот конгресс в поддержку Мексиканской революции благоухал чесноком и собственными испарениями. Младший Брат за своими делами прохлопал Мексиканскую революцию. Люди размахивали кулаками, вскакивали на скамейки. Оратор поднимался за оратором. Многие говорили не по-нашему. Перевод отсутствовал. Картина тем не менее прояснялась, и постепенно он узнавал, что мексиканские пеоны внезапно восстали против президента Диаса, хотя, казалось бы, могли к нему и привыкнуть за тридцать пять лет его правления. Им нужны были ружья. Амуниция. Они нападали на федеральные войска и поезда снабжения с одним лишь дрекольем и мушкетами, что заряжаются со ствола. МБМ намотал себе на ус насчет мушкетов. Наконец на трибуну поднялась Эмма Голдмен. Из всех ораторов она была наилучшим. Зал затих, когда она заговорила о соучастии богатых земле-

владельцев в преступлениях презренного тирана Диаса, о порабощении пеонов, о нищете и голоде и о самом большом позоре — о присутствии американского бизнеса в делах мексиканского правительства. Ее мощный голос. Ее жестикуляция. Вспышки огня в ее очках. Он протолкался поближе. Она говорила теперь об Эмилиано Сапате, простом фермере из округа Морелос, который стал революционером за неимением другого выбора. «Представьте себе фигуру в выбеленных штанах и рубахе, перепоясанную патронташами. Товарищи мои, это не иностранец,— закричала она.— Нет на свете иностранных земель. Нет мексиканского крестьянина, нет диктатора Диаса. Есть только одна борьба на белом свете, только лишь пламя свободы, старающееся рассеять мрак земной жизни». Оглушительные аплодисменты. Все встали. Начался сбор пожертвований. У Младшего Брата денег не было. Он вывернул карманы и, ужасно страдая, ничего в них не обнаружил. А вокруг люди, от которых разило нищетой, подходили с пригоршнями монет. Он обнаружил, что подобрался уже к самой ораторской платформе. Речи закончились. Эмма стояла, окруженная коллегами и почитателями. Он видел, как она обняла смуглого человека в костюме с галстуком и в огромном сомбреро. Она обернулась, и ее взгляд упал на лысеющего блондинчика, чья голова торчала над краем платформы, как голова французского республиканца, запрокинутая в подобии экстаза. Она засмеялась.

Он надеялся поговорить с ней, когда митинг закончится, но оказалось, что предстоит прием в честь представителя «сапатистов» в редакции «Матушки-Земли». Почетный гость был в сапожках под костюмными брюками, он был очень серьезен, пил чай и вытирал усы тыльной стороной ладони. Комнаты были забиты журналистами, богемой, художниками, поэтами, женщинами-общественницами. МБМ отчаялся привлечь внимание Эммы Голдмен. Она занималась с каждым из гостей, была страшно загружена, но все держала в голове. Нужно было представлять людей друг другу, разным персонам давать разные задания о том, что они должны сделать, куда им нужно пойти, что нужно выяснить, о чем написать. Он чувствовал себя полным невеждой. Эмма Голдмен пошла на кухню за пирогом. «Слушай,— сказала она Младшему Брату,— возьми-ка эти чашки и расставь их в большой комнате». Он был очень благодарен, что она и его, наконец, воткнула в свою систему полезных людей. Плакаты «Матушки-Земли» висели по всем стенам. Высокий длинноволосый человек разливал пунш. Это был тот самый, что предложил Младшему Брату зайти. Он выглядел как шекспировский актер-неудачник. Ногти с черной каемкой. Пил он не меньше, чем разливал. Приветствовал людей малоотчетливым пением. Все смеялись, болтая с ним. Его звали Бен Райтмен, это был Эммин сожитель. Что-то там у него было на макушке, какое-то выбритое пятно. Заметив взгляд Младшего Брата, он объяснил, что это случилось в Сан-Диего — его там вымазали дегтем и вываляли в перьях. Эмма туда отправилась выступать, а он, как ее менеджер, снимал залы, договаривался с людьми. Однако там не хотели, чтобы Эмма выступала. Они схватили его, увезли куда-то, раздели и вымазали дегтем. Прижигали его сигаретами и даже делали кое-что похуже. Пока он рассказывал, лицо его потемнело, улыбка исчезла. Вокруг собрались слушатели. Черпачок для пунша в его руке позванивал о край чаши. Заметив это, он странно улыбнулся — похоже, он не мог оторвать руки от черпака. «Они не хотели, чтобы «момма» выступала в Канзас-Сити, в Лос-Анджелесе, в Спокане,— сказал он.— Однако она выступила. Мы там все тюряги знаем. Мы выиграли. Моя «момма» еще выступит в Сан-

Диего». Он засмеялся над своей рукой — трясется, и все. Черпачок позванивал о край чаши.

В этот момент какой-то человек протолкался к столу и сказал: «Вы полагаете, Райтмен, что мир правильно устроен, если вас так непринужденно вываляли в перьях? — Это был совершенно лысый коротышка в очках с толстыми стеклами, с большим мокрым ртом и очень болезненным цветом лица — кожа, как воск.— Вся наша энергия уходит только на то, чтобы защитить самих себя. Мы следуем их стратегии, а не своей собственной. Боюсь, что вы этого не понимаете. Какая же здесь победа, бедный Райтмен, если какой-нибудь либерал с комплексом вины берет вас из тюрьмы на поруки? Он делает это только ради самоудовлетворения. Куда развивается мир?» Двое мужчин смотрели в упор друг на друга. Тут Голдмен дружелюбно позвала из-за мужских спин: «Саша!» Она обошла вокруг стола, вытирая руки о фартук, и встала рядом с Райтменом. Мягко вынула черпачок из его руки. «Саша, мой милый,— сказала она болезненному человечку,— если мы сначала научим их ценить собственные идеалы, потом мы сможем научить их нашим».

Вечеринка затянулась до утра. Младший Брат уже потерял надежду на внимание Эммы. Он сел в позе лотоса на старый диван с продавленными пружинами. Вдруг он заметил, что комната пуста, а Голдмен сидит на кухонном стуле прямо напротив него. Он оказался последним гостем. Безотчетно слезы потекли из его глаз. «Вы действительно удивились, что я узнала вас? — спросила Голдмен.— Да как же я могла забыть? Кто мог бы забыть подобное зрелище, мой язычник? — Она притронулась к его щеке и смахнула слезинку.— Так трагично, так трагично.— Вздох.— И это все, чего вы хотите от жизни?— Ее магнетические глаза пронзали его сквозь толстые стекла очков. Она сидела раздвинув ноги, руки на коленях.— Я не знаю, где она. Но даже если бы я сказала вам, что хорошего? Предположим, вы бы ее вернули. Она будет с вами некоторое время, а потом сбежит, разве нет?» Он кивнул. «Вы ужасно выглядите,— сказала Голдмен.— Что вы с собой сделали? Не едите? Не дышите свежим воздухом? Вы постарели на десять лет. Я вам не сочувствую. Вы думаете, вы какой-то особенный, если потеряли свою любовь? Это случается ежедневно и с другими. Предположим, она все-таки согласится жить с вами. Вы буржуазный тип, вы захотите жениться. Меньше чем за год вы сломаете друг друга. Вы увидите, как она начнет стареть и сереть прямо на ваших глазах. Будете сидеть за столом и глазеть друг на друга, чувствуя лишь ужасные путы, которые вы считали любовью. Поверьте мне и держитесь от этого подальше». Младший Брат плакал. «Вы правы,— говорил он,— конечно, вы правы». Он поцеловал ее руку. У нее была маленькая кисть с распухшими пальцами и увеличенными суставами. «Я совсем, совсем ее не помню,— рыдал он.— Это была лишь моя мечта». Голдмен оставалась непримиримой. «Как вам жалко себя! Какая вкуснейшая эмоция! Я вам кое-что скажу. Сегодня здесь были в этой комнате мой нынешний любовник и два прежних. Дружба всего дороже. Общие идеалы, уважение к человеческой персоне в целом. Почему вы отвергаете вашу собственную свободу? Почему вам обязательно надо за кого-то уцепиться, чтобы жить?»

Голова его склонялась все ниже, он смотрел в пол. Вдруг он почувствовал ее пальцы под подбородком. Она подняла его голову и отклонила ее назад. В глаза ему с любопытством смотрели Голдмен и Райтмен. Сквозь отрешенно-придурковатую улыбку Райтмена светился золотой зуб. Голдмен сказала: «Он напоминает мне Чолгоша»[1].

[1] Леон Чолгош — американский анархист, убивший президента Мак-Кинли.

Райтмен сказал: «Это образованный, буржуазный субъект».— «Но в глазах все тот же бедный мальчик,— сказала Эмма,— все тот же бедный опасный мальчик». Младший Брат вообразил себя в очереди на рукопожатие к президенту Мак-Кинли. Носовой платок обмотан вокруг руки. В платке пистолет. Мак-Кинли падает навзничь. Жилет его окрашивается кровью. Крики ужаса.

Когда он уходил, Эмма Голдмен обняла его в дверях. Ее губы, на удивление мягкие, прижались к его щеке. Он был взят. Шаг назад. Партийная литература из-под мышки — на пол. Согнувшись в дверях и смеясь, они стали собирать книги.

Через час он стоял между вагонами на молочном поезде, идущем в Нью-Рошелл. Он прикидывал, не кинуться ли под колеса. Он слушал их ритм, их устойчивое клацанье, как левая рука в рэгтайме. Скрежет и колотун металла о металл, когда буфера вагонов соприкасались, напоминали синкопирование правой рукой. Самоубийственный рэг. Вагоны подпрыгивали под его ногами. Луна гналась за поездом. Он поднимал лицо к небу, как будто даже лунный свет мог согреть его.

23

Однажды в воскресенье цветной гражданин Колхаус Уокер попрощался со своей невестой и поехал на своем «фордике» в Нью-Йорк. Было уже пять часов пополудни, и тени деревьев лежали поперек дороги. Путь его проходил мимо пожарного депо «Эмеральдовский движок» — добровольческой пожарной компании, известной лихостью своей парадной униформы и чрезвычайной оживленностью своих пикников. Всякий раз, когда он проезжал мимо пожарки, двухэтажного дощатого строения, он видел волонтеров, которые стояли на улице и вели бесконечный треп, и всякий раз при виде Колхауса они замолкали и провожали его взглядами. Конечно, он знал, что своей одеждой и своим автомобилем он бесконечно провоцирует белый люд. Он знал, что ходит по острию ножа, и ходил по нему.

К этому времени волонтеров стали поддерживать как вспомогательную силу для муниципальных пожарников, и речь уже шла о том, чтобы моторизировать их команды. Пока, однако, этого не случилось. В момент, когда негр приблизился, упряжка из трех серых лошадей внезапно прогалопировала из депо на дорогу. Они тащили большую паровую помпу, благодаря которой «Эмеральдовский движок» был здесь знаменит. На дороге лошадей осадили, что вынудило Колхауса Уокера резко нажать на тормоза.

Два волонтера вышли из здания и как бы не спеша направились к кучеру помпы, который сидел на облучке, глядя на негра и с понтом зевая. Вся эта команда была облачена в синие рубашки с зелеными галстуками, синие, грубо простроченные штаны и сапожищи. Колхаус Уокер отпустил педаль сцепления и вылез из машины, чтобы завести мотор. Волонтеры подождали, пока он раскрутил ручку, а потом довели до его сведения, что он путешествует по частной платной дороге и что далее он следовать не может, не заплатив двадцать пять долларов или не предъявив удостоверения, что он является постоянным жителем этого города. «Однако это общественный, вполне свободный проезд,— возразил Уокер,— я много раз следовал этим путем и никогда ничего не слышал о плате». Он сел за руль. «Позови-ка шефа»,— сказал один пожарник другому. Уокер решил дать задний ход, развернуться и поехать другим путем. В этот момент двое других пожарников появились позади машины, таща двадцатифутовую лестницу. Еще двое с точно такой же лестницей. Один-другой-третий с тачками свернутых шлангов, с ведрами, топорами,

крючьями и другим снаряжением. Все это они разложили на улице вокруг машины: компания решила проветрить свои помещения именно в этот день и в этот данный момент — так уж получилось. Брандмейстер выделялся белой военной фуражкой с петушиным заломом. Он вроде был и постарше, чем остальные. Любезнейшим образом он объяснил Колхаусу, что хотя прежде с него и не брали платы за проезд, порядок этот оставался в силе, так что, если Колхаус не заплатит, он и не проедет, значитца. Он сдвинул фуражку на глаза и задрал голову, чтобы смотреть на негра. Козырек и подбородок — дурацкий, драчливый вид. Тяжеловатый мужчина, толстые лапищи. Волонтеры вокруг усмехались. «Нам нужны деньги для пожарной машины,— объяснил Шеф.— Чтоб, значитца, ездить по пожарам, как ты тут ездишь по борделям».

Черный автомобилист спокойно оценивал ситуацию, в которую он попал. Через дорогу напротив «Эмеральдовского движка» было открытое поле, скатывающееся к пруду. Можно было бы съехать с дороги и проложить себе путь по полю вокруг этих лестниц и тачек. Однако они так его здесь заклинили, что вывернуть не удастся, а если слишком резко взять руль, наверняка опрокинешься на склон. Ему и в голову не приходило снискать расположение этой кодлы обычным для его расы путем, то есть попрошайничать и унижаться.

Внизу у пруда играли два негритянских мальчика лет десяти—двенадцати. «Эй, ребятишки!» — позвал их Колхаус Уокер. Они подбежали. Он выключил двигатель, поставил машину на тормоз и попросил мальчиков присматривать за ней, пока он сходит в город.

Очень быстро музыкант завернул за угол и зашагал к деловому центру. Через десять минут он нашел полицейского, управлявшего уличным семафором. Полицейский выслушал его жалобу, потом покачал головой, а потом взялся извлекать из очень внутреннего кармана туго идущий носовой платок, а уж после этого стал прочищать нос. «Да это безвредные ребята,— наконец сказал он.— Я их всех знаю. Иди назад и увидишь, что они уже угомонились». Уокер понял, что полицейский выдал ему таким образом максимальную дозу поддержки. Впрочем, может быть, он действительно слишком уж чувствителен, может быть, все это не больше чем проказа? Он пошел обратно к Пожарной аллее.

Лошади с помпой были уведены в депо. Дорога была пуста, а его автомобиль стоял в поле. Он подошел к нему. Машина была забрызгана грязью. Шестидюймовая рваная дыра зияла на брезентовой крыше. На заднем сиденье красовался холмик свежих человеческих экскрементов.

Он пошел через улицу к дверям пожарки. Там стоял, скрестив руки на груди, брандмейстер в своей белой военной фуражке. «Полицейский департамент поставил меня в известность, что в городе вообще нет платных дорог»,— сказал Колхаус Уокер. «Законно»,— сказал Шеф. «Любой человек может следовать по этой дороге в любое время, если у него есть в этом нужда»,— сказал Уокер. «Ну»,— сказал Шеф. Солнце садилось, внутри пожарки зажглись электрические лампочки. Через стеклянные панели дверей негр мог видеть трех серых в их стойлах и знаменитую начищенную до блеска помпу у задней стенки. «Я хотел бы, чтобы мою машину очистили и чтобы повреждения были оплачены». Шеф начал неудержимо хохотать, двое вышли и присоединились к забаве.

В этот момент подъехал полицейский фургон. Вышли два офицера — один из них тот, к кому уже взывал Колхаус Уокер. Он пошел в поле, осмотрел машину и вернулся к пожарке. «Уилли,— сказал он Шефу,— это твои ребята напакостили?» — «Сейчас я вам точно рас-

скажу, что случилось,— сказал брандмейстер.— Черномазый запарковал, значитца, свою проклятую тачку прямо на середине дороги перед станцией. Нам пришлось ее передвинуть. Как считаете, это серьезное дело — заблокировать пожарную команду или не очень?» Волонтеры послушно кивали. Полицейский принял решение. Отвел Колхауса в сторону. «Слушай,— сказал он,— сейчас мы вытащим твою жестянку на дорогу и езжай. Там ничего не поломано. Соскреби говно и забудь всю эту фиговину».— «Я ехал своим путем, когда они остановили меня,— сказал Колхаус Уокер.— Они навалили нечистоты в мой автомобиль и прорезали верх. Я хочу, чтобы машина была чистой, а повреждения оплачены». Офицер начал теперь оценивать манеру его речи, его платье, а главное — сногсшибательный феномен владения собственным автомобилем. Он разозлился. «Если вы не заберете свой автомобиль и не уберетесь отсюда, я вас обвиню в вождении там, где не положено, так? езда в пьяном виде, так? неприглядные действия, так?» — «Я не пью,— возразил Колхаус,— я ехал там, где положено, я не разрезал крышу своего автомобиля, и, наконец, я не испражнялся в него. Я требую оплаты повреждений, я требую извинений». Полицейский глянул на брандмейстера, тот ухмылялся, довольный его замешательством: дескать, ты власть, тебе и карты в руки. «Вы арестованы,— сказал он Колхаусу,— ну-ка, ты, садись в фургон».

Ранним вечером на авеню Кругозора зазвонил телефон. Звонил Колхаус Уокер. Быстро объяснив, что он задержан полицией и почему, он спросил Отца, не может ли тот внести залог, чтобы он мог успеть в Нью-Йорк к своему представлению. К чести Отца надо сказать, что он соответствовал немедленно, а все дополнительные вопросы отложил на более удобное время. Он вызвал кеб, примчался на полицейскую станцию, выписал чек на пятьдесят долларов. Однако, вернувшись домой и рассказывая о происшествии Матери, он возмутился тем, что Колхаус Уокер не оценил его джентльменства, не рассыпался в благодарностях, но устремился как бешеный к поезду, сказав лишь вежливое «спасибо».

На следующий вечер странный невоскресный визит Колхауса собрал всех домочадцев. Скрестив руки, он сидел в гостиной и повествовал всю историю в деталях. В его тоне не было обиды, он как бы декламировал, говорил как будто бы о ком-то другом, не о себе. Мать сказала: «Мистер Уокер, мне очень стыдно, что наша община предстала перед вами этой бандой хулиганов». Отец сказал: «У этой команды плохая репутация. К счастью, это исключение, другие волонтеры-пожарники — вполне достойные люди». Младший Брат, скрестив ноги, сидел на табурете у пианино. Полностью захваченный этой историей, он склонился вперед и внимательно слушал. «Где сейчас машина? — спросил он.— А что эти два мальчика? Вы понимаете, это же свидетели». Пианист покачал головой, он провел весь день, разыскивая мальчишек, и нашел наконец, но их родители напрочь отказались участвовать в этом деле. «Для здешних негров я чужак,— резонно сказал Уокер.— Им здесь жить, и они не хотят неприятностей. Что касается машины, то я ее больше не видел. Я не подойду к ней до тех пор, пока она не будет возвращена мне в том состоянии, в каком она была, когда я ехал от вас вчера вечером».

За дверью гостиной, прячась от глаз, все это интервью слушала Сара. Она держала на руках своего бэби. Никто из присутствующих не ощущал с такой силой, как она, чудовищность этой беды. Она слышала, как Отец сказал Колхаусу, что если он намерен преследовать свою цель, ему нужно обратиться к адвокату. Существует ведь такая вещь, как вызов в суд свидетелей. «А есть здесь цветные юри-

сты?» — спросил Колхаус. «Я таких не знаю,— сказал Отец,— но любой адвокат, которому дорога справедливость, возьмется за это, так я думаю.— Пауза.— Я оплачу все расходы»,— сказал он грубоватым голосом. Колхаус встал. «Благодарю вас, но это не потребуется». Он положил конверт на край стола. Пятьдесят долларов наличными. Впоследствии Мать узнала, что эти деньги были из его сбережений для свадьбы.

На следующий день МБМ сам отправился на место инцидента, поехал в Пожарную аллею на велосипеде. «Фордик-Т» был самым тщательным образом испохаблен, волонтерами ли или кем-то другим, теперь уже это было трудно установить. Передком его загнали в воду, колеса утонули в грязи. Фары и ветровик расколочены. Задние шины спущены. Обивка выпотрошена, а брезентовый верх исполосован вдоль и поперек.

24

Младший Брат стоял у пруда. После того вечера с Эммой Голдмен у него начались значительные терзания. Возникло вдруг удивительное воодушевление, поражавшее людей. Он нес всякую околесицу на грани истерии. Фиксировался на чем-нибудь и накачивал себя до жуткого воодушевления. Он не отходил от чертежного стола, производя бесконечные модификации винтовок и гранат. Отмерялись какие-то маленькие квадратики, производились какие-то вычисления, кончик карандаша ненасытно впечатлял безответную бумагу. В моменты, когда некуда было приложить свои силы, он начинал петь, стараясь услышать себя как бы со стороны. Так, концентрируясь и расходуя огромное количество энергии, он старался удержаться от сползания в громадные дистанции своего несчастья. Оно, однако, затягивало его. Мрак и пустота с неслыханной наглостью колыхались возле его бровей. Временами он ощущал засасывающее кружение пустоты. Но самым ужасным было бесконечное предательство. Он просыпался утром и видел в окне встающее солнце, садился на кровати, прося, чтобы оно исчезло, но потом находил его за собственными ушами или в своем сердце: предательство!

Он решил, что он на грани нервного коллапса. Предписал сам себе холодные ванны и физические упражнения. Купил велосипед «Колумбия». Ночами перед сном он доводил себя до изнурения ритмической гимнастикой.

Ниже этажом Родитель с Родительницей чувствовали, как дом трясется: МБМ прыгал. Они давно привыкли к его эксцентрическим выходкам. Он никогда не доверял им, никогда не делился ни надеждами, ни чаяниями, так что они не замечали никаких особых изменений в его поведении. Мать иногда приглашала его присоединиться к ним в гостиной после ужина, если у него нет планов на вечер. Он пытался. Даже как бы участвовал в беседе. Удушающая обстановка, бахромчатые абажурчики — нет, невозможно. Он презирал их. Он считал их самодовольными, заурядными и равнодушными людьми. Однажды Родитель читал вслух передовицу из местной газеты. Он любил почитать вслух, если находил что-нибудь поучительное или что-нибудь эдакое. Передовица была под заголовком «Глазок весны». «Этот миниатюрный гость наших прудов и полей пришел и кликнул снова,— читал Отец.— Пусть не намного он пригожее своих старших братцев Лягушонка и Жабенка, но мы поем его красоту и говорим: «Добро пожаловать! Здравствуй, гонец Весны!» Молодой человек, готовый задушить в этот момент кого угодно, ринулся прочь из комнаты.

Вопроса нет, МБМ был счастлив оказать поддержку черному пианисту. Стоя на берегу пруда, глядя на поруганный «фордик-Т», на вырванные из мотора проволочки, он чувствовал, как пробегает по его членам малый ток ярости, должно быть, сотая доля того чувства, которое испытывал Колхаус Уокер. Живительная, благотворная ярость.

Здесь, в преддверии последующих событий, важно упомянуть, сколь мало было известно о Колхаусе Уокере Мл. Очевидно, он был уроженцем Сент-Луиса Миссурийского. В молодые годы он восхищался Скоттом Джаплином и другими музыкантами Сент-Луиса и оплачивал уроки игры на пианино, горбатя грузчиком в порту. Нет никакой информации о его родителях. Одна бабешка в Сент-Луисе объявила себя его разведенной женой, но доказать это ей было нечем. Не найдено никаких следов его школьного обучения, и остается загадкой, где он приобрел свой куртуазный словарь и манеру речи. Возможно, это было лишь волевым актом.

Когда он достиг уже своей скандальной известности, повсюду говорили и писали, что он далеко не исчерпал всех легальных возможностей, прежде чем взять закон в свои руки. Это не совсем верно. Он посетил трех адвокатов, рекомендованных ему Отцом. Все трое отказались представлять его, ограничившись благими советами забрать свой автомобиль, пока его совсем не разрушили, и забыть все это дело. Он, однако, настаивал, что не собирается забывать, но, напротив, хочет возбудить дело против «Эмеральдовского движка».

Отец лично телефонировал одному из этих адвокатов, который когда-то представлял его фирму. «Послушайте,— сказал ему адвокат,— вы можете ведь сами пойти с ним, когда начнется слушание дела. Я вам не нужен. Когда владелец собственности в этом городе поддерживает негра в подобных делах, обвинение обычно снимается».— «Но он хлопочет не об оправдании,— возразил Отец,— он сам хочет привлечь к суду». В этот момент какое-то очень важное дело отвлекло адвоката, и он заговорил в сторону. «Всегда к вашим услугам»,— скороговоркой сказал он Отцу и отзвонился.

Известно также, что Колхаус Уокер консультировался и с черным адвокатом в Гарлеме. Последний разузнал, что брандмейстер Уилл Конклин является сводным братом городского судьи и племянником старейшины в совете округа. «Можно, конечно, попробовать перетащить дело в другие инстанции,—сказал гарлемский щелкопер,— но это масса денег, масса времени. У вас есть на это деньжата?» — «Я скоро женюсь»,— сказал Колхаус Уокер. «Тоже дорогое дельце,— сказал сутяга.— Занялись бы вы лучше своей жизнью, чем качать права с белыми». Последовала не вполне любезная ремарка со стороны Колхауса Уокера. Чернокожий законник грозно поднялся и показал ему на дверь. «Я занимаюсь делами бедняков,— кричал щелкопер,— я служу своему народу, как могу, но если вы думаете, что я отправлюсь в округ Вустер защищать цветного, которому плеснули в автомобиль ведро помоев, вы очень сильно ошибаетесь».

Известно также, что Колхаус пытался и сам, без посторонней помощи, обратиться в суд. Он составил жалобу, но так как ему неизвестен был календарь суда, форма заявления и процедура оформления, отправился за консультацией в Сити-Холл. Ему предложили зайти в другой раз, «когда будет посвободнее». Он настаивал. Тогда ему сказали, что его дело здесь не зарегистрировано и понадобится несколько недель, чтобы навести справки. В общем, вы заходите, заходите, приговаривал клерк. Колхаус направил тогда стопы в полицейский участок, где все это было изначально зарегистрировано, и там написал вторую жалобу. Полицейские чины приняли его с изум-

лением. Старшой отвел его в сторону и доверительно сообщил, что все эти жалобы тщетны, так как добровольные пожарные дружины не находятся под юрисдикцией города. Презренная логика. Колхаус молча подписал жалобу и покинул участок. Он слышал за спиной смех полицейских.

Все это происходило в течение двух или трех недель. Позднее, когда имя Колхауса Уокера стало символизировать убийство и поджог, никому и в голову не пришло вспомнить об этих попытках. Конечно, нельзя оправдать насилие, однако нужно всегда восстанавливать истину. За семейным столом теперь все как одержимые только и говорили о странном черном гордеце, о его борьбе за свою собственность. Конечно, произошли глупейшие вещи, но... но в чем-то здесь была и его вина, его ошибка. Конечно же, умалчивалось, но подразумевалось, что его вина была в том, что он — негр и такое могло случиться только с негром. Монументальный негритюд Колхауса Уокера как бы маячил перед ними постоянно в центре стола. Пока Сара подавала к столу, Отец сказал ей, что ее жених лучше бы сделал, если бы забрал свою машину и забыл это дело. Младший Брат ощетинился. «Ты говоришь как человек, который не способен постоять за свои принципы»,— крикнул он. Отец был взбешен этим выкриком так, что и слов не находил. Мать мягко урезонивала спорящих, говоря, что никому никакого проку не будет от таких несдержанных чувств. Странный, не по сезону теплый бриз поднимал гардины в египетской столовой. Начало весны, угрожающее дыхание неопределенности. Сара уронила блюдо с филе трески. Убежала на кухню и схватила своего ребенка. Рыдая, она поведала МБМ, который последовал за ней, что в предшествующее воскресенье Колхаус отложил свадьбу до тех пор, пока он не получит свою «модель-Т» в той же самой кондиции, в какой она была до того, как пожарные клячи преградили ему путь.

25

Никто не знал Сариной фамилии, да никто и не спрашивал. Где она родилась и где она жила, эта нищая неграмотная черная девчонка, это живое обвинение человечеству? За несколько недель своего счастья, когда она приняла предложение Колхауса, и до новых ужасов она совершенно преобразилась. Скорбь и гнев, казалось, были лишь физической патологией, маскировавшей ее подлинный лик. Мать восхищалась ее красотой. Она смеялась и говорила сладкозвучным голосом. Женщины вместе работали над подвенечным платьем. Движения Сары стали гибкими и грациозными. У нее была удивительная фигура, и она взирала на себя не без гордости. Радость бытия переполняла ее. Счастье заливало груди высококачественным млеком, и бэби стал очень быстро расти. Он уже, подтягиваясь, поднимался в своей колясочке — она становилась небезопасной. Он переехал к ней в комнату. Сара поднимала его и танцевала, кружилась, пела. Ей было, должно быть, не более девятнадцати, и жизнь давала ей сейчас все поводы, чтобы жить. Мать подумала как-то, что это существо не понимает ничего, кроме добра. Она была совершенно бесхитростна и до полной беспомощности подчинена своим чувствам. Если она любила, то жила в любви, любое предательство полностью ее разрушало. Сияющая и опасная филигрань невинности. Малыш все больше и больше привязывался к Саре и ее бэби. Он очень нежно играл с ребенком, и между ними существовало торжественное взаимопонимание. Сара бесконечно примеряла подвенечное платье. Когда она снимала его через голову, белье поднималось на ее бедрах и она с улыбкой замечала неприкрытое внимание Малыша к ее

членам. С Младшим Братом у них была невысказанная близость людей одного поколения. Ее будущий муж был значительно старше, а МБМ, в свою очередь, по возрасту был чужаком в семье. Быть может, именно поэтому он и последовал за ней на кухню, где она поведала ему о клятве Колхауса не жениться, пока он не получит назад свой «форд».

«Что он намерен делать?» — спросил Младший Брат. «Я не знаю»,— ответила Сара. Возможно, она улавливала уже запах насилия.

В следующее воскресенье Колхаус не явился. Сара снова закрылась в своей комнате. Для Отца стало ясно, что обстановка ухудшается. Он сказал: «Это же нелепо, чтобы какой-то мотокар отнимал у людей жизнь». Он решил на следующий же день отправиться в «Эмеральдовский движок», непосредственно к шефу Конклину. «Что ты будешь делать?» — спросила Мать. «Я дам им понять, что они имеют дело с полноправным гражданином этого города,— сказал Отец.— Если это не сработает, я попросту дам им взятку. Пусть починят машину и доставят ее к моим дверям. Я подкуплю их».— «Вряд ли мистер Уокер будет рад»,— сказала Мать. «Тем не менее это как раз то, что я сделаю,— сказал Отец.— Об объяснениях мы позаботимся после. Эти подонки уважают только деньги».

Однако еще до того, как этот план был осуществлен, Сара решилась на свою собственную акцию. Случилось так, что шла весна выборного года и кандидат республиканцев в вице-президенты Джеймс Шерман прибыл в Нью-Рошелл, чтобы держать речь на ужине в отеле «Прилив». Сара же как раз подслушала, как Отец обсуждал сам с собой причины, по которым он не осчастливит вице-президента своим присутствием. Не очень сведущая в государственных делах, Сара решила обратиться к Соединенным Штатам от имени своего жениха. Это был второй в ее жизни отчаянный акт, спровоцированный ее наивностью. Вечером она дождалась, когда бэби крепко заснул, завернулась в шаль и, не сказав никому ни слова, выскользнула из дома и побежала вниз, к Северной авеню. Она была боса. Бежала быстро, как ребенок. На пути ей попался трамвай, в нем мелькали огоньки. Кондуктор сердито зазвонил, когда она бросилась наперерез. Она взяла билет и доехала до центра.

Начинался ветер, в темном небе громоздились огромные тяжелые тучи. Она стояла перед отелем в небольшой толпе, ожидавшей прибытия великого человека. Машина за машиной подходили, одна почтенная персона следовала за другой. Ветер порцию за порцией швырял дождевые капли. Через панель к дверям отеля был раскатан ковер. Местная полиция в белых перчатках и взвод милиции охраняли вход и оттесняли толпу в ожидании прибытия вице-президентского автомобиля. После убийства президента Мак-Кинли на милицию и переодетую секретную службу была возложена обязанность охранять важнейших людей страны. Причины для этого были немалые. В этом году Теодор Рузвельт вышел из отставки, чтобы бороться вновь против своего старого друга Тафта. Кандидатом от демократов был Вильсон, от социалистов — Дебс. Четыре выборных кампании прохлестывали взад-вперед через всю страну, вздувая в толпах надежды и уподобляясь ветрам, что ерошат великие прерии. Как раз за неделю до этого вечера Рузвельт прибыл в Милуоки, чтобы держать там речь. Пока он шел от станции к автомобилю, его все время окружала восторженная толпа. Вдруг выступил человек и стал стрелять в упор. Пуля пробила чехол для очков и пятьдесят страниц подготовленной речи, после чего застряла в ребре. Ошеломление. Убийцу свалили наземь. Вопли. Рузвельт осмотрел рану и с удовольствием

нашел ее несерьезной. Он прочел свою речь, прежде чем позволил приблизиться докторам. Это было восхитительно, но едкий дым покушения осел в общественном сознании. Естественно, любой ответственный за охрану важных персон не мог не думать о выстрелах в Тедди Рузвельта. Не так давно и мэр Нью-Йорка Уильям Джей Гейнор был окровавлен пулями убийцы. Оружие шло в ход повсюду.

Когда вице-президентский «пэнард» подкатил к краю тротуара, в небо взмыли приветствия. У «Солнечного» Джима Шермана насчитывалось немало друзей в Вустере. Это был круглый лысеющий человек в таком паршивом состоянии здоровья, что вряд ли он вытянул бы до конца кампании. Сара пробилась через толпу, взывая в своем неведении: «Президент! Президент!» Черная ее рука тянулась к нему. Он отпрянул. Быть может, во мраке надвигавшейся бури черная Сарина рука показалась кому-то из охраны оружием, во всяком случае милиционер выступил вперед и прикладом своего «спрингфилда» ударил ее в грудь со всей силой, на какую был способен. Она упала. Агент секретной службы прыгнул на нее. Вице-президент исчез в дверях отеля. Среди последующего замешательства, криков и беготни Сару втащили в полицейский фургон и увезли.

В полицейском участке Сару держали всю ночь. Она харкала кровью, и к утру дежурному сержанту пришло в голову послать за доктором. Она озадачила всех, не отвечая ни на один вопрос, глядя на них глазами, полными страха и боли, и если бы один из них не вспомнил, что она кричала: «Президент! Президент!» — они бы сочли ее глухонемой. «Что ты там делала? Что ты думала сделать?» Утром ее перевезли в больницу. Стоял пасмурный день, вице-президент как был, так и сплыл, празднество испарилось, подметальщики толкали свои щетки перед отелем, а обвинения против Сары снизились от «попытки убийства» к «нарушению спокойствия». Ее грудина и несколько ребер были переломаны. Дома, на авеню Кругозора, Мать слышала, как бэби все плачет и плачет, и, наконец, решила подняться и узнать, в чем дело. Несколько часов прошло, прежде чем полицейский офицер как-то связал тревогу, поднятую семейством, с той цветной девчонкой в госпитале. Отец ушел с работы, и вместе с Матерью они приехали в больницу. Они нашли Сару в общей палате. Она спала, лоб ее был сух и горяч кровавый пузырек в углу рта вздувался и опадал при каждом дыхании. К следующему дню у Сары развилась пневмония. Из ее отрывистых слов им удалось восстановить всю историю. Она обращала на них мало внимания и все звала Колхауса. Они перевели ее в отдельную палату и начали звонить в «Казино Манхэттена» антрепренеру Клеф-Клаб-оркестра. Таким путем был обнаружен наконец Колхаус, и через несколько часов он уже сидел у Сариной постели.

Мать и Отец ждали за дверью. Когда они заглянули внутрь, Колхаус стоял на коленях возле кровати. Голова его была склонена, двумя руками он держал Сарину бедную лапку. Они отступили. Потом они услышали какие-то замогильные звуки — скорбь взрослого мужчины. Мать ушла домой. Теперь она не спускала с рук бэби. В семье царило опустошение. Некая утечка тепла. Все носили свитеры. Младший Брат топил печь. К концу недели Сара умерла.

26

Похороны были устроены в Гарлеме. Щедрые похороны. Бронзовый гроб. Катафалк «пирс-эрроу-опера» с удлиненной пассажирской кабиной и открытым сиденьем для шофера. Весь его верх был покрыт цветами. Черные ленты развевались со всех четырех углов. Машина

была настолько отполирована, что Малыш мог видеть в ее задних дверцах отражение всей улицы. Все было черным, включая небо. Улица загибалась к пропасти горизонта. Несколько других автомобилей везли на кладбище скорбящих. В основном это были музыканты, друзья Колхауса, чернокожие господа в туго застегнутых темных костюмах, круглых воротничках и черных галстуках. Их женщины были в платьях, подметавших туфли, в широкополых шляпах, с маленькими мехами на плечах. Когда все расселись по машинам и шоферы взялись за рули, послышались фанфары и к процессии присоединился открытый омнибус с оркестром из пяти музыкантов в смокингах. Колхаус Уокер заплатил за похороны свадебными деньгами. Место для Сариной могилы он обеспечил благодаря своему членству в Благотворительной ассоциации негритянских музыкантов. Кладбище находилось в Бруклине. Оркестр играл погребальные мелодии и на тихих улицах Гарлема, и на всем движении через центр. Кортеж двигался медленно. Дети бежали рядом, а взрослые останавливались. Оркестр играл и на Бруклинском мосту высоко над Ист-ривер. Пассажиры трамваев вставали со своих мест, чтобы посмотреть на скорбный парад. Солнце сияло. Чайки вспархивали с воды. Они кружили между стальными тросами моста и усаживались на рельсы, когда проходил последний автомобиль.

27

Весна! Весна! Подобно безумному фокуснику, швыряющему шелка и цветные тряпки из сундука, земля являла на свет желтые и белые крокусы, лисий виноград и форзицию, лезвия ириса, розовый и белый цвет яблонь, тяжелую сирень и бледно-желтый нарцисс. Дедушка, стоя во дворе, бурно аплодировал чудесам природы. Порыв бриза сорвал с кленов настоящий ливень нежно-зеленых почечек-сперматозоидов. Они покрыли его редкие седые волосы. В восторге он тряс головой, ощущая на ней дарованный свыше венчик. Спазма радости, скачок, скачок, этакий танец, стариковская джига. Он поскользнулся, потерял равновесие и оказался в сидячей позиции. Именно таким манером он сломал себе таз и вступил в период окончательного уже заката. Однако та весна была настолько радостной, что, даже и мучаясь от боли, он улыбался. Повсюду били жизненные соки и птицы пели. На ферме Мэттиуан при тюрьме штата наш старый знакомый Гарри Кэй Фсоу ловко перепрыгнул через канаву, вскочил на подножку ожидавшего его локомобиля и испустил ликующий крик. Локомобиль тронулся. Фсоу бежал в Канаду и там путешествовал, оставляя за собой хвост разъяренных официанток и ошарашенных отельщиков. Он похитил и выпорол мальчика — следовательно, приступил уже к решению своей основной проблемы. В конце концов он пересек границу в обратном направлении. Его обнаружили в поезде возле Буффало, но он отдался не сразу. Он долго убегал, хихикая и пыхтя, от преследовавших его детективов. В вагоне-ресторане он хватал со столов тяжелые серебряные кофейники и на глазах изумленной публики бросал их в полицейских. Затем он вскарабкался между вагонами на крышу, и дальнейший его бег напоминал уже прыжки огромной обезьяны. Наконец он свалился на обзорную платформу в хвосте, простер руки к солнцу и так стоял, пока полиция его не схватила.

Фсоу не разгласил имя человека, устроившего ему побег. «Зовите меня просто Гудини»,— сказал он. Предприимчивый репортер решил найти великого фокусника и испросить у него комментарий. Репортер был дока по части глупых и мелких новостишек, до которых тогда

столь падки были газеты. Он нашел Гудини на кладбище в Квинсе, где тот озирал весеннее цветение, стоя на коленях возле могилы матери. Увидев его распухшее от слез, дико смешное от горя лицо, репортер слинял. Вокруг могилы буйно цвел кизил, а под деревьями лежали опавшие лепестки магнолий.

Гудини был в черном шерстяном костюме, рукав пиджака разорван по шву. Его мать умерла несколько месяцев назад, но каждое утро он просыпался с такой свежей болью, будто это случилось вчера. Он отменил концерты. Брился только тогда, когда вспоминал об этой процедуре, что случалось нечасто; с красными глазами, потерянный, в изжеванном и порванном костюме, он выглядел кем угодно, но только не энергичным фокусником с международной славой.

По еврейскому обычаю в знак совершенного визита на могиле оставляют камешки. Холмик миссис Цецилии Вайс был покрыт галькой и камешками настолько, что стало образовываться подобие пирамиды. Гудини думал о том, как она лежит в гробу под землей, и горько рыдал. Он хотел лежать рядом с ней, а ведь он помнил свою попытку сбежать из гроба и ужас, охвативший его, когда он понял, что это невозможно. У гроба тогда была трюковая крышка, но он не рассчитал веса земли. Он царапал тогда землю, а она сдавливала его своей монументальной тяжестью. Он закричал в непроницаемой тишине. Да, он знал, что такое лежать в земле, и все же он полагал теперь, что это единственное для него место. Что хорошего ждать от жизни без его любимой маленькой мамочки?

Он ненавидел весну. Воздух в ноздрях казался ему запекшейся грязью.

В своем кирпичном доме на 113-й улице возле Риверсайд-драйв Гудини повсюду расположил обрамленные фотографии матери, чтобы возникла иллюзия ее присутствия. Один крупный план он положил на подушку ее постели. Увеличенное фото матушки, сидящей в кресле и улыбающейся, он поставил в то самое кресло, где она позировала. Был также снимок старушки, поднимающейся по крыльцу к дверям. Его он повесил на внутренней стороне двери. Среди ее пожитков остался дубовый музыкальный ящик с окошечком на крышке, заглянув в которое можно было увидеть ротацию диска. Ее любимая пластинка с одной стороны исполняла «Гаудеамус Игитур», а с другой «Колумбия — жемчужина океана». Гудини накручивал пружину и играл эти мелодии каждый вечер. Он грезил, что это был ее голос. Он сохранил все письма, которые она написала ему за долгие годы, теперь он перевел их на английский и отдал перепечатать, чтобы можно было их легко читать и не бояться, что они обратятся в пыль из-за чрезмерного пользования. Он открывал дверцы шкафа и вдыхал благоухание ее гардероба.

Старушка заболела, пока Гудини был в Европе. Он как раз собирался описать ей свою встречу с наследником австро-венгерского престола эрцгерцогом Францем-Фердинандом, но тут она как раз и умерла от удара. Он тотчас же освободился от контрактов и поплыл домой. Ни одной детали этого путешествия не осталось в его памяти. Он потерял рассудок от горя. Похороны были отложены до его возвращения. Он узнал, что она звала его за несколько моментов до смерти. «Эрих,— стонала она,— Эрих, Эрих». Чувство вины измучило его. Он был одержим идеей, что она хотела ему что-то сказать, что у нее было нечто, что она должна была открыть ему за несколько мгновений до смерти.

Он всегда был скептиком по отношению к оккультистам, ясновидящим и медиумам. В начале своей карьеры в цирке братьев Уелш в Пенсильвании он и сам эксплуатировал доверчивость деревенщи-

ны, втирал им очки своей трансцендентальной властью. С завязанными глазами он говорил сообщнику, какой предмет был указан публикой для идентификации. Что это такое, мистер Гудини, спрашивал соучастник обмана и получал правильный ответ. Все это делалось при помощи кода. Иногда он вызывался поговорить с мертвыми и выдавал какому-нибудь бедному сосунку, чьи обстоятельства заранее выяснялись, отличное послание из загробного царства. Так что он мог легко распознать спиритический обман. Спиритическое надувательство неистово разрослось по Соединенным Штатам с 1848 года, когда две сестрички Маргарет и Кейт Фокс пригласили соседей на таинственные стуки в их доме в Хайдсвилле Нью-Йоркском. Однако именно цирковой опыт побудил Гудини искать человека с истинным даром медиума. Он может распознать и разоблачить любую фальшивку. Поэтому если он найдет настоящее, он это сразу распознает. Будьте уверены, если существует возможность сообщаться с мертвыми, он ее найдет. Он хотел видеть маленькую фигурку своей мамочки Цецилии и чувствовать ее пальцы на своем лице. Но так как это было невозможно, он решил хотя бы услышать ее голос.

В этот момент нашей истории коммуникация с мертвыми была не столь уж противоестественной идеей, как в былые времена. Америка стояла на заре Двадцатого Века, нация паровых экскаваторов, локомотивов, воздушных кораблей, двигателей внутреннего сгорания, телефонов и двадцатипятиэтажных зданий. Наряду с этим существовала любопытная восприимчивость самых знаменитых прагматистов к оккультным идеям. Конечно, все это делалось по-тихому. В определенных кругах ходили слухи о тайном обществе Пирпонта Моргана и Генри Форда. Волшебник-селекционер Лютер Бёрбанк, который скрещивал растения и получал высокоурожайные гибриды, тайно разговаривал с растениями и был уверен, что они его понимают. Даже великий Эдисон, человек, который изобрел Двадцатый Век, утверждал существование неделимых частиц живой материи — он назвал их «стайками»,— которые остаются после смерти и никогда не разрушаются. Гудини пытался связаться с Эдисоном. Великан, однако, был слишком занят. Он разрабатывал новое изобретение, невероятно секретное, о котором ходили непрерывные толки в прессе. Одна из газет утверждала, что это будет некая вакуумная трубка, при помощи которой можно будет получать послания от мертвых. Гудини отчаянно посылал великану телеграмму за телеграммой, прося о встрече. Его отвергли. Он предлагал деньги на исследования. Его отвергли. Он поклялся, что сам изобретет нужный инструмент — ведь научился же он летать на аэроплане. Все, что Эдисон начинал, все было в пределах современной техники, и, значит, все было доступно каждому. Гудини купил книги и начал изучать механику и принципы действия аккумуляторной батареи. Он поклялся, еще раз поклялся, он клялся без конца вместе с автором этой книги.

Страстность его привлекла внимание людей, которые шли нога в ногу с этими штуками. Он встретился с одним таким из Буффало, который утверждал, что работал когда-то вместе с гениальным карликом Штайнмецем. Физики во всем мире сейчас открывают волны, сказал этот человек. Потрясающе важная теория возникла за границей: материя и энергия суть два аспекта одной и той же первичной силы. «Между прочим, я стоял у истоков этой теории,— сказал этот человек, обладавший университетским дипломом из Трансильвании.— Нужно только изобрести очень чувствительный инструмент, вот и все». Гудини подписал с ним соглашение и выдал пару тысчонок на исследования. Другого человека, химика, он устроил с его склянками прямо в собственном доме. Со всех сторон к нему шли письма

от медиумов: кто просил брошку покойной мамаши, кто — прядь волос. Он подрядил целое детективное агентство выследить всех этих медиумов, чтобы отсечь шарлатанов. Проинструктировал агентуру, как различать обман — все эти трубы и трюковые снимки, спрятанные за шторами звуковые валики, системы столоверчения. Почему они затемняют комнаты, а? Потому что хотят что-нибудь спрятать, понимаете?

Активность Гудини дала свои результаты. Он скопил теперь столько энергии, что мог снова прекрасно работать. «Я очень окреп,— сказал он своему антрепренеру,— я так окреп, как вы даже и не представляете». Начались концерты. Те, кто видел Гудини в ту пору, говорили, что он превзошел самого себя. Он привел на сцену каменщиков, которые построили пятифутовую кирпичную стену, и он через нее прошел насквозь. Слон в натуральную величину исчезал от одного хлопка его ладоней. Пальцы его источали монеты. Из ушей вылетали голуби. Залезает в упаковочный ящик. Ящик затягивают и обматывают веревкой. Никакой драпировки, никакого понта. Ящик открывается. Пуст. Гудини бежит по проходу между кресел, прыгает на сцену. Глаза сверкают синими диамантами. Медленно отрывается от пола. Висит в шести дюймах над полом. Женщины в истерике. Внезапно валится на пол беспомощной кучей. Крики, свист, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают. Его сажают в стул. Просит вина. Держит в руке стакан. Вино обесцвечивается. Пьет. Стакан исчезает из руки.

Действительно, его представления сделались такими напряженными и странными, они так будоражили аудиторию, что матери старались поскорее увести детей из театра. Гудини этого не замечал. Он работал теперь за пределами своих физических возможностей и вместо трех объявленных трюков производил восемь или даже дюжину. Он всегда считался «презирающим смерть», но теперь репортеры нью-йоркских ежедневных газет следовали за ним по пятам из театра в театр в надежде, что он превзойдет сегодня все ожидания. Конечно, он делал и свой знаменитый трюк с молочным бидоном. Сорокаквартовый бидон наполняли водой. Или убегай, или помирай. Он ложился в стеклянный гроб, в котором не могла гореть и обыкновенная свеча, он лежал в нем чуть ли не шесть минут после того, как пламя свечи увядало. Крики, вопли. Женщины закрывали глаза и затыкали уши. Ассистентов просили остановить номер. Он выходил из гроба дрожащий, обливаясь потом. Каждый подвиг Гудини будто бы иллюстрировал его тоску по покойной матери. Он как бы умирал и возрождался, умирал и возрождался. Однажды на представлении в Нью-Рошелл его желание смерти стало столь очевидным, что люди подняли визг, а местный священнослужитель встал и закричал: «Гудини, вы экспериментируете с нечистой силой». Быть может, и в самом деле он не отделял теперь свою жизнь от своих трюков. Он стоял в своей длинной подпоясанной робе, пот блестел на коже, волосы закрутились в спиральки, просто-напросто существо из иной вселенной. «Леди и джентльмены,— проговорил он изнуренным голосом,— прошу вас, простите меня». Он хотел объяснить собравшимся, что его мастерство основано на древнем восточном режиме дыхания, позволяющем поддерживать жизнь в почти безжизненных ситуациях. Он хотел объяснить, что его подвиги выглядят намного более опасными, чем они есть на самом деле. Он поднял руки, взывая к тишине. В этот момент прозвучал взрыв такой силы, что театр затрясся на своем фундаменте и глыбы алебастра рухнули вниз с арки просцениума. Потрясенная аудитория в ужасе ринулась из театра, уверенная, что это его новый сатанинский трюк.

В действительности взрыв произошел за две мили, на западной окраине города. Взорвался «Эмеральдовский движок» — горящие его бревна подожгли поле через дорогу и озарили небо над Вустером. Пожарные команды ринулись сюда со всего города и из соседних коммун, но ничего уже нельзя было сделать. К счастью для города, дощатое здание станции находилось за четверть мили от ближайшего строения. Два волонтера были сразу доставлены в больницу, один из них с такими свирепыми ожогами, что вряд ли дотянул бы до конца дня. К моменту взрыва на станции было не менее пяти пожарников. Это был обычный для них час игры в покер.

К рассвету поле боя было выжжено, а здание превратилось в кучу обугленных бревен. Полиция оцепила всю зону, и детективы начали рыскать среди руин, разыскивая тела и пытаясь установить причину несчастья. Вскоре стало очевидным, что здесь были совершены предумышленные убийства. Из четырех тел, обнаруженных под развалинами, на двух были следы картечи, причинившей смерть. Лошади, впряженные в помпу, лежали там, где и повалились, на полпути из депо к дороге. Сигнальная машина, найденная под развалинами, показывала, что сигнал тревоги был получен из ящика на северной окраине города. Никаких признаков пожара между тем в городе той ночью не было. Из этих и других явлений, из отрывочных свидетельских показаний, а также из заключения доктора судебной медицины, прибывшего из Нью-Йорка, была восстановлена следующая картина событий. Приблизительно в 10.30, когда шестеро пожарников играли в карты, прозвенел сигнал тревоги. Картежники бухнулись в свои сапоги и напялили шлемы. Лошади были выведены из стойла и прицеплены к паровому движку. Упряжка там была сделана на специальных защелках, разработанных для пожарных команд компанией «Зетцер» из Хикори, Северная Каролина. Подобно всем пожарникам в мире «Эмеральдовский движок» гордился своей оперативностью. Под котлом у них всегда поддерживался малый огонь, так что можно было поднять давление пара до нужной цифры уже по пути к месту бедствия. Ни одна минута не пропала даром, и вот уже кучер, понукая лошадей, выводит упряжку на улицу. Кто-то стоял в темноте прямо у них на пути. Он или они были вооружены дробовиками, огонь был открыт прямой наводкой. Две лошади повалились тут же, третья прянула назад, раненная в шею, кровь из ее ран оросила улицу, как порядочный дождь. Кучер был застрелен на месте. Из трех пожарников на экипаже двое получили смертельные раны, а третий был задавлен опрокинувшимся котлом. Котел упал с чудовищным лязгом, усугубившим панику по соседству, вызванную громом ружей. Топка развалилась и рассыпалась, а горящие угли тут же воспламенили дощатое строение. Затем взорвался бойлер, и огненные бревна полетели через дорогу в поле. В этот-то момент артист Гудини как раз и потерял контакт со своей аудиторией.

Когда это случилось, наше семейство уже отошло ко сну. Впрочем, спали они плохо. Коричневый бэби плакал и звал маму, отвергал молоко от няньки. Отец услышал далекий взрыв и, выглянув из окна, увидел озаренное небо. Первой мыслью, конечно, было, что взорвались собственные фейерверки, однако это оказалось совсем другое направление. Еще до наступления утра он узнал что сгорело. По всему городу только и говорили о пожаре. В обеденный перерыв Отец пошел туда. Толпы стояли за полицейскими барьерами. Он обогнул ограждение и спустился с холма к пруду, где остов «форда-Т» то появлялся, то исчезал под водой, которую все не оставлял в покое

сильный восточный бриз. Несмотря на то что был только полдень, Отец отправился домой. Мать даже не глянула на него. Она сидела, держа на коленях бэби, в какой-то отрешенной задумчивости, будто бы бессознательно подражая покойной Саре. Отец подумал в этот момент, смогут ли они дальше распоряжаться своей жизнью.

К четырем часам пополудни мальчишка-почтарь швырнул на крыльцо трубку вечерней газеты. Убийца-поджигатель как будто был негр. Единственный выживший волонтер сказал об этом пришедшей в больницу полиции. Он был недвижим, когда приблизился негр и сорвал с него горящие тряпки. Однако это не было актом милосердия. Подняв за волосы голову пожарника, негр спросил, где прячется брандмейстер. Шеф Конклин оказался большим везунком, его не было на станции в тот вечер, однако было совершенно непонятно, откуда негр знал о Конклине и что он имел против него.

Профессионалы единодушно сходились на том, что это было групповое дело,— иначе кто же дал фальшивый сигнал тревоги? Газета тем не менее описывала несчастье как дело рук одинокого маньяка. Она советовала гражданам держать двери на запоре, усилить бдительность, но сохранять спокойствие.

Семья сидела за обеденным столом. Мать держала бэби на руках. Она теперь даже и не представляла себе, что может его оставить. Крохотные пальчики цапали ее руки. Наверху стонал от боли Прародитель. Обед, можно сказать, не состоялся в связи с отсутствием желающих поесть. Отец поставил перед собой граненый графин с бренди. Рюмку за рюмкой — уже три. Что-то у него застряло в глотке от всех этих дел, то ли кость, то ли комок пыли, без бренди от этого не избавишься. Рядом с графином лежал старый пистолет, спутник по филиппинской кампании. «Для нас сейчас тут в чужом пиру похмелье,— сказал он жене.— Бога ради, что тебя обуяло в тот день? У округа столько возможностей для неимущих. Ты плохо подумала, когда взяла ее в дом. Ради своей бабьей сентиментальности ты пожертвовала нами всеми». Мать внимала. За долгое их знакомство она не могла припомнить, когда он был столь далек от нее. Она знала, что он будет потом извиняться, но слезы тем не менее наполняли ее глаза и, наполнив, потекли по лицу. Завитки волос выбились из прически, упали на уши и на шею. Она была красива сейчас, как когда-то в девичестве. Он чувствовал какое-то тайное наслаждение от того, что заставил ее плакать.

Младший брат сидел, положив руку на ручку кресла и подперев голову. Указательный палец упирался в висок. Он смотрел на своего шурина. «Ты что, собираешься застрелить его?» — спросил он. «Я собираюсь защищать свой дом,— сказал Отец.— Здесь его ребенок. Если он сделает ошибку и придет к моим дверям, я тут за него возьмусь».— «Да почему же он должен сюда прийти,— проговорил МБМ бешеным голосом,— ведь это не мы осквернили его машину». Отец посмотрел на Мать. «Утром я пойду в полицию и расскажу им, как этот сумасшедший убийца был гостем в моем доме. Я расскажу им и то, что мы здесь держим его ублюдка». Младший Брат заговорил, дрожа: «Я думаю, что Колхаусу Уокеру Младшему будет приятно, если ты расскажешь полиции все, что ты знаешь. Ты можешь рассказать им, что он — тот самый негр-маньяк, чей автомобиль лежит на дне Пожарного пруда. Ты можешь рассказать им, что он тот самый парень, что был у них и подал жалобу на Уилла Конклина и его шоферов. Ты можешь рассказать, что это тот самый черный сумасшедший убийца, который недавно стоял на коленях у кровати умирающей от ран. Ты не забыл? Напомнить?» Отец сказал: «Надеюсь, я не совсем понял тебя. Надеюсь, ты не защищаешь эту дикость? Кто

виноват в Сариной смерти, кроме него самого? Кроме его проклятой черномазой гордыни? Небо свидетель, чем можно оправдать убийство людей и разрушение собственности?» Младший Брат вскочил столь резко, что стул его упал. Бэби проснулся и заплакал. МБМ был бледен и дрожал. «Что-то я не слышал подобной выспренности на Сариных похоронах,— воскликнул он.— Я не слышал тогда, чтобы ты говорил, что смерть и разрушение собственности непростительны».

Между тем Колхаус Уокер уже сам сделал кое-что для опознания собственной персоны. Оказалось, что через час после взрыва он сам, или другой чернокожий, оставил нужные письма в редакциях двух местных газет. Посовещавшись с полицией, редакторы решили не печатать их. Письма были написаны твердой рукой, и говорили они о событиях, приведших к атаке на пожарную команду. «Я хочу, чтобы презренный брандмейстер предстал перед моим судом. Я хочу, чтобы мой автомобиль был возвращен мне в его изначальной кондиции. Если эти условия не будут удовлетворены, я буду убивать пожарных и поджигать станции без устали. Если понадобится, я разрушу весь город». Издатели газет и полицейские чины решили, что в интересах общественного благополучия лучше не публиковать этих писем: одно дело одинокий маньяк, бунт — это другое дело. Отряды полиции, не поднимая шума, прочесывали негритянские кварталы и спрашивали о Колхаусе Уокере Мл. В соседних городах проводилась такая же операция. Отовсюду поступали одинаковые рапорты: это не из наших негров, это не наш.

Утром Отец на трамвае отправился в город. Он решительно прошагал по ступеням муниципалитета как известный и уважаемый член общины. Исследователь. Флаг, трепещущий на куполе здания, был, между прочим, его даром этому городу.

III

29

Родитель родился и вырос в Уайт-Плэйнс, штат Нью-Йорк. Он был единственным ребенком. В памяти остались пятна света и теплые дуновения летних дней в Саратога-Спрингс. Сады с дорожками отборного гравия. Он прогуливался со своей мамой мимо ярко выкрашенных больших отелей. Она была слабенькая женщина и умерла, когда ему было четырнадцать. Родитель посещал Гротон, а потом Гарвард. Штудировал немецкую философию. Зимой второго курса его занятиям пришел конец. Родитель Родителя, то есть Отец Отца, разбогател в Гражданскую войну, а затем усердно начал уничтожать свое состояние в далеко не блестящих по мудрости спекуляциях. Наконец состояние испарилось. Старик был из тех, кто не унывает в беде. Уверенность его росла с каждой потерей. В банкротстве он вообще казался сияющим триумфатором. Он умер внезапно, так и не потеряв своих совершенно необоснованных надежд. Его кипучесть, постоянный «завод» породили в одиноком сынке противоположные качества — осторожность, трезвость, усердие и хроническую меланхолию. Вступив в наследство, он вложил оставшуюся кучку долларов в маленькое производство фейерверков, принадлежавшее одному итальянцу. В конечном счете он завладел этим бизнесом, расширил продажу, купил фирму, производящую флаги, и зажил вполне комфортабельно. Он обеспечил себе даже армейские заказы во время филиппинской кампании. Он гордился своими успехами, но никогда, однако, не забывал, что учился в Гарварде. Он слушал лекции Уильяма Джеймса о принципах современной психологии. Страстью его стали исследования: он хотел избежать того, что великий Джеймс называл комплексом неполноценности перед самим собой.

Ныне каждое утро он просыпался с ощущением смертности своего существования. Он спрашивал себя, на чем была основана его мгновенная неприязнь к Колхаусу Уокеру — то ли на цвете его кожи, то ли на самом факте его ухаживания, сватовства, на той зыбкости всех стремлений этого человека, которая предполагает, что лучшее в жизни еще впереди. Отец замечал уже возрастные крапинки на тыльной стороне своей руки. Он ловил себя на том, что переспрашивает людей в беседе. Мочевой пузырь, казалось, постоянно жаждал опорожнения. Тело Матери не вызывало больше похоти, но лишь тихое признание. Он восхищался его формой и нежностью, но не воспламенялся больше. Он даже заметил, что она отяжелела в плечах. Когда после его возвращения из Арктики жизнь вошла в свою колею, они как-то незаметно соскользнули в нетребовательное компанейство, в котором он иногда чувствовал, что жизнь проходит мимо, а он остается лишь наблюдателем событий. Он находил безвкусицей ее хлопоты и суету в связи с замужеством черной девчонки. Теперь же, после Сариной смерти, он видел, что горе Матери направило всю ее заботу исключительно на цветного ребеночка.

Он не мог не признать, что испытал некое удовлетворение, отправляясь в полицию, хотя и понимал, что это не очень-то, не вполне достойное чувство. Быть может, компенсируясь, он представил Колхауса как мирного человека, сведенного с ума обстоятельствами жизни. Точно тот самый аргумент, который выдвигал дома Младший Брат. Отец подтвердил все факты, изложенные в письме Колхауса. Он был пианистом, сказал Отец в прошедшем времени. Он был всегда любезен и корректен. Полиция серьезно кивала. Им хотелось бы знать, ударит ли ниггер еще раз, вот главное. Отец высказался в том духе, что если уж Колхаус избрал этот путь, он будет идти им со всей решительностью и настойчивостью. Именно базируясь на показаниях Отца, полиция и начала организовывать оборону. По всем пожарным командам была расписана стража. Главные дороги были взяты под контроль. В штабе повесили карту, указывавшую размещение сил порядка. Полицейский департамент Нью-Йорка послал своих детективов в Гарлем.

Отец ждал критики со стороны полиции, однако ее не последовало. Они смотрели на него как на эксперта, знающего характер преступника. Они приветствовали каждый его приход и просили его участвовать в совещаниях. Зеленые стены полицейской штаб-квартиры — наверху светлые, ниже пояса темные; в каждом углу плевательница — культура. Отец согласился всегда быть под рукой, хотя это было самое деловое время года. Все товары, ракеты, искровики, римские свечи, хлопушки и бомбы нужно было доставить вовремя, к праздникам Четвертого июля. Он беспрерывно курсировал между своим офисом и полицией. К своему отвращению, он оказался в постоянной компании с шефом «Эмеральдовского движка» Уиллом Конклином. От брандмейстера всегда разило, как из помойной ямы, тяжкая участь дичи под прицелом превратила его цветущую ряшку в кусок вареной телятины. Однако он был довольно настырным. Лез ко всем с советами сногсшибательной мудрости: «Выкурить всех черномазых в округе — вот что надо сделать». Полиция вяло над ним подсмеивалась: «А вот взять да отдать тебя, Уилли, тому бычку-дурачку, а? По крайней мере, сразу станет тихо, а?» Конклин не понимал шуток: «Неужели мы не вместе, хлопцы? Да неужто вы такие жестокие, хлопцы?» — «Уилли,— сказал начальник,— нам пришлось ждать, пока сам черный не сказал нам, что кто-то из твоих пропойц заварил всю эту кашу, понял, тупая твоя башка, а ты еще тут задаешь вопросы».

Впрочем, характер и умственные способности брандмейстера вполне соответствовали этим местам. Круглые сутки через стеклянные двери шныряли тут разные сутяги, поручители, жулье, хулиганье, втаскивали за ворот алкашей, приводили воров в наручниках. Громкие голоса, мерзкая речь. Конклин торговал углем и льдом и жил с женой и несколькими ребятишками прямо над своей лавкой. До Отца дошло, что брандмейстер околачивается все время в полицейском участке, потому что здесь он чувствует себя в безопасности. Конечно, он никогда не признался бы в этом. Напротив, он хвастался собственными мерами предосторожности. Кроме двух постоянно дежуривших полицейских у него под рукой все время были оставшиеся в живых волонтеры из «Эмеральдовского движка». Конечно, с оружием. «Ниггер может с тем же успехом атаковать Уэст-Пойнт»,— говорил он.

Отца унижало общение с этим типом. Конклин разговаривал с ним не так, как с полицейскими. Следил за дикцией, вообще интеллигентничал; дескать, мы с вами люди одного круга. «Это трагическая штука, капитан,— говорил он Отцу,— вот именно: тра-ги-чес-кая». Однажды он даже положил Отцу руку на плечо — этакое братство по несчастью. Отец дернулся, как от тока.

Тем не менее он проводил все больше и больше времени в полиции. Ему было трудно находиться дома. В день похорон жертв нападения он отправился слушать речи. Полгорода вышло на похороны. Большой бронзовый крест покачивался над толпой. Уилли Конклин, однако, носа не высунул из участка. «Зачем мне это нужно? — говорил он.— Зачем это мне быть мишенью для винтовки?» Разговоры о его поведении пошли по городу. Затем сообщения о том, что убийства в «Эмеральдовском движке» явились результатом горечи и обиды, стали появляться в нью-йоркских еженедельниках, репортеры которых не слишком-то были озабочены интересами местной торговой палаты. «Уорлд» и «Сан» опубликовали текст письма Колхауса Уокера. Уилли Конклин повсеместно стал презираемой персоной. Его ненавидели как тупого виновника событий, приведших к гибели его собственных подчиненных. С другой стороны, находились элементы, которые презирали его как типа, который может только шугануть ниггера, но не может внушить ему страх божий.

Человек в котелке каждый день сидел теперь в автомобиле напротив дома на авеню Кругозора. Отцу об этом официально ничего не было сказано, но он сообщил Матери, что сам попросил об охране, понимая, что было бы не очень-то умно поделиться с ней соображениями о полицейской благодарности. Да-с, благодарность их за его активное и добровольное участие не поднялась выше установления слежки за ним самим. Любопытно, какие же подозрения он вызывал у них?

Точно через неделю после атаки на «Эмеральдовский движок» в шесть часов утра белый автомобиль медленно въехал в узкую мощенную булыжником улицу в Западной части города. В середине квартала помещалась Муниципальная пожарная станция № 2. Когда машина поравнялась со станцией, она остановилась. Двое заспанных полицейских, дежуривших у дверей, несказанно удивились, увидев, как из машины вылезли несколько негров с дробовиками и винтовками. У одного из полицейских хватило ума хлопнуться на землю. Другой как стоял с открытым ртом, так и стоял, глядя, как налетчики вытягивались в линию, будто расстрельный взвод. Прозвучала команда, ударил залп. Неосторожный полицейский был убит на месте, вылетели все стекла из дверей пожарной станции. Один из негров подбежал и швырнул несколько пакетиков внутрь.

Человек, подавший команду к залпу, приблизился к уцелевшему полицейскому, лежавшему в полном ужасе на тротуаре. Он вложил ему в руку письмо и сказал спокойно: «Это должно быть напечатано в газете». Затем все негры стали садиться в машину. Как только она отъехала, прогремели один за другим три взрыва, выбив все двери пожарной станции и превратив ее в ад кромешный. Пламя немедленно поглотило соседний салун и кофейную лавку, хозяин которой обычно поджаривал свои смеси прямо на улице. Горящие мешки кофейных зерен создали плотную желтую завесу. Аромат жареного кофе господствовал в округе несколько недель. Четыре трупа были обнаружены в развалинах, все муниципальные пожарники. Престарелая женщина в комнатах напротив умерла, как полагали, от страха. Пожарная машина и машина «скорой помощи» были разрушены.

Теперь город был по-настоящему в панике. Детей не пускали в школы. Крики возмущения против администрации. Против Уилли Конклина. Делегация пожарных направилась к муниципалитету и потребовала, чтобы им выдали оружие и привели к присяге, как вспомогательную полицию. Перепуганный мэр послал телеграмму губернатору штата, взывая о помощи. Репортажи о второй атаке Колхауса появились на первых полосах всех газет округа. Из Нью-Йорка репортерская братия валила стадами. Козлом отпущения был, конечно, начальник полиции, допустивший повторение ужасного террористического акта. Начальник сделал заявление репортерам, собравшимся в его офисе. Убийца использует автомобили, сказал он. Атакует и исчезает неизвестно куда. Уже несколько лет Ассоциация шефов полиции штата Нью-Йорк призывает к регистрации автомобилей и автомобилистов. Если бы такой закон существовал сегодня, мы бы мигом могли выследить чудовище, господа читатели. Разговаривая, шеф полиции опустошал ящики своего стола и курил сигару. Он проводил репортеров на крыльцо. На следующий день билль о регистрации автомобилей был представлен на рассмотрение законодателям штата.

На отцовской фабрике работали два негра — один дворником, второй сборщиком ракетных трубок. Ни тот, ни другой не пришли на работу после второго бедствия. Негров теперь нигде не было видно. Они сидели по домам за закрытыми дверями. Ночью полиция задержала на улице нескольких белых граждан, мирно прогуливавшихся с пистолетами и винтовками. Губернатор не оставил в беде мэра. Из Нью-Йорка прибыли два подразделения милиции, тут же начавшие расставлять свои палатки на бейсбольном поле за школой. Дети сбежались поглазеть на них. Специальные выпуски местных газет опубликовали второе письмо Колхауса. Оно гласило: «Белый нарост на теле общества, известный под именем Уилли Конклин, должен быть передан на мой суд. «Форд, модель-Т» с заказным брезентовым верхом должен быть возвращен в его прежней кондиции. До выполнения этих требований будут действовать законы войны. *Колхаус Уокер Мл., президент, Временное правительство Америки».*

К этому времени все вокруг жаждали узнать, как выглядит Колхаус Уокер. Газеты соревновались яростно. Репортеры штурмовали офис «Клеф-Клаб-оркестра» в Гарлеме. Увы, там не было ни единого фото ужасного пианиста. Херстовская «Американ» триумфально преподнесла читателям некий снимок, но это оказался портрет композитора Скотта Джаплина. Друзья Джаплина угрожали судом. композитор был в последней стадии неизлечимой болезни и не мог сам за себя постоять. Были принесены извинения. Наконец, газета в Сент-Луисе вышла со снимком, который был перепечатан повсюду. Отец установил подлинность портрета. На снимке был изображен молодой Колхаус, сидящий за пианино во фраке и в белом галстуке. Его руки ле-

жали на клавишах, он широко улыбался в объектив. Вокруг пианино скучковался весь бэнд — корнетист, тромбонист, банджист, скрипач и барабанщик, все в белых галстуках. Они позировали так, как будто они играют, на самом же деле, конечно, они не играли, а позировали. В газете вокруг головы Колхауса обвели кружок. Таким получилось это стандартное фото. Ирония, заключавшаяся в этом снимке улыбающегося негра с аккуратными усиками — и все вокруг такие приветливые и прямодушные,— была, конечно, слишком соблазнительна для газетчиков, чтобы удержаться от заголовков типа: «Улыбка убийцы», «Президент Временного правительства Америки в более счастливые дни».

При таком интенсивном расследовании трудно, конечно, было утаить роль семьи в этом деле. Репортеры — сначала по одному, по два, а потом целыми группами — стучались в дверь и, получив от ворот поворот, оседали лагерем под норвежскими кленами. Они хотели увидеть бэби, узнать что-нибудь, хоть что-нибудь, что угодно о Колхаусе и о его визитах к Саре. Они заглядывали в окна и даже осторожно пробовали замок на кухонной двери. Соломенные канотье, блокноты в карманах, они жевали табак и плевали вокруг, подошвами давили окурки в траве. Снимки дома появились в нью-йоркских газетах. Путаные сообщения о путешествиях Родителя. Жалюзи были наглухо закрыты, и Малышу не разрешалось выходить. В спертом воздухе по ночам стенал Прародитель.

Мать выдержала бы все это, если бы дебаты не начались вокруг бэби. Постоянный парад автомобилей медленно двигался мимо их дома, зеваки сворачивали шеи, стремясь поймать хоть какой-нибудь промельк в окнах. Чиновник из Совета по призрению детей высказал мнение, что незаконнорожденный и еще некрещеный ребенок должен быть сдан в один из великолепных детских приютов для сирот и подкидышей, которыми располагает штат Нью-Йорк. Мать держала бэби в своей комнате, не брала его больше вниз, а Малыша обязала присматривать за ним во время ее кратких отлучек. Она уже забыла, когда делала прическу, и ходила с распущенными волосами круглый день. Немало горечи было теперь направлено в адрес Родителя. «Почему бы вам не открыть ваш заветный сундучок,— спросила как-то она,— почему бы вам не помочь мне по-настоящему?» Это было косвенное нападение на его финансовый консерватизм, никогда прежде она этого себе не позволяла, хотя и знала, что они живут гораздо скромнее, чем могли бы. Отец был ужален этим замечанием, однако вышел вон и нанял повариху, а потом и другую женщину для стирки и домашней работы, а потом и садовника, а вслед за этим и няню для ухода за Дедом. Осажденный дом суетился теперь, как и подобает военному лагерю. Малыша все время увещевали не путаться под ногами. Он смотрел, как мама его ходит по комнате, руки сжаты впереди, волосы висят, вид изможденный и даже подбородок, всегда склонный к закругленности, теперь потерял свою щедрость и заострился.

Было очевидно, что нынешний кризис выветрил все духовное, все высокое из их существования. Раньше Отец втайне предполагал, что на семью ниспослан какой-то особый свет. Сейчас он чувствовал, что это уходит. Сам себе он казался тупым и тяжелым, способным делать только то, на что его толкали обстоятельства. Колхаус правил тут. А ведь он обошел весь мир — Арктика, Африка, Филиппины... Быть может, мир сейчас все больше и больше сопротивляется его толкованию? Он сидел в своем кабинете. Он думал теперь о всех — даже о Деде — только с точки зрения своего полного крушения. Он всегда относился к Прародителю с высокомерной любезностью, с какою принято относиться к сенильным старцам, хотя Дед до сих пор еще не

был таковым. От Младшего Брата он был отчужден полностью. Что касается жены, то он чувствовал, как решительно и бесповоротно падает в ее глазах.

Он обвинял себя и в пренебрежении к сыну. Он никогда не беседовал с Малышом и не предлагал ему свою компанию. Ему казалось, что он всегда и непреложно присутствует в жизни мальчика как модель для подражания. Какая ограниченность, какая тупость, особенно у человека, который сам всю жизнь старался ничем не походить на своего отца. Он пошел искать Малыша и нашел его на полу в его комнате читающим в вечерней газете отчет о вчерашней победной игре нью-йоркских бейсболистов под мастерским руководством тренера Джона Джей Мак-Гроу. «Ты хотел бы посмотреть на игру?» — спросил он. Мальчик вздрогнул и поднял глаза. «Я как раз сейчас об этом думал»,— ответил он. Отец пошел в комнату Матери. «Завтра,— объявил он,— мы с Малышом едем на бейсбол». Он сказал это с такой решимостью и уверенностью в своей правоте, что она прикусила язык и ничего не возразила, а хотелось ей сказать ему, что он идиот. Когда он вышел из комнаты, она подумала, как далеко все это отстоит от того, что принято называть любовью.

30

Когда на следующий день Отец и Малыш бодро вышли из дома и зашагали к железнодорожной станции, за ними, конечно, увязалась парочка репортеров. «Мы едем на матч «Гигантов»,— сказал им Отец.— Это все, что я могу заявить».— «Кто сегодня на подаче?» — спросил один из репортеров. «Руби Марквард,— сказал Малыш.— Он трижды выигрывал последний раз».

Какой был бодрый солнечный денек! Все так спортивно, и большие белые облака бодренько мчались по сверкающему небу. Когда трамвай пересекал реку, за которой был уже стадион, они увидели возле отвесных деревянных трибун несколько огромнейших деревьев, на которых явно не хватало листьев, что было странно в это время года. Вместо листьев на ветвях деревьев гнездилась масса фигур в котелках — джентльмены, которые предпочли не платить за билет, но наблюдать игру с этой экзотической позиции. Отец почувствовал, как Малыша охватывает возбуждение. Он был невероятно рад, что они вырвались из Нью-Рошелл. На территории парка они увидели толпы, устремлявшиеся вниз по лестницам надземки, кебы, вываливавшие своих пассажиров, мальчишек, ястребками летавших повсюду и торговавших программками; мощная хриплая энергия заполняла пространство. Трубили автомобильные рожки. Вагоны надземки, проходя над головой, испещряли солнечную улицу пятнами тени Отец купил дорогой пятидесятицентовый входной билет и отдельно приплатил за ложу; они вошли на стадион и заняли свои места сразу за первой базой в нижнем ряду, где им пришлось в течение двух подач закрывать глаза от солнца.

«Гиганты» были одеты в белую форму с черными полосами. Их менеджер Мак-Гроу носил толстенную черную вязаную куртку поверх своего боченочка. Две буквы «Н. Й.» красовались на рукаве Это был драчливый коротышка. Как у всех в команде — носки с широкими горизонтальными полосами, плоская кепочка с козырьком и пуговицей на макушке. Соперниками на этот раз были «Бостонские смельчаки», которые носили темно-синюю, застегнутую до шеи форму со стоячим воротничком. Свежий ветер вздымал пыль на площадке. Игра началась, и Отец тут же пожалел, что они выбрали эти места. Грязные проклятия игроков свободно долетали до ушей его сына

Принимающая команда выкрикивала непристойные насмешки подающему. Папаша Мак-Гроу, вождь своей команды, стоя у третьей базы, особенно усердствовал, будто спуская с цепи своры самых мерзких эпитетов в адрес соперников. Его скрипучий голосишко разносился по всему стадиону. Толпа в ее страстях вполне соответствовала спортсменам. Игра шла очко в очко, вела в счете то одна команда, то другая. Бегун, проскользнув во вторую базу, сбил с ног второго бэйсмена «Гигантов». Последний вскочил вопя, закружил хромая,— нога его кровоточила профузно. Обе команды выскочили из своих убежищ, и игра была остановлена на несколько минут, пока все дрались и катались в грязи под неистовое одобрение трибун. На пару подач питчер «Гигантов» Марквард, казалось, потерял контроль над собой. Забыв о своих обязанностях, он все старался угодить мячом в глаз бостонскому бэйсмену. Удалось. Подбитый приятель вскочил, однако, с земли и ринулся к Марквард, размахивая своей битой. Снова опустели «убежища», и снова игроки катались по полю, поднимая тучи пыли. Отец отвлекся к программке. На стороне «Гигантов» среди других сражались Меркл, Дойл, Мейерс, Снодграсс и Герцог. Бостонская команда похвалялась стоппером Кроликом-Мэренвиллом, который, согнувшись и подметая опущенными руками траву, бродил вокруг своей позиции, напоминая скорее не спортсмена, а человекообразную обезьяну. Первый бэйсмен там назывался Мясник Шмидт, у других тоже имена были не слаще: Кокриен, Морен, Гесс, Рудольф. Все это неизбежно вело к заключению, что профессиональный бейсбол находился в руках иммигрантов. Когда игра возобновилась, Отец стал вглядываться в каждого бэйсмена — все это были явно дети заводов и пашен: грубые лица, оттопыренные, как ручки кувшина, уши, лапы как ветчина, щеки вздуты табачной жвачкой, все мыслительные способности отданы игре. Игроки в поле носили еще какие-то огромные хлопающие перчатки, придававшие им что-то клоунское. Сухая пыль площадки была испещрена харкотиной. Горе борцам из Антиплевательной лиги! На стороне бостонцев был мальчик, подававший биты в «убежище». Мальчик этот на деле оказался карликом, он носил форму команды, соответственно уменьшенную. Своим сопрано он выкрикивал гадости с не меньшим усердием, чем другие. Он подставлял голову своим игрокам, и они перед тем, как взять биту, касались его макушки. Карлик был своеобразным талисманом «Смельчаков». У «Гигантов» карлика не было, но зато имелось другое престраннейшее существо, тощее, в обвисшей форме, со слабыми глазками, которые плохо держали фокус. Оно медленно двигалось в какой-то летаргической пантомиме, имитируя движения игроков и бросая воображаемый мяч. Оно выглядело как пожиратель дерьма. Иногда оно начинало размахивать руками в манере ветряной мельницы. Отец стал следить за ним больше, чем за игрой: определенно несчастное это создание было домашним животным «Гигантов», таким же, как карлик у их соперников. В скучные моменты игры, а таких было немало, толпа улюлюкала ему и аплодировала его ужимкам. Он и в программе был указан как талисман. Чарльз Виктор Фауст — талисман. Дурак, воображавший себя игроком, видимо, развлекал команду, и потому она ставила его в свою заявку.

Отец вспомнил бейсбол в Гарварде двадцать лет назад, когда игроки, обращаясь друг к другу, говорили «мистер», играли с азартом, но как спортсмены, и носили осмысленную униформу. Зрителями были студенты колледжей, и никогда их не набиралось больше сотни. Ностальгия встревожила его. Он всегда считал себя прогрессивным. Верил в превосходство республиканского строя. Полагал, что негры, под должным руководством конечно, могут нести любое

бремя человеческой цивилизации. Он отвергал любую аристократию за исключением аристократии духа и личных усилий. Ему казалось, что потеря отцом всего состояния дала ему определенное преимущество: критическое отношение к предрассудкам своего класса. Увы, воздух на этом игровом стадионе под открытым небом смердел, как сортир в салуне. Сигарный дым, пронизанный наклонными лучами солнца, казался какой-то дымящейся каверной в атмосфере. В этой каверне, в середине грязной вселенной, он сидел, зажатый со всех сторон десятитысячным хором, ревущим ему в уши хвалу и хулу. Безжизненный ветер толпы.

За сиденьями на открытой трибуне возвышался огромный демонстрационный щит, на котором отмечалось число аутов и подач, пробежек и ударов. По подмосткам двигался человек и подвешивал нужные цифры, показывавшие ход игры. Отец утонул в своем стуле. Он забавлялся иллюзией, что все происходящее вокруг вовсе не бейсбол, но обозначенная в цифрах проекция его собственных проблем, некий код его жизни, требующий расшифровки.

Он повернулся к сыну. «Ну, что тебе нравится в этой игре?» Малыш не отрывал взгляда от площадки. «Одно и то же повторяется раз за разом,— сказал он.— Питчер бросает мяч, вроде старается одурачить бэттера, будто тот может отбить».— «Иногда бэттер отбивает»,— сказал Отец. «Тогда питчер в дураках»,— сказал Малыш. Как раз в этот момент бостонский забойщик Хаб Пердью бросил питч, а нью-йоркский бэттер Рыжий Мэррей отбил его. Мяч взмыл в воздух высокой узкой аркой, и на мгновение показалось, что он там застыл. С самого начала Отец понял, что мяч летит прямо на них. Малыш подпрыгнул и вытянул руки. Взрыв восторга за спиной. Мальчик стоял, подняв руки, обтянутый кожей сфероид покоился в его ладонях. В этот момент весь стадион смотрел на него. Потом подслеповатый дурак, воображавший себя игроком, приблизился к ограде и уставился на Малыша. Руки его беспрерывно почесывали тело под обвисшей фланелевой рубахой. Абсурдно маленькая шапчонка на головище макроцефала. Малыш протянул ему мяч, и он взял его с мягкой, почти нормальной улыбкой.

Любопытное примечание. В конце этого сезона, когда «Гиганты» уже выиграли вымпел и были в беззаботном настроении, они дали этому бедному малому Чарльзу Виктору Фаусту сделать настоящую подачу в настоящем матче. На какой-то момент реальность воспламенила его замедленные иллюзии. Вскоре после этого он прискучил игрокам, Мак-Гроу перестал считать его добрым талисманом, у него конфисковали форму и отослали куда глаза глядят. Он был возвращен в приют умалишенных и там несколько месяцев спустя умер.

31

К концу матча Отца охватило страшное беспокойство. Он чувствовал, что сделал глупость, оставив жену одну. Однако, когда толпа понесла их к выходу, сын вдруг взял его за руку, и это вызвало в нем мощный подъем духа. На открытой площадке трамвая он обнял Малыша за плечи. Прибыв в Нью-Рошелл, они бодро прошагали от станции до дома, вошли с громкими «хелло, хелло», и впервые за долгое время Отец почувствовал себя в своей тарелке. Мать появилась из глубин дома. Волосы ее были уложены, сама она казалась ухоженной, веселой и опрятной. Она обняла его и сказала: «А мы вам кое-что сейчас покажем, ну-ка». Лицо ее сияло. Она отступила в сторону, и в холл, держась за юбку горничной, *вошел* Сарин ребеночек. Он топотал ножками, качался, хватаясь за юбку, выравнивался и с три-

умфом смотрел на Отца. Все хохотали. «Мы не можем удержать его,— сказала Мать.— Только и хочет — топать».

Малыш присел на корточки и протянул руки, бэби тогда вырвал свою руку у горничной и шатко устремился к нему, все время наращивая скорость, теряя равновесие и, наконец, падая в счастливом захлебе прямо на грудь Малышу.

Что-то вроде прежней безоблачности пронесли они все через этот вечер, а ближе к полуночи в тишине спальни Мать и Отец стали обсуждать ситуацию. Конечно, у Колхауса были шансы какое-то время оставаться на свободе. В этом случае их ожидало нарастающее отчуждение. Уже и сейчас некоторые знакомые Матери, ее товарки по Лиге, реагировали на их неожиданную известность соответствующим образом. Ее ужасало, что движимые горечью и гневом люди начнут требовать передачи Сариного ребенка под протекцию мстительных властей. Отец не стал отклонять подобную возможность. Они оба в этот момент так чудесно владели собой, так ощущали друг друга, что им вовсе не было нужды разыгрывать фальшивый оптимизм. Отец сказал даже, что власти могут пойти и на то, чтобы использовать бэби как аргумент для того, чтобы принудить Колхауса сдаться. «Мы должны уехать отсюда,— сказал Отец,— вот что нам надо сделать — уехать».— «Но как же мы уедем? — вздохнула Мать.— Мой отец — инвалид. Малыш ходит в школу, в доме полно прислуги, и мы несем за всех ответственность...» Указательным пальцем правой руки она загибала пальцы на левой, перечисляя все эти сложности. Отец ощущал, что она теперь доверчиво ждет его решения. Он сказал: «Предоставь все это мне». То, что он взял на себя всю ответственность, наполнило ее теплым чувством. Так или иначе они были друзьями долгой уже выдержки. Эту ночь они провели вместе. Она позволила ему заняться любовью и даже отвечала движениями рук и бедер, ласкаясь, ободряла его усилия, и он впервые за много месяцев почувствовал, что она оценила его крепкое мужество.

Ответом на все вопросы, казалось, был Атлантик-Сити. Отец обнаружил там чудесный отель «Волнолом», в котором были комнаты с видом на океан, а брали за это несколько меньше, чем можно было предположить. До побережья Южного Джерси можно было добраться за несколько часов по рельсам — не так близко, но и не так уж далеко, чтобы нельзя было вернуться в воскресенье вечером к любимому бизнесу. Перемена воздуха всем пойдет на пользу. Дедушкин доктор, который имплантировал в сломанное бедро металлический внутренний шплинт, советовал старику передвигаться на костылях или по крайней мере в кресле-каталке, ни в коем случае не залеживаться — нет ничего вреднее для людей его возраста. Малышу придется прервать занятия на несколько недель раньше, но это не страшно, так как паренек чрезвычайно сведущ в своих науках. Дом будет поддерживаться на полном ходу оставшейся прислугой, поскольку Отцу так или иначе придется бывать в Нью-Рошелл. С собой на побережье Мать возьмет лишь экономку, флегматичную и совестливую негритянку, присутствие которой ко всему прочему будет еще и объяснять наличие коричневого бэби.

Итак, вооружившись планом действий, семейство готовилось к отъезду. В доме поддерживался веселый дух, который временами достигал даже истерических вершин, по мере того как ситуация в городе становилась все более уродливой. Новый начальник полиции, отставной инспектор Нью-Йоркского отдела по расследованию убийств, предложил свою собственную, вполне зловещую линию расследования. В первый же день он сообщил репортерам, что взрывчатка, которой подорвали Муниципальную пожарную станцию № 2, была

очень изощренной смесью пороха и гремучей ртути, она была составлена определенно знатоком своего дела, но уж никак не пианистом рэгтайма. «Я спрашиваю, где этот негр берет автомобили. Я спрашиваю, где он берет деньги для того, чтобы вооружить свою банду, да еще и заплатить им хорошеньким чистоганом. Где он достает деньги? Где он отсиживается между своими дикими атаками на этот тихий город? Я знаю полдюжины красных, которых с удовольствием посадил бы к себе под замок. Пари, я бы получил тогда ответы на свои вопросы».

Эти предположения о заговоре радикалов, распространяясь все шире и шире, накалили и без того уже подогретый городской люд. Нападения на негров, осмеливавшихся высунуться из своего квартала. Патрули милиции на улицах. Фальшивые пожарные тревоги по всему городу. С грохотом вываливались на тихие улицы пожарные движки, полицейский эскорт, обязательная свита репортеров в автомобилях. Репортеры были повсюду, они возбуждали в городской общине болезненное, разбухшее самоощущение. Воскресные службы в церквах никогда не собирали столько народа. Неотложная помощь городской больницы сообщала о росте числа несчастных случаев прямо на дому. Люди то и дело обжигались, калечились острыми предметами, цепляясь за коврики, валились с лестниц. Несколько мужичков, прочищавших старое оружие, получили серьезные ранения.

Тем временем газеты без устали убеждали власти поднять из пруда «модель-Т». Возможно, и даже скорее всего, они жаждали новых снимков. Наконец, к пруду привезли кран, и автомобиль явился на поверхность как чудовищный артефакт. Грязь бородищей текла с него, вода и слизь лились с крыши. Он был перенесен на берег и оставлен там для всеобщего обозрения.

В этом деле у властей, однако, случился прокол. «Форд» стоял на берегу как осязаемое доказательство обиды черного автомобилиста. Изуродованный и осквернённый, он оскорблял своим видом всякого, знающего толк в технике, любящего машины, а таких в Америке немало. Разобравшись в этом, мэр и Совет старейшин выпустили новую серию обвинений в адрес цветного маньяка, где говорилось, что любые переговоры, кроме решительного требования полной капитуляции, будут означать любезное приглашение каждому ренегату, радикалу и негру издеваться над законом и плевать на американский флаг.

Между тем, если бы у кого-нибудь сейчас и возникла идея вступить в переговоры с Колхаусом — а она ни у кого не возникала,— никто не знал бы, как с ним связаться. Убийца не объявил, сколько времени он отпустил городу до следующей атаки. Газета «Уорлд» наняла психиатров, и те, проанализировав второе письмо Колхауса, пришли к заключению, что оно свидетельствует об умственном расстройстве и что любые переговоры с человеком, именующим себя «Президентом Временного правительства Америки», были бы трагической ошибкой.

И все-таки одна практическая и очень веская идея набирала силу в Нью-Рошелл. Все классы общества требовали изгнания Уилли Конклина. Некоторые раздраженные граждане по этому поводу вступили даже с ним в прямой контакт. Брандмейстер приволок в полицейскую штаб-квартиру несколько анонимных писем, в которых авторы предлагали ему начать немедленно паковаться, а буде он не сделает этого, они, авторы, возьмут на себя работу Колхауса Уокера. Как и все без исключения шаги Конклина, предъявление этих писем в полицию было ошибкой. Они отнюдь не вызвали к нему сочувствия, как он надеялся,— напротив: полиция стала обдумывать, как бы осуществить эту

плодотворную идейку на деле. С самого начала Конклин не способен был понять, почему все люди с белой кожей не чувствуют к нему глубочайшего восхищения. Чем более непопулярным он становился, тем более жалким было его замешательство. Ничтожный малый не мог даже уразуметь, что в требовании публики кроется не только желание разрядить ситуацию, но и возможность для него самого спасти свою шкуру. Он чувствовал себя мучеником и винил во всем «негролюбов», хотя они теперь как будто составляли полностью все население города. Он напивался до оцепенения и тупо жаловался окружающим. Тем временем его супружница готовилась к отъезду.

Так, хотя никто, собственно говоря, не овладел ситуацией и все — муниципалитет, полиция, милиция штата, граждане,— все чувствовали свою уязвимость перед лицом черных герильеров, тем не менее две вещи были сделаны при кажущемся единодушии: «модель-Т» была поднята на поверхность — раз; обе местные газеты дали огромнейшие заголовки о том, что семья Конклина отчалила и укрылась в Нью-Йорке,— два. При желании Колхаус Уокер мог воспринять это как намек на возможность переговоров. Конечно, никаких уступок не было сделано, улицы по-прежнему кишели вооруженной стражей, но ситуация все-таки изменилась. Пусть он сожжет теперь всю метрополию Нью-Йорка, говорила одна передовица, или поймет, что любой человек, который берет закон в свои руки, выступает против цивилизованного и исполненного решимости народа и позорит ту самую справедливость, которую он хочет установить силой.

По контрасту с происходившим отъезд семьи прошел совершенно незамеченным. Отец организовал отправку багажа — пары огромных плетеных сундуков, шкафа для костюмов, комода с медными углами, нескольких чемоданов и шляпных коробок,— и в один из дней, с первыми лучами рассвета, они покинули Нью-Рошелл. Тем же утром в Нью-Йорке на Пенсильванском вокзале они сделали пересадку на поезд в Атлантик-Сити. Вокзал был построен по проекту фирмы Стэнфорда Уайта и Чарльза Маккима. Каменные колоннады фасада, смоделированного по образцу римских бань Каракаллы, распространялись от 31-й до 33-й улиц и от Седьмой до Восьмой авеню. Носильщики выкатили на кресле Дедушку. Мать была с ног до головы в белом ансамбле. Прачка несла Сариного бэби. Вокзал внутри был столь огромен, что говор толпы казался лишь глухим бормотанием. Малыш смотрел на потолок, на своды зеленого стекла, на арки, поддерживаемые стальными ребрами и стройными стальными колоннами. Свет, идущий через крышу, напоминал мягкую кристаллическую пыль. Спускаясь к перронам, Малыш смотрел во все глаза и видел на огромном пространстве впряженные уже локомотивы, в нетерпении, среди пара, криков, звона колоколов, ожидавшие, когда их выпустят на свободу, в город.

32

А где же был Младший Братец? Его отсутствие, последовавшее за столь страстной защитой Колхауса, никого не озадачило. В доме привыкли к его болезненному нраву. Он появлялся периодически на фабрике флагов и фейерверков и никогда не забывал получить жалованье. При отъезде семьи он, однако, не присутствовал, и Мать оставила ему записку в холле. Записка эта так и не была распечатана.

Спустя несколько дней после атаки на «Эмеральдовский движок» Младший Брат приехал в Гарлем, в похоронное бюро, откуда отправилась в последний путь Сара. У дверей его встретил владелец. «Я бы очень хотел поговорить с мистером Колхаусом Уокером,— сказал Младший Брат.— Я буду ждать каждый вечер под аркадой Манхэттен-

казино», пока он не убедится, что может принять меня без опаски». Могильщик выслушал его равнодушно и не выказал ни сном ни духом, что понимает, о чем идет речь. Тем не менее молодой человек занял свою позицию у «Казино» и каждый вечер теперь стоял там, выдерживая взгляды черных хозяев заведения и провожая глазами грохочущие поезда надземки. Погода была теплая, и после начала концерта двери в театре открывались, и тогда можно было услышать синкопированную музыку Джима Европы и аплодисменты зрителей. Разумеется, Колхаус оставил свою работу и съехал с квартиры, так что для полиции он как бы вроде и не существовал вовсе.

На четвертую ночь его бдения к нему приблизился хорошо одетый цветной юноша и попросил «дайм», то есть двадцать пять центов. Не выказывая удивления тем, что столь благополучный молодой господин клянчит монетки, МБМ покопался в карманах и извлек просимое. Парень улыбнулся и сказал, что у него там, кажется, в карманах масса мелочи — не может ли мистер добыть еще четвертак? Младший Брат посмотрел ему в глаза и увидел там внимательнейшую оценку, взгляд человека, облеченного властью принимать решения.

На следующий вечер МБМ уже ждал этого юношу, но не дождался. Однако он чувствовал, что кто-то следит за ним, и, когда публика вошла в театр, увидел другого черного юношу, одетого, как и первый, в костюм и галстук, с «дерби» на голове. Юноша пошел прочь, и МБМ импульсивно последовал за ним. Он долго шел за ним вдоль рядов замызганных домов, через перекрестки, мощенные кирпичом, за угол, за угол, еще раз за угол. Он был уверен, что некоторые места они проходили по нескольку раз. Наконец, на какой-то тихой улице юноша скрылся за цокольной дверью кирпичного дома. Дверь осталась открытой. МБМ вошел внутрь, открыл еще одну дверь и увидел прямо перед собой Колхауса Уокера, восседающего за столом со скрещенными на груди руками. Вокруг него словно стража стояли несколько негритянских юношей, одетых в его благопристойной манере — отутюженный костюм, чистый воротничок, галстук, булавка. Младший Брат сразу узнал среди них двоих — вчерашнего, попросившего монету, и сегодняшнего. Дверь за ним закрылась. «Что вам угодно?» — спросил Колхаус. Младший Брат был готов к этому вопросу. Он составил в уме целое заявление о справедливости, цивилизации, о праве каждого человеческого существа на достойную жизнь. Увы, он все это позабыл. «Я умею делать бомбы,—сказал он.— Я знаю, как взрывать».

Таким образом, Младший Брат Матери определил свою карьеру нарушителя закона и революционера. Некоторое время семья и понятия не имела об этом. Единственное, что хоть как-то связывало его с тем негром, было исчезновение со склада на отцовской фабрике нескольких бочонков пороха и пакетов с разного рода сухими химикатами. Об этой краже было должным образом сообщено полиции, а та должным образом о ней забыла, так как была очень занята делом Колхауса. В течение нескольких дней МБМ перетаскал все эти дела в цокольный этаж кирпичного дома, где потом и приготовил три пакета чудесной разрушительной силы. Идя еще дальше, он сбрил свои светлые усики, обрил голову и вычернил лицо жженой пробкой. Не останавливаясь и на этом, он подрисовал себе преувеличенные губы и стал выкатывать глаза, не замечая некоторой иронии у последователей Колхауса. Дальше — больше, он собственноручно швырял бомбы в Муниципальную пожарку № 2, стремясь доказать свою боевую силу окружающим и прежде всего самому себе.

Вся эта таинственная история доведена до нас собственной рукой Младшего Брата. Он вел дневник со дня своего прибытия в Гарлем

по день смерти в Мексике менее года спустя. Колхаус Уокер милитаризировал свою тризну. Его скорбь по Саре превратилась в церемонию мщения на манер древних воинов. Младшему Брату иногда казалось, что напряженный особенный взгляд Колхауса устремлен далеко и видит что-то за могилой любимой. Его власть над молодыми сподвижниками была абсолютной — может быть, потому, что он не просил их подчиняться. Никто из них не был наемником. Их было пятеро, кроме МБМ; старшему — за двадцать, младшему не было и восемнадцати. Их уважение к Колхаусу граничило с благоговением, как к батюшке. Они жили все вместе в цоколе кирпичного дома и сдавали в общий котел свои заработки клерков и посыльных. Младший Брат добавлял к котлу свои сравнительно щедрые конверты с фабрики флагов и фейерверков. Скрупулезный подсчет расходов. До последнего пенни. Подражание Колхаусу в одежде выработало своеобразную униформу — костюм и котелок-«дерби». Они вели себя как солдаты на карауле.

Ночами они обсуждали ситуацию, куда она может их привести, изучали реакцию прессы, засиживались допоздна.

Колхаус Уокер никогда не был груб или автократичен, напротив: он был всегда чрезвычайно любезен со своими последователями и всегда спрашивал их совета. Он старался не показывать им своей скорби. Его сдержанная ярость намагничивала их. Он просил, чтобы в доме не было никакой музыки. Ее не было. Ни одного инструмента. Его просьбы были для юношей приказом. Они принесли несколько коек и спали все вместе, как в армейском бараке. Пищу готовили по очереди, таким же образом поддерживали и необходимую чистоту. Они полагали, что вскоре им предстоит умереть на глазах у всего народа, на миру, где, как известно, и смерть красна. Эта уверенность вызывала в них драматическое, приподнятое самосознание. Младший Брат с его склонностями полностью интегрировался в этой коммуне. Он стал одним из них. Каждое утро он просыпался с ощущением торжественной радости.

В обеих своих атаках Колхаус использовал автомобили, которые ребята воровали на Манхэттене. Машины потом возвращались в гаражи без всяких повреждений, а нью-йоркская полиция, получавшая заявления об этих странных кражах, ну никак не могла связать их с событиями в Вустере. После того как снимок Колхауса появился в газетах, он позволил одному из юнцов обрить себе голову и удалить усы. Изменение оказалось потрясающим — обритая голова была впечатляюще массивной. Младший Брат воспринимал это не как маскировку, но как приготовление к последней решительной битве. Через день или два в газетах появились снимки вытащенной из пруда «модели-Т». Ощутимое доказательство силы. Тихое ликование в цокольном этаже. К этому времени подоспели и сообщения о бегстве Уилла Конклина. «Жаль,— сказал один из юнцов,— если бы мы захотели, Уилли давно был бы уже жмуриком. Мы потеряли свой шанс».— «Не-не, братишка,— возразил другой,— пусть он лучше будет жив. Он будет для них как чума. Сейчас мы устроим в этом городишке такого шороху, что после этого любой фраер трижды подумает, прежде чем затеет какую-нибудь кутерьму с цветным народом».

33

Ах, какое это было лето! Каждое утро Мать открывала занавешенную белым стеклянную дверь и смотрела, как солнце встает из моря. Чайки скользили над бурунами, а потом садились на пляж. Поднимающееся солнце съедало тени на песке, и казалось, что сам со-

став земли меняется, а к тому времени, когда Отец в смежной комнате был на ногах, благосклонное голубое небо уже сияло, и пляж был белым, и первые купальщики уже шли к прибою попробовать воду кончиками пальцев.

Завтрак накрывали в отеле на крахмальных скатертях, сервировка — тяжелое серебро. Они вкушали половинку грейпфрута, рубленые яйца, горячий хлеб, вареную рыбу, ломтики ветчины, колбасу, всякие разные джемы, кофе и чай. И все это время, пока еда вкушалась, океанский бриз поднимал шторы и пробегал соленой дрожью вдоль высокого лепного потолка. Малыш жаждал непрестанного движения — сорваться, убежать. Через несколько дней ему было разрешено раньше других вставать из-за стола, и все премило удивлялись, как быстро, почти мгновенно, он оказывался за окнами, несся по широким ступеням, держа свои туфли в руке. Уже были кое-какие шапочные знакомства на набережной. Естественно, в конечном счете начнутся беседы, пока — лишь мягкое любопытство, взгляды, оценка туалетов. Торопиться было некуда. Они чувствовали, что выглядят преуспевающими и даже шикарными. Мать накупила себе на набережной чудной одежды, восхитительные летние ансамбли, белое, желтое. В послеполуденном размягчении она позволяла себе прогуляться без шляпы, под одним солнечным зонтиком. Лицо ее было омыто мягким золотым светом.

Они купались ближе к вечеру, когда воздух останавливался и жара усугублялась. Купальный костюм Родительницы был достаточно скромным, но все равно ей потребовалось несколько дней, чтобы к нему привыкнуть. Он был, конечно же, черным, с юбочкой и панталонами ниже колен, и дополнялся купальными туфлями. Однако он все-таки экспонировал лодыжки, а также и шею — почти до лифа. Мать настояла, чтобы они купались за несколько сот ярдов от ближайших пляжников. Они устраивались под отельным зонтом с оранжевыми буквами вдоль зубчатого края. Негритянка в соломенном кресле сидела сбоку. Малыш и бэби занимались крохотными крабами, которые закапывались в песок, оставляя пузырчатый след на мокрой поверхности. У Отца был купальный костюм без рукавов, с горизонтальными белыми и синими полосами, которые делали его ляжки похожими на цилиндры. Родительница находила безвкусным смотреть на очертания его мужественности, когда он выходил из воды, и потому в эти моменты она отворачивалась. Родитель любил заплывать. За бурунами он ложился на спину, пуская струи воды вверх, словно кит. Он выскакивал на песок, шатаясь под ударами волн, смеясь, волосы облепляли ему голову, с бороды капало, костюм обтягивал его с полным бесстыдством. Она чувствовала мгновенные уколы отвращения или неприязни — она не могла разобраться в этих мимолетностях. После купания все отправлялись отдыхать. Она с облегчением снимала свой костюм и смывала соль с кожи. Она была столь нежна, что пляж представлял для нее некоторую опасность. Все же, охладившись своими омовениями, напудрившись и надев что-нибудь легкое, свободное, она ощущала, что солнце накапливается в ней, бродит в крови, зажигает ее, словно море в полдень, когда там горят миллионы бриллиантовых вспышек. Вскоре Родитель закрепил за собой этот час, как время для амура. Он готов был заниматься любовью похотливо и бездумно каждый день, если бы она позволила. Она молча сопротивлялась этой узурпации, не так, как в прежние дни, но с каким-то новым самосознанием, как будто ее кожа сама отталкивала его притязания. Она много думала об Отце. События, происшедшие после его возвращения из Арктики, его реакция на них разрушили ее веру в него. Спор, который у него произошел с братом,

еще звучал в ее ушах. Все же иногда, моментами, а то и целыми днями она любила его по-прежнему, с чувством собственности, неизменности, как в те времена, когда она полагала, что браки фиксируются на небесах. Впрочем, она и раньше всегда чувствовала, что у них разное будущее, что жизнь, которую они ведут вместе, лишь род какой-то подготовки к тому времени, когда производитель фейерверков и его жена вырвутся из своего респектабельного существования к подлинной жизни. Конечно, она не знала, в чем будет заключаться эта жизнь, никогда не знала. Да больше уже и не ждала ее. Во время его отсутствия, когда ей пришлось принимать самой некоторые деловые решения, все таинственное могущество слова «бизнес» рассеялось для нее, и она увидела его тоскливую будничную суть. Не предполагая больше увидеть себя когда-нибудь снова красивой и грациозной, она пришла к выводу, что и Отец, который, может быть, когда-то во время ухаживания и воплощал для нее неопределенные любовные идеалы, теперь постарел и поскучнел, как-то отупел от своей работы, а может быть, и от своих путешествий, достиг уже своих пределов и больше никогда их не переступит.

Все же она была рада, что они — в Атлантик-Сити. Сарин бэби находился здесь в безопасности. Впервые за время, прошедшее с Сариной смерти, она думала о ней без слез. Честно говоря, ей также весьма нравилось быть здесь на виду у публики, в обеденной зале отеля, или на веранде по вечерам, или на променаде, прогуливаясь вдоль павильонов, магазинов и пирсов. Иногда они нанимали кресло на колесах. Они сидели в нем вместе с Отцом, а служитель сзади медленно катил их вдоль променада. Лениво они созерцали встречных пассажиров подобных же экипажей или искоса поглядывали на тех, кого случалось обогнать. Отец притрагивался к полям своего канотье. Кресла эти были плетеные, с холщовым бахромчатым верхом, они напоминали ей двухместные коляски времен ее детства. Два боковых колеса были большущими, а поворотное колесо впереди — маленькое, оно слегка поскрипывало. Малыш обожал эти кресла. Их можно было нанять и без тягловой силы, и это ему нравилось больше всего. Тогда он сам толкал кресло с папой и мамой и мог направлять его куда хотел и с какой угодно скоростью, и у родителей не было никакой нужды поучать его. Большие отели стояли один за другим вдоль променада, их шторы хлопали под океанским ветром; у каждого на безукоризненно покрашенном крыльце стояли в ряд кресла-качалки и белые плетеные стулья. Морские флаги струились над куполами, а по ночам они были освещены раскаленными добела лампами, обрисовывающими контур крыш.

Однажды вечером семья остановилась у павильона, в котором негритянский духовой оркестр напористо играл рэг. Мать не знала, какой именно, но музыка тут же напомнила ей собственное пианино, звенящее под чудными пальцами Колхауса Уокера. Она вовсе не забыла недавней трагедии, но чувствовала лишь какое-то высвобождение, как будто бризы этого курортного города выдували из головы тяжелые мысли тут же, как они появлялись. Теперь музыка вдруг захватила ее, она ассоциировалась для нее и с Младшим Братом. Любовь к нему, страстное обожание пронзили ее. Ей казалось сейчас, что она его забросила. Худое, нервное, порывистое существо. Какая-то укоризна, какое-то отвращение. Вот так он смотрел на нее через стол, когда Родитель чистил свой пистолетус. Она почувствовала легкое головокружение, и, глядя в освещенный павильон, где неукротимые музыканты в красно-синей униформе работали со своими сверкающими трубами, корнетами, тубами и саксофонами, она поду-

мала, что под каждой из этих псевдовоенных фуражек можно было бы увидеть торжественный лик Колхауса.

С этого вечера приморские восторги Родительницы стали более зыбкими. Ей приходилось теперь концентрироваться. Она проявляла определенную решимость, чтобы сохранить себе безоблачное небо. Она заботилась о сыне, о муже, об инвалиде-папаше и особенно о чудесном негритенке, который здесь процветал и рос не по дням, а по часам. Она стала также замечать внимание, которое ей оказывали некоторые гости отеля. До этого они кружили по краю ее сознания, ожидая с ее стороны благосклонности. Теперь она готова была даровать ее этим людям. В отеле было несколько впечатляющих европейцев. Германский военный атташе с моноклем в глазу, который всегда отдавал ей честь со сдержанной галантностью. Высокий и стриженный под излюбленный ими милитаристский бобрик, он выходил к обеду в белой униформе с черным галстуком. Он устраивал целое представление, заказывая вина и отвергая их. С ним не было женщины, но несколько довольно хамоватых мужланов, явно ниже его по рангу. Отец сказал, что это капитан фон Папен, инженер. Они видели его каждый день гуляющим по пляжу, раскатывающим топографические карты, показывающим что-то в море и что-то говорившим своим подручным. Обычно в это время какое-нибудь судно проходило на горизонте. «Это что-то вроде инженерной разведки,— говорил Отец, лежа на песке,— не понимаю, что может интересовать немцев в Южном Джерси». Отец не замечал двусмысленного интереса этого инженера к его жене. Мать это забавляло. С первого же беззаботного взгляда, которым она ответила на внимание офицера, она поняла, что в этом повелительном монокле сфокусировались самые похотливые намерения. Она решила игнорировать германца.

Была там также престарелая французская пара, с которой она обменивалась любезностями, смеялась, вспоминая свой школьный французский, а они великодушно похваливали ее произношение. Они появлялись на солнце, закутанные, как коконы, в белые одежды и газ, увенчанные панамами. Кроме того, они всегда носили с собой зонты. Муж был ниже своей жены и весьма тяжеловат, веснушки на лице, толстые очки. Он не расставался с сачком для бабочек и каким-то кувшином, а она все время таскала тяжеленную корзину для пикника. Каждое утро они исчезали в отдаленной дымке побережья, где не было ни отелей, ни променадов, но лишь только чайки, да кулики, да трава на дюнах, в которой как раз и трепетали вожделенные его крылышки. Он был профессор из Лиона — на пенсии.

Мать старалась заинтересовать Дедушку этой французской парой: как-никак общее академическое прошлое. Старик, однако, отверг знакомство. Он был полностью поглощен своим состоянием и слишком раздражителен, чтобы участвовать в цивилизованной беседе. Он признавал лишь одно занятие на этом курорте — ежедневные катания в кресле по променаду. В кресле, считал он, он никому не покажется дряхлым. На коленях он держал трость, и если движение на променаде замедлялось по вине пешеходов, он поднимал трость и тыкал острым концом как в мужские, так и в женские спины. Возмущенные люди оборачивались, а он проплывал мимо.

Были среди гостей, разумеется, и неевропейцы: гигант маклер из Нью-Йорка со здоровенной женой и тремя большущими детьми, которые ни слова не произносили за обедом; несколько семей из Филадельфии, что можно было сразу же определить по гнусавой речи. Мать, однако, находила своих соотечественников неинтересными. В иностранцах, казалось ей, гораздо больше жизни. Вот, например, барон Ашкенази, маленький подвижный человек, шелковая рубашка

расстегнута на шее, на голове легкомысленная белая кепочка с пуговицей на макушке, он ей очень нравился, эдакая «заводная» персона, глаза так бросают стрелы во все стороны, будто он боится что-то потерять, что-то упустить, как ребенок. Он носил на цепочке через шею прямоугольное стеклышко, обрамленное металлом. Увидев что-то для себя интересное, он тут же подносил это стеклышко к глазам, как бы фиксируя момент. Однажды пасмурным утром на крыльце отеля и Мать попала в его рамочку. Пойманный ее взглядом на месте преступления, он рассыпался в извинениях. Сильный иностранный акцент. «Я, понимаете ли, занят в бизнесе движущихся картинок и вот, понимаете, даже на вакациях не могу удержаться, вы меня понимаете». Он смеялся, как бы поблеивал, и Мать была очарована. Блестящие черные волосы и маленькие деликатные руки. Потом она видела его на пляже, на некотором расстоянии, он бегал там, развлекая какого-то ребенка, и время от времени подносил к глазам свое забавное стеклышко. Солнце стояло за ними, и он казался ей движущимся силуэтом. Какая энергичная фигура. Она улыбалась.

Барон оказался первым гостем за их столом. Он явился с красивой маленькой девочкой, которую представил как свою дочку. Она была удивительно хороша, примерно того же возраста, что и Малыш. У Матери тут же появилась надежда, что они подружатся. Конечно, за столом они не сказали друг другу ни слова и даже не взглянули друг на дружку. Отец не мог оторвать от девочки глаз. Экая малышка-средиземноморочка с густыми черными волосами, в чудесном белом кружевном платьице с атласным верхом, очерчивавшим легчайшие намеки на будущие прелести. За весь обед она не сказала ни единого слова и даже не улыбнулась. Вскоре, однако, после закусок барон объяснил, в чем дело: понизив голос и притрагиваясь к руке дочки, он сказал, что ее мать умерла несколько лет назад, но не сказал от чего. Больше он уже не женился. Пауза. Спустя момент он снова уже кипел энергией. Он говорил быстро, с европейским акцентом, частенько невпопад, но тут же, понимая это, смеялся первый. Жизнь восхищала его. Он жил своими ощущениями и не уставая делился ими с окружающими: вкус вина ли это был или множественное отражение свечи в хрустальном канделябре. Незамысловатые его восторги были заразительны, и вскоре уже с лиц Родителей не сходила улыбка. Они забыли о себе. Удивительно чувствовать мир так, как чувствует его барон — живым каждое мгновение. Он поднимал свой стеклянный прямоугольник, беря в рамку Мать и Отца, детей, официанта, идущего к столу, дальний конец столовой, где пианист и скрипач играли на маленькой сцене, декорированной пальмами в кадках. «В кинофильмах,— говорил барон,— мы смотрим на то, что там уже имеется. Жизнь сверкает на теневом экране, она выходит из мрака нашего сознания. Это большой бизнес. Люди хотят знать, что с ними происходит. За несколько пенни они приходят посмотреть на самих себя в движении: как они бегут, гонятся на автомобилях, дерутся, как они, прошу, не обижайтесь, обнимаются. Это самое важное сейчас, в этой стране, где каждый по сути дела — новичок. Огромная потребность в понимании.— Барон поднял бокал. Посмотрел на вино и попробовал его.— Вы, конечно, видели «Его первую ошибку»? Нет? А «Дочь невинна»? Нет? — Он рассмеялся.— Не смущайтесь! Это две моих первых экранных пьесы. Одночастевки. Я сделал их меньше чем за пять сотен долларов, но каждая принесла мне по десять тысяч. Да-да,— сказал он смеясь,— чтоб я так жил!» Отец кашлянул и покраснел при упоминании столь конкретных цифр. Не понимая, барон настойчиво объяснял ему, что это хотя и хороший доход, но вовсе не экстра. Фильмовый бизнес переживает бум, и всякий

может сделать хорошие деньги. Вот сейчас, например, он, барон, входит в компанию с «Патэ» для производства пятнадцатичастевой истории! Каждый ролик будут показывать в течение недели, одну неделю за другой, пятнадцать недель подряд, и зрители будут приходить, чтобы увидеть, что там дальше имело место быть, вот так-с. С озорным взглядом он достал сверкающую монетку из кармана и выщелкнул в воздух. Она взлетела почти до потолка. Все смотрели как завороженные. Барон поймал монетку и громко трахнул ладонью о стол. Сервировка подпрыгнула. Вода закачалась в стаканах. Он показал популярный новый пятицентовик, никель с буйволом, «баффало-никель». Отец не мог никак понять, для чего он все это делает. «Я называю теперь себя «Баффало-Никель-Фотопьеса, инкорпорэйтед»,— сказал восторженный барон.

Он продолжал говорить, а Мать посмотрела через стол на двух детей, сидевших рядом. Ей захотелось заключить их в прямоугольную рамку. Ее сын с аккуратно зачесанными назад волосами, в большом белом воротничке и костюме маленького мужчины. Его голубые глаза с крапинками желтого и зеленого. Таинственная красивая девочка рядом. Вот она поднимает глаза и отвечает на взгляд Матери с твердостью и прямотой, почти на грани вызова. Мать видит их как жениха и невесту; сказочки школьных лет, свадьба Мальчика с Пальчик.

34

Вот так эти семьи встретились. Солнце каждое утро пронизывало небо и море, и дети искали друг друга в широких коридорах отеля. Когда они вырывались наружу, морской воздух врывался в их легкие. Песок на пляже холодил ноги. Тенты и вымпелы щелкали на ветру.

Тятя каждое утро работал над своим пятнадцатичастевым сценарием, диктовал свои идеи стенографистке и прочитывал записанное накануне. Оставшись наедине с собой, он все-таки иногда задумывался над своей дерзостью. Иногда на него нападали периоды какой-то внутренней дрожи, и он сидел тогда в своей комнате согнувшись, куря сигареты без мундштука, ополэая в какую-то пучину, словно тот, старый Тятя. Однако новое существование быстро взнуздывало его. В принципе вся его личность как бы перевернулась, он стал разговорчивым и энергичным человеком, нацеленным только на будущее. Он чувствовал, что заслужил свое счастье. Он построил его без посторонней помощи, в самом деле. Целые дюжины книжек сделал он для «Франклинской компании новинок». Потом сконструировал волшебный фонарь, в котором бумажная полоса с напечатанными на ней силуэтами поворачивалась на колесе, а деревянный челнок, наподобие ткацкого, сновал взад-вперед перед раскаленной лампой. Аппаратус сей был принят для отправки по почте компанией «Сирс, Робак энд К°», и тогда «Новинки» предложили ему стать партнером. Спустя некоторое время он обнаружил, что и другие занимаются живыми картинками, подобными его собственным, но никто не делает это на целлулоидной пленке. Тогда он стал интересоваться фильмами. Вскоре он продал свой пай и двинулся в кинобизнес. В те дни здесь любой достаточно самоуверенный человек мог получить поддержку. Фильмовые компании формировались за одну ночь, являлись на поверхность, лопались, исчезали, перестраивались, сутяжничали, пытались монополизировать распределение, завладеть патентами на разные технические процессы. Анархия, вспышки и фейерверки новой индустрии.

В те времена в Америку то и дело прибывали титулованные европейские иммигранты, обнищавшие до крайности и мечтавшие продать себя и свои титулы дочкам американских нуворишей. Тяте тогда пришла счастливая мысль и о своем собственном «баронстве», почему бы нет. Теперь вместо того, чтобы избавиться от сильного еврейского акцента, ему нужно было лишь обкатать свой язык, сделать его более цветистым. Он выкрасил волосы и бородку, вернув им первоначальный их цвет. Новый человек. Дочка одета ну просто как принцесса. Он хотел, чтобы из ее памяти выветрилось все, что связано с грязными иммигрантскими улицами. Он закупит для нее весь свет и солнце мира, чистый ветер океана на всю ее остальную жизнь. Она играет на пляже с пригожим мальчуганом приличного происхождения. Она спит в мягких белых простынях под окнами, глядящими в бесконечное небо.

Малыш и Малышка каждое утро отправлялись на пустынные полосы пляжа, где за дюнами и травами скрывался из виду отель. Они копали тоннели и каналы, строили стены, бастионы и ступенчатые дома. Солнце вставало над их согбенными спинами, пока они без устали трудились. В полдень они ныряли в прибой, а потом бежали наперегонки в отель. После ленча они снова играли на пляже, но уже неподалеку от зонтиков, собирали куски дерева, раковины, гуляли по отливным полосам воды, а шоколадный бэби энергично шлепал вслед за ними. Позже взрослые отправлялись отдыхать в отель и оставляли их одних. Голубые тени снова появлялись на песке, когда они медленно вдоль линии прилива направлялись в дюны, чтобы там предаться самому высшему своему удовольствию — игре в похороны. Сначала он делал ей ямку в мокром песке, и она ложилась на спину. Он располагался у нее в ногах и начинал медленно покрывать ее песком — ступни, ноги, живот, маленькие грудки, плечи и руки. Увеличенная проекция ее форм. Большущие ступни. Круглые колени. Бедра становились подобием дюн, а на груди он сооружал купола со шпилями. Пока он работал, она не спускала с него своих темных глаз. Он нежно поднимал ее голову и подкладывал под нее подушку из песка. Со лба на плечи опускалось нечто вроде египетского головного убора.

Дождавшись завершения скульптуры, она начинала ее потихоньку разрушать, шевеля пальцами ног. Структура медленно крошилась. Она поднимала одно колено, потом другое и, наконец, выскакивала целиком из песка и мчалась к воде. Он — за ней. Они хватались за руки и пробивались сквозь стену прибоя. Потом бежали обратно в дюны. Наступала ее очередь на захоронение. Она очень тщательно и подробно оформляла оболочку для его тела. Увеличивала ноги, расширяла плечи, маленькое выпячивание на его плавках она превращала горстями песка во внушительный холм. Когда работа была сделана, он начинал разрушать ее сначала потихоньку, а потом взрываясь, и снова они мчались к воде.

Иногда по вечерам родители брали их поразвлечься на набережную. Они слушали оркестр и смотрели уличные представления. Шли пьесы «В 80 дней вокруг света» и «Доктор Джекил и мистер Хайд». Над театром проплывали облака. Однако настоящий-то восторг был среди аттракционов, которые взрослыми совершенно не одобрялись: показ всяких чудищ, стрельба из лука за пенни, живые картинки. Конечно же, дети были слишком хитры, чтобы открыто выразить свои желания. Дождавшись, когда походы на набережную перестали казаться взрослым чем-то из ряда вон выходящим, они убедили их, что и сами могут вполне обеспечить себя этими невинными развлечениями. Засим, заполучив полтину, срывались и исчезали в темноте.

Подолгу они стояли у стеклянного ящика механического предсказателя. Засовываешь туда пенни, появляется фигура в тюрбане, башка ее поворачивается направо-налево, руки, дергаясь, вздымаются, обнажаются сверкающие зубы, появляется билет, после чего весь аппарат, накренившись, замирает в полуулыбке. «Я великий волшебник Он-Она»,— гласил билет. Рядом чудесная машина с клювом. Засунув деньги, ты можешь, оперируя колесом, попытаться достать этим клювом со дна машины любое сокровище, какое тебе захочется: ожерелье из ракушек, зеркальце из полированного металла, стеклянного крошечного котика. Неподалеку чудесные уроды: Бородатая леди, Сиамские близнецы, Дикарь с Борнео, Кардиффский гигант, Человек-аллигатор, Женщина — шестьсот фунтов. Эта последняя, настоящий бегемот, поворачивалась на своем стуле и начинала трепетать, когда дети останавливались перед ней. Она вставала, как бы охваченная неудержимым волнением, и двигалась на них всей горой своей плоти. Огромные ее сады открывались и закрывались при каждом шаге, телеса ее волновались, она простирала к ним свои руки. Они шли дальше. Умные нормальные глаза уродов из-за заборчиков следили за их одиссеей. Гигант продал им кольца со своего пальца, которые впору пришлись бы им на талии. Сиамские близнецы за вполне умеренную плату подарили им надписанное фото.

Они были неразлучны, и это забавляло взрослых. Расставались они только на ночь, когда им приказывали идти спать,— впрочем, никогда не жалуясь и не хныча. Они разбегались по своим комнатам, даже не оглянувшись, и дрыхли как убитые. Утром, конечно, снова искали друг дружку. Он и думать не думал, как она красива. Она и думать не думала, как он пригож. Оба они исключительно остро чувствовали друг друга, словно были заряжены электричеством, они являлись будто силуэты сконцентрированного возбуждения, нимбы света, но их прикосновения в ту пору были лишь случайными, сигнальными жестами. Они были настолько связаны друг с другом ощущением полноты жизни, что им вовсе не нужно было разделяться и восхищаться друг другом для полного и мгновенного взаимопонимания. Конечно, они были оба красивы, он — в своей величавой блондинистой задумчивости, она в своей черноглазой с искорками гибкости, живости, дерзости. Когда они бежали рядом, волосы отлетали с их широких лбов. Своими маленькими ручками и ножками она оставляла в песке отпечатки уличной девчонки, обитателя темных лестниц. Ее быстрый шаг был как бы побегом от ужаса мрачных закоулков, дикого грохота мусорных баков. Когда-то ведь возилась она в деревянных сарайчиках за жилищами, хвосты грызунов хлестали ее по лодыжкам, она наблюдала, как спариваются собаки, как шлюха ведет клиента в свою грязную постель, как пьяница мочится сквозь спицы тележек. Он никогда не знал голода, не дрожал до синевы по ночам, страхи не загромождали его жизнь, он сам как бы искал их или чего-то, что связано с ними, он не знал, что есть на свете люди, которые вовсе не жаждут их познать. Наряду с этим он обладал особым зрением, иной раз он мог проникать в предметы, он видел порой невидимые краски и никогда не удивлялся совпадениям. В глазах его поворачивалась некая планета, голубая и зеленая с желтым.

Однажды они, по обыкновению, играли на пляже, когда солнце вдруг подернулось дымкой и с моря подул ветер. По их спинам пробежал холодок. Они встали и увидели идущие над океаном тяжелые черные тучи. Они рванули в отель. Начался дождь. Тяжелые капли выбивали в песке маленькие кратеры. Через минуту это уже был ливень. Они укрылись под досками променада в полумиле от отеля. Скорчившись там, слушали шум дождя и смотрели, как появляются

лужи. Под променадом была настоящая свалка. Битое стекло и гнию-щие рыбьи головы с вылупленными глазами, оторванные ножки крабов, ржавые гвозди, сломанные доски, куски дерева, морская звезда, твердая как камень, масляные пятна, тряпки с засохшей кровью. Они выглянули из своей пещерки. В море поднимался шторм, небо светилось зеленым свечением. Молния расколола небо, как шрапнельная бомба. Шторм наказывал океан, задавал ему взбучку, терзал, запугивал. В эту минуту не видно было даже волн, но лишь какое-то бессмысленное разбухание. Престраннейшее освещение становилось все более интенсивным, небо желтело. Ударил гром, как будто страшная прибойная волна поднялась в небе, ветер хлестал по пляжу, закручивая песок. Сквозь дождь, и ветер, и пылающий свет брели, сгибаясь, две фигуры. Они то вглядывались вдаль, защищая глаза ладонями, то кричали во все стороны, делая из ладоней рупор. Дети смотрели на них, не двигаясь. Это были Мать и Тятя. Они спотыкались в мокром песке. Ветер облепил их одежду. Они прорывались к набережной. Черные волосы Тяти прилипли ко лбу и отсвечивали. Волосы Матери мокрыми прядями падали на лицо и плечи. Они искали детей. Взывали. Спотыкались. Бежали. Взывали. Они будто потеряли рассудок. Дети выбежали под дождь. Когда Мать увидела их, она упала на колени. Через мгновение все четверо были вместе, обнимаясь, увещевая и смеясь. Мать и смеялась и плакала одновременно. «Где вы были, где вы были? Вы нас не слышали?» Тятя подхватил свою дочку на руки. «Слава богу,— бормотал барон,— слава богу». Сквозь дождь и этот странный свет они суматошно поспешили назад к отелю. Промокли до костей. Тятя не мог удержаться и то и дело посматривал на промокшую Родительницу. Она выглядела так молодо с мокрыми своими волосами, упавшими на плечи. Юбки ее прилипли к чреслам, она нагибалась, чтобы оторвать их от тела, но ветер и дождь снова безобразничали. Когда они обнаружили, что дети пропали, они побежали на пляж, и там она сняла свои туфли и взяла его за руку, ища поддержки. Сейчас она шла, обняв детей за плечи, и он узнал в ее мокрых формах ту обильную телом дивную женщину с картины Уинслоу Хомера, которую вытягивают из моря буксирным тросом. Да есть ли человек, который не рискнул бы своей жизнью ради такой женщины, хотел бы я знать. Она показала на горизонт: полоска голубизны появилась над океаном. Внезапно Тятя обогнал всех и сделал кульбит. Потом прошелся колесом. Потом встал на руки и зашагал вниз головой. Вот уж хохотали дети.

Родитель проспал весь этот дивный инцидент. Он стал страдать бессонницей по ночам и «добирал» после обеда. Он чувствовал себя усталым. В газете он читал о растущем в конгрессе движении за налоги на доход. Вот первый признак окончания лета. Он регулярно звонил по телефону на свой заводик в Нью-Рошелл. Дома пока все было спокойно. О черном убийце ничего не было слышно. Бизнес по-прежнему шел в гору, заказов было все больше. Ничто, однако, не успокаивало его. Ему наскучил пляж и океанские купания. Пора вернуться к нормальной жизни. Сколько можно торчать в Атлантик-Сити? Иногда он просыпался и чувствовал, что время и события прошли, а он остался еще более уязвимым, чем когда-либо. Он даже находил их нового друга, барона, временами отталкивающим. Родительница, напротив, привязалась к барону, но у Отца не было к нему никаких особых чувств, кроме легкого, моментами, отвращения. Он хотел бы запаковаться и тронуться, но его сдерживало то, что Мать чувствовала себя здесь в безопасности. Ей хотелось дождаться здесь завершения колхаусовской трагедии. Он-то знал, что это самообман. К ужасу отельной прислуги, она стала брать черненького бэби за свой

стол в обеденной зале. Отец взирал на ребенка с мрачноватым достоинством. За завтраком на следующий день после шторма он открыл газету и увидел на первой странице фотографию папочки. Банда Колхауса взломала самый знаменитый депозиторий искусства — библиотеку Пирпонта Моргана на 36-й улице. Они забаррикадировались внутри и угрожают все это уничтожить. Чтобы продемонстрировать свою силу, они швырнули на мостовую из окна страшную гранату. Отец смял газету. Часом позже его вызвали к телефону: звонили из офиса окружного прокурора Манхэттена. Во второй половине дня, сопровождаемый самыми добрыми и взволнованными пожеланиями Матери, он отправился поездом в Нью-Йорк.

35

Даже тому, кто пристально следил за этим делом с самого начала, колхаусовская стратегия мести должна была бы показаться окончательным доказательством его ненормальности. Чем иным объяснишь, что трусливый и жалкий Уилли Конклин обернулся Пирпонтом Морганом, самой значительной фигурой своего времени? Восемь человек убито, перебиты лошади, разрушены здания, целый городок еще сотрясается от ужаса, а его амбициям все нет границ. Но, может быть, законы несправедливости, этого зеркала вселенной, противны всем принципам цивилизации?

Впрочем, из дневника Младшего Брата мы узнаем, что команда Колхауса разработала довольно последовательный план. Поскольку Конклин в ирландских кварталах был неуловим в той же степени, что Колхаус в Гарлеме, нужен был заложник. После двух ночей дискуссии выбор пал на Моргана. Более чем любой мэр или губернатор он представлял в сознании Колхауса власть белых. Годами карикатуристы и художники создавали его образ в цилиндре и с сигарой как абсолютное воплощение власти. Великих феодалов Нью-Йорка можно было заставить отдать целую армию брандмейстеров и целый флот «моделей-Т» как выкуп за Моргана.

Увы, Колхаус доверил разведку двум своим юношам, которые знали не очень-то хорошо город ниже 100-й улицы, а еще хуже образ жизни богачей. Когда разведчики определили, что Морган располагается в двух домах — в «браунстоуне» и во дворце белого мрамора,— они, конечно, решили, что резиденция — в мраморе. МБМ, без сомнения, заметил бы ошибку, но он был оружейником, он лежал на дне крытого фургончика, нагруженного взрывчаткой и снаряжением. Фургончик задом подошел к воротам библиотеки, и МБМ подали команду разгружать. Он откинул брезентовый полог, выглянул и закричал, что это не то здание. Однако обратного пути уже не было. Охранник лежал мертвым, в отдалении слышались полицейские свистки. Вся округа была взбаламучена. Заговорщики разгрузили фургон, закрыли болтом тяжелые ворота и заняли предписанные позиции. Потом Колхаус произвел быструю инспекцию добычи. «Ничего не потеряно,— сказал он,— мы хотели взять этого субъекта, а взяли его добро, это одно и то же».

Так уж случилось, что Пирпонта Моргана вообще не было в это время в Нью-Йорке. Уже два дня, как он плыл на пароходе «Кармания» в Италию. Он начинал свое медленное паломничество в Египет. Таким образом, вся эта акция, плохо и не ко времени организованная, приобретала особую прелесть.

Почти немедленно помощнички из компании Джей Пи Моргана были информированы о случившемся. Они дали «беспроволочную» на «Карманию», чтобы получить от старика инструкции. Неизвестно

почему — быть может, из-за поломки телеграфа,— «Кармания» не ответила, и посему, оставшись без инструкций, полиция не знала, что делать, а только лишь оцепила квартал между 36-й и 37-й улицами между Мэдисон авеню и Парк авеню. Уличное движение было отведено, вдоль оцепления взад-вперед галопировала конная полиция. Звуки города, казалось, разбивались здесь о стену молчания. Даже толпа стояла молча. К ночи зажглись лампы, получавшие питание от передвижных генераторов. Зеваки ощущали под ногами грохот этих генераторов, словно рык приближающегося землетрясения. Полиция была повсюду — в фургонах, в седлах, в пешем строю. Толпа все увеличивалась.

Граната, которую Младший Брат швырнул из окна после громогласного предупреждения, разорвала тротуар, и теперь прямо напротив ворот библиотеки зиял огромный кратер. На дне его вода, вырвавшаяся из поврежденной трубы, пузырилась, словно минеральный источник. Стекла были выбиты из окон по всему кварталу. Наискосок через улицу находилась какая-то частная резиденция — «браунстоун», изрядно пострадавший от взрыва. Владельцы его предпочли скрыться, разрешив полиции использовать дом как штаб-квартиру. Полиция обнаружила, что можно безнаказанно входить в этот дом и даже свободно передвигаться по той стороне 36-й улицы, если не переступать через бордюр. Дом тогда наполнился чинами управления и представителями городских властей; все они по мере того, как ситуация прояснялась, кивали друг на друга и старались спихнуть ответственность на кого-нибудь повыше. В конце концов в окружении свиты лейтенантов, капитанов и инспекторов на место происшествия прибыл окружной прокурор Нью-Йорка Чарльз Эс Уитмен. Уитмен основательно прославился на процессе лейтенанта-преступника Бекера. Последний нанял четырех головорезов — Кровавого Джима, Даго Фрэнка, Беленького Льюиса и Луи Левшу — для того, чтобы они убили его врага, известного игрока Германа Розенталя. На процессе прокурор потребовал смертной казни, и приговор был таков. Благодаря этому грандиозному делу Уитмен стал потенциальным кандидатом на пост мэра Нью-Йорка. Поговаривали даже и о выдвижении его кандидатуры на президентское кресло. Он как раз собирался сбежать из Нью-Йорка на летние вакации в Ньюпорт, в сорокакомнатное логово знаменитой дамы — миссис Стивезант-Рыбчик. Он был совсем недавно представлен ей другой, тоже великосветской дамочкой миссис Оу Эйч Пи Белмонт. Он очень ценил эти связи, однако, когда услышал про новости, не смог удержаться и прибыл на 36-ю. Он полагал, что это его долг как будущего президента. Он любил фотографироваться. Явившись, Уитмен немедленно взял инициативу в свои руки, и все тут же признали его авторитет, не исключая и врага, проклятого холерика мэра Уильяма Джей Гейнора. Это было отражением политической реальности, как полагал окружной прокурор. Он глянул на часы и решил, что у него есть, пожалуй, несколько минут, чтобы покончить с делом этого безумного «хэрька».

Он запросил из архитектурной фирмы Чарльза Маккима и Стэнфорда Уайта схемы и планы библиотеки. Изучив их, он назначил в разведку одного атлетически сложенного постового офицера. Офицер сможет довольно легко пробраться по крыше и стеклянному своду главного холла и оттуда определить, сколько же ниггеров засело внутри. Офицер отправился на дело через сад, соединявший библиотеку с моргановской резиденцией. Уитмен и другие чины ждали результатов в импровизированной штаб-квартире. Вдруг небо ярко вспыхнуло, грянул взрыв, а за ним последовал вопль агонии. Уитмен побледнел. «Они заминировали это проклятое место»,— сказал он.

Кто-то добавил: «Парень, должно быть, убит на месте».— «Все же ему немного повезло,— добавил другой,— в противном случае никто бы не смог вытащить его оттуда». Все помрачнели. Все смотрели на Уитмена. Он приказал позвать репортеров и заявил им, что в библиотеке засело не меньше дюжины, а то и два десятка негодяев.

36

В последующие часы окружной прокурор Уитмен проводил совещание за совещанием. Полковник, командовавший милицией Манхэттена, настаивал на полновесной военной акции. Это так встревожило одного из морганов ских референтов, длинного нервного субъекта в пенсне, сжимавшего руки на груди будто какая-то дива из «Метрополитен-оперы», что он начал дрожать как в лихорадке. «Да знаете ли вы ценность всех наших накоплений! У нас там четыре шекспировских фолио! [1] У нас там Библия Гутенберга на пергаменте! Семьсот инкунабул и письмо на пяти страницах Джорджа Вашингтона»! Полковник помахал пальцем в воздухе. «Если мы не займемся этим сукиным сыном, если мы не оторвем ему яйца, любой ниггер в этой стране сможет брать вас за глотку! Где вы тогда будете с вашими библиями?» Уитмен шагал взад-вперед. Городской инженер сказал, что если бы можно было починить водопровод, они бы попытались прорыть туннель под фундаментом библиотеки. «Сколько времени вам нужно на это?» — спросил Уитмен. «Два дня»,— ответил инженер. Кто-то предложил применить ядовитый газ. «Неплохая идея,— согласился Уитмен,— можно уничтожить все живое на Ист-Сайде». Он начинал раздражаться. Библиотека была построена из подогнанных мраморных блоков. Даже лезвие ножа нельзя было просунуть между ними. Все заминировано, черт побери, и из каждого окна смотрит пара внимательных «хорьковых» глаз.

Уитмену пришла идея обратиться за советом к полицейским офицерам. Старый сержант с многолетним уличным стажем, ветеран «Адской кухни» и «Тендерлойна», высказался в таком духе: «Главная штука в том, сэр, чтобы втянуть этого Колхауса Уокера в разговор. Любое толковище успокаивает маньяка, даже вооруженного. Вы с ним начинаете толковать, он с вами начинает толковать, и вот уже ситуация в ваших руках, сэр». Уитмен, надо сказать, не лишенный огонька, взял мегафон, вышел на улицу и прокричал Колхаусу, что хочет поговорить с ним. Он размахивал своей соломенной шляпой. «Если есть проблемы,— кричал он,— мы их можем вместе решить». Он стоял там несколько минут, крича и махая шляпой. Потом вдруг открылось маленькое окошечко возле парадного входа. Цилиндрический предмет вылетел оттуда на улицу. Уитмен рванул назад, а люди в доме рухнули на пол. Ко всеобщему удивлению, взрыва не последовало. Через несколько минут кто-то посмотрел в бинокль и доложил, что предмет является серебряной кружкой с крышкой. Офицер выбежал на улицу, схватил кружку и вернулся бегом. Средневековое серебро, рельеф с охотничьей сценой. «Семнадцатый век,— сказал нервный хранитель сокровищ мистера Моргана,— кружка принадлежала Фридриху Саксонскому».— «Я по-настоящему рад слышать это»,— сказал Уитмен. Сняли крышку и нашли внутри кусок бумаги с телефонным номером. Референт сказал, что это как раз его телефон, оттуда.

Окружной прокурор лично взялся звонить. Он присел на край стола, держа говорилку в левой руке, а наушник в правой. «Алло,

[1] Первое собрание сочинений Шекспира, изданное в 1623 году.

мистер Уокер,— сказал он сердечно,— это вам такой Уитмен звонит, окружной прокурор». Он был потрясен спокойным, деловым тоном негра. «Мои требования прежние,— сказал голос в трубке.— Я хочу получить машину в той же кондиции, в какой она была до того, как мне преградили путь. Вернуть Сару вы мне не можете, но за ее жизнь я требую жизнь брандмейстера Конклина».— «Колхаус,— сказал Уитмен,— вы же знаете, что я представитель правосудия, и я никак не могу действовать вне закона, то есть я не могу вам отдать этого человека за здорово живешь. Вы ставите меня в несостоятельную позицию, дорогой. Тем не менее я обещаю вам, что лично расследую все дело, выясню все статусы, всё до точки. Однако, я не могу для вас сделать ничего, пока вы сидите там, внутри». Колхаус, казалось, не слышал его. «Даю вам сутки,— сказал он.— Потом я взорву все это дело». Отбой. «Алло,— кричал Уитмен,— алло, алло». Он приказал оператору соединить еще раз. Ответа не было.

Уитмен послал телеграмму миссис Стивезант. Надеюсь, вы читаете газеты, миледи. Его глаза, склонные к некоторому выпячиванию, теперь просто вылупились, лицо горело. Он снял пиджак и расстегнул жилет. Попросил постовых принести ему виски. Он знал, что Красная Эмма Голдмен сейчас в Нью-Йорке. Немедленно арестовать! Выглянул из окна. Пасмурный, неестественно темный день. Дождь, улицы блестят. Горят фонари. Белый греческий дворец через улицу светится под дождем. Какая мирная картина! В этот момент до Уитмена дошло, что смирение комиссара Райнлэндера Уолдо и всех этих хренов из управления полиции перед ним, Уитменом, суть не что иное, как желание впутать его в политически опасное дело. С одной стороны, он охраняет интересы Моргана, чьи реформационные комитеты богатых республиканцев-протестантов финансировали расследование коррупции в католическом-демократическом управлении полиции. С другой стороны, ему приходится защищать собственную репутацию как жесткого О. П., который знает, как действовать с преступными классами. Для этого нужно как можно скорее выбить из седла этого негра. Ему принесли стакан виски. Только один, только чтобы нервы унять, сказал он сам себе.

Тем временем полиция уже стучалась в дверь Эммы Голдмен на 13-й улице Западной части города. Эмма не удивилась. У нее всегда был наготове чемоданчик со сменой белья и с книжкой. Со времени убийства президента Мак-Кинли она всегда — привычно уже и даже скучновато — обвинялась в подстрекательстве словом и делом, если случались в Америке насилия, стачки и мятежи. Для блюстителей порядка стало как бы делом принципа пристегнуть ее к любой истории. Она надела шляпу, взяла чемоданчик и прошагала за дверь. В фургоне она сказала конвойному офицеру: «Вы можете мне не верить, но я с удовольствием отдохну в вашей тюряге. Это единственное место, где я могу расслабиться».

Голдмен, конечно, не знала, что один из группы Колхауса — тот самый молодой человек, которого она недавно так рьяно жалела, этот буржуазный любовник презренной шлюхи. Сидя перед столом сержанта в полицейской части на Сентр-стрит, она сделала заявление прессе: «Мне жаль пожарников Вустера. Жаль, что их убили. Однако, как я понимаю, негра довели до ручки, над ним издевались, он потерял свою невесту, невинную молодую женщину. Как анархист, я аплодирую захвату собственности мистера Моргана, потому что мистер Морган сам захватчик». Репортеры забросали ее вопросами: «Он ваш последователь, Эмма?», «Вы знаете его?», «Вы связаны с этим делом?» Голдмен улыбнулась и покачала головой. «Угнетатель — капитал, друзья. Капитал притесняет нас всех. Колхаусу

Уокеру не нужна была Красная Эмма, чтобы понять это. Для этого ему нужно было только страдание».

Через час экстренные выпуски газет уже рассказывали об аресте. Журналисты обильно цитировали заявление Голдмен. Уитмен стал сомневаться, мудро ли было давать ей такую трибуну. Впрочем, определенная польза была извлечена. Президент Нормального и Индустриального института в Тэскиджи Букер Ти Вашингтон находился в этот момент в городе, он изыскивал дополнительные суммы для своих фондов. В огромном холле Союза медников на Астор-плейс он отступил от подготовленного текста и выразил сожаление по поводу замечаний Голдмен, а также резко осудил акцию Колхауса. Какой-то репортер позвонил Уитмену и рассказал ему об этом. Немедленно окружной прокурор связался с великим просветителем и попросил его приехать, чтобы употребить весь свой авторитет для разрешения кризиса. «Я буду»,— сказал Букер Ти Вашингтон. Полицейский эскорт был послан за ним, и вскоре Вашингтон, извинившись перед хозяевами торжественного ленча в его честь, отбыл на передний край борьбы, сопровождаемый аплодисментами.

37

Букер Ти Вашингтон — самый знаменитый американский негр своего времени. Со дня основания института в Тэскиджи, штат Алабама, он стал ведущим пропагандистом профессиональной подготовки для цветного народа. Он был против вовлечения негров в вопросы политического и социального равенства. Он написал бестселлер — книгу о своей жизни, о весьма героическом пути от рабства к самопознанию, о своих больших идеях, призывающих негров идти вперед с помощью белого соседушки. Он возвещал дружбу всех рас и светлое будущее. Его взгляды были поддержаны четырьмя президентами и большинством губернаторов южных штатов. Эндрю Карнеги раскошелился для него на основание школы, а Гарвардский университет наградил его почетной степенью. Черный костюм и шляпа с большими круглыми полями. Крепкий красивый мужчина, гордый своими достижениями, стоял посреди 36-й улицы и призывал Колхауса впустить его. Будучи оратором-профессионалом, он отверг мегафон. Вся его фигура выражала полное убеждение, что головорезы не устоят перед его требованием. «Итак, я иду!» — оповестил он мир и двинулся вокруг кратера. Он прошел через стальные ворота, поднялся по ступеням меж каменных львиц, остановился под козырьком портика возле двойных ионических колонн и стал ждать, когда дверь откроется. Стояла тишина, такая полная, что были слышны сигналы машины за много кварталов отсюда. Через несколько мгновений дверь открылась, и Букер Ти Вашингтон исчез внутри. Окружной прокурор Уитмен вытер брови и упал в кресло.

Вся святыня разума, представшая перед Букером Вашингтоном, все картины, ярусы редчайших книг, скульптура и бесценная флорентийская мебель — вся эта святыня была окутана проволокой с целью уничтожения. Связка динамита была прикручена к мраморным пилястрам у входа. Проволоки тянулись через весь пол из Западной и Восточной комнат в маленький альков. Там, оседлав мраморную скамью, сидел человек. Перед ним на скамье стоял ящик с т-образным рубильником. Человек держал рубильник этот обеими руками. Он прислонился спиной к бронзовой двери, однако в такой позиции, что если пуля не минует его, он тогда повалится своей тяжестью именно на рубильник. Парень этот посмотрел через плечо, и у Букера Ва-

шингтона прервалось дыхание: это был не негр, но белый с намазанным лицом, ряженый, лицедей, фигляр. Вашингтон пришел в суровое и гневное расположение духа, однако решил остаться дипломатом. Он заглянул в Западную комнату, а потом пошел через холл в Восточную. Он ждал увидеть здесь большой отряд цветных мятежников, но заметил только трех или четырех юношей с винтовками, стоявших у окон. Колхаус встретил его, стоя посреди комнаты в хорошо отглаженном костюме, галстуке и воротничке, но с пистолетом на поясе. Вашингтон оглядел его. Красивое чело его нахмурилось, глаза засверкали. Призывая на помощь все свое ораторское искусство, он заговорил: «Всю свою жизнь я работал в смирении и надежде ради христианского братства. Я должен был убедить белого человека, что ему нет нужды бояться нас, нет нужды убивать нас, потому что мы хотим лишь стать лучше и мирно объединиться с ним, вкушая плоды американской демократии. Каждый негр в тюрьме, каждый шулер и прелюбодей нашей расы был моим личным врагом, и каждый инцидент, связанный с испорченным негром, стоил мне куска жизни. Чего будет стоить мне ваша необузданная преступная безрассудность? Чего будет это стоить моим студентам? Тысячи честных черных людей не смогут загладить вред, причиненный вами. Но самое дурное то, что вы, образованный музыкант, вы взялись за это грязное дело, оставив храм музыки, где почитают гармонию и где небесные трубы и звуки арф являются моделью для песен. Чудовище! Если бы вы были невежественны, если бы вы не знали о трагической борьбе нашего народа, я бы еще мог пожалеть вас. Но вы музыкант! Я чувствую здесь пот ярости, бессмысленное восстание дикой, недумающей молодежи. Вот чему вы их научили! Какой несправедливостью, совершенной над вами, какими потерями можно оправдать то, на что вы толкнули безрассудных юношей? И кроме всего прочего вы включили в свою компанию какого-то белого, который вымазал себе лицо и добавил в ваш арсенал некое дьявольское издевательство».

Каждое слово этой речи долетело до ушей всей компании. Они слышали имя Букера Вашингтона с детства и не могли не благоговеть перед ним. Теперь, быть может, все зависело от ответа Колхауса. Колхаус заговорил мягко: «Это большая честь для меня, сэр, встретить вас. Я всегда восхищался вами.— Он смотрел в мраморный пол. — Это верно, я музыкант и человек в летах. Но именно эти обстоятельства, я надеюсь, могут подсказать вам, как серьезно я все обдумал. И вот поэтому мне кажется, что мы оба, слуги нашей расы, должны настаивать на признании своих человеческих прав». Вашингтон был настолько ошеломлен таким поворотом, что едва не потерял сознания. Колхаус усадил его в кресло красного плюша. Восстановив самообладание, Вашингтон вытер лоб платком. Он взирал на мраморную облицовку огромного, в человеческий рост, камина, глянул вверх на резной потолок, когда-то украшавший дворец кардинала Джильи в Лукке, на красный шелк стен, на портрет Мартина Лютера работы Кранаха Старшего, на несколько «Поклонений волхвов». «О, господь,— проговорил просветитель,— приведи мой народ в Землю Обетованную. Спаси его от плетей Фараона. Сними оковы с наших умов и ослабь узы греха, что связывают нас с нечистым». Портрет самого Пирпонта Моргана в его зените красовался над камином, и Вашингтон оценил свирепость этого лица. Колхаус Уокер присел рядом с ним, и вместе два этих хорошо одетых черных человека являли собой картину пристойности и самоуглубления. «Пойдем со мной,— сказал мягко Букер Вашингтон,— пойдем, и я буду просить как милосердия, чтоб твой суд был быстрым, а казнь безболезненной. Разбери это оружие дьявола.— Он показал на связки динамита.— Дай мне руку и

пойдем со мной. Сделай это ради твоего маленького сына и всех детей нашей расы, которым предстоит долгий путь».

Колхаус сидел в задумчивости. «Мистер Вашингтон,— сказал он наконец,— нет ничего, с чем бы мне хотелось скорее покончить, чем с этим делом.— Он поднял глаза, и просветитель увидел в них слезы.— Пусть брандмейстер починит мою машину и доставит ее сюда, к этому зданию. Вы увидите, я выйду с поднятыми руками и больше уже никогда и никому Колхаус Уокер не причинит никакого вреда».

В этом заявлении впервые со дня нападения на «Эмеральдовский движок» прозвучало изменение колхаусовской позиции, но Вашингтон не понял этого. Он услышал только, что мольба его отвергнута. Не сказав больше ни слова, он поднялся и ушел. Он шел назад по улице, думая о том, что его вмешательство ни к чему не привело. Колхаус между тем молча шагал по комнатам, а его юноши молча провожали его глазами. За исключением одного, который держал вахту на крыше. Этот лежал под дождем и чувствовал, хотя и не видел, присутствие вокруг тысяч тихо наблюдавших ньюйоркеров. Ночью ему показалось, что город вздохнул — вздох скорби, легкий как дуновение, не громче, чем шелест дождя.

38

После совещания с окружным прокурором Букер Ти Вашингтон принял репортеров в гостиной временной штаб-квартиры. «Библиотека мистера Моргана — это динамитная бомба, готовая взорваться в любой момент,— сказал он им.— Перед нами отчаявшийся и умалишенный человек. Я могу только молить господа в его мудрости помочь нам выбраться живыми из этого печального дела». Затем Вашингтон сделал ряд телефонных звонков и призвал своих друзей из Гарлема, пасторов и лидеров общин, явиться в центр города и продемонстрировать оппозицию здравомыслящих негров Колхаусу Уокеру Мл. Оппозиция приняла форму молчаливого бдения на улицах. Окружной прокурор разрешил это, хотя после мрачного сообщения из библиотеки он уже был готов эвакуировать всех жителей в радиусе двух кварталов. Так обстояли дела, когда прибыл Отец. Его проводили через полицейские кордоны и мимо стоявших с обнаженными головами в молчаливой молитве негров. Он быстро глянул на библиотеку и взбежал по ступенькам штаб-квартиры. Внутри, однако, он был предоставлен сам себе. Никто не подошел к нему, никто как будто даже его не заметил.

Дом был полон полицейскими в униформе и какими-то неопределенными личностями. Все колготились вокруг. Отца в конце концов занесло на кухню. Там устроились репортеры. Они активно поедали чужую еду из ледника. Кто сидел, задрав ноги на стол, кто стоял, привалившись к буфету. Все были в шляпах. Раковину использовали как плевательницу. Послушав разговоры, Отец уловил все детали встречи Вашингтона с Колхаусом. Невольно он восхитился славе человека, который когда-то в его гостиной бренчал на расстроенном пианино. Вдруг до него дошло, что Колхаус существенно изменил свои требования. Так ли это? Никто, казалось, этого не заметил. Неужели он уже не требует жизни Уилли Конклина? Так или иначе, необходимо сообщить немедленно о своих соображениях. Он стал искать каких-нибудь официозов и натолкнулся на самого окружного прокурора, которого узнал по снимкам в газете. Уитмен стоял в нише окна с двумя биноклями в руках. «Прошу прощения»,— сказал Отец и представился. Затем изложил свои соображения. Ему показалось, что Уитмен метнул на него испуганный взгляд. Он заме-

тил на его лице следы мелких кровоизлияний. Уитмен отвернулся к окну и поднял бинокль к глазам — прямо настоящий адмирал. Не зная, что делать дальше, Отец остался с ним.

Уитмен ждал ответа от мистера Моргана. Он то и дело посматривал на часы. Вдруг кто-то пробежал по улице. Давка в дверях. Сопровождаемый референтами и полицейскими, через гостиную прошел мальчик-посыльный. Он принес «беспроволочную» с «Кармании». Окружной прокурор разорвал конверт. Не веря своим глазам, потряс головой. «Черт побери,— пробормотал он.— Черт меня побери со всеми потрохами.— Вдруг он стал орать на всех окружающих: — Убирайтесь отсюда! Вон! Вон!» Он вытолкал всех за дверь, но Отца удержал. Двери закрылись. Уитмен впихнул телеграмму в руки Отцу. Текст гласил: «ОТДАЙТЕ ЕМУ АВТОМОБИЛЬ И ПОВЕСЬТЕ ЕГО».

Отец поднял глаза и увидел, что Уитмен смотрит на него. «Вот уж такого варианта я не предполагал,— сказал Уитмен,— вот уж не предполагал. Я не могу уступить хорьку, понимаете? Черт побери, мне тогда крышка. Я взял этого сукина сына Бекера. Преступленье века, так это называлось в газетах. Что же, теперь окружной прокурор пойдет на поводу у ниггера? Мне конец, даже если я потом его повешу. Нет, сэр! Нет!»

Уитмен ходил по комнате. Отец вдруг испытал прилив отваги. В руках у него была личная телеграмма от Джона Пирпонта Моргана! Немедленно и бесповоротно это делало его доверенным лицом окружного прокурора Нью-Йорка.

Отец отчетливо видел, что ситуация созрела для переговоров. Морган понял это даже на другом конце света. Колхаус смягчил свои требования, жизнь Конклина ему не нужна. Больше того, по мнению Отца, после кончины Сары самым жгучим желанием Колхауса было — умереть. Он поведал обо всем этом окружному прокурору. Все дело может решиться очень быстро. Что стоит эта машина? Кроме того, это ведь идея Моргана. «Еще бы,— проговорил Уитмен,— только Морган и может такое придумать. У кого еще хватит нервов!» — «Простите, вы меня не совсем поняли,— сказал Отец.— Я не разбираюсь в политике, но разве это не снимает с вас ответственности?» Уитмен остановился и пристально посмотрел на Отца. «В эту минуту,— сказал он,— вот именно в эту минуту я предполагал быть в Ньюпорте у миссис Стивезант-Рыбчик».

Вот так случилось, что после полуночи упряжка ломовых лошадей вытащила руины «модели-Т» из Пожарного пруда в Нью-Рошелл. Дождь прошел, и выглянули звезды. Лошадей прицепили к бамперу, и они поволокли автомобиль по дороге. Клип-клоппинг-элонг-клипп-клоппинг-элонг. Возница стоял на переднем сиденье, держа одной рукой вожжи, а другой вцепившись в руль. Все шины были спущены, и вращение колес скрежетом больно отдавалось в ушах. После того как «форд» направился к Матхэттену, Уитмен позвонил Колхаусу и сказал, что хотел бы обсудить с ним его требования. Он предложил в посредники Отца. «Это будет более надежно, чем телефон. Мы оба доверяем этому джентльмену — и вы, и я». У Отца сосало под ложечкой. Через несколько минут он уже увидел себя как бы со стороны холодным ранним утром пересекающим затопленную улицу и поднимающимся по ступеням меж каменных львов. Он напоминал себе, что он отставной офицер армии Соединенных Штатов. Исследователь Северного полюса. Бронзовая дверь приоткрылась, и он шагнул внутрь. Он слышал, как его шаги звенели по полированному мраморному полу. Он думал увидеть сразу какого-нибудь негра, но вместо негра перед ним стоял его собственный шурин, голый по пояс и с пистолетом в кобуре под мышкой. «Ты!» — вскричал Отец.

Младший Брат вытащил пистолет, прокрутил барабан и приставил дуло себе к виску в подобии салюта. У Отца онемели ноги. Его усадили. Колхаус принес ему жестянку с водой.

Первое соглашение между двумя сторонами касалось установления круглосуточной прямой связи. По второму соглашению через кратер на улице были переброшены доски. Отец курсировал взад-вперед, выполняя свою миссию в состоянии какого-то онемения, будто спал на ходу. Он не смотрел на своего родственника. За спиной он улавливал престраннейшую пульсацию какого-то горького веселья.

Тем временем Уитмен висел на телефоне, пытаясь обнаружить следы Уилли Конклина. Полиция разыскивала того по всем околоткам. Наконец, он догадался позвонить Большому Тиму Салливэну, лидеру Четвертого избирательного участка, одному из воротил Таммани-Холла. Звонок поднял старика с постели. «Тим,— сказал окружной прокурор,— у нас тут гость в городе, такой Уилли Конклин из округа Вустер».— «Не знаю этого малого,— пробурчал Большой Тим,— однако посмотрю, не смогу ли что-нибудь сделать».— «Уверен, что сможешь»,— сказал Уитмен. Менее чем через час Уилли Конклина приволокли за шиворот к лестнице «браунстоуна». Мокрый и всклокоченный, он был перепуган до смерти. Нижние пуговицы рубашки оторвались, и брюхо нависло над поясом. Его швырнули в кресло и приказали молчать. Полицейский встал над ним. Зубы стучали, руки тряслись. Он потянулся к заднему карману, где носил свою пинту. Фараон наручниками, как плетью, вытянул его по спине и голове.

С рассвета толпы, слегка поредевшие за ночь, вновь собрались за баррикадами. Проржавевшая «модель-Т» стояла у обочины тротуара прямо перед библиотекой. В оговоренный момент двери «браунстоуна» открылись и двое полицейских вытащили для демонстрации жалкую фигуру Уилли Конклина. Потом утащили его обратно. Теперь, имея уже под рукой и Конклина и машину, Уитмен повел свои переговоры дальше. Он-де намерен возбудить против Конклина дело по обвинению в злонамеренной порче имущества, вандализме и незаконном задержании гражданина. Кроме того, брандмейстера заставят лично участвовать в восстановлении здесь, прямо на улице, изуродованного им автомобиля. С этим унижением он будет жить весь остаток своей жизни. Взамен Уитмен хотел капитуляции Колхауса и всех его людей. «Я гарантирую, что вы получите все ваши права и привилегии, предусмотренные законом».

Когда Отец передал эти условия, парни в библиотеке начали хохотать и улюлюкать. «Мы его достали,— кричали они друг другу.— Он поплыл! Теперь мы их сожрем вместе с пуговицами!» Автомобиль под окнами и Конклин на крыльце чрезвычайно всех вдохновили. За исключением Колхауса. Он сидел один в Западной комнате. Отец ждал. Постепенно мрачное настроение Колхауса перевесило. Юноши тревожно переглядывались. Наконец Колхаус сказал Отцу: «Сам я сдамся, но ребят не отдам. Для них я хочу свободного выхода отсюда и полной амнистии. Останьтесь здесь, пожалуйста, пока я не поговорю с ними».

Молодые люди собрались вокруг Колхауса возле ящика с детонатором. Они были потрясены. «Ты ничего им не должен,— кричали они.— Мы взяли за яйца самого Моргана! Пусть отдают нам Конклина и мотор, пусть выпускают нас отсюда и тогда получат назад свою библиотеку. Вот такие условия, мэн, только такие условия!»

Колхаус был спокоен и говорил мягко: «Никто из вас не известен властям по имени. Вы можете раствориться в городе и спасти себе жизнь».— «Так же можешь и ты»,— сказал кто-то. «Нет,— отве-

тил Колхаус,— меня они никогда не выпустят отсюда, и вы это знаете. Если же выпустят, не пожалеют усилий для охоты за мной. И все, кто со мной, будут выловлены. И все вы умрете. Ради чего?»

«Мы все это оговорили заранее,— сказал один из юношей.— Теперь ты все переворачиваешь. Так не годится, мэн! Мы все — Колхаус! Мы не уйдем отсюда, взорвем все это к дьяволу!» Выступил Младший Брат: «То, что ты делаешь — это предательство. Мы все должны быть свободны, или мы все умрем. Ты подписал свое письмо как Президент Временного правительства Америки». Колхаус кивнул: «Это была риторика, необходимая для поддержания нашего духа».— «Но мы поверили в это! — закричал МБМ.— Мы поверили! На улицах хватит народу, чтобы сформировать армию».

Несомненно, ни один теоретик революции не смог бы отрицать, что перед лицом такого гигантского врага, как вся белая раса, успешная борьба за «форд-Т» — неплохое дело для начала. Младший же Брат, явно не теоретик, продолжал кричать: «Ты не смеешь менять свои требования! Ты не смеешь! Предать нас за машину!» — «Я не изменил своих требований»,—сказал Колхаус. «Так что же, проклятый «форд» — это и есть твоя справедливость? — спросил МБМ.— Твоя казнь — это справедливость?» Колхаус посмотрел на него. «Что касается казни, то моя смерть была уже решена в тот день, когда умерла Сара. Что касается моего богом забытого «форда», то и его судьба решилась тогда, когда я ехал мимо пожарки. Я не сократил своих требований, их преувеличили те, кто так долго им сопротивлялся. Теперь я выторгую ваши дорогие мне жизни за жизнь Уилли Конклина, и бог с ним».

Спустя несколько минут Отец шел назад через улицу. В конце концов, Колхаус просто требует справедливости, а его людям на нее наплевать. Это другое поколение. В них нет ничего человеческого. Отец содрогнулся. Настоящие чудовища! У них перекрученные мозги. Собирать армию! Они — грязные революционеры, иначе их не назовешь.

Знаменитое упорство Колхауса стало теперь оплотом против аргументов его бешеных парней. Теперь он стоит между мистером Морганом и ужасной бедой. Ничего из этих соображений Отец не доверил окружному прокурору. У прокурора и без того хватало неприятностей. Он забрасывал в топку одну порцию виски за другой. Щетина на лице. Глаза-протуберанцы покраснели. Стоит у окна. Шагает. Кулаком правой руки колотит себя в ладонь левой. То и дело заглядывает в телеграмму Моргана. Отец прочистил горло. «Там не сказано, что вы должны повесить соучастников»,— проговорил он. «Что? — вскричал Уитмен.— Что? Олл-райт, олл-райт...— Брякнулся на стул.— Много их там?» — «Пятеро»,— сказал Отец, бессознательно исключая из этого числа Младшего Брата Матери. Уитмен вздохнул. «Я думаю, это лучшее, что вы можете сделать»,— сказал Отец. «Факт,— отозвался окружной прокурор,— но что я скажу газетам?» — «Немало,— возразил Отец.— Во-первых, вы скажете, что Колхаус Уокер захвачен. Во-вторых, сокровища мистера Моргана спасены, в-третьих, город в безопасности, в-четвертых, вы используете все возможности вашей службы и полиции для того, чтобы выследить всех подручных, пока последний из них не окажется за решеткой, где ему и следует быть». Уитмен подумал. «Да, мы возьмем их,— пробормотал он,— прямо там, за баррикадой».— «Ну,— сказал Отец,— это будет сделать трудновато. Они возьмут заложника и не отпустят его до тех пор, пока не будут в безопасности».— «Кто заложник?» — спросил Уитмен. «Я»,— сказал Отец. «Понимаю,— сказал Уитмен.— А как вы думаете, почему хорек решил, что он один удержит здание?» — «Он будет си-

деть в алькове, недосягаемый для пуль, руки на детонаторе,— сказал Отец.— Мне кажется, этого вполне достаточно».

Быть может, в этот момент Отец питал надежду, что после своего освобождения он сможет привести полицию в логово преступников. Он думал, что без Колхауса у них прибавится пылу пренебрегать законом. Это были убийцы, анархисты и поджигатели, но он не трусил. Он знает этот тип людей и покажет им, кто здесь настоящий мужчина. Что касается Младшего Брата, то он в этот момент даже радовался, что приложит руку к его захвату.

Уитмен уставился в пространство. «Олл-райт,— сказал он,— олл-райт. Подождем до темноты, может быть, никто не увидит того, что мы сделаем. Ради мистера Моргана, и ради его проклятой гутенберговской Библии, и ради проклятого пятистраничного письма руки покойного Джорджа Вашингтона».

Итак, переговоры завершились.

39

К восьми часам утра люди Форда прислали к библиотеке грузовик со всем комплектом запчастей для «модели-Т». Компания «Пантасот» доставила крышу. Помощники Моргана согласились оплатить все счета. При всем честном народе, глазевшем со всех углов, брандмейстер Конклин под руководством двух механиков приступил к работе, кусок за куском разбирал развалину и строил новый «форд», начиная с шасси. Потея, ворча, жалуясь, а порой и плача, трудился славный герой. Новые шины, новые крылья, новый радиатор, новое магнето, новые двери, новые подножки, новое ветровое стекло, новые фары, новые сиденья. К пяти часам пополудни, когда солнце еще сияло во всю силу над Нью-Йорком, блестящий черный «форд, модель-Т» с заказной брезентовой крышей стоял у бордюра.

Весь день люди Колхауса призывали его изменить решение. Они просто бесились, споря с ним. Он терпеливо их урезонивал. Становилось ясно, что они просто не знают, что им делать без вождя. «Ты стремишься к самоубийству»,— кричали они, а сами казались жалкими и потерянными. Уныние сгущалось в библиотеке с каждой минутой. Молодые люди безучастно смотрели из окон на возрождение автомобиля, в котором когда-то Колхаус Уокер Мл. начал свое ухаживание.

Сам Колхаус ни разу не подошел к окну. Он сидел за столом Джона Пирпонта Моргана и составлял свое завещание.

Младший Брат замкнулся в горьком молчании. Отец, который содержался теперь в библиотеке как официальный заложник, решил поговорить с ним. Он думал о том, что́ он расскажет Матери. Однако тогда лишь только, когда сгустилась темнота и приблизился час ухода, он заставил себя подойти к шурину. Это была последняя возможность поговорить с глазу на глаз.

Молодой человек был в туалете — смывал с лица жженую пробку. Он глянул на Отца в зеркало. «Мне самому от тебя ничего не требуется,— сказал Отец,— но не кажется ли тебе, что твоя сестра заслуживает каких-то объяснений?» — «Если она обо мне думает,— сказал Младший Брат,— она получит объяснения. Я не хочу их передавать через тебя. Ты самодовольный субъект без малейшего понимания истории. Ты плохо платишь своим рабочим и понятия не имеешь об их нуждах».— «Ясно, ясно»,— сказал Отец. «Ты считаешь себя джентльменом во всех своих действиях,— продолжал Младший Брат,— но это просто самообман всех таких, как ты, всех, кто глумится над гуманностью».—«Ты жил под моей крышей и работал в моем

бизнесе»,— сказал Отец. «Да, ты мог себе позволить такое великодушие,— сказал Младший Брат,— но я оплатил свой долг, и ты об этом узнаешь». Младший Брат мыл лицо мылом и горячей водой, движения его были мощными и резкими. Он вытирался полотенцем с вышитыми инициалами ДПМ. Он швырнул полотенце на пол, надел рубашку, нашарил в карманах запонки, пристегнул манжеты и воротничок, поднял подтяжки. «Ты объездил весь мир и ничего не понял,— сказал он.— Ты думаешь, что это преступление — войти сюда, в это здание, принадлежащее другому, угрожать его собственности. Между тем это гнездо стервятника, нора шакала.— Он надел пиджак, провел ладонями по своей бритой голове, затем водрузил на нее свой «дерби». С интересом посмотрел на себя в зеркало.— Гудбай. Ты меня больше не увидишь. Передай моей сестре, что я всегда буду о ней думать.— Он на мгновение застыл, глядя в пол. Потом прочистил горло: — Ты можешь сказать ей, что я всегда любил ее и всегда восхищался ею».

Группа собралась в холле. Все были одеты в колхаусовскую униформу — костюм, галстук, «дерби». Колхаус приказал им надвинуть котелки на глаза и поднять воротники, чтобы их не опознали. Надеждой на спасение был «форд-Т». Колхаус объяснил, как заводить его, как держать газ. «Когда вы будете в безопасности, позвоните мне по телефону». Отец спросил: «Разве я не еду с ними?» — «Здесь уже есть заложник,— сказал Колхаус, показывая на МБМ.— Белые лица похожи одно на другое». Все засмеялись. Перед огромной бронзовой дверью Колхаус обнял каждого. Младшему Брату достались не менее пылкие объятия, чем другим. Потом он вынул из кармана часы. К этому времени день за окнами уже померк. Он занял свое место в алькове, оседлал мраморную скамью и положил руки на детонатор. «Рубильник немного расхлябан»,— крикнул ему Младший Брат. «Олл-райт,— сказал Колхаус,— идите». Один из молодых людей снял засов с дверей, и без дальнейших церемоний все они вывалились наружу. «Задвиньте засов, пожалуйста»,— скомандовал Колхаус. Отец подчинился. Он приложил ухо к дверям, но все, что он слышал, было его собственное тяжелое, прерывистое дыхание. Потом после мучительно долгого интервала, во время которого вся надежда на спасение собственной жизни уже утекла из него, он услышал свистящий кашель и лопотание движка «модели-Т». Через несколько мгновений он услышал, что машина пошла. Он побежал в глубину холла. «Они уехали»,— сказал он Колхаусу Уокеру Мл. Чернокожий не пошевелился, он смотрел на свои руки, лежавшие на рубильнике детонатора. Отец сел на пол, спиной к мраморной стене. Поднял колени и опустил голову. Некоторое время они оба не двигались. Потом Колхаус попросил Отца рассказать ему о его сыне. Он хотел узнать, как он ходит, хороший ли у него аппетит, начал ли уже говорить,— словом, все до мельчайших подробностей.

IV

40

Два часа спустя Колхаус Уокер Мл. с поднятыми руками спустился по лестнице библиотеки и начал переходить 36-ю улицу по направлению к «браунстоуну». Именно так было оговорено в соглашении. Улица была очищена от зрителей. Перед Колхаусом на противоположном тротуаре стоял взвод Нью-Йоркских Отборных, вооруженный карабинами. Поперек улицы на расстоянии тридцати ярдов друг от друга расставлены были два подразделения конной полиции, лошади плечом к плечу, так что образовался коридор, по которому

и шел Колхаус. В этом коридоре таким образом он был скрыт от всех посторонних глаз. Генераторы на углу издавали устрашающий грохот. На залитой ярким светом улице Колхаус получил от полиции приказ: «Беги!» Он знал, конечно, что ему не обязательно бежать — достаточно лишь резко поднять голову, опустить руки или улыбнуться. В любом случае конец будет один. Внутри библиотеки Отец услышал координированный залп расстрельщиков. Он закричал от ужаса и подбежал к окну. Тело дергалось на панели в последовательных позициях, как будто стараясь вытереть собой свою собственную кровь. Полицейские стреляли в охотку. Лошади ржали и дыбились.

В своем гарлемском укрытии люди Колхауса, конечно, уже понимали, что все кончено. Они все были целы, кроме их вождя. Комнаты казались пустыми, рутинно стояли стены, как будто бы ничего не случилось. Что же делать дальше? Все, кроме Младшего Брата, решили остаться в Нью-Йорке. «Модель-Т» была спрятана в соседнем тупичке. Они полагали, что машина, конечно, маркирована полицией. Поскольку МБМ собирался в путешествие, решено было подарить эту тачку ему. Ночью он выехал к реке по 125-й улице и на пароме переехал в Нью-Джерси. Он рулил к югу. Очевидно, у него были кое-какие деньжата, хотя неизвестно, какие и откуда. Проехал Филадельфию, потом Балтимор. Он уходил все глубже и глубже, и вот уже негры стояли в полях, глядя на то, как он катил мимо. Машина тянула за собой огромный хвост пыли. Он рулил через маленькие городки Джорджии, где в скудной тени на площадях граждане живо обсуждали повешенье еврейчика Лео Франка за дурное обращение с четырнадцатилетней христианкой Мэри Фейген. Граждане плевали на землю. Народ любил тогда плевать во все стороны. Страна разлетающихся плевков. МБМ обгонял поезда и грохотал в холодном мраке крытых мостов. Картой он не пользовался. Спал в полях. Жал от одной бензоколонки до другой. На заднем сиденье у него собралась дивная коллекция инструментария, запчастей, камер, канистр, банок из-под масла, проволоки. Он не прерывал движения. Деревья становились все более и более разбросанными по равнине, а потом и вовсе исчезли. Скалы и полынь. Красивые закаты манили его все дальше в долины по засохшей, потрескавшейся на солнце глине. Когда однажды «форд» основательно сломался, на помощь ему пришла детвора с упряжкой мулов.

В Таосе Нью-Мексиканском он познакомился с богемой из нью-йоркского Гринич-Вилледжа. Они жили здесь коммуной, носили серапе и рисовали пустынные ландшафты. Они были восхищены его изможденным видом. Даже напиваясь вдребадан, он сохранял какую-то особенную болезненную страстность. Несколько дней он провел с этими чудными людьми. Короткая, но волшебная связь с многоопытной леди.

К этому времени жиденькие волосенки МБМ отросли настолько, что прикрывали ему плешь. Он стал обладателем длинной светлой бороды. Кожа его постоянно шелушилась, а от солнца развилось и некоторое косогласие. Так он зарулил в Техас. Одежда сносилась — теперь он щеголял в спецовке-комбинезоне, в мокасинах и индейском одеяле. В пограничном городке Пресидио он толкнул исторический «форд» какому-то лавочнику, снял с радиатора бурдюк с водой и перешел вброд Рио-Гранде, вступив таким образом в Мексику, в городишко Охинага, который то и дело переходил из рук в руки — от федеральных войск к инсургентам и обратно. Мазанкам Охинаги явно недоставало крыш, зато в церковных стенах красовались пробоины от полевых орудий. Поселяне робко жили за стенами своих дворов. Белая пыль на улицах. Здесь была расквартирована сейчас одна из

частей Северной армии Франсиско Вильи. МБМ присоединился к ним и был принят как «компаньеро».

Во время марша Вильи к югу на Торреон, двести миль вдоль разрушенной железной дороги, Младший Брат был в самой гуще. Они ехали через великую Мексиканскую пустыню с ее бочкообразными кактусами и испанским штыком. Лагерем вставали на ранчо и в прохладе аббатств. Курили макуче, завернутую в кукурузные листья. Еды было мало. Женщины в темных шалях подносили на головах кувшины с водой.

После победы при Торреоне МБМ стал носить патронташи крест-накрест через грудь. Он был «вильиста», но мечтал встретить Сапату и развиться дальше в «сапатиста». Армия ехала на крышах грузовых вагонов. Бойцов сопровождали семьи. Оружие, белье, корзинки с едой, грудные младенцы. Зола и дым из паровозных труб разъедали глаза и обжигали глотки. Были, конечно, и зонтики от солнца.

В Мехико-Сити состоялась встреча повстанческих вождей из разных регионов. Это был поворотный пункт революции. После падения презренного тирана Диаса взял власть реформист Мадеро. Мадеро пал к ногам генерала Уэрты, ацтека. Теперь и ацтек исчез, и умеренный Каранса пытался установить контроль. Столица кишела бурно плодившимися фракциями, вороватыми бюрократами, иностранными бизнесменами и шпионами. В этот хаос и вступила крестьянская армия Сапаты, южане. Город затих. Их репутация была настолько свирепой, что горожане трепетали перед ними. МБМ спокойно стоял в рядах «вильистов» и наблюдал вступление. Через некоторое время начались смешки. Грозные воины Юга не могли связать двух слов. Многие из них были просто детьми. Они пялили глаза на дворец Чапультепек. Оборванцы. Они стеснялись ходить по тротуарам Пасео де ла Реформа, бульвара особняков и ресторанов под открытым небом. Ужас как испужались они электрического трамвая. В пожарную машину кто-то из них со страху выпалил из ружья. Сам великий Сапата увлекся фотографированием собственной персоны и не заметил, как Вилья взгромоздился в президентское кресло.

Этим кампесинос [1] с Юга не понравился ни Мехико-Сити, ни революция умеренных. Когда они ушли, Младший Брат отправился с ними. Он никогда не раскрывал своих особых познаний офицерам Вильи, зато Эмилиано Сапате он сказал напрямик: «Я умею делать бомбы и могу поднять на воздух все, что хотите». В пустыне устроили демонстрацию таланта. МБМ наполнил четыре сухих тыквы песком из-под ног и добавил туда несколько щепоток черного порошка. Скатав кукурузные волокна, изготовил запалы. Поджег оные запалы и бросил по тыкве во все стороны света, по компасу. Отличнейшие получились дырки в пустыне, по десять футов шириной каждая. Весь следующий год МБМ возглавлял партизанские рейды на нефтяные поля, плавильные печи и федеральные гарнизоны. «Сапатисты» весьма уважали его, хотя даже и они считали замечательного подрывника слегка безрассудным. В одном из бомбовых налетов был поврежден его слух. В конечном счете он оглох. Он наблюдал теперь свои взрывы, но, увы, не мог их слышать. Стройные опоры горных железных дорог молча сминались и опадали в глубокие пропасти. Заводы и фабрики коллапсировали в белой пыли. Мы не уверены в точных обстоятельствах его смерти, но по всей вероятности он погиб в перестрелке с правительственными войсками возле плантации Чинамека в Морелос, где через несколько лет и сам Сапата был подстрелен из засады.

[1] Крестьянам *(исп.)*.

К тому времени президентом в Соединенных Штатах стал, конечно, Вудро Вильсон. Он был избран народом за его воинские качества. Тедди Рузвельт очень даже просчитался, обвиняя Вильсона в злокачественном пацифизме: дескать, он из тех пуритан, что пожирают рыбу с костями. Новый президент тут же дал работу морской пехоте, высадив ее в Вера-Крусе. И армия была не забыта: ее послали через границу преследовать Панчо Вилью. Он носил очки без оправы и держался строгой морали. В мировую войну он вступил с яростью, как оскорбленный словечком «пацифист». Ни сын Тедди Рузвельта— Квентин, погибший в воздушном бою над Францией, ни сам Большой Лось, умерший от тоски вскоре после этого, не перенесли, как видим, вильсоновского злокачественного пацифизма.

Знаки приближавшегося всесожжения были повсюду. В Гааге открылся Дворец мира, и сорок две нации прислали на церемонию своих представителей. Конференция социалистов в Вене постановила, что никогда более рабочий класс не будет биться друг против друга в империалистических войнах. Художники в Париже стали рисовать портреты с двумя глазами на одной стороне лица. Еврейский профессор в Цюрихе опубликовал бумаженцию, в которой доказывал, что вселенная изогнута. Ничто из этого не ускользнуло, конечно, от Пирпонта Моргана. Он высадился в Шербуре, еще в море позабыв злосчастный эпизод с сумасшедшим негром, забравшимся в его библиотеку. Затем он двинулся привычным путем через континент, из страны в страну, в личном поезде и повсюду обедал с банкирами, премьерами и королями. В этой последней группе он отметил нарастающую деградацию. Если августейшие фамилии не были меланхоличными, они обязательно были истеричными. Опрокидывают бокалы с вином, вопят на слуг. Он наблюдал эти неприличные выходки и пришел к выводу, что короли уже изживают сами себя. Это была паутина родственников, они все переженились за долгие столетия и породили в своей новой генерации невежество и идиотизм. На похоронах Эдуарда VII в Лондоне они пихали, толкали и били локтями друг друга, как дети, за местечко в кортеже.

Морган отправился в Рим и занял свой обычный этаж в Гранд-Отеле. Очень быстро серебряное блюдо его дворецкого заполнилось карточками аристократов. Несколько недель Морган принимал графьев и принцев. Все они приносили кой-чего из фамильных ценностей. Иные из них были обнищавшими смурнягами, другие простонапросто хотели конвертировать свои активы. Все, однако, казалось, только одного и желали — смыться поскорее из Европы. Морган сидел на стуле с прямой спинкой, сложив руки на набалдашнике трости, которую держал между ног, и сам похожий на набалдашник собственной трости. Он осматривал холсты, майолику, фарфор, фаянс, бронзу, прочее. Он либо кивал, либо качал — чем? — головой. Комнаты медленно (но верно) заполнялись предметами красивого быта. Красивое золотое распятье. Потянешь — превращается в стилет. Тут американ, конечно, не удержался — кивнул. В вестибюле отеля, и за дверями, и вокруг всего квартала, и дальше, и дальше тянулась очередь аристократов. Костюмчики, шляпки, трости. Все с узелками. Наиболее отважные и нетерпеливые — сразу быка за рога — сдавали жен и детей. Очень бьютифульных молодых женщин со скорбными глазами и деликатнейших вьюношей. Один инвалид привел близнецов, мальчика и девочку, быстро снял с них серый вельвет и кружева и стал крутить во всех направлениях.

Морган оставался в Европе до тех пор, пока его агенты не сообщили ему, что нильский пароход ждет в Александрии, снаряженный и готовый к плаванью. Перед отправкой он попытался еще раз убе-

дить Генри Форда катануть в Египет. Составил лично предлиннейшую телеграмму. И вот ответ: Форд, видите ли, не может оставить свой зеленый Мичиган, потому что пытается уже на последней стадии облапошить парнягу, изобретателя какой-то пилюли, увеличивающей всяческие мощности. Тогда Морган отдал приказ запечатывать всю барахолку. Дело было осенью, вот в чем штука. Прибыв в Александрию, он подошел к своему стальному пароходику и потом с тем же успехом, уже не оглядываясь, поднялся на борт и приказал капитану: давай отчаливай!

В голове у Моргана была такая идея — выбрать местечко на Ниле для собственной пирамиды. В сейфе своем он прятал от всех секретный... но детальный (до последнего гвоздя) проект, разработанный фирмой Маккима и Уайта. С современной-то техникой, с паровыми-то лопатами, с кранами, с полуфабрикатами можно отгрохать сносную пирамиду за три года. Эти дела будоражили большого американца, как первая любовь. Все будет в этой пирамиде: Палата фальшивого короля и Палата истинного короля, Неприступная сокровищница, Гранд-галерея, Спускающийся коридор, Поднимающийся коридор, Тайный ход к берегам Нила — все будет, что надо.

Первая остановка — Гиза. Он хотел тут авансом почувствовать вечную энергию, которую будет представлять, когда умрет и восстанет в лучах солнца, чтобы снова народиться. Пароход причалил ночью, и он с правого борта наблюдал силуэты огромных пирамид на фоне синего неба, не без звезд. Тут уже поджидали его платные доброхоты в арабских бурнусах. Они вмонтировали его верблюду меж двух горбов, и вся экспедиция направилась ко входу в Великую пирамиду. Пренебрегая советами знающих людей, богатый человек решил провести ночь внутри пирамиды. Он надеялся — за одну ночь — узнать диспозицию Осирисовой КА, то есть души, а также БА, то есть физической живучести. Он шел за своими гидами вниз по коридору. Свет факела, огромнейшие согбенные тени по стенам и потолку. Повороты, повороты, разные там лазы, которые приходилось преодолевать ползком на всех четырех, протискивание через последнюю апертуру, и вот он в середине, в самом сердце. Здесь он заплатил гидам половину оговоренной суммы для того, чтобы они не забыли прийти за ним завтра, иначе у них не сойдется баланс. Получив на прощание пожелание спокойной ночи, он остался один. Всего лишь кусочек неба синего в конце узкой воздушной горловины да единственная звездочка вдали.

Морган спать не будет этой ночкой. В Королевской палате, из которой сам же вытащил всю фурнитуру, не до сна. И ни капли бренди из припасенной заранее фляги. Алкоголь вульгарен. Он прислушивался и взирал в темноту, ожидая, какие знаки ниспошлет ему великий Осирис. Через несколько часов он задремал. Ему приснилась древняя жизнь, какой-то базар и он сам, уличный торговец, сидя на корточках обменивающийся добродушными проклятиями с оравой драгоманов. Этот сон так не понравился ему, что он тут же проснулся. Он был уверен, что по нему кто-то ползет. Зажег совершенно неподходящую к случаю безопасную спичку и увидел на одеяле (взял с собой, хоть спать не собирался) целую огромную коммуну клопов. Тогда он начал ходить взад-вперед во всех направлениях, вытягивая вперед руки, чтобы не расшибиться о каменные стены. Он решил, что в такой пограничной ситуации следует делать различие между фальшивыми знаками и истинными. Сон про тележечника на базаре — фальшивка. Клопы — подлейшая фальшь. Истинные знаки — это блаженное зрелище маленьких красных птиц с человеческими головами, летящих в собственном огненном свечении. Ведь сколько же он видел

оных птах на разных египетских меблировках. Не появились эти БА, не материализовались. В конце концов он увидел сквозь бесконечно длинную и узкую воздушную шахту, как звездочка завяла, а ромбоид ночного неба прозаически посерел. Он позволил себе отхлебнуть бренди. Не помешало. Ноги-то окоченели, и нос, нос, нос на мокром месте.

Морганов ские помощники пришли вместе с арабами и вытащили патрона на поверхность. Он был снова вмонтирован в верблюда и влеком теперь подальше от пирамид. Утреннее небо сияло по-своему, надо отдать ему должное. Морган глянул на Великого сфинкса и увидел на нем массу людей, копошившихся, как черви. Одни угнездились промеж когтей, другие забрались в дыры лика, третьи махали прямо с макушки. Морган вскинулся: осквернители были в форме бейсболистов. Вокруг сфинкса фотографы расставили свои треноги, засунули головы под черные тряпки и выставили зады. «Бога ради, что здесь происходит?» — спросил великан. «Нью-Йоркские гиганты» выиграли вымпел и сейчас совершают кругосветный тур»,— ответствовал помощник. «Вымпел? — спросил Морган.— Что они выиграли? Вымпел?» К нему бежал, клацая по священным камням подкованными башмаками, уродливый коротышка с огрызком сигары в зубах. «Менеджер Мак-Гроу спешит засвидетельствовать вам почтение»,— пояснил помощник. Не сказав ни слова, Морган пхнул каблуками своего дромадера, и они помчались галопом к пароходу.

Вскоре после этих приключений здоровье Моргана внезапно покачнулось. Он потребовал, чтобы его перевезли обратно в Рим. Он был далеко не несчастен, придя к заключению, что упадок здоровья как раз и есть тот самый знак, которого он ждал. Он так безотлагательно был снова нужен на земле, что его освободили от обычных погребальных ритуалов — имелась в виду новая пирамида, должно быть. Члены семьи встретили его в Риме. «Не печальтесь,— сказал он им.— Война ускорит все дело». Они не понимали, о чем он говорит. Они сидели у постели, когда он умер не без приятного предвкушения в возрасте семидесяти шести лет.

Вслед за смертью Д. П. Моргана произошел несчастный случай с эрцгерцогом Францем-Фердинандом. Он приехал в Сараево, столицу Боснии, с невинной целью проинспектировать войска. С ним была, как положено, и супруга, графиня Софи. Эрцгерцог по привычке держал свой шлем с плюмажем на сгибе руки. Вдруг какой-то сильный грохот, изрядно дыму, крики, и вот, пожалуйте, с ног до головы августейшая чета засыпана известкой. Какой-то дурак бросил бомбу. Мэр умирает от ужаса. Эрцгерцог в ярости. «День испорчен»,— сказал он и приказал шоферу немедленно выехать из узкого городка. Шофер загазовался и повернул «даймлер» не туда, куда надо. Он остановился, переключил скорости и стал разворачиваться задним ходом, и тут как раз случился рядом Гаврило Принцип, один из террористов, который уже отчаялся убить сегодня эрцгерцога. Увидев счастливую возможность, патриот скакнул на подножку безобразно неуклюжего автомобиля, нацелил пистоль в эрцгерцога и потянул курок. Выстрелы. Графиня Софи падает Францу между колен. Кровь фонтаном из горла Фердинанда. Крики. Зеленые перья плюмажа краснеют от крови. Солдаты, как всегда вовремя, хватают убийцу. Борьба — в их пользу, припечатан к земле. Волокут — куда? — в тюрьму, конечно.

Нью-йоркские газеты сообщили эту новость как проявление насилия, свойственного Балканским государствам. Мало кто из американцев чувствовал особую симпатию к убиенному наследнику австро-венгерского трона. Один лишь волшебник Гарри Гудини, читая за завт-

раком газету, был неприятно удивлен гибелью старого знакомого. Подумать только, сказал он сам себе. Подумать только. Он вспомнил флегматичную физиономию эрцгерцога, взирающего на него из-под короткой щетки своих волос. Священным трепетом наполнила его за завтраком мысль о том, как легко может быть сброшен на свалку носитель власти и мощи огромной империи.

Так уж случилось, что именно в этот день у Гудини был назначен очередной сногсшибательный кунштюк, иначе он, конечно, даже без всякого сомнения уделил бы смерти эрцгерцога гораздо больше внимания. Пришлось, однако, выйти из дома, кликнуть кеб и отправиться в центр, на Таймс-сквер. Здесь через полтора часа при стечении многих тысяч его связали в смирительной рубашке, прикрепили за лодыжки к стальному тросу и стали подтягивать вверх ногами на высоту башни «Таймса». С каждым поворотом лебедки, стоявшей на крыше внушительного здания, он поднимался выше на несколько футов и все больше и больше раскачивался под ветром. Толпа ликовала. Был теплый день, и небо голубело. Чем выше он поднимался, тем больше удалялись звуки улицы. Он видел свое имя вверх тормашками, начертанное на фасаде «Палас-театра» в пяти кварталах к северу. Автомобили трубили, трамваи сбивались в кучу на Таймс-сквере, когда водители останавливались посмотреть на великий шухер. Полиция на приплясывающих коняшках свистела в свистки. Все было вверх тормашками — автомобили, люди, полиция (упоминается отдельно от людей, поскольку верхом), тротуары, здания, и это естественно. Небо — в ногах! Гудини вздымался мимо огромного табло бейсбольной информации, прикрепленного к фасаду небоскреба. Он глубоко дышал и находил успокоение в опасности — это чувство вырабатывается годами физической дисциплины. Он приказал ассистентам поднять его приблизительно до двенадцатого этажа, достаточно высоко, но и не слишком высоко для зрителей. План был таков: на данной высоте начинается ожесточенная борьба со смирительной рубашкой, победа за нами, гадость эта летит вниз, а Гудини выбрасывает свое тело вверх подобно лезвию складного ножа и захватывает кабель, прикрепленный к его лодыжкам. Затем он встает на изгибе крюка подобающей человеку частью тела вверх и, приветствуя толпу, своими собственными руками начинает спуск. Гудини сравнительно недавно почувствовал большое облегчение в отношениях с самим собой. Тоска по матери, страх потерять зрителей, подозрение, что его жизнь никчемна, а достижения его смехотворны — все это осталось, но он легче это переносил. У него появилось новое увлечение — срывание масок с шарлатанов-спиритуалистов. Он являлся на сеансы и разоблачал поддельных медиумов, раскрывал и предавал общественному презрению ловушки и устройства, которыми дурачили простаков. На массовых представлениях он вставал и предлагал господам оккультистам пари на 10 000 долларов в том, что любое из их магических чудес он, Гудини, сможет повторить при помощи механизмов. Пресса и публика просто с ума сходили от этого нового направления его творчества. У него было смутное чувство, что раз его мама мертва, он должен защищать небеса, ибо и сам к ним теперь имеет некоторое отношение. Быть может, он уже и приближается к границам региона, где она теперь обитает. Частные детективы выслеживали для него сеансы спиритизма во всех городах, где он гастролировал. Он приходил на них загримированный под седовласую вдову под вуалью. Цап — вытаскивал из-под стола электрический моторчик, придававший предмету вращение, хвать — срывал покрывало со спрятанной виктролы, оп-па — хватал за шиворот соучастника, притаившегося за шторой. Засим — торжественное снимание парика и объявле-

ние собственной персоны. Повестки в суд дюжинами, пачками. Такова жизнь. Гудини понял, что достиг уже нужной высоты. Ветер здесь был несколько сильнее. Он чувствовал, что начинает вращаться. То перед ним были окна башни «Таймса», то открытое пространство над Бродвеем и Седьмой авеню. «Эй, Гудини»,— позвал какой-то голос. Ветер повернул Гудини к зданию. В окне двенадцатого этажа стоял усмехающийся мужчина. «Эй, Гудини,— сказал он,— етиттвою, Гудини».— «Взаимно, Джек»,— ответил ему волшебник. Он мог бы освободиться от смирительной рубашки меньше чем за одну минуту, но в этом случае публика была бы чрезвычайно разочарована. Поэтому он стал изображать свирепую борьбу. Ахи и охи долетали снизу. Вскоре вся его верхняя половина, включая, конечно, и голову, вроде бы окончательно запуталась. В темноте смирительной мануфактуры он решил на мгновение передохнуть. Итак, он висел вниз головой над Бродвеем, шел 1914 год, эрцгерцог Франц-Фердинанд только что был убит. В этот момент некий образ из прошлого возник в сознании Гудини. Он увидел Малыша, мальчишку, глядящего на свое отражение в сияющих фарах автомобиля.

Мы располагаем записью этого странного события в собственных неопубликованных бумагах Гудини. Конечно, учитывая особенности его профессии, все склонности великого фокусника, мы должны критически относиться к его заявлению, что это было единственное («Предупреди эрцгерцога!») истинно мистическое событие в его жизни. Так это или иначе, но в семейных архивах имеется визитная карточка Гудини, датированная неделей позже его подъема на башню «Таймса». Никого, однако, не было дома, чтобы принять его. Семья к тому времени вступила в период рассасывания. Мать, Малыш и шоколадный ребеночек, окрещенный Колхаусом Уокером Третьим, ехали в туристическом «паккарде». Родительница была за рулем и держала курс к побережью штата Мэн, где художник Уинслоу Хомер жил в последние годы своей жизни и где его вдохновляли дамы, похожие на Родительницу. Мать и Отец были теперь в самых корректных, но весьма ограниченных отношениях — смерть Младшего Брата в Мексике дала финальный импульс для их разделения. Дед не пережил зимы и обосновался теперь на кладбище за Первой конгрегатской церковью на Северной авеню в Нью-Рошелл. Отец был в Вашингтоне, то есть в нашей столице. После своего возвращения на фабрику фейерверков он нашел полный ящик чертежей. Это и было платой Младшего Брата за долги, о чем тот говорил ему в их последнем разговоре в библиотеке Моргана. Более чем щедрая оплата, надо сказать. За полтора года до своей эмиграции МБМ изобрел семнадцать видов оружия, некоторые из них были настолько передовыми, что США не смогли их освоить до второй мировой войны. Здесь были такие прелести, как безотказный реактивный гранатомет, сверхчувствительная мина, звукоулавливающая глубинная бомба, инфракрасный винтовочный прицел, трассирующие пули, облегченный пулемет, шрапнельная граната, нафаршированная нитроглицерином, портативный огнемет. Именно с целью внедрения замечательных новшеств Родитель прибыл в Вашингтон и свел дружбу с высокопоставленными офицерами армии и флота. Сложностей было немало: и испытания прототипов, и переговоры по контрактам, и конференции, и самые дорогие процедуры, то есть завтраки, ужины и развлечения с лоббистами. Отец самоотверженно снял апартаменты в отеле «Хэй-Адамс». Как лучше убежать от личного неблагополучия? Ринуться с головой в работу — таков ответ. Когда занялась Великая война в Европе, Отец был одним из тех, кто опасался, что у Вудро Вильсона не хватит боевого духа. Он открыто ратовал за приготовле-

ния к боям, пока это не стало и официальной точкой зрения. Другие правительства, гораздо больше, чем наше собственное, проявляли живейший интерес к плодам пагубного таланта Младшего Брата, и по просьбе госдепа Отец старался определить эти интересы и решить, кому отдать предпочтение. С германцами он был, естественно, груб, с британцами — дружелюбен, что тоже естественно. Он полагал, что симпатии Америки склонятся в конечном счете к союзникам, и так оно и случилось в 1917 году. Впрочем, уже в 1915-м стало ясно, что это неизбежно. В том году германская субмарина торпедировала британский лайнер «Лузитанию». Судно было зарегистрировано как вооруженный торговый корабль, однако немцы, возможно, знали, что в трюмах у него — военные материалы. Двенадцать сотен мужчин, женщин и детей потеряли свои жизни в водах Атлантики, многие из них были американцами, а одним из этих американцев оказался Отец, который направлялся в Лондон с первой партией гранат, глубинных бомб и других вещей для Военного ведомства и Адмиралтейства. Вещи эти, без сомнения, вызвали чудовищную детонацию в корабле и способствовали его резкому погружению.

Бедный Родитель, мне видится его последняя экспедиция. Он прибывает в неизведанные края, волосы его подняты в удивлении, рот и глаза немы. Цыпочки его касаются мягкого потревоженного песка, руки и ноги движутся в торжественной пантомиме: иммигрант, как и в любой момент своей жизни, он прибывает сейчас навечно к берегам Своей Сути.

Мать носила траур целый год. К концу этого срока другой вдовец Тятя предложил ей руку и сердце. «Вы же понимаете, я не есть никакой не барон,— сказал он.— Я еврейский социалист из Западной России». Мать приняла его предложение без колебаний. Она обожала его, ей нравилось быть с ним. Они как бы дополняли характеры друг друга. Они поженились гражданским браком в судейской палате Нью-Йорка. Блаженство. Союз их был радостным, хотя и без показухи. Тятя сделал большие деньги, выпустив серию «Контрразведчик Слайд и тень канонерки», но великий его успех был еще впереди. Семья сдала дом в Нью-Рошелл и переехала в Калифорнию. Они поселились в большом белом доме — с арками и оранжевой черепичной крышей. Пальмы вдоль дорожек. Клумбы с яркими красными цветами. Однажды утром Тятя выглянул из окна своего кабинета и увидел трех детей, сидевших на лужайке. На дорожке стоял трехколесный велосипед. Его черноволосая дочь, его кучерявый пасынок и его подопечный черный ребенок. Внезапная идея фильма озарила его — вот так бывает. Шайка ребятишек, приятели, белые, черные, жирные, тощие, богатые, бедные, всякие, маленькие, озорные пострелы, охотники за веселыми приключениями в своем собственном околотке, эдакая банда беспечных оборванцев, попадающая в переделки и выбирающаяся из них. Конечно же, серия, целая серия фильмов... фильмы, фильмы, фильмы... А к этому времени эра рэгтайма уходила вдаль, сопровождаемая тяжелым дыханием машин, как будто история была не чем больше, как только нотами для пианиста. Мы дрались и выиграли войну. Анархистка Эмма Голдмен была депортирована. Красивая и страстная Эвелин Несбит потеряла свои прелести и растворилась во мраке. Что касается Гарри Кэй Фсоу, то он, освободившись в конце концов из приюта для умалишенных, браво маршировал на ежегодных парадах в честь Дня победы в Ньюпорте.

Популярный роман и музыка истории

Роман «Рэгтайм» Э. Л. Доктороу еще до выхода в свет благодаря журнальным публикациям привлек внимание литературной общественности США, быстро завоевал популярность и вошел в списки бестселлеров. Вокруг романа возникли острые дискуссии: одни категорически относили роман к массовой беллетристике, другие видели в нем новое слово в развитии жанра романа в Америке. И поклонники и критики романа были согласны, однако, в одном немаловажном обстоятельстве — роман читался с захватывающим интересом и заставлял вновь и по-новому посмотреть на, казалось бы, давно решенные проблемы американской истории и американской современности.

«Рэгтайм — самая ранняя форма джаза, которая вызвала широкий отклик, рэгтайм был в своей основе фортельянным стилем, акционировавшим синкопы и полиритмику. Скотт Джаплин (1868—1917) был ведущим композитором и исполнителем рэгтайма. Примерно с 1893-го и до начала первой мировой войны рэгтайм получил широкое распространение...» — такую справку дает авторитетный и весьма популярный американский толковый словарь «Коламбиа энсайклопидиа». Конечно, было бы неправомерно усматривать в этом определении краткое изложение романа Э. Л. Доктороу, но многое в замысле романа и в его художественном воплощении оно помогает понять и прояснить.

Может быть, главное в названии романа — это историзм. Да, рэгтайм — это не только два десятилетия популярных мелодий и танцев Америки, но это и музыкальное обрамление бурной и сложной эпохи в истории Соединенных Штатов: от испано-американской войны до первой мировой войны; гигантский рост монополий и превращение США в ведущую империалистическую державу, подъем рабочего и антимонополистического движения, мощные забастовки в Лоуренсе и Патерсоне, бурный рост техники — трамвай, телефон, автомобиль, самолет, первые небоскребы и безысходная нищета Бауэри, Гарлема и Ист-Сайда в Нью-Йорке, назревание гроздьев народного гнева, забастовки и спонтанные террористические акции анархистов, первые шаги американского кинематографа — весь этот калейдоскоп событий сопровождали судорожные и размашистые ритмы рэгтайма; в XX век Америка шагала под аккомпанемент сент-луисских черных пианистов и оркестрантов.

Кроме того, это название определяет и художественную фактуру романа, размашистого и многоритмового, стремящегося охватить все богатство и многообразие событий и судеб эпохи, все задеть и затронуть, но при этом опустить и многие детали, а даже главные сюжетные линии отметить не жирной линией, а легким пунктиром. Словом, в известной мере рэгтайм движет и развитие фабульных линий романа и определяет динамику сюжета и композиции и эклектичность образной структуры и системы.

Э. Л. Доктороу не первым в американской литературе определил эпоху свойственной ей музыкальной модой. За пять десятилетий до него Фрэнсис Скотт Фицджеральд окрестил «джазовым веком» современные ему 20-е годы нашего века: джаз пришел на смену рэгтайму. Правда, Фицджеральд выступал историком современности, джаз был частью его жизни, и в нем он видел и слышал аромат своей эпохи. Для Доктороу же рэгтайм — символ далекого и не пережитого им прошлого, это атрибут истории, и в этом его существенное отличие от великого предшественника.

Обращение Э. Л. Доктороу к прошлому и к жанру исторического романа отражает определенные тенденции в развитии американской литературы 70-х годов — отмечавшееся в 1976 году двухсотлетие США, конечно же, способствовало росту интереса к истории Америки, пробудило многочисленные попытки подвести итоги историческому опыту американского народа, а вместе с ними и многочисленные исторические романы разного и по преимуществу невысокого качества; с другой стороны, неудовлетворенность сегодняшней Америкой заставляла вдумчивых художников искать в прошлом своей страны истоки того духовного, морального и политического кризиса, который поразил во второй половине XX века крупнейшую страну капиталистического мира; и наконец, стремление уйти от штампов и канонов беллетристики 50-х и 60-х годов с ее надуманными и далекими от реальностей жизни сюжетами толкало многих прозаиков не только в сферу документальной прозы, представленной значительными произведениями Трумэна Капоте, Нормана Мейлера или «нового журнализма», связанного с именами Тома Вулфа и Джима Брезлина, но и к достоверности исторического документа и исторического факта. Исторический роман в современной американской литературе не только модное и заразительное поветрие, но и симптом и проявление углубленных идейно-художественных поисков, отражающих магистральное направление развития художественной прозы, и роман Доктороу, опубликованный в 1975 году,— существенное и не единственное тому доказательство.

По сравнению с другими романами исторического жанра «Рэгтайм» в основе своей художественной структуры меньше зависит от тех или иных пересечений исторических фактов, его главные герои живут в точно очерченную автором эпоху, но сами историческими личностями не являются в отличие, к примеру, от героев другого популярного исторического романа «Бэрр» Гора Видала, опубликованного в США в 1973 году и напечатанного в «Иностранной литературе» в русском переводе в 1977-м.

Жизненная канва бурной биографии вице-президента Бэрра служит основой сюжета романа Гора Видала, высмеивающего традиционную апологетическую историографию, а заодно и современные политические нравы Америки. Для Доктороу важнее передать атмосферу эпохи и выявить те проблемы в американском недавнем прошлом, которые и сегодня остались не разрешенными американским обществом. Здесь речь идет о своеобразной ретроспективной картине развития Америки, а это дало повод многим критикам переклассифицировать «Рэгтайм» в новую и более модную категорию романов ретроспективных, сокращенно именуемых «ретро», но это не значит, что исторические события и личности составляют лишь своеобразный ностальгический фон романа. Нет смысла спорить по поводу терминов, но хотелось бы подчеркнуть стремление автора даже в кратких ремарках быть достаточно достоверным в историческом плане, хотя главное для него, видимо, не детали истории, а ее живое дыхание, ее ритм.

На достаточно широком историческом фоне Доктороу выделяет несколько аспектов, и некоторые из них, может быть, не всегда были в центре внимания историков Америки этого периода. Для романиста особенно важны судьбы приехавших в конце XIX — начале XX века иммигрантов из стран Восточной Европы и прежде всего выходцев из западных районов России, судьба черных американцев, малочисленные, но эффектные, шумные выступления анархистов-террористов, забастовки, бурное развитие техники и рост монополий и их власти — власти не формальной, а реальной. Все это невольно вызывает у современного читателя ассоциации с актуальными, острейшими социально-политическими и идеологическими проблемами Америки.

Большая часть героев романа имеет своих реальных исторических прототипов. Исключение составляют лишь Отец, Мать, Младший Брат Матери, Дед, Малыш, Тятя (он же барон Ашкенази), Малышка и негр-пианист Колхаус Уокер Младший, но они, как видим, достаточно обезличены, хотя бы и тем, что лишены, как правило, даже имен и фамилий. Трудно сказать об этих героях, что они для автора важнее, чем исторические персонажи, которые чаще очерчиваются даже более детально и тщательно. Скорее эти герои нужны автору для выявления некоторых основных линий в романе, хотя они никак не являются ни рупорами идей автора, ни даже предметом его особых симпатий.

Для автора Мать с ее давно осевшим в Америке семейством, иммигранты из западных районов России Тятя с Малышкой и негр-пианист Колхаус Уокер Младший олицетворяют разные потоки, формирующие американскую нацию. И несколько механическое объединение этих семейств в финале романа после брака Тяти, преуспевшего на кинематографическом поприще и превратившегося в барона Ашкенази, и овдовевшей Матери становится своего рода символом: Малыш, Малышка и осиротевший сын Колхауса Уокера Младшего призваны олицетворять то самое слияние этнических элементов, которое хотелось бы видеть в Америке автору, но которое, увы, в реальности так и осталось неосуществленным.

Реальные исторические лица, реальные исторические события играют в этом романе доминирующую роль.

В «Рэгтайме» история служит автору прежде всего для того, чтобы пролить свет на его отношение к современности, и это проявляется не только в острых драматических событиях того времени, о которых идет здесь речь, но часто и в весьма мелких деталях. Тятя и Малышка уезжают из Нью-Йорка на трамвае и платят за поездку через весь город несколько центов — современный житель Нью-Йорка не может при этом не вспомнить, что сегодня за такую поездку на автобусе или подземке надо заплатить полдоллара по крайней мере. На трамвае Тятя и Малышка уезжают весьма далеко от Манхэттена, и читателю вновь напоминают, что в начале века в Америке была разветвленная сеть трамваев и железных дорог, служивших дешевым и надежным средством транспорта, и при всей привязанности американцев к автомобилю, появление которого на американской почве также описывается в романе, у современного американца это вызывает определенную ностальгию по ушедшему доброму старому времени. И таких деталей, демонстрирующих болезни современной Америки, в книге чрезвычайно много. Они и придают ей определенный аромат сожаления о том времени, когда не только деревья были большими, но и цены были низкими, хотя автор в других случаях пытается показать и свое более критическое отношение к событиям того времени.

Доктороу некоторые критики обвиняли в неточности при описании тех или иных исторических событий. Возможно, эти обвинения и справедливы, но для Доктороу важны не столько эти события сами по себе, сколько их интерпретация с позиций сегодняшнего дня. Пири покоряет Северный полюс, с ним последний отрезок пути проходит негр Хенсон, который играет едва ли не решающую роль в успехе экспедиции Пири, лавры же победителя единолично получает Пири. Достаточно определенный смысл вкладывается в интерпретацию этого исторического события: черному американцу не позволено конкурировать с белым хозяином. Хенсон полагал, что Пири не пожелает взять с собой на Северный полюс черного, чтобы не делить с ним славу; для Пири же взять черного на Северный полюс было равнозначно тому, чтобы отправиться туда в одиночестве: черного спутника он даже не принимал в расчет как конкурента. Подобное истолкование мотивов поведения реальных исторических героев позволяет Доктороу раскрыть достаточно глубоко тот неистребимый и чуть ли не врожденный ра-

сизм, который так и не покинул пределов Соединенных Штатов Америки, и здесь автор попадает в цель.

Он продолжает тему черных американцев в связи с пианистом Колхаусом Уокером Младшим, который подвергается грубым издевательствам со стороны мещан из пожарной команды провинциального городка в Новой Англии. Все симпатии автора на стороне благородного, интеллигентного и мужественного черного пианиста — блестящего исполнителя рэгтайма. Может быть, именно этот персонаж и ближе всего автору, во всяком случае его нежелание примириться с рабским положением в обществе вызывает симпатии читателей и заставляет вспомнить снова о том, что и сегодня подобные случаи происходят в Америке с черными американцами, занимающими куда более высокое положение, чем пианист из нью-йоркского оркестра.

Не всегда, однако, ретроспективный взгляд на Америку оказывается столь же точным, как в этих случаях. Это, к сожалению, относится к описанию и Мексиканской революции и забастовки текстильщиков в Лоуренсе. Доктороу блестяще рисует скупыми, но очень выразительными мазками ужасающую нищету, на которую обречены хозяевами рабочие Лоуренса, и тот взрыв гнева, который привел к забастовке, казалось бы, безропотных людей. Эмоционально описывая сцены расправы городских властей с забастовщиками, автор заставляет своего героя-социалиста, однако, принять неожиданно наиболее простое, примитивное и продиктованное чувством страха решение — бежать с поля боя, и здесь снова очевидная проекция прошлого в настоящее: участвовать в забастовочной борьбе, подвергая себя и своих близких смертельной опасности, не имеет смысла. Оправдание — даже в такой форме — капитуляции перед превосходящими силами врага и отречения от социалистических идеалов не может вызвать симпатий и тем более одобрения. Доктороу, однако, не останавливается на этом. В эпизодах, связанных с описанием террористических акций, он вновь стремится подчеркнуть бессмысленность или бесполезность борьбы против имеющих силу и власть. Конечно, автор сочувствует Колхаусу Уокеру, уничтожающему своих врагов, однако его смерть призвана показать бессмысленность не только индивидуального террора, но и любых форм организованной борьбы против капитала и тех, кто ему служит.

Автор даже несколько нарочито не делает различий между забастовочным выступлением рабочих в Лоуренсе и террористическими актами анархистов — учеников Эммы Голдмен. В результате справедливое и вполне обоснованное осуждение терроризма, опасность и бесплодность которого сегодня ощущают на себе прежде всего прогрессивные силы многих стран Запада, переносится механически и на организованные акции рабочего класса. Правда, в целом на протяжении романа автор проявляет весьма внимательное отношение к разным формам борьбы против социальной несправедливости в ее различных проявлениях.

Критики, рассматривая историзм «Рэгтайма», часто сравнивают этот роман с произведениями Джона Дос Пассоса двадцатых годов, когда этот писатель принадлежал к левому крылу американской литературы. Действительно, в творческой манере Доктороу сказывается и по-своему достаточно тонко воспринятое и творчески переработанное влияние не только техники Дос Пассоса-романиста, но и его эпического подхода к созданию прозаических произведений. Отказавшись от механического деления романа на конструктивные элементы и преодолев несколько наивный конструктивизм своего предшественника, Доктороу добился большего художественного единства, реального слияния различных элементов эпического повествования — героев, исторических персонажей, документов эпохи, которые Дос Пассос выделял в знаменитые свои «Новости дня», лирических отступлений, которые Дос Пассос концентрировал в виде «Киноглаза» («Камеры обскуры»). Что же касается главного эффекта, к которому стремился и Дос Пассос: передать не только аромат эпохи, но и ее социальный смысл,— здесь наряду с завоеваниями мы видим у Доктороу и известные потери по сравнению с Дос Пассосом — проявляются они в большей узости социального кругозора. Подобно Дос Пассосу, Доктороу дает портреты исторических личностей: Эмма Голдмен, Джон Пирпонт Морган, эрцгерцог Фердинанд, Теодор Рузвельт, Генри Форд, но в достаточно тщательно выписанной его галерее нет ни Юджина Дебса, ни Джо Хилла, ни Джона Рида, ни Рэндольфа Борна, а ведь эти четыре исторических героя для трилогии Дос Пассоса «США» имеют, пожалуй, ключевое значение не только потому, что Дос Пассос в те годы с огромным пиететом относился к ним как личностям необычным и героическим, но и потому, что они для него выражали и его идеалы и идеалы той Америки, которую он принимал.

Свое отношение к прошлому и настоящему Америки Доктороу передает через иронический склад повествования. Эта ирония автора сказывается в легком пародировании стиля журналистики эпохи рэгтайма и современной «расследовательской» публицистики. Ирония Доктороу придает особый аромат роману и привлекает читателя авторским нонконформизмом, иногда весьма активным, но подчас кажущимся.

Иронический склад прозы в последние годы приобрел в США большую популярность, что связано с растущим неприятием американскими писателями духовных ценностей буржуазного мира. В этом смысле современные американские писатели выступают как наследники знаменитой романтической иронии, но, к сожалению, у многих из них ирония переходит в скепсис и оказывается слишком универсальной, а подчас и удобной формой отказа от выявления собственного отношения к событиям. У предста-

вителей так называемого черного юмора — Пинчона, Барта, Бартельма и др.— ирония перерождается в релятивизм, он же в свою очередь подчас скрывает форму цинизма по отношению к человеческой личности, а не только к обществу, которое породило отчуждение человеческой личности и оказывает на нее губительное влияние. В итоге такого рода ирония выявляет духовную опустошенность не только буржуазного мира, о котором идет речь, но и самих авторов.

Конечно, несправедливо было бы относить все это к Доктороу, однако в известной степени и у него ирония подчас переходит в форму релятивистского не только отрицания, но, пожалуй, и своего рода оправдания всего, что происходит в мире, по принципу: с волками жить — по волчьи выть.

Э. Л. Доктороу, бесспорно, принадлежит к числу весьма искушенных и умелых мастеров американской прозы. Тем более досадным диссонансом в романе звучат нотки, сближающие его с массовой беллетристикой, и проявляются они как в сексуальной окраске многих его метафорических построений, так и в безвкусном подчас использовании стиля бульварной прессы и литературы, хотя, конечно, похождения Эвелин Несбит, из-за которой богач Фсоу убил знаменитого архитектора Уайта, могут показаться невинными забавами американскому читателю, который привык к порнографическому литературному ширпотребу, сопровождающему разрекламированную на весь мир сексуальную революцию. И все-таки успех романа не следует относить только на этот счет, он в не меньшей степени обусловлен и стремлением Доктороу передать в популярном романе музыку истории.

Сложную образную и речевую структуру и ритмику романа, уснащенного к тому же многочисленными историческими реалиями и сопоставлениями, в полной мере передает русский перевод, сделанный известным прозаиком Василием Аксеновым.

Недавно в журнале «Иностранная литература» была опубликована глава романа Джозефа Хеллера «Что-то случилось». Само название романа показательно, оно выражает тревогу по поводу современного развития американского общества, того тупика, в который оно зашло в своем духовном, нравственно-этическом, политическом, а в последние годы и в экономическом кризисе. Историческое повествование Доктороу «Рэгтайм» ретроспективно развивает эту мысль: в Америке что-то случилось еще в начале века, и она не может от этого избавиться по сей день. С той лишь разницей, что сегодняшний облик Америки рок-опер и поп-музыки еще дальше от идеала, чем эпоха рэгтайма.

Я. ЗАСУРСКИЙ

■

САНАЛБАТ
(Д. Сандагдорж, Д. Назагдорж, Л. Бачух)

Монголия.

Иллюстрация к книге «Моя страна»

Критика

ПОРА ВОЗМУЖАНИЯ

В октябре этого года писатели Азии и Африки, прогрессивные литераторы всего мира отмечают двадцатилетие со дня созыва первой конференции писателей стран Азии и Африки. Афро-азиатское писательское движение родилось в теплом и солнечном Ташкенте, столице Узбекистана. Ребенка приняли с неподдельной радостью, и на протяжении всего этого времени матери, отцы, братья, сестры — участники нашего движения, его сторонники и друзья — с энтузиазмом помогали ему встать на ноги, окрепнуть и набрать силы, которыми обладает оно сегодня.

Не думаю, что афро-азиатское движение возникло как нечто обособленное в литературном процессе наших дней. Оно не ставило целью отгородить афро-азиатских писателей от литераторов мира, от устремлений и идеалов, за воплощение которых они борются словом. История выдвинула перед миллионами людей наших двух континентов первостепенную задачу — добиваться освобождения от колониальной зависимости, гнета империализма, расовой и национальной дискриминации, социальной несправедливости, вековых предрассудков. И нет сомнения, что борьба против колониализма и эксплуатации во всех ее формах неразрывно связана с борьбой за национальную культуру, со стремлением утверждать великое чувство дружбы, утверждать достоинство человека и волю к миру. Наши писатели хотят передать в своих произведениях торжество народов, которые завоевали национальную независимость, вырвались из темноты и невежества и вступили на путь построения светлого будущего.

Прошло время, когда литературы Азии и Африки рассматривали как некую антропологическую диковинку или как нечто экзотическое, когда по социальным или религиозным причинам их подвергали остракизму. Ныне эти литературы активно участвуют в мировом художественном процессе; мы становимся свидетелями возникновения новых явлений в литературах с древними традициями. К примеру, на индийском субконтиненте усилиями тех, кто принадлежал к низшим кастам в обществе с традиционной кастовой иерархией, создаются новые направления в литературе.

Народы Азии и Африки — равноправные хозяева нашей планеты. Вместе со всем прогрессивным человечеством они отдают свои силы борьбе за прекрасный мир, о котором, как о заветной цели рода человеческого, мечтают и пишут сегодня художники слова, говорящие от имени своих собратьев, мир, не знающий войн, нужды и жестокости.

Статьи, которые журнал «Иностранная литература» предлагает вниманию читателей, дают представление о том, как литераторы Азии и Африки откликаются на острые, животрепещущие проблемы современности и как хранят верность классическому наследию.

АЛЕКС ЛА ГУМА

К. ЧУГУНОВ

В ПОИСКАХ ПУТИ

Заметки о современной африканской прозе

За двадцать лет, прошедших после первой конференции писателей стран Азии и Африки, в политической, социальной и культурной жизни обоих континентов произошли разительные перемены. Чтобы представить себе масштабы этих перемен, достаточно вспомнить, например, как оценивали обстановку в Черной Африке делегаты Ташкентской конференции в октябре 1958 года. Камерунский писатель Бенджамин Матип сказал тогда: «Из сорока одной страны Черной Африки лишь пять пользуются национальным суверенитетом, остальные же представляют собой мозаику колониальных территорий, полностью подвластных империализму во всех его проявлениях».

Одним из главных итогов национально-освободительной борьбы последних десятилетий является возникновение на развалинах колониальных империй более семидесяти государств, часть которых (такие, как Ангола, Эфиопия) ориентируется на некапиталистический путь развития. Если же говорить об успехах национально-освободительного движения в Азии, то следует отметить прежде всего великую победу вьетнамского народа над силами империализма США и создание единого социалистического Вьетнама.

Значительны успехи и в области культуры и литературы стран, ставших на путь самостоятельного развития. Известный ганский поэт Кофи Авунор в интервью журналу «Транзишн» справедливо отметил: «Теперь мы лучше разбираемся в вопросах жизни и лучше пишем. Пишем уже на общечеловеческие темы, а не только о жизни своих племен». Авунор приводит пример нигерийского писателя Чинуа Ачебе [1].

Будучи еще очень молодым человеком, Ачебе отверг сочинения «колониальных» писателей и заявил: «Я хочу восстановить справедливость — буду писать о славном прошлом Африки». Однако когда его страна обрела политическую независимость и возникли социальные проблемы, о которых он, может быть, даже не подозревал, то ему пришлось внести в свое творческое «кредо» существенную поправку. Сам он, возможно, и не отдавал себе в этом отчета, но если вникнуть в суть его романа «Человек из народа», то станет ясно, что освященные временем племенные традиции рисуются в нем далеко не идиллически. Вглядевшись в историю, он обнаружил, что африканские предки «такие же варвары, так же жестоки, так же несправедливы, как предки других народов... Мы продавали людей в рабство и совершали другие злодейские поступки. Кое-кто из европейцев носился с африканцами как со святыми, у которых черные лица, но золотые сердца... Но мы — просто люди и хотим, чтобы к нам относились как ко всем остальным».

Наблюдая за событиями в жизни своей страны, Чинуа Ачебе видел, как утверждаются буржуазные отношения, власть денег. Об этом его роман «Человек из народа». Новая, «своя» буржуазия противостоит массам. Нувориши купаются в роскоши, наживаясь на нечистых сделках с английскими фирмами и при этом демагогически именуя себя, как это делает министр Нанга, слугами народа. Режим становится все более циничным и реакционным, но силы протеста пока слабы. И это объясняет трагическую атмосферу романа. Современное общество с его классовыми и национальными противоречиями сложно, и художник видит свою задачу в том, чтобы понять и показать социально-исторические силы, движущие этим обществом. В беспощадном изобличении коррупции и гангстеризма проявляется активность Ачебе как художника.

К ряду характерных явлений нигерийской прозы можно отнести и роман «Мой «мерседес» больше» молодого писателя Нкема Нванкво. Это произведение — злая, почти гротескная сатира на тех представителей молодой нигерийской «элиты», которые связывают свою судьбу с неоколонизаторами. В центре романа — сын вождя Онума. Окончив фешенебельную закрытую школу, рано познав «сладкую жизнь», избалованный столичной жизнью повеса без труда поступил в только что построенный на народные деньги университет, а потом устроился, благодаря связям богатого дяди, в лагосский филиал английской коммерческой фирмы. Официально его должность называлась «агент отдела рекламы и информации», в действительности же его обязанностью было налаживать связи продажных политиков и государственных чиновников с европейскими бизнесменами, которые их подкупали. Бывало также, что в Нигерию наезжали лондонские управляющие и между делом предавались сомнительным развлечениям. В таких случаях Онума, со своим знанием городских притонов, был незаменим. Он соединял в своем лице посредника, агента по тайным сделкам и сводника и роли эти выполнял с большим удовольствием.

Благосклонное отношение хозяев, солидное жалованье, комфортабельная квартира с прислугой и, наконец, дорогой автомобиль, купленный в рассрочку (весьма удобный для любовных свиданий),— все это вскружило Онуме голову. Он искренне поверил в свою «исключительность».

Но жизнь жестоко посмеялась над ним. Приехав на побывку в родную деревню, он предался пьяному разгулу и после одной из попоек разбил свой великолепный лимузин. Не имея теперь ни машины, ни денег на выплату долга лагосскому банку, он застрял в деревне, преследуемый насмешками

[1] Его роман «Человек из народа» был опубликован в «ИЛ» № 3, 4, 1967.

односельчан. В поисках выхода решил было пойти на службу к местному богачу, бесчестному политикану Эзе, но это привело к трагической развязке: заподозрив Онуму в двурушничестве, Эзе приказал своим телохранителям учинить над ним физическую расправу. Избитый, опозоренный, Онума теряет рассудок и погибает.

Нынешний этап национально-освободительного движения характеризуется чрезвычайным разнообразием форм борьбы — от пассивного сопротивления империализму до вооруженного отпора,— причем разнообразие это в значительной мере определяется различием в уровнях социально-экономического развития, степени активности широких масс, в характере режимов стран «третьего мира». В ряде случаев прогрессивные силы внутри страны ослабляются пережитками феодализма и родоплеменных связей, о чем не без горечи пишут в своих книгах многие африканские писатели. Характерен в этом отношении роман Габриела Окары «Голос»[1], реалистически показывающий, как эксплуатируют народные верования и обычаи племенные вожди и европейские администраторы.

Перечитывая сборник документов Бейрутской конференции писателей стран Азии и Африки (23—30 марта 1967 года), я обратил внимание на текст речи известного индийского поэта Х. Баччана, указавшего, что народам развивающихся стран грозит опасность не только извне, но и изнутри. «Я говорю об эксплуатирующих народ феодалах и капиталистах... Борьба за независимость не может считаться завершенной, пока мы не сумеем дать низшим слоям населения возможность жить так, как подобает достойным гражданам». Мысли и чувства, выраженные этими словами, не могут не найти отклика в душе каждого честного художника. Известный кенийский писатель Нгуги Ва Тхионго[2] устами персонажа рассказа «Погребальный «мерседес» говорит: «Мечты, точно аромат цветов, разносились ветром по городам и селениям Кении и наполняли души людей предвкушением счастья. После того, как пролито столько крови... Столько крови! И вот теперь, наконец, народ получил право на собственную черную власть и может избрать лучших своих сыновей». Но годы шли, а нищета, болезни, бесправие трудового люда оставались. Книги Нгуги подтверждают, что африканская интеллигенция, живущая в условиях буржуазного общества, все больше отрешается от иллюзий и ищет не идеализированную, мифическую Африку, а путь к справедливому решению реально существующих социальных проблем.

Однако не все африканские литераторы столь же ясно представляют себе этот путь. Уместно упомянуть роман гвинейского писателя Камары Лэя «Драмусс», который рецензирован советским критиком и исследователем африканской литературы Е. Гальпериной. Роман написан в форме полусказки-полулегенды и обращен к молодому поколению. Автор восхваляет «подлинно африканский образ жизни» и ратует за возврат к патриархальным ценностям (деревенская община, традиционные нравственные нормы, неоспоримая власть старейшин и религия — смесь африканских культов, магии и ислама). Утрачивая все эти «ценности», Гвинея, по мнению Лэя, идет по ложному пути. А нигерийский писатель Оби Игбун создал сентиментальный роман «Дело о женитьбе» (переведен на русский язык), в котором, как справедливо отмечает в своей статье «Новые цвета времени» Вл. Вавилов, патриархальная Африка, по существу, противопоставляется всему индустриальному миру. Африка, познавшая гнет колониализма, исполнена такой нравственной чистоты, что может, по мнению писателя, вывести гибнущее человечество из тупика. Как и Лэй, Игбун призывает сохранять первозданную Африку, живущую в убогой простоте, но исполненную великих идеалов добра. Идеи «африканского социализма», так называемого третьего пути, продолжают оказывать на некоторую часть творческой интеллигенции большое влияние.

Новую тенденцию в африканской литературе 60-х годов западные критики именуют «второй волной», или «волной разочарования». Наиболее яркими произведениями по праву считаются романы ганских писателей «Прекрасные еще не родились», «Осколки» и «Земля, брат мой». Первые два принадлежат перу Квеи Армы, а третий — перу упомянутого выше Кофи Авунора. Об Арме, роман которого «Осколки» печатался в «Иностранной литературе» (№ 3, 4, 1976 г.), писалось уже достаточно много. Исчерпывающую и, на мой взгляд, точную характеристику творчества и гражданской позиции этого безусловно даровитого писателя дала в своей статье «Молодой бунтарь в поисках пути» Е. Гальперина. Что касается Кофи Авунора, то его советские читатели знают лишь по нескольким переводам стихов. В начале 60-х годов имя этого человека упоминалось среди участников международных встреч, организованных Постоянным бюро Ассоциации писателей стран Азии и Африки. Впоследствии Кофи Авунор отошел от писательского движения и долгое время жил в Англии и США. Книга «Земля, брат мой» — его первое и пока единственное прозаическое произведение.

Амаму, герой романа,— неприкаянная душа. Гану он по-прежнему считает своей родиной, но долгие годы учебы в Англии и жизни в бедных лондонских кварталах не могли не сказаться на его психологии. Возвратившись на родину, он обнаруживает, что и здесь он — чужой человек. Он теряет интерес ко всему, чем живут окружающие его люди. Одна лишь Адиса, верная народным традициям, чуткая и добрая, вдохновляет его на поиски подлинной Африки.

Когда Авунора спросили, что он сам думает об образе Амаму, тот ответил: «Все

[1] Роман был опубликован в «ИЛ» № 2, 1967.

[2] Автор изданных в СССР романов «Не плачь, дитя» и «Пшеничное зерно».

художники, все творческие люди — неприкаянные души, страдальцы. Бремя страдания позволяет Амаму отойти от общества и поглядеть на него со стороны. Он немного помешан, но и это умопомешательство — часть того же бремени. Он подобен священнику — в традиционно африканском смысле,— который вбирает в себя все страдания людей. Амаму выполняет именно такую функцию. Другой он выполнять не может. Все, что способствует формированию его личности, достоверно, исторично и, если хотите, автобиографично. Адиса — добрая, женственная женщина. Квинтэссенция женщины. В некотором роде — квинтэссенция Африки. Адиса подобна Африке, подобна маленькой девочке, которую растлили и которая умерла, не достигнув зрелости. Продолжает жить только частица ее мудрости».

Те, кто читал роман «Осколки», не могут не заметить его удивительного сходства с романом «Земля, брат мой». Главная причина этого сходства — в одинаковой биографии авторов: тот и другой учились и работали в США, тот и другой хорошо знакомы со студенческой молодежью Запада, бунтовавшей в 60-е годы против «системы», против «общества потребления». Вернувшись в Гану, они столкнулись со сложной действительностью, о которую разбился их гнев, их иллюзии. Они, по-видимому, ожидали найти в Гане то общество, которое должно было, как им казалось, возникнуть в результате национально-освободительной революции. Вместо этого они обнаружили в своей стране такое же «больное» общество, какое увидели на Западе.

Оба романа пользуются у африканских и европейских читателей успехом, однако литературные критики не единодушны в оценке. Некоторые считают, что их авторы, найдя яркие, броские образы Ганы и ее столицы, не смогли передать всей сложности африканской действительности. И тем изменили художественной правде.

От себя добавим: сравнение Африки с растленным ребенком, умершим, не достигнув зрелости, вряд ли можно считать удачным. Никто сегодня всерьез не взялся бы утверждать, что Африка умирает. Африка — это бурлящий вулкан. Недаром же империалисты так конвульсивно цепляются за реакционные и расистские режимы, видя в них единственное средство остановить революционный процесс на африканском континенте, в частности в Родезии, Намибии, Южно-Африканской Республике. Литературе «волны разочарования» противостоят произведения, проникнутые бо́льшим пониманием реальных процессов, происходящих в стране. Их авторы, не скрывая от читателей мрачные стороны жизни своих героев, не становятся в позу сторонних наблюдателей, а чувствуют себя сопричастными борьбе народа за свободу и счастье. Советским читателям хорошо известны книги таких передовых, талантливых писателей, как Алекс Ла Гума, Ричард Райв, Джеймс Мэтьюз, Надин Гордимер, Рональд Харвуд, Меджа Мванги, Джон Мунони, Сембен Усман, Монго Бети, а также упоминавшиеся выше Чинуа Ачебе, Нкем Нванкво и Нгуги Ва Тхионго.

Каждый народ дорожит своей особенной, неповторимой национальной культурой. Но это не означает претензии на исключительность: все народы одинаково хотят жить в мире, основанном на принципах гуманизма и социальной справедливости, все испытывают чувство протеста против насилия и национального гнета. Литература, выражающая эти благородные устремления, найдет путь к сердцу читателя, в какой бы стране он ни жил.

Союз писателей СССР, советские издательства, редакции журналов многое делают для укрепления сотрудничества с писателями развивающихся стран, для ознакомления наших читателей с достижениями африканской и азиатской литератур. Трудно назвать хотя бы одного значительного прозаика или поэта Африки, произведения которого не переводились бы на русский и на другие языки народов СССР. В последние годы наши издательства стали строже подходить к отбору книг с точки зрения их художественного уровня, существенно повысилось качество перевода.

Важную работу выполняет, при активном содействии советских писателей, жюри по присуждению премии «Лотос», учрежденных Ассоциацией писателей стран Азии и Африки. На сегодняшний день этой премии удостоено немало прозаиков, поэтов, драматургов, внесших значительный вклад в развитие литературы, в укрепление единства писателей двух континентов. Среди лауреатов — То Хоай, Агостиньо Нето, Чинуа Ачебе, Алекс Ла Гума, Зульфия, Анатолий Софронов, Юсуф ас-Сибаи, Хироси Нома, Азиз Несин, Михаил Нуайме, Баччан, Махмуд Дервиш, Гассан аль-Канафани, Камал Нассир, Сембен Усман, Катеб Ясин.

Большая роль в сплочении литературных сил Азии и Африки принадлежит журналу «Лотос». В этом ежеквартальнике систематически публикуются рассказы, стихи, эссе, литературно-критические статьи азиатских и африканских авторов. Выпускаются специальные номера по странам и литературам. В 1977 году был издан номер, посвященный Советскому Союзу, под девизом: «Влияние идей Октября на писателей Азии и Африки». Задача журнала — максимально приблизить свои публикации к требованиям сегодняшнего дня, стать подлинным центром передовой литературно-общественной и эстетической мысли.

Каковы бы ни были расхождения между писателями стран Азии и Африки в их мировоззрении и подходе к изображению действительности, подавляющее их большинство едино в своем неприятии неоколониализма и империализма и в горячей поддержке дела национального освобождения. Это и является залогом успеха движения писателей стран Азии и Африки.

ПОРА ВОЗМУЖАНИЯ

◆

Ш. ДАНГЕ, М. САЛГАНИК

ПОСЛЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ БЕЗМОЛВИЯ

Вот если б вас заставить жить,
как жили мы всегда,
то мир бы быстро стал другим —
ведь так?[1]

Из журнала «Бунт»

Европейцы зовут их париями. На Востоке они называются неприкасаемыми.

Ганди называл их «хариджаны» — люди божьи.

Далит — недавно назвали они себя сами. Далит — задавленные.

По переписи 1971 года в Индии 80 миллионов задавленных, тех, кого индусская традиция не признает людьми, а индийская конституция застенчиво относит к регламентированным кастам — что бы это ни означало.

В апреле 1972 года в Бомбее начал выходить литературный журнал «Бунт», название которого говорило за себя. Его главный редактор, 24-летний поэт из неприкасаемых Намдео Дхасал, стал вдохновителем и организатором хариджанского молодежного движения «далит-пантер» — задавленных пантер.

Индийская литературная критика сразу выделила новый журнал из великого множества левых молодежных анти-, ультра-, долойжурналов, и на страницах периодики замелькали никому дотоле не известные имена: Намдео Дхасал, Бабурао Багуль, Дайя Павар, Арун Камбле, Раджа Дхале и другие.

Заговорили о новой эпохе в индийской литературе, о явлении, не имеющем аналогий,— было много сказано и много написано.

Что же произошло в Индии, литература которой существует уже сорок веков, и кто такие неприкасаемые?

Индуизм — одна из древнейших мировых религий — освящает деление общества на четыре сословия: когда создавался мир, то из головы Брахмы вышли брахмины, из рук его — кшатрии, из чресел — вайшьи, из ног — шудры.

Древнеиндийский законодатель Ману так определил обязанности каждого: долг брахмина — учиться и поучать, совершать жертвоприношения и получать дары. Долг кшатрия — оборонять страну, совершать жертвоприношения и учиться. Долг вайшьи — возделывать землю, разводить скот, заниматься торговлей и учиться, а долг шудры — безропотно служить трем высшим кастам.

У неприкасаемых нет ни обязанностей, ни прав. У них нет места в кастовой иерархии, они — вне каст, а точнее — под кастами, под самыми низкими и презираемыми из каст.

О неприкасаемых в законах Ману сказано, что они — как и женщины — подобны барабану: чтоб зазвучал, надо бить.

Все, что живет, священно для индуса, но все, из чего жизнь ушла,— оскверняет его. И нет действия более греховного, чем убийство.

Можно долго размышлять над тем, каким образом благоговение перед жизнью обернулось отторжением от жизни миллионов людей, обреченных тысячелетиями вести околочеловеческое существование, нести клеймо вечного презрения.

Возносились и приходили в упадок империи, расцветали и умирали города, прославленные ученостью и культурой, создавались новые цивилизации, но тысячи лет, поколение за поколением, неприкасаемые выполняли «нечистую» работу, которая осквернила бы других: убирали мусор и грязь, снимали шкуры с мертвых животных, переносили и сжигали трупы.

Неприкасаемые. Никаким образом не смеют они соприкасаться с другими, даже тень неприкасаемого пачкает, даже его дыхание заражает воздух, даже воду брать из общего колодца им нельзя. Неприкасаемый не смеет приблизиться к индусскому храму — его присутствие оскорбляет богов,— и попасть на небо он может, только если погибнет при защите брахмина, священной коровы, женщины или ребенка.

По представлениям индусов, человеческая душа переживает долгую цепь воплощений в разные физические оболочки и будущее всякого человека находится в прямой зависимости от того, насколько правильно была прожита предыдущая жизнь. Будущее воплощение соответственно предопределено соблюдением религиозных установлений. Как сказано в древнеиндийской «Артхашастре» — трактате о достижении полезного: «Соблюдение каждым своего закона ведет на небо и к вечности. При его нарушении мир погибает от смешения каст».

Неприкасаемые могли изменить свое положение в четко стратифицированном индусском обществе, отличавшемся жесткой стабильностью, только выйдя из него вообще — сменив религию на любую другую, признававшую их человеческое естество, по меньшей мере.

В контексте Индии это мог быть буддизм с его отрицанием кастовой системы, а позднее ислам и христианство — часть неприкасаемых и перешла в них, но социально-религиозный феномен неприкасаемости остался неприкосновенен, как сохраняется он и по сей день, вопреки всем законодательным актам, отменяющим его.

Индуизм и образ жизни, регламентируемый индуизмом, без неприкасаемых не может существовать — отмена этого института должна быть равнозначной отмене всей социально-религиозной системы, породившей

[1] Здесь и далее переводы стихов М. Салганик.

его, полной перестройке общественного сознания Индии. Без этого немыслимо представить себе, что занятия, которые по традиционным понятиям индусов оскверняют *их, так что требуются руки неприкасаемых* для нормальной жизнедеятельности страны, переходят просто в разряд черной работы.

Кастовая система есть нечто куда более сложное и неоднозначное, чем авторитарное подавление низов верхами, за ней стоит общественное сознание, религия, которая утверждает неправедность всякого протеста против кастовой, несправедливости, ибо он является попыткой нарушения высшей, универсальной справедливости и космической гармонии. Понятно, что брахмин отстаивает свои привилегии; трудней понять, что и неприкасаемый должен сохранять свое положение отверженного как единственную надежду на перемену судьбы в следующем рождении.

Поэтому когда в 1924 году неприкасаемые только одного индийского штата — Махараштры — создали собственную политическую организацию под руководством Бабасахеба Амбедкара, то значение этого события можно сопоставить, скажем, с появлением на свет механической Дженни, первой ласточки промышленной революции.

Махатма Ганди, Джавахарлал Неру и их сподвижники, люди, заложившие основу независимого развития Индии после двух столетий колониального подавления, выступали против кастовой системы и в особенности против неприкасаемости — «жестокого и бесчеловечного бойкота человеческих существ», по словам Ганди.

Ганди писал: «Индусы безусловно не заслужат свободы и не достигнут ее, если позволят, чтобы их благородная религия была опозорена сохранением порока неприкасаемости... Не станем же отрицать бога, отрицая за пятой частью нашего народа право общения на равных со всеми условиях».

По предложению Ганди члены партии Национальный конгресс начали в провинции Мадрас кампанию за допуск неприкасаемых в индусские храмы. 18 декабря 1932 года отмечался по всей Индии как день, положивший конец неприкасаемости, а 8 января 1933 года — как день, когда было разрешено неприкасаемым входить в храм.

Правда, Амбедкар — и сам неприкасаемый — заявлял, что его собратьям больше нужен доступ к колодцам, чем в храмы, и, возражая против названия «божьи люди», требовал, чтобы хариджанов считали просто людьми.

15 августа 1947 года Индия вернула себе политическую независимость. Законы свободной страны запрещали даже употребление слова «неприкасаемый» — отныне эти люди официально именовались хариджанами и им предоставлялись равные со всеми другими права. Законом от 1955 года предусмотрено суровое наказание за нарушение этих прав и за оскорбление хариджанов. В высших учебных заведениях, в органах государственного управления, в законодательных собраниях и в парламенте страны для хариджанов отведены особо *зарезервированные места*...

Но справедливо было замечено, что сила порока изменяется строгостью законов, направленных против него.

Достаточно развернуть любую индийскую газету, чтобы убедиться в том, что одними законодательными актами невозможно бороться против прочно укоренившихся религиозных предрассудков, имеющих к тому же экономическую основу.

...В штате Андхра Прадеш избили мальчика-хариджана, отправившегося в городскую школу.

...В штате Уттар Прадеш заживо сожгли юношу-хариджана, который настаивал на праве брать воду из общего колодца.

...В одной из деревень штата Махараштра произошло событие, чудовищность которого не укладывается в сознании. Сын деревенского старосты полюбил девушку-хариджанку. Стало известно, что у нее будет ребенок, ее отец и брат пошли к старосте просить разрешения на женитьбу сына.

Староста, разъяренный этим покушением на основы, приказал избить родственников девушки, привязать их к столбу на деревенской площади и на глазах у всех сельчан выколол им глаза. Когда об этом узнали власти, старосте было предложено выплатить хариджанам денежную компенсацию в сумме трех тысяч рупий за каждую пару живых глаз.

Каждый день выходят свежие газеты, и каждый день...

И все же социальные изменения, начало которых следует соотнести с началом организованной борьбы за свободу от иноземного владычества, пусть очень медленно и простым глазом неразличимо, но действуют, действуют, действуют на самые, казалось бы, незыблемые представления об устройстве мира.

Идет время, все четче обозначая поляризацию сил в стране, переживающей перестройку самых глубинных структур в мире, неузнаваемо и стремительно изменяющемся под воздействием научно-технической революции. Ростки нового взрывают изнутри анахронизм кастовой системы, как трава разрывает асфальт, а силы косности цепляются за касты, организуя политические союзы по религиозному принципу, превращая его в фактор современной политической жизни.

Когда в декабре 1956 года умер Бабасахеб Амбедкар — человек замечательный во многих отношениях, сумевший много сделать для того, чтобы убедить неприкасаемых в противоестественности их положения,— его кремация вылилась в невиданный религиозный ритуал: десятки тысяч неприкасаемых, собравшихся на похороны, при-

няли необуддизм, религию, созданную Амбедкаром в попытках найти выход из кастовых тисков.

Но необуддисты в глазах кастовой Индии оставались все теми же неприкасаемыми.

Однако неприкасаемая молодежь, поколение ровесников свободной Индии, училась смотреть другими глазами на кастовую систему, на мировоззрение, связанное с ней, и на себя.

Так начиналось первое в истории Индии движение неприкасаемых за право жить по-человечески — движение, не искавшее религиозных обоснований.

Очень важно отметить, что в начале этого движения было Слово. Его первые шаги, как пишет бомбейский критик Дилип Падгаонкар, носили характер «не столько экономический, политический или даже социальный, сколько культурно-этический. Хариджаны понимают, что борьба не прекратится, пока не будут выкорчеваны корни нетерпимости из людских умов, и они понимают, что нет ничего устойчивей, чем предрассудки».

Слово неприкасаемых взбудоражило читающую Индию. Сразу появился термин «далит-литература», смысл которого следующим образом излагает Раджа Дхале: «Это литература, рожденная жизненным опытом... поэтому все, что мы пишем, есть литература, и все, что мы пишем, есть далит-литература».

Неприкасаемые вошли в мир современной индийской беллетристики с собственной тематикой, ошеломлявшей читателя почти документальной достоверностью, автобиографичностью и непримиримостью.

Нельзя сказать, что никто до них не писал о хариджанах — о них писали многие индийские писатели, но только далит-литература смогла показать, какой видят жизнь сами хариджаны, как они воспринимают традиции Индии и ее сегодняшний день.

Вот что пишет Арун Камбле в стихотворении «Так мы живем»:

Доведись и вам
жить, как мы живем
(тогда б и из вас
полезли стихи).
Мы: нас пинают и в нас плюют
за то, что мы тоже едим.
Вы: добиваетесь многого в жизни
благочестием и трудом.
Мы: обитая на свалках, позорим
страну древнейшей культуры.
Вы: носители этой культуры,
прямые потомки святых.

За Словом последовало Дело. 25-летие независимости Индии далит-пантеры отметили по-своему — они объявили 15 августа 1972 года Черным Днем и организовали массовую демонстрацию неприкасаемых перед зданием Бомбейского Законодательного Совета:

Волей судьбы формы власти меняются,
волей судьбы остаются прежними.
Моя нищета — вот моя независимость,
мой клочок земли.
Дни моей жизни возносятся и опадают,
а я все тружусь на моей земле.

(Намдео Дхасал)

«Индия — нам не родина» — говорится в «Манифесте» неприкасаемых, автор которого все тот же Намдео Дхасал.

В самом начале «Манифеста» далит-пантеры заявляют о солидарности с «задавленной частью человечества»:

«Мы хорошо знаем, с кем связаны узами крови. Третий мир населен угнетенными, и американский империализм вершит там свои черные дела. Угнетенные есть и в Америке; в борьбе за право существовать по-человечески американские негры создали организации Черные пантеры и Силы Черных. Вот это движение нам ближе всего. Мы берем пример с борьбы вьетнамского народа... И с Африки, борющейся за свободу...»

Молодые индийские неприкасаемые позаимствовали свою боевую кличку у Черных пантер не из-за того, что разделяют их политические взгляды или хотят подчеркнуть сходство своего положения с положением негров в Америке,— их скорее привлекает символика: говорят, что пантера всегда открыто нападает на противника.

Далит-пантеры требуют справедливости для Человека, для всех угнетенных и униженных, где бы они ни находились.

«Мы ясно видим, кто наши друзья и кто — враги. Наши союзники — неприкасаемые всей страны, племенные меньшинства Индии, рабочие и безземельные крестьяне. Наши союзники — левые партии и все организации, выступающие против кастовой и классовой эксплуатации... все жертвы экономического и политического угнетения. Наши враги — крупные землевладельцы, капиталисты и их агенты...»

Однако как только речь заходит о путях, которыми далит-пантеры собираются пойти к всечеловеческому братству обездоленных, обнаруживается ограниченность представлений неприкасаемых и их политическая незрелость. Невероятная сложность тесно переплетенных, запутанных проблем — экономических, этнических, социальных, религиозных, культурных, бытовых,— связанных с условиями существования, еще не вполне осознаваемая ими, способствует проявлению определенных тенденций максимализма.

«Мы — за тотальную революцию. Реформы невозможны. Мы их не хотим. Мы хотим тотальной революционной перестройки. Мы начнем с уничтожения социальной несправедливости, жертвами которой являемся, но затем мы должны занять руководящее положение в экономике, политике и культуре...

Нам не нужно место среди брахминов. Мы хотим править всей страной. Мы выступаем не против отдельных людей — против системы. Добрые намерения и либерализация народного образования никогда не смогут уничтожить несправедливость и эксплуатацию. Мы поднимем на борьбу народные массы и организуем их — пламя революции возгорится из борьбы масс...»

Прогрессивный маратхский прозаик Арун Садху, роман которого «День Бомбея»[1] недавно опубликован в русском переводе, несомненно прав, когда пишет, что экстремизм далит-пантер объясняется, с одной стороны, тем, что перемены, происходящие в Индии, все-таки приоткрыли неприкасаемым дверь в жизнь, с другой же — «как должно вести себя целое поколение озлобленной, изверившейся молодежи, на каждом шагу убеждающейся в том, что у нее нет будущего в нынешней социальной структуре, что она должна доказать свое право на существование, а это можно сделать, по ее мнению, только революционным путем».

Намдео Дхасал полон сарказма по отношению к «реформам, выборам, кампаниям гражданского неповиновения»:

Народная власть проходит мимо
торжественным маршем, а мы
глядим разинув рты.
Она прошла и умерла
и богу душу отдала.

Собственно говоря, создателей далит-литературы можно было бы считать сегодня представителями городской интеллигенции — пусть немногочисленной, но все же. Это люди, получившие образование, «белые воротнички» — в таком случае не следует ли отнестись к их высказываниям как к типичному «мелкобуржуазному революционаризму»? Все дело в том, что, даже пробившись к свободным профессиям, неприкасаемые не избавляются от социальных стигматов. По этой причине писатели продолжают сохранять теснейшую связь с массами, отражая в своих произведениях умонастроения миллионов.

Дайя Павар пишет в автобиографическом рассказе «Скверна»: «Даже промышленным развитием не удалось вытравить кастовую дискриминацию в больших городах. Экономическое благосостояние, которого добилась горстка неприкасаемых, не сняло с них клейма. Если это происходит в городах, то насколько горше должна быть судьба деревенских неприкасаемых?»

Ответом может быть судьба Намдео Дхасала — он родился и вырос в деревне, а точнее — за околицей, где крестьяне разрешили селиться неприкасаемым. Огромная, голодная семья жила на случайные заработки. Чудом оказался четырнадцатилетний Намдео в городе Пуна, чудом попал в школу, где способного мальчика заметили, где нашлись люди, которые стали ему помогать. Его ранние стихи понравились, он вошел в среду либерально мыслящих писателей и художников, ему пророчили блестящее будущее... Но в Намдео Дхасала влюбилась дочь одного из его новых друзей — и кастовые предрассудки взяли верх. Влюбленным пришлось покинуть город, а из деревни их изгнали хариджаны. Затравленный, одинокий, отчаявшийся, Намдео Дхасал пытался наложить на себя руки.

Через несколько лет он напишет в «Манифесте»: «Мы против системы подачек. Не верим, что несколько мест в университете изменят положение дел — мы останемся там же, где были... Бумага не выдержит описания надвигающейся революции, какой мы ее видим».

Недавно вышел в свет первый сборник стихов Намдео Дхасала под названием «Толпитха» — по имени бомбейского квартала, известного своими притонами.

На обложке — обнаженная женская фигура, из лона которой вырастает куст цветов, увенчанный человеческим черепом. Фоном для фигуры служит медицинская карточка клиники кожно-венерических заболеваний — символика достаточно прозрачная для сборника стихов об отверженных обитателях городского дна.

Намдео Дхасал по единодушному признанию индийской критики — наиболее талантливый представитель далит-литературы, к тому же он пока единственный, чьи произведения вышли отдельной книгой.

Кстати, сборник «Толпитха» удостоен литературной премии штата Махараштра.

Этот сборник — и еще некоторые произведения неприкасаемых — позволяет понять особенности далит-литературы, вызвавшие к ней такой интерес.

Пожалуй, прежде всего это автобиографичность далит-литературы, непосредственность жизненного опыта и такая переплетенность судьбы писателя с судьбами миллионов неприкасаемых, которая поднимает автобиографичность до уровня широкой типизации.

Близость писателя к народу, возможность отображения народной жизни не в проекции сверху, а изнутри — явление нечастое в современной индийской литературе. Как уже не раз говорилось и писалось, индийский писатель пока только нащупывает путь в народ. Неприкасаемые же идут в литературу из народа — более того, они взывают из глубин, из самой бездны.

Помимо достоверности далит-литературы — безусловно, вызывает интерес и сам жизненный материал, используемый неприкасаемыми,— нужно ли говорить о силе его эмоционального воздействия на читателя. Впрочем, именно здесь подстерегает далит-литературу и опасность — она может выродиться в однообразное, клишированное описательство действительно страшного существования хариджанов.

Далит-литература совершенно особым образом соотносится с индийской литературой и даже фольклорной традицией. Религиозно-философские книги индусов, как и классическая санскритская литература, от начала времен считались запретными для неприкасаемых. Для далит-пантер сегодня нет ничего ненавистней этих книг, потому что именно в них содержится обоснование концепции неприкасаемости. Иными словами, далит-пантеры отвергают индийскую традицию, которая сделала отверженными и продолжает отвергать их.

[1] Арун Садху. День Бомбея. М., «Прогресс», 1977.

ПОРА ВОЗМУЖАНИЯ

В автобиографическом рассказе Дайя Павара хорошо описано, как выглядит это взаимное отталкивание. Деревенские хариджаны устраивают театральное представление, на которое из любопытства являются и кастовые индусы. Скетч придумал хариджан из города, модифицировав сюжет традиционной маратхской «тамаши»: пастушки идут на поклонение богу Кришне. У неприкасаемых идут не пастушки, а девушки-хариджанки, решившие настоять на праве войти в храм. Выскакивает жрец, чтоб остановить их, начинаются пререкания. На этом месте деревенский староста не выдерживает и разгоняет актеров с криками: «Гнать мерзавок! Нашего бога хотят опоганить!»

Возникает вопрос: если далит-литература отбрасывает все культурное наследие Индии как унижающее хариджанов, то мыслимо ли представить себе литературу, существующую вне традиции? А потом — разве образ мышления неприкасаемых не есть слепок с той традиции, разве она не закодирована в языке, на котором они говорят и пишут?

Или, может, и вправду «Индия нам не родина!»?

Видный критик М. Н. Ванкхаде так отвечает на этот вопрос: «Далит-литература — бунтующая, взрывчатая литература, которую пишут задавленные писатели о задавленных массах людей. Это река, вливающаяся в океан маратхской литературы. Она несет в своих водах не слащавую любовь к человечеству, а непрощающую ненависть к традиции, повинной в нынешней задавленности далит-пантер».

Еще один эпизод из рассказа Дайя Павара: его маленькая дочь объявляет дома, что учитель велел принести в школу хрестоматию индусской религиозной поэзии.

«Так вот чему и сейчас учат в школах! — пишет Дайя Павар.— Меня заживо жгли на костре дискриминации. Мои отцы и деды жили в аду. Теперь же — так ли, по-другому ли — через это должна пройти и моя дочурка. Сжигать на кострах нужно книги, которые учат людей этой вопиющей несправедливости!»

Совсем недавно далит-пантеры устроили в Бомбее публичное сожжение священных книг индусов. Против неприкасаемых двинулись отряды Шив-сены — армии бога Шивы, фашиствующей организации кастовых индусов. В столкновении погиб молодой неприкасаемый поэт Джадноу.

Отстраненность далит-литературы от индусского видения мира и от культуры, построенной на нем, резко выделяет ее, позволяет ей дать новую, неожиданную оценку привычному.

Известный индийский критик, профессор Шаратчандра Муктибодх, пожалуй, точнее других сформулировал эту особую черту нового явления: «Неприкасаемые писатели стоят на позициях, отличающих их от всех других индийских литераторов. Они видят жизнь в другой перспективе. Они по-иному относятся к древним религиозным текстам, к мифологии, к поэзии — ко всей культуре. Именно поэтому они считают, что их восприятие жизни, ее глубинного смысла не похоже на наше, и они, безусловно, правы».

Другой критик, А. С. Неруркар, отвечая на вопрос о том, что нового несет в себе далит-литература, пишет: «Она не идет по традиционному для индийской беллетристики пути. В центре ее внимания — Человек, просто человек, обойденный правом жить по-человечески... Далит-литература отбрасывает все привычные литературные концепции, и, в отличие от буржуазных писателей с их беззубым гуманизмом, неприкасаемые создают произведения, бурлящие жизненной силой и яростью против всего, что обесчеловечивает человека».

Если у зрелого читателя бурлящая ярость далит-литературы вызывает тот стыд, который Маркс назвал революционным чувством, обращенным вовнутрь, то экстремистски настроенная часть индийской молодежи радостно приветствует далит-пантер как глашатаев тотального протеста.

Действительно, далит-литература, особенно поэзия, обладает всей атрибутикой молодежного «анти», которое существует сегодня в Индии в большом числе разнообразнейших вариантов. Язык неприкасаемой поэзии звучит нарочито грубо и нелитературно, ее тематика не признает запретов, ее пренебрежение эстетическими канонами бьет в глаза.

Однако все это лишь внешнее подобие: в отличие от литературы продуманного — и часто придуманного эпатажа далит-литература подлинно реалистична и народна; она отражает проблемы не интеллектуальной элиты, а миллионных масс.

Тем не менее существуют явные черты сходства далит-литературы с «контркультурой», но не с «великим отказом», потому что самим неприкасаемым отказано во всем; сходство не столько в форме, сколько в сути — неверие далит-пантер ни в одну из форм преобразования, кроме немедленной революции, выливается в отчаянный нигилизм, небрежение человеком и, убежденность в собственной мессианской роли, столь характерные для феномена «контркультуры» не только в Индии.

Требование социальной справедливости оборачивается проповедью разрушительства, отрицания всей человеческой цивилизации. Намдео Дхасал призывает:

Разрыть проспекты, улицы и площади,
взорвать мосты,
повывороченивать фонарные столбы,
сжечь электрички, поезда и самолеты,
литературные союзы, школы и больницы,
особняки, столицы и деревни —
пусть полыхнет все ядерным огнем.

В стихотворении «Человек» Намдео Дхасал единым духом предает анафеме Ашоку, Будду, Иисуса, Гитлера, Камю...

Даже Карл Маркс оказывается в этом перечне, хотя далит-пантеры постоянно упоминают марксизм как одну из формообразующих своего мировоззрения.

Стихийность бунта возводится в принцип — Дж. Павар утверждает:

Сейчас не время думать,
бездумье — помогает.

Горечь существования задавленных обособляет их настолько, что всему остальному человечеству отказывается даже в способности сочувствовать, в праве на сострадание. Умакант Рандхир предостерегает:

И не пытайтесь
бойкой повитухой
ощупать чрево моей боли!
. . . . . .
И не пытайтесь прослушать сердце,
прижавшись ухом к стенке чрева.
Вы лучше просчитайте на ваших ЭВМ
сердечные пульсации
вулкана,
наполненного лавой.

Невозможно не согласиться с мнением того же Дилипа Падгаонкара, когда он пишет о далит-литературе:

«Рано судить о будущем этой литературы. Уже сейчас неприкасаемые раздроблены на группировки и фракции... Далит-литература может серьезно пострадать, если иные из неприкасаемых соблазнятся официальным признанием. Не менее значительна опасность их увлечения ультрареволюционной бравадой. Ярость, может быть, и революционное чувство, но настоящей литературе одной ярости мало».

Как бы ни сложилась дальнейшая судьба далит-литературы, можно с уверенностью утверждать, что сегодня самим фактом своего существования она играет роль мощного катализатора, ускоряющего процесс демократизации и обновления индийской культуры, подтверждает необратимость перемен во всех сферах общественного сознания древней страны.

◆

АЙИ КВЕИ АРМА

ЭПОС О ЛЕГЕНДАРНОМ ГЕРОЕ ЗУЛУСОВ

Есть литературный шедевр, который большинство исследователей и знатоков африканской литературы не только не читало, но даже и в глаза не видело. Между тем в этой книге затрагиваются темы, имеющие первостепенное значение для Африки и всего человечества. Знающие язык, на котором она написана, утверждают, что это одно из выдающихся произведений всей мировой литературы. Тем не менее более чем полвека оно, по непонятной причине, словно прятало от читателей, способных оценить его по достоинству.

Речь идет об историческом эпосе «Чака», созданном в 1909 году Томасом Моноку Мофоло (1876—1948) на языке сото.

Мофоло несомненно был гениален, на этот счет нет двух мнений. Вот почему особенно отрадно, что именно его внимание привлекла история рождения, возмужания, прихода к власти, заката и смерти великого зулусского императора Чаки. Ибо Чака тоже был гением — военным и политическим, человеком разносторонне одаренным, человеком неуемной умственной и физической энергии — созидательной и разрушительной. Он оказал огромное влияние на свое общество и свою эпоху, влияние столь сильное, что и современники и потомки относились к нему как к некой сверхъестественной силе, непостижимой и устрашающей. Книга Мофоло является наиболее успешной из всех предпринятых до сих пор попыток понять и объяснить Чаку. В этом — ее основная ценность, не говоря уже о несравненных художественных достоинствах.

Чака жил в той части Южной Африки, которая известна теперь как Наталь. Он родился в 1787 году или незадолго до того. Устная традиция сохранила противоречивые сведения о дате его появления на свет. Однако все источники сходятся на том, что произошло это при весьма непростых обстоятельствах. Мофоло в своей книге утверждает, что Сензангакона, отец Чаки, обесчестил его мать Нанди — так появился на свет Чака. Здесь автор исказил исторические факты. Сензангакона полюбил Нанди, и она ответила ему взаимностью. Обычай разрешал молодым неженатым юношам и незамужним девушкам вступать в интимные отношения. Обычай этот, называвшийся «укухлобонга», преследовал цель помочь юным влюбленным и в то же время избежать социальных проблем... Однако для женщины считалось тяжким прегрешением забеременеть вне брака. Мужчине же не дозволялось вступать в любовную связь с женщиной из родственного клана. В жаре взаимного влечения отец и мать Чаки нарушили оба запрета. Сензангакона был вождем клана и потому смог избежать наказания. Но он оставил мать и дитя беззащитными — гнев общины обрушился на них со всей суровостью.

Детство Чаки было безрадостным. Его непрестанно унижали морально и физически. Его окружала лишь ненависть. И только Нанди горячо и преданно любила сына. Но ее тоже подвергали остракизму из-за сына. Поэтому любовь ее была бессильна, она не могла защитить ребенка — и ему самому пришлось заботиться о себе.

ПОРА ВОЗМУЖАНИЯ

Вначале Чака пытался ужиться с членами общины. Он был покладист, доброжелателен, отважен, обладал незаурядной физической силой, гибким и живым умом. Одаренный природой столь прекрасными данными и при этом испытывая необходимость вести неустанную борьбу за существование, Чака со временем приобрел качества бойца, но прибегал к ним только для самозащиты или когда надо было помочь своему племени. Он совершил множество подвигов. Несколько раз Чака побеждал в поединках с дикими зверями, нападавшими на домашних животных — самое дорогое, что было у людей, символ их богатства и успеха.

Чака надеялся, что эти подвиги принесут ему признание и любовь окружающих. Но, увы, вместо похвал он вызывал лишь зависть. Ровесники чурались его, ибо подвиги Чаки подчеркивали его превосходство над ними. Не в состоянии соревноваться с ним, они стремились его погубить. Чака был достаточно силен и искушен в бою, чтобы защититься от них. Но юноше куда труднее было сносить враждебность старших, в том числе и собственного отца. Однажды, к своему немалому изумлению, Чака узнал, что отец приговорил его к смерти за убийство в неравном поединке напавших на него злоумышленников. Чака ослушался отца и предпочел смерти побег и изгнание.

Король Дингисвайо, которому подчинялись все вожди в округе, в том числе и отец Чаки, принял юношу в свое войско, где Чака пробовал силы в бою и усовершенствовался в военном искусстве. Вскоре его выдвинули на один из командных постов.

Когда умер отец, Чака не вступил в мелочный спор о доле наследства. Он просто напросто отправился домой во главе многочисленного отряда, начал борьбу за власть и выиграл битву. Некоторое время спустя скончался и его покровитель, король Дингисвайо. Чака подчинил себе все соседние племена, которые вскоре слились в единую нацию — зулусскую.

Чака стал самым могущественным человеком своей страны. Достиг он власти жестокими и кровавыми методами. Многие стоявшие на его пути погибли. Размах совершенных им преобразований и его неразборчивость в средствах способствовали возникновению легенды о том, что Чака — сверхчеловек, божество, чудовище.

И это достойно сожаления. Ибо жизнь Чаки, его психология, проблемы, волновавшие его, и его успехи позволяют постичь суть африканского образа мышления. Было бы глупо обожествлять либо очернять Чаку. В его натуре необходимо разобраться, понять ее. Именно это мы и находим в книге Мофоло.

Автор с удивительной яркостью рисует детство и отрочество Чаки. Он показывает, как в юном Чаке были посеяны семена тех душевных терзаний, которые мучили его в зрелые годы... У Мофоло — прекрасный стиль, великолепная техника письма, мастерское видение психологических нюансов — словом, те самые свойства, которыми отмечены гениальные творения.

Чака растет, переживая потрясения и кризисы, неотвратимо приближаясь к роковому предначертанию. Мофоло рисует образы трех людей, близких Чаке в младенчестве, все они — женщины. Мать и бабушка Чаки — реально существовавшие лица. Третья фигура является плодом художественного воображения автора; это — жрица, помогающая Чаке преодолеть первое столкновение с окружающим миром, жестоким и несправедливым, и примириться с ним. Эта драма превратила Чаку из сильного, отважного, но миролюбивого и спокойного в человека хотя по-прежнему сильного, отважного, но теперь уже агрессивного.

Жрица умирает. Она говорит Чаке, что ее заменит и станет его покровителем могущественный великий жрец.

Второе испытание на мужество Чака проходит, когда, услышав из уст своего отца смертный приговор себе, решает бежать из дому. В тяжкой дороге он выбился из сил, он измотан, голоден, удручен, загнан, не знает, где искать убежища и защиты... И вот тут-то появляется таинственная фигура жреца Исануси, предсказателя и провидца, Исануси спрашивает Чаку, к чему тот больше всего стремится. Чака отвечает без колебаний: к власти над ближними... Исануси предупреждает Чаку, что путь к власти тернист и лишь самые стойкие достигают заветной цели. Готов ли Чака выбросить из сердца чувство жалости и сострадания, ибо жалостливые люди непременно погибают на пути к власти?

Чака согласен на все. Исануси повторяет свое предостережение: колдовство, дающее власть,— злое колдовство, оно порождает в человеке неутолимую жажду крови. Но Чака непреклонен. Как ни ужасны последствия колдовства, раз оно несет власть над жизнью и смертью окружающих, Чака жаждет его. Он получает колдовское снадобье, жажда власти заглушает в нем все остальные стремления и желания. Он превращается в человека, «лишенного даже признаков человечности. Убийство становится его единственной целью. Неодолимая жажда мщения едва не свела его с ума».

Исануси уходит. Чака же направляется не домой, где даже близкие ему люди замышляют недоброе против него, а на юг, ко двору великого короля Дингисвайо.

Придворный музыкант исполняет традиционную похвальную песнь Чаке, прославляя его необычайный ум, настойчивость, упорство, хитроумие и коварство. В песне содержится историческая правда: Чака в большой степени обладал всеми этими свойствами.

Вообще Мофоло бережно относится к историческим фактам, при этом художественно переосмысляя их. Оказываясь перед необходимостью объяснить сложные внутренние противоречия образа своего героя, Мофоло прибегает к излюбленному литературному приему: он как бы обнажает скрытые свойства его души. Ум, настойчи-

вость и упорство Чаки персонифицированы в лице мифического персонажа Ндлебе. Ндлебе — гигант, он могуч, стремителен, его ум столь же силен, как и его мускулы. Он — человек «не только отважный, но и совершенный во всех отношениях».

Есть в книге и второй подобный мифический персонаж. Его имя — Малунга. Внешне он резко отличается от первого: безобразный, отталкивающе уродливый. Но внешность его обманчива. Он исполнен ума, лукавства и хитрости. Его всюду принимают за простака, при нем не боятся говорить о тайнах. Он же передает все услышанное Чаке.

Чака, Ндлебе и Малунга не знают себе равных ни на поле боя, ни в дворцовых интригах. Чака становится во главе всей армии Дингисвайо. И все же он недоволен, его мучит нетерпение — он хочет быть самым главным. Кроме того, Дингисвайо, наделенный жалостью, сочувствием и верой в людей, невыносимо раздражает властолюбивого Чаку.

В конце концов добродетели Дингисвайо становятся причиной его гибели. Кровожадный и безжалостный вождь Звиде, которому Дингисвайо незадолго до этого даровал прощение и сохранил жизнь, заманивает его в ловушку и убивает. Теперь путь к верховной власти Чаке расчищен. Он наносит поражение вероломному Звиде, затем разделывается и с остальными противниками. И, наконец, безраздельно властвует над всеми.

Но он по-прежнему не удовлетворен. Ему кажется, что его власть недостаточна, относительна, ограничена. Он хочет, чтобы она стала абсолютной, поскольку постоянно ощущает себя в опасности.

Исануси, от которого зависит исполнение этого желания, предупреждает его, что безграничная власть требует от человека и безграничной жестокости. Чака, говорит он, еще может уберечься от этого, избрать путь любви. Но Чака слишком хорошо знает, что любовь и сострадание делают человека беспомощным, а он предпочитает власть со всеми ее пороками и необходимостью кровопролития.

Исануси колеблется, затем открывает Чаке главное условие достижения абсолютной власти. Оно символично: нужно принести в жертву самого дорогого человека. Чака думает, что речь идет о матери. Его жажда власти так велика, что он готов пожертвовать даже Нанди. Однако для колдовства нужна кровь не Нанди, а Ноливе. Мофоло наделяет ее неземной физической и духовной красотой. Чака любит девушку с такой силой, с какою может любить только человек, лишенный ласки в детстве и подвергавшийся гонениям в молодости. И все-таки Чака решает ее убить. Исануси говорит, что через год он потребует от Чаки ответа.

Власть Чаки все растет. Он правит огромной империей, дает своему народу новое имя — зулу, или амазулу, то есть люди неба. Он строит себе новую столицу, представляющую по форме полный круг с широкими улицами, и называет ее Умгунгундхлову, что означает «Дом слона». Он требует, чтобы его приветствовали не иначе как «Славься, посланник бога!».

Истекает срок, отпущенный Чаке Исануси. Ясновидец возвращается, чтобы узнать, не передумал ли Чака — не выбрал ли он Ноливе, жизнь и любовь, вместо губительной власти. Но Чака непоколебим в своем решении. Вечером он отправляется к своей возлюбленной и вонзает Ноливе в грудь иглу, так чтобы кровь убитой женщины пошла на снадобье, которое даст ему абсолютную власть. Чака достиг вершины. Теперь ему остается лишь путь вниз, в бездну.

Его мечты сбылись. Но это оказывается не благом, а проклятием. У него уже нет сил — они потрачены на борьбу за власть. Ему нечего завоевывать, но он находит наслаждение в битве ради самой битвы, в насилии ради насилия. Бесконечная скука, нестерпимая тоска лишают его душевного покоя. Пытаясь исцелиться, Чака совершает поступки, продиктованные бессмысленной жестокостью. Он делит свои армии на две части и затем велит одной половине истреблять другую. Он посылает отборные отряды на верную смерть. Так пишется кровавая летопись его царствования, которая завершается, лишь когда сводные братья Чаки убивают его.

Говорят, умирая, Чака предсказал эпоху жестокого подавления своего народа белыми пришельцами. В конце романа Мофоло с тоской вспоминает о былом величии зулусов во времена Чаки, о том, как трепетали перед ними соседние племена, как искали у них помощи и защиты.

Не боясь повториться, я вновь назову «Чаку» Мофоло шедевром. Это подлинно африканское произведение искусства. По многочисленным отзывам книга в оригинале, на языке сото, так хороша, что захватывает дух. Несмотря на ее совершенство, вернее по причине ее совершенства, книга эта долго не издавалась. Автор создавал ее в самых неблагоприятных условиях. Он писал для таких же африканцев, как он сам, но африканцам тогда не принадлежали ни типографии, ни издательства. Судьба рукописи Мофоло целиком зависела от белых миссионеров.

Мофоло отдавал себе отчет в стоящих перед ним трудностях, но это не остановило его. Эпос о Чаке был его любимым детищем. Весь 1909 год он провел в путешествиях по Наталю в Южной Африке, по местам, где некогда лежала зулусская империя Чаки, собирая материалы для книги. Тогда ему было тридцать три года. Зулусские сказители и поэты отнеслись к его расспросам доброжелательно и во многом помогли ему.

Книга была закончена в 1910 году. Но Мофоло пришлось ждать ее первой публикации пятнадцать лет. Единственным издательством, куда он мог обратиться, была

церковная типография, основанная европейскими миссионерами для печатания религиозной пропагандистской литературы с целью обращения африканцев в христианство. Но эти миссионеры были расисты. Они твердо верили, что африканцы непригодны для творческой работы. Произведение Мофоло, отмеченное печатью гения, раздражало их. Более того, Мофоло уже был автором трех произведений. Это могло лишь повредить ему. Один миссионер заявил, что африканцу не следует быть чересчур плодовитым в творческом отношении. Миссионеры умудрились «потерять» рукопись его предыдущей книги. «Чаку» они посчитали вредной книгой, потому что в ней всерьез говорилось об африканской истории и традициях. Ирония всего происходящего заключалась в том, что сам Мофоло испытал значительное воздействие христианской догмы и считал себя христианином. Долгие годы он работал у миссионеров, держал корректуру церковных изданий и даже вел уроки закона божьего.

Работая над «Чакой», Мофоло как будто предвидел трудности с публикацией книги. Вот почему иногда в тексте встречаются пассажи, где осуждается язычество Чаки. Однако это не удовлетворило миссионеров. Главное содержание эпоса, его суть, были африканскими.

Пятнадцать лет думали миссионеры, прежде чем решились ее напечатать. Она вышла на языке сото в 1925 году, английский перевод появился в печати в 1931 году. В 1940 году был издан французский перевод.

Белые миссионеры преуспели в одном: они отбили у Мофоло охоту далее заниматься сочинительством. После завершения «Чаки» жизнь его превратилась в сплошные странствия, он менял места жительства, работу, одно разочарование следовало за другим. Устав от вечной нужды и стремясь к независимому материальному положению, он попробовал заняться сельским хозяйством. Накопив денег, он купил участок у белого землевладельца. Но правительство немедленно силой отняло у него землю: она была слишком хороша и плодородна для африканца!

К концу жизни Мофоло — разочарованный, больной человек — жил на скудные подачки белого комиссара. Умер он в 1948 году.

Его шедевр и теперь мало кому известен. Это прискорбно. Он представляет собой бесценный материал для серьезного исследования африканской литературы. Содержание этой книги столь же превосходно и интересно, как и форма. «Чака» не утратит своего значения, пока людей будут занимать проблемы генезиса власти, взаимосвязь между огромной личной властью и любовью, взлет и падение грозных владык, расцвет и крах великих империй.

Перевод с английского В. РАМЗЕСА

Еще несколько слов об эпосе Т. Мофоло

Кого из великих людей прошлого знает и помнит сегодняшнее человечество? Прежде всего европейцев, американцев. Ну, и немало людей Востока, Азии.

А жителей той громадной области нашей планеты, которую в Европе принято было называть «Черной Африкой»? Здесь расположено каждое третье государство современного мира. Имена их президентов и премьер-министров появляются на страницах сегодняшних газет. Если же выйти за пределы самых последних лет, хоть чуть-чуть углубиться в историю — много ли африканцев стали известны миру?

С какими именами ассоциируется прошлое почти пятидесяти африканских стран? В ответ на такой вопрос последуют скорее всего имена Сесиля Родса, Давида Ливингстона, Стенли, бельгийского короля Леопольда... Француз почти наверняка упомянет еще маршала Лиоте или де Браззу — по его имени и сейчас называется Браззавилем столица Республики Конго. Немец вспомнит Нахтигаля, Людерица, Карла Петерса. Англичанин — лорда Лугарда, Гарри Джонстона, Бертона, Спика, генералов Китченера и Гордона.

Среди этих людей африканцев, по всей вероятности, не будет. Будут французы, англичане, немцы, итальянцы, португальцы... Они изучали африканские страны или захватывали их. Или совмещали одно с другим.

Если с такой же меркой подойти к истории нашей страны, то со словом «Россия» должны ассоциироваться имена не Александра Невского, Петра Первого, Лермонтова или Толстого, а Чингисхана, Батыя, Карла Двенадцатого, да еще нескольких немцев или французов, которые рассказывали Западу о московитах и россиянах.

Что же, неужели в истории Африки, этого громадного континента, не было людей, которые могли бы запомниться человечеству? Неужели не было среди африканцев мудрецов и полководцев, завоевателей и освободителей, вольнодумцев и еретиков?

Отчего мы в конечном счете так мало знаем о людях Африки, да и вообще о прошлом этого материка? Во многом прав английский миссионер и ученый Альфред Брайант (1865—1953). Прожив полвека среди зулусов и считаясь признанным знатоком их истории и культуры, он утверждал: «Народ зулу не имеет писаной истории. Если мы оглянемся всего лишь на полтора столетия назад, то окажемся уже в его доисторической эпохе, от которой сохранились только недостоверные и туманные предания.

Представим себе на мгновение, что европейский мир не обладает ни письменностью, ни археологическими памятниками. Тогда для нас никогда не существовали бы ни Вавилон и Египет, ни Греция и Рим. Философские идеи Платона и поэтические образы Шекспира до нас не дошли бы и навсегда были бы потеряны; знания, приобретенные и накопленные людьми, не сохранились и не получили бы распространения. Человеческая мысль, опыт, деяния и подвиги — все это было бы навсегда предано забвению».

Приходится ли удивляться, что африканцы сегодня, обретя независимость, хотят знать не только о Шекспире или Мольере — о них они могли услышать в средней школе и в период английского и французского господства,— но и о тех людях, которые были когда-то властителями умов в самой Африке?

Африканцы стремятся узнать собственное прошлое, заново разобраться в своем культурном наследии, восстановить все, что было незаслуженно забыто, и решить — решить самим, а не по указке извне,— что же из этого прошлого стоит брать с собой в то будущее, которое они хотят построить...

В статье А. Квеи Армы, талантливого ганского прозаика в своеобразной форме преломляются все эти проблемы.

Арма призывает вспомнить роман, написанный семьдесят лет назад южноафриканцем Томасом Мофоло о другом южноафриканце — Чаке.

Айи Квеи Арма не первым заводит разговор о Чаке. Пожалуй, во всей Черной Африке нет исторической личности, о которой говорили и писали бы больше.

Чаку (1787—1828) нередко называют «африканским Наполеоном» и даже «создателем зулусской империи». Используя исторические тенденции к объединению родственных племен и народов, живущих на территории, которую теперь именуют Наталем, восточной провинцией Южно-Африканской Республики. Чака за короткий срок сумел осуществить это объединение вокруг своего родного, поначалу весьма немногочисленного клана — Зулу. Зулусское войско стало с тех пор одним из самых могущественных во всей Африке. Даже через полвека после смерти Чаки зулусы смогли одержать победу, полностью уничтожив крупный британский отряд.

Ф. Энгельс, приводя восхищенные отзывы очевидцев, писал в 1884 году, что зулусы «сделали то, на что не способно ни одно европейское войско. Вооруженные только копьями и дротиками, не имея огнестрельного оружия, они под градом пуль заряжающихся с казенной части ружей английской пехоты — по общему признанию первой в мире по боевым действиям в сомкнутом строю — продвигались вперед на дистанцию штыкового боя, не раз расстраивали ряды этой пехоты и даже опрокидывали ее, несмотря на чрезвычайное неравенство в вооружении» [1].

Слово «зулус» вошло тогда как имя нарицательное в обиход русского языка. А. П. Чехов, например, в письмах к старшему брату Александру обращался: «Мой брат зулус». М. Е. Салтыков-Щедрин в «Современной идиллии» отправил своего бродячего полководца Ередею в страну Зулусию.

Да и при жизни Чаки слух о нем доносился до Москвы и Петербурга. Об «армии короля Чаки» еще в пушкинские времена, в 1828 году, писали в «Вестнике Европы», том самом московском журнале, где появились первые пушкинские стихотворения.

В наши дни Чака стал одной из центральных фигур в литературах молодых африканских государств. Поэты пишут о нем стихи и поэмы, драматурги — трагедии и драмы, писатели — романы.

Сейду Бадиан, драматург из Республики Мали, издал пьесу «Смерть Чаки». В 1971 году своего «Чаку» опубликовал известный гвинейский историк и писатель Джибриль Тамсир Ниань. В 1972 году появилось сразу два произведения под одинаковым названием «Зулусы». Одно вышло из-под пера дагомейца Кондотто Ненекхали-Камары, второе написал тоже автор из Западной Африки — Абду Анта Ка. Роман «Ассегай» южноафриканца Ники Мак-Менеми опубликован в 1973-м и переиздан в 1975 году.

Появляются и специальные статьи об образе Чаки в африканских литературах.

Мысли в этой обширной литературе высказываются, конечно, довольно разные. Прежде всего Чака предстает в ней олицетворением силы африканских народов, их готовности идти на жертвы ради единства и самостоятельности. И хотя здесь можно обнаружить и «антирасистский расизм», афроцентризм — в противовес европоцентризму, большинство авторов хочет воплотить в образе Чаки проблемы, тесно связанные с подлинными нуждами и всей жизнью сегодняшней Африки.

Но первым крупным литературным произведением о Чаке действительно был роман Томаса Мофоло. Он не так уж забыт, как это кажется Арме. Во всяком случае трудно согласиться с утверждением Армы, что «большинство исследователей и знатоков африканской литературы не только не читало, но даже и в глаза не видело» романа Мофоло. Если говорить лишь о нашей стране — анализ этого романа занимает немалое место в работах по истории африканских литератур, принадлежащих советским исследователям. Кстати, тридцать лет назад под руководством основателя советской африканистики профессора Д. А. Ольдерогге в Ленинградском университете была написана прекрасная работа об этом романе.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 21, стр. 98.

Роман Т. Мофоло оказывает влияние и на современные африканские литературы. Леопольд Седар Сенгор, известный поэт, президент Республики Сенегал, по мотивам романа написал поэму «Чака», которая не раз издавалась и на русском языке. Именно у Мофоло Сенгор и другие современные авторы взяли образ Ноливе, возлюбленной Чаки, и трагическую сцену, в которой Чака убивает Ноливе. Но мотивы этого поступка Сенгор объясняет по-своему:

Я б ее не убил, если б меньше любил...
Нужно было отбросить сомненья,
Забыть опьяненье от сладкого млека
пылающих уст,
От безумных тамтамов, от ночного
биения крови,
От нутра, где кипит раскаленная лава,
От страсти к Ноливе —
Во имя моего черного Народа.

(Перевод с французского Д. Самойлова)

В среде африканских литературоведов и историков есть и другие мнения по поводу того, что «книга Мофоло является наиболее успешной из всех... попыток понять и объяснить Чаку», как это утверждает Арма. Многие отдают пальму первенства книге Э. Риттера «Чака Зулу» (она выходила на русском языке дважды, в 1968 и в 1977 годах). Нигерийский ученый Колаволе Огунбесана написал недавно: «Сегодня это самая достоверная биография Чаки».

Томасу Мофоло нередко бросали упрек, что его роман проникнут мистическим духом, а бессмысленные жестокости, характерные для последних лет жизни Чаки, становятся в книге чуть ли не основной чертой всего его правления.

Но в главном Арма все-таки прав. Блестящий, полный драматизма роман классика южноафриканской литературы, подобно многим культурным ценностям, рожденным Африкой, еще не получил того мирового признания, которого он несомненно заслуживает.

АПОЛЛОН ДАВИДСОН

◆

ЭПТОН СИНКЛЕР — «СОЦИАЛИСТ ЧУВСТВА»

К 100-летию со дня рождения

Вступительная статья, публикация и перевод с английского Б. ГИЛЕНСОНА

Когда совсем еще подростком Эптон Синклер (1878—1968) впервые взялся за перо, чтобы не выпускать его из рук едва ли не три четверти века, он задался дерзким намерением: накопить библиотеку из книг собственного сочинения. Подобному, казалось бы, рискованному плану суждено было осуществиться.

Не было, пожалуй, такого важного аспекта в жизни нашего века, который писатель оставил бы без внимания. Не было такой литературно-публицистической формы, в которой бы он за долгую творческую жизнь не испытал себя: романы и новеллы, драмы и киносценарии, биографии и автобиографии, критические эссе и антологии, памфлеты и брошюры, обращения и воззвания, научно-популярные и исторические, философские и социологические труды, трактаты, книги для юношества. Его произведения переведены почти на шестьдесят языков, что свидетельствует об особом месте Эптона Синклера как одного из наиболее широко читаемых писателей во всей истории мировой литературы.

Упомянем еще и о полумиллионе рукописей в архиве писателя, о множестве неопубликованных сочинений, о десятках тысяч писем Эптона Синклера, и по сегодняшний день не учтенных. Составлен пока лишь список наиболее именитых его адресатов, насчитывающий до 1300 имен,— здесь многие и многие современные ему писатели из числа самых известных, государственные деятели, люди искусства, ученые, мыслители.

Эптон Синклер не был кабинетным художником слова, а скорее нетерпеливым хроникером, державшим руку на пульсе истории. Интенсивный творческий труд и одновременно общественная деятельность, лекции, публичные выступления, участие в политических манифестациях отвечали его темпераменту борца, правдоискателя. К его словам прислушивались во всем мире.

И вместе с тем в судьбе Синклера было нечто парадоксальное. Громкая известность — причем за пределами США даже большая, чем на родине. И разительным контрастом к этому — пренебрежение со стороны буржуазной и академической критики США, порой откровенное замалчивание. Отзываясь на кончину Эптона Синклера, газета «Нью-Йорк таймс» констатировала: «Эптон Синклер не считался и не должен считаться крупной литературной фигурой». При этом, правда, в некрологе было сделано многозначительное признание: «Не может, однако, быть сомнения в том, что сочинения Синклера будут восприниматься как факты литературной и политической истории еще длительное время после того, как многие популярные ныне авторы окажутся забытыми». Сходную мысль высказал критик Альфред Кейзин: «Эптон Синклер немного больше чем «просто» писатель и немного меньше чем «серьезный романист».

Конечно же, в отношении американской критики к Синклеру сказывалась не только политическая предвзятость иных буржуазных исследователей, не принимавших

социалистических убеждений писателя. «Феномен Синклера» настолько своеобычен, что не укладывается в привычные литературоведческие схемы. Если общественная роль Синклера очевидна, то его литературно-художественная значимость остается предметом оживленных дискуссий и по сей день.

С точки зрения «солидной» университетской критики Эптон Синклер пребывал вне пределов изящной словесности: его воспринимали как журналиста, публициста, поставщика «беллетризированной социологии», равнодушного к эстетическим ценностям. Вторгаясь в споры о Синклере, Бернард Шоу, писатель, безусловно, ему духовно близкий, одним из первых дал характеристику тому типу художника, который являл собой автор «Джунглей». Синклер был для Шоу «не Генри Джеймсом, а, скорее всего, Даниелем Дефо», «писателем-борцом, с социальным подходом», для которого перо — оружие, а «литературные приемы ценны не сами по себе, а как средство донести до читателя свои идеи».

Эптон Синклер мыслил себя не художником в чистом виде, но еще и социальным реформатором, проповедником, популяризатором модных теорий, служащих, как он считал, делу прогресса. И если его упрекали в том, что он излишне полемичен, то он отнюдь не считал полемику противопоказанной искусству. На него сетовали за чрезмерную нетерпимость ко всем формам социальной несправедливости. Синклер же видел в этом первейший долг писателя.

XVIII, «французский», век знаменовал крушение феодализма. Он выдвинул целую плеяду художников слова, «просвещавших головы для приближающейся революции». XX век стал эпохой заката капитализма и становления социалистического миропорядка. Не только возросла роль всех форм искусства в жизни общества, но и усилился процесс политизации и идеологизации литературы, что обусловило рождение писателя-трибуна, то есть художника слова, в высокой мере озабоченного активным воздействием на сознание читателя и зрителя. Таковы, скажем, Бертольт Брехт, Бернард Шоу, Герберт Уэллс. Таков и Эптон Синклер. Конечно, это очень разные художники, близкие, однако, в некоторых исходных идейно-эстетических посылках, в своем антикапиталистическом пафосе и приверженности социалистическому идеалу.

Эптон Синклер успел написать с полдюжины средней руки романов, пока «Джунгли» (1905), произведение об ужасах чикагских боен, не принесли ему мировую славу. Книгу перевели на семнадцать языков, в течение шести месяцев она находилась в списках бестселлеров США и Англии.

В «Джунглях» писатель открыл главную тему своего творчества, связанную с изображением коренного конфликта капитализма — между трудом и капиталом. Джек Лондон назвал «Джунгли» «Хижиной дяди Тома» наемных рабов капитала». Сравнение Синклера с Бичер Стоу, кстати не единичное, оказалось довольно метким. Автор «Джунглей» продолжил начатую Бичер Стоу и Э. Беллами американскую радикальную традицию «романа протеста», боевого, возбуждающего общественное негодование.

Последовавшие за «Джунглями» социальные романы Синклера были поистине, употребляя его же выражение, «воплем о справедливости». В «Столице» (1908) и «Менялах» (1908) объектом изображения стали роскошь, паразитизм и расточительство нью-йоркских верхов; в «Короле Угле» (1917) — жестокий конфликт между шахтерами и предпринимателями; в «100%» (1920) — система сыска и шпионажа, насаждаемого хозяевами в рабочей среде; в «Нефти» (1927) — аферы королей «черного золота»; в «Бостоне» (1928) — фарс судебного «правосудия», надругательство над правами человека. Но Синклеру была близка не только стихия социального обличения: вопросы искусства, брака, семейные отношения нашли свое отражение в таких его романах, как «Дневник Артура Стирлинга» (1903), «Сэмюэль-искатель» (1910), «Испытания любви» (1911), «Сильвия» (1913), «Замужество Сильвии» (1914). Эти книги также имели успех, но все же главной для Синклера оставалась рабочая тема.

Все эти романы показали, что сила писателя заключалась в обстоятельном и документально насыщенном воспроизведении общественной среды, в протесте против различных форм социального зла, коренящегося в капиталистической системе. Значительно слабее был он в своей позитивной программе, предлагая разного рода либерально-утопические планы.

Природа внутренних противоречий, присущих Эптону Синклеру, была сжато и точно еще в 1915 году определена В. И. Лениным, назвавшим его «социалистом чувства, без теоретического образования» [1].

К этому времени уже сложилась художественная манера Синклера, писателя специфически американского, романы которого насыщены национальными реалиями и колоритом. Вместе с Дос Пассосом и Синклером Льюисом Эптон Синклер представлял в американской литературе реализм в его социологической разновидности. Это явление сформировалось в начале века, в пору бурного взлета газетно-журнального дела, возникновения «массовых» журналов, когда беллетристика вступила в особо тесные взаимодействия со смежными жанрами, «пропитываясь» достижениями социологии и экономических теорий, вбирая в себя очерково-публицистические элементы.

Создание каждого романа предварялось социологической разведкой, Синклер превращался в репортера, в следователя, собирателя фактов, бьющих в цель. Роман

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, стр. 270.

становился своего рода «путешествием» в какую-то сферу американской жизни, будь то бойни, угольные шахты, добыча «черного золота» или механизм судопроизводства. В центр Синклер ставил героя, проходившего путь прозрения, нравственного возвышения (Юргис из «Джунглей», Джимми Хиггинс из одноименного романа); нередко он был представителем власть имущих, переходивших на сторону трудящихся (Аллан Монтегю из «Столицы», Хал Уорнер из «Короля Угля», Бенни Росс из «Нефти» и др.). Обычно писатель фиксировал первую стадию в эволюции своего героя — обретение им новой веры; сфера же практического действия, революционной борьбы, как правило, оказывалась вне поля зрения писателя.

В отличие от современных ему американских писателей, интересовавшихся преимущественно скрупулезным воспроизведением внутренней жизни личности (порой выключенной из широких социальных связей), Эптон Синклер тяготел к изображению человека, который представал у него как продукт среды, социально-экономических условий. Герои в его романах, нередко с очевидной прямолинейностью, отражали интересы своего класса, прослойку, имущественную группу, словно бы иллюстрируя действие социальных сил. Признавая, что социолог иногда брал в нем верх над психологом, Эптон Синклер, обладавший, по выражению известного американского критика Ван Вик Брукса, «фатальной бойкостью» пера, не всегда заботился о стиле своих произведений, в ряде случаев прибегал даже к помощи одной, а то и двух стенографисток — явление, конечно, нечастое для серьезного беллетриста.

Но, наверно, пример Синклера подтверждает ту проверенную истину, что наши недостатки суть продолжение наших достоинств. Писатель тяготел к созданию емких социальных панорам, к четким, сгущенным краскам, к укрупненным, резко очерченным фигурам. Если его коллеги-литераторы собирают материал с помощью микроскопа, говорил Синклер, то он пользуется для той же цели телескопом: «Кто-то должен писать для масс, а не только для гарвардских профессоров». На протяжении всей литературной карьеры он не уставал декларировать пристрастие к простоте и доходчивости: «Я хотел бы сделать свои идеи доступными, чтобы любой, самый забитый, сумел их освоить». А один из критиков заметил: «Он формировал миропонимание миллионов американцев, которые никогда вообще не имели понятия о каком-либо писателе». Укажем и на завидное искусство Синклера-рассказчика, его умение выстроить захватывающий сюжет, придать динамизм повествованию, «интегрировать» в текст пласты фактического материала, притягательного с познавательной точки зрения.

В первое послеоктябрьское десятилетие Эптон Синклер, вступивший в новую, плодотворную полосу своего творческого развития, вышел на лидирующее место по тиражам и популярности среди иностранных писателей, издававшихся в Советском Союзе, его произведения активно обсуждались в рабочих клубах и кружках. Горький, завязавший с Синклером переписку еще в канун мировой войны, активно способствовал его публикациям.

Свидетельством расширения социальных горизонтов писателя стали его знаменитые памфлеты, собранные в серию «Мертвая рука», этот боевой, разоблачительный анализ духовной жизни США в различных ее аспектах (церковь, университеты, школы, пресса).

Но особой популярностью пользовался знаменитый роман Синклера «Джимми Хиггинс», первое в зарубежной литературе крупное произведение, запечатлевшее воздействие Октября на судьбы простых людей. Известно, что В. И. Ленин и Н. К. Крупская по совету А. В. Луначарского познакомились с «Джимми Хиггинсом» в английском оригинале.

Эптон Синклер, заинтересованно следивший за успехами нашей страны, многие годы работал над романом, в центре которого должны были быть американские друзья Октябрьской революции: Джон Рид, Альберт Рис Вильямс, Хэл Вэр, с которыми он был связан личным знакомством; к сожалению, писатель не сумел завершить этой работы.

Эптон Синклер, как правило, чутко реагировал на меняющуюся историческую ситуацию. И менялся вместе с ней. Живая история врывалась в его книги. Постепенно его роман, отрываясь от определенного факта американской жизни, преодолевая локальность, становится шире, масштабнее, превращается в роман о современной истории.

В центре произведения такого рода—вымышленный персонаж, вовлеченный в поток исторических событий, вступающий в контакты с реальными историческими лицами. Этот принцип, примененный в «Бостоне» и «Автомобильном короле», окончательно закрепился в десятитомной серии романов о Ланни Бэдде (1940—1953). Социальные, географические горизонты произведения писателя раздвинулись, наряду с Америкой полем действия стала Англия, Франция, Италия, Германия, Китай, Советский Союз. С напряжением следили миллионы читателей, как один за другим с завидной регулярностью выходили тома эпопеи, которые, по словам самого их создателя, вздымались, «как волны океана». И если в первых частях эпопеи, в которых наиболее отчетливо проявились антифашистские взгляды Синклера, время действия и время написания разделялись промежутком в пятнадцать — двадцать лет, то в дальнейшем он все более сокращается, в последних томах писатель уже буквально шел непосредственно «впритык» к описываемым событиям.

Под пером романиста оживали важнейшие вехи политической и дипломатической истории за последние четверть века: Версальская конференция, Рапалло и Генуя, приход

к власти фашизма в Италии и Германии, гражданская война в Испании, жизнь «третьего рейха», увиденная «изнутри», Мюнхен, вторая мировая война, вторжение союзников во Францию, контакты между государствами... В серии романов о Ланни Бэдде действовали и руководители антигитлеровской коалиции, и фашистские главари Германии и Италии, министры и военачальники. Собственно, История и была главным героем серии. Приключения и путешествия по миру центрального героя, сына миллионера Ланни Бэдда, эксперта по живописи, а в дальнейшем — секретного агента президента Рузвельта, были своеобразным сюжетным стержнем, вокруг которого наматывался богатый наглядно поданный историко-политический материал. К сожалению, атмосфера и настроения «холодной войны», развязанной в США, дают себя знать в последних частях серии, создававшихся на рубеже 50-х годов.

И все же престарелый писатель не отрекся от своего прошлого. В 1959 году он заявляет: «Я сегодня такой же социалист, каким был всегда». Он выступает против угрозы термоядерной войны, осуждает антидемократические законы Маккаррена и Смита. За две недели до кончины в беседе с американским публицистом, коммунистом Джозефом Нортом Эптон Синклер просил передать праздничные пожелания советским людям в связи с годовщиной Октября.

Сын Эптона Синклера, Дэвид, приезжавший в Москву в сентябре 1976 года, говорил о том, что писатель до конца дней оставался верен социалистическим идеалам, хотя и не был марксистом, и свидетельствовал о том, что под влиянием событий последних лет в США, в частности уотергейтского дела, возрос интерес к писателям социально-критической направленности, в том числе и к его отцу.

Отрадно, что на родине Синклера началось, наконец, научное освоение наследия писателя. В 1970 году Гарри М. Гедалд и Роналд Готтесман выпустили переписку Э. Синклера и С. Эйзенштейна в пору работы советского режиссера над фильмом «Да здравствует Мексика» [1]. Два года спустя Р. Готтесман и С. Л. П. Силет опубликовали объемистое описание архива писателя, который, кстати, поразил их своими «пугающими» размерами, несметным количеством собранных в нем материалов [2]. В 1975 году появилась первая биография Эптона Синклера, написанная Леоном Харрисом на основании архивных и других малоизвестных источников [3].

Чем же актуален, чем интересен писательский опыт Синклера сегодня?

Искусство просвещающее, поучающее — а именно его пример являл в своем творчестве Эптон Синклер — отнюдь не столь «старомодно», как может показаться на первый взгляд. «В чем смысл искусства, если оно не помогает людям жить лучше? — задает вопрос на страницах журнала «Ньюсуик» Джойс Кэрол Оутс и отвечает:— Я хотела бы выработать по возможности здоровую жизненную позицию, не драматизируя кошмарные ситуации, а стремясь их преодолеть». Ей вторит Джон Гарднер: «Подлинное искусство морально. Оно стремится улучшить жизнь, а не очернить ее». Один из интереснейших современных американских писателей-документалистов Стадс Тёркел говорит о сильном влиянии Синклера на его жизнь. О роли романов Синклера в своей судьбе ярко рассказывает в публикуемых воспоминаниях Ирвинг Стоун.

Сохраняет значимость и художественный опыт Синклера, который по-своему выразил глубинную тенденцию современного словесного искусства к максимальной правдивости, достоверности. Он обосновал правомерность взаимопроникновения чисто беллетристических и документально-публицистических, социологических элементов. Он внес свой весомый вклад в становление и утверждение «литературы факта» и такого ее важнейшего жанра, как документальный роман. Взрыв публицистики в 60-е годы, появление «нового журнализма» — тому свидетельство. Традиции Синклера-документалиста по-своему обогащают и развивают Трумэн Капоте, Джеймс Болдуин, Норман Мейлер. И сколь бы ни были оригинальны художественные достижения мастеров послевоенного призыва, может быть, именно сейчас особенно настоятельна потребность в социальном анализе сложнейшей современной панорамы, потребность в тех широких, емких полотнах, большими мастерами которых были классики американской прозы XX века Драйзер и Стейнбек, Синклер Льюис и Эптон Синклер.

Хочется надеяться, что и новое поколение советских читателей с немалой пользой приобщится к книгам Эптона Синклера. И в этом им должны помочь наши издательства, к сожалению несколько ослабившие за последние годы интерес к столь крупному писателю.

Предлагаемая вниманию читателей «Иностранной литературы» публикация высказываний об Эптоне Синклере его современников — писателей, общественных деятелей, ученых, многие из которых состояли с ним в переписке, убеждает, что творчество автора «Джимми Хиггинса» постоянно находилось в центре острейших идейных и лите-

---

[1] Harry M. Geduld and R. Gottesman Ed. Sergei Eisenstein and Upton Sinclair. The Making and Unmaking of «Que Viva México». Indiana Univ. Press, Bloomington, 1970.

[2] The Literary Manuscripts of Upton Sinclair. By R. Gottesman and C. L. P. Silet. Ohio Univ. Press, 1972.

[3] Leon Harris. Upton Sinclair. A biography. N. Y., 1975.

ратурных споров, вызывало заметный общественный резонанс во всем мире[1]. Так было, начиная с его первого прославленного романа «Джунгли». Тогдашний президент США Теодор Рузвельт в одном из своих писем к молодому автору вознамерился доказать ему ложность проповеди социализма в финале произведения, попутно сопроводив свои поучения нападками на Горького, Золя и Толстого. В далекой же России Лев Толстой, прочитав это произведение, записал в своем дневнике: «Удивительная книга. Автор — знаток жизни рабочих. Выставляет недостатки всей этой американской системы». Соратник Синклера по социалистической партии Джек Лондон горячо приветствовал «Джунгли» как «глубоко современное произведение», написанное «потом и кровью, со стенаньями и слезами».

На протяжении всей жизни Синклер постоянно сталкивался с недоброжелательством критики, бойкотом издателей, враждебной позицией официальных властей. Так было в 1911 году, когда английская цензура запретила его роман «Испытания любви», против чего протестовал известный романист Арнольд Беннет. Так было и в 1931 году, когда консервативные академические круги решительно воспротивились кандидатуре Синклера, выдвинутой на соискание Нобелевской премии по литературе. Как известно, им удалось одержать верх. Публикуемое ниже выступление в поддержку Синклера группы выдающихся деятелей науки и литературы (Эйнштейн, Рассел и другие) — убедительный аргумент в споре о значимости творчества писателя. Усилия сторонников Эптона Синклера, однако, не увенчались успехом ввиду решительного противодействия литературоведов консервативного направления во главе с американским профессором Куинном, которые повели активную кампанию против писателя, стремясь дискредитировать его как художника слова. Даже те, кто не разделял политических воззрений Синклера-социалиста, подобно Морису Метерлинку, воздавали должное его «энергии, наглядности, искренности, силе».

И вместе с тем с разных концов мира идут к Синклеру слова поддержки и одобрения. Американский либеральный критик Генри Менкен и французский писатель-революционер Анри Барбюс приветствуют его антиклерикальную книгу «Выгоды религии», рисующую церковников как слуг большого бизнеса. Роман «Джимми Хиггинс» находит поддержку прогрессивной журналистки, жены Джона Рида Луизы Брайант и единомышленника Эптона Синклера Ромена Роллана. В письме из далекой Калькутты Рабиндранат Тагор солидаризируется с тезисом Синклера о порабощении личности властью доллара. В тяжелые годы второй мировой войны находящиеся в эмиграции в США Альберт Эйнштейн и Томас Манн видят в авторе книг о Ланни Бэдде соратника по антифашистской борьбе. О художественном своеобразии творчества Синклера, его общественной значимости пишут Драйзер, Шоу, один из наиболее авторитетных американских критиков Эдмунд Уилсон.

...На своем долгом пути Эптон Синклер знал взлеты и спады, порой заблуждался. Но бесспорно и то, что внутренним стимулом, поддерживавшим его творческую энергию, было непоколебимое убеждение писателя в моральной ответственности перед миллионами людей, искреннее стремление помочь сделать их долю более счастливой и достойной.

С ранних лет с болью ощущал он социальную несправедливость, контраст между бедностью и богатством в условиях капитализма. И он заслужил право так определить свою жизненную миссию: «Я не знаю, захочет ли кто-нибудь рассматривать мое сердце. Но если он пожелает это сделать, то обнаружит там два слова: социальная справедливость».

СОВРЕМЕННИКИ ОБ ЭПТОНЕ СИНКЛЕРЕ[2]

«Наконец-то! Появилась книга, которую ждали долгие годы! «Хижина дяди Тома» наемных рабов капитала! Эта книга — «Джунгли» товарища Эптона Синклера! И то, что «Хижина дяди Тома» сделала для черных рабов, «Джунгли» могут, в значительной мере, сделать для белых невольников.

Перед нами — глубоко современное произведение. Прекрасные теории в романе «Взгляд назад» Беллами[3], конечно же, вызывают симпатии. Они сделали свое дело.

[1] В Японии, например, где произведения писателя были особенно популярны, эпоху между двумя мировыми войнами даже называли «эрой Синклера».

[2] Материалы этого раздела взяты из сборника U. Sinclair. My Lifetime in Letters. Columbia, 1962, а также из книг: U. Sinclair. The Autobiography. N. Y., 1962 (отрывок из рецензии У. Черчилля); U. Sinclair. An Anthology. N. Y., 1947 (воспоминания И. Стоуна); Books of Upton Sinclair. In translations and foreign editions. Pasadena, 1930 (письма А. Барбюса, Р. Роллана, Л. Брайант).

[3] Э. Беллами (1850—1898) — американский писатель и общественный деятель. Его знаменитый утопический роман «Взгляд назад» (1888), рисующий Америку 2000 года, в которой орудия и средства производства принадлежат государству, преодолены противоречия частнособственнической системы, восторжествовало всеобщее равенство, имел огромный успех во всем мире. В США в 1890-е годы была создана даже партия национализаторов, ставившая целью претворение в жизнь планов писателя, возникли Клубы Беллами. Беллами оказал влияние и на Э. Синклера.

И сделали отлично. «Взгляд назад» был первоклассной книгой. Но я осмелюсь утверждать, что «Джунгли», не содержащие столь притягательных теорий, являются тем не менее произведением, обладающим большей значимостью [1].

Книга исполнена живости и тепла. В ней — сама грубая жизнь. Она написана потом и кровью, со стенаньями и слезами. В ней изображен человек не такой, каким ему надлежит быть, а такой, каким его сделало наше общество двадцатого столетия. «Джунгли» дают образ нашей страны не такой, какой ей надлежит быть, и не такой, какой она представляется в речах оратора в день Четвертого июля, обителью свободы и равных возможностей; она представлена такой, какая она на самом деле есть,— цитадель угнетения и несправедливости, кошмар нищеты, юдоль страданий, ад для людей, джунгли, населенные дикими зверями».

(Джек Лондон. Из письма к Э. Синклеру. 1905.)

«Согласившись написать короткие заметки об этой книге для первого номера новой газеты О'Коннора [2], я поставил перед собой цель — содействовать ее известности. По прошествии нескольких недель подобное намерение утратило всякий смысл. Книга сделалась знаменитой. Она привлекла внимание либерального аристократа, взбудоражила аппарат государственного департамента, перекочевав со степенных колонок книжных рецензентов в передовые статьи, в отделы интеллектуальных новостей, она не только вызвала в Старом и Новом Свете озабоченность проблемами пищеварения, но и, видимо, пробудила совесть человечества...[3]

Возможно, эту книгу начнут рассматривать как фактор, определяющий ход событий в далеком будущем. Она вызвала негодование миллионов американцев. Это негодование подобно огню, который уже не раз превращался в испепеляющее пламя. У Великой Республики имеется запас нравственных сил, необходимых для осуществления подобного очищающего процесса. Конфликт между Трудом и Капиталом значительно отчетливее выявляется в Соединенных Штатах, чем в какой-либо другой стране в нашем столетии. Возможно, что в ближайшие несколько лет мы получим из-за Атлантики ответы на те насущные вопросы экономики и социологии, которые повергают политические партии Британии в состояние замешательства и нерешительности. Сказанное является, помимо всего прочего, доводом в пользу того, почему английским читателям не следует закрывать глаза на горестные откровения в романе Эптона Синклера «Джунгли» [4].

(Уинстон Черчилль. Из рецензии на роман «Джунгли» в газете «ТПО». 1904.)

«Я прочитал Ваш в высшей степени содержательный роман «Испытания любви» [5]. Буду глубоко огорчен, если его запретит английская цензура. В нем тонко изображаются те аспекты жизни, которых обычно избегают как английские, так и американские авторы, хотя эти аспекты находят отзвук в литературах всех других стран.

Вы касаетесь этой запретной тематики, причем удивительно поэтически, возвышенно и искренне. И поэтому вряд ли кто-либо, наделенный подлинным умом и воспитанный на первоклассной художественной литературе, осмелится возражать против публикации Вашей книги. Ее читатель, где бы он ни находился, извлечет из знакомства с ней только пользу. Появление же известных опасений относительно того, как будет принято Ваше произведение,— очередное доказательство узколобого лицемерия и провинциализма английской читающей публики и ее отношения к искусству.

---

[1] Завершив работу над «Джунглями», Э. Синклер столкнулся с трудностями публикации: пять буржуазных издателей отказались от печатания романа, сочтя его «шокирующим». Лишь после того, как «Джунгли» появились на страницах социалистического еженедельника «Эпил ту ризн» («Призыв к разуму»)—его тираж достигал миллиона экземпляров — и вызвали бурную читательскую реакцию, нашелся, наконец, издатель.

[2] Т. П. О'Коннор — редактор и издатель английской газеты «ТПО» (названной так по его инициалам).

[3] Выход книги в США стал не только литературным событием, но вылился в общественный скандал. Вместе с тем читатели из среды имущих были поражены не столько картинами чудовищной эксплуатации, нарисованными Синклером, сколько фактами, свидетельствующими о нарушении элементарных санитарных правил при изготовлении мясных консервов. Вопрос этот обсуждался в конгрессе и привел к тому, что по решению президента Т. Рузвельта была создана специальная комиссия, расследовавшая положение дел на чикагских бойнях. По этому поводу Синклер заметил: «Я метил в общественную совесть, а попал в желудок».

[4] Статья была написана в ту пору, когда У. Черчилль, 30-летний член парламента, писатель и публицист, вышел из рядов консервативной партии и временно примкнул к либералам. С демагогических позиций в своих публичных выступлениях он нередко упрекал правящие круги за недостаточное внимание к тяжелому положению масс.

[5] Роман «Испытания любви» был написан в 1911 году и во многом запечатлел обстоятельства личной жизни Синклера, его первый неудачный брак. Последнее использовала американская реакционная пресса для нападок на писателя-социалиста, который был вынужден покинуть США и некоторое время провести в Европе.

Тем не менее я нисколько не сомневаюсь в том, что, когда роман будет опубликован в Англии, он вызовет определенное противодействие не только в официальной среде. Подобная реакция встретит во мне лишь осуждение и чувство стыда. И я буду публично выражать ей свое неодобрение так, как всегда делаю в аналогичных обстоятельствах».

(Арнольд Беннет. Из письма к Э. Синклеру. 1911).

«Естественно, я восхищен тем побоищем, которое Вы учинили досточтимому джентльмену, именуемому богом [1]. И сделали это громко смеясь, с блистательным хладнокровием. Вся антиклерикальная литература в Америке на поверку оказывается служащей интересам религиозных сект. Вы же дадите ей сто очков вперед, будучи свободным, по-моему, от подобной мелочности».

(Генри Менкен. Из письма к Э. Синклеру. 1918.)

«Я только что прочел «Выгоды религии». Мое знание английского языка несовершенно, а потому не могу оценить книгу с точки зрения стиля и художественности. Но я прекрасно представляю себе, какую взрывную силу несет Ваше произведение. Оно — страшное обвинение, исполненное горячего негодования, и человек, его написавший, должен обладать не только мужеством, но большим сердцем и талантом. Это произведение определяет Ваше высокое место среди выдающихся писателей-гуманистов».

(Анри Барбюс. Из письма к Э. Синклеру. 1919).

«Прежде всего, признаюсь, мне стыдно, что не написал Вам раньше о том, как восхитил меня «Джимми Хиггинс» [2]. Это одна из самых сильных книг, созданных о войне. Не могу назвать другой современный роман, который бы приближался в такой мере, как Ваш, к искусству и духу Толстого [3]. В нем — все богатство жизни, сила человеческого сострадания и беспристрастная правда. Подобное произведение переживет свое время и останется для будущего как суровое свидетельство. Если, на что надеюсь, новый социальный порядок, более справедливый и гуманный, восторжествует, Ваш Джимми Хиггинс, этот подлинный герой и мученик, останется в памяти людей как легендарное воплощение Народа, принесенного в жертву в Эпоху Угнетения».

(Ромен Роллан. Из письма к Э. Синклеру. 1919.)

«Я только что закончила рецензию на «Джимми Хиггинса» для очередного номера «Либерейтора». Хочу написать еще одну, более обстоятельную, для газеты «Колл». Это выдающееся произведение, все о нем говорят. Бордман Робинсон [4] вчера вечером заметил, что книга решительно убедила его в том, что художественная литература обладает большей пропагандистской силой, чем публицистика. Конечно, «Джимми Хиггинс» ранит; вот почему «Таймс» и им подобные жаждут Вашей крови. Но ведь это как раз самая высокая похвала».

(Луиза Брайант. Из письма к Э. Синклеру. 1920.)

«Крупская (жена В. И. Ленина) сама приготовила чай [5]. Она сказала мне, что только что закончила чтение «Джимми Хиггинса» Эптона Синклера [6]. «Это — хорошая книга,— сказала она.— Она дает отчетливое представление о том, каков рядовой американский социалист. В ней печаль и разочарование, а потому она поучительна. Мне хоте-

---

[1] Речь идет о книге «Выгоды религии»

[2] Р. Роллана, видевшего в Э. Синклере духовно близкого человека, гуманиста, соратника по антивоенному движению, связывали с американским писателем личные контакты и годы переписки.

[3] Р. Роллан относился к числу горячих поклонников Толстого. О своем восхищении русским гением не раз писал и Эптон Синклер. Видимо, Роллан имеет в виду ярко выраженный гуманистический пафос романа «Джимми Хиггинс».

[4] Бордман Робинсон — прогрессивный канадский художник, друг Джона Рида, сотрудничал в левых изданиях. В 1915 году вместе с Ридом совершил поездку на Балканы и в Россию и иллюстрировал книгу Рида «Война на Восточном фронте».

[5] Осенью 1920 года Л. Брайант приехала в Советскую Россию. Вскоре после смерти Джона Рида она была принята Н. К. Крупской, выразившей глубокое сочувствие ее горю. Обстоятельства этой встречи Брайант описывает в своей статье.

[6] Роман «Джимми Хиггинс» пользовался в Советском Союзе огромным успехом в 20-е годы.

лось бы разузнать о Синклере. Коммунист ли он? Написал ли другие книги?» Я коротко рассказала ей, что знаю о Синклере. Она заинтересовалась и выразила желание прочесть «Джунгли» и «Медную марку». Я сказала ей: «Я уверена, что он послал бы Вам экземпляры с автографами, узнав о вашем к нему интересе». «Правда?— сказала она.— Но почему же? Ведь он, наверно, никогда не слышал обо мне?» Было что-то трогательное в этой ее непосредственности»[1].

(Луиза Брайант. Из статьи в журнале «Либерейтор». 1921.)

«Согласно положению о Нобелевском фонде премия присуждается автору, «создавшему наиболее выдающееся литературное произведение, утверждающее высокие идеалы». В течение тридцати лет Эптон Синклер вносит в американскую литературу вклад, который, по-нашему убеждению, отвечает этому требованию. Он — автор сорока томов художественной прозы, драматургии, трудов по экономике, социологии и литературной критике и является, безусловно, самым читаемым из ныне живущих писателей. Его книги, переведенные более чем на тридцать языков, оказали глубокое воздействие как на умонастроения широких масс, так и на более образованные прослойки в культурном мире. Мы считаем, что такие его замечательные романы, как «Джунгли», «Испытания любви», «Нефть», «Бостон», представляют серьезное достижение современной прозы с точки зрения мастерского подбора фактов, социального анализа, гуманистического пафоса, широты и жизненности творческих принципов, а также последовательности, честности и смелости, с которыми автор выражал в них свои воззрения».

(Из обращения девятнадцати представителей академических кругов США и Западной Европы к Шведской Академии наук с рекомендацией кандидатуры Синклера на Нобелевскую премию по литературе. Среди подписавших письмо: А. Эйнштейн, поэт Эдвин Маркхем, социолог и деятель лейбористской партии Гарольд Ласки, математик и философ Бертран Рассел и другие. 1931.)

«Когда я оглядываюсь на эпоху Эптона Синклера, меня поражает одно обстоятельство: если бы люди вчитывались в его книги двадцать лет тому назад, Америка не оказалась бы в том незавидном положении, в котором находится ныне, влача свое существование под тяжким гнетом корпораций. Синклер был из числа писателей, редко встречающихся, предельно честных... Он показал фюреров американского бизнеса такими, какие они есть».

(Теодор Драйзер. Из статьи в журнале «Вестерн ревью». 1940.)

«Практически Синклер единственный среди писателей своего поколения выдвинул перед американской общественностью фундаментальные проблемы, порожденные капитализмом. И сделал это так, что от них уже нельзя было отмахнуться».

(Эдмунд Уилсон. Из статьи в журнале «Нью рипаблик». 1940.)

«Вам известно, насколько я ценю Ваше оригинальное искусство, а также мужественную и открытую борьбу, которую Вы ведете всю свою жизнь. Я глубоко благодарен за присланные мне книги... Как я чувствую, большинство людей у нас в Америке еще не сознает всей опасности сложившейся ситуации[2]. Должен признаться, что ощущаю в полной мере трагедию России. Происходит безжалостное уничтожение бесценных плодов труда, созданных в течение двадцати лет в чрезвычайно тяжелых обстоятельствах. Невозможно представить себе что-либо более драматическое во всей мировой истории...»

(Альберт Эйнштейн. Из письма к Э. Синклеру. Октябрь 1941.)

---

[1] По-видимому, разговор Л. Брайант с Н. К. Крупской стал известен Э. Синклеру. В личной библиотеке В. И. Ленина в Кремле хранится шесть экземпляров произведений Э. Синклера с дарственными надписями.

[2] Эйнштейн был прав, указывая на беспечность многих американцев, что было также и результатом деятельности изоляционистов и «мюнхенцев», которые стремились приуменьшить фашистскую угрозу. К этому времени США еще не вступили в войну. Эйнштейн высоко ценил героическое единоборство Советского Союза с гитлеровской военной машиной. В октябре 1941 года, когда было написано это письмо, началась битва под Москвой. Год спустя в газете «Нью-Йорк таймс» Эйнштейн, один из активных сторонников скорейшего открытия второго фронта, опубликовал заявление о долге наций, борющихся против фашизма, оказывать помощь Советскому Союзу.

«Я считаю Вас не романистом, а историком. В то же время, по моему глубокому убеждению, которого я придерживаюсь в свои восемьдесят пять лет, протоколирование фактов не есть история. Эти летописные своды становятся историей лишь тогда, когда художники, поэты, философы вызволяют их из того бессмысленного хаоса и превращают их в факты искусства».

(Бернард Шоу. Из письма к Э. Синклеру. 1941.)

«Я хотел бы выразить огромную благодарность за то, что Вы прислали мне экземпляр своего последнего романа[1], произведение сильное и правдивое, а также за любезную надпись, его сопровождающую. Читать роман, особенно немцу, больно. Но благодаря Вашему изобразительному мастерству это ощущение перерастает в чувство удовлетворения, к которому, однако же, постоянно примешиваются гнев и стыд. Тот, кто знаком с нацистской Германией, признает, что в книге нет ни грана преувеличения. Читая произведение, я прежде всего испытывал удовольствие от того, что все эти события художественно запечатлены и таким образом сохранены для будущих поколений.

Естественно, кое-кто задастся вопросом: поверят ли наши потомки в те невероятные вещи, в которые мы, их современники, не всегда могли или хотели бы поверить. Те, кто придет после нас, будут, однако, в меньшей мере, чем мы, подвержены сомнениям, а потому я возлагаю на них свои надежды».

(Томас Манн. Из письма к Э. Синклеру. 1942.)

«Благодарю Вас от всего сердца за Вашу последнюю книгу «Агент президента»[2]. По моему убеждению, Вы делаете очень важную и полезную работу, позволяющую американской публике наглядно представить те психологические и экономические причины, которые привели к катастрофе, обрушившейся на наше поколение. Только настоящий художник способен это сделать, потому что лишь художественными средствами можно увлечь столь обширную аудиторию и наиболее эффективным образом воздействовать на нее. Самая совершенная логика не в состоянии вызвать столь сильного впечатления. По моему убеждению, вы повлияли на политическую мысль с большей силой, чем это сделали едва ли не все ныне здравствующие общественные деятели...»

(Альберт Эйнштейн. Из письма к Э. Синклеру. 1944.)

«В 1921 году, когда я был студентом-второкурсником Калифорнийского университета в Беркли, джентльмен средних лет в очках в железной оправе появился однажды за воротами кампуса. Он устроил нечто вроде импровизированного книжного прилавка и начал продавать книги в бумажных обложках по пятьдесят центов за штуку. Присмотревшись к его товару, я убедился в том, что предлагаемые им книги принадлежали одному автору — Эптону Синклеру. Так в первый раз я услышал это имя, впервые узнал о «Джунглях», «Медной марке» и «Джимми Хиггинсе». Поскольку я зарабатывал себе на жизнь, учась в колледже, полдоллара были для меня суммой немалой. Тем не менее я выложил их и приобрел «Джунгли». Продавец в очках поинтересовался, не хочу ли я также купить «Медную марку». Я ответил с сожалением, что у меня нет пятидесяти центов. Тогда он сунул мне в руку экземпляр «Медной марки». Теперь, спустя много лет, я начинаю подозревать, что этим книготорговцем был сам автор.

В тот вечер я просидел до часу ночи, пока не кончил «Джунгли». Это был самый впечатляющий из всех романов, когда-либо мной прочитанных. И когда я его дочитал, то понял, что мое юношеское образование лишь началось. Я сделался завсегдатаем университетской библиотеки, где познакомился с «Менялами», «Выгодами религии», «Королем Угля». С тех пор, как только появлялись новые произведения Синклера, я проглатывал их, едва они попадали мне в руки. Когда я, наконец, окончил университет, я знал кое-что из того, что не включалось в учебные планы, а также кое-что из того, что вообще желательно было бы мне не знать. Бесспорно, книги Эптона Синклера сыграли бо́льшую роль в моем образовании, нежели лекции всех профессоров университета, вместе взятых.

Теперь, если употребить фразеологию Голливуда, передо мной «наплывом» встают события пятнадцатилетней давности. Я писал тогда «Моряка в седле» — биографию Джека Лондона, который был старым другом и соратником Эптона Синклера. Я обратился к мистеру Синклеру с просьбой принять меня, на что он с готовностью согласился. Я никогда не забуду вечера, проведенного в доме Синклера в Пасадене. И я не мечтаю встретить другого человека, обладающего столь динамичным умом. За те три часа, что я провел в его обществе, у него возникли замыслы двух романов и он познакомил меня с их содержанием. Что-то в нашем разговоре вызвало в нем потребность

[1] Имеется в виду роман «Зубы дракона».
[2] Том V серии романов о Ланни Бэдде.

продиктовать мне, полностью и в завершенном виде, одну из его самых блистательных сатирических новелл, когда-либо мною услышанных. И наконец, на прощание он набросал план книги по экономике и предложил мне выступить его соавтором.

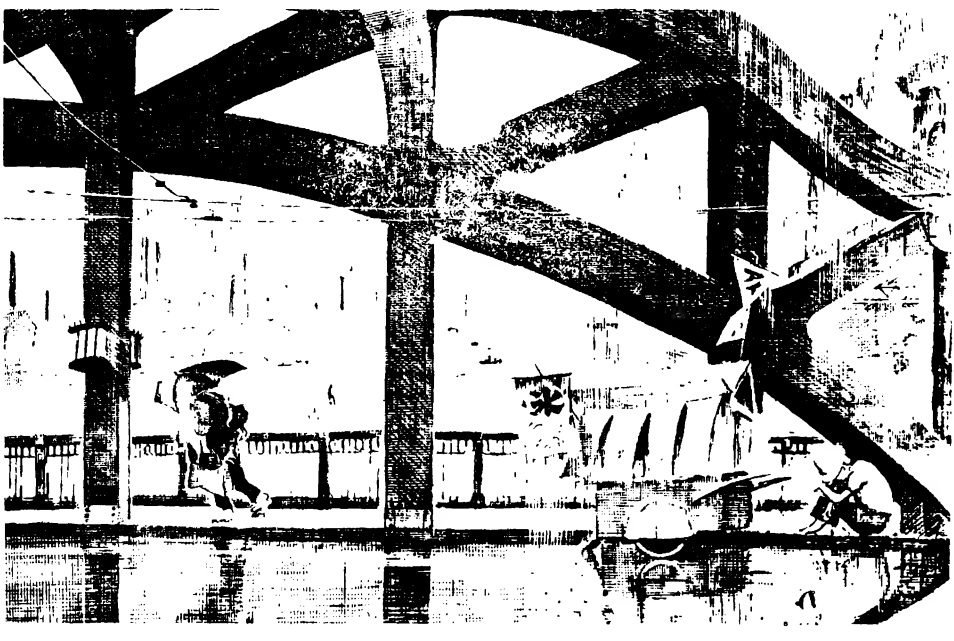
Я не всегда согласен с Эптоном Синклером, и есть нечто мистическое в его душе и уме, чему я не могу следовать. Однако я искренне убежден в том, что он — один из умнейших и образованнейших людей в современном мире. Трудно назвать такие даже малозначительные факты истории, будь то прошлое или сегодняшний день, которые бы ему не были известны. Я наблюдал, как он прогнозировал ход мировых событий на несколько лет вперед, и если допускал ошибки, то лишь в несущественных деталях. Он обнажает лицемерие, претенциозность, двуличие, двурушничество и обман, он обладает редким даром проникновения в суть вещей: словно стальной нож, разрезающий масло. Но есть нечто более впечатляющее, чем его образованность, чем его проницательность в анализе международного положения. Это его бесконечно доброе сердце. Несправедливость жжет и терзает сегодня Синклера, у которого за плечами около полусотни книг, отнюдь не меньше, чем в ту пору, когда я еще не появился на свет. Он любит человечество, а потому, борец-одиночка, никогда не прекращает сражаться против угнетения, жестокости и войны».

(Ирвинг Стоун. Из предисловия к «Антологии Эптона Синклера». 1947.)

«Когда люди спрашивают меня, что происходило в течение прожитой мной долгой жизни, я отсылаю их не к подшивкам газет и не к свидетельствам авторитетов, а к Вашим романам. Мне возразят, что герои Ваших книг никогда не существовали, что их поступки никогда не были совершены, что их высказывания не произносились на самом деле. Я же их уверяю, что они были и что Эптон Синклер индивидуализировал их, придал их действиям большую отчетливость по сравнению с тем, что было в реальной жизни. Их конкретный опыт, бесформенный и сумбурный, обретает у него значимость и интеллектуальное осмысление».

(Бернард Шоу. Из письма к Э. Синклеру. 1949.)

◆



МИЦУО МУЦУУРА. Япония. Мост

Культура и современность

Заметки на полях

ЗА ШИРМОЙ «СВОБОДНОГО ПОТОКА ИНФОРМАЦИИ»

Проблема идеологической экспансии Запада в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки стала темой серьезного разговора, в который включаются политики, социологи, журналисты, представители творческой интеллигенции. Этот разговор ведется на страницах печати, на различных международных форумах. Теперь, когда почти все народы этих континентов обрели политическую независимость, развитые капиталистические страны, и прежде всего Соединенные Штаты Америки, ведут свое идеологическое наступление, прикрываясь такими концепциями, как «свободный культурный обмен» и «свободный поток информации». В распоряжении тех, кто ратует за «свободный обмен» и «свободный поток»,— мощные кино-, телевизионные, газетные, издательские корпорации, в странах же, которые лишь недавно вступили на путь самостоятельного развития, нет пока ни крупных издательств, ни развитой кино- и телепромышленности, ни квалифицированных кадров.

«Экономически слаборазвитые страны, страдающие от колонизации информации крупнейшими империалистическими державами, вынуждены не только бороться с таким положением, но, к сожалению, становиться свидетелями того, как их собственная культура, национальное достоинство находятся буквально под угрозой извращения и попрания».

Это—цитата из опубликованного недавно журналом «Демократический журналист» выступления вице-президента Международной организации журналистов Эрнесто Веры на заседании президиума МОЖ. В выступлении убедительно показано, каковы подлинные цели «свободного потока информации»:

«...Сделать буржуазную культуру, буржуазные ценности господствующими во всем мире, что откровенно признается президентами различных корпораций, представителями правительства США. Весьма показательно в данном отношении заявление американского проповедника политики «холодной войны» Джона Фостера Даллеса: «Если бы мне предоставили одну, и только одну, сферу внешнеполитической деятельности, я бы выбрал свободный поток информации».

Эрнесто Вера говорит о средствах массовой информации, но все его мысли и выводы в равной степени касаются литературы и искусства, ибо массовая буржуазная культура проникает в «третий мир» благодаря разветвленной сети средств массовой информации развитых капиталистических стран. Вера представляет в МОЖ социалистическую Кубу, страну, бывшую еще недавно, по его словам, «стопроцентной неоколонией империализма США». Поэтому он хорошо знает, какую именно информацию имел в виду Джон Фостер Даллес.

«До победы революции американские информационные агентства не сообщали о Кубе ничего, кроме лжи, рисующей эдакое праздное местечко, рай для богатых туристов, любителей острых ощущений, связанных с картежной игрой, проституцией и другими атрибутами капитализма. Что знал мир о нашей стране и ее истории? И что получали кубинцы через информационные агентства США, кроме восхваления «американского образа жизни», кампаний клеветы против СССР, всех стран социалистического содружества, многообразных антикоммунистических кампаний?!»

На примере своей страны кубинский журналист рисует точную схему действий западной пропаганды:

«До победы кубинской революции империалистические средства массовой информации говорили о Кубе, как мы отмечали, очень мало. Теперь они говорят о Кубе очень много и очень плохо.

Это очень характерно вообще для империалистических масс-медиа и может быть использовано в качестве критерия оценки распространяемых ими сведений. Если они говорят плохо о той или иной стране, событии, личности, но делают это вяло, значит, речь идет о чем-то хорошем, но пока не представляющем для них большого беспокойства. Вот если империалистические средства информации начинают говорить плохо и много, то секрет — в каких-то добрых обстоятельствах, которые их волнуют, поскольку влекут за собой определенные последствия, нежелательные для поддерживаемой ими системы эксплуатации и, напротив, весьма позитивные для освободительной борьбы народов.

Достаточно прочитать сообщения об Анголе и Эфиопии, чтобы понять, насколько империалисты недовольны событиями в этих двух странах, происходящим в них революционным процессом. Раньше, когда Ангола была португальской колонией, а Эфиопия пребывала под властью императора, обе эти страны даже не упоминались».

Весной этого года были упразднены два важнейших пропагандистских ведомства США: Информационное агентство Соединенных Штатов (ЮСИА) и Информационная служба (ЮСИС), которые в течение четверти века во многом определяли содержание столь милого сердцу покойного Дж. Ф. Даллеса «свободного потока информации». Их, а также Бюро госдепартамента по вопросам образования и культуры заменило Управление международных связей (УМС). Возглавивший Управление бывший директор ЮСИА Джон Рейнхардт сказал на церемонии открытия немало красивых слов. Например:

«Я верую в силу идей. Я полагаю, что именно идеи и есть сфера деятельности Управления по международным связям».

Ссылаясь на президента США, Джон Рейнхардт так определил цели нового ведомства:

«Рассказывать всему миру о нашем обществе и нашей политике, в частности о нашей приверженности идее разнообразия культур и свободы личности;

рассказывать своей стране о мире, с тем чтобы обогащать свою собственную культуру и получить те знания, которые дадут нам возможность эффективно решать проблемы взаимоотношений между государствами».

Примеров того, как красивые слова о целях УМС расходятся с делом, много. Один из последних — утка о советском военном вмешательстве в Африке. Но было бы, конечно, неправильным возлагать на УМС, как и на его предшественников, ответственность за все то, что делают находящиеся в частных руках средства массовой информации США, а тем более за деятельность коммерческих кинокомпаний и издательств. Контакты между ними, однако, существуют достаточно прочные, уже не говоря о единстве общеидеологической направленности в действиях УМС — учреждения государственного — и частных компаний, которые видят в государстве гаранта своего существования. Вот несколько рекомендаций, или, как их назвал Джон Рейнхардт, «конкретных установок», для различных отделов УМС: уделять «особое внимание творческому характеру наших органов массовой информации»; пользоваться «обширной сокровищницей американского частного сектора»; добиваться «значительного повышения уровня нашей работы с частными организациями в нашей стране и за рубежом, оказания посильной помощи в создании прочных связей в других странах»; проявлять «творческий подход к использованию «Голоса Америки» в качестве средства международного диалога».

Речь Джона Рейнхардта цитируется столь подробно потому, что он возглавляет организацию, определяющую идеологическое содержание продукции как средств массовой информации США, так и, пусть в меньшей степени, идущего на экспорт потока массовой буржуазной культуры крупнейшей империалистической державы. Другие ведущие страны капиталистического мира имеют, конечно, свои особенности, но разница между ними и США заключается в основном в масштабах идеологической экспансии.

Еще в середине 60-х годов возникла мультинациональная корпорация в сфере космического телевидения «Интелсат». В нее входят 90 капиталистических и развивающихся стран. Самым крупным акционером корпорации, цель которой — коммерческая эксплуатация искусственных спутников Земли для телепередач и телефонно-телеграфной связи, является американская компания «Комсат». Используется «Интелсат» в интересах крупных монополистических группировок империалистических держав в большинстве случаев без согласования программ с местными властями. Происходит по существу принудительная «американизация» и «европеизация» телевидения развивающихся государств. Ежедневная аудитория, к примеру, американских телекомпаний составляет вне США 65 миллионов человек. Вот что заявил по этому поводу депутат коста-риканского парламента Эдуардо Мора Вальварде, когда весной нынешнего года законодательная ассамблея страны обсуждала закон о запрещении участия в органах массовой информации иностранного капитала:

«Сегодня более 85 процентов программ, которые смотрят костариканцы, являются иностранными и создаются теми, кто не знает и не учитывает наших нравов, традиций, национальных особенностей, наших культурных и демократических чаяний, а в скором времени мы на 100 процентов станем игрушками Эй-Би-Си, Уорлддивижн, Эн-Би-Си, Си-Би-Эс, Тайм-Лайф и Ар-Си-Эй — главных монополистических групп Соединенных Штатов, контролирующих телевизионные сети Центральной Америки, Панамы, Мексики, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, Аргентины и Чили».

Рассмотрим теперь ситуацию на книжных рынках развивающихся стран. По далеко не полным данным, только американские книжные издательства ежегодно продают в «третьем мире» книг на сумму около 300 миллионов долларов. Латинская Америка поделена на персональные вотчины несколькими группами книгоиздателей США. Это, прежде всего, «Херст корпорейшн», «Уэстерн паблишерс», «Уолт Дисней продакшнз», «Ридерс дайджест». Только «Херст корпорейшн» распространяет ежемесячно более 15 миллионов экземпляров книг, брошюр, фотоновелл, комиксов, всевозможных самоучителей и календарей.

В Африке положение особенно тяжелое. По данным ЮНЕСКО, полиграфическая промышленность всех африканских стран вместе взятых издает в среднем в год менее страницы на человека. Где уж тут до «свободного обмена»?! Книжный рынок Африки контролируют американские, французские, английские издательства. Последние занимают прочные позиции почти в 70 развивающихся странах от Сингапура до Южной Африки и от Австралии до Танзании, именуемых ими «традиционным британским рынком» или «книжной империей Великобритании». Их доходы от экспорта книг превышают 100 миллионов фунтов стерлингов в год.

Что из себя представляет «духовная пища», которая поступает из развитых капиталистических стран в Азию, Африку и Латинскую Америку? Вернемся опять к выступлению Эрнесто Веры:

«В условиях, когда само существование человечества зависит от прочного мира и превращения процесса разрядки в процесс необратимый, свобода империалистических средств информации вести пропаганду войны, расовой ненависти, вражды между народами является преступлением против человечности и человечества».

Главные идеологические удары средств массовой информации империалистических стран, массовой буржуазной культуры направлены против Советского Союза, против идей коммунизма вообще, против национально-освободительных движений. Это закономерно: империализм страшится того, что народы «третьего мира» выберут некапиталистический путь развития, страшится потерять свои экономические позиции в странах Азии, Африки и Латинской Америки. В ход идут все средства, вплоть до самой гнусной клеветы. Вот что сказал, например, в заявлении для печати П. Катьявиви, один из руководителей Народной организации Юго-Западной Африки (СВАПО), борющейся за свободу народа Намибии:

«В населенных пунктах, где живут африканцы, на фермах и в резервациях регулярно разбрасываются анонимные листовки и пропагандистские брошюры. На обложке комиксов, направленных против СВАПО и написанных на нескольких африканских языках, нарисован вооруженный африканец, убивающий белого священника. В других комиксах президента СВАПО Сэма Нуйому и вице-председателя СВАПО Даниэла Тьонгареро изображают с львиными головами, пожирающими маленьких детей».

Это для тех, кто читает по складам, кого колонизаторы пока держат в таком невежестве, что было бы напрасной тратой сил объяснять что-либо про «козни Москвы». Тем же, у кого образование повыше, кто знает, что такое Москва, можно предложить и другое чтение — например, приключенческие романы таких литераторов,

как Ян Флеминг или Жан де Вилье. Их книги, в которых обычно одним из главных действующих лиц является «советский шпион», огромными тиражами выбрасываются на книжные рынки развивающихся стран.

Давая оценку подобным произведениям, индийский литературовед д-р Судхеш писал в газете «Джан юг»:

> «Массовая культура» Запада, предлагаемая индийскому читателю и зрителю,— это или описание того, как надо выманивать деньги, или, что бывает чаще всего, похождения и поимка восточноевропейского шпиона. С какой точки зрения ее ни оценивать — с точки зрения содержания, вдохновения, языка, формы, новаторства или цели,— произведения «массовой культуры» начисто лишены качеств, которые свойственны подлинной литературе и искусству».

«Свободный» поток низкопробных заменителей настоящей литературы и искусства буквально затопляет прилавки книжных магазинов, полки библиотек, экраны кинотеатров и телевизоров во многих странах «третьего мира». Задачи его, говорит Эрнесто Вера, это «распространение буржуазных идей и навязывание буржуазных ценностей», «пропаганда индивидуализма и потребительства».

Особое внимание уделяется самому массовому из искусств и, добавим, самому прибыльному — кино. По данным журнала «Жён Африк», американские кинокартины занимают в кинотеатрах африканских стран около 60 процентов экранного времени. Кинокритик Камиль ат-Тальмасани в книге «Американское кино глазами египтян» писал:

> «Американские фильмы стали обычным явлением в повседневной жизни многих из нас, и это придает ту или иную окраску нашему мировоззрению, нашей идеологии. Американский фильм имеет огромное влияние на умонастроение зрителей, ибо американское кино в идеологической борьбе оружие не только важное, но и опасное, быть может, более опасное, чем мы думаем».

Что предлагают западные кинопрокатные компании зрителю стран «третьего мира»? Помимо антисоветской тематики и, говоря словами индийского литературоведа Судхеша, «описания того, как надо выманивать деньги»,— это секс, мистика, жестокость. Вот вполне обычные газетные анонсы западных кинофильмов:

> «Сумасшедший доктор-монстр Микаэл Гоу с непередаваемым наслаждением проводит эксперименты над девушками и юношами, превращая их в ходячие трупы — «зомби». Посмотрев фильм Ричарда Гордона и Энтони Болча «Больница страха», вы вместе с доктором Гоу познаете тайны тела и психики его многочисленных жертв» («Санди таймс», Малайзия).
>
> «Захватывающие дух эксперименты тысячелетнего медика с безобразной внешностью (в исполнении Джона Консидайна) и его толстого помощника (Леон Аскин) заключаются в воскрешении мертвых девушек для любовных утех экспериментаторов. Прелесть того, что вы увидите в фильме компании Фокс-Рэнк «Доктор Смерть — ловец душ»,— в пикантных деталях любви и садизма» («Найджириан трибюн», Нигерия).

Спекулируя на расовых предрассудках, западные кинематограф и телевидение — в расчете прежде всего на африканского зрителя — начали с недавних пор делать фильмы, для которых характерен так называемый «негритянский китч». Главное действующее лицо таких лент — негр, поменявшийся местами с традиционно положительным белым героем. Так, в «Черном глазе» герой-негр разоблачает коррупцию и другие преступные махинации белых, в «Крестном отце Гарлема» показаны сногсшибательные приключения симпатичного гарлемского босса преступного мира, в «Черной любви» главный герой, тоже негр, в одиночку противостоит целой военизированной организации. Никаких протестов против унижений национальных меньшинств или иностранных рабочих на Западе в таких фильмах нет и в помине. И вместе с тем они несут определенный идеологический заряд. Положительный черный герой создает ложное представление о равноправии рас, национальной гармонии в странах капитала, а заодно подспудно культивирует шовинистические настроения.

«Деколонизовать информацию» — так названо выступление Эрнесто Веры на заседании президиума МОЖ.

> «Деколонизация информации помогла бы сорвать маску с тех, кто несет главную ответственность за отсутствие основных человеческих прав у сотен миллионов людей, живущих под властью капитала».

Творческой интеллигенции стран Азии, Африки и Латинской Америки с каждым годом становится все яснее, что для отпора идеологической экспансии империализма необходимо всемерно развивать национальную культуру. Конголезец Окотака Эбале в органе Ассоциации писателей стран Азии и Африки журнале «Лотос» пишет:

«Излишне говорить о том, что наша национальная культура, представляющая одну из сфер идеологической борьбы, играет исключительно важную роль в процессе освобождения от тлетворного влияния буржуазной идеологии, многоликой и коварной. Эта идеология, предлагаемая потребителю в наиболее привлекательных и доступных формах, искусно влияет на сознание эксплуатируемых империализмом народов, отвлекает их от борьбы против эксплуатации и гнета, за прогресс, свободу, мир, самоутверждение. Для народов развивающихся стран становится жизненно важной задача создания боевой литературы и искусства, защищающих цели национально-освободительных революций и народной демократии. Перед лицом подрывной деятельности империалистических и реакционных сил, направленной на срыв поступательного движения народов освободившихся стран по пути укрепления национальной независимости, такие литература и искусство становятся абсолютно необходимыми».

Е. МОВА

«ПИСАТЕЛЬ В БОЯХ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Под таким девизом прошел в мае 1978 года VIII съезд писателей ГДР. Литературная жизнь республики анализировалась на съезде с учетом всего многообразия проблем и требований, которые предъявляет к писателю современная эпоха и обостряющаяся идеологическая борьба. Именно к этому призывало делегатов съезда приветствие Центрального Комитета Социалистической единой партии Германии:

«В наше время возрастают политические и моральные требования к творчеству писателей. Успехи социализма в нашей стране, укрепление братской дружбы с Советским Союзом и другими государствами социалистического содружества, борьба против империализма — все эти революционные процессы глубоко волнуют каждого социалистического писателя и требуют от него четкой политической и эстетической позиции...»

Герман Кант в отчетном докладе Правления Союза писателей ГДР показал широкую панораму литературных достижений последних лет. Он не перечислял имена писателей, названия их произведений. Он говорил в своем докладе о литературных героях, которые настолько прочно вошли в сознание миллионов читателей, что называть произведения и фамилии писателей просто не было необходимости.

Многие из книг, которые имел в виду Герман Кант, уже переведены на русский язык, многие другие станут доступны советскому читателю в ближайшее время. За последних два года в нашей стране издано много произведений писателей ГДР, в том числе сборник повестей и рассказов Эрвина Штриттматтера, «Двадцать два дня, или Половина жизни» Франца Фюмана, «Франциска Линкерханд» Бригитты Райман, «Возвращение на родину, в страну незнакомую» Гюнтера Гёрлиха, «Пуговица, или Серебряные часы с ключиком» Альфреда Вельма. Готовятся к печати «Даниэль Друскат» Гельмута Заковского, «Местопребывание» Германа Канта, «Крабат» Юрия Брезана, сборник пьес Петера Хакса. В следующем году выйдет большой сборник, подготовленный издательством «Художественная литература» к 30-летию ГДР. В нем будут представлены произведения 70 поэтов и прозаиков республики разных поколений. «Прогресс» готовит к юбилею книги «Современная повесть ГДР» и «Из современной поэзии ГДР».

Говоря о том, что писатель должен занимать в «боях нашего времени» четкую классовую позицию, Герман Кант подчеркнул, что за последние полтора года враждебные империалистические силы, особенно реакционные круги в ФРГ и буржуазные органы массовой информации, прилагают много усилий для раскола рядов писателей и творческой интеллигенции ГДР.

«Одно из самых грубых их заблуждений заключается в предположении, что подавляющее большинство членов нашего Союза по собственному желанию могли бы отказаться от того, что они избрали делом своей жизни, а именно — творить литературу, социалистическую литературу».

Герман Кант обратился с трибуны съезда к тем нескольким писателям ГДР, которые в сложных идеологических боях нашего времени утратили живой творческий контакт с Союзом писателей и заняли пассивную позицию, с призывом выносить свои наболевшие проблемы на коллективное обсуждение в рамках Союза писателей, с позиций сторонних наблюдателей перейти на активные гражданские позиции:

«Демократия, в том числе и демократия в рамках Союза писателей,— это социалистическая демократия, и она возможна при условии участия в ней. Кто от такого участия отказывается, все равно будет причастен, но уже к совершенно другому».

Очень убедительно были показаны в отчетном докладе существенные различия в общественном положении и в социальном обеспечении писателя в капиталистических и в социалистических странах. Герман Кант подчеркнул, что писатель — очень нужный человек в социалистическом обществе, но он, как все трудящиеся, может столкнуться с трудностями. Не всегда новое, новаторское сразу находит признание. Но, как и в других профессиях, как и в других сферах жизни, социализм создает все необходимые объективные предпосылки, чтобы передовое, прогрессивное, верное находило себе дорогу в жизнь — в том числе и с помощью демократических общественных организаций.

«...Для того чтобы это верное претворить в жизнь, и существует наш Союз — для этого он и создан! Это социалистический Союз в социалистическом обществе: отсюда вытекают наши возможности, и это же определяет меру нашей ответственности».

Перед съездом в первичных писательских организациях прошли собрания и дискуссии. Для возможно более широкого обмена мнениями накануне съезда было организовано пять рабочих групп по следующим темам: «Труд и повседневность в литературе», «Литература и историческое сознание», «Современная драматургия ГДР», «Поэтическое творчество в боях нашего времени», «Литература и мир». В заседаниях этих групп могли участвовать все желающие писатели. В центре обсуждения были проблемы ответственности писателя в социалистическом обществе, действенной роли литературы в жизни народа, формирования средствами литературы его исторического самосознания, воссоздания в художественных произведениях революционного характера нашей эпохи — идет ли речь о недавних событиях истории или о сегодняшних буднях социалистического строительства.

Оживленный, проходивший в обстановке дружеского доверия и принципиальной товарищеской критики и самокритики разговор, который начался еще до начала съезда в рабочих группах, был затем продолжен с его трибуны. В дискуссии, развернувшейся на съезде, приняли участие около тридцати писателей и литературных критиков. В основу своих выступлений большинство ораторов положили проблему связи литературы с современным этапом социалистического строительства в ГДР, связи ее с народом, с жизнью, с коммунистическими идеалами. Иоахим Новотный на примерах из собственной творческой биографии подчеркнул важность и плодотворность для писателя сохранения постоянных контактов с теми трудовыми коллективами, в которых они выросли. Бенито Вогацкий рассказал о своих встречах с рабочими сталелитейных заводов, о проблемах, с которыми сталкивается писатель, стремящийся изобразить будни рабочего класса, постоянно обновляющийся облик крупного современного социалистического предприятия. Он отметил, что писатель не может оставаться сторонним наблюдателем,— он должен всегда сознавать свое место в цепи общих усилий по созданию нового общества, чувствовать себя ответственным за все происходящие в жизни изменения:

«Каждому из нас понадобились десятилетия, чтобы стать подлинно активными участниками строительства нового общества. Мы выработали ценнейшие идеалы... Мы не можем сейчас подходить к действительности только с оценочных позиций, сообщать другим, насколько нам нравится или не нравится то, как развивается общество,— саму же работу перекладывать на чужие плечи».

Эта мысль прозвучала и во многих других выступлениях на съезде. Молодая писательница Петра Вернер говорила о том, как в ежедневных проблемах и конфликтах своей первоначальной профессии — биолога — она познала социалистическую действительность. Франк Вейман, выступивший против преждевременной профессионализации писателя, рассказал, как, совмещая писательский труд с врачебной практикой, он уяснил для себя смысл и значение такой неотъемлемой черты социалистической литературы, как партийность.

Депутат Народной палаты ГДР, член ее постоянной комиссии по вопросам культуры Герхард Хольц-Баумерт подчеркнул в своем выступлении, что ни в одном капиталистическом государстве мира писатель не имеет столько возможностей для самого активного и непосредственного участия в делах своей страны, в управлении ею, сколько имеют их писатели в условиях социализма. Касаясь вопроса о месте писателя в социалистическом обществе, Герхард Хольц-Баумерт заявил:

«На писателя нельзя смотреть иначе как на работающего, трудящегося человека, и он сам должен смотреть на себя только так. Специфика работы не дает писателю никаких особых привилегий, не возвышает его над миллионами трудящихся — скорее налагает на него бремя повышенной ответственности, ибо слово имеет большой общественный резонанс...»

Остро прозвучал на съезде вопрос об отношении писателей ГДР к достоянию национальной культуры. Поднявший его Стефан Хермлин сказал в своем выступлении: «Я — писатель ГДР, здесь я живу, здесь работаю и здесь хочу жить и работать дальше». Но, подчеркнув, что «основание ГДР... явилось одним из важнейших событий немецкой истории», Стефан Хермлин заявил о своей причастности ко всему — как в положительном, так и в отрицательном смысле,— что уже написано или будет написа-

но на немецком языке. По его словам, для писателей ГДР, ФРГ, Австрии и Швейцарии, пишущих на одном языке, эта причастность к общей культуре, может быть, даже важнее, чем моменты, их разъединяющие. Эта мысль Стефана Хермлина была подвергнута принципиальной критике. Юрий Брезан заметил, что в корне неверно было бы пытаться понятием исторической общности культуры немецкоязычных государств затушевывать коренные различия в их общественном и государственном устройстве, забывать тот факт, что в ГДР произошли качественно новые процессы и преобразования. Заместитель министра культуры ГДР Клаус Хёпке подчеркнул, что общность языка и историческая общность корней культуры в немецкоязычных государствах действительно представляется очевидной и по этому поводу вряд ли стоит ломать копья. Но совершенно очевидно и другое: отношение к национальному культурному наследию в ГДР коренным образом отличается от отношения к тому же наследию в других странах немецкого языка, где господствует капиталистический общественный строй. Клаус Хёпке пояснил свою мысль на конкретном примере, вспомнив одного из крупнейших немецких поэтов XVIII века Фридриха Готлиба Клопштока, который, приветствуя начало Великой французской революции 1789 года, в оде «Они, а не мы» сожалел о том, что революция произошла не в Германии, а во Франции. «Мы, а не они» — так назвал, как бы отвечая поэту XVIII века, свой поэтический сборник современный поэт ГДР Фолькер Браун.

> «Мы, а не они — так воспринял Фолькер Браун оду Клопштока «Они, а не мы». Фолькер Браун исходил из опыта революционных преобразований в нашей стране, он думал и о том, что нам предстоит сделать в будущем. Можно ли хоть на минуту представить себе, что поэт, живущий в Австрии, в Швейцарии или в ФРГ, сумел бы так переосмыслить давнее сожаление Клопштока о том, что не немцы, а французы начали великую революционную битву!»

Клаус Хёпке привел весьма показательные цифры, свидетельствующие о том, что последние годы стали годами расцвета литературы ГДР: пять лет назад, в 1973 году, когда состоялся VII съезд писателей ГДР, было издано 1798 названий книг (художественная литература, книги по искусству и музыке) общим тиражом 36,9 миллиона экземпляров, в 1977 году число изданных книг выросло до 2331 названия, вышедших общим тиражом 47,5 миллиона экземпляров; увеличилась также и относительная доля современной художественной литературы ГДР в общей книжной продукции республики — в 1973 году было издано 468 книг, в 1977 — 532 книги, причем тираж повысился почти на полмиллиона экземпляров.

Съезд показал активную заинтересованность в укреплении позиции сил мира и прогресса, озабоченность политическим курсом тех империалистических держав, которые пытаются помешать разрядке международной напряженности. Курт Давид поделился своими впечатлениями о процессе над бывшими эсэсовцами, членами штаба комендатуры концлагеря Майданек, которые обвиняются в соучастии в убийстве 250 000 человек. Он рассказал и о многих фактах потворства правящих кругов ФРГ как бывшим нацистам, так и неонацистам, «права» которых всячески защищаются, а в то же время «запретам на профессии» подвергаются представители передовых и прогрессивных общественных сил. Съезд разоблачил демагогические манипуляции буржуазных идеологов по поводу проблемы «прав человека». Особенно четким классовым подходом отличалась речь Эрика Нойча:

> «...Да, враг атакует нас — не только писателей, но и все общество — и при этом вовсе не церемонится с нами. Он хватается за ложь и фальсификацию, нередко использует в качестве взяток литературные премии, нередко пытается... и неприкрыто вмешиваться в наши внутренние дела. При этом он размахивает знаменем антисоветизма и бьет в барабан «прав человека» — и время от времени врагу удается найти то одного, то другого, кто, особенно в этом последнем пункте, готов ему подпевать.
>
> Что же такое на самом деле, это звучащее так громко: права человека? Разве это понятие когда-нибудь означало для эксплуатируемых то же, что и для эксплуататоров, разве угнетенные когда-нибудь понимали его так же, как угнетатели?
>
> Большинство из нас, писателей ГДР, или сами вышли из рядов рабочего класса, или теснейшим образом связаны с ним и его марксистско-ленинской партией. За тридцать лет истории нашей Республики у нас выросла новая, народная интеллигенция, и писатели — это ее составная часть, так же как инженеры, ученые и политические деятели».

Многие выступившие на съезде писатели ГДР говорили о необходимости постоянно крепить пролетарский интернационализм (особенно четко эта мысль прозвучала в выступлении Макса Вальтера Шульца), социалистическое содружество наций, о важности дружеских контактов с Советской страной и с советской литературой. Литераторы среднего и старшего поколений вспоминали о том, какое значение для них лично, для страны и мира в целом сыграл разгром Советской Армией фашистской Германии в 1945 году. За несколько дней до начала писательского съезда в Берлине состоялся

конгресс Общества германо-советской дружбы. Речь на нем члена ЦК СЕПГ прозаика и драматурга Гельмута Заковского неоднократно прерывалась аплодисментами:

«Я говорю о прошлом потому, что тридцать с лишним лет назад, в день Освобождения, началась новая эпоха. Именно поэтому для людей моего поколения дружба с народами Советского Союза имеет и сугубо личное, особенное значение.

Никогда в жизни книги так не захватывали меня, как в это время. Мы запоем читали «Тихий Дон», эту потрясающую эпопею Михаила Шолохова. Мы читали А. Горького, Н. Островского, А. Фадеева, Ф. Гладкова, А. Толстого, В. Катаева, К. Симонова и многих других. Их произведения стали нашими верными спутниками.

Мы узнали новые имена — такие, как Ч. Айтматов, В. Быков, В. Тендряков, В. Шукшин, Ф. Абрамов, В. Распутин. Их книги особенно волнуют молодое поколение в моей стране. Я ценю их за предельную искренность, поиск правды, я знаю, что книги современных советских писателей вдохновляют многих литераторов ГДР, которые смело берутся за очень серьезные проблемы жизни».

Привет от тысяч писателей и миллионов читателей из Советского Союза передал делегатам съезда секретарь Правления Союза писателей СССР Виталий Озеров. Он рассказал о большом интересе советских читателей к литературе ГДР и сообщил, что за последних четыре года в Советском Союзе было издано свыше 130 произведений писателей ГДР общим тиражом 8 миллионов экземпляров.

Съезд выбрал новое Правление Союза писателей ГДР. Многолетний руководитель Союза писателей ГДР Анна Зегерс, попросившая по состоянию здоровья освободить ее от этих обязанностей, была избрана его почетным президентом. Генеральный секретарь ЦК СЕПГ Эрих Хонеккер сердечно поздравил писательницу с избранием на этот пост и с награжденнем ее почетной медалью Союза писателей ГДР «За выдающиеся достижения в социалистической национальной литературе ГДР». Президентом Союза писателей ГДР стал Герман Кант, вице-президентами — Юрий Брезан, Герхард Хольц-Баумерт, Райнер Кирндль, Иоахим Новотный и Макс Вальтер Шульц. Первым секретарем Правления Союза писателей ГДР вновь избран Герхард Хеннигер. В Президиум Правления вошли Хорст Безелер, Гюнтер Гёрлих, Ирмтрауд Моргнер, Вернер Нойберт, Вальтер Новойский, Гельмут Заковский, Руди Штраль и Ганс Вебер.

VIII съезд писателей стал важным этапом в развитии литературы ГДР. Он подчеркнул единство позиций писателей ГДР в борьбе за построение социализма, за сплочение государств социалистического содружества наций, против враждебных империалистических сил, мешающих делу мира и разрядки. Съезд напомнил писателям ГДР о важности партийной общественной позиции писателя в классовых боях нашего времени.

Участники съезда единогласно приняли «Заявление делегатов VIII съезда писателей ГДР»:

«Наш съезд отчетливо подчеркнул ответственность писателей: ни один писатель не может отказаться от выбора своей позиции в боях нашего времени.

Облик двадцатого века определяется победой Великой Октябрьской социалистической революции, борьбой против фашизма и милитаризма, развитием социалистического содружества наций, успехами международного рабочего движения и национально-освободительных движений.

И все-таки империализм как источник войны и угнетения остается опасным врагом человечества. Угроза нейтронной бомбы еще раз подтверждает это. В идеологической борьбе империализм прибегает к еще более изощренной маскировке. Разоблачение империалистической демагогии становится все более насущной необходимостью.

В ходе международных классовых боев за достойную человека жизнь в условиях прочного мира повышается общественное самосознание, возрастают действенность и ответственность новой социалистической немецкой литературы. Тридцать лет революционного преобразования нашей страны, в котором принимали участие и писатели, доказывают, что для полного раскрытия своих возможностей при социализме литература нуждается в постоянном союзе с партией рабочего класса. Дружеское сотрудничество отвечает интересам социалистического общества, с его помощью преодолевается противоположность духа и власти. Поэтому мы открыто подтверждаем нашу поддержку Германской Демократической Республики, которая защищает и умножает гуманистическое наследие и революционные завоевания нашего народа. Мы подтверждаем нашу поддержку политики Социалистической Единой партии Германии, которая в своих решениях на VIII и IX съездах дальновидно сформулировала положения об общественно необходимом и возможном. Мы призываем всех писателей нашей страны способствовать выполнению этих решений, создавая нашим общим трудом литературу, связанную с идеалами коммунизма и укрепляющую реальный социализм».

А. ГУГНИН

◆

Публицистика

НОРМАН МЕЙЛЕР

БОЙ

Фрагменты из книги. Перевод с английского и предисловие А. ЗВЕРЕВА

В июне этого года Мохаммед Али впервые побывал в СССР — в Москве и Узбекистане. Как большинство американцев, он плохо представлял себе страну, куда едет. Али признался советским журналистам, что даже испытывал некоторый страх: ведь сколько лет ему внушали, что «русские — главная угроза Америки. Теперь,— тут же добавил он,— я знаю, что это неправда. СССР — страна мирных, дружелюбных людей. Страна, которая не знает безработицы, расовой дискриминации. Счастливая страна».

Было много ярких встреч, и осталось множество впечатлений.

Филиал Музея В. И. Ленина в Ташкенте. Посетив его, Али сказал: «Это благодаря Ленину в Советском Союзе живут в мире и согласии более ста национальностей и народностей. Бесценное завоевание вашей революции!»

Ташкентский фарфоровый завод: «Каждый работает спокойно, не тревожась о хлебе насущном. Познакомившись с тем, как работают советские люди, я еще раз убедился, что радостный труд на благо своего народа создает хороший жизненный тонус».

Москва. 19 июня Мохаммед Али был принят Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневым. «Мы говорили о мире,— рассказывал на пресс-конференции Али.— Я считаю эту встречу главным событием в своей жизни».

Высокого стройного человека с густой копной черных вьющихся волос полюбили все, кому довелось видеть его в Москве, Ташкенте, Самарканде. Приглашали приехать еще раз. Желали удачи в том бою, к которому он сейчас готовится,— наверное, последнем бою в его долгой спортивной биографии. Бою, который Али намерен обязательно выиграть и после этого уйти с ринга — непобежденным.

А за три месяца до этого, 16 февраля, Мохаммед Али вышел на ринг, чтобы защитить звание чемпиона мира. Его противником был молодой негритянский боксер Леон Спинкс, полутора годами ранее завоевавший в Монреале олимпийское золото. Бой получился упорным, противники провели все пятнадцать раундов. При расхождении судейских голосов победу по очкам присудили Спинксу. Это была самая большая сенсация профессионального бокса за много-много лет.

Али не пытался оспаривать решение судей, не выказывал лицемерных похвал победителю. Во всем случившемся он обвинил одного себя: не принял Спинкса всерьез, недостаточно готовился, набрал лишний вес. Напоследок Али сказал репортерам: «Пусть не думают, что моя песенка спета. Я еще вернусь. Вот увидите, я буду первым, кто в третий раз сумеет стать чемпионом».

Исполнит ли он свое обещание? Трудно сказать. Али сейчас тридцать шесть лет — возраст, когда покидали ринг самые прославленные его ветераны. Спинкс молод, силен, честолюбив. Даже могучий организм Али знает свои пределы выносливости, даже его великое мастерство не вечно.

Что ж, чемпионы уходят, уступая место новым чемпионам. Но личности остаются. А Мохаммед Али — это личность, и не только в мире бокса. Личность, к исходу предшествующего десятилетия оказавшаяся на авансцене американской общественной жизни. И главным образом по этой причине привлекшая к себе внимание писателя Нормана Мейлера, чья книга «Бой» рассказывает о поединке Али и Джорджа Формена в Киншасе в сентябре 1974 года, том самом поединке, который восстановил Мохаммеда Али в правах чемпиона мира.

© Norman Mailer, 1975

Спортивная звезда Али восходила стремительно. Свой первый бой он провел, когда ему было пятнадцать. Еще через год получил «Золотую перчатку» — приз лучшему боксеру-любителю Америки. В восемнадцать лет он стал олимпийским чемпионом. В двадцать два — чемпион мира среди профессионалов. Он сверг с трона Флойда Паттерсона, считавшегося непобедимым. Он сокрушил Сонни Листона, о чьих могучих ударах ходили легенды.

Его детство прошло на пыльных улицах негритянского гетто в Луисвилле, штат Кентукки. Отец — угрюмый человек, зарабатывавший изготовлением вывесок,— не смог дать ему образования. Как для тысяч чернокожих подростков, как для Формена, Фрейзера, Паттерсона, для него оставалась одна тропа из нищеты — спорт. «Уже в колыбели я был похож на Джо Луиса».

И Али (тогда его еще звали Кассиус Клей) занял место этого идола черной Америки 40-х годов. На ринге он был так же неудержим, так же изобретателен, так же изящен. Он шел от вершины к вершине беззаботным и уверенным шагом — сметая соперников, заканчивая бои нокаутами и не забывая покрасоваться перед репортерами в своем знаменитом пурпурном халате, украшенном надписью «Величайший из всех», прежде чем сесть в дожидавшийся его «кадиллак».

Так продолжалось до середины 60-х годов. Перелом наступил, когда он сблизился «с черными мусульманами» — организацией левых «ультра», вышедшей из подполья и сделавшейся влиятельной в ходе мощного негритянского движения тех лет. Выдающийся негритянский деятель Малькольм Икс, павший от руки убийц в феврале 1965 года, был его близким другом и обратил его в магометанство; из Кассиуса Клея он стал Мохаммедом Икс, потом Мохаммедом Али. Чернокожие носят фамилию хозяев, которым когда-то принадлежали их предки. Подлинная, африканская фамилия утрачена — «черные мусульмане», объявив ислам настоящей верой негритянского народа Америки, отнятой у него белыми рабовладельцами, вместе с христианством отказались и от «белых» фамилий, зашифровав невосстановимую «черную» таинственным Икс или же каким-нибудь распространенным на Востоке именем.

Для большинства из тех, кто в 60-е годы пошел за Илайей Пулом, самозванно объявившим себя Илайей Магометом, дело заключалось не в религиозных побуждениях. «Черное мусульманство» возникло на широкой волне движения негритянского народа Америки за равноправие и приобрело влияние только потому, что выражало коренное и справедливое требование двадцати миллионов чернокожих американцев «Свобода сейчас! Равенство сегодня!». Но у последователей Илайи Магомета это законное требование было переформулировано в националистическом и экстремистском духе. Именно поэтому «черные мусульмане» оказались организацией реакционной, объективно уводящей в сторону от подлинных интересов негритянского народа: проповедь газавата, озлобленный национализм, террористические методы — вся эта настоянная на авантюрах тактика левацкого свойства нанесла невосполнимый ущерб негритянскому движению грозных шестидесятых. Любопытно, что официальные исламские круги не признали заокеанского мусульманства. И были по-своему логичны. Уж слишком мало общего с доктринами Корана имела военизированная, открыто политическая организация Илайи Магомета с ее конечными требованиями выделения густонаселенных неграми штатов из американского союза и создания «черного» — без единого белого подданного — государства, которое, если бы эта далекая от реальности идея оказалась осуществленной, судя по всему, сильно напоминало бы описанный Мейлером националистический, реакционный Заир.

Сегодня «черные мусульмане» утратили былую свою роль, и их существование почти не сказывается на жизни негритянского населения страны. Сохранившие верность Илайе Магомету теперь толкуют о его кротости и гуманности: он запрещал своим сторонникам носить с собой не то что пистолеты — даже перочинные ножи, он искренне желал союза с «белыми братьями». Несостоявшемуся диктатору, который доживает свой век в чикагском особняке, охраняемом последними приверженцами, на старости лет хочется «покоя и мира».

Ореол нетленных добродетелей увенчивает теперь чело стареющего вождя, которого уже никто не хочет признавать. «Илайя Магомет вынул из ваших рук шприц с наркотиками,— вещает Луис Фаррахан, занимающий при нем должность ответственного по вопросам пропаганды.— Илайя Магомет вынул бутылку с виски из ваших рук. Илайя Магомет остановил вас, когда вы шли к игорным домам и кассам тотализатора. И он сказал: сбереги эти деньги, брат. Сбереги эти деньги, сестра. Давайте сложим сбереженное и будем созидать».

То, что начиналось как драма, завершается фарсом — случай, каких немало знает история. Но фарсовая концовка не поколебала значительности явления и не сгладила его острых противоречий. «Черное мусульманство» было крайностью борьбы. Крайностью, какой следовало ожидать, приняв во внимание, насколько напряженной была в 60-е годы сама борьба негритянской Америки за свое социальное будущее, за свое гражданское равноправие, за свое духовное высвобождение от комплексов неполноценности и ущербности, которые веками воспитывала в миллионах чернокожих американцев общественная система, основанная на расизме.

И какой бы опасной демагогией ни отдавали речи Илайи Магомета, «черное мусульманство» привлекало под свои знамена тем, что сулило приблизить для мил-

лионов «умирающих от жажды» час, когда они откроют и утвердят свое истинное «нгоно» — независимую духовную сущность, дающую силу выжить во враждебном и жестоком мире. Этим привлекало оно Малькольма Икс, и его «Автобиография», с потрясающей откровенностью рассказывающая, каким шоком для него оказалось открытие, что для верных Илайе Магомету негритянское «нголо» — лишь предмет спекуляций и авантюр, не случайно явилась одной из самых ярких книг ушедшего десятилетия. Этим же оно привлекло и Кассиуса Клея, ставшего Мохаммедом Али. В «черном мусульманстве» его манила не левацкая демагогия, а надежда положить конец расовому угнетению. Но в 60-е годы Али еще не до конца сознавал, что для благородной цели приверженцы Илайи Магомета избрали заведомо бесперспективные и опасные средства.

Свой выбор он оплатил высокой ценой испытаний и мужества. Гражданского мужества, которое преобразило его и как спортсмена.

В феврале 1966 года он был призван в армию. Разгоралась война во Вьетнаме. Али ожидали окопы. Он отказался: «С вьетнамцами мне нечего делить». Свое решение он не изменил и после того, как хлопотами почитателей была добыта гарантия, что его оставят на тыловой базе в Техасе. Требовалось лишь публично продемонстрировать свой патриотизм и обругать уклоняющихся от призыва. Али ответил: «По какому праву вы посылаете нас наводить порядок у желтых за Тихим океаном, когда здесь, в Луисвилле, сами травите черных, как собак?»

Решение вынесли незамедлительно: дисквалификация и пять лет тюрьмы. Предстоявший бой с Эрни Террелом был отменен, корона чемпиона объявлена освободившейся. И пока Али доказывал в судах, что не подлежит призыву ни по семейному положению — он кормилец четырех детей, ни по религиозным и общественным взглядам, пока он добивался кассаций, жил случайной работой и увязал в долгах адвокатам, к этой короне уверенно, как танк, двигался Джордж Формен — новая звезда бокса.

Когда Али, наконец, вернулся на ринг — произошло это в 1970 году,— Формен уже находился в зените славы. Это был образец спортсмена-профессионала: работая на совесть, он не интересовался ничем, кроме гонораров за бой, считал оправданными любые средства, если они обеспечивают успех, жаждал только славы и денег и был равнодушен ко всему, что не затрагивало его интересов человека, с головой ушедшего в спорт и бизнес на спорте. Формен верил в «американскую мечту». Не в согласии ли со старой легендой о чистильщике сапог, который может стать президентом, складывалась его собственная жизнь подростка из нищей негритянской семьи, сделавшегося олимпийским чемпионом, а потом чемпионом мира, зарабатывавшего миллионы, щеголявшего в роскошных оранжевых туфлях и вытиравшегося полотенцами, шитыми золотом? Не подтвердил ли его собственный опыт, что главное в жизни — это верить, что Америка исключительная страна и надо только научиться не упускать своего шанса, безжалостно крушить конкурентов, да не задумываться о сложностях, а уж тогда все твои мечты непременно сбудутся?

Возвращение Али оказалось трудным: он растерял боевые качества, отяжелел, утратил форму. Бой с Фрейзером закончился его поражением, первым за всю профессиональную карьеру. Поговаривали, что не стоило ему начинать все сначала.

Но в биографии Али должна была быть Киншаса. И не потому лишь, что Формен стал чемпионом, в сущности, незаконно, не одолев настоящего чемпиона в честном спортивном поединке. На ринге в столице Заира сошлись две резко различные человеческие индивидуальности, два несовместимых общественных типа, которые созданы американской жизнью, два «нголо». В этом емком африканском словце вся суть коллизии, которая является центральной в книге Мейлера.

О самом Нормане Мейлере книга «Бой» говорит не меньше, чем о двух полярно противоположных героях его повествования — боксерах Джордже Формене и Мохаммеде Али. Темой, которая прошла через все его творчество двух последних десятилетий, как раз и было столкновение бунтарей наподобие Али с законопослушными типа Формена, конфликт гражданственности и приспособленчества, антагонизм истинной духовной независимости и «благополучной» обывательской обезличенности. Развертываясь в Америке этого времени на самых разных уровнях — и в ожесточенных схватках противников войны с «патриотами», надевшими форму национальных гвардейцев, и в поединке между двумя выдающимися боксерами,— этот конфликт заполнил документальные книги Мейлера, ставшие хроникой общественной и духовной жизни его страны в годы жестокого внутреннего кризиса и нешуточных исторических потрясений, которыми было отмечено десятилетие от выстрелов в Далласе до Уотергейта.

«Армии ночи» (1967), «Майами и осада Чикаго» (1968), «Огонь на Луне» (1971), «Святой Георгий и Крестный отец» (1973), «Бой» (1975) — при всех различиях материала это книги, которые составляют единый цикл.

В них портрет Америки, содрогающейся от резко обострившихся внутренних противоречий, от битв между радикализмом бунтующих (нередко — ультралевым, разрушительным, анархическим) и агрессивным конформизмом напуганной массы «средних» граждан, вполне обжившихся в потребительском обществе и принявших как истину его обманчивые «великие возможности».

И в них портрет типичного американского интеллигента этой неспокойной поры — «нашего путешественника», «интервьюера», Нормана Мейлера, говорящего о себе

в третьем лице и подчеркивающего несовпадение повествовательного и личного «я». Это не просто прием: нужно создать дистанцию между автором и материалом и с этой дистанции разобраться в сложности самого материала. В бесчисленных оттенках и причудливых конкретных воплощениях конфликта. В мышлении и психологии каждой из противоборствующих сторон, которые Мейлер хочет прежде всего понять, а уж затем принять или отвергнуть.

Разумеется, он не нейтрален. В «Бое» все его симпатии отданы Али. Иначе и не могло быть, потому что дело идет о справедливости и об убеждении, которые противостоят своекорыстию, тупоумию и грубой силе. «Вот чего не понимал Джордж Формен: есть вещи поважнее, чем твой личный успех,— скажет Али одному из журналистов после боя в Киншасе.— А я знаю и сейчас, что моих кулаков и званий мало, если я хочу помочь своему народу, который сражается, чтобы освободиться. Я знаю, что нужно делать и многое другое, и я к этому готовлюсь».

Победа Али определена логикой его жизни — как гражданина, как личности. И все-таки как ни любуется Мейлер и личностью, и искусством своего героя, есть пункт расхождений между автором и Мохаммедом Али — серьезных расхождений именно во «многом другом», что далеко не замкнуто квадратом ринга. Многое другое — это негритянское «нголо», которое профессиональный бокс выявляет с той же отчетливостью, как, например, джаз или красочный и полный контрастов быт Киншасы. Для Али это «нголо» — реальность, обладающая и целостностью и полной замкнутостью в самой себе, недоступностью для любого, кто сам не принадлежит черному миру. Когда-то так считал и Мейлер. Написанное двадцать лет назад знаменитое эссе «Белый негр» называло конкретные особенности такого «нголо», трактуя их как неизменный, метафизический комплекс качеств, усваиваемых черными от рождения: чувство своей отчужденности в мире, существование в предельной близости к насилию и смерти, сознание неведомой, но вечно грозящей опасности, чисто эмоциональное восприятие бытия в его трагизме и жестокости.

Поездка в Заир и вся атмосфера, окружавшая бой Формена и Али, дали еще одну возможность испытать практикой этот комплекс идей, широко отразившихся в творчестве Мейлера. Испытание лишь подтвердило то, что Мейлер начал осознавать гораздо раньше,— какими бы несомненными ни были характерные отличительные свойства черного «нголо», есть очень серьезная опасность в настойчивом подчеркивании их уникальности, их негритянской исключительности. Этой абсолютизации Мейлер не может принять и разделить. Потому, наверное, что он хорошо запомнил уроки 60-х годов, когда такого рода манипулирование «черной спецификой» не только привело к огульному отрицанию всего белого мира с его прошлым, настоящим и будущим, но и породило вспышки терроризма и расизма навыворот.

Режим Мобуту, один из самых реакционных режимов в Африке, тоже ведь популяризирует идею негритянской исключительности, беззастенчиво спекулируя на расовом самосознании африканцев и пытаясь таким образом оправдать свою программу «национального возрождения». Трагические события, происходившие минувшей весной этого года в заирской провинции Шаба, открыли всему миру истинную суть этой программы: союз с милитаризмом и реакционными силами Запада, нагнетание милитаристской истерии в самом Заире, провокации против революционной Анголы, безответственное разжигание националистических и расистских настроений, оборачивающееся кровавыми вакханалиями... Политические взгляды Мейлера нередко путанны и прямо неверны: в конфликте буржуазного и социалистического мира ему хочется встать «над схваткой», и это приводит подчас писателя к безответственным заявлениям, к анархическому позерству, к срывам — идеологическим и творческим. Каждая книга Мейлера отмечена резким противоречием между точностью социального анализа и стремлением уйти от напрашивающихся выводов, подменив их очередной индивидуалистической выходкой. Все так, и тем не менее авантюристичность и двурушничество режима Мобуту, прикрывающегося броскими лозунгами «прогресса» и «обновления», писатель сумел понять безошибочно. Сегодня заирские страницы его книги, написанной три года назад, воспринимаются как точный прогноз близкого будущего.

Мейлер и восхищается «нголо» своего героя, и иронизирует над тогдашними его поползновениями сделаться «черным Киссинджером» — сегодня взгляды Али куда более четки, и он намерен реально служить своим авторитетом взаимопониманию народов.

Мейлер то называет тогдашнего Али безумцем, то, заразившись негритянскими представлениями, сам совершает нечто безумное, балансируя на парапете, чтобы умилостивить богов, от которых — кто знает? — может зависеть исход боя.

В этих перепадах и переключениях интонации — не просто эмоциональные особенности повествователя, но и знак его внутренней растерянности перед лицом тревожащего Мейлера, постоянно им рядом с собой ощущаемого, влекущего и непонятного феномена особой, негритянской «системы мышления», жизненной ориентации и этики. Чтобы разобраться в этом явлении, конечно, недостаточно таких понятий, как «нголо», и невозможно делать упор на психологию — нужны конкретные категории социально-исторического характера. Как и другие книги Мейлера, «Бой» позволяет ощутить, что именно этих категорий недостает в предлагаемом им анализе проблем, противоречий, парадоксов американской жизни.

Но нельзя отрицать замечательной чуткости Мейлера к самим этим проблемам и противоречиям, которые в его книгах всегда значительны и всегда обозначены заостренно и рельефно. Поэтому его документальная проза остается по-своему незаменимым свидетельством о жизни и о людях, в которых переживаемое Америкой сложное время оставило особенно выразительный отпечаток.

МЕРТВЫЕ УМИРАЮТ ОТ ЖАЖДЫ

Это как шок — всякий раз, когда его видишь. Не просто живым, как на телеэкране, а прямо перед собой. Если он в хорошей форме, Величайшему Спортсмену Мира грозит опасность сделаться вдобавок нашим идеалом мужской красоты, и тут уж обязательно идет в ход жаргон Посвященных. У женщин перехватывает дыхание. Мужчины потупляются. Как будто им напомнили, что сами-то они не стоят ничего. Если бы Али даже рта не открывал, чтобы всколыхнуть студень общественного мнения, все равно он вызывал бы или любовь, или ненависть. Ведь он Небесный принц — об этом говорит само молчание, обволакивающее его тело, когда от него исходит свечение.

Но когда он чем-то подавлен, его светлая кожа приобретает цвет кофе со снятым молоком, без сливок. В мутных размывах плоти проступает зеленоватый оттенок болезненного, невеселого утра. Он выглядит нездоровым. Примерно так он и выглядел в своем тренировочном лагере на Оленьем озере в Пенсильвании, когда появился там сентябрьским полднем за семь недель до предстоящего боя в Киншасе с Джорджем Форменом.

Спарринг он проводил мало сказать что вяло. Он пропускал прямые удары и атаки, от которых обычно без труда уходил,— как непохоже на Али! Смотреть, как он тренируется, было искусством, которому учишься годами. Другие звезды выбирали для спарринга партнеров, умеющих имитировать манеру будущего противника, а если хватит денег, нанимали еще кого-нибудь, похожего на них самих,— просто чтобы развлечься, поработать в свое удовольствие. То же самое делал и Али, но в обратном порядке. Готовясь ко второму бою с Сонни Листоном, он больше всего любил боксировать с Джимми Эллисом, своеобразным художником ринга, совсем непохожим на Сонни. Как боксеры Эллис и Листон двигались настолько по-разному, что не сумели бы передать друг другу тарелку супа, не расплескав его. Конечно, у Али были для этого боя и другие партнеры по спаррингу. Вспоминается Бомбардир Шелдон. Али откидывался на канаты, а Шелдон молотил его по животу — так Али закалял живот и ребра для ударов Листона. Это он делал по необходимости, а удовольствие получал в спарринге с Эллисом, словно ему и не было большой нужды изучать стиль Сонни, раз сам он настолько изобретателен и стремителен.

Обычно в период подготовки боксер добивается полного контроля над своими рефлексами; так средней руки гонщик, поработав с неделю на искусственной лыжне, порой начинает воображать, что он и в самом деле мастер. У Али было иначе: с годами он все меньше заботился о том, чтобы развивать скоростные качества, и главным для него становилось умение держать удары. Отчасти его искусство заключалось в способности смягчать и как бы дробить силу ударов, которые противник наносил ему в голову. Это должен уметь каждый боксер, даже молодой, потому что долго он не продержится, не выучившись в самый момент удара откидываться назад. Но Али как будто старался приучить свою нервную систему справляться с потрясением быстрее, чем другие.

Может быть, всякая болезнь — результат распада связи между сознанием и телом. По отношению к столь быстротечной болезни, как нокаут, это несомненно. Сознание просто неспособно направить приказ телу. В своем крайнем выражении эта теория, как излагал ее Кэс д'Амато, готовивший Флойда Паттерсона и Хосе Торреса, состоит в том, что боксер, по-настоящему стремящийся победить, никогда не окажется в нокауте, если только не прозевает сам удар,— ведь мгновенного распада связи у такого боксера произойти не может. Будет больно, но без чувств он не свалится. И наоборот, серия из пяти ударов, когда все они достигают цели, обязательно прикончит любого соперника, заставив его потерять сознание. Тут дело не в силе ударов, а в том, что затронут самый центр. Неожиданная перегрузка этого центра, откуда подается команда, вызывает у жертвы полное смещение, которое принято называть коматозным состоянием.

Так вот, Али словно бы усовершенствовал эту теорию еще больше, научившись быстрее всех справляться с пропущенными ударами и буквально распределять их силу по всему своему телу, отводя их в самое безопасное место, а в идеале стремясь к тому, чтобы серия из пяти (и шести, и семи!) ударов немедленно затухала, поглощенная всеми частями его тела — обеими руками, обеими ногами,— чтобы боль не концентрировалась, а сознание сохраняло ясность. Стоило поглядеть, как Али держит удары. Откидываясь на канаты, он слегка подзуживал партнера по спарингу, словно кошка, заигрывающая со своим котенком, чтобы тот на нее набросился. Потом он

НОРМАН МЕЙЛЕР
БОЙ

высоко поднимал перчатки, а партнер старался бить через них в голову, и они повторяли этот маневр в разных положениях; искусство защиты — это и расчет траектории, по которой пойдет, задев перчатку, атакующий удар; и Али учился глушить такие удары, нанося встречные, наказывая атакующего и все время оттачивая свое природное умение заманивать противника и уходить от его атак, гасить их, смягчать, заставлять другого промахиваться, раздражаться и портить все дело, не успевая за отходами, нырками, движениями корпуса, на которые Али почти не тратил энергии, все так же лежа на канатах и закрываясь своими медлительными руками. На тренировках сценарий был всегда один и тот же: Али в роли предельно уставшего боксера, совсем выдохшегося к двенадцатому раунду и, хотя предстоят еще три, уже неспособного даже рук поднять. Без таких тренировок он не ушел бы от нокаута в первой встрече с Фрейзером, и с того боя он ко всем другим готовился точно так же. Из угла ему кричали: «Кончай придуриваться!» — судьи открывали ему счет, видя, что он валится на канаты, репортеры писали, что от былого Али ничего не осталось, а он просто совершенствовал свою тактику.

Но в тот день на Оленьем озере похоже было, что пользы от тренировки — никакой. Партнер доставал Али примитивными выпадами, которые вдруг оказывались неожиданностью. Али был не медлителен, а апатичен. Казалось, что ему просто скучно. На ринге он походил на человека, тщетно пытающегося пробудить в себе страсть, когда супружеский долг вынуждает его ласкать жену, а плоть безразлична до омертвения.

Час спустя, когда к нему пустили журналистов, Али выглядел немногим лучше. В неуклюжей позе он лежал на диванчике в своей раздевалке; усталость от спарринга все еще не прошла, и казалось, он вдруг погрузнел и утратил свое обаяние; он даже не был красив. Лицо его слегка опухло. При взгляде на это лицо возникала мысль, что с годами голова станет массивней и Али начнет смахивать на мопса. Всего удивительнее была его вялость. Обычно после тренировки Али любил поболтать, как будто физическая работа лишь разжигала энергию и будила истинную его страсть — высказываться. Сегодня же он молча вытянулся на диванчике, предоставив говорить другим. В комнате было несколько черных; словно придворные, они по очереди приближались к Мохаммеду, что-то шепча ему на ухо и затем занимая свои места в публике. Репортер с негритянской радиостанции держал наготове магнитофон на случай, если вдруг Али пожелает ответить на его вопросы; но на этот раз такого желания у Али не было.

Видно, ринг отнял слишком много сил. Дух уныния витал над раздевалкой, все вокруг казалось мрачным. В боксерских тренировочных лагерях это, правда, обычное дело. Пока идут тяжелые тренировки, боксеров порой охватывает такая тоска, какая другим и не снилась. Так и должно быть. Тоска родит раздражение и яростное желание изменить свою жизнь. Тоска укрепляет волю к победе. Потому и мебель всегда окрашена в блекло-серые и блекло-коричневые тона: избитые чуть не до беспамятства, партнеры по спарринг замыкаются в угрюмом молчании, и само это молчание словно предусмотрено специально, чтобы подготовить боксера к той муке, которая ждет его в вечер боя. А в лагере Али обычно царила бодрость, исходившая хотя бы от него самого, если не от других. Али нравилось показывать, что ему в удовольствие и подготовка. Но только не сегодня. Сегодня это был такой же тренировочный лагерь, как все другие. В обшарпанной комнате сгущалось невысказанное вслух предчувствие краха.

Боксер чем-то похож на человека, отсиживающего большой срок и с отчаянием убеждающегося, что все его усилия сохранить здравый рассудок понемногу разрушают его личность. Подобно арестанту, боксер вынужден до какой-то степени пожертвовать лучшим, что в нем есть: ведь лучшее в человеке примиряется с тюрьмой — и с тренировочным лагерем — не больше, чем зверь с зоопарком. Рано или поздно боксер понимает, что за подготовку ему приходится платить слишком дорого — стабильностью психики. Однообразие не просто губит его индивидуальность, оно убивает душу. Что же удивительного, если и Али взбунтовался против этого однообразия тренировок, которым была наполовину заполнена его жизнь.

Кто-то спросил его, что он думает о ставках, и заданный впрямую вопрос привел Али в растерянность:

— Про ставки я ничего не знаю.

Ему объяснили, что пари заключают из двух с половиной к одному против него.

— Так много?— переспросил он, кажется, и впрямь удивленный.— Они что же, считают, что Формен выиграет? — Впервые за весь день он чуть оживился:— Ну, ребята, с такими ставками вы заработаете кучу денег.

Он принялся толковать о Формене, толковать горячо и страстно.

— Так они считают, что он меня пройдет?— кричал он, словно само это предположение оскорбительно переворачивало порядок вещей, каким его видел Али. И с яростью:— У него только и есть что здоровые кулаки. Он же не умеет доставать! Он в жизни не сделал ни одного нокаута. Шесть раз сбивал Фрейзера и не смог дожать. А Хосе Роман? Сопляк, ничтожество, валился четыре раза, и все равно тот его не дожал. И Нортон тоже валился четыре раза. Какой это удар? Ваш Формен ни черта не умеет, только толкаться. Для меня он никто, у него же мертвая левая. А мне только левая страшна. Сонни Бейтс сбил меня левой, Нортон левой сломал мне челюсть, Фрейзер повалил тоже левой, а Формен — да он ворочается так медленно,

что за год не дотянется.— Али вскочил на ноги и теперь размахивал руками, рассекая воздух.— И вы думаете, что с этим можно выходить против меня?— кричал он, выбрасывая правую, а затем левую прямо в нашего репортера, так что удары прошли в каких-нибудь пяти сантиметрах от его глаз.— Когда я его прикончу, это будет разгром, какого еще бокс не видел!— Наконец-то Али воодушевился.— У меня руки на полтора дюйма длиннее. Мало, думаете? Даже полдюйма — уже преимущество, а полтора — это много, очень много!

Все знают, что тренировочный лагерь создается с целью производить один-единственный продукт — боксерское «я». В лагере Али производство осуществлялось не менеджером, которого не было вообще, не тренерами, не спарринг-партнерами и, уж конечно, не мрачной атмосферой этого места. Нет, производство осуществлял сам Али. Он сам создал себя из собственного необработанного сырья. И когда Али подсчитывал свои преимущества, выходило, что у Формена нет никаких шансов. Но память возвращала к бою с Кеном Нортоном, которого Формен кончил в два раунда. В тот вечер Али комментировал этот бой для журналистов; в его голосе чувствовалась напряженность. Он не походил на себя; первое, что он сказал репортерам с телевидения, было: «...У Формена удар посильнее моего». Может, он просто оправдывался за свои два упорных и равных поединка с Нортоном, но что-то подавить в себе ему пришлось бы даже и для таких оправданий. В тот вечер в Каракасе прямо перед собой он увидел убийцу. Редко попадались на ринге такие злобные парни, как Формен. Во втором раунде, когда Нортон опять оказался в нокдауне, Формен настиг его, уже падающего, серией из пяти ударов, нанося их стремительно, как лев, который приканчивает жертву. Возможно, Формен и не умел доставать, но уж казнить он умел. И тот миг его боя с Нортоном, должно быть, пробрал Али до самого нутра.

Великий боксер не может жить в тревоге, как прочие. Он не должен допускать и мысли о том, что́ способен с ним сделать противник. Иначе воображение парализует его, лишив изобретательности,— ведь и так настороженным он остается на ринге все время. Здесь, на Оленьем озере, надлежало похоронить все опасения, и Али распалял в себе зловещую самоуверенность, тоскливую в своей безоглядной крайности. Снова он утрачивал большую долю своего обаяния, без конца твердил о своей исключительности и бездарности соперника. И все же эти заклинания делали свое дело. Каким-то образом затаенная тревога передавалась боксерскому «я» Али, оттачивая его.

Всякий день наезжали репортеры, он как будто заново узнавал о ставках против него и обрушивал на сообщающих одну и ту же речь, так же вставал, размахивал руками, и удары проходили рядом с их лицами. Если бы репортеры записывали Али на магнитофон, пленка была бы почти одинаковой — изделия за изделием он повторял и повторял одно и то же, почти дословно. Кошмарное наваждение—Форемен, добивающий Нортона,—отступало в этих разговорах; одно интервью за другим, одна выкладка за другой, все то же самое «здоровые кулаки, но он же не умеет доставать!» — и «я» Али возрождалось. Дымка страха спрессовывалась и, спрессовавшись, шла на кирпичи, из которых строилась психологическая устойчивость. За годы, проведенные на ринге, Али сумел выложить из таких кирпичей крепкую стену.

Резиденция президента Мобуту в Нзеле на берегу Конго: оштукатуренные белые дома, проложенные между ними дороги — всего тысяча акров с лишним. Где-то подальше на этой же территории располагаются зоопарк и олимпийский плавательный бассейн. При въезде красуется пагода—подарок китайцев; строить ее начали те, кто теперь на Тайване, а доканчивали нынешние. Занятное это местечко, Нзеле! Резиденция — две мили от шоссе до реки, сплошь занятые возделываемыми полями, и еще две мили по берегу Конго, переименованного в Заир,— громадной реки, которая здесь не производит впечатления: мутная вода несет кусты гиацинтов, с корнем выдранные из берегов течением, и это так же романтично, как засорившийся унитаз. Трехпалубный катер, нечто среднее между яхтой и колесным пароходиком, пришвартован у пристани. Называется он «Президент Мобуту». Рядом пришвартован похожий на него с виду плавучий госпиталь. Это судно называется «Мама Мобуту». Все правильно. На афишах, оповещающих о бое, напечатано: «Дар президента Мобуту заирскому народу. Дань величию черного человека». В Заире имя Мобуту обвилось вокруг революционного идеала, как обвивается вокруг ствола змея. «Бой двух черных в стране черных, организованный черными, чтобы за ним следил весь мир. Триумф мобутизма». Так гласит одна из желто-зеленых афиш, выпущенных правительством и расклеенных по всему шоссе, ведущему из Нзеле в столицу — Киншасу. Такие афиши — по-французски и по-английски — попадаются на каждом шагу, и начальные сведения в области мобутизма можно получить мимоездом, не выходя из машины. «Мы хотим свободы. Мы не хотим, чтобы нам мешали на пути к прогрессу. Пусть на этом пути встанут скалы, мы прямо через скалы пробьем себе дорогу...» У нашего репортера ощущение, будто он попал в несимпатичные места. Надо прямо признать, что репортер чувствует себя отвратительно. В Каире, по пути сюда, он подхватил какой-то разрушительный вирус, от которого трескается кожа, ему скверно. Он здесь всего лишь третий день. К тому же сегодня он улетает обратно в Нью-Йорк. Потому что бой отло-

---

НОРМАН МЕЙЛЕР
БОЙ

жен. Формен получил на тренировке травму. Повреждена бровь, а это значит, что бой откладывается не меньше как на месяц, хотя конкретно ничего не сообщают. Ну и волынка! И главное, эту новость он узнал в тот день, когда прибыл в Заир. Разумеется, броню в отеле успели отменить. Оказаться бездомным, прилетев на рассвете в африканскую столицу, — хуже нет ничего. Почти все утро ушло на беготню по гостиницам, пока, наконец, не нашелся номер в «Мемлинге», прославившемся во время революции. Десять лет назад верхние этажи здесь занимали корреспонденты, а внизу, в вестибюле, сражающиеся стороны расстреливали своих противников. По полу вестибюля ручьями текла кровь. Теперь «Мемлинг» стал самим собой — средней руки отелем в тропическом городе. Знаменитый вестибюль по чистоте и уюту почти сравнялся с автовокзалом где-нибудь в Истоне, штат Пенсильвания, а портье изъяснялись по-французски так, как будто у них искусственное горло. Впрочем, перед иностранцами они держались не менее надменно, чем любой парижанин.

Какая причудливая страна, где переплелись старые и новые узлы! И хуже того. Впервые в жизни ты приезжаешь в Конго, и оказывается, что даже название страны стало другим. Добираешься до самого «Сердца тьмы», до этого средоточия ужаса, преследовавшего Джозефа Конрада, до этой Киншасы, тогда еще отвратительного Леопольдвиля, центра торговли рабами и слоновой костью, и разглядываешь ее раздраженно и желчно, потому что все горит у тебя внутри. Может быть, талант Хемингуэя состоял и в том, что он умел путешествовать, сохраняя желудок в норме? Еще не было человека, которому бы так хотелось назад, в Нью-Йорк. Киншаса, возможно, не лишена своего интереса, только где же ее красоты? Центр сразу же напомнил жалкую роскошь какого-нибудь городка посреди Флориды, где семьдесят — восемьдесят тысяч жителей, почему-то не успевших воспользоваться бумом, — несколько больших зданий, со всех сторон окруженных домишками-развалюхами. Но в Киншасе жителей было не восемьдесят тысяч, а целый миллион, и она растянулась миль на сорок вдоль излучины Конго — ах, извините, Заира. И эти сорок миль нашему путешественнику показались не более приятными, чем объезд вокруг пригородов Кэмдена или Билокси, где дороги забиты грузовиками, а дома перемазаны копотью. Кажется, существовал еще красочный и пищий центр — Ситэ, бесконечные грязные улицы, взбегающие на холмы и несущиеся берегами ручьев вниз, к реке, немощеные проулки, ночные бары, ниши и окна в стенах, где размещались лавчонки. Но путешественника все еще донимал непорядок в собственном организме, и не было охоты побродить по этим кварталам, населенным туземцами, а хотелось только одного — добраться домой.

В Нзеле Али устроился на вилле напротив Заирского банка. Дом был меблирован правительством в том стиле, какого и следовало ожидать. Большие комнаты — вдвое больше, чем номера в мотеле, но такие же унылые — создавали соответствующее настроение. Длинные диваны и стулья, обитые зеленоватой тканью под вельвет, выложенный серой плиткой пол, апельсинового цвета подушки, темно-коричневый лак стола — обстановка как в гостиницах всего мира, та самая, которую оптовые торговцы мебелью именуют «кич под солидность».

Было девять утра. Али еще спал. Выглядел он вроде получше, чем на Оленьем озере, но по-прежнему было заметно, что здоровье вернулось к нему еще не совсем. Среди журналистов ходили слухи, что анализ крови показал низкое содержание сахара, что Али вял и ему пришлось согласиться на новую диету. Да и внешне перемены к лучшему были незначительны.

В то утро его к тому же расстроила новость о травме Формена. До боя оставалась всего неделя. Корреспондент телевидения Билл Брэнигэн, который разговаривал с Али сразу же после полученного известия, заметил: «В первый раз за все время его задело что-то по-настоящему». Али просто не находил себе места: «Хуже еще не бывало. До чего ж паршиво: точно у меня близкий родственник умер». Может быть, умерла крепнувшая решимость его тела, его боевая форма, которой он с таким трудом добивался? Ведь боевая форма — это первая из тайн бокса. То редкостное состояние тела и духа, которое только и позволяет тяжеловесу пятнадцать раундов передвигаться по рингу на своей предельной скорости. Одной волей такого не добьешься. Но Али все же пытался. Пытался все долгие месяцы тренировки.

Ирония судьбы заключалась в том, что прежде он находился в боевой форме всегда. Перед вторым боем с Листоном он был настолько великолепно готов, что это чувствовалось в каждом его движении, над чем бы он ни работал в тренировочном зале. Тело не могло его подвести. Когда он говорил о своем самочувствии, перед вами был действительно счастливый человек. Но это было десять лет назад. А после того как у Али отобрали звание чемпиона мира за отказ идти в армию («Никакой вьетконг никогда не обзывал меня черномазым»), он три года подряд занимался чем угодно, только не боксом: выступал на митингах, был актером в Нью-Йорке, ездил по свету, бездельничал. Жизнь без ринга оказалась вполне приятной. И, вернувшись, тренировался он уже, всегда предвкушая, как приятно будет заняться чем-нибудь еще после дня тренировки. Перед первой встречей с Нортоном у Али от артрита болели руки, а голеностоп держался лишь инъекциями кортизона, и все-таки он отправился куда-то пьянствовать. На следующий вечер Нортон сломал ему челюсть. После этого Али заставил себя готовиться немного серьезнее, но тренировки остались для него проклятьем. Лишь перед вторым боем с Фрейзером и сейчас, когда его ждал Формен, Али проявил готовность выдержать

все это гнетущее однообразие тяжелой работы, без которой не приходит форма. Сколько пота пролил он за эти месяцы на Оленьем озере! Из-за своего артрита он даже отказался от мяса и ел рыбу. Руки пошли на поправку. Он снова мог работать с тяжелой грушей. Но теперь пришла вялость. Его энергия убывала — после таких-то стараний! Как видно, мировой закон физической силы кровожаден и требует плотоядия. Али забыл о рыбе, снова питался мясом, ввел особые десерты, и сахар в его крови восстановился. И может, он, наконец, был готов выйти на ринг для боя, который станет испытанием логики всей его жизни. Перенос этого боя он должен был воспринять как ампутацию. Здесь таилась опасность. Против нее готова была взбунтоваться каждая клеточка его тела.

Когда смотришь на Формена, он кажется по-своему законченным олицетворением жизненной силы. В вестибюле «Интерконтиненталя» он появился, выйдя из лифта, в расшитом комбинезоне и холщовой куртке; с обеих сторон его сопровождали черные. Он был похож не столько на человека, сколько на льва, выпрямившегося в человеческий рост. Казался сонным, но это была сонливость льва, переваривающего добычу. Широкое красивое лицо Формена (оно немного походило на киномаску Кларка Гейбла, только слегка уплощенную) не выражало ни приветливости, ни враждебности; скорее чувствовалась в нем настороженность, всегда таящаяся в боксере, каким бы сонным он ни выглядел; чувствовалась эта, пожалуй, присущая всем хорошим бойцам замечательная способность — если надо, мгновенно поймают в воздухе муху, если надо, углядят, выходя на ринг, как настроен приятель, сидящий где-то в тридцатом ряду.

Поскольку Норману частенько не хватало тактического чутья, случалось, он шел напролом. Он только что снова прилетел в Киншасу и понятия не имел, что с Форменом нельзя заговаривать в вестибюле, вот он прямо к нему и направился, протягивая руку. Тут же кинулся к боксеру Билл Каплан, который у Формена отвечал за отношения с прессой и публикой. «Джордж, он только что приехал»,— сказал Каплан, представляя Нормана. Формен кивнул, неожиданно улыбнулся и мило пошутил насчет чемпионов ринга и чемпионов литературы; голос у него оказался, как ни странно, мягким, манера говорить не просто южная — техасская. Глаза его потеплели, и можно было подумать, что ему нравится сама эта мысль — быть писателем; вскоре станет известно, что Формен тоже пишет книгу. И здесь последовала любопытная фраза, над которой можно было ломать голову до самого конца недели. О Формене эта фраза сказала очень много. «Простите, что я не подал вам руки,— выговорил он голосом, который долго приучали не выдавать таящейся силы,— но, сами видите, я ведь не вынимаю рук из карманов».

Ну конечно! Раз руки в карманах, как же их вынуть? Все равно что прервать поэта, который как раз поймал свою строчку, вопросом, с чем принести ему кофе — с молоком или со сливками. Но при всем том Формен держался так простодушно, что его слова не показались грубостью, наоборот, располагали к нему. Он ведь говорил правду. В самом деле, руки надо держать в карманах, это важно. Так же важно создать дистанцию между собой и другими. Формен жил, окруженный молчанием. Опекаемый телохранителями, не подпускавшими к нему любителей рукопожатий, он мог стоять в вестибюле отеля среди сотни людей и не соприкасаться ни с кем. Его душа была одинока. Другие чемпионы создавали собственный культ, какого они и не стоили. Они действовали обаянием. Формен располагал к себе молчаливостью. Она исходила от него, ударяясь о молчание, окутавшее его снаружи. Таких людей Норман не видывал уже лет тридцать — а то и побольше. Во всяком случае, с далекого лета, когда-то им проведенного санитаром в лечебнице для душевнобольных, он не встречал никого, кто мог бы так долго простоять, не шевелясь, засунув руки в карманы, поддерживая своды молчания над неприкасаемым своим одиночеством. В лечебнице он был приставлен к кататоникам, впавшим в ступор,— они не делали ни одного движения от завтрака до обеда. Один из них, сжав руки в кулаки, неподвижно простоял в такой позиции несколько месяцев, а потом неожиданным ударом раздробил челюсть случайно подвернувшемуся санитару. Врачи обязательно предупреждали новоприбывший персонал, что это самые опасные из пациентов. Во всяком случае, физически они были самые сильные. Об этом не надо было и предупреждать. Олень в лесу всей своей статью и обликом говорит вам: «Меня легко поранить, меня скоро убьют, а замены мне нет», а поза впавшего в ступор кататоника преследует вас неотвязно и предостерегает: «У меня страшная сила, только бы не сдвинуться с места».

Никому, однако, не пришло бы в голову, что у Формена может быть душевное заболевание. Такие предположения слишком поверхностны для того, чтобы судить о чемпионе-тяжеловесе. Мало нашлось бы шизофреников, способных выдерживать дисциплину, которой требует профессиональный бокс. И, однако же, чемпион-тяжеловес обитает в мире, где сместились все пропорции. Вероятно, это самый опасный из невооруженных убийц. Голыми руками он может прикончить человек пятьдесят, пока ему не потребуется отдых. А может, и сто? Отчасти любовь, которую вызывал к себе Али (и сравнительно с ней — не столь уж большое почтение к его силе), объясняется тем, что при виде его неизменно возникала уверенность — он не искалечит среднего противника, он просто с минимальным уси-

лием отразит нападение и будет продолжать поединок. А Формен угрожал — всегда и всем. В любой кровавой бойне он бы не остановился. Он шел бы до конца.

Вообще говоря, профессиональный бокс, конечно, не ставит своей целью готовить убийц. Наоборот, он дает занятие людям, которые иначе просто убивали бы на улице. И все же, когда на ринге такие чемпионы, как Формен, содрогнешься, видя, сколько в них ярости, обрушиваемой на противника. Свою ярость он обратил в особое искусство, и благодаря этому в тридцать восьмом бою стал чемпионом мира. Формен не проигрывал ни разу. К тому дню, как он стал чемпионом, на его счету было не менее двадцати пяти нокаутов, и обычно бой за его явным преимуществом останавливали до третьего раунда. Фантастический послужной список! Десять нокаутов в первом раунде, одиннадцать во втором, одиннадцать в третьем и четвертом. Какой уж там психопат, скорее уж гений физической силы, пользующийся средствами кататоников: молчанием, сосредоточенностью, неподвижностью. А поскольку Али был гением совсем иного рода, предощущался самый редкий поединок из всех — поединок между разными воплощениями высокой одаренности.

Да, это будет что-то наподобие религиозной войны. И это на руку Али. Кто бы посмел утверждать, что у Али нет шансов в религиозной войне, если она развертывается в Африке? В первый раз услышав о бое, Норман улыбнулся и подумал о злом глазе, заклятиях и таинственной психологии черных. «Если Али не сможет победить в Африке,— сказал он,— значит, не победит нигде». Но парадокс был в том, что чемпион Формен при личном знакомстве оказался еще более черным. В Али была капля белой крови, даже не одна. Было в нем что-то такое, из-за чего Али казался совсем белым, даже слишком белым — вроде высоченного парня, который возглавляет студенческий клуб где-нибудь на Юге. Порой Али выглядел всего лишь белым актером, который чуть перестарался, гримируясь для роли негра, и поэтому не очень убедителен на сцене, и это было только одно из множества противоречий Али, но вот Формен — тот был неподдельный. За африканца его бы приняли куда легче, чем Али. Формен глубоко сроднился со своей музой. А муза тоже была неподдельная, эта дальняя родственница красоты, муза ярости со всеми ее сложными тайными законами. Ее первым требованием было сохранять невозмутимость. И Формен шел через вестибюль как мощное воплощение восставшего мертвеца, все замечая, но своим молчанием оберегая себя от грязных прикосновений каких-то почитателей, тянущих к нему подрагивающие от волнения руки. Руки Формена существовали отдельно от него самого, словно пара языческих божков. Они были его оружием, и он засовывал их в карманы, как засовывает в бархатный чехол свое драгоценное ружье охотник. Последним из тяжеловесов, кто напоминал Формена, был Сонни Листон. Он умел нагонять на людей страх, просто разглядывая их, и недовольство вторжением в его частный мир сочилось из Листона, как дым из щели. Он угрожал не вообще, а конкретно — тебе и тебе и был готов прикончить хоть тщедушных, хоть сильных.

Рядом с ним Формен показался бы отшельником-созерцателем. Ярость Формена таилась в самой исходившей от него невозмутимости. Он как будто и впрямь усвоил уроки, которые были преподаны Листоном. Ярости нельзя было давать расплескаться, ее накапливали. Невозмутимость оказывалась сосудом, лучше других пригодным для ее хранения. Поэтому Формен приказал своей свите не подпускать к нему никого. Никого и не подпускали. Словно бы Формен вознамерился защищать себя от мыслей всех живущих. И пусть, когда он выйдет на ринг, вся Африка будет желать ему поражения — его сосредоточенность станет для Формена защитой от Африки. Великолепной защитой.

После тренировки была его пресс-конференция, и на ней Формен показался чуть ли не сердечным. Он пришел в своем расшитом комбинезоне и уселся прямо на стол, отказавшись от микрофона, так что журналисты окружили его тесным кольцом. Говорил он глуховато, и для пятидесяти репортеров и фотографов это создавало трудности, но Формену и здесь надо было подчеркнуть свои права. Он обладал правом собственности на свои нервы и самочувствие и не желал слышать пронзительных взвизгов и тарахтения электрической техники. А когда отставили микрофон и журналисты сгрудились вокруг него, Формен стал отвечать на вопросы легко и непринужденно, и в мягком, с техасским выговором голосе появилась известная звучность. Отвечал он не без изысканности, и это придавало особый оттенок общему настрою,— отвечал так, точно мог бы сказать и гораздо больше, но не хочет, потому что невозмутим и предельно сосредоточен. Формена отличало по-настоящему тонкое чутье, и он понимал, какую ткань ему надо сплести и как немногими словами создать нужное впечатление — то самое, какое и должен производить смышленый, но необразованный человек, которого судьба сделала чемпионом мира.

Вот как это происходило.

Репортер. С бровью у вас вроде бы все в порядке, Джордж.

Формен. Да, вроде бы в порядке.

Репортер. Вы довольны своим весом?

Формен. Когда боксируешь в тяжелом, вес — это все.

Репортер. Думаете, вам удастся его нокаутировать?

Формен (само благодушие). Очень бы хотелось.

По залу прошел смешок, улыбнулся и Формен. Тут кто-то спросил, не трудно ли ему будет боксировать в такую рань — бой

должен был начаться в три утра,— и у Формена развязался язык:

— Главное, чтобы форма была, тогда много можно сделать такого, что считал невозможным. Если есть форма, ко всему приладишься. Мне все равно, когда начинать.

— Али говорит, ему попадались ребята и покрепче.

— Ну, для меня это как раз хорошо,— ответил Формен.— Знаете, у меня есть пес, так он вечно дерется. И вечно приползает домой на брюхе.

— Вы не боитесь, что Али попробует рассечь бровь?

Формен пожал плечами:

— Пусть каждый старается выиграть, как умеет. Вороны слетаются на падаль, только их ведь и пугнуть можно.

— Говорят, вы пишете книгу?

— Да нет, не книгу,— отвечал Формен кротчайшим своим голосом.— Просто кое-что вижу вокруг и записываю, чтобы не забывать.

— И о чем будет эта книга?

— В общем-то обо мне самом.

— Собираетесь ее напечатать?

На минуту он задумался, как бы всматриваясь в открывшиеся перед ним неведомые горизонты литературы:

— Не знаю, может, я все это пишу только для своих ребятишек.

Р е п о р т е р. Вас не раздражает то, что о вас говорит Али?

Ф о р м е н. Нет. Он вроде попугая, который затвердил одно: «Все дураки, все дураки». Не хочу обижать Мохаммеда Али, но он точно как такой попугай. Твердит одно и то же, слышали уже.

Как ему нравится Заир? Формен забеспокоился, в его ответе впервые почувствовалась неуверенность:

— Хорошо бы тут побыть подольше, поездить.— Если боксеру надо выучиться врать, Формен — не боксер.

— А почему вы решили остановиться в «Интерконтинентале»? Вам не нравится Нзеле?

Формен ответил мгновенно:

— Нзеле мне нравится, только я привык жить в гостиницах.

Кто-то из журналистов пришел ему на выручку:

— Правда, что президент Мобуту подарил вам львенка?

— Великоват он для львенка,— тут Формен вспомнил о своей улыбке.— Это настоящий лев.

— Вам нравится быть чемпионом?— Похоже, кто-то выдал репортерам бумагу, уполномочивавшую задавать самые глупые вопросы. Да только так все выходило, что самые глупые вопросы и были самыми подходящими. Волей-неволей Формену приходилось показать, кто же он такой. Итак:

— Вам нравится быть чемпионом?

— Я и сам об этом все время думаю,— сказал Джордж и, уже не в силах полностью скрыть своими бархатными интонациями, до чего он обожает себя, со страстью прибавил:— Думаю и благодарю бога, и благодарю Джорджа Формена за то, что у него н а с т о я щ е е терпение.

В его голосе теперь звучали шизофренические нотки. Шизофрения — неизбежный спутник всех выдающихся спортсменов. Подобно художникам, став профессионалами и достигнув вершин, они не способны понять, что этот профессионал и ребенок, из которого он получился,— одно и то же существо. Ребенок (уже выросший) все еще живет в них своей отдельной жизнью рядом с выдающимся спортсменом и по уши влюблен в этого спортсмена наивной, детской любовью.

Но тренеры и менеджеры не зря учили Формена быстро исправлять ошибки. И, вспыхнув на секунду, он успокоился, поспешив пояснить:

— Не думайте, я не считаю себя лучше других чемпионов. Это звание я, в общем-то, получил взаймы, и его еще предстоит отдать другому.— И пускаясь в откровенность:— Мне даже приятно, когда парни помоложе уставятся на меня и про себя думают: мол, я еще тебе врежу. Мне это смешно. Я и сам таким был. Так и надо. Так и должно быть.

Казалось, пресс-конференция ужасно нравилась Формену, настолько, что он вел себя совсем непринужденно и раскованно. Полная противоположность Али, который в присутствии репортеров обязательно принимался говорить о том, как все вокруг только и стараются его ущемить и обойти, и обрушивал на весь мир профессионального бокса громы и молнии, ставшие привычными, как позвякивание пустой консервной банки на мостовой в ветреный день.

Вопросы шли своим ходом. Формен отвечал все с той же мягкостью, как будто сама его речь была из вытершейся ткани сильно поношенного комбинезона. Лишь один раз он дал почувствовать, каким может быть во гневе. Его попросили прокомментировать заявление Али, что он больше делает для своего народа, активнее защищает его права, чем Формен.

Джордж весь напрягся. Ткань, которую он сплетал, пошла криво, где-то порвало нить. Было заметно, что у него перехватывает дыхание.

— Для людей с понятием,— выговорил он, и голос его взмыл вверх,— здесь не может быть даже сомнений. Вы говорите, что Али борется больше, чем я... а я об этом просто не думаю.

Это было сказано так, что тема оказалась исчерпанной. Стало понятно, что гнев накатывает на Формена так же легко, как слезливость на избалованного ребенка. Должно быть, он легко впадал в неистовство и терял контроль над собой — этим отчасти объяснялась и его тщательно оберегаемая сосредоточенность. Как человек, боящийся высоты и поэтому опускающий глаза, чтобы случайно не взглянуть в окно, Формен

старательно отводил от себя всякое беспокойство.

— Мне трудно сосредоточиться и оставаться вежливым, когда задают вопросы вроде этих.— Формен верил, что от повторения выветривается дух и смысл сказанного.— Послушайте, я ведь готовлюсь к бою. Вот мое дело. И я не хочу от него отвлекаться. С прессой у меня хорошие отношения, только уж позвольте мне думать о том, что для меня важно. Сами знаете, во всем надо быть на сто процентов уверенным в себе.— И он оглядел собравшихся, словно давая понять, что сказал уже достаточно много.

— Последний вопрос, Джордж. Ваши прогнозы?

Формен вновь очутился в своей стихии. Все трудное осталось позади.

— Прогнозы? Ну, вы же знаете, я величайший из всех боксеров.— В шутке он, пожалуй, пережимал.— Я же настоящее чудо. Пятое чудо света. Я даже лучше, чем Мохаммед Али. И я кончу его нокаутом в трех, нет, двух, да что там, просто в первом раунде.

Он заставил себя улыбнуться глазами.

— В общем, я выжму из себя все, на все сто процентов. Вот мои единственные прогнозы.

У конголезцев есть словечко «нголо», означающее силу, жизненную силу. Еще оно может означать личность, положение, мощь или скрытое «я» человека. Али, несомненно, чувствовал, что его «нголо» ущемляют и обходят. Уже десять лет пресса отказывалась признать его реальный масштаб. Пусть по части «нголо» он ничуть не уступил бы любому другому американцу—Али нужно было больше. Самые жестокие душевные потрясения порождает не «нголо», которым наделен, а «нголо», которого лишен. И потому Али не мог проиграть предстоящий бой. Если он потерпит поражение, газеты заполнятся эпитафиями погибшему спортсмену, а у мертвых нет «нголо». Мертвые умирают от жажды, утверждает старая африканская мудрость. Мертвые лишены «нголо», которое приходит с первым глотком пальмового вина, или виски, или пива.

С прессой Али теперь общался круглые сутки. Еще не было боксера, который испытывал бы такое почтение к магии напечатанного слова. Вилла Али с ее «кичем под солидность» была открыта для толпы журналистов, и в полдень, когда кончались тренировки и Формен уезжал из Нзеле в «Интерконтиненталь», а Али отдыхал у себя в комнате, плюхнувшись в низкое кресло, вытянув ноги и сложив на груди свои бесценные руки, усевшиеся вокруг репортеры засыпали его вопросами, на которые он отвечал, демонстрируя в таких разговорах железную выносливость. Он выдерживал словесный марафон день за днем, и его речь оставалась уверенной и ясной, так что никто ни разу не сумел его сбить. Если ему нечего было ответить на какой-то вопрос, он его просто не слышал. Этот снобизм слуха казался у Али царственным.

Разумеется, он был особенно дружелюбен к черным корреспондентам, для которых эти интервью с Мохаммедом были настоящей школой. Ни одна другая негритянская знаменитость не держалась бы с ними так любезно — Али подробно отвечал на каждый их вопрос. Говорил он в микрофон, чтобы можно было использовать пленку на радио, а для тех репортеров, у которых не было магнитофона, замедлял речь и не раздражался, если его слова не записывали. Он знай себе ткал и ткал свою холстину для огромного — на всю землю — мешка. Выиграв бой, Али швырнет весь мир в этот мешок и закинет его за плечо.

После спарринга, в котором Рой Уильямс послал его в нокдаун, Али нравилось ленивым полднем разыгрывать перед репортерами свой любимый сценарий, в котором Формен оказывался разбит в пух и прах.

— Это будет просто разминка. Очень легкий бой. Он не Фрейзер, не станет подставлять голову, только чтобы меня достать. И держит он хуже Фрейзера. Он разнежился и ни черта не стоит.

Сэм Кларк, молодой негр из негритянского агентства, снабжавшего негритянскими новостями негритянские станции, спросил Али, попав в самую точку:

— Представь, что ты тренер Формена, что бы ты ему посоветовал?

— Я бы сказал: не лезь вперед и выжидай. Впрочем, я бы и это использовал к своей выгоде. Я умею все. Да куда он денется, все равно будет стоять на центре как мумия и дожидаться, пока я его обработаю.— И почти без передышки:— Ты слышал, какая от него идет музыка? Смертная музыка. Он уже мумия. А я,— Али усмехнулся,— я его буду хоронить.

— Попробуешь достать его бровь?—сказал еще один репортер-негр.

— Попробую доставать его в о к р у г бровь,— ответил он, и неиссякаемое воображение Али заиграло.— Попробую проучить его как следует, и пусть это будет настоящая победа. Пусть потом не говорят, что я просто рассек ему больную бровь. Когда я выиграю, мне, говорят, предложат за матч десять миллионов.— Это Али произнес с нажимом.

— А если получишь, ты что же, уйдешь?

— Не знаю еще. Сейчас я заработаю только миллион триста. Из пяти миллионов половину заберет правительство, еще полмиллиона — на покрытие расходов, да еще и тренеру. Остается миллион триста. Это для меня не деньги. Дай мне сегодня сто миллионов — завтра не останется ничего. Мы строим госпиталь, черный госпиталь в Чикаго, стоит пятьдесят миллионов. Мои деньги уходят на такие дела. Если я выиграю, то отправлюсь путешествовать.

Он говорил теперь с пафосом и энергией, как кандидат в депутаты, почувствовавший, что избирателям нравится его речь. Он наконец-то ораторствовал.

— Если я выиграю, я стану черным Киссинджером. Очень достойное дело. Только

утомительное. Когда я куда-нибудь приезжаю, приходится идти в школы и к старикам. Для них я не просто боксер, а человек, которого знает весь мир.

Казалось, подобные речи для Али все равно что для Формена тренировки с тяжелой грушей и что он точно упражняет мускулы своей воли, надеясь закалить их как сталь этими упражнениями в красноречии. Трудно было понять, что происходит. Что ж, он так и остался пареньком из Луисвилля, который говорит, говорит весь день напролет, и кто его знает, может быть, еще и всю ночь говорит, чтобы совладать с неукротимой тревогой юнца, захлестнутого историей, затянутого динамо-машиной истории? Или, быть может, приближалась высшая точка процесса, который сделает его редчайшим явлением в XX веке — пророком, и чей гнев, чей страх, звучавшие в словах Али, оттого и бушевали, что он еще не мог учить, не мог, не мог убеждать? Как откликнутся репортеры на эти слова о черном Киссинджере? Али почувствовал, что на их лицах сейчас появится презрение, и, опережая события, тут же принялся фиглярничать:

— Да, ездишь вот по этим незнакомым местам, сидишь у этих людей, и все время приходится есть. Легко, думаете? В Америке обычно предлагают коктейль. Ну, можно отказаться, я же спортсмен. А тут, в Африке, приходится есть. Если откажешься, они обидятся. Конечно, это большая честь, что все тебя так любят, только тяжело это чертовски.

Но Али не мог надолго отвлечься от своей миссии.

— Никто и не догадывается, к чему я стремлюсь,— сказал он.— В Америке боксеров не хотят принимать всерьез. Не понимают, что для меня бокс — это средство добиться кое-чего такого, чего иначе не добьешься. Пока я чемпион, я могу ставить перед собой цели.— И в заключение негромко, словно открывая секрет:— Не для того, чтобы прославиться на ринге, а чтобы многое изменить в мире.

Стало ясно, к чему он ведет. Нужно было только допустить саму возможность, что у Али настоящий ум, а не набор штампованных фраз и что он уже подготовил себя к надвигающемуся хаосу, к этим вулканическим извержениям, которые сотрясут мир в близящиеся годы отравления среды, смятения и экологической катастрофы.

И потрясенный своим открытием, что торжественность, с какой вещал Али, возможно, уходит корнями в расплавленное железо земли и что в безумии своем он вовсе не обязательно безумен, слово взял Норман и, обратившись к Али, сказал:

— Я тебя понял.

— Я говорил серьезно,— ответил Али.

— Да, я знаю.— Он подумал о геркулесовых усилиях Формена на тренировках и о презрительном равнодушии Али.— Только обязательно выиграй этот бой.— Норман услышал, что он сам вещает.— Выиграй, если не хочешь остаться всего лишь профессором, который что-то там несет с кафедры.

— Я выиграю.

— Может, тебе придется поработать, как еще не приходилось. Формен стал отличным бойцом.

— Да,—сказал Али, и это было первое его слово, имевшее ценность для нашего интервьюера,— да, я это знаю.— И добавил с едва заметной злой усмешкой: — Джордж стал много лучше.

У Формена был спарринг-партнер по имени Элмо Хендерсон, в прошлом чемпион Техаса в тяжелом весе. Это был высокий тощий парень, который походил на боксера не больше, чем иссохший в долгих странствиях скиталец,— в своей пестрой одежде он неуловимо напоминал какого-нибудь средневекового шута, когда размашистой походкой двигался через вестибюль «Интерконтиненталя» во внутренний дворик и потом вокруг бассейна, задрав голову, как будто высматривал нечто высоко над линией горизонта. Казалось, он замкнулся в себе и никогда не заговорит,— чистый обман зрения, потому что на самом деле Элмо Хендерсон не закрывал рта. Точно бы в нем звучал неслышимый голос самого Формена, и звучал громко. Элмо подхватил франко-африканское словцо «ойе» (от французского «вуайе» — «послушайте»); когда бы вы его ни встретили в вестибюле или в Нзеле, он был неизменно поглощен чем-то, доступным лишь его внутреннему взгляду. Голос, который он в себе слышал, доносился издалека, исходил из мощного источника силы, и Элмо вибрировал в такт вибрации этой отдаленной динамо-машины. «Ойе!» — орал он всем и каждому, орал невероятно громко, оглушительно. «Ойе! Ойе!» — всякий раз с четко обозначенным интервалом, доходившим до десяти — пятнадцати секунд, но резко, как звонок к обеду. В коридорах и лифтах, на стоянке такси у «Интерконтиненталя», у бассейна, в буфете, вынесенном на открытую террасу, в баре в любой час ночи раздавались крики Хендерсона, то прямо над ухом, то через всю комнату: «Ойе!» Иногда он замолкал, словно ожидая сигнала, а потом — хор цикад застрекотал снова — по холлу неслось это громкое, гнусавое: «Ойе! Формен бома йе! Послушайте, Формен его уложит! Ойе! Формен бома йе!» И каждый раз, как Элмо затягивал свою песню, ощущалось, как бушует кровь Формена, как она бьется дни и ночи в ритме той ярости, что накапливается и поджидает среди одиночества палаты душевнобольного. Хендерсон бродил среди детей и стариков, которых африканские вожди вместе с агентами промышленных корпораций согнали сюда добывать медь, алмазы, кобальт; и каждый импульс этой жизни, сквозь которую он проходил, вливался в его вопли. Богатство, и ярость, и гнев, и неведение —

все это звучало в его голосе, а ко всему этому он добавлял напряжение своей собственной силы, и от его крика начинали лопаться перепонки, словно стрекотал сверчок величиной со слона. «Ойе! Формен бома йе!» А Формен, находился ли он рядом или за сотню метров от Хендерсона, как будто только укреплялся в своем спокойствии благодаря мощи этой глотки. Словно его спарринг-партнер был ночным стражником на обходе, словно все было разумно именно оттого, что все было чистым безумием.

«Ойе! Формен бома йе!»— орал Хендерсон, обходя отель этаж за этажом, и время от времени с загоревшимся лицом, видно найдя вариацию просто пророческого содержания, добавлял: «Раз, два, три, пришел конец тебе, Али!»— и вскидывал вверх три растопыренных пальца. «Ойе!»— завопил он как-то утром, подкравшись сзади к Биллу Каплану, и человек, отвечавший у Формена за прессу, с грустью откликнулся: «Ой вэй, ой вэй!» А однажды Элмо сказал целую фразу. Обращаясь ко всему вестибюлю, он проговорил: «Мы этого Али уделаем — видели, как «роллс-ройс» дыбом ставят? Ойе! Формен бома йе!»

Да, в Африке безумие пускало пышный цвет, и среди всего этого безумия два боксера получат по пять миллионов каждый, в то время как за тысячу миль отсюда, на самом краю мира, черные будут умирать от голода,— по пять миллионов, по сто тысяч в минуту, если бой продлится все пятнадцать раундов, и даже больше тысяч в минуту, если бой кончится раньше. И для безумия было только закономерно, что один из этих двух был революционером и консерватором, иначе говоря, принадлежал к черным мусульманам, конечная цель которых — отхватить от Соединенных Штатов большой кусок Соединенных Штатов и образовать таким путем черное государство, и что этот богатый революционер-консерватор (в десять лет он уже был чемпионом среди мальчишек — по игре в шарики) выходил на ринг против защитника капиталистической системы, а у этого защитника мать была кухаркой, и работала в парикмахерской, и тянула семью из пяти ртов, пока не надорвалась и не попала в сумасшедший дом, сам же защитник, впоследствии признававший за собой «пьянство, безделничанье, жестокость и наклонности к грабежу и насилию», стал воровать у прохожих кошельки, причем — здесь цитируется Леонард Гарднер —«оказался к этому совсем непригоден, давал себя разжалобить воплями своих жертв, взывавших к небесам, прибегал назад и возвращал украденное». Этим он занимался от четырнадцати до шестнадцати. Остальное известно. Формен начинает тренироваться в боксерском подготовительном центре и становится олимпийским чемпионом в тяжелом весе, не достигнув и двадцати одного года. Победив, он пускается в пляс на ринге, размахивая флажком. «Пусть никто не вздумает ругать при мне американскую систему,— заявляет он, осененный этим флажком,— потому что она вознаграждает любого, только надо соображать, не бояться работы, вкалывать как следует и чтобы тебя ничто не могло сломить. Этот флаг будет со мной во всяком общественном месте, где я появлюсь». А шесть лет спустя на обеде, устроенном спортивными репортерами, Али заорет на него: «Ты, христианин паршивый, убери к чертям собачьим свою тряпку и запомни: я тебе еще врежу, сволочь». Они схватились прямо за столом, Али разорвал на Формене рубашку, так что тот без рубахи и в смокинге выглядел довольно нелепо. Формен не остался в долгу, донизу разодрав со спины куртку, которая была на Али. День спустя последовали взаимные извинения. Али заявил, что «никогда не будет оскорблять религиозных чувств», но психологические последствия эпизода остались неопределенными вроде «Али бома йе!» или «Формен бома йе!»— во всяком случае, совсем не такими ясными, как в тот раз, когда, выступая по телевидению вместе с Джо Фрейзером, Али все время говорил ему, что тот полный идиот, пока Фрейзер не бросился на него с кулаками. Было это за несколько дней до их второго боя, и оскорбления на телевидении помогли Али выиграть этот бой, ведь в середине Фрейзер имел явное преимущество и к девятому раунду, похоже, приближалась развязка нокаутом, потому что последние минуты восьмого, великолепные по качеству бокса, Али еле дотянул. А Фрейзер был настолько в себе уверен, что в девятом раунде выскочил на середину ринга, не дождавшись гонга: «Ах так, значит, полный идиот?» Рефери оттолкнул его назад как раз в тот момент, когда прозвучал гонг. Али получил лишних пятнадцать секунд отдыха именно в тот момент, когда нуждался в них всего острее. Фрейзер в последний раз ринулся вперед, вложив в эту атаку все: «Полный идиот, так, что ли?» Но Али ушел из угла еще до конца девятого, и переломил бой: «Да, полный идиот»,— и выиграл по очкам при расхождении судейских голосов. За этот бой ему стоило выдать диплом профессора-психолога. Но теперь требовалось ту же сообразительность приладить к поведению соперника, одержимого чувством вины и руководствующегося логикой психопата,— «Раз, два, три, пришел конец тебе, Али!» — теперь изобретательность надо было согласовать с причудливыми ходами замутненного ума — «Ойе! Ойе!»— и не забыть, как в Хьюстоне Формен перебил одно за другим двести окон, потому что ему нравился звук трескающегося стекла. Может быть, в самой дисциплине Формена, в этой его железной невозмутимости скрывалось эхо тех трескающихся стекол, да, возможно, что так, что и ставки на бой были тем же эхом безумия, и сумеет ли Али расположить к себе людей, которые заполнят в Америке два с половиной миллиона кресел в кинозалах, где будут транслировать на широкий экран его бой, где болельщики будут его подбадривать, при помощи электроники посылая через океан свои воинственные крики и позабыв о разнице времени? А пока Али, ве-

ликий визирь Али, должен был расположить к себе публику Заира, непонятной страны размером с Аляску, Колорадо и Техас вместе взятых, с его безумной Киншасой, где зря пропадали заготавливаемые день за днем 280 000 яиц, 75 000 кусочков масла и 115 000 сахара — все это для тысяч туристов, не соблазнившихся барабанами в тропической ночи и не приехавших,— о нет, увольте, еще не хватало платить две тысячи долларов за риск очутиться в племенном котле, куда спокойно могли отправить чужестранца жители этой страны, из которой в 1961 году бельгийцы улепетывали так поспешно, что корреспонденту «Тайма» Ли Граймсу, человеку с приятным, внушавшим доверие лицом, какой-то незнакомец сунул ключи от своего дома и от машины. «Пользуйтесь, сколько хотите»,— сказал тот напоследок, прыгая на паром прямо по кустам гиацинта, спеша на тот берег Конго, в Браззавиль, прекрасный Браззавиль, безопасный (в ту пору) Браззавиль, а Ли Граймс, что ж, он и занял дом этого бельгийца и разъезжал в его «фольксвагене», а по машине палили со всех сторон, шестьдесят четыре пули застряли в ее обшивке, и «фольксваген» в конце концов откозлял. На всех шоссе стояли заставы, и Граймс размахивал перед чернокожими часовыми своим удостоверением, вставленным в конвертик из пластика,— да, такой вот был этот Заир, страна, по территории равная Австрии, Бельгии, Британии, обеим Германиям, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Португалии, Франции и Швейцарии, страна, где было двести языковых групп — двести групп!— а грамотных насчитывалось тридцать пять процентов (говорили, даже меньше), страна, занимавшая площадь, равную всей площади США к востоку от Миссисипи, и пересекаемая рекой, растянувшейся на две тысячи девятьсот миль от недоступных гор и джунглей до устья на берегу океана у Матади, рекой Кунго, Конго,—«Слушайте, как стонет душа Леопольда, душа Леопольда стонет в аду»,— Конго, переименованной в Заир. О, как возликовала бы душа Вэчела Линдсея, услышав этот резкий звук — Заир:

Я УВИДЕЛ КОНГО, ПРОСТЕРТОЕ В НОЧИ,
СТРЕМЯЩЕЕ СКВОЗЬ ЗАРОСЛИ СТРУЙ СВОИХ МЕЧИ.
И вдоль его берега на много верст
Людоедов пляшущих растянулась горсть.
Я услышал песен кровожадных стон,
Под берцовой костью рокочущий гонг.
«КРОВИ!» — выли дудки и флейты ворожей.
«КРОВИ!» — выли маски колдунов-вождей.
«Закружитесь в вихре барабанной дроби!
Все в поход! Все в поход!
Вверх по ущельям угоняйте скот!
Все, что ни встретится, все вверх дном!
Бумлэй, бумлэй, бумлэй, БОМ!
Бинг!»
Вдоль по всему берегу ухают гонги,
А за ними пляшущий, воющий хор.
От самого устья мощного Конго
Вплоть до истоков средь Лунных гор.

(Перевод И. А. Кашкина)

Да, Конго, а теперь Заир, и деньги этой страны называются заиры, и бензоколонки в ней украшены надписями «Петроль Заир», и даже на щитах, рекламирующих сигареты, написано «Курите «Заир». «Наш Заир, наш великий Заир» — страна, куда впустили боксеров и тридцать пять (из ожидавшихся пяти) тысяч туристов после прививок против холеры, черной оспы, тифа, столбняка — не забудьте захватить с собой гамма-глобулин, а уж о таблетках от желтой лихорадки и от малярии нечего и говорить; страна, где еще от Каопектате слышен стон духа Леопольда, где упразднены все титулы вроде «ваше высочество» или «ваше преосвященство», где Мобуту называют очень скромно — Лоцманом, Вождем, Кормчим, Освободителем, Отцом Революции и Непоколебимым Защитником Народа и Его Богатств, а когда-то звали просто Жозефом Дезире, но настала пора африканской самобытности, и теперь он Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду Ва За Банга— «всемогущий боец, чья несгибаемая воля и великое упорство ведут к победам и завоеваниям, и огонь остается там, где он прошел», попробуем перевести короче: «Петух, заклевавший всех цыплят, Ва За Банга всех вас по заднице»,— итак, теперь он Мобуту, и у него свой собственный «Боинг-707» и собственный автомобиль марки ДЦ-10, собственный радиотелефон, по которому можно связаться с любым чиновником в стране, и своеобразное политическое прошлое: в 1961 году он отправил Патриса Лумумбу в тюрьму в Катангу, и все знали, что его там убьют, а затем возник памятник мученику Лумумбе, самый высокий памятник во всей Киншасе,— да, теперь он, Мобуту, Руководитель, Лидер, Рулевой, Избавитель, Глава Революции, «и куда бы он ни шел, его приветствуют как спасителя заходящиеся в истерике плясуны, вопя и махая руками, топоча, подпрыгивая и все время вознося хвалу Президенту»,— так пишет Дж. Дж. Граймонд в «Нью-Йорк таймс», а министерство национальной ориентации не спешит воспользоваться богатыми наблюдениями его статьи. «Формен бома йе»,— орет Элмо Хендерсон, проходя по внутреннему дворику мимо ресторана на открытом воздухе...

НОРМАН МЕИЛЕР
БОЙ

Случалось, что уже на взвешивании был ясен исход поединка, но обычно взвешивание производилось утром в день боя, и поэтому можно было выяснить только одно — как соперники спали ночью. А на этот раз взвешивание назначили на вечер субботы, за трое с лишним суток до боя. И оно было всего лишь рекламным мероприятием, предназначенным заполнить добрую половину электронного «Широкого мира спорта», который появлялся на телеэкранах Америки по субботам в полдень. И хотя на стадион бесплатно пустили тысячи зайцев, это мероприятие не могло не получиться ужасающе скучным.

Журналисты предполагали, что толпа встретит Али воплями восторга, но ничего особенного не произошло — просто ему похлопали несколько минут, а Формену, пожалуй, вполовину меньше, но и это оказалось сюрпризом — все-таки можно было сравнивать. Произнесли полагающиеся речи; публика осталась равнодушной. Из-за сгрудившейся вокруг ринга толпы человек в сто боксеров почти не было видно. Кое-кто пришел заранее и долгие часы проторчал, стоя на грибуне. Да и вообще, когда тяжеловес забирается на весы, это зрелище не из захватывающих, и больше всего взволновала собравшихся допущенная в этот вечер ошибка. Было объявлено, что вес Али — 206 фунтов. Таким худым он не был уже много лет, но цифру тут же исправили — 216 фунтов. Ошибка при пересчете в фунты из килограммов. Журналисты свистят. Али оказался фунтов на восемь тяжелее, чем обещал, а это значит, что ему едва ли удастся использовать свои козыри — быстроту реакции и скорость передвижения по рингу. В общем-то, вес у него был почти одинаковый с Форменом — у того 220 фунтов. Формен сосредоточенно замер на центре ринга. Он не слышал ни звука, не хотел слышать.

Али опять казался угрюмым. Он шагнул через канаты, помахивая стеком из слоновой кости, и похоже было, стек интересовал его больше чем все происходящее. Он тщательно ощупывал этот стек своими пытливыми пальцами — новые вещи всегда его привлекали, и уважение к ним чувствовалось даже в его жестах. Но реакция толпы, как видно, не слишком ему понравилась. Ему скандировали «Али бома йе!», но не очень-то уверенно и вдохновляюще.

Заиграла музыка. Это была до странности беспечная музыка, струящаяся, как ритмы карибских плясок,— музыка для бедер, делай что хочешь, только бы двигалась спина. В ней не чувствовалось мерного постукивания одетых в перчатки кулаков; удивительно, как разочаровало всех это взвешивание. Даже ринг установили слишком низко. В Нзеле перестарались, чрезмерно подняв ринг, здесь его чересчур опустили. Фотографы прижались к самым канатам, и с журналистских столиков ничего нельзя было увидеть. Всем приходилось стоять на ногах.

Сказать по правде, и сам стадион мог быть получше. Особенно угнетающее впечатление производили ворота. Когда строили, не задумывались, как сюда будут входить, больше соображали, как бы затруднить выход, если полиция вознамерится тебя задержать. Входить на стадион было все равно что наливать пивной бочонок через воронку величиной с детскую соску. Пройдя ворота не больше обыкновенных дверей, можно было попасть с улицы к турникетам, а миновав их, надо было по длинным узким коридорам добираться до своих мест. Был еще подземный коридор, овалом охватывавший весь стадион, и по всему коридору располагались комнатушки с цементными стенами, от пола до потолка выкрашенными в один и тот же серый цвет. Они отделялись от коридора стальными решетками и бетонной переборкой. Настоящая тюрьма.

В Африке Норман старался присматриваться ко всему внимательно, не упуская ничего.

Наверное, прежде всего ему нужно было присмотреться к самому себе. Тем вечером, выпив после взвешивания, он поднялся в номер и очутился на балконе. Может, так задумал зодчий, а может, пока строили «Интерконтиненталь», поднялась цена на балконные ограждения, но только эти ограждения повсюду отсутствовали — такая любопытная архитектурная особенность. Не балкон, а что-то наподобие полки. Чтобы попасть на эту полку, надо было лезть через большое окно в комнате. Полки шли вдоль всей наружной стены, каждая футов двадцать в длину, а в ширину от окна до выступа примерно три фута. Добравшись до выступа, на котором не было никакой решетки, желающие могли взглянуть вниз с высоты восьмого этажа.

С обоих концов полка каждого номера отделялась от соседней цементной перегородкой от пола до потолка шириной в те же три фута. Поставили эти перегородки, как видно, для того, чтобы жильцы не разгуливали вдоль этажа и не заглядывали в окна к соседям.

Не требовалось большого ума, чтобы понять, что перегородки, разумеется, имели чисто психологическое назначение. Перебраться на соседнюю полку можно было, но для этого приходилось сделать шаг по воздуху, уцепившись за обе стенки перегородок, чтобы не свалиться. Стенки, вплотную пригнанные одна к другой, были толщиной сантиметров пятнадцать каждая. Цепляясь за них, человек рисковал слишком отклониться назад, не удержаться и полететь вниз. Конечно, это было маловероятно. Надо было уж очень сильно отклониться назад, чтобы разжались пальцы, сами понимаете, весьма крепко прижатые к стенкам. Пожалуй, что для такого перехода к соседям даже не нужно было особой сноровки. И все-таки уже от одной мысли об этом голова шла кругом. До чего нелепо вот так погибнуть. Смерть в результате несчастного случая — какая гнусность! Начали шевелиться воспоминания о том, как кончил Хемингуэй.

Как-то Норман полез по стремянке в студии одного недавно умершего художника. Когда с предпоследней ступеньки он шагнул на самый верх, его сердце заколотилось до смешного сильно. Там, наверху, он пошатывался и вздрагивал, точно ручка настройки у радиоприемника. Он оказался во власти какого-то течения, существовавшего совершенно независимо от него. Он забрался туда, где бушевала магия. Какая дрожь била его, когда он начал спускаться! А ведь для страха не было причин. Чуть раньше в тот же самый период его жизни произошло нечто сходное. Его послали в Бостон писать отчет о втором бое Али с Листоном, и много дней подряд он мучился, стараясь заставить себя залезть на парапет и сделать по нему несколько шагов. Парапет был шириной в целых тридцать сантиметров, так что не требовалось никаких навыков эквилибриста. Но все-таки надо было сделать пятнадцать шагов по краю крыши старого высокого дома на Бикон-Хилл. И Норман изводил себя дни напролет, ощутив острую необходимость это сделать. Пока, наконец, не сделал. А час спустя Али порвал на тренировке мышцу в паху. Бой отложили на несколько месяцев. Так вот, узнает ли когда-нибудь Норман с полной достоверностью, была или совсем не была связана эта его прогулка по крыше с травмой Али? Маленькая задачка для мага.

А здесь последние дни его преследовало то же самое искушение. Бой тяжеловесов за звание чемпиона мира — это водоворот событий и страстей, конечно затянувший и Нормана. Но таких искушений он старался избегать долгие годы. Слишком они расходились с необходимостью жить день за днем, сохраняя разумное равновесие между человеческим мужеством и человеческим страхом; твоя индивидуальная эксцентричность слишком уж выпадала из ряда. Норман знал, что вполне может перелезть через перегородку. Но вдруг на него опять нападет та неподвластная ему дрожь, которая охватила его тогда, в студии, летним днем десять лет назад? И размышляя, перебираться ли на соседний балкон, он решил, что нечего даже взвешивать шансы «за» и «против». Но сама эта мысль показалась ему отступничеством от Али. Норман знал, что, если он перелезет, шансы Али станут весомее. И был взбешен собственным тщеславием. Али не нуждался в его доморощенной магии. Но ведь его ожидал Формен, а значит, Али потребуется вся помощь, которую ему только могут оказать.

И вечером в ту субботу, через много часов после взвешивания, не то чтобы здорово пьяным, но пьяным и здоровым, ясно понимая, что он делает, и работая конечностями с такой уверенностью, какую обретает за рулем смертельно пьяный человек, Норман отправился в свой номер, не спеша открыл окно, вылез на балкон — было четыре часа, начиналось воскресное утро — и, уперевшись с двух сторон руками в перегородку, перебрался на соседний балкон, кивнул, вернулся к себе, проделал то же самое с перегородкой на другой стороне, опять кивнул, вернулся, через окно залез обратно в номер, лег и, уже сонный, пробормотал про себя: «До чего же все просто».

II. НГОЛО

Али досталась неуютная раздевалка. Это была большая комната с круглыми колоннами, выложенными белым кафелем, и даже обои были белые. Она напоминала еще и операционную. Да, из этого морга не донесется ни стона. Повсюду белый кафель. Вот и настраивайся на бой.

От состояния собравшихся не становилось веселее. Всем было нечего сказать.

— Ну, что такое?—спросил входя Али.— Перепугались, что ли? Да что вы, в самом деле?

Он стащил с себя одежду, остался в трусах и двинулся танцующей походкой по комнате, имитируя бой с тенью.

Его спарринг-партнер Рой Уильямс, который должен был до главного события программы провести десятираундовый бой с Генри Кларком, сидел на массажном столе, уже в боевой форме. Произошла какая-то накладка: приехав на стадион в свите Али, Рой выяснил, что он опоздал к своему поединку. Теперь предполагалось, что он выйдет на ринг только после центральной встречи. Радоваться было нечему.

— Боишься, Рой? — бросил Али, приблизившись к нему танцевальными движениями.

— Еще чего.

Уильямс говорил спокойно и выразительно. Из всех, кто набился в раздевалку, он был самый черный и самый воспитанный.

— Ладно, а мы потанцуем.— И Али, проносясь мимо, чуть не задевал спиной колонны, причем всякий раз это доставляло ему удовольствие. Подобно ребенку он обладал способностью чувствовать, что у него за спиной, словно бы умел осязать не только кожей.— Да, потанцуем и еще,— выпад в воздух,— еще мы его здорово отлепаем.

За исключением Роя Уильямса, лишь Али был настроен легко и весело. Когда он присел передохнуть, Норман сказал ему:

— Мне страшно. Больше, чем тебе.

— А чего бояться? Просто еще одно событие в драматической биографии Мохаммеда Али. Еще одна разминка, вот и все.— Он повернулся к репортеру Плимптону и добавил:— Мне страшно, когда смотрю

НОРМАН МЕЙЛЕР
БОЙ

фильм ужасов и еще когда гроза. В реактивных самолетах тоже страшновато. А если знаешь, что все от тебя зависит, от твоей силы, от уменья, тогда другое дело, не боишься. Ужас мне внушает один Аллах. Знаешь почему? Потому что тут ты ничего не можешь сделать — просто стоишь перед Ним и ждешь. Он один, у Него советников нет.

В голосе Али появились звучность и трепет. Видимо боясь растратить на эту проповедь слишком много сил, он сменил тему:

— Да, бояться нечего. Подумай: Илайя Магомет такое вытерпел, что все сегодняшнее просто ерунда. Я, конечно, не Илайя, да только тоже кое-что испытал. Вот когда первый раз дрался с Листоном, так с этим ничто не сравнишь — ни Джорджу Формену, ни мне самому никогда больше так не доставалось; такого страха натерпелся, ну, может, только когда убили Малькольма Икс и грозили мне. Убить грозили, по-настоящему. А сегодня-то я и совсем не боюсь.

Он резко встал, словно кончился минутный перерыв между раундами, и опять начался бой с тенью, а толпившиеся в раздевалке шарахались в сторону, потому что удары проходили в сантиметрах от их глаз. Приблизившись к своему массажисту, малорослому турку по имени Хассан, Али вдруг выбросил два пальца и ущипнул его ниже спины.

Но как он ни старался, настроение в раздевалке оставалось прежним. Словно кучка родственников сбилась в больничной приемной и ждет вестей, чем кончилась операция.

Али сидел теперь на массажном столе посреди комнаты, натягивая длинные белые боксерские ботинки и поочередно поднимая ноги, чтобы секундант поскреб подошвы ножом — от этого они меньше скользили. Кто-то подал ему гребень — стальной трезубец, который носят в волосах черные, если хотят походить на африканцев. Али тщательно причесался. По его сигналу принесли местную французскую газету, где был помещен полный список боев, проведенных Форменом и Али. Он зачитывал Мейлеру и Плимптону имена из этого списка, не забывая еще раз напомнить, что Формен дрался только с теми, кто ничего не стоил, а у самого него противники были один лучше другого. Он словно хотел еще раз оглянуться на все то настоящее, что было в его жизни. Впервые за все эти месяцы он, похоже, вынес на люди свой тайно мучивший страх. Али болтал, будто в комнате больше никого не было и он разговаривает сам с собой, как во сне. «Порхай, как бабочка, жаль, как пчела, только б была на плечах голова»,— повторил он несколько раз, как будто этот его давний боевой девиз утратил для него смысл, и вслед за тем пробормотал:

— Меня кидало вверх, потом вниз. Сами знаете, все было.

Он потряс головой. Полночь стояла за окном, словно страшный людоед, и, вглядываясь в нее, Али добавил:

— Наверно, когда нокаут, становится темно и ничего не видно. У меня нокаутов не было. Были нокдауны, а нокаутов ни разу.— И, как спящий, который проснулся в испуге, осознав, что его сон — это только оболочка, скрывающая за собой смерть, Али выкрикнул:— Так странно... ничего не можешь.

Он снова потряс головой.

— Да,— сказал он,— паршиво, когда тебя душит ночь,— и посмотрел на обоих журналистов пустыми глазами больного, почуявшего тайное присутствие смертной угрозы, которой не различит и не поймет ни один врач.

После чего, видимо, кончилась эта борьба с собственными переживаниями, наплывавшими на Али, как туман, потому что тут он произнес сакраментальную фразу, что пора уже готовиться к «барабанам в ночи», и начал окликать всех по очереди.

— Ну что, Бундини,— крикнул он своему тренеру,— потанцуем?

Бундини молчал. В воздухе висела печаль.

— Вы, видно, оглохли. Я сказал: потанцуем?

— Потанцуем, потанцуем,— грустно отозвался Джин Килрой, его агент.

— Потанцуем!—сказал Али.—Потанцуем!

Секундант принялся бинтовать ему руки. За этой операцией внимательно следил Док Бродес, наблюдатель от Формена. Это был низкорослый, плотно сбитый негр лет шестидесяти; много лет назад он нашел Формена в боксерском подготовительном центре и с тех пор работал с ним почти все время. В «Интерконтинентале» Бродеса знали все, потому что он давно прославился своими пророческими снами. Во сне он видел те нокауты, которыми Формен кончил свои бои и с Фрейзером, и с Нортоном. Теперь Бродесу приснилось, что его Джордж победит во втором раунде, но он остерегался делать уверенные прогнозы. Что-то там в его сне не сходилось.

Али разговаривал с Доком Бродесом так, точно особенно дорожил возможностью довести до сведения Формена все, что происходит в раздевалке в эти последние минуты перед поединком. Он уперся в Бродеса тяжелым взглядом, под которым тот заерзал. Бродес чувствовал себя в присутствии Али неловко. Возможно, оттого, что слишком долго восхищался им как боксером, а на этот раз очутился в лагере противника Али.

— Передай своему парню,— доверительно сказал ему Али,— пусть приготовится к танцам.

Бродес опять поежился. В этот момент ворвался в раздевалку Ферди Пачеко, посланный наблюдателем к Формену. Он был вне себя.

— Послушай,— заорал он на Бродеса,— меня к вам не пускают! Это что ж такое? Бокс сегодня или третья мировая война? — Чувствовалось, что Пачеко растерян и напуган. Видно, на него подействовала та атмосфера ярости, которая царила в разде-

валке Формена. Бродес быстро поднялся, и они вышли.

Али разговаривал с Бундини:

— Так что, будем танцевать, а, Бундини?

Бундини молчал.

— Танцевать, говорю, будем?

Молчание.

— Почему ты молчишь, Дрю? — Это было сказано с театральным пафосом, как будто только так можно было встряхнуть собеседника.— Потанцуем, Бундини? — снова спросил Али и с утрированным смирением в голосе добавил: — Не могу же я танцевать без него.

— Я для тебя приготовил такой хороший халат, а ты его не хочешь надеть,— сказал Бундини хрипло, что было у него знаком глубокого переживания.

— Ладно, Бундини. Я ведь чемпион. Придется тебе кое-что мне позволять. Ты даже халат мне не даешь выбрать, а еще хочешь, чтобы я выигрывал. Может, еще будешь говорить мне, что есть? А, Бундини? Может, будешь водить меня за ручку? Мне грустно, Бундини. Жутко. А ты что ж? Не хочешь меня подбодрить?

Бундини еще хмурился, но его губы уже растягивались в улыбке.

— Ну что, будем танцевать? — спросил Али.

— Всю ночь напролет.

— Точно. Будем танцевать, танцевать...

Вернулся Бродес, который провел Пачеко в раздевалку Формена, и Али повторил весь спектакль перед ним.

— Знаешь, что мы будем делать? — спросил он, обращаясь к Бундини и Килрою.

— Мы будем танцевать,— на лице Килроя появилась печальная улыбка влюбленного,— танцевать всю ночь напролет.

— Ага, мы будем танцевать,— повторил Али и, обернувшись к Бродесу, напомнил ему: — Передай, пусть приготовится.

— Я у него не распоряжаюсь,— пробормотал Бродес.

— Нет, ты скажи, пусть готовится к танцам.

— Он не умеет.— Бродес произнес это, словно предупреждая: у моего парня есть дела посерьезнее.

— Чего не умеет?

— Танцевать не умеет,— сказал Бродес.

— Вот этот, от Формена, говорит, что Джордж не умеет танцевать,— сказал Али, обращаясь ко всем.— Слышите, Джордж не умеет тан-це-вать.

— Пять минут до выхода! — крикнул кто-то.

Али подали бутылку с апельсиновым соком. Он отхлебнул с полстакана и, весело поглядев на Бродеса, сказал:

— Ладно, передай, пусть бьет в живот.

А Джордж как раз и собирался. Джордж именно и хотел бить в живот. И предстояло настоящее сражение. Суматоха была такая, что почти никто и не расслышал про пять минут. К раздевалке примыкала ванная, и Али ушел туда вместе со своим менеджером Гербертом Магометом, сыном Илайи Магомета, круглолицым и с виду добродушным человеком, чья наружность свидетельствовала о полном отсутствии корыстных интересов,— оттого и создавалось впечатление, что провести его было бы очень непросто. Сейчас на нем был белый хитон до самых пят, как и подобало мусульманскому проповеднику, отправившемуся со своим подопечным совершить молитву. Из-за стены доносились стихи Корана — лишь в Коране мог быть такой арабский. С уходом Али раздевалка сразу опустела, и оставшиеся только переглядывались, понимая, что говорить не о чем.

Появился Ферди Пачеко, вернувшийся от Формена: «Все в порядке. Поехали». Через минуту вышел из ванной, боксируя с тенью, Али. Сын Илайи Магомета сопровождал его, продолжая молиться.

Кто-то спросил Пачеко, как дела у Формена.

— Формен не разговаривает. Сидит весь в полотенцах.

Со стадиона доносилось передаваемое по цепочке из уст в уста:

— Али, на ринг! Али, на ринг!

Бундини торжественно облачил Али в белый африканский халат, который тот выбрал. И все, кто был в раздевалке, теперь потянулись из нее длинной вереницей в двадцать человек, проталкиваясь через взвод солдат, охранявших вход, а потом шагая все быстрее мимо все новых и новых солдат — целой роты — по коридорам из бетона и кирпича, еще хранившим слабые отголоски звучавших здесь ружейных залпов и память о том, как погибали здесь люди. Вышли на воздух, на ослепительную роскошную зелень травы, залитой электричеством и яркой, как на картинах сюрреалистов; и при появлении Али раздался приветственный гул громадной толпы, только не такой мощный, как можно было ждать,— да и понятно, почему не такой мощный, ведь бой Уильямса и Кларка перенесли, и битый час люди просто разглядывали пустой ринг, а до этого были пляски, и еще пляски, и еще пляски разных племен, с полуночи до четырех утра, и медленно-медленно тянулись минуты перед главным событием. Это событие народ страны Заир ожидал три месяца, и вот он на него собрался, тысяч шестьдесят зрителей, расположившихся широким кругом на трибунах далеко от ринга, установленного в центре футбольного поля. Должно быть, они были разочарованы. Все равно что оказаться в типовом доме и через окно наблюдать за людьми в другом типовом доме, расположенном по ту сторону шоссе на двенадцать автомобильных полос. Над рингом установили, подперев балками, козырек из рифленой жести, под которым укрылись и две с половиной тысячи мест вокруг арены — на тот случай, если начнется тропический ливень, который мог разразиться в любую минуту, так как по ка-

лендарю был уже сезон дождей. Он запаздывал недели на две с лишним. Почти ежедневно шли небольшие дожди, и темное небо зловеще нависало над землей. В Америке такое небо предвещает короткую и сильную легкую грозу, но африканские облака были терпеливы, как люди, и дымящееся, черное, клокочущее небо могло висеть над головой много дней, прежде чем упадет хотя бы капля.

В воздухе ощущалась какая-то тяжесть от этого надвигающегося дождя. Ночь была полна этой тяжестью, и для такой рани было жарко — градусов тридцать или чуть больше. Но, думая о надвигающемся бое, Норман, пожалуй, испытывал скорее озноб. Он сидел рядом с Плимптоном во втором ряду от ринга, и ради такого места стоило лететь за тысячи миль (хотя, учитывая, что он летал дважды, цифра подскакивала до двадцати пяти тысяч миль — не много ли авиатоплива на душу?). Передний ряд занимали комментаторы телевидения и радио, ринг со всех сторон облепили фотокорреспонденты, а там, за канатами, Али натирал магнезией подошвы, поочередно демонстрируя их всей толпе, время от времени отрываясь от этого занятия и с калейдоскопической быстротой, за секунду-другую, нанося по воздуху ритмичные серии ударов — раз Миссисипи, два Миссисипи, двенадцать таких выпадов-отходов в считанные мгновенья. Мелькают перчатки, вопит толпа. Он совсем одинок на ринге, этот Соискатель, бросивший вызов Чемпиону, этот Принц, поджидающий Претендента, и в отличие от других боксеров, сникающих за те долгие минуты, пока не появится обладатель титула, Али, казалось, находил царственное наслаждение в том, что все пространство ринга сейчас безраздельно принадлежало ему одному. Он выглядел бесстрашным и почти счастливым, и ясно было, что, прожив две тысячи дней после того, как его — без состязания — лишили звания чемпиона мира и возможности выходить на ринг, пройдя через это потрясение, для спортсмена не менее тяжелое, чем для писателя было бы создать «Прощай, оружие!» и липиться надежды его напечатать, выдержав эти библейские семь лет испытаний, он выработал в себе дисциплину, которая позволила ему сохранить неприкосновенными свое достоинство свой талант, свою жажду всегда быть великим, и все это светилось в Али вот сейчас, в этот решающий миг. Тело его переливалось блеском, как шерсть призового рысака. Он был полностью готов к бою с самым сильным и самым злым из тяжеловесов, каких перевидал за многие годы ринг, а может, и вообще с самым злым из сильных людей, а пока Принц стоял один, поджидая Чемпиона, весь в своих мыслях — неважно каких, о чем-то беседуя про себя с Аллахом, неважно, как это у него получалось пока он так стоял, натирая подошвы и круша ударами воздух, личный представитель Всемогущего в облике Анджело Данди из Майами, секунданта Али, не спеша обходил ринг и на глазах у всей толпы так же не спеша ослаблял крепление всех четырех стоек при помощи плоскогубцев и гаечного ключа, которые он положил в свою сумочку еще в Нзеле, привез на стадион и из раздевалки доставил к месту событий. Ослабив канаты, на его взгляд, достаточно, чтобы они не пружинили и можно было на них откидываться, Данди вернулся в тот угол, который выбрал Али. Никто не обратил на него особого внимания.

Формен был еще у себя в раздевалке. О том, что там происходило, позднее разузнал Плимптон через своего старого приятеля Арчи Мура. «Перед самым выходом на ринг,—писал Плимптон,—Формен и весь его трест собрались в кружок и скрестили руки — вроде ритуального моления, которое у них было обязательным с того боя на Ямайке, когда Формен стал чемпионом... Здесь, в Заире, они тоже скрестили руки, и Арчи Мур, который стоял наклонив голову, вдруг понял, что должен помолиться за жизнь Мохаммеда Али. Он сказал потом: «Я молился от всего сердца, молился, чтобы Джордж не убил его. Я знал, что такое вполне возможно». Другие знали тоже.

И вот он появился на ринге. На Формене были красные вельветовые трусы с белыми полосками по бокам и голубым поясом. Цвета американского флага. Белые ботинки. Выглядел он торжественно и немного глуповато — здоровый парень, по словам Арчи Мура, «сам не понимающий, как он силен».

Рефери Зак Клейтон — негр, пользовавшийся большим уважением,— уже ждал. Джордж едва успел дойти в свой угол, натереть магнезией ботинки, размять ноги и пошушукаться с трестом, как рефери подозвал обоих боксеров к себе, в центр ринга. В эту минуту противники нагоняют друг на друга страх одним своим видом. Особенно умел запугивать соперников Листон, пока не встретился с Али, тогда еще двадцатидвухлетним Кассиусом Клеем, который отразил атаку свирепым взглядом, вобравшим в себя всю его волю и веру в великое свое призвание. Формен тоже умел пугать — это узнал Фрейзер, а потом и Нортон. Взгляд, тяжелый, как сама смерть, давящий, словно захлопываются двери в склеп, где ты лежишь.

Впоследствии все узнали, что сказал Формену Али: «Ты еще смолоду обо мне слышал. Тянулся за мной, когда сам был еще мальчишкой. Сейчас увидишь, какой у тебя учитель!» — в ту минуту, конечно, журналисты не могли разобрать ни слова, видели только, что Али смотрит на Формена в упор, вплотную к нему придвинувшись и шевеля губами. Формен моргнул; видимо, он был удивлен — впечатление оказалось чуть сильнее, чем предполагалось. Он похлопал Али по перчатке, и это означало примерно следующее: «Ладно, этот раунд ты выиграл. А теперь начнем!»

Разошлись по углам. Прижав к себе локти и закрыв глаза, Али возносил молитву. Формен повернулся к нему спиной. Ухватившись за канаты, он стоял на согнутых ногах, выставив свои мощные ягодицы. Он

не двигался, и поза его выражала издевательское: «На, поцелуй меня в задницу». Так прошли последние полминуты.

Гонг! Через неслышный протяжный вздох облегчения, несущийся с трибун, Али рванулся к центру ринга. Казался он не менее сильным и решительным, чем Формен, и поэтому сдерживал себя, точно настоящая угроза исходила от него. Они сцепились, еще не дойдя друг до друга — соперников разделяло метра полтора. И тут же друг от друга отшатнулись, два одинаковых магнитных полюса, энергично отталкивающих один другой. Вновь вперед пошел Али, и Формен устремился навстречу; кружа, делая обманные движения, они двигались по наэлектризованному кольцу, и вдруг Али нанес первый, пробный удар левой. Не дотянулся. Но тут же последовал резкий, как молния, прямой правый, пришедшийся озадаченному Формену точно в голову, и четко слышимый глухой шлепок дал почувствовать, какая сила была вложена в этот удар. Публика взвыла. Чем бы ни кончился бой, Формену уже досталось. За многие годы ни один противник не наносил ему таких тяжелых ударов, а партнеры по спаррингу никогда бы не осмелились.

В ярости он бросился в атаку. Али погасил этот выпад. Он зажал голову Формена и рванул ее вниз грубо и решительно, ясно показывая, что будет куда более жесток, чем думали, и что дело началось всерьез. Противники подкарауливали друг друга, за отвлекающими замахами следовали выпады и отходы. Как будто у каждого в руках было по пистолету. Стреляй, только не промахнись — другой не промажет. Атакуй, но если соперник к этому готов, сам получишь встречный в голову. А это страшно. Все равно что схватиться за высоковольтный провод. Тут же повалишься без сознания.

Али не танцевал. Скорее раскачивался из стороны в сторону, ища возможности для атаки. То же самое делал Формен. Прошло секунд пятнадцать. Вдруг Али опять нанес удар. Опять правой. Опять тяжелый. Точно взмахнули палкой, расколов арбуз. И снова Формен, пропустив атаку, бросился на противника, а Али снова сжал его голову захватом, а левую руку связал перчаткой. Уйти от клинча Формену не удалось. Али преподал ему начальный урок защиты. «Брейк!» — раздалась команда рефери. И все сначала — невидимые токи сближали их и разводили, заставляли кидаться вперед, отскакивать в сторону, убирать голову, и каждый пытался посеять зернышко паники в другом, и оба были огромны, и быстры, как пумы, и яростны, как тигры,- невидимые искры сыпались при любом их движении. Вновь Али удалась атака — прямой левый, затем прямой правый. Формен реагировал, как взбесившийся бык. Грозный бык, мощно напирающий на матадора, выставив свои рога — перчатки. Не было пространства, чтобы обмануть его, кольнув и отскакивая, оцарапав и отскакивая вновь. Али отступал, уклонялся, снова отступал, и вот он очутился на канатах. Формен загнал его. Всего полминуты шел бой, а Формен уже загнал его на канаты. А тот даже и не пытался вырваться из-под этих нацеленных в упор перчаток, которым только бы дотянуться, смять, сломать грациозную легкость Али. Нет, тот просто отступал, не забывая взять свою дань. Еще один левый и правый достали Формена.

С трибуны неслась вой. Все видели: Али прижат к канатам. Только и было разговоров, долго ли он сумеет от этого уберечься. А он попался так быстро. Но Формен не достиг цели. Последние удары Али остановили его. Атаки Формена оказались неподготовленными, Али их блокировал и погасил. Клинч. Брейк. Али ушел с канатов, отделавшись пустяком...

Но Формен становился лишь грознее с каждым пропущенным им ударом. Эти удары бесили его, но не делали слабее. Другой боксер в его положении уже начал бы попятываться. Формен только ожесточался. Он не потерял скорости, и его руки, кроме тех мгновений, когда Али доставал соперника, работали так же быстро, как руки Мохаммеда, а лицо выражало пробудившийся аппетит убийцы. Кто бы теперь поверил, что это тот самый Джордж, такой обходительный перед журналистами! Все встало на свои места. Он твердо вознамерился покалечить Али. Чем больше он пропускал ударов, чем чаще беспомощно бился в клинче, тем сильнее делался страх, охватывавший тех, кто сидел вокруг ринга. От Формена исходило что-то зловещее. Али провел уже десятка полтора хороших ударов в голову, сам не пропустив ни одного. Но что же будет, когда он начнет пропускать? Ведь такой скорости не в состоянии выдержать ни один тяжеловес, во всяком случае, остающиеся четырнадцать раундов.

Но пока еще не закончился и первый. На исходе его Формен загнал Али в угол, стеснил, откинулся и через перчатки соперника провел правый апперкот, затем еще один. Этот второй удар был как копье, пробившее голову Али. Его взгляд был неподвижен, пока своей левой рукой он захватывал правую Формена, сдерживая ее и стараясь прижать. А Формен как раз собирался бить правой, и он это сумел. Даже связанный, Формен преследовал Али, как преследует кита гарпунщик: его правая, хотя и наполовину прижатая, четыре раза достала голову, молотя, как по тяжелой груше, а затем прошло еще два удара в корпус, и все видели, как это больно. Али отделился от канатов и стиснул соперника самым решительным, самым крепким объятием за всю свою жизнь, зажимая шею Формена обеими перчатками. Белки его глаз остекленели, как у солдата, который, подняв голову после взрыва, видит, как пролетает над ним оторванная рука. Что же это за чудовище, которое ему предстоит одолеть?

НОРМАН МЕЙЛЕР
БОЙ

Формен нанес сильнейший левый. И еще левый, и правый, и левый, и снова левый, и опять правый В голову, в корпус, в перчатки, мимо, а один раз прямо в ходящие ходуном ребра Али — жестокие удары, неточные, но заставлявшие соперника шататься, как грузовик, медленно одолевающий ухабы.

Все тонуло в криках. Али провел правый. Формен ответил левым и вслед за ним правым. Они осыпали друг друга ударами. Прозвучал гонг. Все были потрясены. Какой бокс!

...И вот они сидят друг против друга в своих углах. Перерыв после второго раунда. Исход боя еще неясен. Ни для одного из них. Али безмерно уверен в себе, но безмерно велика и трудность, с которой ему надо справиться. Все опасались, что он не продержится первые раунды, пока удары Формена особенно тяжелы. Он продержался, и теперь вопрос стоит иначе: сумеет ли он измотывая Формена, не измотать и самого себя — одолеть его мощь, не исчерпав раньше времени своей изобретательности?

У Формена свои сложности, о которых он, отдыхая в углу, быть может, и не догадывается. В нем еще не зародилось опасение, что он может проиграть этот бой. Способен ли лев допустить, что не сумеет растерзать обезьянку? Только бы добраться до Али — но не получается, и оттого он в неистовстве. Трест Формена обеспокоен именно его яростью. Вряд ли можно посоветовать ему сдерживаться. В конце концов, ярость Формена и помогла ему нокаутировать стольких соперников. Сдерживаться? Стать кротким, как корова? И все же придется сдерживать себя, пока он не загонит Али в безвыходное положение. Иначе он просто выдохнется.

Гонг. У Али такое серьезное и свирепое лицо что, видимо, он твердо решил в этом раунде атаковать сам, но, чуточку не дойдя до центра ринга, он словно бы начинает колебаться в этом своем решении, обнаруживает ужасную ошибку и тут же меняет весь план, отступая и вновь оказываясь у канатов. Атакует Формен. Бой идет по тому же сценарию: Али отходит к канатам, Формен его преследует. Раунд за раундом Али будет проводить тридцать-сорок секунд, а то и целую минуту буквально в сантиметрах от канатов, то и дело на них откидываясь. Когда внутреннее убеждение или просто логика клинча подсказывают ему, что на этом участке он уже отработал, Али пересекает, отступая, ринг и оказывается у канатов на другой стороне. Так, у канатов по всем четырем сторонам ринга он проводит по четверти раунда. Как будто поочередно общается с ритуальными божествами Севера, Запада, Востока и Юга, у каждого из них черпая силы. Никогда бой такого значения не протекал по столь однозначной ритмической схеме. Можно было подумать, что смотришь постановку хореографа, который ничего не смыслит в движениях ног, зато по части движений рук изобретателен до бесконечности. Раунд за раундом повторяется то же самое, и все же напряжение не спадает, потому что Али как будто все время находится в опасности и все время от нее уходит. Он переворачивает все представления о боксе. Доказывает, что там, где другие боксеры всего уязвимее, он только еще сильнее. На тренировках Формена готовили, непрерывно меняя позицию, лишать Али непринужденности перемещений по рингу, вынуждать соперника жаться к канатам. Но Али и не мешает ему это делать. Он не перемещается, не кружит вокруг Формена. Он отходит назад. А Формену мешают его же собственные вытянутые руки. Формен не в состоянии достать пляшущую перед ним цель, вынужден идти на сближение с соперником. И тут Али встречает его прямыми с обеих рук, быстрыми и резкими, как удары в каратэ.

В конце третьего раунда Али проводит несколько самых тяжелых ударов, какие были нанесены за весь бой. Правый, левый, опять правый — Формен потрясен этой серией. Такой серии он, должно быть, не пропускал ни разу с последней своей уличной драки. Несколько секунд, оставшихся до перерыва, противники проводят в клинче, и на лице Али написано презрение. Формен с трудом добирается до своего угла. Он похож на человека, поднявшегося с постели после долгой болезни и делающего первые шаги по комнате. Он чуть не сваливается, ища подставленную табуретку.

В пятом раунде он идет на штурм, пытаясь нокаутировать Али. Пусть Али совсем освоился в ближнем бою у канатов, окрепла и уверенность Формена, что он сокрушит защиту соперника. Когда обе стороны так уверены в себе, жди войны. Этот раунд останется в истории бокса одной из великих страниц — так он был хорош. Сценарий создавался прямо по ходу действия, и он входил в вечность, записанный в анналах золотыми буквами: «Великий пятый раунд боя Али — Формен».

Как все великое, начался он неприметно. Концовку предыдущего раунда Формен провел хорошо, но все-таки у тех, кто сидел вокруг ринга, крепло предчувствие, что близится грандиозная неожиданность. Даже Джо Фрейзер, так веривший в Формена, признавал, что Джордж «что-то разволновался». А Джон Дэли весело подмигнул другому комментатору, Дэвиду Форсту, и прямо сказал: «А я думаю так, что Али уже выигрывает. Еще четыре раунда — и он его дожмет».

Формен так не думал. Когда в четвертом раунде он провел сильный удар, на миг появилось предчувствие победы: «Что, еще держишься?» На пятый раунд он вышел, убежденный в одном: если сила пока еще не подействовала на Али, значит, нужна бо́льшая сила, с какой Али еще никогда не сталкивался. Пусть лицо Формена было все в подтеках, а ноги двигались так, как катит колесо с выщербленным ободом, пусть его руки отяжелели от усталости, а дыхание

вырывалось из легких, как пламя из костра на ветру,— все-таки он был чудом силы, он был чудом, он мог вытерпеть муку и не прекращать своей канонады, когда другие уже не смогли бы даже принять боевой стойки, и держаться он был подготовлен даже лучше, чем казнить, ведь в Пенделтоне на тренировках к этому бою он дважды провел пятнадцать раундов спарринга с семью менявшими друг друга партнерами, сократив перерывы между раундами до тридцати секунд. Он умел работать, работать до бесконечности, его руки не знали покоя, и он свалил бы своими ударами целый лес деревьев — да, без топора повалил бы дерево за деревом весь лес, а теперь намерен был сокрушить Али.

Первые полминуты они прощупывали друг друга. А потом поднялся огневой никвал. Распластавшись по канатам, откинувшись на них до предела, как рыбак, вытягивающий из моря крупную рыбу, Али наглухо закрылся, а Формен ринулся вперед. Происходившее напоминало артиллерийские сражения времен первой мировой войны. Следующие минуту-полторы соперники почти не меняли позицию. Через насквозь простреливаемое узкое пространство Формен наносил удары залпами по четыре, по шесть, по восемь, по девять, проводя тяжелые, безумные, разящие серии — разрывной снаряд в корпус, граната в голову, точно хлопают на сквозняке дубовые двери,— атакуя, пока не перехватывало дыхание, отступая на миг, чтобы глотнуть воздуха, и снова набрасываясь — еще бомба, еще фугас,— напирая, давя, кромсая это маячившее перед ним тело, ломая противнику руки, пробивая его защиту, чтобы добраться до ребер, развоpотить живот, взорвать под соперником землю, швырнуть, растоптать, утопить в крови, добить, прикончить,— великий ратоборец, как же он захлебывался своей истерикой, круша и не сокрушая этот прыгающий перед глазами клубок обезумевшей плоти.

А Али, прикрыв голову перчатками и прижав локти к бокам, стоял, раскачиваясь, пока его хлестало, трясло, швыряло, точно кузнечика на самом верху стебля, гнущегося под сильным ветром, и мотались, бились, как вывешенные сушиться простыни под напором вихря, канаты, когда Формен целил правой в подбородок Али и тот стремительно откидывался, едва успевая уйти, а затем толчком подавался вперед, чтобы связать Формену локоть и самому закрыться, и снова откинуться, и снова вперед, и опять отвести удар, и опять спасаться на канатах — и все это с полным спокойствием, какое бывает у матросов, качающихся на снастях в бурю. Все это время его защитой были глаза. Они были огромны, как звезды, и ими он обманывал Формена, выкатывая белки, как будто Али охвачен паникой, которой не было, и провоцируя Формена поддаваться на его ложные движения, скашивая их вправо, когда голова шла влево, или вдруг устремляя взгляд прямо на Формена — лицом к лицу, душой к душе — и тут же захватывая ему голову, связывая руку, дразня отходами и мгновенно откидываясь, как только Формен бросался вперед, муча его, сводя с ума, а сам на глазах у всех оставаясь невозмутимым, точно шел спарринг и можно было даже не снимать халата, движениями матадора задевая голову Формена и отпуская быка, после того как выполнены все пять обязательных изящных позиций,— и лишь один раз он вроде бы заколебался, вроде бы чуть переусердствовал, дразня Формена, а в Джордже что-то шевельнулось, как бывает у быка, вдруг через всю арену кидающегося уже не на красную тряпку, а на самого матадора, и из угла Али кто-то закричал, как кричат тореро: «Внимание! Внимание!» — и Али успел откинуться на канаты в самый последний миг, когда Формен уже наносил первый из шести своих самых мощных левых боковых серий, увенчанный правым,— вот она, его кульминация, лучшее, на что он способен, левый в живот, левый в голову, левый в живот, левый в голову, левый в живот и еще в живот, и все эти удары Али закрыл, прижав к животу локоть, а голову убрав за перчатку, вдавливаясь в канаты, извивавшиеся, как змеи. К левым он был готов. Не был он готов к правому, последнему в серии. Мощный удар Формена достал его. Скрипнули стойки ринга. Али закричал: «Держу!» Наверно, это был самый тяжелый удар, который он пропустил в тот вечер. Но за ним последовало еще с десяток. Формен напрягал свои мускулы в том отчаянии, которое переполняло его, заставив собрать в кулак всю свою решимость, и к концу удары сыпались с частотой до сорока, а может, и пятидесяти в минуту, и в каждый была вложена такая сила, что ее было довольно, чтобы вся кровь противника отхлынула к ногам. Но что-то, видимо, начало исчезать из его нголо, пропадала его беспримесная, абсолютная ярость, и Али, выдержав канонаду, раз за разом ответными выпадами покалывал Формена, словно хозяйка, втыкающая в пирог лучинку, чтобы проверить твердость корки. Удары Формена все слабели, и Али вышел из ближнего боя у канатов, а в последние тридцать секунд сам провел атаку, нанеся не менее двадцати ударов. Прошли почти все. Среди них были тяжелейшие. Четыре правых, левый боковой и еще правый — фантастическая серия. От одного из этих ударов голова Формена непроизвольно повернулась на девяносто градусов, а правый молотом обрушился на его щеку, причем шок был двойным: сначала Али достал перчаткой, а на отходе, столкнувшись с плечом Формена, добавила боли уже его голая рука. Должно быть, у Формена лопались переборки в мозгу. Он шатался, потерял ориентировку и смотрел на Али пустыми глазами, когда тот мгновенно провел еще атаку — два удара. А вслед за тем схватил Формена за шею, словно старший брат, который решил от-

---

НОРМАН МЕЙЛЕР
БОЙ

пленать глупого, хоть и здоровенного меньшого, и бросил взгляд в публику, видимо выискивая не то врага, не то кого-то из неверных друзей, считавшего, что победит Формен,— и, все еще не выпуская Джорджа, Али показал язык, от усталости ставший белым. Бундини, стоявший за канатами, сиял от счастья, когда ударил гонг на перерыв.

— Невероятно! — кричал комментатор Джим Браун.— Просто глазам своим не верю! Я думал, теперь все. Думал, он сейчас свалится. Но ему хоть бы что. Делает с Форменом, что хочет. А ты видел, как он мигнул мне?

— Мигнул? Показал язык.

А в проходе бушевал брат Али Рахман и кидался на Генри Кларка:

— Это, по-твоему, боксер? Рвань это, а не боксер. Мой брат топчет его, как хочет! Мой брат его кончит!

Он бушевал и дальше и все так же кричал Кларку:

— Что, Генри, врезали твоему Формену? Да он вообще ни черта не может. Ему только со шпаной драться. Ладно, Генри, я никакой не боксер, я перед тобой ничто, только признай честно — Мохаммед выпорол твоего Джорджа как надо.

Да, только не выпорол. Пока не выпорол. Прошло еще два раунда. Два самых скучных раунда этого боя. К рассвету становилось все жарче. Теперь воздух с каждой минутой будет делаться все влажнее — тропики. Сидя в своем углу, Али тяжело дышал, точно испытывал боль. Почки? Ребра? Данди что-то нашептывал ему, Али не соглашался и тряс головой. В отличие от Формена выражение его лица не притупилось. Глаза оставались все такими же живыми, прямо как у белки. Гонг возвестил начало восьмого раунда.

Двигаясь медленно, обдуманно, в последний раз отступая, Али наносил тщательно подготовленные удары, отделяя их четкими интервалами и долго прицеливаясь,— шесть добротных ударов с обеих рук. Как будто ударов у него в запасе оставалось не так много, и каждый должен был выполнить строго определенную задачу. Так пересчитывает пули, прежде чем стрелять, отрезанный от своих солдат.

Формен теперь переступал по рингу неуклюже, словно лошадь по дороге, заваленной камнями. Он опять — должно быть, в сотый раз — пропустил тяжелый удар и ответил левым боковым такой силы, что сам он, как подброшенный катапультой, чуть не вылетел за канаты. На секунду неприкрытыми оказались его спина и шея, и Али занес руку, но удержал свой удар, точно показывая всем, что не собирается портить бой приемами, напоминающими форменовские запрещенные удары в затылок, как было с Портоном, Романом, Фрейзером.

Отброшенный канатами, Формен погнался за Али, будто ловил убегающую кошку. Последняя его атака вдохнула в Формена новую веру в себя, дав почувствовать, что к нему начала возвращаться сила. Пусть удары его шли мимо — сами удары были по-прежнему сокрушительны. Может, он снова становился тем чудом силы, которым Формен сам себя сделал. Канаты опять заходили ходуном, напомнив о великой битве, разыгравшейся в пятом раунде. И опять Али дразнил соперника, и шел между ним и Форменом молчаливый диалог. «Давай,— говорил Али,— или зря говорят, что у тебя есть удар? Да ты просто слабак. Ты же выдохся». А атаки Формена глохли, и свист его дыхания был слышнее, чем свист воздуха, рассекаемого перчатками. «Уходи от ближнего! — снова и снова кричали Али из угла.— Вмажь ему! Кончай!» Запас сил, сбереженных Форменом на этот раунд, иссяк. Он терся об Али, точно ребенок ростом под два метра, и руки, отказываясь подчиняться, безвольно помахивали.

Али пошел в атаку, когда до конца раунда оставалось двадцать секунд. Впервые за весь бой прижатым к краю ринга оказался Формен. Али провел серию столь же стремительную, как в первом раунде, только удары были тяжелее и решительнее — три мощных правых, потрясших Формена, потом левый, и в этот миг лицо Формена сказало, что он догадывается, какая подкралась к нему опасность, и понимает, что надо прибегнуть к крайним средствам, чтобы спастись. Противник атаковал, и за противником не было канатов. Все сместилось, рухнули первоосновы, на которых держался его мир! Он, он сам оказался на канатах! И здесь словно крупный заряд разорвался в сознании Формена, словно ударила ракета величиной ровно с боксерскую перчатку — лучший удар за весь этот вечер, удар, к которому Али готовился все свои долгие годы на ринге. Руки Формена повисли по бокам, как у человека, выпрыгнувшего с парашютом; не в силах распрямиться, он на шатающихся ногах попробовал добраться к центру ринга. Глаза его были прикованы к Али, и в них не было гнева, как будто во всем мире не нашлось бы для Формена приятеля лучше, и именно этот приятель придет к нему проститься в его смертный час. Голова Джорджа Формена отказывалась служить, все плыло у него перед глазами. По-прежнему словно бы выражая всей своей немыслимой позой почтительность, заставившую его низко поклониться, по-прежнему не отрывая глаз от Мохаммеда Али, он начал заваливаться, кренясь и падая, а ведь ему так этого не хотелось. Душа его рвалась вверх, как магнитом, притягиваемая высокой целью — быть чемпионом, но тело жаждало земли. Он падал, похожий на старика дворецкого, которому только что сообщили трагическую весть, падал долгие две секунды, когда все для него расчленялось, падал, разваливаясь, этот Чемпион, а Али кружил почти вплотную к нему, готовый нанести еще один удар, да только в этом не было необходимости — таким интимным было это приземление, не требовавшее эскорта.

Рефери отвел Али в угол. Он стоял, погруженный в какие-то мысли. Сделал несколько быстрых движений ногами, точно бы извиняясь, что так и не потанцевал. И смотрел, как пытается подняться Формен.

Словно пьяница, безуспешно пытающийся встать с постели и пойти на работу, Формен перевернулся на полу и стал медленно, мучительно медленно приподнимать всю железную тяжесть могучего туловища, которым наделил его бог, и счета он, может быть, и не слышал,— поднялся на ноги спустя какую-то долю секунды после возгласа «десять», но воли к сопротивлению у него больше не было, и когда Зак Клейтон, положив ему руку на плечо, повел Формена в угол, послушно пошел. Там его ждал Мур. Там его ждал Сэдлер, его тренер. После стало известно, о чем они говорили:

— Как ты, ничего?

— Ага,— откликнулся Формен.

— Успокойся. Теперь это история.

— Ага.

— Главное, ты жив-здоров,— сказал Сэдлер.— А остальное приложится.

Для репортеров бой только начинался. Надо было пробиться в раздевалку Али. Норман считал это делом чести. Как он пробился, впоследствии не мог бы сказать и он сам, помнил только, что к этому какое-то отношение имела долгая ругань и толкотня среди солдат, охранявших дверь. Кто хотел продвигаться к цели, должен был энергично работать всем корпусом, но при этом не забывать, что вполне могут заехать прикладом по ребрам. Последним великолепным усилием Норман погрузил свою ногу в нечто чуть ниже спины какого-то толстяка, которого прежде никогда не видел... К изумлению своему, он оказался в раздевалке единственным репортером.

Разумеется, свой отчет он будет писать несколько месяцев, и пройдет еще полгода, прежде чем его напечатают, так что Норману незачем было спешить к телефону в ближайшие десять минут. Но если бы кто-то и ждал за океаном его звонка, сидя у себя в редакции, Норман не мог бы действовать иначе. Он пришел не расспрашивать Али, а выразить свое восхищение. В конце концов, не так уж часто бывали в его жизни минуты, когда полностью исчезало чувство иронии.

Али сидел на массажном столе, уронив руки на колени, и был похож на счастливого усталого хозяина после удавшейся вечеринки. Лицо его осталось чистым — только небольшой лиловый подтек на скуле. Может быть, никогда еще он не был так красив. У него был взгляд ребенка. «Стащил банку джема,— словно говорили его глаза.— Вкусный». В этих глазах поблескивал огонь, как было перед боем. Честное слово, Али был прекрасен, как замок, когда зажгут лампы во всех помещениях.

— Ты все сделал так, как обещал,— сказал Норман, не подыскивая более изысканных поздравлений.

— Угу. Хорошая была ночь. Обо мне упомянули о том, что Али так и не потанцевал. Должно быть, это и был его заготовленный сюрприз.

— Фантастика,— сказал Норман.— Тебе понравится, когда увидишь на пленке.

Али вздохнул. И потом мягко проговорил:

— Ну, может, теперь признают, что я профессор бокса.

Уходя, Норман с сожалением подумал, что в раздевалку к Формену теперь не прорваться,— досадный промах, ведь Джорджу было что сказать. Помогли ему другие репортеры, особенно Плимптон и Боб Оттем из «Спортс иллюстрейтед». Журналисты не скупятся на информацию, если нужно помочь товарищу, и становится легко вырабатать ужасные привычки — к примеру, передавать по телефону статью, сидя в своей ванне. Что говорил Формен, можно было уловить и по пересказу. Но какая потеря, что Норман не смог сам почувствовать настроение экс-чемпиона, увидеть своими глазами, что это такое — ниспровергнутое величие. Каждая рана по-своему поучительна.

Та раздевалка, в которой он так ни разу и не побывал, была выкрашена по стенам в красный цвет. Формен сидел, закутанный в полотенца, расшитые золотом. Али однажды сказал: «Понимаешь, я должен побить этого парня. Я видел его раз в Солт-Лейк-Сити. На нем был розовый костюм и оранжевые туфли на платформе, с высокими каблуками. А у меня башмаки, как у всех. Вот посмотрел я на эти оранжевые туфли и сказал себе: «Выиграю».

Да, красный цвет и золото — антураж павших королей. Формен лежал, обложенный пузырями со льдом. По словам Плимптона, первым делом он спросил Дика Сэдлера, правда ли, что был нокаут, а потом принялся считать от ста назад и назвал по именам двадцать человек из своего треста— хотел убедиться, что голова у него ясная.

— Я ничего не боялся,—сказал Джордж.— Я был уверен, что контролирую бой. Когда люди выскочили на ринг, я удивился.— Все это спокойным, ровным голосом.— Я проиграл по счету. Но не нокаутом.

Процитируем Плимптона: «Медленно, как будто спотыкаясь, он читал по писаному. Формен повторил то, что обычно можно было услышать от него после очередной победы: «Никогда не бывает проигравших. Не надо называть того, кому сегодня повезло, победителем. Лучше похлопать обоим». Репортерам стало неловко. Они-то знали, что впервые за свою профессиональную карьеру Формену пришлось обратить эту щедрость к проигравшему на самого себя.

Потом он заговорил об Али.

— Это замечательный американец,— сказал он.— Настоящий джентльмен. Прекрасный семьянин.

НОРМАН МЕЙЛЕР
БОЙ

Оставалось только подсчитать, сколько за эти восемь раундов пропустил он ударов в голову».

Улицы, прилегающие к стадиону, наводнила толпа африканцев, праздновавших на рассвете победу Али. Словно бы до боя они не смели даже надеяться, что он выиграет. Да, есть люди, обретающие свое истинное историческое значение, только творя убийство, и есть другие — те его обретают в утро своей победы. В шесть часов утра сам воздух у стадиона пьянел от свободы, растекавшейся по бульварам и задворкам Киншасы. Пили, обнимались, поздравляя друг друга, пускались в пляс, далеко выбрасывая руки и ноги, как будто играли в баскетбол. Можно было лишь плыть по этому запруженному толпой шоссе, отдавшись общему движению. Звенел смех, люди перебрасывались словами, находя друг друга через море голов. При виде Нормана раздалось улюлюканье. Белый. Ну, значит, за Формена. Вот он, вернулся радостный дух революции, нет, скажем осторожнее — дух перемены, и на него одинаково откликнулись все: львы, и мудрецы, и насекомые. Влажный воздух рассвета был заполнен нголо живых и жаждой мертвых. Странное было утро. Под тяжелыми тучами пробилась, но не могла подняться заря. Свет был такой бледный, точно на землю пало солнечное затмение.

В «Интерконтинентале» все пили, утратив ощущение времени. В баре и на внутреннем дворике шел праздник, звучали тосты, утро утопало в шампанском. Норман набрел на Джима Брауна и, не удержавшись, спросил:

— Ну, что скажешь? Не ты ли утверждал, что результат известен до боя?

Джим уныло улыбнулся, покачивая головой.

— Да,— сказал он,— впервые в жизни я так просчитался.

Один за другим стали появляться люди Формена. Может быть, настоящего человека можно отличить по тому, что, проиграв, он на все вопросы отвечает только одной точной фразой. Генри Кларк, просадивший на пари кучу денег, сказал просто: «Выиграл тот, кто лучше дрался». Дик Бродес был опечален, но тверд: «Это для него хороший урок». Дядя Формена Хейуорд, пожилой плотно сбитый человек с крупными связями и огромным животом, похожим не то на барабан, не то на котел, что придавало ему сходство с классическим типом белого политика с Юга, услышав, что, мол, зря Джорджа называют барахлом, сказал: «А как же его еще назвать?»

Элмо бродил по вестибюлю, не произнося ни слова. Заговорить пришлось Норману:

— Джордж все сделал, что мог.

Элмо молча кивнул. Улыбнулся.

— Думаю об этом,— сказал он.— Ойе.

А потом сезон дождей, запаздывавший на две недели и насыщенный бешенством многих африканских просторов и многих неведомых племен, наконец пришел в согласие с водами космоса и стенаньями Конго. Сезон дождей обрушился, и с ним обрушились на землю звезды африканского неба. Ливень разорвал этот растянувшийся лунно-зеленый рассвет, дождь висел серебряными простынями и одеялами, лился водопадами, реками, озерами, падавшими с неба, как лавина камней, и звук падения на землю был громче, чем треск охваченного пожаром леса. Он выплескивался ведрами, этот тропический ливень, проливавшийся из самого сердца вселенной. Такого потопа Норман не видел тридцать лет, с той самой поры, когда солдатом сидел под дырявой палаткой на Филиппинах.

Позднее ему рассказали, во что превратился от ливня стадион. Вода залила сиденья и проходы между рядами, скатываясь по лестницам к узким дверям и вниз, затопляя футбольное поле, устремляясь под ринг и унося как трофей объедки и мусор, оставшиеся от шестидесяти тысяч человек, которые здесь сидели ночью. Раздевалка Формена превратилась в грязный бассейн, вода поднялась здесь на фут, и по ней плавали брошенные полотенца, которые, когда подсохло, подобрали проникшие на стадион мальчишки. Под брезент, укрывавший ринг, набились корки от апельсинов и входные билеты, отсырели батареи и отказали генераторы. Непогода вывела из строя половину телексов, и спутник связи не мог больше передавать ни изображений, ни слов. Страшно подумать, что творилось бы, начнись ливень, пока еще шел бой.

Назавтра Али, смеясь, скажет, что это он удержал сезон дождей, заставив его повременить до утра.

◆

Антирубрика

ДЖОН О'ХАРА

Разговор во время обеда

Перевод с английского МИХАИЛА ЗАГОТА

Как-то раз мы с Хармоном Греем обедали в клубе «Котурнос», и я, оглядывая зал, вдруг увидел Норберта Эббота. Он миновал наш столик и присоединился к своему коллеге-актеру, сидевшему в другом конце ресторана.

— Видел, кто это был? — спросил я Хармона Грея.

— Да, видел.

— Но он тебя, кажется, не видел?

— Кажется, нет,— согласился Хармон.

С Норбертом Эбботом я знаком никогда не был, знал о нем только то, что знали все: первая крупная роль, сыгранная им два года назад на Бродвее, принесла ему невероятный успех. Это была роль мелочного, презренного, любившего поживиться за чужой счет типа, а пьесу написал Хармон, он же и пригласил на эту роль никому не известного Эббота. Спектакль прошел на «ура», и Эббот благодаря Голливуду тут же оказался звездой первой величины.

— А что он за человек? — спросил я.

Прежде чем ответить, Хармон взглянул в окно.

— Не знаю,— произнес он.— Честное слово, не знаю.

— В роли этого мерзавца он был просто великолепен,— заметил я.

— О да.— Хармон кивнул.

— Он стольким тебе обязан,— добавил я.

— Нет-нет,— возразил Хармон.— Он мне ничем не обязан. Он настолько блестяще сыграл эту роль, что без него спектакль просто развалился бы. Не думай, что я скромничаю, я знаю, пьеса неплоха и сама по себе. И все же не представляю, как с этой ролью мог бы справиться другой. Просто тут стороны нашли друг друга, так что мы с ним в расчете.— Хармон поднес ко рту вилку, но вдруг ее опустил.— Конечно, я огорчился, когда он сбежал от меня в Голливуд — с ним спектакль продержался бы еще несколько месяцев. Впрочем, мне-то уже давно пора знать, что за люди эти актеры.

Разговор перешел на другую тему, и я спросил у Хармона, чем занят сейчас он сам. Вынашивает потихоньку одну идейку, ответил он и пересказал примерно, в чем там соль, но я-то видел, что мысли его витают где-то далеко.

Я прервал его:

— Слушай, Хармон, если эта тема тебе не по душе, давай поговорим...

— Нет-нет, извини.— Он улыбнулся.— Думаешь, я не хочу рассказать тебе о новой пьесе? Да нет же, просто, черт подери, твой вопрос насчет Норберта Эббота, что он за парень... Я-то обязан знать его лучше, чем знаю. Что я за писатель, если, проработав с человеком бок о бок столько времени, совершенно его не знаю?

Больше он к Эбботу не возвращался, но до самого конца обеда вид у него был какой-то обеспокоенный.

Обычно после таких довольно редких встреч за обедом мы с Хармоном идем в библиотеку, но тогда он предложил выкурить по традиционной сигаре прямо за столиком. Вскоре я понял почему: закончив обед, Норберт Эббот направился к выходу и тут увидел Хармона. Широко улыбаясь, он протянул вперед руку и шагнул к нашему столику. «Хэлло, Хармон, рад вас видеть»,— воскликнул он. Хармон представил меня и пригласил Эббота выпить с нами чашечку кофе. Несколько минут они мило болтали. Хармон был любезен, более того, мне показалось, что он искренне уважает молодого человека. Потом произошло нечто неожиданное.

Хармон откашлялся.

— Слушайте, Норберт, я прочитал в газете, что сегодня вы отбываете в Голливуд.

— Да-да. «XX век Фокс» начинает новую картину.

— Там так и написано. Я как раз хотел поймать вас до отъезда и кое-что сказать, но это вполне можно сделать и сейчас. Мистер Кэрри — мой старый друг, и у меня нет от него секретов. Вот какое дело, Норберт. Вы, наверное, знаете, что после той нашей пьесы я ничего не написал. Одним словом, не смогли бы вы одолжить мне тысячу, пока я не закончу новую пьесу? Ненадолго, к тому же я уверен, что пьесу купит Голливуд, но сейчас...

— Тысячу? — произнес Норберт Эббот.

— Если не ошибаюсь, сумма меньше половины вашего недельного заработка,— заметил Хармон.

— Вы правы, Хармон, но вы не представляете, какие у меня трудности. Налоги огромные, расходов — масса, на мою голову обрушилась куча двоюродных сестер и братьев — сами знаете, как это бывает.— Он выдавил из себя улыбку.— Мы с вами сделаем вот что. Как только я окажусь в Голливуде, немедленно переговорю с моим менеджером. Если он даст тысячу, она ваша. Конечно, всякое может случиться, менеджеры — народ прижимистый, вы знаете. Он мне выдает только на мелкие расходы, словно я школьник какой-то, но на этот раз я объясню ему, что это не просто моя прихоть. Такой вариант подходит?

— Ну что ж, отлично,— довольным тоном ответил Хармон.

Норберт Эббот попрощался и ушел, а я уставился на Хармона Грея.

— Вот уж не предполагал, что ты на мели,— удивленно сказал я.

— А я вовсе и не на мели. Зато теперь найден ответ на твой вопрос.

— Жестоко с твоей стороны.— Я рассмеялся.— А я-то принял все за чистую монету. Ты — профессионал.

— Ну спасибо. Я же, к собственному удовлетворению, убедился еще кое в чем.

— В чем?

— В том, что здорово умею распределять роли,— гордо произнес Хармон Грей.— Легко ли подобрать актера так, чтобы ему пришлось играть самого себя?

СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ

СКАЗКА

Перевод с болгарского Н. ГЛЕН

Я сижу в комнате, смотрю в окно на осенние деревья и думаю. Рядом плачет мой маленький сын.

«Вот и осень пришла...— думаю я.— Осень...»

Сынишка плачет. За окном в тихом воздухе застыли пожелтевшие тополя. На тротуаре появляется семейство, которое живет на нашем этаже. Они тащат большие кожаные чемоданы, оставляют их в машине и идут обратно за сумками. Собрались за границу. Они ездят так каждую осень, запирают квартиру, кладут в машину чемоданы и исчезают. На два-три месяца.

Самолет пролетает совсем низко над крышами, покачивает крыльями.

— Ну что тебе?— говорю я сыну.— Попроси маму!

Мама, видите ли, на работе.

— Вернется, и попросишь,— советую я.— Она скоро вернется. Через два часа.

Это, видите ли, долго. Он хочет послушать сказку сейчас.

— Ох, и распустились же вы,— говорю я.— Сейчас тебе приспичило. Мы в свое время...

Сын продолжает равномерно плакать. Я думаю о том, что же в свое время делали мы. В открытое окно тянет мягким запахом палых листьев, чуть прослоенным запахом дыма, едва ощутимым в осеннем воздухе. Сынишка плачет.

— Ты вот сказку просишь,— говорю я укоризненно.— А я в свое время рос в чемодане.

Он перестает плакать.

— Как в чемодане?

— А вот так,—говорю,—в чемодане.

— Большом?— спрашивает сын.

— Среднем,— говорю.

Сын задумывается. Он совсем еще маленький — капля.

— Чемодан кожаный?— спрашивает сын.

— Фибровый,— говорю я.— С кожаным чемоданом видели только одного человека на всей нашей улице, одного богача — у него была собственная печь для обжига извести. Но и про его чемодан поговаривали, будто он из искусственной кожи.

— А как же ты рос в чемодане?

— На кроватку не было денег,— объясняю я.— Все деньги ушли на пару белых лошадей и на спрыскиванье.

— На какую пару белых лошадей?— спрашивает сын.

— На тех, на которых меня привезли из родильного дома. Отец нанял коляску, запряженную парой белых лошадей. Потому что у него родился сын.

— А меня на скольких лошадях привезли?— спрашивает сын.

— Тебя мы привезли на такси,—говорю я.— Тогда были другие времена. Тогда, спрыснув мое рожденье, родители постелили в фибровый чемодан две пеленки и положили меня туда.

Сын сдвигает брови. Этому он научился у меня. Лобик его морщится. Сын думает.

— А чемодан запирался?— спрашивает он через минуту.

— Запирался,— говорю.— Один замок работал.

— А другой?— спрашивает сын.

А другой, что же было с другим замком? За окном осень, листья рыжие, солнце светит полегоньку, и две желтые айвы, еще не снятые с дерева, излучают сияние.

— А другой заедало,— вспоминаю я.— Другой плохо открывался.

Его и правда заедало. Помню, чемодан стоял в саду, под айвовым деревом, уже давно облетевшим. По дереву прыгал воробей и от нечего делать клевал ветки.

Около меня вертелась сестра, привязанная к дереву длинной веревкой. Ее оставили за мной присматривать и привязали, чтоб она не убежала играть в классики с другими девчонками. Сестра собирала сухие листья и складывала их в кучки. Когда ей это надоело, она подсела к чемодану и стала теребить меня за нос и подмигивать. Я спокойно лежал и улыбался.

Когда и это занятие ей надоело, сестренка сказала:

— Давай закроем чемодан, а? Хочешь?

И она опустила крышку. В чемодане стало темно, а снаружи сестра возилась с замками.

— Видал?— крикнула она.— Я заперла.

Она поиграла немного около запертого чемодана, а потом попыталась открыть его, но не сумела. Она пыхтела, грызла замок зубами, стучала по нему своей деревянной сандалией...

Потом она сказала дрожащим голосом:

— Эй, ты небо видишь?

Я молчал.

— А айву? Айву видишь? Вон ту, желтую?

Я лежал в чемодане и видел в дырку только четверть воробьиного хвостика. В чемодане было пробито несколько дырок, чтоб я мог дышать.

— А меня?— спрашивала сестренка.— А меня видишь?

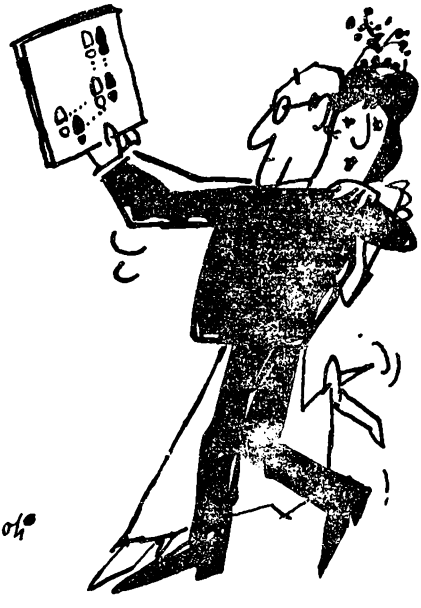
Я молчал и ничего не отвечал ей. Я еще не умел говорить.

Сестра села рядом с чемоданом и заплакала. Я послушал, как она плачет, в чемодане было темно, и я заснул, решив, что наступила ночь.

Разбудил меня голос отца. Он вернулся с работы, отвязал сестру и отругал ее за то, что она заперла чемодан.

— А теперь пойдем в гости,— сказал он.— К крестным пойдем.

Крестные жили на другом конце города. Поездки к крестным всегда проходили очень интересно. Начиналось уже в трамвае.



ЭНРИКЕ ОЛИВАН. Испания. Без слов.

— Попрошу заплатить за чемодан!— говорил кондуктор.

И, не дожидаясь ответа, отрывал багажный билет.

— За него не нужно,— говорил отец.— Он маленький.

— Какой же он маленький,— удивлялся кондуктор.— Что, я не вижу, какой он?

— Снаружи не увидишь,— вежливо объяснял отец.— Надо его открыть.

— Зачем мне его открывать?— сердился кондуктор.— Я и так вижу, какой он. Как раз такой, чтоб брать за него билет.

— Есть правила,— отзывался отец.— Он еще маленький и имеет право ехать без билета.

— Ты что?— кондуктор приходил в ярость.— Думаешь, он у тебя вырастет?

Отец отвечал, что все его усилия направлены именно на это.

Кондуктор задумывался, потом внимательно оглядывал отца, убеждался в том, что вид у него в общем нормальный, и снова совал ему в нос багажный билет. Увидев, что кондуктор сердится уже не на шутку, отец открывал чемодан, показывал на меня пальцем и говорил:

— Ну что, разве можно дать ему шесть лет?

Иногда кондукторы так терялись, что роняли свои клещи. А иногда давали мне ролики билетов и я немедленно тянул их в рот. Иной раз пассажиры возмущались и спрашивали отца, как он может носить ребенка в чемодане. Это, мол, негигиенично и все такое.

— А он так родился,— отвечал отец.— Прямо в чемодане. Одни дети рождаются в рубашке, а другие — в чемодане.

На конечной остановке мы сходили с трамвая, отец покупал серые кукурузные хлопья, и мы шли через парк, где было полно детей. Отец открывал чемодан, расстегивал ремни, которыми я был привязан, и выпускал меня поиграть. Я тут же подползал к песочнице с желтым песком, садился и ждал, пока сестра построит что-нибудь такое, что я мог бы разрушить. Наигравшись, мы возвращались к отцу, он сажал меня в чемодан, закрывал крышку, запирал замок, и мы шли дальше, к крестным.

На внутренней стороне крышки было написано:

«Нижайшая просьба к господам, которые по ошибке возьмут этот чемодан, вернуть его вместе с его содержимым по адресу...»

Дальше шел наш адрес. Отец приклеил на крышку это обращение после того, как однажды у него украли чемодан вместе со мной. Он поставил меня возле табачного киоска и наклонился к окошечку за сигаретами. И пока он объяснял киоскеру, где он купил рубашку, чемодан исчез.

Отец до смерти перепугался, кинулся на поиски, бегал по всем окрестным улицам, клялся, что бросит курить и никогда больше даже не посмотрит на сигареты. Он врывался во все магазины, заглядывал под прилавки, и вид у него был такой, что продавцы только прижимались к стене и ждали, пока он сделает свое дело. Хорошо, что в конце концов он догадался вернуться к тому самому киоску. Киоскер страшно ему обрадовался и позвал в киоск. Там стоял чемодан, в котором я спал безмятежным сном.

— Его принесли какие-то двое,— сказал киоскер.— Сказали, что они ваши друзья и что они пошутили. И еще сказали, что вы непременно зайдете за этим чемоданом.

— Да, да,— рассеянно сказал отец.— Передайте им привет.

Он схватил чемодан и понес меня домой. По дороге он закурил.

— Видимо, они скорее друзья киоскера, чем мои,— сказал он маме.— То-то я удивлялся, чего он расспрашивает меня о рубашке, когда у самого точно такая же.

И он приклеил к крышке обращение к рассеянным господам, имеющим привычку брать по ошибке чужие чемоданы. И испытывающим страшное разочарование при виде его содержимого.

Когда мы приходили к крестным, все их дети высыпали во двор нам навстречу. Детей было семь штук. Поднимался визг и писк, дети хватали чемодан, тащили его в дом и там осторожно открывали. Я садился в чемодане и рассматривал их по одному. Они издавали восторженные крики и щипали меня за щеку. Они не раз видели, что так делают взрослые. Я был их любимцем, и когда ко мне подходил седьмой, щека была уже синей.

Отец и крестные садились во дворе, под виноградной лозой и говорили о том, что их ждет, строили разные планы, в центре которых всегда бывали мы.

Когда начинало смеркаться, отец закрывал чемодан, прощался с крестными, и мы отправлялись обратно...

Так я и жил в чемодане. Летом, лежа в саду, я целыми днями смотрел на склонившиеся надо мной ветки черешни, на прыгающих по ним воробьев, на облака, которые медленно плыли по небу, меняя очертания.

Я жил на небе. Земли я почти не видел и не знал. В небе светило солнце, в небе была и черешня со своими ветками. В небе прыгали воробьи, в небе краснела черепица соседнего дома, в небе были облака. Позже, осенью, листья с неба начинали падать в мой чемодан. Они были рыжие, теплые и тихонько шуршали. Листья падали, кружились в воздухе и наконец затихали у меня в чемодане...

На небе я прожил целый год.

— Папа,— зовет меня сын.

— На небе я прожил целый год,— говорю я.

На улице за окном тоже осень. Кру-

жатся в воздухе рыжие листья, медленно падая на землю. Я сижу у себя в комнате и думаю. Соседи снова появляются под окном, выносят сумки. Они ставят их на заднее сиденье, машина трогается и исчезает среди желтеющих тополей.

У оконной рамы жужжит оса, хочет влететь в комнату, но передумывает и куда-то улетает. Позднее осеннее солнце светит в стекло. Рядом со мной сидит мой маленький сын и плачет.

Я смотрю на него и говорю:

— Ну, слушай. Чемодан тот был не большой, но и не маленький, а сделан он был...

На другой день жена в ужасе показывает мне наш зеленый чемодан.

— Смотри,— негодует она.— Он продырявил его. В пяти местах.

— Пришли его ко мне,— говорю я.

— Только не бей его,— просит жена.— Не бей больно.

— Пусть придет ко мне.

Вскоре появляются все — сын, жена и зеленый чемодан.

— Так, значит,— говорю я, глядя ему в глаза.— Чемоданы портим?

— А как же я буду дышать?— спрашивает он, и мне все становится ясно.

— Ты хоть помещаешься в нем?— спрашиваю я.

— Он мне немножко мал, но ничего,— говорит сын.— Пошли?

— Куда?— испуганно спрашивает жена.— Что вы еще придумали?

— В парк,— говорю я.— Погуляем.

Ближайший сквер, который мы называем парком, был заполнен детьми. Они бегали по дорожкам, возились в песке, восседали в роскошных блестящих колясках из дюралюминия.

Когда я открыл чемодан и из него вылез мой сын, вокруг нас собрался весь сквер. Сын, ни на кого не глядя, забрался в песочницу и стал играть со своим ведерком. Поиграл, потом снова подошел ко мне, залез в чемодан и сказал, что хочет на другой конец сквера, к горке. Я закрыл чемодан и пошел. За нами бежал целый хвост, дети смотрели на нас с любопытством и пытались угадать, что будет дальше.

А дальше ничего особенного и не было. Сын съезжал с горки, ребята постарше спускали его сверху, я подхватывал внизу, у конца дорожки. Потом он вскарабкался на железную черепаху, посидел на ней верхом, а потом снова забрался в чемодан.

— Пошли,— сказал он.

И мы триумфально покинули сквер, сопровождаемые до самого выхода детьми и частью родителей.

На следующий день на сквер пришли три человека с чемоданами. Они открыли их, из чемоданов выползли дети и тут же разбрелись по альпинариуму. Отцы индифферентно уткнулись в газеты.

Спортивные шотландские коляски-каталки и высокие грациозные коляски для грудничков с рессорами, сетками, тормозами и бог знает чем еще высокомерно собрались в кружок и зашушукались.

Мы, отцы с чемоданами, невольно начали кивать друг другу, встречаясь около фонтана или качелей, обменивались газетами и угощали друг друга сигаретами. Коляски величественно и презрительно проезжали мимо, не обращая на нас внимания, словно нас не было на свете.

Около одиннадцати часов к нам подплыла элегантная коляска, из которой раздавался страшнейший рев.

— Извините,— сказала женщина с коляской.— Вы не разрешите ему немножко посидеть в чемодане?

— Пожалуйста,— показал я на чемодан.— Пусть сидит сколько хочет.

— В чемодан захотелось,— обиженно объяснила женщина.— Весь обревелся. И что он в этом чемодане нашел, не понимаю...

А малыш, усевшись в чемодан, тут же перестал плакать. Он смотрел на нас ясными голубыми глазами и явно ждал чего-то еще.

Я решил пожертвовать газетой, сделал треуголку и надел ему на голову, к ужасу мамаши, которую одолевали страшные видения — микробы и бациллы так и прыгают из чемодана и с газеты на несчастного ребенка.

Несчастный ребенок засмеялся, замахал руками и надвинул шапку себе на нос. Этого мамаша уже не выдержала, сгребла свое дитя и с маху посадила его в коляску. Ребенок заревел, и мы еще долго слышали его плач, разносившийся над дорожками сквера.

А еще через несколько дней наш сквер стал похож на вокзал. По дорожкам, мимо пруда с золотыми рыбками, мимо горок и железной черепахи прогуливались люди с чемоданами в руках. Дети играли, сидели в чемоданах и грелись на солнце или пытались запереть их снаружи, волочили чемоданы по песку, возили по траве. Кое-где одинокими островками виднелись блестящие коляски, осторожно пробиравшиеся среди чемоданов.

— Видал, что ты натворил?— сказал я сыну.— Отодрать тебя надо по первое число. Заработал вполне.

— Но ведь это сказка,— ответил он.— А у сказок всегда хороший конец.

— А ты, конечно, умнее всех,— сказал я ему, посадил в чемодан и понес домой.

Короткий осенний день кончался, солнце уже почти не грело.

АНТИРУБРИКА

КУРТ МОРАВИЦ

Биография благонамеренного бюргера

Перевод с немецкого Н. Н.

1911 год

Я родился в год коронации кайзера — 1888-м — в семье королевско-прусского фонарщика. Мой отец в битве под Седаном со штыком наперевес сражался за кайзера и отечество. В рукопашном бою он захватил в плен тридцать французов. Сам я второй год служу в рядах королевско-прусской армии и дослужился до денщика при майоре. Будучи по профессии стекольщиком, я особенно люблю окантовывать портреты кайзера. Мой девиз — бессмертные слова Бисмарка: мы, немцы, боимся бога и больше ничего на свете!

1919 год

Родом я из пролетарской семьи. Мой отец, классово-сознательный фонарщик, никогда не скрывал своих социалистических убеждений. Он был противником всякого ура-патриотизма. В битве под Седаном он перебежал к неприятелю, однако попал в подразделение французов, когда они сами шли сдаваться в плен. Меня тоже заставили отбывать воинскую службу в течение двух лет, из которых я шесть месяцев выполнял унизительную работу денщика у придиры майора. Во время войны я устроился заведующим солдатской столовой и тем избежал отправки на фронт. По профессии я стекольщик и, будучи еще учеником, окантовал портрет Карла Маркса. Да здравствует революция!

1936 год

Моя семья принадлежит к старому крестьянскому роду чисто арийского происхождения. Мой отец, потомственный земледелец, был вынужден из-за обнищания крестьянского сословия (вследствие засилья евреев) бросить землю и зарабатывать на жизнь фонарщиком. В 1870 году он по призыву короля взялся за оружие. Как явствует из военных сводок, он захватил в плен под Седаном тридцать французов. По зову солдатской крови, текущей в моих жилах, я вступил под знамена фатерланда и был назначен на пост ординарца к майору, который ныне носит почетный мундир гауптштурмфюрера СА. В первой мировой войне я принимал участие на самом переднем крае. Являясь в настоящее время уполномоченным районного комитета национал-социалистского объединения стекольщиков, я распорядился провести массовую окантовку портретов нашего фюрера. Хайль Гитлер!

1946 год

Я родился в семье, издавна отличавшейся демократическими идеалами и отвергавшей милитаризм и любые формы тирании. Мой отец еще в битве под Седаном внес вклад во взаимопонимание между народами тем, что избавил от превратностей войны тридцать миролюбивых французов. Сам я глубоко гражданский человек и отрицательно отношусь к воинской службе. Так, в первую мировую войну я был денщиком у майора, который теперь служит переводчиком при администрации союзных войск. Прилагаю клятвенное поручительство господина майора. Оно удостоверяет, что я во время второй мировой войны проявлял строптивость, а также неблагоприятно отзывался об отрядах СА, в которые вступил только затем, чтобы изнутри бороться с нацистской системой. На фронте я разлагал вооруженные силы политическими анекдотами. Насчет окантовки гитлеровских портретов я распорядился для того, чтобы замаскировать свои истинные убеждения. По заданию военного коменданта я окантовал портрет фельдмаршала Монтгомери.

1954 год

Я родился в демократической семье, которая всегда проявляла полное понимание по отношению к членам кайзеровской фамилии, чьи портреты печатаются сейчас в иллюстрированных журналах. Многие поколения моих предков выступали, с одной стороны, «за», с другой стороны, «против» ношения оружия. Мой отец был хотя и простым, но все же королевским фонарщиком; в битве под Седаном он, видимо, сражался с противником, но в то же время вступал с ним в переговоры. Лично я, отчасти на фронте, отчасти в тылу, служил идее сообщества европейских народов. Окантовкой портретов определенных персон я бросил заниматься. Сейчас изготовляю сменные рамки.

1968 год

Я родился в христиански благомыслящей, социально ориентированной, демократически настроенной и сознающей свой социальный долг семье, которая всегда высоко несла идею мира и свободы, однако была также готова защищать эту свободу в мире с оружием в руках. Мой отец еще в битве под Седаном проявил глубокое понимание братского французского народа. Сам я честно служил фатерланду в первой и второй мировых войнах. К сему прилагаю официально заверенную копию клятвенного поручительства моего бывшего командира, который сейчас в ведомстве по охране конституции активно борется с коммунистической подрывной деятельностью. Поскольку я по старости вынужден оставить свое стекольное ремесло, ходатайствую о назначении мне заслуженной пенсии.

ДЖЕЙМС ТЭРБЕР, Э. Б. УАЙТ

Можно ли об этом говорить родителям?

Перевод с английского АРКАДИЯ ГАВРИЛОВА

Ко мне часто приходят дети и задают один и тот же вопрос:

— Что могу я рассказать моим родителям о сексе?

И я всегда отвечаю им одно и то же:

— Надо рассказать им всю правду. Если тактично подойти к этому, то просветить их в этом вопросе будет ничуть не труднее, чем научить спрягать личные местоимения.

Но прежде чем начать обсуждение чувственного воспитания родителей, необходимо договориться о терминологии. Что мы понимаем под словом «родители»? Имеем ли мы в виду взрослых, которые имеют детей? Имеем ли мы в виду взрослых, которые имеют детей, но не знают почему? Или мы имеем в виду состоящих в браке людей, которые произвели на свет одного или более потомков, но всерьез не задумывались над этим? В целях ясности будем считать «родителями» всех взрослых лиц, страдающих обостренным восприятием непристойного.

Мне приходилось беседовать с сотнями детей о чувственном воспитании родителей. И большинство из них мне рассказывали, что, несмотря на их искренние попытки поделиться с родителями своим богатым жизненным опытом, последние обычно краснели и отвечали: «Приличные люди не говорят о таких вещах». Это только лишний раз подтверждает, что между поколениями существует непроходимая пропасть.

Тот факт, что детям, как правило, стоит больших усилий затащить своих родителей в кино или в театр, показывает, как трудно преодолеть у старшего поколения застаревший страх перед учебой. А если это и удается, то ребенок никогда не знает, в каком именно месте кинофильма или пьесы его отец начинает хихикать. Действительно, очень трудно пробить стену непонимания и установить контакт со своими родителями. «Приличные люди не говорят о таких вещах!» — это излюбленный взрослыми способ бегства от жизни.

Родители не решаются на спокойное и интеллигентное обсуждение вопросов жизни со своими детьми по двум причинам: во-первых, они испытывают страх перед всяким новым знанием и поэтому делают вид, что ничего не хотят знать; во-вторых, они почему-то считают, что если они узнают что-то от своих собственных детей, то унизятся. В действительности же всякий человек среднего возраста (и даже более старшего) заражен любопытством ко всем непонятным ему проявлениям жизни. Взрослые понимают, что жизнь быстро проходит и что ужасно будет встретить свой конец, так и не выяснив многих очень важных вопросов. Красота жизни, всегда очевидная, содержит тайну, которая, будучи неразгаданной, мучит нас до самого конца нашего земного пути. Уже сам вид грустных стариков, сидящих на лекции о чувственном воспитании, говорит нам о глубоко коренящейся в них надежде на то, что они, может быть, услышат магическое слово, которое наконец-то прояснит для них все человеческие отношения. Короче говоря, дети, которые позволяют своим родителям оставаться в неведении относительно вопросов пола, лишены какого-либо чувства долга по отношению к тем, кому они обязаны своей жизнью.

Если юные отпрыски не наделены тактом или еще не владеют в достаточной мере интеллигентным словарем, который необходим для просвещения их родителей, эта задача должна быть возложена на кого-то другого. Правда, трудно сказать на кого. Ребенок должен подумать дважды, прежде чем послать своего отца в школу к учителям за необходимой информацией об отношениях полов. Женщины-учителя, если воспользоваться заимствованным выражением,

АНТИРУБРИКА

как правило, «эмоционально безграмотны». Многие из них сами не имеют сексуальной жизни и только и ждут появления кого-нибудь вроде вашего отца.

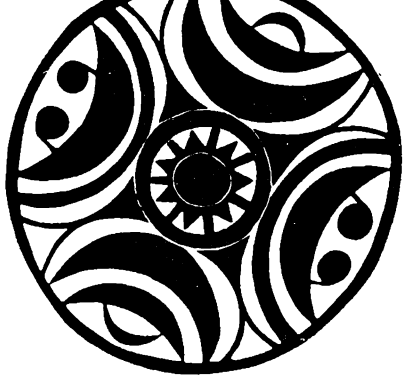
Ничьи родители не бывают слишком стары для того, чтобы сообщить им факты. Более того, это даже жестоко — держать их в неведении и позволять им питать сомнения и ужасы, рожденные их воображением. Большинство родителей, к сожалению, пока еще черпают свои знания о фактах жизни из случайных разговоров и анекдотов в электричках и коридорах учреждений. Они получают их от своих порочных сверстников, которые лишь чуть-чуть более сведущи, чем они, и которые обычно рисуют перед ними безнадежно искаженную картину мира.

Детям всегда нужно помнить, что сообщать сведения о сексе своим родителям они обязаны так, чтобы не вызвать у них отвращения или страха, которые могут превратиться в устойчивую реакцию. Фразеология должна отбираться тщательно, без использования слов, которые обычно взрослых нервируют (хотя и необходимо объяснять все ясно, без экивоков). Одним из таких слов является слово «эротический». Когда придет время сообщить им об эротических тенденциях человека, это слово лучше заменить другим. Это имеет смысл уже хотя бы потому, что подавляющее большинство родителей не знает точного значения слова «эротический», а знать неточное значение слова — хуже, чем вообще ничего не знать. Многие склонны смешивать слово «эротический» со словом «экзотический». Я знал родителей, которые прочитали почти все книги Хейвлока Эллиса и Зигмунда Фрейда, так и не поняв в них ни одного абзаца, потому что думали, что «эротизм» — это стремление человека путешествовать по экзотическим странам вроде Испании. Если таким родителям объяснить различие между двумя этими словами, они начнут нервничать, сделаются рассеянными. Под любыми предлогами они будут выходить из комнаты, возможно, пойдут на кухню, откроют холодильник и потом в задумчивости будут жевать холодный бутерброд. Позже они найдут это слово в словаре, но к тому времени, когда снова услышат его в разговоре или увидят в книге, забудут его значение. В конце концов они потеряют всякий интерес к вопросам пола

Что именно говорить родителям — это жизненно важный вопрос, на который нет готового ответа. Во всяком случае, перед тем, как ребенок сможет касаться в разговорах с родителями таких предметов, как эдипов комплекс, сублимация, фригидность, контроль рождаемости и тому подобное, он должен тщательно подготовить почву. О наиболее простых фазах половой жизни нужно говорить просто и прямо: лучше объяснять эти моменты как нечто обычное и само собой разумеющееся, чем полагаться на туманные и, как правило, запутывающие аналогии с птицами и цветами. Может быть, кое-кому это покажется странным, но жизненные механизмы птиц и цветов имеют не большее отношение к человеческим отношениям, чем к любому другому проявлению природы. Более того, всегда есть опасность, что примеры из растительной или животной жизни будут истолкованы родителями буквально.

Иногда можно считать желательным цитирование родителям тех или иных мест из популярных книг по вопросам пола. Правда, в таких случаях необходимо принимать меры предосторожности для того, чтобы устранить элемент неожиданности, внезапности. Вряд ли ребенок достигнет своей цели, если в жаркий полдень подойдет к матери, хлопочущей у плиты, и скажет: «Мама, при благоприятных условиях муж и жена должны сохранять сексуальную привлекательность друг для друга в течение всего периода их сексуальной потенции».

Некоторые дети рассказывали мне, что, вместо того чтобы читать вслух, они оставляли книги на видных местах, открытыми на соответствующей странице. Но в большинстве случаев даже этот метод не давал желаемых результатов. Матери обычно берут книгу, смахивают с нее пыль и ставят на полку. Книги, которые читают их дети, всегда кажутся им грязными.



Наши гости

Субхас Мукерджи
ИНДИЯ

Киорапетсе Коситсиле
ЮАР

Субхас Мукерджи — известный поэт, прозаик и переводчик. Пишет на языке бенгали. Его перу принадлежат более десятка поэтических книг, несколько романов и литературоведческих работ. Киорапетсе Коситсиле — молодой поэт из Южно-Африканской Республики, автор нескольких сборников стихов.

Наши гости приехали в Москву из Берлина, где принимали участие в работе XVIII сессии Постоянного бюро Ассоциации писателей стран Азии и Африки. Субхас Мукерджи — президент Индийского национального комитета по связям с писателями стран Азии и Африки, заместитель генерального секретаря Постоянного бюро Ассоциации, заместитель главного редактора журнала «Лотос». Киорапетсе Коситсиле представлял на сессии в Берлине литературную общественность Южной Африки.

СУБХАС МУКЕРДЖИ. *Мне кажется, нам удалось сделать много полезного. В сессии участвовали десять национальных делегаций, представители Организации солидарности с народами Азии и Африки и Комитета ОСНАА ГДР. Мы обсудили меры по укреплению и расширению афро-азиатского писательского движения, одобрили перспективный план выпуска нашего печатного органа — журнала «Лотос».*

Очень важным я считаю принятое нами решение провести в Ташкенте, городе, где двадцать лет назад проходила первая Конференция писателей стран Азии и Африки, литературную встречу, посвященную нашему юбилею, а также сессию Исполнительного комитета Ассоциации, которая наметит меры по подготовке очередной конференции и заслушает отчет редколлегии «Лотоса».

КИОРАПЕТСЕ КОСИТСИЛЕ. *Я бы хотел добавить, что мы приняли политическую декларацию, в которой заявили о своей поддержке борьбы народов ЮАР, Зимбабве и Намибии за свободу и независимость и выразили солидарность с народом Палестины, борющимся за право создания собственного государства.*

— Какое внимание оказывает афро-азиатское писательское движение на литературную жизнь стран «третьего мира», на творчество отдельных писателей?

КИОРАПЕТСЕ КОСИТСИЛЕ. *Я сравнительно недавно — в конце 60-х годов — по совету и рекомендации Алекса Ла Гумы вступил в Ассоциацию писателей стран Азии и Африки. Сейчас уже не мыслю без нее свою жизнь. Сила писателя — в его слове, его идеях, его связи с народом. Но, объединившись, писатели обретают новые силы. Для писателей развивающихся стран я не вижу другого способа научиться быстро понимать друг друга, осознавать свои социальные и творческие возможности. Международные встречи помогают нам яснее видеть стоящие перед каждым из нас задачи и находить самые верные пути их решения. Мы учимся друг у друга искусству слова и искусству борьбы.*

Потом личные контакты... Они значат очень много в жизни писателя. В ЮАР ситуация такова, что контакты прогрессивных писателей с внешним миром сведены к нулю... Впервые в жизни я встретил советского писателя в 1966 году в Западной Африке. Это был Евгений Евтушенко. Впоследствии я познакомился и с другими

писателями из вашей страны, а самое главное — стал много читать. Благодаря советской литературе я раскрыл для себя новый и увлекательный мир.

СУБХАС МУКЕРДЖИ. *Я участвую в афро-азиатском писательском движении с его зарождения. На первой конференции в Ташкенте я был самым молодым членом индийской делегации. А сейчас у меня седые волосы, и меня считают ветераном. В первые годы мы основное внимание уделяли политическим вопросам. Понять это нетрудно — большинство стран Азии и Африки активно боролось тогда за политическую независимость. Сейчас, попрежнему сохраняя политическую активность, мы все больше сосредоточиваемся на литературных, как творческих, так и издательских, вопросах.*

Ассоциация выполняет жизненно важную для литературы миссию сближения писателей разных континентов, выработки у них единого взгляда на различные проблемы современного мира. Думаю, что принципы дсятельности нашей Ассоциации являются той прочной моральной основой, которая и дальше будет обеспечивать афро-азиатскому писательскому движению заслуженный авторитет, вовлекать в него новых участников.

В заключение просим наших гостей рассказать об их последних публикациях.

СУБХАС МУКЕРДЖИ. *Действие моего последнего романа «Когда выбираешь свой путь» происходит в поезде. Пассажиры, люди разных возрастов, политических взглядов и моральных убеждений, спорят о смысле жизни. Каждый всеми возможными способами хочет доказать свою правоту. А моя цель — показать социальную природу их точек зрения.*

КИОРАПЕТСЕ КОСИТСИЛЕ. *Мой последний сборник стихов называется «Места, где льется кровь». Я вспоминаю места, где жил и бывал: ЮАР, Тропическая Африка, Европа. Поэта не может не волновать вопрос, где и как он рос, что формировало его, питало его личность. Я пишу о жизни, какой она была, слежу за биением своего сердца.*

Я пишу по-английски и знаю, что меня услышат далеко не все мои соотечественники, хотя для них я, собственно, и пишу. Языковой барьер остается для африканцев одной из самых сложных социальных и культурных проблем, доставшихся в наследство от колониализма. Недавно я занимался составлением антологии современной поэзии Африки. И вот, когда работа была сделана, как-то сам собой встал вопрос: что такое поэзия Африки — африканская ли это поэзия? Можно спорить о ее связи с традиционной африканской культурой, но факт остается фактом: современная поэзия Африки доступна в основном только человеку с европейским образованием, ибо написана, как правило, на европейском языке. Вот и думаешь: для кого же пишут африканские поэты и когда, наконец, услышит их широкая африканская аудитория? На этот вопрос ответить трудно, но он стоит перед нами неотвратимо. Думаю, что своего слова еще не сказала поэзия на африканских языках, которые становятся важным рычагом развития национальных культур.

В. ТАРАСОВ

Жан Бриер

Жан Бриер — гаитянин. Но вот уже лет пятнадцать назад он вынужден был покинуть свою родину, где под крылышком Соединенных Штатов Америки преданы забвению элементарные права и свободы. Бриеру, известному поэту и общественному деятелю, удалось уехать из страны и избежать трагической участи многих своих соотечественников — борцов за свободу гаитянского народа. Среди этих людей были и писатели. Одно имя хорошо знакомо читателям журнала «Иностранная литература» — Жак-Стефен Алексис [1].

[1] Журнал публиковал роман Ж.-С. Алексиса «Деревья-музыканты», № 1—3, 1962 г.

С тех пор в Гаити мало что изменилось, хотя теперь там правит уже Дювальемладший. Бриер живет на другом берегу Атлантики, в столице Сенегала Дакаре. Он считает Сенегал своей второй родиной, активно участвует в культурной жизни молодой африканской страны, неоднократно представлял ее на конференциях афро-азиатского писательского движения, на встречах сторонников мира.

В нашей стране Жан Бриер не впервые. Он автор стихов, посвященных городам Советского Союза, нашим космонавтам, писателям. Не раз Бриер обращался к образу Владимира Ильича Ленина. Многие из этих произведений переведены на русский язык и опубликованы в наших газетах и журналах, в том числе в «Иностранной литературе»[1]. В прошлом году за стихи о Ленине он стал лауреатом журнала «Огонек».

Есть у Жана Бриера и публицистическая книга о нашей стране — «Другой мир». Она вышла в Дакаре в 1973 году. Поэт простым языком, очень образно рассказывает в ней африканцам о том, как родилось первое в мире социалистическое государство, о жизни и достижениях советских людей. А начальная глава книги — это предыстория его знакомства с нашей страной. В начале 60-х годов, еще в Гаити, Жан Бриер получил от Союза писателей СССР приглашение принять участие в Конференции писателей Азии и Африки в Ташкенте. Однако вместо Ташкента он попал в политическую тюрьму. Когда Бриер поведал товарищам по камере о своей несостоявшейся поездке в СССР, один из них, уже пожилой сержант по имени Пьериллюс, сказал: «Я знаю, вы ученые и гордитесь тем, что не верите ничему, связанному с силами, которые не подвластны человеку. Я прочел за свою жизнь лишь несколько книг... Так вот, вы можете смеяться, но я сейчас расскажу правдивую историю, хоть вы и назовете ее сказкой». И рассказал:

В начале нашего века во время одного из народных восстаний на Гаити в тюрьму попал тяжело раненный старый солдат, участвовавший еще в освобождении острова от колониального владычества. Он стал лечить себя сам, прикладывая к ранам пряности и толченые листья. Однажды он нарисовал на стене кораблик с поднятыми парусами. (Кораблик у антильских негров считается символом возвращения на родину, бегства из неволи.) Солдат объявил, что через три дня бежит, и стал предлагать идти к нему на корабль матросами. Над ним смеялись, но старый солдат через молодого парня, выходившего на волю, передал своему товарищу, что высадится на южном берегу острова. В камере решили, что он сошел с ума. Прошло три дня. Вечером старый солдат еще раз предложил всем бежать. Для этого надо было вместе с ним прислонить пятки к рисунку. Узники, посмеиваясь над стариком, легли спать. А на рассвете не было ни кораблика на стене, ни старика.

Рассказав свою «правдивую историю», сержант Пьериллюс попросил Жана Бриера написать на стене камеры название города Советского Союза, куда он должен был ехать. Когда на следующий день узники проснулись, они увидели на стене кораблик с поднятыми парусами. На борту было написано: «Ташкент. Капитан — Ж. Бриер». Вскоре Бриера выпустили. А через несколько лет, когда поэт был уже в Дакаре, он опять получил приглашение принять участие в Конференции писателей Азии и Африки в Ташкенте.

Наш гость только что опять из Ташкента. На этот раз он был гостем Кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки.

— Фестиваль прошел с большим успехом. Мои впечатления, может быть, не профессиональны, я не кинематографист, я писатель. Но мне очень важным показалось то, что сценаристы, режиссеры, актеры имели возможность не только показать друг другу свои работы, но и обменяться мнениями, поспорить. Ведь люди с одного и того же континента, даже из одной и той же страны могут смотреть на мир по-разному. А все зависит от взгляда, каким художник смотрит на мир.

В прошлом году я был в Соединенных Штатах. Я видел там зрелища, будто бы специально предназначенные для того, чтобы оболванить людей, помешать им видеть жизнь такою, какая она есть на самом деле. Определенная часть публики на Западе, люди пресыщенные, ждут именно таких зрелищ. На эту публику и работает коммерческий кинематограф.

Возьмем, к примеру, Сенегал. Приезжает туда какой-нибудь кинодокументалист и снимает нищету. Он смотрит на нашу нищету как на экзотику. Он не видит за ней чувства солидарности бедняков, сочувствия их друг другу. Не видит, что за этой нищетой обычаи, которым по тысяче лет. Не видит причин этой нищеты.

Коммерческие залы у нас, так называемый большой экран, захвачены американскими ковбоями и порнографией. Сенегальское кино еще очень молодо. Но я с радостью могу констатировать, что оно не подражает плохим западным фильмам, а показывает жизнь такою, какая она есть, и не просто показывает, но и пытается заглянуть в завтрашний день. Наши режиссеры стремятся своими фильмами учить людей жизни. Так, как в школах учат детей читать и писать.

Советских фильмов я видел много. Некоторые из них не забуду никогда — «Летят журавли», например. Привлекает меня в советском кино чистота, целомудренное отношение к жизни, к судьбам людей, какими бы сложными они ни были. Вот и на этом фестивале запомнился мне такой фильм. Сделали его казахские кинематографисты — «Алпамыс идет в школу». Как внимательны и нежны взрослые к маленькому человеку, вступающему в мир знаний.

[1] См. «ИЛ» № 1, 1960 г.; № 4, 1969 г.; № 10, 1970 г.

Непередаваемой свежести фильм. Я хотел бы пожелать этой свежести, чистоты сенегальским кинематографистам.

Вы знаете, что Сенегал — страна устных традиций. Чтобы в жизни такой страны произошли действительные сдвиги, чтобы наша страна вошла в современность, нужно очень многое изменить в сознании людей. И кино может сделать это скорее, нежели школа. Через зрительные образы быстрее и легче познать мир. Мне не очень удобно говорить об этом в обществе людей, которые работают над печатным словом, но мне кажется, что кино скорее изменит человека, нежели книга. И как это ни обидно — я сам писатель, но книгой Будущего станет, по-моему, все-таки кино.

А как же литература, поэзия?! Жан Брнер улыбается — нет, он не бросил писать стихи.

— Некоторые поэты могут работать только в определенной обстановке, создают для себя такую обстановку. Говорят, Шиллер держал в ящике своего письменного стола тронутые гнильцой яблоки — ему нравился их запах. Я могу писать в любых условиях. Если что-нибудь заденет за душу.

Хотите, я прочитаю вам мои любимые стихи? Не свои.

Жан Бриер читает стихи о гаитянке, живущей в изгнании. Она танцует в кабаре. В руке у нее цветок. Когда она оказывается у окна, выходящего в ту сторону, где далеко-далеко находится Гаити, она вытягивает руку с цветком — привет тебе, далекая родина.

Глуховатый голос поэта, как море: то он яростно вздыбленная волна, то затихает, будто волна эта растекается по берегу, шуршит галькой.

Буруны пенные и брызги серебра
Ложатся на берег накидкой снежно-белой...
Извечна легких волн певучая игра,
Извечен их напев — с ним перед караве́ллой

Они бежали вдаль, лаская слух рабов
Несмелой жалобой из глубины веков[1].

О чем бы ни писал Жан Бриер, в его стихах обязательно присутствует море. Дакар, где он сейчас живет,— самая западная точка Африки, отсюда ближе всего до Гаити. В трех километрах от города остров. Его название произносится — Горэ́. В нашей прессе несколько раз ошибочно, но очень символично писали — Горе. Это действительно остров горя — здесь когда-то был крупный перевалочный пункт работорговли. Показывая гостям Сенегала Дакар, Бриер обязательно привозит их на Горэ. Надо видеть его глаза, когда он, вглядываясь в бесконечную синь океана, говорит: «Вон там Гаити».

— Мне трудно рассказать вам о том, что чувствует человек, который живет в изгнании. Он как машина, которую вдруг остановили да так и бросили, потому что она никому не нужна.

Это тоже постоянный образ поэзии Жана Бриера:

Не знаю, который был час на родине у меня,
потому что стрелки часов
вхолостую вращаются, когда ты
в изгнанье:
годы изгнанья — это мертвое время...

— Большинство моих стихов написаны в те моменты, когда я ясно видел свое детство. Я думаю, поэт не умирает до тех пор, пока в нем не умирает ребенок.

Мы просим Жана Бриера написать для журнала статью о гаитянской литературе, составить подборку поэтов Гаити.

— Моя родина относится к числу тех стран, которые называют развивающимися или отсталыми. Этот комплекс «отсталости» — будто стоишь с протянутой рукой — преследует меня всю жизнь. А среди вас я чувствую себя человеком, который тоже может что-то дать людям. Равным среди равных.

Он прощается. Во взгляде, как и в стихах,— стариковская горечь и юношеская вера. Эта вера завораживает, бередит душу. Так хочется увидеть этого стройного, несмотря на возраст, красивого человека на берегу далекого острова, там, где родилась в нем ничем непоколебимая вера в счастье, услышать, как он читает под шум прибоя свои новые, счастливые стихи.

А. К.

[1] Здесь и далее стихи Жана Бриера — в переводе Мориса Ваксмахера.

◆

Среди книг

Издано в СССР

ЖЕСТОКОЕ БЕССТРАШИЕ МАРКЕСА

Габриэль Гарсиа Маркес. Осень патриарха. Перевод с испанского Валентина Тараса и Карлоса Шермана. «Неман», № 5—7, 1977.

Неинтересно было бы долго говорить на тему о том, что же такое «Осень патриарха» по сравнению с романом «Сто лет одиночества», благодаря которому прославился Гарсиа Маркес. Конечно, и там и там — могучее воспроизводящее, пересоздающее воображение, и там и там — гиперболы и «магический реализм», и там и там — резкость живописи, атмосфера одновременно Рабле и Фолкнера, но это лишь общие признаки индивидуальности, сложившейся после предварительно-подготовительных произведений «Полковнику никто не пишет», «Палая листва», «Недобрый час» и других; а как отдельные произведения — это романы, совершенно разные по своим внутренним задачам. Обдумывались они тоже не один за другим, а несколько параллельно, что ли. Верный признак того, что в них участвовали разные сферы ума.

«Сто лет одиночества» — роман органический, природный, библейский, одновременно интеллектуальный и условный; «Осень патриарха» — роман социальный, прежде всего социальный по своему заданию. Конечно, здесь как фактура фигурирует все та же «органика», что перечислена выше; но равнодействующая-вектор — иная. Можно быть этим довольным или недовольным, но приходится учитывать жанр и закон, «им самим», Габриэлем Гарсиа Маркесом, над собою признанный в этом произведении.

Жестокое бесстрашие автора бросается в глаза и, собственно, все время подчеркивается, довлеет демонстративно. Кто ищет у Гарсиа Маркеса «прямой и ясной доброты к человеку», «сочувствия к ближнему», «живого и теплого чувства», пусть немедленно оставляет чтение. Писатель на многое замахивается в «Осени патриарха»; эти задачи диктуют стиль. Гарсиа Маркес тут суше и строже, чем в «Ста днях одиночества»; духовный подтекст его — ум, надрыв и суровость.

Тематически этот роман — о диктаторе латиноамериканского типа.

Тема эта пряма и определенна; повествование непрерывно идет об одном человеке, его повадках и жизни, и все остальные люди входят в круг изложения применительно к нему, и только к нему. Если «Сто лет одиночества» — роман о роде человеческом и континенте, то герой романа «Осень патриарха» — патриарх, «мой генерал», и больше никто.

Может ли быть роман о диктаторе-деспоте, о латиноамериканском тиране, которыми отрицательно славен этот мир, континент? Не годится ли тут одна лишь сатира и не должен ли этот «роман» заведомо получить добавление «сатирический»?

Мы знаем ту хитрость искусства, по которой все, что не прямая сатира, должно дышать изнутри некой любовью, любовным теплом по отношению к предмету изображения; Гоголь любит Хлестакова (Блок писал об этом!), как зоолог любит гремучую легкую яшерицу, которая у какого-нибудь поклонника пташек и мосек вызовет лишь брезгливость...

Возможна ли любовь к такому чудовищу, как патриарх? Художественно ли это произведение (ибо без такой любви нет художе-

ства в «серьезном» жанре), если перед нами не прямая сатира?

Непрямая сатира и есть художество.

«Осень патриарха» — не сатирический, а трагический роман; ну, пусть гротескно-трагический: для любителей четких определений.

Любовь в романе есть, но это любовь не к самому патриарху, а к тем живым, мощным силам, которые сгнили в нем.

Ведь эти силы его воистину огромны; он непрерывно питается соками могучей почвенной толщи, знает об этом, кичится этим — и неизменно использует это в своих корыстных диктаторских целях.

Вся гуща интеллектуально-живописной маркесовской изобразительности кипит и бродит, когда требуется показать невиданную «органику» патриарха: «...кричал, надсаживая голос, оскальзываясь на коровьих лепешках тьмы и в ужасе спрашивая себя: «Что же это стряслось на белом свете? Скоро восемь утра, а в этом сволочном доме все дрыхнут!..» «Вставайте, рогоносцы!» — кричал он, и стали зажигаться лампы, в дворцовой казарме протрубили зорю... розы раскрылись за два часа до первой росы, дворцовые бабы, как лунатички, вытряхивали под звездным небом половики, спящим в клетках птицам был задан корм, не успевшие завянуть цветы были выброшены и вместо них поставлены в вазу такие же свежие; бригада каменщиков спешно кончала дом, наклеив на каждое окно по солнцу из золотой фольги, чем сбила с панталыку подсолнухи... когда же один из офицеров генерального штаба осмелился остановить его и, отдав честь, доложил, что сейчас не восемь утра, а всего лишь пять минут четвертого, то он влепил ему затрещину и рявкнул так, что весь мир услышал: «Сейчас восемь, черт подери! Восемь, я сказал!» И так далее, и так далее.

Но то целое, которому служит эта «органика», неприемлемо для Маркеса. Он акцентирует это. Все его резкие медицинские образы работают на отрицание. Идет в ход своеобразная физиологическая символика. Патриарх необыкновенно мощен как мужской организм, но женщине он не может принести радости. Родился он недоноском. Пресловутая кила — позорная болезнь — придумана для той же символики. Латиноамериканские социально-диктаторские поспешность, ненормальность, чудовищная горячность и «разбухание» в социально-духовных делах олицетворены жестоко и грубо. Сама жизненная сила диктатора неизменно и неустанно обращается в искаженное и мучительное сладострастие, в неистощимую смерть, надрыв и гиблую кровь. Маркес не жалеет гипербол и физиологизмов. Одно лишь избиение офицеров или история детей на барже чего стоят. Напор жизни непрерывно оборачивается блефом — обманом и пустотой. Все подставное, все бутафория. Оголтелые приближенные патриарха, сами не ведающие, в какую из любых следующих секунд их настигнет кара хозяина, чинят при этом невиданную коррупцию. Любовь патриарха к своей главной женщине, Летисии Насарено, разумеется, тут же становится пыльной пародией и общим несчастьем. Как издевка над старым патриархальным бытом бродит по золоченым хоромам старушка — мать патриарха, оберегая своих кур, рассевшихся на всех пюпитрах и вазах; она — воплощение старой народности... В середине романа и она умирает от зловонной болезни. А временщик европейского типа, таскающий головы в мешках?

И подобное, и подобное — собственно, весь роман таков.

Что же хочет сказать всем этим социальный писатель Гарсиа Маркес?

Какая тут есть идея и есть ли она?

Не просто ли это злоба на все человечество, не насмешка ли это над всем запутавшимся земным бытом?

Идея писателя, если и формулируется в тезисе, то таким образом: человек из народа, отринувший себя от народа и от главных простых и высших истин этого мира, вдвойне не будет прощен; сила живого происхождения — тут не панацея от бед, а нечто обратное; человек обязан служить народу и истине, а если этого нет, то крах неизбежен.

Если в нем при этом кипит мощь живых сил — тем хуже: не идя на светлое, они неизбежно идут на черное...

«...Удар прозвучал, как пушечный выстрел, и разнесся по всему зданию. И тотчас начался погребальный звон колоколов собора, погребальный звон всех остальных церквей страны — колокола звонили сто дней подряд, сто дней без перерыва. Но, уже заслышав первые удары колоколов, люди с содроганием поняли, что он снова во власти своей безраздельной власти, что его непостижимое сердце, подавленное было бессилием перед смертью, вновь ожесточается до предела против поползновений разума и человеческого достоинства, ожесточается на этот раз из-за того, что его мать, его незабвенная Бендисьон Альварадо, умерла на рассвете в понедельник двадцать третьего февраля...

Со смертью Бендисьон Альварадо страна вступила в новый, смутный и беспокойный век».

Даже беспредельность любви к матери, даже скорбь его падет на головы ближних...

Жестокость диктатора—«жестокость» автора; там жестокость прямая, здесь «жестокость» трагическая и немного надрывная: нет тех крыльев игры и свободы, на которых парят «Сто лет одиночества», есть смех — и нет смеха; есть тайная, леденящая, сковывающая душу серьезность, «уставленность» в одну точку...

Надо провести много бессонных ночей, иметь бесстрашие совести, ума и рассудка, чтобы сказать о своих могучих землях, о своем южноамериканском трагическом континенте подобные «правды». Эта смелость— дело глубинной морали и горящего воображения автора.

Его борьба за прогресс, его вмешательство в мировые проблемы последнего времени на стороне гуманизма и «светлого духа» говорят о том, что бесстрашие это обеспечено тайной любовью к своей земле и «стихии» и светлым разумом; он верит в свои земли; диктатор жил чуть не двести лет, но теперь умер; но жестокая правда о диктаторе и о том, как он мучит и истязает ту самую жизнь, которая его породила, видимо, душила Гарсиа Маркеса в некие особенно черные южные ночи...

Душила так, что он пожелал отделаться от этого ночного кошмара — и выдать его на суд дневного мира и его Разума.

ВЛ. ГУСЕВ

МИР КИТАЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Цветы сливы в золотой вазе, или Цзинь, Пин, Мэй. Роман в 2-х томах. Перевод с китайского В. Манухина под редакцией С. Хохловой. Подготовка текста Л. Сычева. Вступительная статья и комментарии Б. Рифтина. Стихи в переводе Г. Ярославцева. Москва, «Художественная литература», 1977.

Когда роман «Цзинь, Пин, Мэй» распространился среди китайских читателей XVII века сначала в рукописях, а потом в ксилографических изданиях, он сразу же вызвал противоречивые толки. Ортодоксы-ригористы обнаружили в нем грубую безнравственность, способную разрушить твердь конфуцианской морали, и вместе с тем открытые выпады против социального бытия. Пуристы обрушились на литературный стиль книги, по их мнению,—«низкий и пошлый», на ее язык—«вульгарный и грубый». Эта оценка запечатлелась во многих официальных постановлениях и частных указаниях властей, запрещавших не только издавать, но и читать книгу.

Другая же часть общества, наоборот, увидела в «Цзинь, Пин, Мэй» новизну темы, глубину содержания, сочность языка, тесно связанного со стихией разговорной речи. Знаменитый Фэн Мэнлун, автор многочисленных повестей и пьес, был «потрясен и обрадован», когда впервые прочитал эту книгу. Не менее известный литератор Юань Хун-дао сравнивал ее с «каноном», правда, «неофициальным». Восторженная оценка многих современников (людей незаурядных и свободомыслящих) способствовала популярности романа. Этому же содействовали разного рода легенды об авторе-мстителе и его героях, за которыми якобы стояли реальные и влиятельные персоны.

Однако судьба романа, как и многих других образцов «низкой» литературы, оказалась сложной. Его печатали с предосторожностями, распространяли «из-под полы», читали тайком. Издания грешили многочисленными неумелыми сокращениями и искажениями. Наиболее полный и ранний ксилограф (1617) обнаружили лишь в 30-х годах XX века. Факт сам по себе примечательный.

Китайское название романа — это своего рода иероглифическая загадка. Подобные смысловые ребусы были распространены в литературе той поры, их можно встретить и в других произведениях. Три иероглифа (Цзинь, Пин, Мэй) отчетливо ассоциируются с именами трех героинь. Особенность иероглифического языка, однако, позволяет раскрыть в названии гораздо больше, нежели три знака-апеллятива, то есть представить образ, который отражен в переводе: «Цветы сливы в золотой вазе». Пожалуй, самым важным компонентом здесь являются слова «цветы сливы» (по-китайски: цветок мэйхуа). Как и лотос, орхидея, пион, цветок мэйхуа занимал важное место в китайской изобразительной символике и играл большую роль в литературе. С ним обычно ассоциировались женское изящество и красота, любовная страсть и плотские утехи. Иначе говоря, в названии своеобразно отражается любовная тема, которая развивается в сюжете. Однако эта сторона романа — всего лишь внешний покров, за которым проглядывает более глубокое содержание. Проницательные современники увидели в романе не собрание пикантностей, но «мысль потаенную», скрытые «тревогу и боль».

О чем же повествует книга? Сюжетной канвой ее является история жизни некоего Симынь Цина — преуспевающего коммерсанта и пронырливого чиновника. Однако автор не ограничивается описанием частной жизни одного человека. Перед читателем возникают образы многих представителей разных социальных слоев, по существу — все тогдашнее общество. Другими словами, это — роман о нравах. Таковыми были примерно в это же время повести Сайкаку в сопредельной Японии, а в Европе — «Симплициссимус», «Ласарильо с Тормеса» и другие образцы прозы, где быт и нравы общества затейливо изображались через похождения одного или нескольких героев.

Для Китая до XVI—XVII веков подобные произведения были, в известной мере, откровением. Образованный китаец воспитывался на высокой литературе, а если ненароком интересовался «низкими» жанрами, то читал в основном книги историко-героической и волшебной тематики. Повседневная человеческая жизнь находилась где-то за пределами большой литературы. Роман «Цзинь, Пин, Мэй» нарушил эту традицию. Фактически именно с его появлением в китайской литературе возникла новая традиция нравоописания, которая с тех пор успешно развивалась. Если любознательный читатель пожелает подробно познакомиться с жизнью китайского общества той поры, ему достаточно внимательно прочитать эту книгу, чтобы получить весьма полное пред-

ставление о человеке той эпохи и его окружении. Бытописательная широта и этнографическая наполненность романа поражают. Это своего рода энциклопедия китайской жизни позднего средневековья.

Общество, изображенное в романе и показанное сквозь призму взаимоотношений героев, подвержено многим недугам: в нем царят разврат, казнокрадство и взяточничество. Обличительные нотки романа несомненны. Недаром автор (который до сих пор неизвестен) назвал себя Насмешником. Действительно, смех, а точнее ирония, отчетливо ощущается в книге.

В оригинале роман очень велик, а по своему содержанию и стилистике — чрезвычайно сложен. Перевод его требует отличного знания языка и реалий эпохи. Этим качеством обладал ныне покойный В. С. Манухин, не только переводчик, но и исследователь выдающегося произведения. Он проделал огромную работу, выполнив в свое время полный перевод романа и снабдив его научными толкованиями. Настоящий вариант перевода (сокращенный) вполне удовлетворяет запросы читателя, который познакомится не только с сюжетом романа, но и почувствует его стиль. Лучшему пониманию книги способствует предварительная научная подготовка текста, проделанная Л. Сычевым, а также содержательное предисловие и комментарии Б. Рифтина.

Это не значит, конечно, что в переводе нет шероховатостей и смысловых неточностей которые можно было бы устранить при еще более тщательной редактуре.

Огромную роль в поэтике романа играют стихи. Они в целом вполне квалифицированно переведены опытным поэтом-переводчиком Г. Ярославцевым, который стремился прежде всего выразить смысл и передать эмоциональную наполненность поэтических вставок. Стихи в русском переводе читаются легко, хотя в некоторых местах, на мой взгляд, поэту несколько изменяет вкус и появляется несвойственная оригиналу разухабистость.

Большое место в поэтической структуре романа занимают прозо-поэтические фрагменты. Они выполнены поэтическим речитативом изящно и без нажима. Перевод этих мест, часто содержащих подтекст и скрытый намек, требовал большого художественного чутья и такта. Переводчику они присущи. Иногда, правда, проскальзывают ненужные красивости, словесная витиеватость, однако эти издержки можно рассматривать как исключения.

Роман «Цзинь, Пин, Мэй» принадлежит к китайской прозаической классике. Это, несомненно, большой успех нашей китаистики и советской школы художественного перевода. С его выходом в русском издании заполняется пробел, который до сего времени существовал. Теперь на русском языке опубликованы все наиболее значительные произведения классической китайской литературы крупной формы, начиная от ранних образцов — эпоса «Троецарствие», «Речные заводи» и до знаменитых романов XVIII века «Неофициальная история конфуцианцев» и «Сон в красном тереме». Вместе с переводами других средневековых романов, а также повестей и новелл они составляют весьма обширную библиотеку богатого и яркого прозаического наследия китайского народа, доступного теперь советскому читателю.

Д. ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Издано за рубежом

КНИГИ, КОТОРЫЕ БУДУТ ЖИТЬ ВСЕГДА

В 1978 году весь читающий Кипр чествует двух крупных поэтов — Тевкроса Антиаса и Теодосиса Пиеридиса. Оба они умерли в одном и том же, 1968 году, оставив после себя наследие, богатейшее как по объему, так и по содержанию. (Первый скончался в возрасте шестидесяти пяти, второй — шестидесяти лет.) С юношеских лет оба поэта посвятили свое творчество борьбе за свержение британского колониального господства, делу социального освобождения кипрского народа, его социалистического будущего. В своих лирических, но исполненных революционного духа стихах они воспевали неустанную многовековую борьбу своего народа. Поэзия их, полная силы, звучала как горн и служила источником надежды даже в самые тяжелые периоды. Антиас и Пиеридис связывали маленький Кипр с внешним миром. Своей деятельностью они способствовали углублению политического самосознания киприотов: обнажали перед народом сущность его врагов, разъясняли процессы, совершавшиеся в мире, рассказывали о социализме. Этот момент учительства, когда поэт берет на себя роль общественного наставника и вождя, традиционен для кипрской поэзии с самых ее истоков. Так, классик кипрской литературы Василис Михаилидис оставил потомству шедевр «9 июля», где в напоминающей Гомера манере повествует о том, как в 1821 году османские завоеватели задушили недавно зародившееся народное движение на Кипре.

Кроме того, на Кипре издавна существуют так называемые «пиитариды», напоминающие рапсодов Древней Греции. Речь идет о народных поэтах, повествующих в своих стихах о героических подвигах и трагических судьбах борцов, а также любовных историях с драматическим концом. Стихи эти читались во время больших празднеств и распространялись среди на-

рода. Таких «пиитаридов» можно встретить и в наши дни.

Поэзия Антиаса и Пиеридиса не входит, конечно, в последнюю категорию; к тому же оба поэта писали не на кипрском диалекте, а на общегреческой димотике. В их произведениях сильно личностное, лирическое начало, да и проблемы ставятся более серьезные. Однако это поэзия, обращенная к народному сердцу, доступная самым широким слоям народа не только благодаря содержанию, но и форме.

Две характерные для этих поэтов книги — «Кипрская симфония» Теодосиса Пиеридиса (1956), написанная в период подъема национально-освободительной борьбы против британского колониального владычества, и «Кипрская трагедия» Тевкроса Антиаса, созданная примерно десятью годами позже в разгар империалистических заговоров против Кипра. Названия обеих книг сами по себе говорят о том, что читатель имеет дело с поэзией воинствующей. «Кипрская симфония» является, в сущности, эпосом, в котором автор, живший тогда в эмиграции, показывает в непрерывном развитии историю своего острова, борющегося против чужеземных захватчиков. По сути дела, перед нами здесь первая для кипрской литературы попытка взглянуть на Кипр не просто как на географический пункт с многовековой историей, а как на численно небольшой народ, способный взять свою судьбу в собственные руки.

В стихотворении, написанном в духе древнегреческого хора или византийского гимна, поэт говорит, обращаясь к своей родине:

Здравствуй, остров мой, от века
не упавший на колени,
Вражьи лобзанья с гневом отвергший...
Красоты и отваги, здравствуй, вечный
источник[1].

Поэт вложил в это произведение не только революционную страстность коммуниста, но и творческую силу художника, сумевшего объединить в своем творчестве традиции национальной и мировой литературы. (Кроме девятнадцати поэтических сборников Теодосис Пиеридис опубликовал многочисленные критические статьи, эссе и переводы.)

«Кипрская трагедия» Тевкроса Антиаса, опубликованная в 1965-м, написана под свежим впечатлением от события, которое произошло летом 1964-го,— бомбардировок аэродрома:

И в несчастьях твоих любимый
родимый Кипр
— печальный мой золотой
печальный мой горький мой —
склоняюсь пред тобой тоской томимый.

Поэт разворачивает перед читателем прекрасные лирические описания родного острова и его людей, резким контрастом к которым выступают картины катастрофы и связанных с ней ужасных последствий.

[1] Подстрочный перевод стихов М. Томашевской.

«Кипрская трагедия», равно как и «Кипрская симфония»,— книги, теснейшим образом связанные с современной кипрской действительностью, с мучительными перипетиями народной судьбы; именно поэтому трагедия лета 1974-го: фашистский переворот и турецкая агрессия (оккупация 40 процентов кипрской территории, эмиграция и траур тысяч матерей) — придала этим произведениям новое, живое и политическое звучание.

Эта злободневность, которую приобрели произведения обоих поэтов в драматические для кипрского народа дни, вызвала широкий интерес к поэзии Антиаса и Пиеридиса, особенно среди молодежи. Молодые композиторы перекладывают их стихи на музыку. (Тевкрос Антиас, чье творческое наследие составляет более тридцати сборников, сам создал множество песен, в том числе и гимн коммунистической партии.) Наиболее важно, что, изучая творчество ветеранов, молодые художники убеждаются, что никакое поэтическое произведение не может быть совершенным, если оно не отражает современной проблематики. Антиас и Пиеридис, рисовавшие ясные, как кристалл, картины, использовавшие традиционные поэтические формы, в критические моменты кипрской истории были тем не менее авангардом в прямом смысле этого слова. Все силы они посвятили участию в борьбе своего народа, и это помогло им создать произведения, достойные того, чтобы их узнали и за пределами острова.

Несомненно, что торжества 1978 года в честь обоих поэтов, проводимые под руководством ЦК АКЭЛ, послужат дальнейшей пропаганде творчества Антиаса и Пиеридиса как на их родине, так и за рубежом.

ПАНОС ПЕОНИДИС

г. Лемасол

ЛЮДИ ПРОИГРАВШЕЙ СТОРОНЫ

Władysław Terlecki. Rośnie las. Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
Владислав Терлецкий. Растет лес, 1977.

Четыре больших рассказа, а лучше сказать — миниатюрные повести, составившие сборник с немного странным названием «Растет лес», вызвали в Польше жадный читательский интерес и лавину критических отзывов. Впрочем, в последние годы так обычно встречают каждое новое произведение Владислава Терлецкого. Этот писатель, чье имя у нас в стране пока почти совсем неизвестно, за двадцать с лишним лет после дебюта издал несколько сборников репортажей и рассказов, почти два десятка пользующихся популярностью радиопьес, шесть романов. И как раз романы Владислава Терлецкого

выдвинули его в число наиболее интересных современных писателей Польши, хотя книги его вовсе не отнесешь к разряду «легкого чтения»: они требуют к себе не только очень серьезного и внимательного отношения, но и побуждают к размышлениям над проблемами трудными, неоднозначными, иногда болезненными.

Рассказы из сборника «Растет лес», как и большинство романов Владислава Терлецкого, с формальной точки зрения следовало бы охарактеризовать как историческую прозу. Их герои — люди середины или второй половины прошлого века. Действие большинства романов писателя также происходит в XIX либо в самом начале нынешнего столетия. Тем не менее сам Владислав Терлецкий — не сторонник того, чтобы возводить высокий забор между произведениями, которые пишутся на современную тему, и историческими повестями. История для него вовсе не мертвый груз прошлого, не музей, экспонаты которого можно использовать как познавательный или дидактический материал.

В своих рассказах (как и в романах) Терлецкий почти всегда выводит людей реальных, хотя порой и присваивает им другие имена. Он не стремится со скрупулезной точностью реконструировать вчерашний или позавчерашний день, не гонится за внешней исторической достоверностью во всех подробностях, а нередко даже достаточно вольно обращается с реальными фактами и датами. Писатель решительно не соглашается, когда в его книгах ищут правдивых, но мертвых фотографий минувшего. Его заботит иное—передать исторически подлинную атмосферу, политический и нравственный климат ушедшего. В рассказах сборника «Растет лес» ему удалось сделать это, пожалуй, даже еще с большей убедительностью, нежели в романах. Не случайно польская критика считает, что эта книга — едва ли не лучшее из написанного Терлецким до сих пор.

В. Терлецкий — писатель если и не одной темы, то, несомненно, одного героя. Он неизменно ставит в центр повествования людей особого покроя, традиционно и справедливо читателю несимпатичных: слабых, малодушных, уступающих обстоятельствам, не видящих резонов противостоять злу, когда оно бесспорно сильнее откровенных циников и приспособленцев. Одним словом, писатель знакомит нас с целой галереей антигероев различного калибра, различного возраста, различного происхождения, даже несхожих убеждений. Это—платные агенты царской охранки, профессиональные провокаторы, проникающие в среду польских и русских революционеров, предатели всех мастей и рангов. Это—граф Александр Велепольский, крупный магнат, консервативный, реакционный польский политик середины прошлого века, по-своему патриот, видевший, однако, спасение для страны и народа не в борьбе против царизма, а в капитуляции перед ним, в приспособлении к нему. Он делал все, чтобы сокрушить набиравшее силу польское освободительное движение, фактически превратившись в прямого пособника российского самодержавия. А когда в 1863 году восстание вспыхнуло и было затем зверски подавлено «либералом» Александром II, граф навсегда покинул пределы империи. В рассказе «Дрезден» Владислав Терлецкий рисует нравственный портрет этого человека, чья политика реформ ценой оппортунизма и соглашения с царизмом потерпела полное банкротство. В том же рассказе мы встречаемся и с другим типом, интересующим писателя,— неким Минишевским, человеком, который добровольно, по убеждению стал наемником графа, отдав свой талант, перо, имя на службу его гибельной, антинародной политике.

Всех персонажей Владислава Терлецкого, как бы непохожи они ни были друг на друга, объединяет одно: они люди проигравшей, а вернее — в конечном счете неизбежно проигрывающей в истории стороны. Внимание писателя привлекает, однако, даже не сам по себе тип человека «с враждебной баррикады», а именно момент и поводы его перехода на ту сторону, не просто факт предательства человеком собственных идеалов, измены себе и друзьям, ренегатства, а их причина, нравственная цена, которую за это приходится платить и человеку и обществу. Может, именно поэтому большинство персонажей писателя заняты в основном поисками оправданий сделанного ими политического и нравственного выбора.

Минишевский, например, рассказывает графу Велепольскому, что долгое время он и сам был радикалом, находился в плену грез о свободе и справедливости, что его манила стезя мученика, сжигаемого на костре за народное дело, а будничное существование представлялось уделом людей ничтожных. «Но потом,—исповедуется он графу,— я осознал бесплодность подобной позиции. Смерть — необходимость, которую лучше не навязывать себе добровольно. Я уверовал в то, что жить надо и что это самое главное. Я не думал только лишь о личной своей судьбе. Говоря о жизни, я думал о жизни того народа, сыновьями которого мы оба являемся».

Ссылки на общественный интерес и общественную пользу характерны для многих персонажей Владислава Терлецкого. Ибо все они пытаются подтвердить неизбежность и якобы высокую нравственность своего выбора заботой о благе народа и страны. Такова, например, история человека, казалось бы, совсем другого склада, с противоположной стороны баррикады, о котором рассказано в романе «Две головы птицы»,— Александра Вашковского, одного из руководителей восставшей в 1863 году Варшавы. Попав в руки царских жандармов одним из последних, когда дело было уже проиграно, он легко становится жертвой их коварства и шантажа потому, что позволяет себя уверить в бессмысленности дальнейшей борьбы. Он, человек субъективно честный, предает своих товарищей, чтобы «помешать попыткам возобновить борьбу, ко-

торая уже не способна привести ни к чему иному, кроме как к поражению». Драматизм личной судьбы Вашковского, трагизм его жизненной позиции в том, подчеркивает автор, что его смерть — он был казнен, как многие его товарищи,— не стала смертью мученика и героя, она, как и его нравственная жертва, не принесла пользы ни стране, ни товарищам, ни народу, она лишь укрепила его врагов.

Конформизм непременно подыскивает себе оправдание в ссылках на опыт, на факты, на историю, которые будто бы подтверждают личную и общественную невыгоду быть героем. В рассказах «Пришелец» и «Остров» мы знакомимся с людьми, вполне в этом преуспевшими: со шпиками царской охранки, «внедренными» в польское и российское революционное движение. Это люди, так сказать, намеренно и по убеждению отпускающие Иуде его грехи. Писатель не отказывает им ни в уме, ни в талантливости, ни в знании жизни, ни даже чуть ли не в способности к самоотречению во имя тех целей, которым они служат. В романе «Паломники» Терлецкий вывел некоего жулика и аферист по призванию, который в поисках «философского» оправдания своей жизненной позиции обращается как раз к истории Иуды. Он утверждает, что сегодня, мол, легко рассудить, кто был прав тогда, две тысячи лет назад,— Иисус или Иуда, но вот, дескать, каково было их современникам? Конечно, готов согласиться этот любитель софизмов, бунт—прирожденная черта всякого человеческого существа, но ведь интеллигентность человека, рассуждает он, как раз и «проистекает из его умения обуздывать этот бунт тогда, когда надежда на его успех ничтожна». Такова цена «интеллигентности» практически всех персонажей Терлецкого, в том числе и населяющих его рассказы.

Один из них (рассказ «Остров»), безнадежно больной, состарившийся на заграничной службе в охранке человек, приезжает в Италию подлечиться и поселяется на небольшом островке, напоминающем Капри. Тут этот профессиональный провокатор пишет, вероятно, последний в своей жизни служебный рапорт, правда больше походящий на исповедь или дневник. Он высказывает в нем свои соображения относительно совершенствования форм и методов слежки, старается расшифровать группу «заговорщиков» на острове, который, как подсказывают ему опыт и интуиция, служит одним из центров демократической эмиграции. Он вспоминает весь свой путь— от предательства к предательству. «Когда на своей жизненной дороге я достиг вершины,— записывает он,— я частенько тешил себя иллюзией, полагая, будто такие, как мы, из секретной службы, и вершат историю. Ради подобного чувства стоило именно так прожить жизнь, бок о бок со смертельной опасностью. По многим сугубо житейским причинам можно бы жизнь эту назвать пропащей. Но что лучше? Безликая толпа, делающая историю?»

Люди, о которых рассказывает Терлецкий, страшны и опасны не только из-за того, что часто они весьма влиятельны или выказывают себя как незаурядные шпики и провокаторы. Они страшны прежде всего тем, что, надеясь обратить в свою веру окружающих, убедить в неразумности восставать против несправедливого порядка вещей и ходячих мнений, хотят поставить на службу и историю. Центральный персонаж рассказа «Пришелец», тоже профессиональный шпик, исследователь и знаток, как он сам горделиво признается, «всяческих ликов измены», пытается превратить историю в своего рода полицейскую дубинку. Стремясь склонить великого поэта, духовного вождя польской демократической эмиграции (речь явно идет о А. Мицкевиче) к отказу от активной деятельности, Пришелец шантажирует его, угрожая с помощью «неопровержимых фактов» и веских недомолвок очернить его имя не только в глазах современников, но и потомков. И напротив: проигравший, опозоренный граф Велепольский мечтает, что имя его забудется, затеряется среди миллионов имен его соотечественников, что сам он уйдет из жизни, не оставив после себя никакой легенды, ибо «ее отсутствие,— пишет Терлецкий,— граф как раз и воспринимал как спасение души».

В рассказах писателя вскрывается вся беспочвенность и иллюзорность такого рода расчетов. История — не груда случайных фактов, которые можно безнаказанно перебирать и перетасовывать по собственному произволу. Она умеет мстить — иногда забвением, а иногда и памятью о тех, кто своими преступлениями, предательством, конформизмом причинил зло народу.

Граф Велепольский, умирая, видит перед собой трех мужчин с красными полосами на шеях, которые активно участвовали в подготовке восстания и были повешены по его приказу, хотя восстания ему так и не удалось предотвратить. Это воспоминание оказалось последним в его жизни, а память о пособничестве графа врагам польского народа, затмив все то доброе, что ему удалось сделать для своих соотечественников с помощью реформ, стала частицей польской истории. Герой рассказа «Остров», завершая расчеты с жизнью, вдруг понимает всю практическую бесполезность своей грязной и небезопасной работы. Преследуемый одиночеством и страхом, он признается в своем рапорте-исповеди, что история, видно, пошла иным путем, наперекор всем стараниям остановить «оторванных от жизни» мечтателей. Он уже знает, что может завещать своим хозяевам и единомышленникам только одно средство: «Нужно будет все больше и больше виселиц. Пусть растет лес».

В рассказах Владислава Терлецкого, вообще в его прозе, редко встречаются подлинные герои — люди сильные духом и волей, способные и готовые не отступить от самих себя в самых тяжелых жизненных

обстоятельствах. Такие, как поэт и борец Адам Мицкевич, чье имя стало славой, гордостью и национальной святыней, ибо всю свою нелегкую жизнь, как отзывается о нем одна из героинь рассказа «Следствие», он «не хотел отделять мечты от действительности». Писателя занимает исследование нравственного мира их антиподов — он показывает крах их жизненной позиции, их философии приспособленчества, их взгляда на человека, его предназначение и место в истории.

Писатель повествует не только о предателях и о предательстве, хотя это и центральная тема его рассказов. Их содержание, конечно же, несравненно богаче. Каждый из четырех рассказов сборника представляет собой своеобразный художественный очерк, изящную миниатюру, где как бы оживают люди, события, страсти и конфликты прошлого. «Я писатель, которого осаждают трудные вопросы и трудные проблемы. Я интересуюсь историей и на современность смотрю сквозь призму разнообразного исторического опыта. Мне не всегда удается отыскать удовлетворительные ответы, но я считаю себя обязанным ставить вопросы в надежде на то, что ответ найдут другие»,— так, откликаясь недавно на одну из анкет варшавского еженедельника «Политика», определил Владислав Терлецкий смысл и цель своей литературной работы.

Возможно, именно поэтому его обращение к прошлому столь нетрадиционно. В его прозе оно предстает перед читателем не как нечто застывшее, окаменевшее, завершенное. Рассматривая историю как благодатный материал для своих художественных исследований, писатель ищет в ней прежде всего то, что было в ней злободневным вчера и остается злободневным сегодня. Поэтому Терлецкий не очень-то заботится о том, чтобы каждый читатель, если воспользоваться выражением В. Г. Белинского, тотчас же узнавал бы в его героях лица исторические, но стремится к тому, чтобы он лучше понял и рассмотрел их человеческие лица.

А. ЕРМОНСКИЙ

В ЗЕРКАЛЕ ПАМЯТИ

Robert André. L'enfant miroir. Paris. Grasset, 1978.
Робер Андре. Ребёнок — зеркало, 1978.

Воспоминания о детстве — жанр коварный. Так легко увидеть давнее в розовом свете умиления перед «краем, откуда все мы вышли», так соблазнительно поддаться искусу идеализации «невинных», естественных отношений ребенка с родителями или, напротив, мазануть все черным, отряхнуть прах изжитых семейных связей, отделавшись пресловутым «семьи, я вас ненавижу!», этой вошедшей в моду, ставшей лозунгом дешевой антибуржуазности формулой Андре Жида.

Робер Андре[1] умело прошел между Сциллой и Харибдой. Его воспоминания, которые охватывают период от самых первых дней, сохраненных памятью, до десятилетнего возраста, когда кончается детство и начинается отрочество, привлекают искренностью, достоверностью, стремлением передать непосредственность восприятия, присущую ребенку, и в то же время бросить на свои детские годы, на собственные ощущения той далекой поры умудренный и ироничный взгляд взрослого человека, взвешивающий, проницательный, осознанно оценивающий безотчетные впечатления и порывы ребенка.

«Ребенок — зеркало» называет свою книгу Робер Андре. И в самом деле, маленький Робер — зеркало, бессознательно отражающее, вбирающее в себя среду, в которой растет мальчик, в которой происходит становление человека, формирование характера.

Единственный сын, болезненный, избалованный, он почти не общается со сверстниками, если не считать мимолетных курортных знакомств и одного года, проведенного в интернате лицея, куда его по традиции отправляют за дурное поведение и где он не находит настоящих друзей. Кругозор ребенка ограничен рамками семьи. Тем не менее детский опыт осмысляется Робером Андре как опыт социальный. Его психология, его представления об окружающем мире неразрывно связаны и с Историей (только что отгремела первая мировая война, солдатами которой были отец и дядя, вернувшийся инвалидом), и с историей семьи, которая на глазах у мальчика превращается из простонародной в буржуазную.

Прабабка и бабка — «бабушки», как их называет Робер,— стоят еще на низшей ступени социальной лестницы. Прабабка — привратница в доме, населенном далеко не аристократической публикой, во дворе дома — конюшня. Отец мальчика быстро делает карьеру. Его мать — буржуазная дама.

«Привратницкая», где проходят самые счастливые дни Робера,— слово, в доме его родителей запрещенное, поскольку для новоиспеченных буржуа уже унизительно самое напоминание о корнях, о родстве с особой, которая намывает лестницы, подбирает конский навоз, чтобы удобрить землю в ящиках с геранью, украшающих двор. Образы «бабушек», живые, привлекательные, очень удались автору. Обе женщины еще сохранили связь с «землей», с народной легендой, но в то же время в них чувствуется глубокое уважение к культуре, к образованию. Учитель для них лицо священное. Если от прабабки ребенок воспринимает первые нравственные основы, понятия о добре и зле, облеченные в форму сказок, где добро всегда торжествует, а зло карается, то бабушка с ее страстной любовью к истории оказывается для него самой луч-

[1] Повесть Р. Андре «Взгляд египтянки» была опубликована в «Иностранной литературе» № 1, 1977 г.

шей учительницей — знания, которые преподносит ему она, отличаются от школьной премудрости — они живые, не засушенные, окрашенные личным отношением.

Картины жизни в привратницкой, написанные с юмором, с доброй иронией, отнюдь не сентиментальны, как это нередко случается у писателей, вышедших из народа и приглашающих, сюсюкая, своего интеллигентного читателя умилиться тем, что и «простые люди» умеют чувствовать. Но «бабушки» с их естественными взаимоотношениями, непосредственностью, глубокими нравственными корнями делают особенно неприглядным буржуазный быт и строй жизни родителей. В доме родителей мальчик с первых дней сталкивается с ложью, аморальностью, адюльтером, прикрытым ханжеским флером приличий. Атмосфера семейного разлада, супружеских сцен, грубости, которой он дышит, незаметно уродует и его самого.

Раздумывая о книге, которую он пишет, автор называет свои воспоминания «картинками детства». И это действительно так. Но этим «картинкам» несвойствен распространенный порок популистской литературы — статичная описательность, чрезмерная детализация обстановки, любование бытовыми подробностями, замедляющее действие. Рассматривая свое детство как горнило, в котором выковывается характер, Робер Андре более всего занят динамикой чувств. Если привязанность к прабабке и бабке остается ничем не омраченной, то отношение ребенка к матери достаточно сложно. Он ее любит, он ею любуется, однако постепенно обнаруживает, что мать не всегда говорит правду, что она неверна отцу, несправедлива и даже жестока к окружающим. Материнские пороки, безотчетно коробящие ребенка, отчетливо осознаются взрослым автором воспоминаний, справедливо усматривающим в нравственном уродстве буржуазной семьи истоки дурных черт, рождающихся в ребенке. К отцу у мальчика постепенно складывается отношение неприятия, даже ненависти.

Психологическая направленность воспоминаний Робера Андре, которого интересует не просто обстановка, где протекли его детские годы, но то, как эта обстановка воздействовала на формирующийся характер, сообщает подвижность, изменчивость, сложную динамику не только образу самого мальчика, воспринимающего и осознающего мир, но и тех, кто его окружает, чьим зеркалом он, вольно или невольно, является.

Робер Андре не проходит мимо пробуждения сексуальности, придерживаясь в этой области фрейдистских взглядов. Однако в противоположность модной тенденции к натурализму и выпячиванию сексуальных сторон жизни ребенка делает это хотя и откровенно, но тактично, ненавязчиво.

В целом книга Робера Андре, при том, что она не выходит за рамки семьи, воссоздает атмосферу эпохи, пусть и кажущейся сейчас очень далекой, но, в сущности, продолжающей и сегодня оказывать свое — негативное — влияние на психологию французов. Что, как не отталкивание от фарисейства буржуазной морали, подстегивает бунт молодежи против морали как таковой? Что, как не протест против буржуазного адюльтера, разжигает страсти «сексуальной революции»?

В ряду других мемуаров — жанра, занимающего весьма заметное место в сегодняшней французской литературе,— «Ребенок — зеркало» Робера Андре помогает понять, как формируется человек и как сформировалось то поколение, к которому принадлежит сам писатель.

Л. ЗОНИНА

ПОТРОШИТЕЛЬ ИЗ МИЧИГАНА

Edward Keyes. Michigan Murders. New York. Kangaroo Book, 1976.
Эдвард Кииз. Мичиганские убийства, 1976.

Автор этой книги, Эдвард Кииз, рано познал нужду, должен был работать, учась в Фордхэмском университете, почти четверть века тянул лямку репортера в газетах «однолошадных» городков штата Нью-Йорк, пока вместе с Робином Муром не написал бестселлер «Французский связной», по которому был сделан одноименный кинобоевик, обошедший многие страны мира. Джеймс Армстронг, герой его нового романа «Мичиганские убийства»,— внешне вполне благополучный «всеамериканский» парень, успевающий студент Восточно-мичиганского университета в городке Ипсиланти, ничем как будто не отличающийся от семнадцати тысяч с половиной студентов этого почти стодвадцатилетнего учебного заведения. Он отличный спортсмен, счастливый владелец четырех мощных мотоциклов, вовсе не похож на «ангелов ада», этих молодчиков, обросших волосами, в касках вермахта, с гитлеровскими «железными крестами» и свастикой, гоняющих на мотоциклах со снятыми глушителями и хулиганствующих чуть не по всей Америке. Мотоциклы тоже наполняют Джеймса чувством собственного могущества, они играют в его скрытой от общества жизни зловещую роль, но он полагается не на «железные кресты», а на обаяние своей голливудской внешности, располагающие к нему манеры и белозубую улыбку.

Наверное, он даже гордился тем, что он однофамилец первого человека, ступившего на Луну,— Нейла Армстронга. За такого парня любая мать в Ипсиланти с радостью отдаст свою дочь. И недаром, когда начались таинственные убийства с изнасилованием и обезображением жертв, молоденькие девушки-студентки в Ипсиланти по-прежнему охотно вверяли себя покровительству Джеймса, катались с ним на мо-

тоцикле. Родственники в нем души не чаяли, все знали, что он нежно любит детей, а дети — его.

Шел ничем вроде не примечательный 1969 год. Криминалисты отмечали новый рост преступности в США. Газеты, телевидение, радио, как всегда, щекотали нервы обывателям подробнейшими описаниями всевозможных актов насилия. С 1967 года в районе Энн-Харбор, штат Мичиган, были зверски убиты семь девушек от 13 до 23 лет. Изувеченные тела находили в оврагах, на пустырях, в перелесках. Полиция сбивалась с ног, но убийца оставался на свободе.

Давно известно, что уголовную хронику читает абсолютное большинство американцев, что телевидение и радио США уделяют наибольшее время разным сенсационным преступлениям, и это в свою очередь подхлестывает преступность, формирует сознание преступников, подсказывает им последнюю методику в преступлениях.

Какие же уголовные сенсации 1967—1969 годов могли повлиять на мичиганского потрошителя?

В начале 1967 года агенты ФБР откопали кладбище жертв мафии на птицеферме под Лейквудом, штат Нью-Джерси.

22 февраля полиция обнаружила замерзший труп Роберта Ханны, тайного полицейского агента, убитого торговцами наркотиками в Чикаго. Он оказался юбилейной жертвой мафии в районе Чикаго — однотысячной с 1919 года!

Альберт Десальво, 35 лет, известный под кличкой «Бостонский душитель», убивший 13 женщин, был приговорен к пожизненному заключению, избежав смертного приговора из-за недостатка свидетелей.

Джон Патлер, бывший капитан в штурмовом отряде фюрера американской нацистской партии Джорджа Линкольна Рокуэлла, был признан виновным в убийстве своего фюрера.

18 августа староста воскресной школы Дэвид Хоскинс убил жену и четырех детей, инсценировав нападение бандитов на свою ферму, которую он поджег, надеясь получить страховку.

23 октября Лео Хелд, из Логантона, штат Пенсильвания, в течение 90 минут убил шестерых соседей и шестерых ранил за разные мелкие обиды, после чего был убит сам в перестрелке с полицией.

В апреле 1968 года рецидивист Ричард Спек был признан виновным в убийстве восьми медицинских сестер в Чикаго.

В 1968 году американцы украли у американцев 776 000 автомашин.

В целом число серьезных преступлений в США в 1968 году достигло почти... 4,5 миллионов — на 17% больше, чем в 1967 году. За первое полугодие 1969 года число убийств увеличилось на 8%, изнасилований — на 15.

9 августа 1969 года на вилле в пригороде Лос-Анджелеса, в Бель-Эре, полиция обнаружила пять трупов — киноактрисы Шарон Тейт и ее друзей. В декабре полиция арестовала Чарлза Менсона, поклонника Гитлера, и членов его банды.

Но климат в стране отравляла не только преступность. На всю жизнь в США наложила свою страшную тень грязная война во Вьетнаме. Все средства массовой информации наперебой рассказывали о кровавых акциях американских военных преступников во Вьетнаме. Взрыв возмущения вызвало массовое убийство вьетнамцев в деревне Сонгми регулярными американскими войсками. Под давлением общественного мнения лейтенант Колли был отдан под суд.

Реакционная печать отчаянно защищала Колли, предав забвению все уроки суда народов в Нюрнберге. Джеймс Армстронг, должно быть, не раз задумывался над его судьбой. Ведь если продлится война во Вьетнаме, его сделают лейтенантом и пошлют туда. Разумеется, он не будет церемониться с туземцами. Только все надо делать так, чтобы не попасться, не влипнуть, как этот простак Колли. Джеймса распаляла кинохроника, возбуждали циничные фотографии в газетах. Но во Вьетнам он не спешил — ведь там, при всей вседозволенности, и голову сложить можно!

Подобно автору «Хладнокровного убийства» Трумэну Капоте[1], Кииз лишь протоколирует события в районе Энн-Харбора. Недаром долгие годы он был репортером судебной хроники, регулярно освещал уголовные процессы вместе с известным адвокатом Мелвином Белли. Он не вдается в причины преступлений, не изучает «климат», порождающий эпидемию преступности в США, так же как не делают этого и Винцент Баглиози, и Кэрт Джентри, авторы репортажа «Helter-skelter», что можно перевести как «Вверх тормашками», о серии убийств, совершенных бандой Менсона в Калифорнии. (Кстати, Баглиози, прокурор суда над бандой Менсона, и его литобработчик Джентри называют настоящие имена преступников, а Кииз по непонятной причине заменил истинное имя своего антигероя Джона Нормана Коллинза вымышленным именем — Джеймсом Ноуланом Армстронгом, хотя вся Америка до сих пор помнит процесс и фамилию обвиняемого).

Все свои убийства потрошитель из Ипсиланти совершал столь искусно, что после шести из них полиция не имела против него никаких улик. А он наглел все больше и довел полицию до того, что она пригласила известного ясновидца, чтобы он с помощью подвластных ему сверхъестественных, оккультных сил навел ее на след убийцы.

Наконец 26 июля 1969 года полиция обнаружила изувеченный труп первокурсницы Восточно-мичиганского университета в лесистом овраге. Нашлись свидетели, видевшие, как под вечер 23 июля ее увез на мотоцикле 22-летний студент-старшекурсник того же университета Джеймс Ноулан

[1] Документальная повесть Трумэна Капоте опубликована в «Иностранной литературе» № 2—4 за 1966 г. под названием «Обыкновенное убийство».

Армстронг, а вернее, Джон Норман Коллинз. Никаких прямых улик полиция обнаружить не смогла. Однако на кону был престиж властей. Коллинза осудили по одним лишь косвенным уликам и только за последнее убийство. Коллинз не признал себя виновным. 19 августа он был приговорен к пожизненному заключению за убийство первой степени. Так появился в Южной тюрьме штата Мичиган в Джексоне арестант № 126 833.

С того дня Коллинз не раз пытался добиться пересмотра приговора. В 1976 году Верховный суд США отклонил его апелляцию.

Вскоре внимание Америки привлек суд над Мэнсоном и его бандой. Когда Мэнсона, выдавшего себя за Иисуса Христа во втором пришествии и намеревавшегося заставить черных перебить белых, чтобы самому захватить власть, приговорили вместе с его сообщниками к смертной казни за семь совершенных ими убийств, никто не сомневался в виновности этих бандитов. Процесс длился девять с половиной месяцев. Выяснилось, что банда совершила и ряд других сатанических убийств.

Однако Мэнсон и его сообщники избежали смертной казни — в феврале 1972 года Верховный суд штата Калифорния отменил смертную казнь. По законам штата, Мэнсон, а также двое мужчин и три женщины из его банды, поскольку смертный приговор заменен пожизненным заключением, могут выйти на свободу условно уже в текущем, 1978 году!

В штате Мичиган законы иные: губернатор штата получит право заменить приговор суда по делу Коллинза более легким или отменить его не раньше 1990 года.

Одна из участниц банды Мэнсона заявила: «Мы такие, какими вы нас сделали. Нас воспитало ваше ТВ. Нас воспитывали «Пороховой дым», «Имею револьвер, готов в дорогу», «ФБР», «Бой». «Бой» был моей любимой серией. Я никогда не пропускала эту программу».

Дело, разумеется, не только в телевидении. Насилие прославляют все средства массовой информации в Америке, кинобоевики, творцы бестселлеров вроде Микки Спиллейна и Гарольда Роббинса. И агрессивная военщина. И военные подрядчики. И супермены ЦРУ и ФБР.

Когда я писал книгу об увиденном в Америке, я опирался на материалы, собранные мной в США. Часть этого архива связана с кино. Есть в нем реклама одного из многих фильмов, посвященных самому известному из сексуальных маньяков — Джеку-потрошителю.

Вот выдержка из этой рекламы, опубликованной в журнале «Лук», в котором, кстати, некогда работал Эдвард Кинз: «Самый дьявольский убийца в уголовных анналах! Он посрамил великий Скотланд-ярд! Знаменитые Артур Конан Дойль и Роберт Льюис Стивенсон не могли узнать его имя! Дело Джека-потрошителя не закрыто до сих пор!»

Таких фильмов, без сомнения, с детских лет Джон Норман Коллинз видел немало. А скоро, очень может быть, появится еще один подобный кинобоевик: «Мичиганские убийства». И какой-то юнец, то ли Джон, то ли Джеймс, выйдет из кинотеатра другим человеком. И неведомая сила толкнет его на убийство...

ОВИДИЙ ГОРЧАКОВ

Из месяца в месяц

АЛЖИР

ПИСАТЕЛЬ-БОРЕЦ И ЕГО ПОВЕСТЬ

Алжирский журнал «Ас-Сакафа» опубликовал статью д-ра Абу Амрана аш-Шейха «Али аль-Хаммами и повесть «Идрис» деятеля алжирского национально-освободительного движения журналиста и писателя Али аль-Хаммами (1902—1949). Эта повесть, написанная по-французски, впервые была опубликована в Каире в 1942 г.

Первое издание быстро разошлось, и никто о повести не вспоминал до ее переиздания в 1977 г. в Алжире Национальной компанией по книгопечатанию. Между тем, говорит автор статьи, и повесть, и личность ее автора заслуживают внимания.

Али аль-Хаммами родился в алжирском городе Тиарет в 1902 г. Двадцатилетним юношей он отправился с семьей в паломничество в Мекку, однако в Алжир не вернулся, а начал странствовать по свету, нанявшись матросом на торговое судно. Во время своих странствий аль-Хаммами познакомился с видными деятелями марокканского и алжирского национально-освободительного движения и стал бороться вместе с ними против французских колонизаторов, а затем принял участие в восстании рифов во главе с эмиром Абд аль-Кримом.

После возвращения в Северную Африку аль-Хаммами подвергся преследованиям французских колониальных властей и был вынужден эмигрировать в 1935 г. на Ближний Восток, живя попеременно в Саудовской Аравии, Сирии, Палестине, Иране и Египте. В течение ряда лет преподавал историю и географию в школах Багдада, а с 1946 г. обосновался в Каире, где вошел в комитет Арабского Магриба, руководивший в то время борьбой против французского колониализма в Северной Африке.

В 1949 г. аль-Хаммами погиб в авиационной катастрофе.

Повесть «Идрис», пишет в своей статье д-р аш-Шейх,— верное отражение решающего периода национально - освободительной борьбы народов Магриба.

АНГЛИЯ

СЕДЬМОЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ СБОРНИК ПИТЕРА ПОРТЕРА

Известный английский поэт Питер Портер выпустил седьмой сборник стихов «Цена серьезности». Английская критика тепло встретила книгу Портера, отметив, в частности, заметно растущее мастерство поэта. Свою первую книгу Портер, тогда еще безвестный поэт, переселившийся в Англию из Австралии, выпустил семнадцать лет назад. Рецензенты сразу отметили влияние раннего У. Х. Одена, проявившееся в стремлении Портера писать в основном о событиях повседневности. Затем в творчестве поэта наметилась тенденция к «интеллектуальной» поэзии. В его сборниках середины 60-х гг. все чаще появлялись стихи на исторические, историко-литературные темы. Некоторые из них были подчас трудны для чтения из-за обилия литературных аллюзий.

«Цена серьезности», отмечает рецензент «Таймс литерари сапплмент»,— лучший сборник Портера. «Перед нами поэт исключительной культуры, глубоких знаний». Большим достоинством Портера критики считают отсутствие пристрастия к какому-то одному жанру, одной теме, одному стилю. В «Цене серьезности» есть и драматические монологи в духе Браунинга, и философские раздумья, и остроумная сатира.

АРГЕНТИНА

ПРЕМИЯ ПЕРЕСУ СЕЛАСЧИ

Международную премию Антонио Мачадо, присуждаемую в Испании за лучший рассказ или новеллу, в 1978 г. получил аргентинский писатель Адольфо Л. Перес Селасчи. Этой премией, как сообщает выходящая в Буэнос-Айресе газета «Насьон», отмечена его новелла «Деолиндо из Пуитаррьелеса».

Перес Селасчи создал популярного у читателей героя — полицейского детектива Леони. Как отмечает литературный критик газеты «Насьон», этот достоверный, выписанный с тонким психологизмом и силой обобщения персонаж позволил писателю подняться над жанром традиционного детектива и создать произведения, заставляющие задуматься о серьезных проблемах.

БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ

И СЛОВО, И МУЗЫКА, И ТАНЕЦ

В Абиджане состоялась премьера музыкальной комедии «Диди сюда, Диди туда». Спектакль поставлен Сулейманом Коли — руководителем ансамбля «Котеба».

Сулейман Коли, по образованию социолог, уже около десяти лет занимается театром. Он стремится найти ту форму театрального зрелища, которая была бы приемлема для массового африканского зрителя. «Решительно отказавшись от французских комедий, переделанных на африканский лад,— пишет журнал «Жён Африк»,— он предлагает публике спектакли, где слово не является привилегированной формой выражения... «Диди сюда, Диди туда» — безусловно, самый совершенный из тех шести спектаклей, которые Коли поставил в столице Берега Слоновой Кости».

В беседе с корреспондентом журнала Сулейман Коли рассказал, что его труппа играет на языке диола — или на разговорном французском языке, который понимают практически все. Главными же средствами выражения он считает танец, музыку, костюмы, так как это дает театру возможность, решая хотя бы частично проблему языка, приблизиться к традиционному африканскому зрелищу, которому деление на жанры чуждо. В то же время, сказал Сулейман Коли, его труппа не хочет слепо копировать традиции, как это делают многие африканские хореографические ансамбли, превращающие народные песни и танцы в карикатуру. Действие его комедии перенесено в современный город — «это сразу меняет манеру поведения персонажей, декорации, костюмы и особенно музыку».

БРАЗИЛИЯ

КРИЗИС НАЦИОНАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ

Прогрессивные деятели отмечают весьма плачевное состояние национального театра 70-х годов. Как отмечает журнал «Опиньяо» главная причина кризиса бразильского театра заключается в произволе цензуры и безудержном наплыве низкосортной «массовой культуры». По политическим мотивам до сих пор не увидели огней рампы пьесы «Благородное сердце» Олувалдо Вианы Филью и «Вторжение варваров» Консуэлу ди Кастру, ставшие победителями театрального смотра, проведенного в 1975 г. Национальной службой театра Бразилии. Запрещены цензурой произведения драматургов Плиниу Маркуса «Лиловый абажур» и «Охранная грамота» Мауру Шависа. В то же время официальная пропаганда всячески поддерживает взгляд на искусство, и в частности на театр, как на «индустрию развлечений».

Названия наиболее «ходовых» пьес минувшего года красноречиво говорят об их содержании: «Сексуальная игра», «Женщина для всех нас», «Вакансии для девиц изящного обхождения».

К счастливым исключениям минувшего года критика относит пьесу масти-

На снимке: сцена из спектакля «Диди сюда, Диди туда».

(Журнал «Жён Африк»)

того драматурга Жианфранческу Гуарньери «Отправная точка», премьера которой состоялась в Сан-Паулу в театре ТАИБ. Сюжет пьесы — расследование причин смерти народного героя Бирду, «певца угнетенных, учителя неграмотных». Зрителям рассказывает о происшедшем пастух Доду, роль которого в спектаклях театра ТАИБ исполняет сам Гуарньери. По замыслу автора, Доду должен символизировать народное сознание. Доду с сожалением вспоминает о былых героических временах и их безвозвратном уходе в прошлое.

Тем не менее театральный критик журнала «Опиньяо» бросает автору пьесы упрек: он считает, что нельзя только сожалеть о прошлом, надо отстаивать право на лучшее будущее, и эта мысль проведена достаточно четко. Однако в целом это не снижает общего звучания спектакля, достигающего своего апогея в финале, когда Майра, дочь богатого землевладельца дона Феликса, против воли родителей полюбившая Бирду, распростершись над трупом возлюбленного, клянется навечно сохранить память о нем и воспитать сына, которого она ждет, достойным своего отца.

ЖОРЖИ АМАДУ ПРОТИВ ЦЕНЗУРЫ

Как сообщает издающийся в Сан-Паулу журнал «Визау», виднейший бразильский писатель Жоржи Амаду заявил, что ни одна из его последующих книг не будет им отдана на предварительное одобрение цензуры, «этой чумы для культурной жизни Бразилии». Ж. Амаду отметил: «Писатель, у которого есть хоть минимальное чувство достоинства, не должен подвергать себя подобного рода насилию».

В своем заявлении, осуждающем произвол цензуры, Жоржи Амаду сказал, что недавние преследования известных представителей творческой интеллигенции страны Антониу Калладу и Шику Буарки ди Оланды являются одним из «чудовищных преступлений, совершаемых в Бразилии против культуры».

ВЕНГРИЯ

НОВЫЙ СБОРНИК ЭРЖЕБЕТ ГАЛГОЦИ

На страницах венгерской печати началось обсуждение последнего сборника рассказов известной венгерской писательницы, трижды лауреата премии имени Аттилы Йожефа и лауреата Государственной премии имени Кошута Эржебет Галгоци.

Произведения Эржебет Галгоци посвящены кардинальной перестройке венгерской деревни в периоды знаменательных общественных перемен. Каждый новый сборник ее новелл — а новеллист она уже с тридцатилетним стажем,— встречает неизменный интерес и одобрение как критики, так и читательской аудитории. Об этом пишет на страницах еженедельника «Элет эш иродалом» критик Анна Фельдеш. Причина столь единодушного признания творчества писательницы кроется в глубине гуманистического содержания ее произведений, в пристальном внимании к конкретным человеческим судьбам, к драматическим коллизиям жизни простых людей, в обостренном чувстве справедливости, в умении смело смотреть правде в глаза. Каждый конфликт у Эржебет Галгоци — конфликт нравственный. Сила произведений Эржебет Галгоци и в особенностях ее художественного мастерства.

В жанре новеллы у нас много мастеров психологического рисунка, подчеркивает Анна Фельдеш, но мало кто умеет одной-двумя фразами так точно определить, квалифицировать социальную значимость поступков героев, как Галгоци. И настоящий сборник свидетельствует не только об определенном значительном этапе ее творчества, но в какой-то степени намечает дальнейший путь писательницы.

Обозреватель газеты «Непсабадшаг» Габор Рафиш Хайду в большой и обстоятельной статье, проанализировав все восемь новелл сборника, в заключение пишет:

«Галгоци — писательница исключительного таланта, необыкновенного накала страстей и огромной действенной силы... Несколько фраз — и уже исчезает граница между действительностью и отражением ее в произведении. Ты уже не сторонний читатель, ты уже живешь, страдаешь и радуешься вместе с героями и вместе с автором... Галгоци пленяет тем, что не просто воссоздает человеческие судьбы, она оказывает действенное влияние на читателя, и в этом одна из причин ее необыкновенного авторитета и ее необыкновенной популярности».

«КРЕСТЬЯНСКИЙ РОМАН» ЖОЛТА ЧАЛОГА

«Уважаемый Жолт Чалог! Мне бы очень хотелось поговорить с Вами. Помнится, Вы сказали, что Вы еще и писатель. Моей истории хватило бы на две или три книги, мне бы только кому-нибудь ее рассказать, сама я не люблю писать, да и не умею, ничего бы у меня из этого не вышло. А вот если бы я кому-нибудь рассказала про свою жизнь — очень хорошая получилась бы книга...»

Этим письмом-приглашением открывается новая книга Жолта Чалога, только что вышедшая в издательстве «Сепиродалми». Рассказ старой крестьянки Балинте Мухарош, живущей в маленьком селе за Тисой, был записан на магнитофонную пленку, а потом писатель обработал этот живой материал. Так родилась книга «Крестьянский роман» — яркое произведение социографического жанра, очень популярного в Венгрии. «Крестьянский роман» — это и социологическое исследование, и исторический очерк, и документальная повесть. От

традиционного романа его отличает разве что пристальнейшее внимание автора к фактам, научная скрупулезность, с какой фиксирует писатель историю одной жизни, ее вехи, постоянно меняющуюся реальность.

Характерная особенность, обаяние книги—и в ее языке, в непосредственности интонации, в богатой фольклорной лексике. Жизнь увидена глазами простой крестьянки, ее языком об этом и рассказано.

«Крестьянский роман» — четвертая книга Жолта Чалога, социолога, этнографа, писателя-документалиста.

«Меня неотразимо влечет к документальному жанру,— говорит о себе автор.— Даже когда я пишу новеллы, то для создания правдивого образа, правдивой картины я использую слово, уже высказанное кем-то, использую текст, уже прозвучавший однажды».

«Крестьянский роман» — еще одно свидетельство того, какими богатыми возможностями обладает сегодняшняя социографическая литература Венгрии.

ВЬЕТНАМ

ЮБИЛЕЙ ВЬЕТНАМСКОГО КИНЕМАТОГРАФА

Юбилей, который недавно отметила общественность Вьетнама, имеет большое значение для развития чационального кинематографа: двадцать пять лет назад, когда в стране шла война Сопротивления против французских колонизаторов, президент ДРВ Хо Ши Мин подписал декрет о создании единого киопредприятия, ведающего производством и прокатом фильмов в стране.

По случаю этой даты в Ханое состоялось торжественное собрание творческой интеллигенции, а Союз кинематографистов Вьетнама организовал выставку «Из истории вьетнамского кино», на которой были представлены киноафиши первых вьетнамских художественных фильмов, кинокамеры партизанских студий Юга, памятный декрет о создаиии национальиой кинематографии, международные призы, присужденные вьетнамским картинам, в том числе первый приз, которого была удостоена вьетнамская документальная лента «Вода приходит в Бакхынгхай» на I Московском кинофестивале в Москве в 1959 г.

За четверть века в стране произошли важные события: блестящей победой завершилась длительная война против иностранных агрессоров, Вьетнам стал единым и уверенно строит социалистическое общество. Большие успехи были достигнуты и национальным кинематографом: создано более 80 художественных фильмов, 956 документальных лент, 1242 выпуска кинохроиики, около 70 мультипликационных и кукольных фильмов; в стране иасчитывается около двух тысяч киноустановок, в различных сферах кино трудится более пяти тысяч человек. Эти цифры наглядно свидетельствуют об успешном развитии молодого вьетнамского кино. Особенно знаменательным для вьетнамского художественного кино стал минувший 1977 год: было создано 14 художественных лент, два фильма-спектакля, тогда как в предыдущие годы выпускалось всего лишь по 4—5 картин.

НОВЫЕ ЖУРНАЛЫ

Семья вьетнамскнх периодических издаиий пополнилась новыми журналами, выпускаемыми творческнми союзами и организациями СРВ. Вышли в свет первые номера журналов «Диен ань» — органа Союза кинематографистов Вьетнама и Киноуправления при Министерстве культуры СРВ, «Ам няк» — органа Союза композиторов Вьетнама, «Ми тхуат» — органа Союза художников Вьетнама.

В настоящее время практически все виды нскусства во Вьетнаме имеют периодические издания.

ГДР

«ФРАНЦИСКА ЛИНКЕРХАНД» НА СЦЕНЕ

Государственный театр города Шверин поставил спектакль по известному роману Бригитты Райман «Франциска Линкерханд».

Над этим романом Бригитта Райман работала много лет вплоть до преждевременной кончины. Тема романа — жизнь молодежи, ее проблемы. Главная героиня романа — архитектор Франциска, которая борется с косностью и рутиной и в архитектуре, и в жизни. Роман рассказывает о ее надеждах, разочарованиях, успехах и неудачах (об этом романе см. «ИЛ» № 3 за 1973 г.).

«Благодаря удачной постановке и хорошей игре актеров роман получил как бы новую жизнь,— пишет в газете «Нойес Дойчланд» драматург Райнер Кернцль.— Внутренний мир героев, их ощущения, их размышления очень близки зрителю».

«Это — история современной женщины, которая всех нас трогает, заставляет сопереживать и помогает понять многие сложные жизненные проблемы»,— пишет журнал «Театер дер цайт».

XVII ФЕСТИВАЛЬ ПРОЛЕТАРСКОГО ИСКУССТВА

Традиционный фестиваль пролетарского искусства состоялся на этот раз в городе Зуле. В нем приняли участие профессиональные и самодеятельные артисты, театры, вокальные и хореографические ансамбли. Были организованы выставки работ живописцев, графиков и скульпторов.

На большом книжном базаре присутствовали видные писателн, в том числе Эрик Нойч, Маргарета Нойман,

На снимке: заключительная сцена спектакля «Франциска Линкерханд». В роли Франциски — Анжелика Валлер.

(Журнал «Театер дер цайт»)

Руди Штраль, Уве Кант, Гюнтер Дайке, Гарри Тюрк.

В фестивале, как и в прежние годы, принял участие Советский Союз.

Лучшим коллективам самодеятельного и народного искусства присуждены премии и медали. К фестивалю было приурочено также вручение премий Объединения Свободных немецких профсоюзов. Имн награждены писатели Рут Вернер за книгу «Рапорт Сони», Эрвин Штриттматтер «за творчество в целом», драматург Райнер Кернлль «за вклад в развитие социалистической драматургии», Уве Кант за книгу «Красная площадь и вокруг нее». Премии получили Театр имени Максима Горького, создатели телевизионных фильмов «Я не хочу тихо умирать» и «Как должна решать женщина», кружок пишущих рабочих Франкфурта-на-Одере и другие коллективы, а также композитор Юрген Венцель, ряд скульпторов и художников. Редакциям радио и телевидения, редакциям заводских многотиражек и ряду репортеров были присуждены специальные журналистские премии.

ФРГ

«ГОД РОЖДЕНИЯ — 1922»

Так озаглавил Август Кюн свой новый роман, выпущенный в этом году издательством «Бертельсман» в серии «Ауторен эндисьон». Здесь получает дальнейшее развитие проблематика, впервые намеченная писателем в романе «Время восставать» (1976) — объемной семейной хронике, повествующей о жизни одной рабочей семьи на протяжении нескольких десятилетий. В предыдущем романе писатель стремился показать, что в немецком рабочем движении существуют богатые традиции пролетарской борьбы и солидарности, противопоставить Мюнхену фашистских пивных Мюнхен рабочих кварталов, дававший отпор фашизму с первых же дней его возникновения.

Тональность романа «Год рождения — 1922» несколько иная. Изменилась и творческая манера писателя. Впервые он отказывается от центрального положительного героя, образ которого цементирует повествование, и передает эту функцию герою скорее отрицательному, стремясь именно на таком негативном примере утвердить важные положительные моменты. Писатель убедительно показывает, насколько важно для рабочего человека в условиях господства капиталистических отношений сохранить свою неотчужденную сущность, свою подлинно пролетарскую точку зрения на происходящее.

В центре нового романа Кюна — образ Фрица Вахсмута. Для писателя его пример — наиболее типичный случай утраты классового сознания: изначально неверная политическая ориентация, иллюзии относительно фашизма и как результат — превращение Вахсмута в послушный «винтик», в бездумного исполнителя, которого можно заставить делать все что угодно. В этом романе, как и в предыдущем, сказывается большой личный опыт писателя, его точное знание социальной среды.

Жанр своего произведения Кюн определил в подзаголовке — «плутовской роман». Однако, как отмечает рецензент журнала «Кюрбискерн» Манфред Босх, подобная жанровая принадлежность довольно условна, и Фриц Вахсмут лишь отдаленно напоминает Симплиция Симплициссимуса, так же как и мягкий юмор гриммельсгаузеновского толка лишь временами прос-

пает в резко сатирических описаниях Кюна. В отличие от романа Гриммельсгаузена действительиость, в которой существует герой Кюна, гораздо более жестока и неуютна, она больше привязана к строго конкретным историческим условиям.

Нынешнее поколение рабочего класса ФРГ, отмечает дальше Манфред Босх, знает относительно мало историю собственной борьбы, ее успехи и ее поражения, ему не хватает сведений о культуре, образе жизни, сознании и политической организации предшествовавших поколений рабочих. Книга Кюна помогает ликвидировать этот пробел.

И в этом романе Кюн показал себя писателем, прежде всего ориентирующимся на народную речь, в его повествовании скрыта добрая человеческая сила, она как бы переполняет эту прозу, в которой люди рассматриваются с любовью, но без иллюзий, в своем социальном бытии. «Год рождения — 1922»,— отмечает рецензент журнала «Кюрбискери»,— это важная книга, по-человечески прекрасная и полезная».

На снимке: сцена из спектакля «Дьявол в Бостоне».

(Газета «Унзере цайт»)

НОВАЯ ПОСТАНОВКА ПЬЕСЫ ФЕЙХТВАНГЕРА

В марте в Окружном театре Саара состоялась премьера пьесы Лиона Фейхтвангера «Дьявол в Бостоне». Пьеса была создана писателем в США вскоре после окончания второй мировой войны. В основу драматургического сюжета лег исторический факт — «процесс над ведьмами» в 1692 г. в Бостоне.

Пьеса иносказательно повествует о разгуле маккартизма в США, о преследовании коммунистов. Впервые оиа была поставлена в 1948 г., однако не утратила актуальности до сих пор. Нынешняя западногерманская постановка позволяет соотнести происходящее в пьесе с сегодняшним преследованием демократической общественности в ФРГ, с так называемым «запретом на профессии», которому подверглись уже тысячи людей.

«Превратить страх в сопротивление»—таков смысл иовой постановки фейхтвангеровской пьесы.

ДАНИЯ

На снимке: иллюстрация к сборнику «Жизнь рабочих».

(Газета «Ланд оз фолк»)

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ФРЕМАД»

Издательство «Фремад» выпустило сборник новелл «Жизнь рабочих» (редактор Оле Хюльтофт). Эти новеллы на протяжении года печатались в различных журналах. После выхода книги в свет состоялась пресс-конференция. Участвовавшие в ней писатели и редакторы профсоюзных журналов не только обсудили достоинства и недостатки этого сборника, но и обменялись мнениями о состоянии пролетарской литературы в Дании. В частности, по словам корреспондента газеты «Ланд ог фольк», участники встречи подчеркнули, что к пролетарской литературе недопустимо относить те псевдореалистические произведения, в которых жизнь датских рабочих рисуется в розовых тонах. «Пролетарская литература — это литература, в которой повествуется о борьбе рабочего класса»,— говорится в резолюции пресс-конференции.

ИНДИЯ

ПРАСАД НА ИНДИЙСКОЙ СЦЕНЕ

Как сообщает газета «Джан юг», Национальный институт сценического искусства впервые в истории индийского театра осуществил постановку исторической драмы «Скандагупта Викрамадитья», принадлежащей перу классика индийской литературы Джайшанкара Прасада (1889—1937).

Войдя в литературу в эпоху национального пробуждения и подъема борьбы народных масс против чужеземного господства, в своих исторических драмах Прасад вывел образы древних героев-патриотов, чья жизнь является живым, вдохновляющим примером для многих поколений индийцев.

Одним из наиболее известных драматических произведений Прасада является его историческая драма «Скандагупта Викрамадитья», написанная в 1928 г. В ней повествуется о мужестве и благородстве Скандагупты — последнего императора из династии Гуптов (V в. н. э.), который пал на поле брани, защищая родину от чужеземных поработителей.

На снимках: рисунки Реваты Бхушана к спектаклю «Скандагупта Викрамадитья».

(*Газета «Джан юг»*)

Образ Скандагупты входит в галерею классических образов индийской драматургии.

Осуществив постановку одного из самых сложных произведений Прасада, Национальный институт сценического искусства на деле опроверг бытовавшее до сих пор мнение о недостаточной якобы сценичности пьес выдающегося индийского драматурга. «Не будет преувеличением,— пишет рецензент,—если мы скажем, что постановка этой пьесы является историческим достижением индийского театра».

Своим триумфальным успехом, по мнению рецензента, пьеса обязана искусству режиссера Рамгопала Базаза и великолепной игре исполнителей ведущих ролей спектакля, в числе которых — Манохар Синх (Скандагупта) и Сурекха Сикри (Анантадэви), Уттара Бавакар (Дэвасена) и другие.

Рецензент особо отмечает, что постановщик бережно сохранил неповторимое своеобразие структуры и стиля пьесы.

В спектакле звучат песни, написанные на стихи, взятые из богатейшей поэтической сокровищницы Прасада.

Постановка пьесы Прасада, по мнению рецензента, является важным этапом в становлении и развитии индийского театра.

ИНДОНЕЗИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ ГОДА

Присуждение литературных премий редко проходит в Индонезии без неожиданностей и острых дебатов. Скандал вспыхнул вокруг имени Юдхиштиры Ади Нугрохо, получившего четвертую премию за сборник «Стихи зубной щетки», художественные достоинства которого, по мнению большинства индонезийских критиков, более чем сомнитель-

ны. Видный поэт Ситор Ситуморанг, получивший вторую премию за сборник стихотворений «Карта путешествия», назвал стихи Ю. А. Нугрохо «пародиями, созданными версификатором, не понимающим, что такое поэзия и в чем долг поэта». Два же других лауреата, поэты Сутарджи Колзум Бахри (получивший первую премию за сборник «Амок») и Абдул Хади (получивший третью премию за сборник «Медитации»), в знак протеста отказались принять премии вместе с Юдхиштиром Ади Нугрохо, считая творчество Ю. А. Нугрохо «кичем».

Формальным предлогом протеста послужило и то обстоятельство, что сборник Ю. А. Нугрохо не был представлен в срок и не имел права участвовать в конкурсе. Указанная оплошность дала основание жюри пойти на беспрецедентный шаг и пересмотреть свое решение: имя Ю. А. Нугрохо было исключено из списка победителей, однако предназначенная ему денежная премия не аннулировалась. Но на сей раз уже сам оскорбленный автор отказался ее принять.

Разгоревшиеся страсти отвлекли внимание от смелого решения жюри дать премию не так давно выпущенному на свободу после восьми лет тюремного заключения Ситору Ситуморангу.

ИРАК

НОВЫЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ

Журнал «Аль-Джадид» (г. Хайфа) сообщает о выходе новых сборников стихов иракских поэтов.

Молодой поэт Джалиль Хайдар выпустил в Багдаде книгу стихов под названием «Особый свисток». Это второй сборник поэта: в 1974 г. им была опубликована книга «Поэмы завтрашнего дня».

В лирике Дж. Хайдара преобладают патриотические, свободолюбивые мотивы.

В Бейруте вышел сборник стихов иракского поэта и художника Муайида ар-Рави «Вероятность очевидного». Как сообщает журнал «Аль-Джадид», сборник содержит восемнадцать стихотворений, написанных поэтом в период с 1970-го по 1973 г. и посвященных борьбе палестинского народа. Опубликован сборник в серии «Филястын ас-саура» («Революционная Палестина»), издаваемой Объединенной информационной службой Организации освобождения Палестины.

ИСПАНИЯ

ЛУЧШИЕ КНИГИ ГОДА

Хотя со времени окончания национально-революционной войны 1936—1939 гг. прошло несколько десятилетий, она по-прежнему является одной из центральных тем современной испанской литературы. Осмысление ее исторического опыта приобретает особое значение в период, когда страна избавляется от наследия франкизма. Поэтому знаменательно, что крупнейшими литературными премиями страны — Национальной и премией имени Надаля — в 1977 г. были отмечены произведения, так или иначе связанные с событиями национально-революционной войны.

Национальную премию по литературе за 1977 г. получил роман Хосе Луиса Аккуароне «Тенистая кровь». В нем рассказано о человеке, который после долгих лет отсутствия приезжает в родную деревушку на берегу Средиземного моря, мучимый предчувствием близкой смерти. В доме своих предков герой вспоминает свою жизнь, свое детство. Как говорит автор романа, толчком к его написанию явилось опубликованное в 1973 г. сообщение о зверской расправе с мирными жителями в одной небольшой деревушке в годы гражданской войны. Это дало писателю повод задуматься, как могла дальше сложиться жизнь одного из детей — свидетеля страшной расправы, какой отпечаток она наложила на его жизнь.

К прошлому возвращает читателя и книга андалузского писателя Хосе Асенхо Седано «Разговор о войне», получившая премию имени Надаля. Действие романа происходит в небольшом андалузском селении, которое находится в республиканской зоне. Поначалу война представляется жителям деревни чем-то далеким, но постепенно и она все более настойчиво заявляет о себе: появляются первые беженцы, ощущается нехватка продовольствия.

Повествование ведется от лица шестилетнего мальчика, который принадлежит к самой богатой и родовитой семье в селении. Основное место в романе занимают диалоги мальчика и его бабушки, когда ребенок пытается выяснить для себя смысл происходящего.

В интервью, данном газете «Информасьонес» в связи с присуждением его произведению премии имени Надаля, Х. Асенхо Седано подчеркнул, что не ставил себе целью написать исторический роман. Детское восприятие войны, мироощущение ребенка, который учится понимать мир, познав страшную суть войны,— вот главное в романе.

«Разговор о войне» не является автобиографическим произведением, хотя действие его происходит в тех местах, где вырос писатель, раннее детство которого совпало с событиями 1936—1939 годов. Но в романе, несомненно, есть много такого, что взято из личного опыта Х. Асенхо Седано и людей его поколения.

ИТАЛИЯ

НОВЫЙ ФИЛЬМ ФРАНЧЕСКО РОЗИ

«Южный вопрос продолжает оставаться центральным в нашей жизни, проблемы Юга страны так и не разрешены: сельское хозяйство постепенно приходит в упадок, промышлен-

На снимке: кадр из фильма «Христос остановился в Эболи». В роли Карло Леви — Джан Мария Волонте.
(Газета «Унита»)

иость развивается плохо и не обеспечивает занятости населения, в результате чего продолжается эмиграция и деревни оказываются заброшенными. Молодежь, с аттестатами и дипломами в кармане, отказывается обрабатывать землю и ищет работу в школе или в каком-нибудь учреждении. Поэтому я хочу возобновить обсуждение южного вопроса и, если это возможно, открыть дискуссию».

Так режиссер Франческо Рози, создатель фильма «Сиятельные трупы», прошедшего недавно на советских экранах, объясняет корреспонденту газеты «Унита» свое обращение к книге Карло Леви «Христос остановился в Эболи». Эта серия очерков о жизни итальянского крестьянства в период фашистской диктатуры, созданная почти тридцать пять лет назад и переведенная на многие языки (в 1955 г.— на русский), по сей день является одним из значительнейших явлений современной итальянской культуры. Франческо Рози подчеркивает, что он не собирается ставить исторический фильм. То, что увидел и описал известный художник, писатель и общественный деятель в Альяно, небольшом поселке провинции Матера (в книге поселок назван Гальяно), куда Карло Леви был сослан в 1935 г. за антифашистскую деятельность, не потеряло своей актуальности и в наши дни. Оставаясь верным тексту книги Леви, Рози намеревается раскрыть заложенные в ней проблемы с позиций сегодняшнего дня. «И в фильме,— говорит режиссер,— Карло Леви — это я. В его роли снимается популярный киноактер Джан Мария Волонте».

Франческо Рози вспоминает одну из сцен своего раннего фильма «Сальваторе Джулиано», в которой показано, как крестьяне возвращают захваченный ими клочок земли, потому что у них нет воды, чтобы его возделывать. «Христос остановился в Эболи» — своеобразное развитие и завершение этого эпизода из давнего фильма 1961 г. Однако проблемой Юга, крестьянским вопросом не ограничивается тематика фильма, как и книги. Одна из центральных проблем здесь — фашизм и его разлагающее влияние на все сферы жизни: экономику, культуру, образование, мораль. В роли подесты (правителя) Гальяно, Луиджи Мегалоне. «самого молодого и самого фашистского из всех подест провинции Матера», по свидетельству одного из героев книги Карло Леви, снимается актер Паоло Боначелли. В фильме будет затронут очень острый в современной Италии женский вопрос, будет вестись разговор о разрушении величественных архитектурных памятников прошлого и об охране культурного наследия страны.

Съемки фильма ведутся в тех местах, где прошли два года ссылки Карло Леви: в Альяно и в других поселках провинции Матера.

Фильм «Христос остановился в Эболи» должен появиться на киноэкранах Италии в конце 1978 г. Одновременно готовится телевизионный вариант фильма.

СЕЗОН ПРЕМИЙ

Лето и осень — время присуждения в Италии литературных премий. Отбором кандидатов заняты жюри главных литературных премий — «Виареджо», «Стрега», «Кампиелло» и других. Книготорговцы, со своей стороны, готовятся на основании читательского спроса определить самых читаемых авторов — эта премия и конкурс называются «Банкарелла» (книжный лоток). Уже опубликованы фамилии писателей и названия произведений — «финалистов» конкурсов главнейших премий в области прозы, поэзии, публицистики. По разделу прозы фигурирует в общей сложности десятка четыре произведений. Назовем некоторые из них, привлекающие наибольшее внимание критики:

«Алтарь для матери» Фердинандо Камона, «Братья» Кармело Самоны, «После президента» Антонио Альтомонте, «Невидимый игрок» Джузеппе Понтиджи, «Король склада» Антонио Порты, «Очень нежно» Джузеппе Бонавири и другие. Из стихов в числе «фаворитов» сборники Марио Луци «В огне спора» и Сангвинети «Посткартеи».

Печать, воздерживаясь от прогнозов, отмечает сложную борьбу, которую ведут за фасадом конкурсов крупные книгоиздательства: присуждение премии повлияет на читательский спрос. Подчас создается весьма запутанное положение, когда одну и ту же книгу выдвигают на конкурс жюри двух или нескольких премий одновременно. В этом году количество писателей — соискателей премий больше, чем в прошлом; по свидетельству печати, общий художественный уровень произведений заметно выше. Однако читательский спрос на художественную и научно-популярную литературу несколько снизился после событий весны этого года (похищения и убийства Альдо Моро) и сложившейся в стране тревожной обстановки в результате действий террористов и заговорщиков.

КАМЕРУН

ЦЕНТР ПРОПАГАНДЫ АФРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Вот уже пятнадцать лет в столице Камеруна Яунде действует издательство КЛЕ. Одна из главных целей издательства — выпуск произведений африканской художественной литературы, публицистики и искусства. За это время издательство выпустило свыше миллиона экземпляров книг африканских авторов. Многие из них получили широкую известность и были отмечены международными премиями. Среди них книга камерунского писателя Франсиса Бебея «Сын Агаты Мудио», получившая в 1968 г. Большую литературную премию Черной Африки. Она переведена на многие языки мира, в том числе и на русский.

Нынешний год особый в жизни издательства КЛЕ: оно получило литературную премию имени президента Амаду Ахиджо. Выступая на церемонии вручения премии, министр информации и культуры Камеруна Рене Зе Нгеле отметил, что издательство стало важным центром пропаганды африканской литературы. Если раньше, сказал он, писатели Африки вынуждены были отправляться в Европу в надежде найти издателя, то с созданием в Яунде издательства КЛЕ положение резко изменилось.

Главный редактор издательства Жан Диханг в беседе с корреспондентами сказал: «Заниматься книгоиздательским делом в Африке исключительно трудно. Причин тому много, прежде всего та, что Африка только вступает в эру «письменной цивилизации». До сих пор еще широко распространена неграмотность, газеты, книги, журналы в большинстве случаев недоступны широким слоям населения. Литература в Африке выходит в основном на европейских языках, что также сдерживает ее распространение.

Не так просто выпустить и саму книгу, много препятствий приходится преодолевать, чтобы расширить круг ее читателей и таким образом снизить себестоимость книги. Главный редактор отметил, что за последние годы заметно улучшились литературные достоинства выпускаемых произведений. «Не надо забывать,— сказал он,— что в Африке практически нет писателей, живущих литературным трудом».

КНР

ЛЮДИ-ГИЕНЫ

В газете «Жэньминь жибао» опубликована статья, которая утверждает, что среди китайской творческой общественности появились «люди-гиены». Автор статьи вспоминает известные слова великого писателя Лу Синя, обличавшего в рассказе «Записки сумасшедшего» человеконенавистничество старого китайского общества: «Они только и знают, что есть человечину! В книгах говорится, что существует такая тварь, гиена. Тварь мерзкая, особенно глаза. Питается мертвечиной, мелко разгрызает и проглатывает даже самые большие кости. Подумать о ней — и то страшно».

Повадки гиен такие,— продолжает уже от себя автор статьи.— Они следуют за более сильным хищником вроде льва на почтительном расстоянии, а когда тот задерет жирафу, зебру или антилопу и, наевшись, уйдет, гиены спешат наброситься на остатки туши. Не охотясь сами, они тоже питаются мясом. Если б только мясом! Разгрызают и глотают даже кости... В те времена, когда «четверка» бесчинствовала в Китае, можно без всяких преувеличений строго научно утверждать, что люди-гиены объявились во множестве. Размахивая кулаками и засучив рукава, они поносили старых писателей во всем Китае. Если человека хотели схватить, находились желающие, с наручниками в руках бросались на жертву, били кулаками и пинали ногами, разбивали голову или ломали кости, чтобы «позабавиться»... В гиен превращались постепенно, шаг за шажком, по существу таких даже жаль: за похлебку, за кусочки человечины они попирали все принципы, не пощадили ничего... Гиеноподобные людишки частично были верными приспешниками «четверки», но нельзя всех их поголовно считать такими. Ведь среди них были люди, которые сами действительно никого не убивали своей рукой, не могли отдать приказ об аресте, а просто таились поодаль и выжидали подходящего момента, чтобы выскочить и откусить кусочек косточки... Они в миг один принимают вид

цивилизованных людей, которые ни в чем не замешаны. Мы же хотим во весь голос сказать всем людям-гиенам: вы подлецы!»

Статья о людях-гиенах предвещает усиление репрессивной кампании в Китае. Испытанные маонстские методы применяются снова, на этот раз уже не только к тем, кто был заводилой в бесчинствах «культурной революции», но и к тем, кто уцелел тогда, «таясь посдаль», как выразительно подчеркнула «Жэньминь жибао». Место одних жертв займут другие, потому что без репрессий маоистские порядки не могут существовать в Китае.

КУБА

ХУЛИО КОРТАСАР В «ДОМЕ АМЕРИК»

С интересом выслушали представители общественности и литературы Латинской Америки, приехавшие в столицу Кубы на межамериканский конкурс «Каса де лас Америкас» («Дом Америк»), выступление аргентинского писателя Хулио Кортасара. Как отмечает газета «Гранма», в своей яркой речи Кортасар обрисовал панораму современной литературы континента, затронул проблемы свободы творчества художника.

В зале «Каса де лас Америкас» прозвучали стихи и новые рассказы писателя. Среди них был и рассказ «Во второй раз», включенный в сборник «Кто-то идет сюда» (вышел в свет в конце 1977 г. в Испании). Именно этот рассказ послужил причиной отказа аргентинских издателей опубликовать весь сборник. «В некоторых латиноамериканских странах,— сказал Кортасар,— ужасающе обычным становится следующее явление: человек идет домой с работы, предварительно позвонив жене, чтобы она накрывала на стол, но по дороге исчезает, словно испаряется. Его нет ни в списке мертвых, ни в списке задержаиных, нет нигде». Теме «исчезновения» и посвящен рассказ «Во второй раз».

Хулио Кортасар поведал и о судьбе другого рассказа из того же сборника — «Апокалипсис в Солентинаме» о трагической гибели крестьянской общины в Солентинаме (Никарагуа), разгромленной по приказу диктатора Сомосы. Рассказ этот был создан под впечатлением встреч с никарагуанским священником и поэтом Эрнесто Карденалем, видным борцом против империализма и реакции. Его стихи печатались в журнале «Иностранная литература» в 1969 и 1970 гг.

В заключение Х. Кортасар остановился на роли литературы в современном мире, на социальном предназначении писателя.

МАЛИ

ВТОРОЙ ФИЛЬМ СУЛЕЙМАНА СИССЕ

«Работа, которая отравляет жизнь вместо того, чтобы доставлять радость; страданья и пот, ценою которых люди добывают себе жалкие средства к существованию,— вот тема фильма «Баара». Так пишет еженедельник «Жён Африк» о второй полнометражной ленте малийского режиссера Сулеймана Сиссе, сделанной на языке бамбара. Действие фильма разворачивается на текстильном комбинате столицы Мали Бамако. Главный герой, молодой инженер, пытается улучшить условия труда рабочих. Однако его усилия только навлекают на него гнев хозяина комбината и в конечном счете стоят ему жизни.

Очень интересны в фильме женские образы: многодетная мать, которую муж, взявший вторую жену, выгоняет из дома: супруга промышленника; рыночная торговка. Именно эти образы, по мнению рецензента, помогают режиссеру создать колоритную картину африканского города. Есть в фильме еще один персонаж — молодой извозчик, который появляется со своей телегой в самых разных уголках города и является как бы сторонним свидетелем разворачивающихся событий.

На снимках: Баба Инара (вверху) и Уму Коне в фильме «Баара».

(Журнал «Жён Африк»)

Как сообщает «Жён Африк», малийская государственная киноорганизация собирается показывать «Баара» не только в Мали, но и предложить его прокатным фирмам других стран Африки.

МАРОККО

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА УДЖДА — АЛЕППО

В Марокко и одновременно в Сирии вышел совместный поэтический сборник марокканца Мухаммеда Али ар-Рабауи и сирийца Мустафы Ахмада ан-Нажжара под названием «Две птицы и светлая мечта».

Сирийский журнал «Аль-Маукиф аль-адаби» поместил рецензию алжирского критика Абд ар-Рахмана Салямы, который отмечал: «Этот поэтический диван — правдивое выражение великой надежды, живущей в сердце каждого араба, надежды на осуществление арабского единства и исчезновение всех искусственных, мнимых преград и границ между частями одной родины».

Оба автора сборника принадлежат к молодому поколению арабских поэтов, отражающих в своих стихах современные события и «строящих мосты национального единения» арабов на новой, прогрессивной основе.

Поэт Мухаммед Али ар-Рабауи родился в маленьком городке на юге Марокко и в настоящее время работает преподавателем французского языка в одной из школ округа Уджда. Ему принадлежит несколько сборников стихов на арабском языке: «Почта придет завтра», «Пещера и тень», «Круги ада» и «Утренние птицы». Поэт Мустафа ан-Нажжар родился в древнем городе Халебе (Алеппо) на севере Сирии. Им выпущены сборники стихов «Белые скворцы», «Исход из пещеры пепла», «Кто украл луну?» и «Что говорит зеленый уголок».

МЕКСИКА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ — ЖЕНЩИНЕ

Ежегодная Национальная премия Мексики по поэзии за 1978 год впервые в истории страны присуждена женщине. Победительница конкурса Элена Хордана еще молода, ей нет и тридцати. «Поэмы не на заказ» — книга стихов, принесшая поэтессе всеобщее признание,— пока только второй ее сборник.

Несколько лет назад, возвратившись из путешествия по США, Элена Хордана выступила с книгой стихов «SOS: говорит Нью-Йорк!». Рассказывая о своем первом сборнике корреспонденту газеты «Опосисьон», она объяснила, что в основу этих стихов легли американские впечатления. «Гнев и отчаяние продиктовали эту книгу»,— сказала поэтесса. Бездушие и неверие в добро, отчуждение, разделяющее людей, погоня за наживой, навязывающая нечеловеческий ритм жизни,— вот круг тем, навеянных Нью-Йорком. «Я обвиняла, обличала, но тогда еще не знала, где выход...» — так прокомментировала Элена Хордана свой первый стихотворный опыт.

Потребность противопоставить обезличивающей, серой действительности большого капиталистического города свой идеал заставила Элену Хордану вновь взяться за перо. Пусть этот идеал прост, как мечты молодой девушки о счастье, говорит победительница конкурса, но «Поэмы не на заказ» исполнены веры в людей, радости от их близости, надежды на их участие и понимание.

Элену Хордану попросили рассказать, о ком она пишет, кому посвящает свои стихи. «Я обращаюсь ко всем, кто меня окружает: к садовнику, которого вижу с террасы, к ребенку, стоящему в очереди в универмаге. Меня интересует, о чем задумалась одинокая женщина на скамейке в парке или, например, почему в репертуаре молодого певца только грустные песни»,— объяснила она.

Как отмечает рецензент газеты «Опосисьон» Рамон Овьеро, молодая поэтесса поражает читателей особой чуткостью, задушевностью, лиризмом своих стихов. Она способна мгновенно откликнуться на любой диссонанс в окружающей ее действительности. «Поэмы не на заказ» исполнены доброты и тепла и при этом лишены всякой сентиментальности и меланхолии. Элену Хордану радует и волнует жизнь, «расстилающаяся впереди, как лист белой бумаги под рукой поэта». Как прожить ее достойно, честно, «согревая людей своими стихами»,—таковы проблемы, занимающие Элену Хордану.

В чем секрет обаяния молодой поэтессы? Пишет она, по словам рецензента, в «традиционной» манере, ориентируясь на классические образцы. Сила и талант Элены Хордана, по мнению жюри, присудившего ей высокую награду,— в подкупающей искренности и простоте, с которыми она открывает людям свое сердце.

МОНГОЛИЯ

САМОБЫТНЫЙ ТАЛАНТ

Большим событием в культурной жизни Монголии стала выставка произведений народного художника Адъягийна Сэнгэцохио.

Особое внимание посетителей привлекла картина «Последняя крепость», посвященная теме национально-освободительной борьбы в Монголии. Всадники стремительно атакуют город, где засели маньчжуро-китайские завоеватели. Лица бойцов Народной армии полны решимости биться до победного конца против поработителей своей страны. В этой картине проявилось новаторство художника, он отказался от плоскостного изображения, сумел использовать объемную перспективу.

По достоинству оценены на родине художника и за рубежом его картины «Народная власть», «Встречи с В. И. Лениным», «Хозяева новой власти», «Гостья», многие портреты. Художник использует богатое изобразительное наследие своего народа, отражая в своих работах дела и мысли своих соотечественников.

ПАКИСТАН

ВЫХОД ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ

Вышел в свет первый том Толкового словаря урду, составленного по образцу известного «Оксфордского словаря английского языка». Работа над ним была начата 18 лет иазад. Словарь будет состоять из тринадцати томов, выпуск полного издания предполагается закончить через шесть лет.

В ходе работы над словарем было использовано более двух с половиной тысяч произведений художественной и научной литературы, газет и журналов. Словарный состав литературного языка разрабатывался по произведениям, которые представляют три периода — древний, средневековый и современный. К древней литературе на урду отиесены произведения XVI и XVII вв., ко второму — произведения XVIII и XIX вв., а современный период охватывает конец XIX и XX вв.

ПОЛЬША

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

Приближается важная дата в истории польской культуры — в 1980 году будет отмечаться 450-летие со дня рождения замечательного поэта эпохи Возрождения, родоначальника польской национальной поэзии Яна Кохановского. Литературный научно-исследовательский институт при Польской Академии наук готовит полное собранне сочинений Яна Кохановского в одиннадцати томах. Такое фундаментальное издание предпринято впервые и будет иметь огромное значение для дальнейшего изучения творчества великого поэта и его эпохи. Помимо этого Литературный институт готовит популярные издания произведений Яна Кохановского, предназначенные для широкого читателя, которые будут изданы массовым тиражом.

«С ВОЙНЫ ТОЙ, ВОЙНЫ ЗЛОЙ»

Так называется вышедшая в издательстве «Чительник» книга Владислава Махеека, которая вызвала широкий отклик в печати. Владислав Махеек отметил недавно сорокалетие своей литературной, общественной и политической деятельности. Бессменный редактор почти в течение тридцатилетия ежемесячника «Жице литерацке», Владислав Махеек всегда иа «переднем крае» политических и литературных событий. И его последняя книга, книга воспоминаний «С войны той, войны злой», свидетельствует о стремлении писателя, как пишет рецензент «Трибуны люду» Войцех Рошевский, «осмыслить события недавнего прошлого и рассказать читателям о войне, о борьбе с гитлеровскими оккупантами и с правыми силами внутри страны, в которой он сам участвовал, о том, как велика сила коммунистических идей, которая от классовых боев в буржуазном государстве привела к созданию патриотического фронта для защиты отечества».

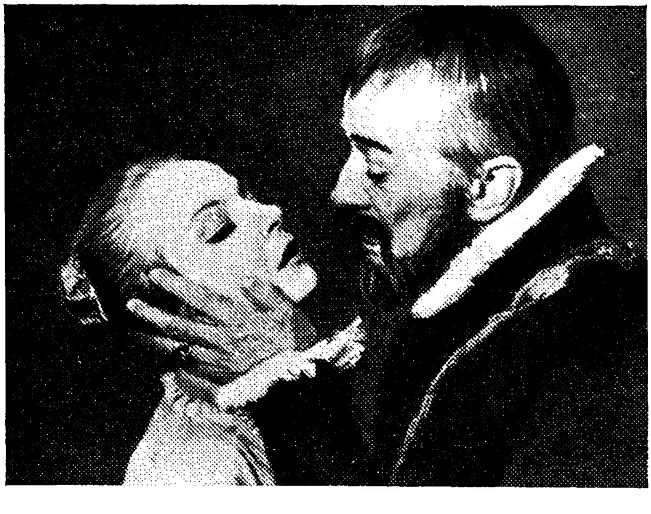
По поводу новой книги Махеека в газете «Трибуиа люду» выступил также известный критик Витольд Навроцкий. «Проза Махеека,— пишет он,— сочетает обыденность и пафос, будничность и героизм, что дает удивительно достоверную картину жизни. Когда мы читаем помещенное в книге донесение о смерти родителей и братьев писателя, убитых гитлеровцами, мы понимаем, что перед нами не художественный вымысел, а жестокая жизненная правда. Автор воспоминаний предстает перед читателем как человек беспокойный, ищущий, погруженный в самую гущу бур-

---

Исполнилось сорок лет работы в театре замечательного актера, режиссера и педагога Яна Свидерского. Им сыграно более ста ролей, некоторые из них вошли в историю польского театра, и о них до сих пор пишут критики. Среди его учеников такие яркие индивидуальности, как Збигнев Запасевич, Мариуш Дмоховский, Игнацы Гоголевский, из совсем молодых — Ядвига Янковская-Цесляк, Анджей Северин.

На снимке: Ян Свидерский в роли Филиппа II в «Доне Карлосе» Фридриха Шиллера, в роли Елизаветы — Александра Шлёнская.

(Журнал «Театр»)



ных исторических событий, сделавший добровольно свой выбор и убежденный в том, что социализм, проповедуемый Польской объединениой рабочей партней, самый справедливый политический строй, какой только могли добыть поляки в годы войны и послевоенные годы».

СЕНЕГАЛ

МОЛОДЕЖНАЯ ТРУППА

Недавно телезрители Дакара увидели первый спектакль новой молодежной драматической труппы «Новый тукан». Труппу организовали выпускиики Дакарского института искусств.

Для первого спектакля была выбрана пьеса сенегальского пнсателя Ибрагимы Салля, воскрешающая один из эпизодов истории страны, «Выбор Мадиора». Умирает старый дамель (султан) государства Кайор. И начинается борьба за престол между пятью претендентами. Этим пользуются соседи. Они натравливают одного претендеита на другого и, как это часто случалось, добиваются вмешательства французов, совершенно безосновательно рассчитывая на помощь колонизаторов в борьбе против своих соотечественников. Французы же надеются подчнннть себе государство, прежде им не подвластное. В результате множества заговоров и интриг погибают четверо претеидентов. Такова завязка пьесы. Прорицательиица предсказывает Мадиору, что он будет дамелем Кайора, но достнгнет этого ценой крови. И не простой крови, а царской. Погибнуть должна его жена, принцесса Ясин Бубу, только что оправившаяся от первых родов. Мадиор не верит, что богам нужна такая жертва. «Может быть, боги ошиблись?»—спрашивает он у прорицательницы и слышит ответ: «Боги не ошибаются никогда». Мадиор должен сделать выбор между властью и любовью, между долгом наследника престола и жизнью любимого человека. И ие может его сделать. Решение принимает Ясин Бубу — «чтобы свершилась судьба и продолжалась династия».

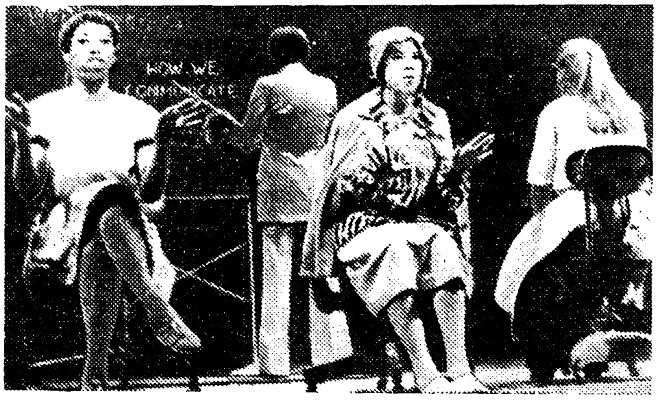
Как отмечает критик Сали Траоре в дакарском еженедельнике «Африк нувель», пьеса прекрасно поставлена режиссером Мамаду Траоре. Для труппы, пишет далее критик, характерны поиски нового, это не просто театральный коллектив, а «исследовательская лаборатория», в которой молодые актеры, изучая театральный опыт прошлого, стремятся обновить сенегальский театр, создать театр «подлиинио африканский». Молодые актеры хотят пробудить интерес к театру у своих сограждан, создать в стране более широкую зрительскую аудторию. Для этого онн собнраются показывать свои спектакли студентам и школьникам, устранвать после спектаклей дискуссни. И не только в столице. Они будут выступать во многих городах и провинциях Сенегала. Одновременно труппа работает над новыми спектаклями. Молодые актеры хотят показать пьесу бенинского писателя Жана Плия «Личный секретарь» и драматическую поэму Жерара Шене «Засуха».

США

ТОМ УИКЕР ОБ АМЕРИКАНСКОЙ ПРЕССЕ

Известный американский журналист и писатель Том Уикер, автор романов «Время умирать» (1971) и «На арене со львами» (1973, русск. изд. 1977), выпустил книгу очерков «О прессе». Том Уикер (сейчас ему 51 год) тридцать лет отдал журналистике. Последние несколько лет работает корреспондентом газеты «Нью-Йорк таймс». В своей книге Уикер рассказывает не только «о прессе». Эта книга — и своеобразиая автобиография американского журналиста, и своего рода социально-политическая история Америки середины века: ведь Уикеру довелось быть очевидцем и писать о важнейших событиях в жизни страны — начиная с убийства Джона Кеннеди и кончая совсем недавним уотергейтским скандалом. Наряду с воспоминаниямн чисто личного характера — о том, как он начал свою журналистскую карьеру в небольшой провинциальиой газете, как постигал основы профессионального мастерства,— в книге Уикера есть и представляющие интерес для самого широкого читателя эпизоды: его личные встречи с президентами (Л. Джонсоном, Р. Никсоном) и сеиаторами во время избирательной кампании. Интересен очерк о встрече с Даниелом Эллсбергом, обнародовавшим секретные документы Пеитагона.

Большое место в книге занимают размышления журналиста о состоянии современной американской прессы, точнее — «пресс-индустрии», являющейся, по мнению самого Уикера, «рупором правящей группы дельцов большого бизнеса». По словам обозревателя журнала «Тайм», Уикер резко критикует рабскую зависимость американской прессы от «истэблишмеита», ибо это приводнт к тому, что «американские журналисты, прикрываясь лозунгами о национальной безопасности, скрывают многие факты от миллиоиов американцев». Именно поэтому, считает Уикер, американская пресса практически не способна по-настоящему освещать современную жизнь как внутри страны, так и за ее пределами. «В Америке,— горько иронизирует журналист,— выгоднее писать о незначительных скандальчиках в соседнем штате, нежели о серьезиых и важных вещах... Весь мой опыт,— продолжает он,— убеждает меня в том, что наша пресса слишком уж рьяно оберегает свою «свободу» тем, что пытается уйтн от всякой ответственности».



На снимке: сцена из спектакля «Работа».

(Газета «Дейли уорлд»)

СПЕКТАКЛЬ ПО КНИГЕ СТАДСА ТЁРКЕЛА

На Бродвее прошла премьера музыкального спектакля по книге Стадса Тёркела «Работа» (см. «ИЛ» № 1—2, 1977). Спектакль поставлен молодым композитором и дирижером Стивеном Шварцем, который написал и большинство песен для этой постановки — некоторые из них на стихи Уолта Уитмена. Спектакль построен как новеллистический цикл, в котором показываются судьбы около сорока героев книги Тёркела. Это судьбы простых рабочих людей Чикаго — сталелитейщиков, наборщиков, транспортников, продавцов, уборщиц. Все они рассказывают со сцены о своей работе, своих тревогах и заботах.

Спектакль глубоко оптимистичен: Шварц и его артисты стремятся показать, что и сегодня американские трудящиеся сохраняют верность демократическим традициям и отстаивают свои неотъемлемые права. Особенно впечатляет картина, которой открывается второй акт спектакля: на фоне декорации, изображающей самое высокое здание в мире — Эмпайр стейт билдинг, актер исполняет стихотворение Брехта «Вопросы читающего рабочего», которое взято Тёркелом эпиграфом к его книге. Так вводится важнейший мотив спектакля: все ценности в мире созданы рабочими руками, и поэтому рабочий — подлинный хозяин земли.

Рецензент газеты «Дейли уорлд» Барбара Москел пишет: «В Соединенных Штатах стало обычным делом изображать рабочих как недалеких людей, чуть ли не как неандертальцев. Ничего этого нет в спектакле Стивена Шварца... Спектакль говорит о том, что быть рабочим — это гордость и честь и что рабочий класс должен по справедливости пользоваться теми благами, которые создает он сам... Радостно сознавать, что заявляет о себе молодое поколение драматургов и режиссеров, которые стремятся ставить спектакли, прославляющие рабочих».

ТУРЦИЯ

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКО-ТУРЕЦКИЙ ФИЛЬМ

По сообщениям печати, началась подготовка к съемкам первого совместного турецко-советского фильма «Фархад и Ширин», в основу которого легла одна из древнейших эпических поэм, широко известная на Ближнем и Среднем Востоке, в Закавказье и в Средней и Юго-Восточной Азии. Она положена в основу одной из поэм великого азербайджанского поэта Низами, жившего в XII веке, «Хосров и Ширин» и великого узбекского поэта Навои «Фархад и Ширин»; по мотивам древней легенды созданы драмы «Фархад и Ширин» азербайджанского поэта Самеда Вургуна и «Легенда о любви» турецкого поэта Назыма Хикмета.

Съемки фильма «Фархад и Ширин» будут производиться в Стамбуле и его окрестностях, кинозрители увидят султанские гаремы, древние босфорские крепости и красочные восточные базары. Значительная часть съемок будет проводиться в СССР — в Узбекистане, Туркмении и на студии «Мосфильм».

Руководители и продюсеры картины с турецкой стороны — супруги Сабах и Йылмаз Дуру, режиссер-постановщик и сценарист фильма — народный артист Азербайджанской ССР Аждар Ибрагимов. В фильме снимаются актеры Ирина Мирошниченко, Анатолий Папанов, Иннокентий Смоктуновский, Армен Джигарханян, Адиль Искандеров. Одну из главных ролей исполнит талантливая турецкая актриса Тюркан Шорай, по отзывам прессы, прекрасно сыгравшая роль Асель в картине, поставленной турецкими кинематографистами по повести Чингиза Айтматова «Тополек мой в красной косынке».

УРУГВАЙ

ВОЙНА ПРОТИВ КУЛЬТУРЫ

Как сообщает выходящий в Гаване журнал «Каса де лас Американас», правительство Уругвая развязало настоящую войну против национальной культуры. В своей ненависти против всего передового и демократического особенно усердствует цензура. Недавно по решению Объединенного штаба военных и полицейских сил Уругвая в Национальной библиотеке Монте-

видео была запрещена выдача читателям почти всех журналов и газет, издававшихся в стране с 1950 по 1974 г. Кроме того, практически был закрыт зал, где хранились собрания сочинений лучших уругвайских писателей и поэтов XIX и XX вв.

Страх правящей клики перед инакомыслием оказался столь велик, что цензура запретила также свободное чтение периодики, относящейся к 1880—1925 гг., поскольку в то время в Уругвае начали активно распространяться социалистические идеи, что нашло широкое отражение на страницах печати. Для того чтобы прочитать хранящуюся в библиотеке газету конца прошлого столетия, теперь необходимо зарегистрироваться в полиции и получить специальное разрешение, предварительно заверив о своей благонадежности и дав исчерпывающее объяснение относительно причин интереса к тому или иному печатному изданию. Первой в списке газет XIX в., запрещенных цензурой, фигурирует «Ла Пас», издававшаяся известным деятелем уругвайской культуры Хосе Педро Барелой (1845—1879), вошедшим в историю страны как реформатор народного образования. Барела попал в немилость у цензуры за то, что являлся переводчиком и издателем одной из статей Карла Маркса.

Среди видных прозаиков и поэтов Уругвая, выдача произведений которых отныне запрещена в Национальной библиотеке Монтевидео, стоят имена таких популярных писателей, как Марио Бенедетти, Хуан Карлос Онетти, Энрике Аморим, Идеа Вилариньо, Марио Арреги, Франсиско Эспинола и многие другие, творчество которых известно и в Советском Союзе.

ШВЕЙЦАРИЯ

СТОЛЕТИЕ РОБЕРТА ВАЛЬЗЕРА

В Швейцарии широко был отпразднован 100-летний юбилей одного из крупнейших писателей первой половины XX века Роберта Вальзера. Гуманист и демократ, мастер «малой прозы», Вальзер так и не добился признания при жизни. Второе «открытие Вальзера» началось только в 60-е годы. Нарастающая волна изданий и переизданий, переводов на многие языки мира, исследований и интерпретаций свидетельствует об актуальности творчества писателя, сумевшего на десятилетия опередить свое время.

Цюрихский еженедельник «Вельтвохе» рассказывает о юбилейных торжествах в Швейцарии. В университете Цюриха прошла конференция на тему «Роберт Вальзер — неоплаченный долг литературной критики», в которой приняли участие известные исследователи творчества писателя: Й. Гревен, К. Керр, Р. Мехлер и др. В большом зале Цюрихского дворца конгрессов состоялся вечер памяти Роберта Вальзера, на котором выступили крупнейшие мастера западногерманской, австрийской и швейцарской литературы — Ильза Айхингер, Альфред Андерш, Томас Бернгард, Ганс Магнус Энценсбергер, Уве Йонсон, Вольфганг Кёппен, Петер Хандке, Петер Бикесель, Адольф Мушг, Макс Фриш, Пауль Ницон, Йорг Штайнер, Отто Ф. Вальтер. В Цюрихе же была организована выставка «Роберт Вальзер и Карл Вальзер» (художник Карл Вальзер, брат писателя, был иллюстратором его произведений).

В цюрихском «Народном доме» состоялся литературный праздник, посвященный 100-летию со дня рождения Вальзера. О художественном мастерстве писателя, его этической позиции и демократизме общественных взглядов говорили швейцарские писатели младшего и среднего поколения: С. Блаттер, Г. Майер, Е. Й. Мейер, Э. Педретти, Г. Шпет и др. Ряду начинающих немецкоязычных авторов были вручены поощрительные премии имени Роберта Вальзера.

Продолжается работа над освоением наследия Вальзера, пишет газета. Издательство «Зуркамп» выпускает в свет относительно дешевое 12-томное собрание сочинений, оно же издает и готовит к изданию отдельные книги Вальзера, работы о нем, воспоминания современников. «Теперь книги Роберта Вальзера можно, наконец, купить в любом оформлении и по любой цене. Остается надеяться, что они станут достоянием широкого круга читателей»,— заключает газета.

ШВЕЦИЯ

НОВАЯ ВСТРЕЧА С АСТРИД ЛИНДГРЕН

Вышедшей в стокгольмском издательстве «Рабен ок Шьогрен» повести для детей Астрид Линдгрен «Мадикен и Юнибакенс Пимс», судя по всему, суждено стать такой же близкой и любимой книгой юных читателей, как и большинству ее произведений.

Довольно редко авторы возвращаются к судьбе героев своих прежних книг. Астрид Линдгрен, отмечает шведская печать, вернулась, однако, к судьбе девочки Мадикен — маленькой героини одной из своих книг, вышедшей в 1960 году. В первой книге о Мадикен, по мнению критика газеты «Дагенс нюхетер», Астрид Линдгрен удалось нарисовать, пожалуй, самый яркий и красочный образ из всех, созданных ею ранее. В новой книге портрет юной героини получился более строгим, хотя порой содержит в себе столько комизма, что становится почти гротесковым. Но ведь именно тем и замечательна Астрид Линдгрен.

Ничего нет удивительного в том, что Мадикен продолжает свою жизнь в фантазии писательницы, отмечает газета «Афтонбладет». Ведь мир, в котором живет и дей-

ствует ее героиня, настолько велик и многообразен, что кажется почти безграничным и во времени, и в пространстве. Впрочем, взрослым читателям мир Мадикен не представляется столь простым и приемлемым во всех своих проявлениях. На фоне счастливой жизни Мадикен время от времени с впечатляющей силой проступают несправедливость и предрассудки классового общества. При этом автор не пытается объяснить их или остановить на них внимание. Они выступают сами по себе в мимолетных размышлениях Мадикен. Например, девочка задумывается над тем, что дед-мороз с рождественскими подарками приходит в гости к детям не во все семьи. В некоторые семьи вместо него приходят дяди и тети из благотворительного общества по оказанию помощи бедным слоям населения...

Читатель встретится в книге Линдгрен с детскими шалостями, найдет немало нежных и вместе с тем комических ситуаций, идиллических картин и «страшных» сцен. Все в этой книге дышит доверчивостью и нежностью, пишет «Дагенс нюхетер», она немного сентиментальна, но есть в ней глубокое сострадание и возмущение по поводу царящего в мире угнетения и несправедливостей.

На снимке: иллюстрация художницы Илун Викланд к новой повести Астрид Линдгрен «Мадикен и Юнибакенс Пимс».

(Газета «Дагенс нюхетер»)

Новое произведение Астрид Линдгрен, отмечает «Афтонбладет», доставляет истинное наслаждение и взрослым и детям. Оно дает богатую пищу для размышлений. И очень хорошо, что есть детские книги, обладающие чудесным свойством: они не кончаются после прочтения последней страницы...

Авторы этого номера

НГУЕН ХОНГ — NGUYÊN HÔNG (род. в 1918 г.).

Вьетнамский писатель, один из наиболее читаемых современных вьетнамских прозаиков. Первые же его книги — роман «Воровка» (1938; рус. пер. 1961) и сборник автобиографических рассказов «Дни детства» («Nhũng ngày thoâú», 1941) принесли ему широкую известность. Нгуен Хонг участвовал в подпольном освободительном движении, подвергался заключению в концлагерь. В начале войны Сопротивления (1946—1954 гг.) вместе с отрядами Народной армии ушел в джунгли Вьетбака, в партизанский край. С 1957 г., когда был создан Союз писателей Вьетнама, Нгуен Хонг — бессменный член его Правления.

Особое место в творчестве Нгуен Хонга занимает тетралогия «Ворота моря» («Cua biên» — выходила с 1961 по 1976 г.), посвященная последним десятилетиям истории Хайфона, популярны книги рассказов, мемуаров, очерков, стихов.

Рассказ «Дочь бродячего циркача из рода Хоа» взят нами из одноименной книги писателя («Cháu gái ngúoi võ ho Hoa», Ha-nôi, 1969). Он войдет в том избранной прозы Нам Као и Нгуен Хонга, готовящийся к печати в издательстве «Художественная литература»; том включен в Библиотеку литературы Социалистической Республики Вьетнам.

МАКСИМ НДЕБЕКА — MAXIME N'DEBEKA (род. в 1944 г.).

Конголезский поэт. Автор двух поэтических сборников — «Новые солнца» («Soleils neufs», 1969) и «Щавель. Лимоны» («L'oseille. Les citrons», 1975). Ему принадлежит также одно драматическое произведение — политическая сатира «Президент» («Le president», 1970). Стихи М. Ндебеки вошли в антологию конголезской франкоязычной литературы (1976), составленную министром культуры Народной Республики Конго поэтом Жан-Батистом Тати-Лутаром.

Публикуемая в этом номере поэма «Девятьсот восемьдесят тысяч» взята из сборника «Щавель. Лимоны» (Paris, Editions Pierre Jean Oswald, 1975). Ее историческая основа — первые годы независимого Конго, когда страной правили ставленники бывших колонизаторов.

АЛЬБЕРТ ВЕНДТ — ALBERT WENDT (род. в 1939 г.).

Самоанский писатель. Получил образование на родине — в Самоа и в Новой Зеландии. Преподает в Южно-Тихоокеанском университете (Фиджи). В 1973 году вышел в свет первый роман А. Вендта «Сыновья возвращаются домой» («Sons for the Return

Home»), затем — сборник рассказов «Летающая лисица на дереве свободы» («Flying Fox in a Freedom Tree», Auckland, Longman Paul, 1974), откуда взяты публикуемые рассказы.

■

ВОЛОДАРСКАЯ ЛЮДМИЛА ИОСИФОВНА

Советский литературовед и переводчик. Автор статей об англоязычной поэзии. Составитель, автор предисловия и комментариев к книге «Поэзия Новой Зеландии XIX—XX вв.» (1978).

■

РАЗИПУРАМ КРИШНАСВАМИ НАРАЙАН — RASIPURAM KRISHNASWAMI NARAYAN (род. в 1906 г.).

Индийский писатель, пишет на английском языке. С творчеством Р. К. Нарайана хорошо знакомы советские читатели по переведенным на русский язык и опубликованным в «Иностранной литературе» наиболее известным его романам «Святой Раджу» (№ 6, 7, 1960), «Людоед в Мальгуди» (№ 2, 1964), «Продавец сладостей» (№ 1, 2, 1969), нескольким рассказам (№ 8, 1965, № 8, 1972). Его произведения переводились и на другие языки народов СССР. Р. К. Нарайан — член Литературной академии Индии, ему присуждена Национальная премия.

Мы публикуем его автобиографическую книгу «Мои дни» («My Days», «Illustrated Weekly of India», 1974).

■

ДЕМУРОВА НИНА МИХАЙЛОВНА

Советский переводчик и литературовед. Автор ряда работ по английской и индийской литературам. Переводила романы и рассказы Р. К. Нарайана, произведения Л. Кэрола («Алиса в стране чудес»), Эдгара По, Г. К. Честертона, Э. Олби, Дж. Барри, Ш. Делани и других.

■

ДЮЛА ЧАК — CSÁK GYULA (род. в 1930 г.).

Венгерский писатель, драматург, публицист. Начинал литературную деятельность как журналист, работал в редакциях журналов «Уй ираш», «Кортарш», «Элет эш иродалом». В 1963 году появилась его первая социографическая повесть «Глубинное течение» («Mélytengeri áramlás»), вызвавшая широкую дискуссию в литературных кругах. Затем вышли романы и повести «От рождества до рождества» («Ket karácsony között», 1967), «Человек на камне» («Ember a kövön», 1969), «Сновидение» («Álomzug», 1971), «Вечнозеленый» («Örökzöld», 1975), социографические очерки «Тяжкий вздох солончаков» («A szikiöld sóhaja», 1977), несколько пьес.

Мы знакомим наших читателей с творчеством Дюлы Чака, публикуя подборку рассказов из его сборника «Вор и судьи» («A tolvaj és a bírák», Budapest, Szépirodalmi könyvkiadó, 1974).

■

САЛЬВАДОР ЭСПРИУ — SALVADOR ESPRIU (род. в 1913 г.).

Каталонский поэт и прозаик; лауреат испанской Премии критики (за сборник «Святая неделя») и ряда премий каталонской литературы. О нем и его творчестве см. вступление к подборке стихов Н. Матяш.

Публикуемые стихи взяты из книг «Бычья шкура» («La pell de brau», 1967), «Прохожий и стена» («El caminant i el mur», 1969), «Святая неделя» («Setmana Santa», 1971).

Стихи С. Эсприу на русском языке публикуются впервые.

■

АЛЕКС ЛА ГУМА — ALEX LA GUMA (род. в 1925 г.).

Южноафриканский писатель, лауреат литературной премии «Лотос», заместитель Генерального секретаря Ассоциации писателей стран Азии и Африки. В настоящее время живет в Англии.

Советские читатели знают Алекса Ла Гуму по напечатанным в «Иностранной литературе» повестям «И нитка, втрое скрученная...» (№ 12, 1965), «В конце сезона туманов» (№ 12, 1972), роману «Каменная страна» (№ 11, 1969), а также вышедшей в издательстве «Прогресс» на русском языке повести «Скитания в ночи».

ШЕЙЛА ДАНГЕ — SHAILA DANGE

Индийская журналистка и филолог. Автор статей о маратхском театре.

САЛГАНИК МАРИАМ ЛЬВОВНА

Советский литературный критик-индолог, переводчик. Автор ряда статей по проблемам литератур Азии и Африки. Переводила прозу и поэзию современных писателей Индии, Пакистана, Бангладеш.

АЙИ КВЕИ АРМА — AYI KWEI ARMAH (род. в 1939 г.).

Ганский прозаик. Известность получил после появления в свет своего первого романа «Прекрасные еще не родились» («The Beautiful Ones Are not yet Born», 1968). Затем Квеи Арма выпустил романы «Осколки» («Fragments», 1969 — его русский перевод напечатан в «Иностранной литературе» № 3, 4, 1976), «Почему мы так благословенны» («Why are We So Blest», 1972), «2000 сезонов» («2000 Seasons», 1974).

Статья А. К. Армы «Эпос о легендарном герое зулусов» перепечатывается из ганского журнала «Транзишен» («Transition», март 1976).

ГИЛЕНСОН БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1932 г.).

Советский критик и литературовед, доктор филологических наук, профессор. Автор книг «Он видел рождение нового мира» (1962), «Октябрь в литературе США» (1968), «Америка Синклера Льюиса» (1972), «Американская литература 30-х годов XX века» (1974), «Социалистическая традиция в литературе США» (1975) и многих работ, в основном по проблемам американской литературы XX века.

НОРМАН МЕЙЛЕР — NORMAN MAILER (род. в 1923 г.).

Американский писатель. Дебютировал в 1948 году антивоенным романом «Нагие и мертвые» («The Naked and the Dead»). На русский язык переведен в 1971 году. В последние годы Н. Мейлер работает в жанре публицистики и документального романа. Широкую известность получили его романы-репортажи «Армии ночи» («The Armies in the Night», 1968), «Майами и осада Чикаго» («Miami and the Siege of Chicago» — фрагменты этой книги публиковались «Иностранной литературой» № 1, 2, 1971), «Огонь на Луне» («Of a Fire on the Moon», 1971).

Мы предлагаем вниманию читателей фрагменты из его документального романа «Бой» («The Fight», Boston—Toronto, Little, Brown and Co, 1975).

СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ (род. в 1941 г.).

Болгарский писатель, драматург. Автор нескольких сборников юмористических рассказов, пьес, сценариев художественных фильмов и др. произведений.

Пьесы Ст. Стратиева «Римская баня» и «Замшевый пиджак» идут на сценах советских театров.

«Сказка» была напечатана в сборнике «Юмор и сатира» («Хумор и сатира», София, Български писател, 1974).

ДЖОН О'ХАРА — JOHN O'HARA (1905—1970).

Американский писатель — романист, новеллист, драматург.

На русском языке в 1970 году издан сборник его произведений «Жажда жить», в который вошли роман «Инструмент» и рас-

сказы. В «Иностранной литературе» напечатан роман «Дело Локвудов» (№ 8—10, 1972).

Рассказ «Разговор во время обеда», впервые опубликованный в 1944 году, перепечатывается нами из сборника «Фактор времени» («The Time Element», 1972).

■

КУРТ МОРАВИЦ — KURT MORAWIETZ.

Западногерманский журналист. Рассказ «Биография благонамеренного бюргера» был напечатан в западногерманском молодежном сатирическом журнале «Эдельгаммлер» («Edelgammler». Poesia-Satire-Prosa, Oktober, 1968).

■

ДЖЕЙМС ГРОВЕР ТЭРБЕР — JAMES GROVER THURBER (1894—1961).

Американский писатель-юморист и карикатурист. Автор многочисленных сборников сатирических и юмористических рассказов, часто иллюстрированных им самим. Рассказы Дж. Тэрбера неоднократно печатались в советских журналах и газетах, в том числе в «Иностранной литературе».

Написанный им совместно с Э. Б. Уайтом рассказ «Можно ли об этом говорить родителям?» взят из сборника «Омнибус, полный современного американского юмора» («An Omnibus of Modern American Humor», 1941).

■

ЭЛВИН БРУКС УАЙТ — ELWYN BROOKS WHITE (род. в 1899 г.).

Американский писатель-юморист. Автор многих сборников рассказов, стихов, эссе, составитель (совместно с К. С. Уайт) антологии американского юмора («A Sub-Treasury of American Humor», 1941).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 3/VIII 1978 г. А12045. Подписано в печать 13/IX 1978 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л. = 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 28,37.

Тираж 617.000 экз. (1-й завод: 1—450 000 экз.) Зак. 2604.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Вьетнамская народная картинка

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394